

Европейский выбор или снова «особый путь»?

Под общей редакцией И.М. Клямкина

Москва 2010

УДК [323/324+94](470+571)
ББК 66.3(2Рос)+63.3(2Рос)
E24

Под общей редакцией *И.М. Клямкина*

E24 **Европейский выбор или снова «особый путь»?** / под общ. ред. И.М. Клямкина. — Москва : Фонд «Либеральная миссия», 2010. — 448 с.

ISBN 978-5-903135-14-1

В сборнике представлены материалы шести дискуссий, инициированных и проведенных фондом «Либеральная миссия». В центре внимания проблемы, волнующие сегодня интеллектуально-экспертное сообщество, которое стремится нашупать для страны реальную, а не декларативную модернизационную перспективу. Разговор пойдет об отечественной истории, о состоянии сегодняшней российской элиты, российских выборах и тех тенденциях, которые на них обнаруживаются, о картине массовых умонастроений, выявленной социологами, наконец, о роли и возможностях либерально-демократической интеллигенции в современной России. Последняя тема обсуждалась на специальной конференции с участием не только российских, но и известных польских интеллектуалов.

УДК [323/324+94](470+571)
ББК 66.3(2Рос)+63.3(2Рос)

ISBN 978-5-903135-14-1

© Фонд «Либеральная миссия», 2010

СОДЕРЖАНИЕ

НИ ВПЕРЕД, НИ НАЗАД

Предисловие редактора4

ЕВРОПЕЙСКАЯ И «ХОЛОПСКАЯ» ТРАДИЦИИ В РОССИИ15

Приложение 1. *Андрей Пелипенко*. Не было никаких
«Московских Афин» и московских периклов81

Приложение 2. *Александр Янов*. Заметки о дискуссии86

КУДА ВЕДЕТ СТРАНУ «ДУУМВИРАТ»?99

ТАЙНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ ЭЛИТЫ148

Приложение. *Михаил Афанасьев*. Запрос на новый курс185

НУЖНА ЛИ ДЕМОКРАТИЯ РЯДОВОМУ РОССИЯНИНУ?192

РОССИЙСКИЕ ВЫБОРЫ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА.....246

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ДЕМОКРАТИЯ

(российский и польский взгляд).....318

НИ ВПЕРЕД, НИ НАЗАД

Предисловие редактора

Вряд ли Россия когда-либо в своей истории переживала такой период, какой переживает сейчас. Не в смысле трудностей, невзгод или потрясений (в данном отношении бывали времена и много хуже), а в смысле размытости исторической перспективы. Причем размылась она именно тогда, когда идеологам и пропагандистам путинской «вертикали власти» казалось, что главная задача уже решена: государство восстановлено и остается лишь превратить его из инструмента поддержания стабильности в инструмент стабильного развития. И вот тут-то выяснилось, что для решения такой задачи возведенная «вертикаль» совершенно не приспособлена.

Мировой финансово-экономический кризис, сильно ударивший по сырьевой российской экономике, резко ускорил осознание этой неприспособленности. Новый президент Дмитрий Медведев провозгласил курс на модернизацию, без которой, по его словам, у страны нет будущего. Верховная власть заговорила вдруг на языке, на котором до того говорили разве что маргинальные оппозиционные либералы, снисходительно именуемые кремлевскими пропагандистами жалким и бесплодным «хулищем». Но эта критически-призывающая президентская риторика не только не прояснила перспектив развития, но и затуманила их еще больше.

Потому что реальная политика по-прежнему проводится Владимиром Путиным, переместившимся из президентского кресла в премьерское, и это все та же привычная ему политика стабилизации — на сей раз в условиях кризиса. А действующий президент, наделенный огромными конституционными полномочиями, исполняет роль главного пропагандиста модернизационного прорыва, призванного быть осуществленным без изменения сложившейся при Путине политической системы. Или, говоря иначе, самой этой системой. Той самой, которая не выдерживает уже испытания даже административно управляемыми выборами и вынуждена прибегать к фальсификациям, возмущающим уже и карманную оппозицию.

Не было еще в отечественной да и в мировой истории ни политического «дуумвирата» с таким распределением функций, ни такого курса на модернизацию, провозглашаемого при отсутствии в стране субъекта модернизации. Раньше эту роль исполняло в России государство, используя методы принуждения. Но то было государство самодержавное, принимавшее разные формы, а не такое, которое легитимируется народным голосованием, пусть и управляемым. Нынешняя политическая система и нынешний тип лидерства не обладают ресурсами, необходимыми для насильтвенной технологической модернизации, не говоря уже о том, что в постиндустриальную эпоху сам этот спо-

соб модернизации невозможен в принципе. И российская власть в лице президента открыто декларирует его неприемлемость.

Однако и какой-либо другой вариант, осуществимый при сложившейся политической системе, она предложить не может. Отсюда и такой феномен, как модернизаторская риторика без модернизаторской политики. И, как следствие, усиливающееся ощущение исторического тупика — несмотря даже на то, что из кризиса страна вроде бы выбирается. Потому что эта очередная стабилизация воспринимается как очередной блокиратор развития, как стабилизация, ведущая к стагнации.

В такой ситуации вполне естественным выглядит стремление многих интеллектуалов и экспертов нащупать для страны реальную, а не декларативную модернизационную перспективу. Естественно также, что поиск ведется в двух основных направлениях — авторитарном, актуализирующем опыт прежних отечественных технологических модернизаций, и либерально-демократическом, при котором на передний план выдвигается модернизация самого государства посредством его европеизации. В книге, предлагаемой вашему вниманию, представлены взгляды тех, кто придерживается второго направления. Но и среди них не обнаруживается полного взаимопонимания, когда разговор переходит из области ценностей в плоскость их реализации в неподатливой для этого исторической реальности.

Вот здесь-то, на пересечении ценностей и реалий, и завязываются, как правило, узлы полемики. Это проявилось во всех шести дискуссиях, представленных в книге, чего бы они ни касались, — состояния власти, умонастроений элиты, населения, самого либерального интеллектуально-экспертного сообщества или российских выборов, сталкивающих власть и все группы общества лицом к лицу. По крайней мере, к тому призванных.

Это проявилось даже в открывающем книгу разговоре об *отечественной истории*, когда обсуждался доклад Александра Янова, подготовленный им на основе его недавно вышедшей трилогии «Россия и Европа. 1462–1921». Автор известен своей оригинальной концепцией, согласно которой послемонгольская московская государственность начиналась как европейская и была таковой в течение целого столетия («европейское столетие России»), пока Иван Грозный не развернул ее в другую — самодержавную — сторону. Вынося доклад Янова на обсуждение, мы руководствовались тем соображением, что европейская перспектива России намного более реальна в том случае, если у этой перспективы есть точки опоры в прошлом. Так есть они или в прошлом у нас только возрождающееся из века в век, меняя формы, монгольское «ордынство»?

В ходе развернувшейся дискуссии у Янова нашлись как сторонники, так и противники. При этом на их оценках явно сказывалось их восприятие современной российской реальности: те, кому европейские тенденции последних десятилетий кажутся несущественными или мнимыми, склонны и евро-

пейский политический вектор в российской истории считать слишком слабым и «пунктирным», чтобы он мог претендовать на статус государственной традиции. И этот скептицизм распространялся не только на концепцию «европейского столетия», но и на другие представления о европейском векторе России в прошлом, тоже обозначившиеся в дискуссии.

Александр Янов прочерчивает его от Ивана III к реформам правительства Избранной рады в первое десятилетие правления Ивана Грозного и, далее, к конституционному проекту 1610 года, составленному боярином Михаилом Салтыковым, и к плану «верховников», намеревавшихся ограничить самодержавие в 1730-м. Другая же линия европеизации выстраивалась, в противовес яновской, начиная с жалованных грамот Екатерины II, узаконивших освобождение дворян от обязательной государственной службы и их права на земельную собственность, и продолжая реформами Александра II и октябрьским Манифестом 1905 года, открывшим дорогу российскому парламентаризму. Судя по реакции Янова на эту дискуссию (его размышления о ней тоже представлены в книге), она может получить продолжение. И это было бы хорошо, так как без таких дискуссий историческое сознание российских европейцев рискует еще долго оставаться в том расхристанном подростковом состоянии, в котором оно пребывает сегодня.

Не исключаю, правда, что полемическая манера Александра Янова не станет очень уж мощным стимулом для дальнейшего обсуждения. В основном он не столько спорит с аргументами, прозвучавшими в дискуссии, сколько се-тует на то, что дискутанты не прочитали его трилогию, а потому некоторые важные для автора места оставили без внимания. И это можно было бы понять и принять, если бы Александр Львович проявил чуть больше интереса к тому, что в дискуссии было.

Между тем ему гораздо важнее в очередной раз поспорить с Ричардом Пайпсом, который с ним спорить не собирается и не собирается, по поводу роли Михаила Салтыкова в российской истории, чем разъяснить, что же все-таки означает европейскость Салтыкова, сочетающаяся у того с приверженностью крепостному праву. В данном случае, как и во многих других, Янов предпочитает отсылать участников дискуссии за ответами на их вопросы к своему трехтомнику, забыв указать, в каком месте ответы эти можно найти. А ведь если вопросы возникают, то это может свидетельствовать и о том, что отыскать на них ответы непросто даже очень доброжелательному и добросовестному читателю. Где искать, скажем, обоснование мысли об утверждении на Руси европейского местного самоуправления и, соответственно, опровержение мысли Ключевского о том, что оно было инструментом центральной власти?

В результате же сомнения относительно правомерности считать столетие, начавшееся с правления Ивана III, европейским, так и не были развеяны. В том числе, повторяю, и потому, что на большинство из них Александр Львович просто не отреагировал, сославшись еще и на ограничивающий его формат его заметок,

им же и установленный. Но такого рода сомнения у меня лично не исчезли и по поводу тех немногих вопросов, на которые Янов счел нужным отреагировать.

Он, например, доказывает, что право частной собственности было в Московии гарантировано задолго до Екатерины II, не будучи формально узаконенным. И ссылается на пример Франции, где такого узаконивания не было тоже, причем аж до XIX века. Но это, по-моему, еще не делало Московию Францией. Потому что открытым остается вопрос о том, почему же во Франции ни более крутому, чем Иван III, Людовику XI, ни его преемникам устои собственности поколебать не удалось, а у Ивана Грозного это получилось. Может быть, как раз потому, что частная собственность в Московии существовала, а *идея* этой собственности, ее неприкосновенности и священности укорененной не была, о чем и говорил в ходе дискуссии Игорь Яковенко? Кстати, и роль в конечном утверждении этой идеи, сыгранная европейскими городами, об отличиях которых от городов Московии напоминали многие участники дискуссии, в историческую схему Янова, судя по всему, не вписывается: все доводы на сей счет не произвели на него никакого впечатления.

Ну а утверждение, что отсчитывать европейскую тенденцию с XVIII века неразумно по политическим соображениям (не поймут, мол, люди, если европейскость представлять им не как свою, а как заимствованную), выглядит странным не только с аналитической, но и с политической точки зрения. Потому что политические оппоненты всегда смогут привести те аргументы против концепции «европейского столетия», которые прозвучали в ходе обсуждения, но отклика у автора концепции не нашли. Он, правда, пообещал ответить на них в «рабочем порядке», но что такой «порядок» означает в публичном споре, мне, признаюсь, не очень понятно.

Кстати, коли уж Екатерина II, как полагает Янов, приступила к юридическому оформлению европейской традиции даже раньше, чем это произошло во Франции и других странах континентальной Европы, то она, выходит, была в данном отношении пионером, в своей европейскости Европу опередившей, что и вообще вроде бы не оставляет места для политических опасений Александра Львовича. Разве не так?

Показательно, что Янов на место Екатерины в позицию своих оппонентов подставляет Петра I, навязавшего России чужие для нее правовые принципы. Но Петр-то здесь совсем уже ни при чем. Потому что он использовал закон для разверстки обязанностей, а не для гарантии прав. Похоже, такая подмена свидетельствует о том, что юридически-правовая тенденция в России выглядит в глазах Александра Львовича менее важным признаком европейскости, чем «латентные ограничения власти» в «европейском столетии». И этот доюридический «либерализм» нам предлагается наследовать в XXI веке? Ведь именно нормы правового государства до сих пор не приживаются в России, что и вызывает у многих настороженное отношение к идее ее европейскости.

Что же касается либеральных критиков Янова, не придающих сколько-нибудь серьезного значения европейским политическим тенденциям в России («ордынство», мол, одно лишь «ордынство»), то их историческое сознание, как я уже говорил, — это опрокинутое в прошлое сознание несовместимости их европейских ценностей и неевропейской сегодняшней реальности. Понятно, что в подходах к современным явлениям и процессам такая несовместимость скрывается еще больше. И прежде всего в отношении к нынешней *российской власти*, восстановившей в обновленной форме традиционную для страны политическую монополию. Однако и в данном случае, как и во взглядах на историю, наше интеллектуально-экспертное сообщество расслаивается.

Одни его представители противопоставляют «неправильной» реальности «правильные» ценности, убеждая себя и публику в том, что властная монополия стратегически неустойчива, что ей не дано справиться с задачами модернизации и сохранить целостность страны и потому ее распад и трансформация в систему политической конкуренции рано или поздно неизбежны. А другим — «реалистам» — такая перспектива кажется сомнительной и даже опасной, так как самопроизвольный распад системы может сопровождаться не ее либерализацией и демократизацией, а хаосом с последующим обузданием его еще более жесткой властной монополией. Что же, однако, из этого следует? Что сложившаяся система безальтернативна?

Нет, отвечают «реалисты», из этого следует другое. Из этого следует, что точки опоры для осуществления перемен надо искать внутри самой властной монополии. А именно поддерживать президента Медведева как альтернативу премьеру Путину. Поддерживать в том числе и ради сохранения нынешнего «дуумвирата». Так как это все же какое-никакое, а разделение властей, между тем как путинизм — это монополия в чистом виде.

Естественно, что в ответ следовали возражения: никакого разделения властей здесь нет, а есть лишь разделение функций внутри неразделенной власти. Естественно также, что ни одной из сторон убедить другую не удалось, — уже потому, что обе точки зрения имеют свои слабости. Но именно поэтому между ними не могла не появиться третья позиция, переносящая акцент с целеполагания на упреждающее его «изучение тенденций».

Я обращаю особое внимание на этот поворот мысли: если наши ценности реальностью отторгаются, если на наши идеи в ней нет запроса, то давайте углубимся в познание этой реальности — может быть, мы не можем войти с ней в контакт именно из-за того, что плохо ее знаем. Потому обращаю внимание, что здесь призыв к познанию абстрагируется от того, что уже познано, и никаким собственным вкладом в такое познание может и не сопровождаться. А также потому, что в ходе дискуссий обнаружился и еще один любопытный феномен — недоверчивое отношение к новому знанию, когда оно появляется и предъявляется.

Очень показательна в этом отношении дискуссия, посвященная *состоянию сегодняшней российской элиты*. Не той элиты, в руках которой реальная политическая и экономическая власть, а той, что находится уровнем ниже.

Ее широкомасштабное исследование было проведено по заказу «Либеральной миссии» Михаилом Афанасьевым, опросившим представителей федерального и регионального чиновничества, спецслужб и правоохранительных органов, армии, бизнеса, сферы образования, здравоохранения и юриспруденции, а также руководителей СМИ и экспертов разного профиля. И неожиданно обнаружилось, что российская элита, будучи интегрированной в существующую систему и прочно привязанной к ней своими частными интересами, в подавляющем большинстве своем систему эту отторгает, считая ее неэффективной и беспersпективной. А альтернативу ей видит в системе, основанной на экономической и политической конкуренции при верховенстве закона — в том числе и над властью. То есть по своим представлениям преобладающая часть российской элиты уже сейчас вполне европейская! Нынешнюю же «вертикаль власти», как показал опрос, поддерживают в основном бюрократия и работники силовых структур, но даже в этих группах поддержка далеко не стопроцентная.

Автор исследования, представляя его результаты, специально оговаривался, что его интересовали только умонастроения респондентов, а не их готовность отстаивать свои представления о должном и правильном и тем более следовать им в практической деятельности. Но умонастроения — это тоже факт реальности, свидетельствующий о ее сближении с либеральными ценностями. Однако и в данном случае их приверженцы раскололись, хотя и по несколько иной линии, чем в вопросе о власти и ее возможностях.

Меньшинство сочло важным зафиксированный Михаилом Афанасьевым элитный запрос на новый курс, свидетельствующий о том, что интеллектуалы, приверженные либеральным ценностям, в обществе не так уж и одиноки: в наиболее продвинутых социальных группах у них есть многочисленные сторонники, что лишний раз свидетельствует о нежизнеспособности российской государственной системы. А большинство не придало данным Афанасьева никакого значения по той простой причине, что свой запрос на новый курс элиты предпочитают держать в тайне, никак его не предъявляя. Однако сдвиги в сознании — это, повторю, тоже ведь изменение реальности, которое может не сопровождаться сдвигами в поведении, но без которого таковых не может быть в принципе.

Конечно, есть еще и реальность массового сознания, считающаяся многими либеральными интеллектуалами более трудным препятствием на пути европеизации институтов, чем сознание (и даже поведение) элитарное. О том, что именно в народе находятся главный источник и главная опора утвердившейся в стране политической монополии, говорили и некоторые участники

наших дискуссий. Но *картина массовых умонастроений*, представленная на одной из них социологами, тоже, оказывается, отнюдь не однозначна.

Оказывается, что никакого предубеждения против демократии не обнаруживается и среди населения, а обнаруживается, наоборот, признание ее важности для России, декларируемое большинством наших сограждан. Социологи утверждают: отторжения политической конкуренции в массовом сознании сегодня нет, и в этом смысле разговоры о «неготовности народа к демократии» не выдерживают критики. Но одновременно в этом сознании обнаруживается установка и на авторитарный способ правления. Понятно, что такая двойственная реальность опять раскалывает ряды либеральных интеллектуалов, отодвигая на второй план их ценностное единство.

Кто-то из них, не видя в обществе предпосылок для перемен, призывает к долгой работе по подготовке в вузах новой элиты с новыми ценностями, забыв или не зная о том, что такие ценности не чужды и многим представителям элиты нынешней, которая, однако, предпочитает их не афишировать. Кто-то предлагает не исключать перспективу авторитарной модернизации — тоже, разумеется, с соответствующими ссылками на неподатливую историческую реальность. Но со страниц книги звучат и другие голоса. Голоса, привлекающие внимание к выявленной социологами неодномерности самой реальности массового сознания и зовущие к ее пониманию.

Понять же предстоит то, что массовые авторитарные установки, накладывающиеся на не менее массовые установки демократические, свидетельствуют не только о силе авторитарной инерции. Они свидетельствуют и о том, что у населения нет представления о содержании демократии, ее институциональном устройстве. А также о том, зачем она нужна рядовому россиянину, как соотносится с его повседневной жизнью. И до тех пор, пока дело обстоит так, а не иначе, люди не будут требовать демократических преобразований и будут мириться с политической монополией. Но мириться при этом весьма своеобразно, отказываясь участвовать в демократических процедурах, монополию легитимирующих.

Читатель найдет в книге дискуссию, специально посвященную *российским выборам* и тем тенденциям, которые на них обнаруживаются. Главная тенденция — утрата населением интереса к голосованию. И тем самым неосознанная утрата готовности считать демократией ту ее имитацию, которая используется для легитимации властной монополии. Притом что внятная институциональная альтернатива такой имитации в массовом сознании не вызрела. Поэтому нет в обществе и массового протesta против нее — несмотря на то, что представление о широкомасштабных фальсификациях итогов голосования у большинства населения уже сложилось.

В ходе упомянутой дискуссии, состоявшейся после скандальных октябрьских выборов 2009 года, были представлены материалы и о динамике фальси-

ификаций, и об их методах, и об отношении к ним россиян. Разумеется, в оценках выборов разногласий не обнаружилось. Однако представления о том, как события будут развиваться в дальнейшем, у участников обсуждения не совпали, и читатель может с этими представлениями ознакомиться. Я же хочу обратить внимание на то, что и в данном случае не обошлось без полемики о соотнесении ценностей и реалий.

На сей раз в роли такой реалии выступила сама возможность власти фальсифицировать выборы при готовности населения мириться и с этим. И снова звучал призыв: давайте не ограничиваться критикой и протестом, давайте изучать, почему происходит именно так, а не иначе. Давайте подумаем и о том, а возможна ли вообще в современной России демократия европейского типа, возникшая в другую эпоху. Тем более что и сама эта демократия отнюдь не щепетильно строго следует сегодня своим принципам в проведении тех же выборов.

Понятно, что в ответ звучали возражения: мол, слишком уж напоминает это взгляды кремлевских пропагандистов, отстаивающих право российской «демократии» именоваться демократией без кавычек посредством ссылок на неидеальность и ее западных образцов. Но тут все же есть и проблема. Подобная «объективация» реальности при интеллектуальном отчленении ее от ценностей чем-то напоминает известное примирение Белинского с действительностью (под влиянием гегелевского «все действительное разумно»). Белинский, как известно, на этой позиции не застрял. Но и его отход от нее не дает ответа на вопрос (и самому Белинскому не дал), что же делать интеллектуалу в исторической ситуации, когда его ценности с текущей реальностью не соотносятся и на нее не влияют.

Этот вопрос — *о роли и возможностях либерально-демократической интеллигенции в современной России* — представляется нам настолько важным, что мы посвятили его обсуждению специальную конференцию, на которую пригласили не только российских, но и известных польских интеллектуалов. Хотелось лучше понять, почему их усилия в конце 1980-х годов увенчались не только демонтажом коммунистического режима, но и утверждением в Польше демократической политической системы с последующим вхождением страны в европейское сообщество, а посткоммунистическая Россия, сменившая Россию коммунистическую, европейской так и не стала. Повинна ли в этой неудаче демократическая интелигенция? И может ли для нее быть чем-то поучительным опыт польских коллег сегодня?

На первый вопрос почти все российские участники конференции отвечали утвердительно, но ответы свои обосновывали неодинаково. Одни упрекали интелигенцию времен горбачевской перестройки и ельцинских реформ в недостаточности у нее политического идеализма, другие — в дефиците политического реализма, а третья — в интеллектуальной ограниченности, проявив-

шейся в антисоветском критицизме при отсутствии, в отличие от тех же поляков, созидательных целей и позитивных программ. Но внимательный читатель не сможет не заметить, что все эти (и не только эти) обвинения претендовали лишь на *объяснение* того, что было, и не сопровождались, как правило, попытками извлечь из неудачного прошлого какие-то уроки для дня сегодняшнего.

Да, в некоторых выступлениях просматривается и стремление преодолеть такой «объяснятельный» интеллектуализм и утвердить интеллектуализм «проектный», интеллектуализм «альтернативной повестки дня». И в этом опять обнаружила себя та же линия размежевания, что и в других дискуссиях. Можно даже сказать, что она обнаружила себя в данном случае наиболее рельефно.

В конечном счете это всегда размежевание двух ментальных установок — установки на адаптацию ценностей к чуждой им и неподатливой для них реальности (посредством призывов к ее пониманию в сочетании с дозволенной критикой) и стратегической установки на преобразование этой реальности в соответствии с ценностями. Однако и эта вторая установка проявляется пока лишь как декларация. Точнее, как критика непроектности мышления, а не как сама позитивная проектность.

Это тот тип сознания, который взял на вооружение сахаровскую максиму: «Делай что должно, и будь что будет». Но вопрос-то в том, что же считать должным, дабы на иной лад не оказаться в том же положении «ни вперед, ни назад», в котором пребывает сегодня российская власть. К тому же, насколько могу судить, этой максимой руководствуются чуть ли не все участники дискуссий — у каждого из них свое представление о «делай что должно». И, как ни странно, наиболее размытым оно выглядит у тех, кто призывает к проектности мышления. Подобные призывы могут быть услышаны только тогда, когда будут сами проекты. А их пока нет. Тем не менее основные направления такого проектирования в ходе наших дискуссий в какой-то степени были обозначены, что уже само по себе позволяет считать их небесполезными.

Во-первых, отчетливо выявились потенциальные возможности просветительско-пропагандистской деятельности. Точки опоры для нее есть не только в элитарном, но и в массовом сознании. Данные социологов однозначно свидетельствуют о том, что ориентация на демократию в нем уже укоренилась. И что никаких серьезных препятствий для утверждения свободной политической конкуренции в нем не обнаруживается. А отношение населения к управляемым выборам столь же однозначно показывает, что формальные демократические процедуры, используемые для легитимацииластной монополии, вызывают отторжение.

Да, одновременно наблюдается и очевидное непонимание того, как политическая конкуренция может оказаться на повседневной жизни людей, равно

как и непонимание самой сущности демократии и ее отличий от того, что утверждалось в стране под ее именем. Но можно ли сказать, что для массового демократического просвещения целенаправленно используются хотя бы те немногочисленные каналы коммуникации с населением, которые сегодня существуют? По-моему, ответ «да» был бы очень большим преувеличением.

Во-вторых, в ходе дискуссий стало ясно, что европейская институциональная альтернатива «вертикали власти» сколько-нибудь конкретно до сих пор публично не представлена. Поэтому даже в элитарных группах, опрошенных Михаилом Афанасьевым, возможности желаемой европеизации России выглядят достаточно абстрактными. Конечно, не только поэтому. Но и поэтому тоже.

Поразительно, что российских либеральных интеллектуалов совершенно не интересует опыт институциональной демократически-правовой трансформации стран Восточной Европы и Балтии. Недостаток информации о ней и ее отличиях от российского варианта мы с Лилией Шевцовой попытались восполнить в книге «Путь в Европу». Но она оказалась невостребованной именно теми, кому в первую очередь и была адресована.

Нередко приходится даже слышать, что опыт бывших коммунистических стран нам не подходит, потому что мы — другие. Но если так, то мы по-прежнему обречены на «особый путь» к неведомой, но тоже особой, цели. Разумеется, ни один либеральный интеллектуал с этим не согласится, но подсознательно он, отмахиваясь от опыта европеизировавшихся восточноевропейцев, исходит именно из этого. И потому проектной конструктивности ждать от него не приходится. В таком случае он окажется в состоянии лишь изучать и объяснять российскую особость, выдвигая такое изучение и объяснение в качестве основополагающей интеллектуальной задачи. И это еще лучший случай, уберегающий от кровавого конформизма, прикрываемого ссылками на несовпадение либеральных ценностей и специфических российских реалий.

Трансформация стран Восточной Европы и Балтии — это последовательное продвижение к определенной норме, к определенному цивилизационному стандарту. В каких-то сферах (во всем, что связано с формированием правовой государственности) оно было постепенным и остается незавершенным до сих пор, а в каких-то — одномоментным. Одномоментным был прежде всего переход от политической монополии к политической конкуренции. И если кто-то сегодня полагает, что такая одномоментность нам не подходит, что к политической конкуренции в России следует продвигаться поэтапно, то он, сознательно или бессознательно, прочерчивает ей «особый путь» к иной, чем демократия, цели. Потому что при медленной демократизации политическая монополия будет эту демократизацию ассимилировать, как ассимилировала она уже те же выборы и институт парламентаризма.

А все остальное и в самом деле может быть лишь постепенным. Но постепенность ведет к цели только при условии, что сама цель четко обозначена. Для восточноевропейцев и прибалтов такой целью стало достижение универсальных европейских стандартов. Разумеется, каждая из стран адаптировалась к ним по-своему, но то были индивидуальные вариации приспособления к стандарту, не выходя за его цивилизационные границы.

В России же либеральное интеллектуально-экспертное сообщество эти стандарты обществу пока даже не предъявило. Стандарты, на основе которых строятся европейские политические и судебные системы, государственная служба, антикоррупционное законодательство и многое другое. Но если этой конструктивной точки отсчета у нас нет, то и нашу критику власти та вправе объявлять деструктивной, что она и делает. И что мы ей можем противопоставить, кроме «делай что должно, и будь что будет»? Да ничего и не будет, если не определимся с тем, что должно для страны, а не только для демонстрации нашего неприятия в ней происходящего.

Думаю, что эти выводы непосредственно вытекают из предлагаемой вам книги. Для себя, по крайней мере, мы их уже сделали, приступив к реализации широкомасштабного проекта, призванного ознакомить российское общество с европейскими институциональными стандартами. Первая работа, касающаяся доступа населения к государственной информации (с анализом зарубежного и российского законодательства), уже вышла в свет.

Осталось лишь сказать, что размещенные в книге дискуссии состоялись в период с октября 2008 по ноябрь 2009 года. Не все оценки и прогнозы их участников выдержали испытание даже недолгим временем. Некоторые из обсуждавшихся вопросов успели утратить свою политическую актуальность (например, вопрос о вступлении Украины в НАТО), а упоминавшийся факт покупки Сбербанком «Опеля» и вовсе перестал быть фактом. Изменились и отношения с Западом. Но все проблемы, поднимавшиеся в дискуссиях, остаются с нами. Да и ошибки некоторых ее участников могут представлять интерес, так как они тоже характеризуют российское либеральное экспертное мышление, пытающееся преодолеть непреодолимый сегодня барьер между ценностями и реальностью.

Январь 2010 г.

*Игорь Клямкин,
вице-президент фонда
«Либеральная миссия»*

ЕВРОПЕЙСКАЯ И «ХОЛОПСКАЯ» ТРАДИЦИИ В РОССИИ

Игорь КЛЯМКИН (*вице-президент фонда «Либеральная миссия»*):

Уважаемые коллеги, сегодня¹ нам предстоит обсудить доклад Александра Янова, подготовленный им на основе его недавно вышедшего трехтомника «Россия и Европа. 1462–1921». Мы делаем это по предложению самого автора и, к сожалению, в его отсутствие — он живет в Нью-Йорке и приехать в Москву не смог. Причину, которая побудила Александра Львовича обратиться к нам с упомянутым предложением, он изложил в своем обращении к читателям. Оно, как и текст доклада, было заранее размещено на нашем сайте, и вы могли с ним ознакомиться.

Любой автор, очень долго работающий над какой-то темой и развивающий один и тот же круг идей, которые считает общественно значимыми, хочет быть услышанным, хочет обратной связи с теми, кому адресует свою работу. Возможно, не все знают, что Александр Львович начал эту работу, насколько помню, лет 40 назад. Ее первые результаты были представлены им в самиздате, что стало одной из причин выдворения автора из Советского Союза. Тогда его рукопись, несмотря на ее внушительный объем, читалась очень многими и на многих оказала серьезное влияние.

Но сегодняшнее обсуждение продиктовано не только нашим искренним желанием воздать дань уважения известному историку и привлечь дополнительное внимание к его идеям. Дело в том, что либерально-демократическое историческое сознание не может быть сформировано при отсутствии осмысленной с либерально-демократических позиций истории России. Я имею в виду всю историю страны, а не отдельные ее периоды, изучаемые изолированно друг от друга.

Если не ошибаюсь, Александр Янов был первым нашим соотечественником, который поставил перед собой такую задачу еще в советское время и последовательно решал ее на протяжении десятилетий. У его оригинальной концепции есть сторонники (их, по его собственному признанию, немного) и есть противники, которых гораздо больше и которые, как правило, предпочитают его труды не замечать. Я же убежден в том, что их надо обсуждать.

И опять-таки не только в знак уважения к интеллектуальному мужеству Александра Львовича, подвижнически отстаивающему свою концепцию, которая амбициозно именуется им революционной и сознательно противопос-

¹ Дискуссия проходила в ноябре 2009 г. В соответствии с замыслом книги и ради удобства читателя материалы обсуждений размещены в иной последовательности, чем они имели место в реальности.

тавляется чуть ли не всей отечественной и западной русистской историографии. Нельзя продвигаться вперед в осмыслении нашего прошлого, игнорируя то, что уже сделано, те вопросы, которые уже поставлены, — независимо от того, какие на них даны ответы. Тем более в ситуации сегодняшнего публичного противоборства вокруг отечественной истории, в котором сталкиваются не только разные образы прошлого, но и несовместимые образы желаемого будущего.

Сейчас это противоборство развертывается в основном по поводу оценок советской эпохи. Но не исключено, что вскоре оно может затронуть и времена, которые у Янова находятся в центре внимания. Речь идет о конце XV — первой половине XVI века, т.е. о начальном периоде независимой московской государственности, который Александр Львович называет «европейским столетием России».

Если происходит «государственническое» переосмысление сталинской эпохи, то не заставит себя долго ждать и аналогичное переосмысление эпох более давних. Оно уже и началось — достаточно упомянуть почти тысячестраницный труд известного историка Игоря Фроянова, в котором террор Ивана Грозного интерпретируется даже более «государственнически», чем это было при Сталине. Опричнина рассматривается автором как спасительная для России политика, как единственная возможная в те времена альтернатива губительному западному влиянию.

Что мне кажется наиболее продуктивным в концепции Янова? Наиболее продуктивным кажется мне то, что он связывает перспективы европеизации России с наличием в ней европейской традиции. Традиции (точнее, мне кажется, все же говорить о тенденции, никогда не прорывавшей самодержавную оболочку), которая имела место не только в оппозиционной политической мысли, но и в государственной практике. Ведь если такой традиции или тенденции не было, если история страны — это история «тысячелетнего рабства» или унаследованного от монголов и ставшего русским генетическим кодом «ордынства», то в отечественном прошлом нам с вами опереться не на что. Тогда наше историческое сознание обречено быть исключительно негативистским. А это значит, что тогда у нас нет в стране своего прошлого и, следовательно, нет и будущего.

Другое дело, где искать эту европейскую традицию. Александр Янов ищет и находит ее в периоде, начавшемся с правления Ивана III и продолжавшемся до опричного террора его внука. В свою очередь, полагает Александр Львович, «европейское столетие» только потому и могло состояться в послеордынской Московии, что она унаследовала традицию «вольных дружиинников» Киево-Новгородской Руси — дружиинников, служащих князю по договору. То есть так, как было и в феодальной Европе. Тут, однако, начинают возникать вопросы, которые хотелось бы обсудить.

Во-первых, вопрос о том, насколько корректно уподоблять сюзерен-вассаль-ные отношения в феодальной Европе, бывшие там правовыми — с оговориванием взаимных прав и обязанностей и судебной процедурой разрешения конфликтов, — отношениям между князем и дружинниками на Руси. Ведь здесь, как известно, никаких фиксированных правовых отношений между ними не было, а «договор» предполагал лишь возможность беспрепятственного и немотивированного ухода дружины от одного князя к другому — благо все князья принадлежали к монопольно правившему Русью роду Рюриковичей. Можно ли, кстати, считать, что такое коллективное родовое правление имело европейские аналоги?

Во-вторых, насколько правомерно говорить о том, что традиция «вольных дружинников» — в том виде, в каком она первоначально сложилась, — пережила монгольскую колонизацию и сохранилась в послемонгольской Москве? О каких свободных переходах от князя к князю может идти речь в государстве, ставшем централизованным?

В-третьих, «европейское столетие» охватывает четыре разных типа правления — Ивана III, Василия III и Ивана IV (первый период его царствования), а в годы несовершеннолетия последнего было еще и так называемое боярское правление. Александр Львович все это объединяет в один исторический цикл, и хотелось бы услышать ваше мнение — прежде всего я имею в виду присутствующих здесь историков — о том, насколько такое объединение оправданно.

В-четвертых, в Европе к началу этого периода уже давно утвердилось римское право, уже был Ренессанс, а примерно в середине данного периода произошла Реформация. И вопрос заключается в том, правомерно ли говорить о «европейском столетии» применительно к стране, таких явлений и событий не знавшей.

На чем строит Александр Львович свою концепцию, какими конкретными фактами ее обосновывает? Основные среди них следующие.

1. Учреждение Юрьева дня в Судебнике 1497 года, в чем автор усматривает своего рода «крестьянскую конституцию», т.е. альтернативу будущему крепостному праву.

2. Наделение в Судебнике 1550 года Боярской думы законодательными полномочиями — 98-я статья Судебника, закреплявшая за Думой такие полномочия, трактуется Яновым как русская Magna Carta, как аналог Великой хартии вольностей.

3. Учреждение при Иване Грозном (в доопрочный период его царствования) местного самоуправления, что тоже рассматривается как важный шаг в европейском цивилизационном направлении.

Давайте обсудим, насколько все это убедительно. Не оставим без внимания и факты более позднего времени, которые Александр Львович приводит для обоснования жизненной силы европейской традиции, сложившейся в XV—XVI веках.

Он ссылается, в частности, на проект «конституционной монархии» 1610 года, подготовленный под влиянием трагических событий Смуты боярином Михаилом Салтыковым, — документ, в котором оговаривались условия приглашения на московский престол польского королевича Владислава. Этот проект предполагал существенные ограничения самодержавной власти, но реализован не был. Ссылается Янов и на замысел «верховников» (членов Верховного тайного совета при императоре) 1730 года, тоже намеревавшихся ограничить самодержавие, но тоже безуспешно. Тем не менее такие попытки, по мнению Александра Львовича, свидетельствуют об органичности европейской традиции в России. Или, пользуясь его терминологией, о том, что традиция «вольных дружиинников» всегда противостояла в стране традиции «холопской».

Думаю, что и здесь предмет для разговора наличествует. Зная позиции многих из присутствующих, я предвижу, что концепция Янова и ее обоснования будут подвергаться критике. И хочу заранее попросить такой критикой не ограничиваться, а попытаться ответить на вопрос, была ли все же в истории российской государственности европейская политическая традиция (или хотя бы заметная европейская тенденция). И если да, то когда именно и в чем она проявлялась.

Повторю еще раз: если ничего такого в российской истории не было, а были лишь «тысячелетнее рабство» и «ордынство», то у нас с вами нет не только прошлого, но и будущего. С нуля в истории ничего не начинается, преемственная нить в ней даже при самых резких переменах никогда не рвется, при них всегда что-то из уходящего наследуется. А потому наше идеологическое обнуление прошлого, т.е. признание его полностью чужим и чуждым, может означать лишь добровольное согласие на сохранение или возрождение «ордынства» в новых формах.

Впрочем, такое обнуление и сопутствующее ему последовательно негативистское историческое сознание в нашей среде пока еще всеобщим не стало. Кто-то ищет и находит европейскую традицию (или тенденцию) в Новгородской вечевой республике, видя, в отличие от Янова, в послемонгольской Московии не продолжение, а отрицание этой традиции. Кто-то — в деятельности Петра I: напомню, что в начале 1990-х эмблемой партии «Выбор России», объединившей Егора Гайдара и его единомышленников, был Медный всадник...

Евгений ЯСИН (президент фонда «Лiberальная миссия»):

А потом Борис Немцов стал добиваться установления памятника Александру II...

Игорь КЛЯМКИН:

Да, помню. И Немцов не единственный, кто истоком российского полити-

ческого европеизма считает реформы царя-освободителя. Но есть и те, кто предпочитает вести отсчет с указа Петра III о дворянской вольности и жалованных грамот Екатерины II дворянству и горожанам. Или с октябрянского Манифеста 1905 года и последовавших за ним законов, впервые вводивших в России парламентаризм. Так где же наши исторические точки отсчета и точки опоры?

Итак, начинаем обсуждение. По просьбе Александра Янова его концепцию более обстоятельно представит нам Лев Львович Регельсон. Потом выступят несколько оппонентов. А потом, как всегда, свободная дискуссия.

Лев РЕГЕЛЬСОН (историк русской церкви):

«Самодержавию Ивана Грозного предшествовал абсолютизм европейского типа»

На днях в Интернете я вычитал одну замечательную фразу: «Интеллигентный человек, который не читал Янова, — это нонсенс». Это сказал Зимин Дмитрий Борисович, который здесь присутствует. Понимаю вашу реакцию: я тоже устыдился, потому что сам не так давно полностью прочел трилогию, хотя с деятельностью Александра Львовича знаком еще с 1970-х годов. Мне бы хотелось высказать пожелание, чтобы после нашего собрания эта фраза Зимина вошла в жизнь. Чтобы интеллигентному человеку было стыдно, если он не читал Янова.

Поверьте, вы не пожалеете затраченного времени: это захватывающее чтение. Проблемы, которые поднял автор, горят в каждом из нас: Россия и Европа, модернизация и традиция, отношения общества и власти — без решения этих проблем мы не можем определить свою личную позицию в сегодняшней жизни. Трилогия Янова, которую мы обсуждаем, — это живая, открытая книга, побуждающая к размышлению, к внутреннему спору, к развитию одних идей и критическому отношению к другим. Такие качества обеспечивают работе Янова долгую жизнь. У нее обязательно найдутся не только критики, но и продолжатели.

Трудно определить жанр этой работы, и я не буду его определять. Сам Янов говорит: «Я написал картину». И надо сказать, это и в самом деле художественно, мощно написанная картина: она переворачивает все наши стереотипные представления о русской истории, которая предстает у Янова как великая, захватывающая драма идей. Он, по существу, предлагает новую систему координат, создает, по завету Георгия Федотова, «новую схему национальной истории».

Образ России, нарисованный Яновым, приводит к выводу: мы не монголы, не азиаты «с раскосыми и жадными очами», не «щит между двух враждебных рас» и не «мост между Европой и Азией». Мы — не Евразия и не Азиопа; мы, при всем нашем своеобразии, просто Европа (в Европе ведь все очень раз-

ные!). Янов доказывает это на огромнейшем материале, с необычайной силой выстраданного убеждения. Почему же его идеи так трудно входят в сознание, почему вызывают такое непонимание и отторжение — как на Западе, так и в самой России?

Главная причина в том, что мифологическое сознание (со знаком плюс или минус) радикально искажает восприятие русской истории, приводит к потере чувства реальности. И, как следствие, к неадекватной реакции на вызовы сегодняшнего дня. Надо ли объяснять, что такая неадекватность самосознания чревата стратегическими поражениями и даже национальными катастрофами? Демифологизация исторического сознания требует огромных усилий ума и сердца, глубокого чувства ответственности за судьбу своей страны и своего народа.

Для большинства здесь присутствующих попытка разгадать тайну русской истории была задачей важной, но все же не единственной. Для Александра Львовича Янова это стало делом всей его жизни: «Он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». Он за всех нас выполнил эту гигантскую работу, и теперь невозможно двигаться дальше, не усвоив результаты этой работы.

Как правило, никто не сомневается в европейском характере Киево-Новгородской, домонгольской Руси. Но существует расхожее мнение, что монгольское иго радикально изменило общественный и политический архетип русского народа. Был народ европейский, а стал — совсем другой. А дальше начинаются споры, какой именно. Но почему-то испанцы остались испанцами за 700 лет арабского владычества; греки, сербы или болгары сохранили свою идентичность после 400 лет владычества турецкого, а русские (и только русские!) перестали быть самими собой из-за того, что 250 лет выплачивали дань Золотой Орде! А между тем ведь даже оккупации русской земли в те времена не было, были только эпизодические карательные набеги.

Янов буквально камня на камне не оставляет от этого абсурдного, но почетно-невероятно цепкого мифа — о коренном изменении русской ментальности под влиянием монгольского ига. Рассматривая становление послемонгольской московской государственности — от Ивана III до раннего Ивана IV, он называет тот период «европейским столетием России». Для доказательства этого центрального тезиса, который для многих звучит совершенно неожиданно, Янов вводит очень важное понятие — «латентные ограничения власти». Оттого что эти ограничения не были зафиксированы в виде свода законов и конституции, мы их и не воспринимаем как реальность.

Для историков неформализованное, «латентное» — это что-то эфемерное, как бы несуществующее. Однако в Московской Руси общественная и политическая жизнь строилась как раз на традициях, обычаях, поведенческих нормах (впрочем, и Европа с этого начинала). Да, эти нормы не были законодательно оформлены, но они действовали не менее мощно, чем в Европе того времени.

Как и везде в Европе, в России складывалась сильная центральная власть, которая мирными и военными средствами собирала земли, боролась с анархией и местничеством, постоянно мерялась силой со своими соседями. Но при этом московские государи были вынуждены считаться со множеством традиционных ограничений. Они были вынуждены считаться с сословными привилегиями боярства, духовным авторитетом Церкви, крестьянским землевладением и правом крестьян на переход (Юрьев день).

Типичным европейским монархом Александр Янов считает Ивана III, которому приходилось лавировать, искать союзников, противопоставлять друг другу противников, создавать сложную систему сдержек и противовесов. И опять-таки точно так же поступали все европейские государи. При этом на рубеже XV–XVI веков в Москве кипела интеллектуальная жизнь, свободная (по меркам позднего Средневековья) религиозная полемика, сталкивались конкурентные общественно-политические проекты. И наконец, бурно развивалась экономическая жизнь. Короче, то была самая натуральная Европа, ничего общего не имеющая с восточной деспотией.

А что мы знаем об этой эпохе русской истории? Да ровным счетом ничего. Значит, пришло время узнать.

Имея дело по преимуществу с историками формально-рационалистического склада, Янов особо акцентирует внимание на том, что какие-то из латентных ограничений власти начали приобретать в ту эпоху форму письменно зафиксированного законодательства. Игорь Моисеевич Клямкин уже об этом говорил, не буду повторяться. Однако это, в конце концов, не главное. Пусть даже формализация действительно была только «пунктирная», как выражается Андрей Анатольевич Пелипенко, но сами-то ограничения власти были очень даже реальные.

Самодержавию Ивана Грозного, по Янову, предшествовала, конечно, не демократия («какая демократия в Средние века»?), но абсолютизм европейского типа. Кстати, насчет понятия «абсолютная монархия» нужно сказать, что это абсолютно неверный термин, который только вводит в заблуждение. Европейская монархия как раз не была абсолютной, она была относительной, ограниченной, можно сказать «предконституционной». И такой же была русская монархия до Ивана Грозного.

Иногда Янова упрекают в том, что он говорит только о высших слоях общества, о боярстве, о церковной иерархии, о нестяжательской интеллигенции, а применительно к послепетровским временам — о дворянстве, т.е. верхнем европеизированном сословии. А вот народная масса, по утверждению многих либералов, была и остается архаичной, пребывающей в дремучей «азиатчине». С другой стороны, нынешние идеиные потомки славянофилов именно в этой архаичности видят залог всемирного величия России.

Я хочу привести один собственный тезис против этого предубеждения насчет воображаемой русской «азиатчины». Будучи в русле яновской концепции,

он, на мой взгляд, расширяет ее доказательную базу. Мой тезис: «Настоящие русские европейцы — это старообрядцы».

Вижу вашу реакцию, понимаю, как это парадоксально звучит. Мы привыкли считать старообрядцев фанатиками, мракобесами — это же они называли Петра I антихристом за его европейские новшества. Все так. Но без такого фанатизма, видимо, и нельзя было устоять перед нашей свирепой инквизицией, которая ничуть не уступала католической. Но что можно было сделать, как справиться с теми, кто твердо верил: «Не та церковь, которая мучит, а та церковь, которую мучат»?

Первые протестанты тоже были фанатиками. Суть Реформации и у нас, и в Европе — не в различиях вероучения или форме обряда, но в борьбе за независимость от церковной (а заодно и от государственной) власти. И эту борьбу старообрядцы выиграли: они стали самым свободным, самым инициативным и деятельным сословием в России. Они создали то, что называется старообрядческим капитализмом, — с его деловой этикой, мировым размахом, с его высокой культурой и социальным служением: благодаря им возникали народные школы, больницы, библиотеки, музеи.

Наберите «старообрядческий капитализм» в Интернете, и вы получите огромнейший и интереснейший материал. Причем не только о событиях и явлениях конца XIX века. Уже во времена Петра была знаменитая выговская община с прекрасной школой и библиотекой. Именно здесь, кстати, получил образование Михайло Ломоносов, о чем у нас почему-то никто не пишет. Так вот, Петр I самолично посетил выговскую общину, все там осмотрел и оставил ее жителей, с их бородами и кушаками, в покое. Ему хватило ума понять: вот она — Европа, она уже тут, и никаких голландцев сюда выписывать не надо. Это было типичное раннекапиталистическое предприятие, очень эффективное и успешное — с промыслами, ремеслами, с посреднической торговлей. А ведь это 1700 год!

Не буду развивать эту мысль дальше. Важно, чтобы она зацепилась в сознании.

Следя Георгию Федотову, Александр Янов видит решающий узел русской истории в борьбе нестяжательства с иосифлянством. Нестяжательство — это глубинное духовное движение, восходящее к Сергию Радонежскому и к византийскому исихазму. Суть нестяжательства — не только в отказе от землевладения (точнее — от эксплуатации крестьянского труда). Главное в нем — становление свободной христианской личности, предстоящей перед Богом без посредников, личности образованной, деятельной, веротерпимой, с высокой социальной ответственностью и мировым культурным кругозором. Нил Сорский, Максим Грек, Вассиан Патрикеев — вот самые яркие представители этого нового типа христианской личности. До сих пор движение нестяжателей недостаточно оценено, но если православие вообще имеет будущее (бУ

дем надеяться, что, несмотря ни на что, все-таки имеет), то именно на путях возрождения этой великой традиции.

Однако в одном частном вопросе я хочу все же уточнить концепцию Янова. Думаю, что нестяжательство нужно ставить в параллель не с Реформацией, а с попытками церковных реформ в католической церкви, происходившими в начале XV века (соборы в Констанце и Базеле). То было мощное движение, возглавляемое французским епископатом и университетами, то была попытка внутренней реформы католической церкви, попытка соборного ограничения власти папы. Борьба была долгой и упорной, и закончилась она полным поражением реформаторов. Именно провал этой реформы привел к стагнации католицизма и, как неизбежное следствие, к Реформации — яростной, фанатичной и кровавой, отколовшейся от католической церкви лучшие народные силы.

То же произошло и у нас. Старообрядческий раскол тоже был последствием отказа от того внутреннего, духовного обновления церкви, которое начали нестяжатели. И тоже увел из государственной церкви лучшие народные силы. Однако, в отличие от европейских протестантов, независимой политической опоры у старообрядцев не нашлось.

Не могу не сделать важное дополнение к тому, что только что сказал Игорь Моисеевич Клямкин. Дело в том, что исследование Янова не ограничивается нарисованной им картиной XV—XVII веков. Второй и третий тома трилогии — это совершенно уникальная и драматическая история развития славянофильских идей в России и их влияния на политику. Идей, которые остро актуальны и сейчас, когда опять, как 100 лет назад, «время славянофильствует».

Чрезвычайно важен анализ Александром Львовичем и «николаевской реакции», когда сложилась доктрина российской исключительности. Доктрина, согласно которой Россия — какая-то особая цивилизация, чуждая всему миру, и прежде всего Европе. В предшествовавшуюalexандровскую эпоху столь дикая мысль (что Россия не Европа) просто не могла никому прийти в голову. Когда русские войска стояли в Париже, вся Европа принимала их с восторгом и благодарностью. И никто тогда «огромности нашей» (слова Александра III) не боялся, и было у нас много союзников, кроме «нашей армии и нашего флота». Но когда при Николае I Россия развернулась к Европе задом и нарушила основополагающие принципы Священного Союза, тогда и начала развиваться европейская «русофobia», не изжитая и поныне. Как говорится — за что боролись...

Плоды этого «выпадения из Европы» — позорный итог Крымской войны, экономическая и политическая отсталость. И — самое цепкое и вредоносное — идеология имперского «особнячества», перехваченная у германских тевтонофилов. В свое время иосифляне ради спасения своих латифундий, по существу, отреклись от православия: идеология «земного бога» — это боль-

ше, чем ересь, это духовная измена Христу. Через 300 лет, в николаевскую эпоху, дворяне-крепостники в страхе перед потерей своих поместий отреклись от своего «европейства». Но, как всегда бывает в России, после приступа деспотизма началась либеральная реакция, выразившаяся в раскрепощении крестьян, возникновении свободной прессы, судов присяжных, земского самоуправлении и, наконец, думской (почти конституционной) монархии.

Александр Янов всю жизнь отчаянно воюет на два фронта, пытаясь низвергнуть «правящий стереотип» исторического мышления — как российского, так и европейского — насчет однолинейности русской истории. Он убедительно доказывает, что в ней постоянно борются два начала, две традиции («договорная» и «холопская»), между которыми все время колеблется свободная воля нации и ее интеллектуальной элиты. Но до сих пор его проповедь остается «гласом вопиющего в пустыне».

Многие критики выражают почтение к личности и научному подвигу Александра Янова, но затем полностью отвергают его ключевую идею. Вот, например, уже упоминавшийся мной Андрей Пелипенко (его здесь, к сожалению, нет) пишет, что у нас все либеральные реформы терпят неудачу, что они никогда не доводятся до конца и что всегда в конечном счете побеждает деспотизм. И этот пессимистический вывод повторяют, как заклинание, многие поколения русской интеллигенции. Сколько живу, столько и слышу эти унылые причитания.

Опираясь на исследование Янова (да и на собственные размышления), выскажу прямо противоположный тезис: как раз деспотизм у нас всегда терпит поражение. Его замыслы никогда не удается довести до конца, и каждый раз после очередного приступа деспотии наступает либеральная реакция. О чём, кстати, постоянно стенают наши «стальные соловьи империи».

Последняя такая реакция началась сразу после того, как умер Сталин. С тех пор деспотизм отступает — с сопротивлением, с арьергардными боями, но отступает неуклонно. Все выглядит так, как будто происходит трудное и медленное выздоровление после смертельно опасной болезни. Это — наша жизнь, мы не поняли об этом знаем. Мы, конечно, все время ворчим, говорим, что все остается по-прежнему, но ведь, положа руку на сердце, это же неправда. Если мы посмотрим непредвзято, то Россия после Сталина — пусть медленнее, чем нам бы хотелось, — трансформируется все же в европейскую страну. И тем самым становится самой собой, возвращается к своей внутренней норме.

Я позволю себе несколько заострить яновскую мысль, выразив ее в такой формуле: «особняческое имперство» — это русская болезнь, патриотизм европейского типа — это русское здоровье. Поскольку облазн самообожания (или самообожения) еще не изжит до конца, окончательный выбор между здоровьем и болезнью нации, между жизнью и смертью российской государственно-

сти еще не сделан. И так же, как перед Первой мировой войной, мы переживаем тот момент колебания в выборе национальной стратегии, когда решающей становится роль интеллектуальной элиты.

В связи с этим возникает последний, самый актуальный вопрос: насколько реальна опасность очередного пароксизма, очередного приступа националистического безумия, подобного тому, который сто лет назад вверг Россию в губительную для нее мировую войну, имевшую результатом гибельный для национального будущего пароксизм тоталитарного коммунизма? Возможно ли повторение чего-то подобного сейчас? Александр Янов успокаивает себя и нас тем, что социальной базы для этого теперь нет. Мол, в 1917 году было архаичное мужицкое царство, которое могло поддаться пропаганде большевиков, а сейчас ничего такого не наблюдается. Однако меня это не убеждает.

Сейчас набирает силу имперское реваншистское движение, и социальная база у него весьма значительная. И главное, быстро формируется пусть утопическое, но эффектное — при нашей глубокой религиозной безграмотности — идеиное обоснование реваншизма, которое можно назвать «национал-православием». Здесь присутствует священник Глеб Якунин, который это явление определяет как «православный ваххабизм». Вот тут его брошюра лежит распечатанная, где он подробно рассказывает, как много сделала церковь для обожествления Сталина. В свое время иосифляне создали Грэзного; в XX веке церковные наследники Иосифа Волоцкого, конечно, Сталина не создали (скорее он создал их), но они создали божественный nimб над его головой. И хотя нынешняя церковная власть от Сталина публично отрекается, в широких массах церковного и околоцерковного народа, духовенства и монашества культа Сталина (заодно с культом Ивана Грэзного) все более нарастает. И эта опасность не становится меньшей из-за того, что многие из числа сторонников таких идей говорят о себе: «Я в Бога не верю, но я православный».

В этой религиозной тоске о Сталине дает о себе знать все та же духовная болезнь, которая зародилась при Иване Грэзном. Дело ведь не только в том, что «мы любим больших злодеев», как с горечью писал Солженицын. В Европе тоже были жестокие правители, которые пролили побольше крови, чем Иван Грэзный. Но такого глубокого растлевающего воздействия на свои народы никто, кроме него, произвести не смог.

Причина этого в том, что он сумел извратить самые глубокие основы христианской веры: никто до него в христианском мире земным богом себя все-таки не называл. И эта лжемиссия была на него возложена не кем-нибудь, а высшими церковными иерархами с молчаливого одобрения большинства верующего народа. Ведь не сам же он все это придумал!

Именно иосифляне соблазнили его этой безумной антихристианской доктриной, он только развел ее до крайних выводов. В итоге же напугал до смерти даже самих иосифлян, увидевших, какого монстра они вырастили.

Он открыто провозгласил, что является единственным представителем Бога на земле и что всякая попытка ограничения его власти есть противодействие самому Богу. Эта доктрина — прямая ересь против святоотеческого учения о соотношении божественной и человеческой воли. Я не могу сейчас в это углубляться, но с позиций этого учения соборный контроль над земной властью не есть ограничение воли Божией, а есть лишь необходимое ограничение личной греховной воли главы государства.

Иосифляне, конечно, рассчитывали, что Иван Грозный именно им предоставит истолкование воли Божией и тем самым станет послушным орудием в их руках. Но он довел их идею до логического конца: какой же он самодержец, если будет слушаться каких-то наставников, хотя бы и церковных? У Ивана Грозного осталось единственное, хотя, по существу, воображаемое самоограничение: он все же верил в существование Бога небесного и себя считал богом только на земле. Отсюда его демонстративные покаянные приступы между приступами «людодерства». Чего стоит такое «покаяние», судить не будем, оставим место суду Божию. Образ этой извращенной «духовности» глубоко, на века отравил христианское сознание России: внутреннее принятие такого самодержавия было отступлением от Бога, грехопадением библейского масштаба.

Но чтобы тирана XX века — атеиста, не знавшего уже никаких приступов покаяния, — называли «богопоставленным вождем» и «вершителем Правды на земле», чтобы высшие церковные иерархи говорили: «Он с нами был как отец с детьми», чтобы после его смерти они искренне рыдали: «Без него мы осиротели» — как это называть? Тут какие-то необычные слова нужны, которых я не нахожу. Понимаю, как это прозвучит в этой аудитории, но, может быть, интуиция старообрядчества была, в принципе, правильной, может быть, эту духовную болезнь надо определить, скажем, как «синдром антихриста»?

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Лев Львович. Смысл вашего выступления, как я его понял, заключается в том, что Россия начиналась и до середины XVI века развивалась как европейская страна, а потом сбылась с первоначального пути и до сих пор не только не может вернуться на него окончательно, но вновь находится перед грозными вызовами со стороны «особнячества». В этом заключается и концепция Александра Янова, которую вы представили. Однако многим именно потому и трудно принять идею европейского начала отечественной истории и — особенно — идею послемонгольского «европейского столетия», что «возвращение в Европу» все еще не состоялось, а реальный ход событий не дает надежных гарантий того, что оно состоится в обозримом будущем. Но относительно трактовки Яновым событий этого столетия есть сомнения и у профессиональных историков.

Я хочу предоставить слово известному российскому исследователю Древней Руси Игорю Николаевичу Данилевскому. Его точка зрения интересна тем более, что трилогия Янова завершается послесловием Игоря Николаевича и ответом на это послесловие автора трилогии, причем полемика ведется в довольно жестких тонах. Пожалуйста, Игорь Николаевич.

Игорь ДАНИЛЕВСКИЙ (заместитель директора Института всеобщей истории РАН):

«Деспотическое государство возникло и стало воспроизводиться на Руси с XII века»

Это послесловие я написал по просьбе самого Александра Львовича. Причем сразу сказал ему о своей позиции, но, видимо, что-то не довел до конца в том разговоре. Очевидно, какие-то положения в моем тексте для Янова оказались неожиданными.

Я отношусь, наверное, к самой худшей категории историков-мargиналов. Я — источникoved, не создающий никаких концепций. И интересуюсь я довольно узким периодом отечественной истории, занимаясь древнерусскими источниками, а также тем, как выявляется историческая информация в источниках, насколько корректно она обрабатывается, и тому подобными вопросами. Поэтому, когда я начал читать трехтомник Александра Львовича, у меня сразу возникала двойственная реакция.

С одной стороны, написанное им невероятно интересно, потому что это обобщение, на которое я не способен в принципе. К тому же сейчас у нас отсутствуют сколько-нибудь внятные концептуальные построения, которые охватывали бы всю российскую историю. Но, с другой стороны, я буквально на каждой фразе спотыкался, потому что постоянно упирался в то, что *то* или *это* не исторический факт, как у нас принято говорить.

Работа Янова построена как некий математический конструкт. Он берет за основу энное количество аксиом, из которых логическим путем потом пытаются сделать выводы, которые не всегда последовательны и непротиворечивы. В тексте трилогии есть целый ряд нестыковок, а формулировки сплошь и рядом противоречат друг другу.

Я остановлюсь на сугубо исторической части, причем на той, в которой я лучше разбираюсь: на истории до XVI века. Дальше я не пойду, потому что там я уже понимаю очень мало. Но прежде еще раз повторю: в основе трилогии лежат не столько исторические факты (хотя я стараюсь избегать этого термина), сколько некие метафоры, которым придается совершенно специфический смысл.

Скажем, те же самые нестяжатели, о которых говорилось уже и в ходе нашего обсуждения. Нестяжатели — это в данном случае именно метафора. Поэтому что реальные нестяжатели, начиная с Нила Сорского, никогда не были сторонниками еретиков, они никогда не боролись против земельной

собственности монастырей. Между тем автор трилогии многие свои выводы делает, опираясь на «факт» такой борьбы.

Нил Сорский выступал против Иосифа Волоцкого только по вопросу о том, кто должен обрабатывать монастырские земли: крестьяне или сами монахи. Кроме того, последние источниковедческие работы показывают, что самые жесткие главы «Просветителя» Иосифа Волоцкого были написаны рукой Нила Сорского. Именно к Сорскому в борьбе с еретиками обращался новгородский епископ Геннадий, а вовсе не к Волоцкому.

Кстати, последний не был таким уж непреклонным сторонником идеи самодержавия, каким видится он Янову. Волоцкий мог менять свою позицию по отношению к государственной власти в зависимости от того, шла она ему навстречу или нет. Так, скажем, до 1504 года Волоцкий пишет, что, с одной стороны, всякая власть от Бога, а с другой — что вопрос о том, как распорядились этой властью, это дело и подданных. И потому они имеют право сопротивляться власти тиранической, если с таковой сталкиваются. Но после того, как Василий III берет под свой патронат волоколамский монастырь Иосифа, тот пишет, что всякая власть от Бога и государь как распорядился ею, так и распорядился: отвечать он будет только на Страшном суде. То есть акценты менялись в зависимости от конкретной политической и экономической ситуации. Поэтому не было и постоянного и последовательного противостояния иосифлян и нестяжателей, на котором строит свою концепцию Янов.

Такое несоответствие обнаруживается и во всех прочих положениях его трилогии. К примеру, в оценках тех же судебников 1497 и 1550 годов, на которые ссылается Александр Львович в подтверждение своих умозаключений. Начну с того, что я, честно говоря, не понял, почему учреждение первым из названных судебников Юрьева дня — это «крестьянская конституция». Давно известно, что введение ограничения на переход крестьян есть первый шаг к их закрепощению. Но бог даже с этим. Фокус-то заключается в другом.

У нас об этом как-то не принято говорить, но мне бы хотелось задать присутствующим один простой вопрос: а сколько было списков судебников 1497 и 1550 годов? Ответ на него, по-моему, звучит убийственно: оба судебника существовали в одном экземпляре! Это были оригиналы, которые хранились в государевой казне. Их никто никогда больше не видел. Это были декларации, не вполне ясно кому адресованные. Поэтому рассматривать судебники как свидетельство о каких-то радикальных изменений в обществе, я бы поостерегся. А Соборное уложение 1649 года — это уже совершенное другое дело. Это текст, который был размножен в количестве 1000 экземпляров, сверен с оригиналом и разослан по территориям. Это реально действовавший законодательный акт.

И уж совершенно выбивает меня из колеи обнаруженная Яновым «самодержавная революция» Ивана IV.

Александр Львович пишет, конечно, не историческое сочинение, а создает, как здесь уже говорилось, некую картину. В ней — очень яркие и интересные образы. И общий пафос этой работы меня ничуть не смущает. Наоборот, даже вдохновляет. Я тоже думаю, что Россия — европейская страна, хотя и со своими особенностями. И что она всегда была европейской. Если мы начинаем сравнивать ее по каким-то фундаментальным основаниям со странами Западной Европы, то находим очень много общего. Притом что есть, конечно, и своя специфика. И касается она в том числе и российской государственности.

Так сложилось, что я на протяжении многих лет читаю базовый курс — когда-то истории СССР, а теперь истории России до XVI века. И мне волей-неволей приходится давать какую-то общую схему, укладывать материал в какую-то систему. Тем более что я занимаюсь еще и экспертизой учебников для средней школы да и сам являюсь автором нескольких учебников. Это тяжкий крест. Любой, кто когда-то пытался написать такой учебник, представляет себе, что это такое. Это совершенно ужасное дело. И до настоящего времени нормально не реализованное, хотя есть и неплохие опыты.

Так вот, когда начинаешь задаваться вопросом, а что, собственно, у нас изучают в школе, становится понятно: у нас изучают не историю российского государства как такового. С одной стороны, никто мне не докажет, что современная Российская Федерация и РСФСР — это две стадии развития одного и того же государства. Это государства разные. Современная Российская Федерация — не стадия и Российской империи. Но, с другой стороны, базовая отечественная государственность, на мой взгляд, была и остается единой — меняются лишь ее исторические формы. Что же она собой представляет? Как возникла и как развивалась?

На ранних стадиях ее развития государственные функции выполняли три институции. Это, прежде всего, «народное» собрание (вече), хотя народное оно (увы и ах!) только в кавычках, поскольку на этом собрании присутствовали только определенные категории людей. Если, скажем, говорить о Новгородской республике, то это, судя по всему, наиболее влиятельная часть местной аристократии. Вторая институция — князь (государь), опиравшийся на вооруженную дружины, которая представляла третью силу, облеченнную властью. Эти три институции и закладывали основу «нашей» государственности.

Впоследствии, когда аморфное образование, называемое условно Киевской Русью или древнерусским государством, распадается, появляются самостоятельные государственные образования: земли и княжества, каждое из которых так или иначе развивает исходную основу. В результате формируется три базовых типа государственности, причем все зависит от того, какая из перечисленных сил стоит наверху треугольника власти.

«Республиканский» Новгород, а затем Псков и в какой-то степени Полоцк за основу берут вечевые собрания, которые приглашают князя с дружиной для выполнения вполне определенных военных функций.

На юге и юго-западе образуется то, что условно можно назвать раннефеодальной монархией. Там, казалось бы, присутствует довольно сильная власть князя. Но власть старшей дружины (боярства) явно ее перевешивает. Бояре контролируют действия князя, причем очень уверенно и успешно. Это им делать тем более легко, что фактически они возглавляют вечевые собрания (в таких городах, как Галич). Боярство здесь в состоянии иногда даже заставить «высшего» представителя власти в лице князя поступать вопреки его собственным желаниям и планам.

И наконец, третий тип государственности, сложившийся на северо-востоке, — тот самый, который — увы! — развивается в нашей стране уже на протяжении многих сотен лет. Это деспотическая монархия. Основу ее закладывает в XII веке Андрей Боголюбский, который изгоняет старшую дружину и остается с той организацией, которую мы до поры до времени не видим. Это «служебная организация». Грубо говоря, обслуживающий персонал, состоящий из холопов, которые до того занимались лишь хозяйственными вопросами.

Новое окружение, набранное князем Андреем из холопов, — это теперь уже не *товарищи*, а *милостники*, *подручники*. Мало того, он и со своими родственниками начинает поступать как с подручниками. Что, понятное дело, их очень обижает.

Василий Осипович Ключевский одним из первых четко зафиксировал эту «самодержавную революцию» Андрея Боголюбского. По словам великого историка, на авторитет которого все время ссылается Александр Янов, Андрей Боголюбский — это первый великоросс, который выходит на историческую сцену. Великоросс не в этническом смысле — хотя бы потому, что в нем было намешано кровей каких угодно, среди которых славянская составляла в лучшем случае не более одной шестьдесят четвертой части. Среди его предков были и англосаксы, и греки, и шведы, и еще какие-то скандинавы. Андрей Боголюбский — великоросс не по крови, а по типу власти, которую он устанавливает. Но потом и его преемники проводят, в принципе, ту же государственную линию, которая полностью подпадает под те определения деспотии, которые дает Александр Львович.

Игорь КЛЯМКИН:

То есть линия Боголюбского — это не эпизод, не имевший продолжения, а заложенный им новый тип государства?

Игорь ДАНИЛЕВСКИЙ:

Да, это именно так. Это та деспотическая государственность, которая ста-

ла потом воспроизводиться. Александр Львович пишет, что особенность деспотического государства заключается в том, что изменить его природу невозможно, а можно лишь устраниć деспота, на место которого неизбежно придет другой деспот. Так вот, как раз Андрей Боголюбский был первым, кто это на себе и испытал. Впоследствии, кстати сказать, картинка будет приблизительно такая же.

Фактически все наследники Боголюбского так или иначе испробовали эту линию поведения в более или менее жесткой форме. Ордынское нашествие и включение северо-восточной и северо-западной Руси в сферу влияния Великой Монгольской империи лишь обеспечили этому процессу более благоприятные условия. А Иван Грозный просто доводит эту систему государственного управления до логического конца, отождествив себя со Спасителем. Судя по последним исследованиям, он устраивал эдакий небольшой Страшный суд в одной отдельно взятой стране, руководствуясь вполне благой целью: спасти своих подданных от вечных мук на том свете. Попытка эта оказалась, как он и сам в конце концов понял, неудачной. И он начал каяться...

Таковы мои размышления историка-«грядочника» по поводу трилогии Янова. Они, как мне кажется, ставят под вопрос очень многие его построения. Потому что логика знает четкий закон: из истинных оснований следует истинный вывод, а из ложных оснований могут быть сделаны выводы как истинные, так и ложные. На мой взгляд, в работе Александра Львовича есть целый ряд очень интересных истинных выводов. Но есть и такие, с которыми вряд ли можно согласиться.

Впрочем, повторю, общий смысл этой трилогии мне вполне ясен и очень близок. И прежде всего мыслью о том, что Россия — европейская страна. Хотя, по большому счету, я боюсь таких определений. Азиатская («холопская») традиция и традиция европейская, противопоставляемые друг другу, — это тоже метафоры. Мы знаем европейских деспотов — совершенно страшных. Мы знаем азиатские системы управления, которые были вполне европейскими по своему духу. Поэтому, на мой взгляд, европейское демократическое развитие — это тоже метафора. А с метафорами иметь дело всегда сложно.

И последнее. Александр Львович прямо заявляет, что он борется с историографическими стереотипами. Беда только в том, что и сам он при этом пытается опираться... на историографические стереотипы, а именно на стереотипы 60-х годов прошлого века. За истекшие 40–50 лет российская историческая наука продвинулась вперед, причем очень существенно — особенно в области источниковедения. А в постсоветский период, в котором мы пребываем уже почти 20 лет, в значительной степени сдвинулись и многие наши оценки и представления.

Ну не были декабристы такими уж либералами и демократами, какими они предстают в трилогии Янова. Когда читаешь воспоминания современников,

то понимаешь, что, не приведи Господь, пришел бы Пестель к власти (чего он так добивался), и Россия умылась бы кровью. Были, конечно, среди декабристов и романтики, вроде Никиты Муравьева. Но это мальчик, который не знает, сколько стоит кружка молока, и дает за нее золотой... Его, кстати, тут же крестьяне повязали и отправили куда следует, потому что ясно: не наш это человек, нормальные люди так не поступают. Но были, повторяю, и прагматики, которые рвались к власти всеми силами и прямо об этом говорили. Победи они, и, я думаю, результаты были бы очень тяжелыми.

Много есть у Янова таких моментов, которые меня, как историка, не устраивают. Если же говорить в целом, то могу лишь повторить: у меня к его работе отношение двойственное. Это, конечно, не историческое произведение в строгом смысле слова. Но вместе с тем очень любопытное и, думаю, весьма поучительное.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Игорь Николаевич. Теперь — Леонид Сергеевич Васильев. Пожалуйста, мы вас слушаем.

Леонид ВАСИЛЬЕВ (*главный научный сотрудник Института востоковедения РАН*):

«В Древней Руси, не знавшей античности, западное начало не могло играть сколько-нибудь существенной роли»

Хотя с Александром Львовичем Яновым меня связывает не слишком многое, это немногое достаточно серьезно. Когда-то мы вместе учились на истфаке МГУ, а такое обычно не забывается. Особенно если учесть, когда это было. Большинство из здесь присутствующих тогда еще не успели появиться на свет.

Но дело все же не только в рождающихся приятные ассоциации воспоминаниях далекой юности. Много существеннее то, что в те суровые годы жестоких репрессий (а они вовсе не завершились в 1930-х, но вспыхивали и в 1940-х) между по крайней мере некоторыми из нас, еще не до конца запуганных, существовали какие-то связи — не всегда очень тесные, зато достаточно выраженные. Это были связи тех, кто искал и находил единомышленников. Собственно, именно это всегда сохраняло во мне, когда наши профессиональные интересы далеко разошлись, достаточно теплые воспоминания о Саше Янове.

Теперь к делу. Должен сознаться, что трехтомник, который мы обсуждаем, я не читал, ознакомился с ним лишь перед обсуждением, что, собственно, не так уж и удивительно. Могу предположить, что и мои книги — а их у меня издано выше двух десятков — ни присутствующие, ни Александр Львович не видели и тем более не читали. Это естественно — нельзя читать все. Но даже беглое ознакомление с трилогией Янова и достаточно основательное — с его докладом убеждают меня в том, что основные наши идеи и идеалы остаются близкими до сегодняшнего дня.

Однако не только это побуждает меня отнести к работе Александра Львовича с максимальным вниманием. Меня сближает с ним и другое. Игорь Николаевич Данилевский, выступавший передо мной, сказал, что он — узкий специалист, которого общетеоретические проблемы не очень интересуют, и что в этом отношении он на Александра Львовича не похож. Так же, добавлю, как и на меня.

Дело в том, что и Янов, и я создаем строго определенные концепции, что — не станем скрывать — свойственно и доступно не каждому. Концепции — каждая в своем роде — глобальные. У Александра Львовича концепция служит ключом к интерпретации отечественной истории, а у меня — истории всемирной. Я не предполагал оспаривать лавры Маркса, но объективно получилось именно так — почитайте уже вышедшие в свет первые четыре тома моего шеститомника «Всеобщая история».

Так вот, перед этим стремлением Александра Янова создать собственную концепцию я снимаю шляпу. Мне импонирует такое стремление, несмотря на недостаточную убедительность всей суммы приводимых им аргументов (вполне вероятно, впрочем, что самому ему степень их убедительности представляется совсем иной). Но наши концепции разные — тут никуда не денешься.

С моей точки зрения, в истории России, которая всегда была и остается между Востоком и Западом, действительно есть элементы Запада. Это совершенно естественно уже потому, что российская субцивилизация является частью христианской — хотя и в православной, подчеркнуто восточной ее модификации. Но в этой субцивилизации с самого начала от Востока было слишком много — настолько, что она оказалась очень непохожей на Запад и далекой от западного христианства, тесно связанного с римской античностью как в католическом, так и в более позднем, протестантском, его вариантах. А в восточно-византийском, греко-православном и — так уж судьба сложилась — интенсивно ориентализованном варианте христианства от античной первоосновы очень мало что осталось. И вот почему вроде бы западная по определению, т.е. христианская, русская субцивилизация гораздо более Восток, чем Запад.

Так что неудивительно, что многих, в том числе и меня, мало убеждают аргументы, с помощью которых Янов строит линию обороны, чтобы отстоять свою позицию. Позицию, согласно которой западное начало в ранней Руси было более значимым, нежели принято думать. Но попробуем представить себе, с чего все начиналось.

Мы увидим славянскую деревенскую первобытность, а рядом с ней — много более продвинутых варягов. Именно с приходом варягов появляются здесь и «вольные дружины». Те самые, в которых Александр Львович видит олицетворение западного начала Руси.

Разумеется, они вольные. А не вольных, т.е. холопов, еще нет. Но несколько позже рядом с варяжскими *вольными* появляются *славянские холопы и смерды*. Нет ли здесь ключа к разгадке того, кто же нес в себе пусть хилый, но все же элемент Запада, а кто безнадежно увязал в полуправобытном холопско-подданническом Востоке? А если вспомнить, что Владимир Святой в борьбе за стол приводил в Киев довольно-таки большой отряд скандинавов, что точно так же поступал потом Ярослав Мудрый, то получится: к XII веку, который вспоминает в этой связи Янов, у Рюриковичей действительно еще были вольные дружины, помнившие о своем происхождении, а рядом с ними жили холопы с иной психологией и иным реальным статусом. Но как долго эти дружины вольности сохранялись?

Я отнюдь не склонен считать, что хорошо знаю реалии ранней отечественной истории. Более того, я просто мало их знаю. Есть, однако, персона в этой истории, которая вызывает у меня почти патологическую ненависть. Это Александр Невский.

Правда, Янов эту фигуру обходит. Не скажу, что внимание к ней в чем-то сильно укрепило бы позиции автора. Ведь совсем не в Европу продвигал Русь этот князь, а прочь от нее! И разве мало русской крови пролил он, отираясь в татарских юртах в стремлении выклянчить ярлык? Разве не поддерживала его активнейшим образом Русская православная церковь, для которой татары — как, скажем, и для Льва Гумилева — были ближе и приятнее, чем западные католики? Разве они, католики, чуть ли не сам римский папа, не предла гали Невскому руку дружбы против татар, от чего князь решительно отказался? И где же были в то время носители позитивного западного начала — те самые вольные дружины, которые могли бы оказаться рядом с Невским, долго княжившим в Новгороде, и повлиять на него?

Не знаю, где они были и были ли вообще. Скорее всего, их время к тому моменту уже кончилось. Они просто вымерли, не оставив серьезного следа и никак не повлияв не только на рабскую психологию холопов, но и на мерзкую психологию великих князей.

Если так, то это рвет протянутую Яновым прямую историческую нить от вольных дружиных к нестяжателям, которым он тоже уделяет немало внимания. Что о них можно сказать? Можно ли считать их предшественниками европейских протестантов? По-моему, это сомнительно, хотя Александр Янов и Лев Регельсон в этом, похоже, не сомневаются.

Предтечей старообрядцев — да, можно. Но протестантизм — это гигантский взрыв предбуржуазного западноевропейского города, повлекший за собой последствия колossalной важности. Ведь именно протестанты, а не мифическое первоначальное накопление Маркса оказались первоосновой капитализма. А потому и сопоставление последствий неправомерно. Даже если бы нестяжатели взяли верх и монастырские земли оказались в казне, это

(вспомним Петра I) привело бы в тех условиях лишь к тому же помещичьему крепостничеству. Условий для капитализма в России не было, ибо не было идейно-институционального антично-буржуазного фундамента, на котором только и мог быть воздвигнут капитализм.

Какова же могла быть при таких исторических обстоятельствах судьба в России тех европейских идей и практик, к которым постоянно апеллирует Александр Львович?

Да, был Судебник 1550 года, и в нем была 98-я статья, предоставлявшая Боярской думе законодательные права. Ну и каков исторический результат приятия этого Судебника, лежавшего бог весть где в единственном экземпляре?

Да, бояре хотели иметь царя под некоторым надзором, хотели, возможно, чтобы его пост был похож больше на пост спикера в современной нашей Думе, чем на пост президента. Но могло ли их желание осуществиться? Какой царь в Московии XVI века согласился бы добровольно подчиняться своим боярам? А силы, чтобы принудить его, у них, насколько понимаю, не было.

Или вот боярин Михаил Салтыков, который в занятом поляками Кремле в Смутное время сочинял какие-то конституционные гарантии в качестве условия возведения королевича Владислава на русский трон (быть может, и под влиянием поляка Жолкевского). Ну да, сочинял, учитывая, что власть отдавалась иноземцу. И что с того? Можно ли представить себе, что он мог предъявлять такой документ любому из отечественных кандидатов на трон?

Короче говоря, я сомневаюсь, что все эти — сами по себе немаловажные — эпизоды российской истории правомерно рассматривать как проявление постоянно существовавшей в ней либерально-демократической традиции. Такой традиции, генетически восходящей к свободолюбивой античности, в дотатарской и татарской Руси (да и тогда, когда татар одолели) просто неоткуда было взяться. Не притекала она и из ориентализированной Византии, где все, что напоминало древнегреческую античность, было уже давно и прочно забыто. И потому при рассмотрении всех упоминаемых Яновым эпизодов — а именно они лежат в основе его концепции — ощущения убедительности, к сожалению, не возникает.

Почему к сожалению? Потому что мне нравится, когда человек строит концепцию, но огорчительно, когда она вызывает у меня и, как понимаю, не у одного меня определенные сомнения. Как было бы хорошо, если бы она действительно соответствовала тем реальностям, которые представляла собой Русь. Но она им не соответствует. Та либерально-демократическая линия, которую Янов обнаруживает в домонгольской и послемонгольской Руси, там появиться просто не могла. Она возникла совсем в другом месте и при совершенном иных исторических обстоятельствах.

Эту линию, а точнее, все созданное на ее основе я называю антично-буржуазной структурой. Структурой либерально-демократической и рыночно-

частнособственнической, которая в наиболее развитом своем варианте еще и конституционно-правовая, равно как и парламентарно-многопартийная. Эта структура имеет самое прямое отношение к Западу и практически никакого отношения к миру вне Запада, включая и Византию. Более того, породившая эту структуру античность имеет все основания считаться социополитической мутацией, вызванной к жизни процессом эволюции, не имеющим отношения ни к теории марксистских формаций, ни к теории цивилизаций, но, если уж на то пошло, разве что к теории неравновесных систем.

Итак, все пошло только и именно от античности с ее правами и свободами, гражданским обществом и избирательными процедурами, влиянием демоса и зависимыми от выборов магистратами, обязанными отчитываться перед гражданами. Возникла принципиально новая, заботливо патронируемая властью рыночно-частнособственническая структура с характерными для нее протокапиталистическими отношениями. Вообще-то,protoоснову всего этого можно частично обнаружить в любом первобытном и во многих полупервобытных обществах (к одному из них генетически и восходит древнегреческая античность). Но к тому и сводится сила и значимость любой мутации, что нечто общее и сходное в всех когда-то, где-то и как-то причудливым образом преобразуется, давая начало принципиально новому явлению. Так произошло и с античностью.

В ходе греко-персидских войн античность в конечном счете одолела противостоявшую ей персидскую империю Ахеменидов, основой которой была привычная для всего традиционного Востока структура *власти-собственности с централизованной редистрибуцией*. Это когда власть абсолютна и первична, а собственность, коль она появилась, является ее функцией и потому полностью ей подвластна и подлежит перераспределению с ее стороны. В дальнейшем античная протокапиталистическая рыночно-частнособственническая структура долгое время соперничала в завоеванном и эллинизированном ею ближневосточном регионе со структурой власти-собственности, но окончательно одолеть ее не сумела. А новые силы возбужденной исламом первобытности в лице арабских бедуинов поставили точку в этой борьбе.

В Риме, где позиции античности долго по сравнению с Грецией были более предпочтительными, произошло завоевание западной части империи прибывшими с Востока варварами, преимущественно кочевниками и полукочевниками (Великое переселение народов). Казалось, с античностью покончено. Но на деле оказалось иначе. Античная традиция не только выжила, но и, будучи усиленной близким к античному стандарту (во всяком случае, в то далекое время) западным христианством, оказала решающее воздействие на трансформацию полупервобытных варварских королевств раннесредневековой Европы.

Эти примитивные государственные образования отличались от традиционных древневосточных отсутствием давно сложившейся администрации

и необходимой для централизованного перераспределения инфраструктуры. Или, говоря иначе, отсутствием инструментов централизованной редистрибуции. Поэтому они обретали облик той же структуры власти-собственности, но — с децентрализованной редистрибуцией. А это есть не что иное, как феодализм. Он возникал в истории не так уж часто, но всегда в обстоятельствах, характеризовавшихся отсутствием централизованной инфраструктуры и бюрократической администрации. С появлением того и другого он исчезал, обретая более привычный облик власти-собственности с централизованной редистрибуцией.

Наиболее характерный пример феодализма в древности — это древнетайское государство Чжоу XI—III веков до н.э.

Игорь КЛЯМКИН:

Леонид Сергеевич, возвращайтесь, пожалуйста, к предмету обсуждения. Тем более что ваше время почти истекло...

Леонид ВАСИЛЬЕВ:

Без такого отступления в мировую историю мой взгляд на историю России может быть не понят. Заверяю вас, что в отведенное мне время я уложусь.

В менее выраженной, чем в Китае, форме феодализм был представлен в системе княжеств в доисламской Индии и в Японии, а также на Руси и в средневековой Западной Европе. Но только и именно в западноевропейских феодальных королевствах, с их варварским в недавнем прошлом полукочевым населением и языческой религиозно-духовной стерильностью, интенсивное воздействие со стороны потомков римских колонистов, равно как и пришлых миссионеров, сделало великое дело. Были заимствованы, причем прежде всего и в основном в городах, этих законных наследниках древнегреческих полисов, все краеугольные основы античной социополитической мутации с ее правами и свободами, гражданским обществом, избирательными демократическими процедурами и многим другим, всему этому сопутствовавшим.

В итоге западноевропейские города уже с раннего Средневековья — чего нельзя сказать о городах Руси — получили ту идеально-институциональную основу, которая обеспечила расцвет рыночно-частнособственнических отношений, столь наглядно проявившийся сначала в североитальянской Ломбардии, а затем в северогерманской Ганзе. Ганза краешком коснулась Новгорода, но этого касания было слишком мало. Даже Новгород не обрел хорошо известное в восточноевропейских городах, включая польско-литовские, магдебургское право, обеспечивающее им, с их потенциальной предбуржуазией, внутреннее самоуправление с логично прилагавшейся к нему свободой для всех горожан.

России все это было взято неоткуда. Греция давно уже перестала быть полисной и античной. Она, как и вся Византия, стала восточнохристианской, православной, со всеми присущими этой субцивилизации особенностями. Особенностями, резко противопоставлявшими ее Западной Европе и обусловливавшими склонность скорее уж сближаться с Востоком, чем с Западом, что наиболее ярко и проявилось в случае с татарами и поддержаным православной церковью Александром Невским. Поэтому понятно, что на долю России досталась структура власти-собственности, сперва в ее полу первобытной феодальной форме, а затем — с Ивана III и тем более Грозного — в переходной форме с тенденцией превратиться в типичную традиционно восточную структуру той же власти-собственности, но с централизованной редистрибуцией.

Впервые Россия попыталась всерьез стать Западом лишь в годы великих реформ Александра II, который начал преобразование России в очень широком плане и успел многое сделать в разных направлениях, будь то реформа суда, земств и различных сфер администрации. Но ему (а ведь у него в руках был уже текст готовой конституции!) не дали довершить дело под тем предлогом, что не все сделано было так быстро и хорошо, как это хотелось бы нетерпеливым экстремистам. Террористы убили царя и тем самым обрекли империю на крушение и на страшный большевистский эксперимент, обошедшийся стране столь дорого, что она и сегодня, спустя более полвека после смерти кровавого диктатора, продолжает вымирать.

У страны не осталось сил нормально существовать. И это, если угодно, плата за все пережитое. За пережитый ею страх. За безжалостно погубленные тиранами на ее глазах десятки миллионов жизней. И здесь самое время вернуться к концепции Александра Янова.

Так и хочется сказать: флаг бы вам в руки, Александр Львович! Да что там флаг, огромное знамя массового социального протesta! Вы очень много сделали для того, чтобы попытаться вычерпать из нашего прошлого хоть что-то, с чем можно было бы идти в борьбе за обновление несчастного нашего современного образа существования. И честь вам и слава за это! Но, к великому сожалению, суть современных проблем отнюдь не в том, правы вы или нет.

Ведь история, да и жизнь, как и психология масс, как и сами эти народные массы, насквозь иррациональна. Ситуация ныне такова, что измордованным экспериментами поколениям — точнее, потомкам всех изуродованных, получивших в наследство отягощенный злом генотип правда не нужна. Их не трогает и никогда не станет всерьез волновать, что было когда-то в далеком прошлом на самом деле. Им нужен миф, ласкающая их мифологема.

Казалось бы, нет ничего проще, чем создать и дать им этот миф. Дать людям, потерявшим почти все (я имею в виду основы духовной культуры, принципы элементарной морали, основополагающий идеально-институциональный

фундамент) и оставшимся на время — не столь уж и долгое, как подсказывает здравый смысл, — потребителями гигантской бензоколонки, столь важную для них надежду. Но тут же возникает непредсказуемая опасность: какой будет интерпретация мифа и как он сможет преобразиться в мозгах тех, кто за него ухватится? Зная современный уровень и притязания большинства, трудно не согласиться с тем, что любая из возможных мифологем — как опирающаяся на исторические реалии, так и совершенно свободная от них — ныне в нашей стране практически почти неизбежно выродится в националистический взрыв.

Так что игра с мифом небезопасна. Кто знает, куда и как все в итоге повернется!

Есть, однако, и другие варианты. Нас всегда учили, что во имя прекрасного будущего следует смело применять насилие и даже лить кровь, не жалея. И сколько этой крови было пролито! И как по сей день кровавых восхваляют за это!

Не станем же слепо уподобляться любителям кровавой социальной бани. Вспомним лучше тех, кто обходился без этого. Вспомним хотя бы Наполеона, который не без принуждения, но и без излишнего насилия радикально преобразовал континентальную Европу. Или превратившего послевоенную Японию в демократическое государство генерала Макартура. Или даже Михаила Саакашвили, сумевшего вообще без принуждения покончить в современной Грузии с коррупцией, проворовавшейся милицией и ворами в законе.

Есть принуждение и принуждение. Вспомним Кастро на Кубе, который силой навязывал свои порядки и добился того, что страна изнемогает под давлением созданного им режима. И сопоставим его с Пиночетом, который действовал примерно так же, зато страна после этого процветает. Отсюда вывод: важно, чтобы те, кто берется за преобразования, знали, к чему приведут их усилия. А не знаешь — не берись. Не совершай непроверенные эксперименты на живых людях! Стало быть, вопрос не в том, как действовать, а в том, кто именно действует и во имя каких целей. Во главе государства должны стать партии и люди, которые сумели бы гарантировать населению те права и свободы, которых оно лишиено.

Сегодня, если ставить именно такую цель, уже сравнительно легко можно кардинально изменить любое общество к лучшему. Даже если в нем нет ничего от античного начала. Не сомневаюсь в том, что и наша страна может стать либерально-демократической. Но для этого в тех условиях, в которых мы находимся, нужно сильное, очень сильное потрясение, сопровожданное сменой не только руководства, но и режима, всего курса со стороны правящей администрации. И одно предварительное условие: возглавлять движение к лучшему должны только те, кто не боится пробудить к активным действиям лучших, кто зарекомендовал себя убежденным либералом и буржуазным демократом,

сторонником справедливых выборов, четкой и строго соблюдающей процедуры, независимых судов.

Вот к этому и надлежит готовиться. Это и нужно ждать. На это только и можно надеяться.

Игорь КЛЯМКИН:

Далековато все же вы увести нас от темы обсуждения. Впрочем, и Александр Янов осуществляет свои исторические экскурсы исключительно ради того, чтобы найти точки опоры в прошлом для прорыва в будущее. Вы, в отличие от него, их там не находите, но хотите для страны того же, что и Александр Львович. Так что вы с ним и в самом деле на одной идеиной волне. Но, в отличие от него, у вас осторожный оптимизм относительно возможности европеизации России — это оптимизм, не находящий исторических и культурных корней. Поэтому, может быть, он у вас и такой осторожный.

А теперь я предоставляю слово Никите Соколову. Мне очень интересно, что он скажет, потому что несколько лет назад он и его соавторы написали своего рода альтернативную историю России — книгу, в которой были представлены намечавшиеся, но нереализованные варианты развития. В чем-то это роднит авторов с Яновым. Прошу вас, Никита Павлович.

Никита СОКОЛОВ (кандидат исторических наук):

«Андрей Боголюбский и такие, как он, — не единственно возможный тип великоросса»

Очень трудно выступать после Леонида Васильева. Я не могу рассуждать об истории так, как он, поскольку я хоть и не источниковед, но кончал все-таки Историко-архивный институт и во многом так и остался архивной крысой. Но, кроме того, в последние десять лет я уже не практикующий историк, а практикующий журналист — редактор политических разделов разных журналов. И поэтому для меня ценность книги Александра Янова — а я вижу в ней большую ценность — не в том концептуальном мире, который он выстраивает, а в ясной формулировке задачи. Задачи переосмыслиния нашей истории, которая представляется чрезвычайно актуальной.

Тем более учитывая те версии прошлого, которые нам нередко предлагаются. Достаточно вспомнить фильм Павла Лунгина об Иване Грозном — фильм, который смотрится как современное документальное полотно. В нем наше средневековье выглядит то ли нашим завтра, то ли уже и нашим сегодня, в котором мы начинаем жить. Поэтому, повторяю, та проблема, которую ставит Александр Янов, очень актуальна.

Нам надо сложить нашу историю по-другому. Это происходит, собственно, уже давно, не он этот процесс инициировал. Хорошо помню: когда я начинал учиться в институте — это было на излете 1970-х годов, когда действо-

вал еще остаточный импульс оттепели 1960-х, импульс освобождения науки от устарелых схем, — тогда честные профессора рекомендовали нам исследования Николая Носова о «буржуазном» развитии средневекового Русского Севера. Но вскоре их рекомендовать перестали. То есть то, что было добыто исторической наукой, ушло в тень.

А это ведь были не маргинальные достижения. Это куски той мозаики, из которых и может быть сложено совершенно другое полотно отечественной истории. После того как усилиями Николая Карамзина, а потом лично товарища Сталина оно было сложено таким образом, что монархическая власть — «наше все», «палладиум России».

Игорь Данилевский процитировал Ключевского, согласно которому первый на Руси авторитарный правитель Андрей Боголюбский — это «первый великоросс». Но сейчас ведь история трактуется так, что Боголюбский и такие, как он, — единственно возможные великороссы, а все остальные, т.е. которые не за самодержавную власть, те уж и не русские вовсе. Когда я выступаю на радио, а это еще случается иногда, мне слушатели постоянно указывают: «Ах, вы против самодержавия, так вы, стало быть, в Израиль свой и езжайте». Получается, что самодержавные русские — одни только русские и есть, и других быть не может.

Но я-то, простите, из новгородских мужиков. Моих предков опричники гнобили, и у меня с ними личные счеты, с опричниками. Между тем за 500 лет казенной пропаганды в массовом сознании утвердилось представление, что могучее русское государство непременно опрично-людоедское, а вольные новгородцы вроде уже и не русские. Так вот, великая заслуга Александра Янова в том, что во втором и третьем томах трилогии он этот гнойник вскрывает.

Это и есть, мне кажется, самое главное в его книге. По крайней мере, в том смысле, который для нас сейчас актуален. Александр Львович очень хорошо показывает, как соблазн могучего государства, соблазн мнимой эффективности монархическо-авторитарного правления поражал как вирус русское общество и приводил его неизбежно к краху.

А главная моя претензия к Янову проистекает из того, что я терпеть не могу стиль его письма. У меня с ним стилистические расхождения. Они касаются и построения текста — чрезвычайно сумбурного, когда автор много раз подстуپается к одному сюжету, много раз повторяет одно и то же. Его постоянные перескоки с предмета на предмет и лирические отступления меня чрезвычайно раздражают. Но это касается стиля, а не содержания. По содержанию же я бы скорее выставил Янову другие, по сравнению с прозвучавшими, упреки, учет которых мог бы привести к расширению и обогащению его аргументации.

Отчасти об этом говорится в книге, которая здесь уже упоминалась, написанной мною с двумя моими товарищами по кафедре. Один мой соавтор,

Ирина Карацуба, присутствует в этой аудитории и, может быть, еще выскажется по затронутым в разговоре церковным вопросам, поскольку она в них специалист. Наша цель была создать другую, отличную от привычной, оптику рассмотрения отечественной истории. А мой упрек Янову — одновременно и попытка защиты его позиции относительно наличия в стране несамодержавной традиции. Он находит такую традицию исключительно в социальных «верхах». Но после того как полтораста лет назад Евгений Якушкин описал обычное право русского крестьянства, а Василий Сергеевич — русские юридические древности, не подлежит сомнению, что традиция договорного права была в России не просто жива, но непрерывна до самой «большевизии».

Леонид Васильев говорил о чужеродности для России «конституции», написанной в 1610 году боярином Салтыковым, так как для нее не было соответствующей «мутации». Но Салтыков именно потому и написал ее, что за ним была соответствующая традиция, причем именно русская. Он ведь был из новгородцев, а так как в тогдашнем обществе имел место чрезвычайно медленный оборот информации, исторические воспоминания — устные, даже не письменные — жили очень долго, как семейное предание. Салтыков просто был хорошо осведомлен о новгородской старине, ему не надо было никакой «мутации», чтобы помнить, что были на Руси и такие русские, которые выстраивали другую, не самодержавную, политическую систему. Но об этом Янов, к сожалению, не пишет.

А еще меня сильно задевает в его построении то, что он поздно начинает историю «нехолопской» традиции — с Ивана III, между тем как ее следовало бы вести от Древней Руси, ее вольных городов, о чем отчасти уже говорил Игорь Николаевич Данилевский. Эта традиция тоже была жива, и Александр Невский, боровшийся с городами, давливший городское самоуправление не вполне успешно как раз потому, что историческая память держалась крепко. И в дальнейшем, как только монархическая власть в Москве падала по какой-то причине, тут же горожане вспоминали, что есть такой институт, как вчe, и немедленно его возрождали.

Это был латентно живой институт, о нем помнили. А самодержавие скорее воспринималось как некоторая случайность и отклонение от нормы. Отсюда, в частности, и события Смуты.

И еще один штрих напоследок. Когда в каком-то древнем русском городе, отошедшем к Литве — боюсь наврать, в каком именно, — начали вводить магдебургское право, а это довольно поздно произошло, в начале XVI века, выяснилось нечто весьма и весьма интересное. Выяснилось, что магдебургское-то право послабее будет древнерусского, которое развивалось в Литовской Руси. Во всяком случае, горожане попросили, чтобы им не магдебургское право дали, а позволили остаться со своим древнерусским, которое им — той самой

«буржуазии», об отсутствии которой сожалеет Леонид Васильев, — выгоднее, оказывается, было, чем новоевропейское. Так что была, была у нас и не самодержавная традиция, и безо всяких «мутаций».

Игорь КЛЯМКИН:

Это очень интересный вопрос — о порядках в Литовской Руси. Александр Янов, правда, их почти не касается, но при этом, как вы, возможно, помните, акцентирует внимание на том, что до террора Ивана Грозного люди из Литвы бежали в Московию, а потом, при Грозном, бежали в обратном направлении. Но можно ли считать это весомым аргументом в пользу идеи российского «европейского столетия»? Все-таки из Литвы русские уходили из-за начавшегося там окатоличивания, а не потому, что там торжествовало «холопство». Возможно, кто-то об этом в дальнейшем еще выскажет.

У нас еще должен был выступить Андрей Пелипенко, которому Александр Львович уделил много внимания и в книге, и в докладе. Критикуя Пелипенко, он распространил эту критику и на всех тех, кого называет «либеральными культурологами». С ними, сетует Янов, у него расхождения даже более серьезные и тревожные, чем с традиционалистами. К сожалению, Андрей Анатольевич заболел и ответить на критику не сможет. Возможно, он захочет сделать это письменно — в таком случае мы приложим его текст к стенограмме обсуждения.

Сегодня же либеральных культурологов представит Игорь Яковенко. А сочтет ли он нужным отреагировать и на упреки автора трилогии в адрес Пелипенко, мы сейчас узнаем.

Игорь ЯКОВЕНКО (доктор философских наук, профессор РГГУ):

«Европейская традиция в России прослеживается давно, но она всегда была компонентой, а не доминантой»

Я обречен говорить от имени либеральных культурологов, имея в виду полемику Александра Янова с Андреем Пелипенко, которую внимательно прочел. Но начну с общей концепции, представленной в книге Александра Львовича. При всех моих человеческих и профессиональных симпатиях к нему, хочу сказать, что его работа представляет собой предзаданную исследуемому материалу теоретическую конструкцию и сугубо идеологический текст. И это, как мне кажется, главное.

Что делает Янов? Он систематически обозначает специфические российские реалии XV–XVII веков понятиями, описывающими европейские и новоевропейские сущности. Это — основной прием, который он использует. Для либерально ориентированного читателя такой способ описания психологически комфортен, но этот метод интерпретации мало что дает в смысле познания специфики явления. Здесь уже говорилось о том, что нестыжательство

не равно ни Реформации, ни предреформации. На самом деле нестяжательство — монастырская инициатическая традиция. Его духовные интенции и культурные последствия лежат в иной плоскости, нежели Реформация. Это большая тема, заслуживающая специального разговора; я не могу сейчас на ней останавливаться.

Или, скажем, мы читаем у Янова о том, что Иван III строил национальное государство. Но мое понимание российской истории состоит в том, что Иван III не строил и не мог строить такое государство по простой причине: московиты той эпохи нацией не были. Россияне и сегодня не нация; нацию в собственном смысле мы еще не создали. А при Иване III ее и не создавали.

То была совершенно другая ситуация, другая стадия исторического развития. Пал Царьград, Иван III женился на Зое-Софье Палеолог, воспринял византийский герб и венчал внука Дмитрия на «царство». Но сама идея московского царства входила в имперский, а не в какой-то иной проект. По-моему, применительно к той эпохе говорить о национальном государстве несерьезно.

Несколько слов о том, что такое российское государство и российская власть, — в продолжение сказанного Игорем Данилевским. Как я понимаю, это идеологически санкционированная деспотия. Санкционированная церковью либо партией, т.е. идеологическими институтами. Янов, однако, ссылается на законы, и в частности на Судебник 1550 года.

Сегодня мы уже услышали, сколько экземпляров этого Судебника существовало в природе. Но надо помнить и о том, что в России дистанция между декларируемой нормой (той, которая записана в законе или даже занесена в конституцию) и тем, что сейчас называют «понятиями», т.е. реальной практикой, реальными механизмами социальной регуляции, чудовищно велика. Говорю как культуролог, профессионально занимающийся Россией. Эта дистанция может несколько колебаться от эпохи к эпохе, но она всегда настолько значительна, что апелляции к декларируемой норме мало что дают для понимания реалий. Можно изучать традиционное право, изучать реальные практики разрешения конфликтов. А что дает обращение к юридической норме, я не понимаю.

Далее, и это очень важно, феномен европейской цивилизации покоится на утверждении безусловного права частной собственности. Для европейца собственность сакральна. Любая благотворительность, социальная справедливость, программы социал-демократии существуют в Европе в контексте признания незыблемости священного права частной собственности. И я настаиваю на том, что ни в Московии, ни в Российской империи, ни в Советском Союзе, ни в постсоветской России частной собственности никогда не было и нет, ибо право собственности носит всеобщий и безусловный характер.

Были и есть привилегии отдельных социальных групп и слоев общества владеть (индивидуально либо коллективно) некоторыми активами при безус-

ловном примате собственности верховного правителя. По существу, это условное держание, ничем не гарантированное, кроме усмотрения такого правителя. В любое время квазисобственность может быть отнята, обменена на другую, конфискована. А возможен такой произвол власти ровно потому, что идея священной собственности *отсутствует в сознании общества*. В этом смысле говорить об утвержденной частной собственности в России просто не приходится, идет ли речь о XV, XVII или каком-то ином столетии.

Отсюда и проблемы с трактовкой Ивана Грозного. У Александра Янова Грозный предстает как *dues ex machine*. Все было так хорошо. Шли позитивные процессы, наблюдался экономический подъем, общество развивалось. А потом пришел Иван Грозный и все поломал. У меня возникает вопрос: почему эти мужики, о которых я читаю у Янова, позволили себя грабить и убивать? Почему они не перебили опричников? Это ведь самый главный вопрос. Каким таким особым ресурсом обладало государство, который позволял ему разорять *чужое* хозяйство, безнаказанно убивать и пускать людей по миру?

Я вижу одно объяснение: все, чем владели эти люди, как и они сами, сама их жизнь, не были в их собственных глазах тем священным и безусловным, покушение на что дает основания брать в руки оружие и вешать опричников на придорожных столбах. Попробовала бы верховная власть в Европе действовать таким образом. Чем бы обернулась это для европейского правителя?

Заметим, что вскоре после смерти Грозного, в эпоху Смуты, русские мужики и торговые люди обнаружили способность и к самоорганизации, и к коллективной самозащите от казаков и других грабителей. В чем же дело? А в том, что в глазах народа государевы люди — опричники имеют право грабить и убивать подданных, раз на то есть государева воля. А воровские казаки — частные лица, не осененные высшей властью, — права такого не имеют. Давайте признаем это и забудем о частной собственности в XV–XVII веках.

Наконец, частная собственность неотделима от идеи права. Это только собственность верховного правителя опирается на волю автократора и существует вне правовой традиции, а частная собственность нуждается в разработанной правовой системе и независимом судопроизводстве. Об этом свидетельствует вся история человечества. Там, где утверждается частная собственность, возникает нотариат, разработанная правовая система, эффективный суд. Что в этом отношении можно сказать о Московии?

Янов полемизирует с Пелипенко по поводу проблемы синкрезиса. Вообще говоря, синкрезис — это культурологическая и общеисторическая категория. Она описывает базовые характеристики социокультурного целого архаических или раннетрадиционных обществ. Суть синкрезиса в том, что все соединено со всем. Отдельные профессии, социальные и имущественные статусы не вычленились. Архаический ритуал не распался, сфера религиозных пред-

ствлений не отделилась от сферы норм и ценностей, знаний о мире, технологий, художественной культуры. Все объединено со всем, и ничто не существует самостоятельно. Естественно, нет и отдельной личности.

По мере разворачивания истории синкрезис дробится, но темп этого процесса и уровень распада синкрезиса различаются от одной локальной цивилизации к другой. Традиционные общества Востока характеризуются высоким уровнем синкрезиса. Высок он был и в Московии XV–XVI веков. На Западе же складывалась совершенно иная картина.

Распад синкрезиса логически приводит к вычленению автономной личности. При этом важно четко зафиксировать связь идеи личности и идеи собственности. Частная собственность является социальным базисом автономной личности. Везде, где происходит вычленение автономной личности, статус частной собственности поднимается. Она сакрализуется, понимается как нечто безусловное, на что ни одна власть не может поднять руку без опасности быть разорванной на части населением. Ничего подобного ни в XV веке, ни в эпоху Ивана Грозного русская история нам не демонстрирует.

Я не только культуролог, но и цивилизационист. Есть такая дисциплина — цивилизационный анализ. Или, что то же самое, теория локальных цивилизаций. И, будучи цивилизационистом, я свидетельствую, что православные общества не порождали из себя никогда ни буржуазию, ни полноценную рыночную экономику, ни капитализм. Все эти феномены, базирующиеся на институте частной собственности, возникают в православных обществах в контексте модернизации, в рамках заимствования ценностей и институтов, рожденных на Западе. К этим преобразованиям толкает православные общества исторический императив. Это касается и Болгарии, и Румынии, и Греции, и всех остальных православных стран. Купеческая традиция там была, традиционный рынок был, а полноценная буржуазия и капитализм не рождались.

По всему этому мне трудно воспринимать логику Янова. Согласен я с ним лишь в одном. Безусловно, либеральная или ограничивающая автократию традиция в России прослеживается, и прослеживается давно. Но она была компонентой, а доминантой была традиция автократическая, традиция деспотическая, традиция, которая отражается в понятии «власть-собственность». То обстоятельство, что каждый раз попытки ограничить самодержавие, выстроить какие-то предпосылки для либерального развития купираются, выхолащиваются, поразительно быстро выыхаются, говорит нам о том, что это именно компонента.

Она имеет какие-то основания в культуре, и мы знаем, какие именно. Россия принадлежит христианскому миру. Потенция личностной автономии заложена на уровне оснований христианской культуры и неистребима. Но в какой степени эта потенция представлена в российском православии — специальный и достаточно драматический вопрос.

Я убежден в следующем: надо понимать ту Россию, в которой нам выпало родиться и жить. Очередная идеологизация истории страны — на сей раз в либеральном духе — нам здесь не поможет. Скорее только навредит.

Этот труд понимания требует интеллектуального мужества. Но только на таком пути существует перспектива утверждения в России либеральных ценностей.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Игорь Григорьевич. Теперь — Глеб Якунин.

Глеб ЯКУНИН (православный священник):

«От того, каким путем пойдет православная церковь, во многом зависит, окажемся ли мы в современной Европе или в стране нового Ивана Грозного»

Мое общее впечатление от трилогии Янова я бы сформулировал так: это яркие эскизы истории России, скорее даже историософия или философия ее истории.

Александр Львович очень своевременно напомнил нам о знаменитой «лестнице» Владимира Сергеевича Соловьева, по которой легко соскальзывают вниз идеология России. Первая, самая высокая ее ступень — это национальное самосознание, ниже — национальное самодовольство, еще ниже — национальное самообожжание. А уж с этой, нижней, ступени — только один шаг до падения в пропасть национального самоуничтожения.

Автор трилогии видит симптомы опасности такого «падения в пропасть» агрессивного империализма в том, что в сознании многих людей размыта граница между патриотизмом (национальным самосознанием, которое он вполне одобряет) и национализмом (самодовольствием и самообожжением). Именно скольжение по этой лестнице привело к крушению Германии, Японии и, в меньшей степени, Италии, в которой не было замаха на гигантскую империю.

В истории Московского царства, как здесь уже говорилось, Янов придает решающее значение исходу борьбы Иосифа Волоцкого с нестяжателями. Но он рассматривает их конфликт с социально-экономической точки зрения, хотя не меньшее значение в этом историческом споре имел выбор общей церковной идеи. Именно тогда в недрах Русской православной церкви формировалась судьбоносная доктрина «Москва — Третий Рим». Эта духовно соблазнительная доктрина неожиданно актуализировалась именно в наши дни. В условиях, когда РПЦ возглавил энергичный и амбициозный патриарх Кирилл, с его ярким ораторским даром, Московская патриархия вернулась к византийской идее «симфонии государства и церкви».

На Западе и католики, и особенно протестанты, у которых принцип развития возведен на доктринальный уровень, постоянно эволюционируют вслед за развитием общества, откликаются на каждую новость науки и ми-

вой политики. И это происходит и сейчас, независимо от того, что нынешний римский папа — консерватор. А в нашем православии не только нет какого-либо движения вперед; оно в принципе отрицает идею развития, оно смотрит назад, в эпоху Византийской империи. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, первые вселенские соборы — вот что считается «золотым веком» православия, после которого якобы происходила только сплошная деградация, которая завершится скорым приходом Антихриста, непрерывно с тех пор ожидаемого. Это величайшее чудо, что подобная архаика, настоящая «церковь бронзовавров юрского периода», сохранилась у нас до сих пор.

Все наши патриархи, начиная с Сергия Страгородского, были своего рода брежневыми. Алексий I, Пимен, Алексий II — все они были умеренными консерваторами, не двигались ни вправо, ни влево. Все ждали, что следующим патриархом будет человек такого же стиля. И вдруг — прорыв!

Новый патриарх Кирилл говорил фантастические вещи уже на второй день после его интронизации в храме Христа Спасителя. 1 февраля 2009 года, стоя в Кремле рядом с президентом, Кирилл заявил: необходимо восстановить «дух симфонии» между Церковью и государством, что было, как известно, византийским идеалом. При этих словах Медведев даже как-то покосился на патриарха с удивлением. О торжестве этого «духа симфонии» Кирилл и потом неоднократно говорил как о главной задаче своей Патриархии.

Отправившись в Киев, новый патриарх настойчиво убеждал президента Украины: мы же одной веры, у нас должна быть одна церковь. Но украинцы почему-то отказываются принимать такое церковное единство, видя в нем отголосок советского прошлого: хотя советская империя разрушилась, имперская церковь хочет сохранить свою власть на всем постсоветском пространстве. Почти автоматически зачислив в «Русский мир» всех славян СНГ и полагая, что у него мощнейшая социальная база, патриарх Кирилл претендует на идеологическое наполнение российской государственности и на духовное доминирование Москвы в странах бывшего СССР.

Постсоветская имперская идеология получила неожиданное развитие во время поездки Кирилла в Белоруссию. Лукашенко ему говорит: «Наша страна — это мост между Западом и Россией». Нет, возражает патриарх, никакой вы не мост, западная граница Белоруссии — это граница нашей православной цивилизации.

Недавно и наш президент, и великий Горбачев вместе со всей Европой отмечали юбилей разрушения берлинской стены. А тут получается, что Кирилл хочет возвести новую стену между Россией, включившей в себя Белоруссию, и всей остальной Европой — в том числе Польшей, Прибалтикой. Кому-то это может понравиться, но на самом деле это никуда не годится. Мы видим здесь проявление уже настоящего «национального самообожания» — предпослед-

ней ступени соловьевской «лестницы». Вот и «нашисты» пошли в атаку, какая-то специальная когорта православных экстремистов уже готова защищать Московскую патриархию от всех инакомыслящих.

А еще на днях появилось вдруг удивительное сообщение. Главный идеолог Патриархии дьякон Кураев, обсуждая нашумевший фильм об Иване Грозном, вдруг назвал Кирилла «новым митрополитом Филиппом» (обличавшим царя и ставшим мучеником). На самом же деле наш патриарх хочет стать новым Никоном, который утверждал, что «священство выше царства» и стремился подчинить своему влиянию всю государственную власть. Хотя Кирилл толкует о византийской симфонии, реально он больше ценит католиков за то, что у них папа выше государства. Судя по многим выступлениям патриарха, он хотел бы осуществить в России именно этот вариант, не удавшийся Никону. Однажды Кирилл проговорился: государство, — сказал он, — это только механизм, который должен воплощать высокие христианские идеи.

Царь Алексей Михайлович в конце концов Никона сверг. Может быть, именно это имел в виду дьякон Кураев, предвижу «страшную» перспективу Кирилла? Ведь тот хотел бы стать духовником и покровителем обоих наших правящих близнецовых-братьев, а что будет, если они все же поссорятся?

Так что в ближайшее время мы сможем увидеть, в какую сторону качнется тот маятник русской истории, о котором все время говорит Янов. От того, каким путем пойдет православная церковь, во многом зависит, окажемся ли мы в современной Европе или в стране нового Ивана Грозного. Убежден, что фаза культивирования архаики и изоляционизма скоро все же закончится и российское православие перейдет к исторической динамике и открытости. Это приведет к острому кризису Московской патриархии, но поможет освободиться прогрессивным элементам нашей церкви. Может быть, и ценой распада ныне существующих форм.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, очень интересное выступление. Но я настоятельно прошу все же не уходить от темы. По поводу положения в РПЦ и другим актуальным вопросам мы можем собраться и поговорить отдельно. Должна же быть и у либералов какая-то дисциплина дискуссий. Авторитарную дисциплину мы отвергли, но альтернативу ей все еще выработать не можем. И потому то и дело сползаляем в анархию, когда каждый говорит о том, во что в данный момент погружен, независимо от предмета разговора. Такое на наших с вами собраниях случается очень часто. На обсуждение вынесен доклад, в котором изложен оригинальный концептуальный взгляд на отечественную историю. Его-то и давайте обсуждать.

Предоставляю слово Эмилю Паину.

Эмиль ПАИН (*профессор Государственного университета — Высшей школы экономики*):

«К моменту начала европейской модернизации в России уже были носители идеи рационально-легальной организации власти»

Я солидарен с Яновым, и прежде всего с его позицией противостояния культурному расизму, т.е. представлениям о существовании неких культурно неполноценных («холопских») сообществ, неспособных к изменению своего политico-правового положения. Или, говоря конкретнее, неспособных к переходу от власти персоны и кнута к власти закона и свободно определяемых целей. Такие представления базируются на близких к мистике постулатах об извечной исторической колее, которая — в отличие от рационально вполне объяснимой (и преодолимой) исторической инерции — непреодолима в принципе. Это уже и не колея, это судьба, рок.

Мы слышали сегодня выступления историков. Наиболее профессиональными и убедительными выглядели те из них, которые подвергали сомнению достоверность отдельных выводов автора трилогии. Но совершенно неубедительными были альтернативные доктрины «историков-концептуалистов», противопоставлявших идею Янова о разных традициях идею «единственного исторического пути». Если у марксистов в свое время это был «единственно верный путь», то у какой-то части российских либеральных историков и культурологов, с которыми полемизирует Янов, — это единственно неверный путь «страны рабов», путь «холопский» и принципиально не западный.

Но это же все недоказуемо! Против такого рода доктрин историки-источниковеды, социологи и антропологи могут выставить тонны контраргументов. К тому же это позиция снобов. Ее апологеты исходят из того, что они-то сами, просвещенные и мудрые, живут вовсе не по холопской традиции, а по европейской, между тем как остальные (плебс, «пипл») находятся в вечном плена холопства.

Надо сказать, что мне вообще не нравится это противопоставление европейской и холопства, присущее и в названии обсуждаемого доклада Янова. Такое противопоставление звучит примерно так же, как выражение «пить чай с лимоном и удовольствием». В обоих случаях используются разнородные классификационные основания, которые к тому же заслоняют сходство фундаментальных социально-политических процессов на Западе и на Востоке.

Ведь холопство было и в Европе. Во всяком случае, в польском католическом королевстве этот феномен уж точно существовал и даже обозначался тем же термином. И на Западе проявлялось противоборство разных культурных традиций: закрепощения и раскрепощения человека, традиционно-патерналистской и рационально-легальной. И холопское сознание там тоже не сразу уступило место гражданскому.

В 1923 году Томас Манн писал о немцах как о народе, принципиально неспособном воспринять идею свободы. Через десять лет его диагноз как будто бы подтвердился — большая часть нации предпочла свободе преданность фюреру. Тогда не только Манн так писал. Тогда почти все немецкие интеллектуалы соревновались в производстве очередных версий теории «особого пути» Германии (*Sonderweg*), рожденной еще в эпоху романтизма XVIII — начала XIX века. В этом смысле все нынешние российские концептуалисты «особого пути» России всего лишь эпигоны, производители жалких копий с оригинальных немецких творений. Однако прошло время, и Германия одолела свою детскую болезнь *Sonderweg*. Ныне Германия и немцы — это форпост свободомыслия и политического либерализма в Европе.

На мой взгляд, Янов использует термин «европейская традиция» как метафору культурной модернизации, которая предшествовала модернизации политической и действительно началась в Европе, а затем приобрела глобальный характер, несмотря на сохранение разнообразных форм локальной культуры. Я, разумеется, солидарен с Яновым в том, что модернистская, гуманистическая, либеральная традиция европейской культуры существовала в России. Иначе не появилась бы высокая русская культура как одна из самых европейских. Не было бы Чехова, Кандинского, Рахманинова, Ахматовой, Сахарова и множества других русских европейцев. Раз эта традиция прижилась, то, следовательно, она органична для русской культуры.

Была ли модернистская традиция доминирующей в России или, как здесь говорили, только «компонентой»? Ну, конечно, поначалу компонентой, как и везде. Внедрение в культуру рационально-легальных основ, названное Мак-сом Вебером процессом «расколдовывания мира», всегда и везде начиналось как тонкий ручеек, как дополнение к традиционно-мифологическим сторонам культуры, но затем он становился доминирующим.

Когда началось расколдовывание России — в XV, XVI или XVIII веке? Для меня это, признаюсь, совсем не важно. Мало интересен мне и поднятый здесь вопрос о том, чем было обусловлено создание Михаилом Салтыковым его варианта конституции: в большей мере знакомством с паном Жолкевским или тем, что Салтыков был родом из Новгорода и знал о Новгородской республике. Несомненно, все это значимые академические вопросы, и историки в своем кругу должны их рассматривать. Но это их внутреннее дело, их внутрисемейные споры. Для меня же, как политолога, важное другое.

Для меня важно, что к моменту начала европейской модернизации (XVII—XVIII века) в России уже были носители идеи рационально-легальной организации власти. Производители подобных смыслов были заметны и в последующие эпохи. Следовательно, в России был некий культурный потенциал

для перехода от патrimonиальной традиции к рационально-легальной. При этом хочу подчеркнуть, что для утверждения в обществе культурно-правовой традиции совсем не обязательно нужны многие века.

Я только что вернулся из Турции, историческая судьба которой, на мой взгляд, сложилась удачней, чем у России. Но удача пришла лишь сравнительно недавно. Не только к XVII, но и к началу XX века Османская империя еще в меньшей мере, чем Россия, могла быть охарактеризована как правовое государство. К тому же империя эта оставалась самым теократическим политическим образованием в мире. Сегодня же Турция — светское государство, уровень правовой культуры которого не вызывает сомнений даже у европейского сообщества.

Так, бюрократы из ЕС, всячески сопротивляясь приему Турции в состав этого Союза, ни разу тем не менее не сделали ей замечаний по поводу несовершенства турецкой правовой системы или пороков местного применения права. Мировые эксперты никогда не подвергали сомнению честность и законность тамошних парламентских и муниципальных выборов. В Турции, как и в современной России, спорят о соотношении европейской и азиатской традиций в национальной культуре, но, в отличие от россиян и к счастью для турок, из таких дискуссий не вырастают доктрины о культурологической или исторической предопределенности бесправия.

Можно понять страсть к таким теориям официальных кремлевских идеологов, равно как и их вполне прагматическую зачарованность историей. Во все времена авторитарная власть искала легитимацию в исторической традиции: «С этим народом иначе нельзя. Так было, так и будет». Но почему немалая часть российской либеральной общественности так же цепко ухватилась за идею российского варианта Sonderweg?

Причин тому много. Отчасти они те же, что порождали многократное возрождение немецкого первоисточника. Только в Германии идея «особого пути» пользовалась спросом в период поражения национального проекта (после проигрыша одних войн и в канун подготовки к новым), а в России доктрина «холопской колеи» возникла после провала социально-политического проекта — ельцинского этапа демократических реформ. В обоих случаях эта идея отражает нарастание пессимизма и самооправдание интеллектуалами своей политической пассивности. Но в России эта идея еще и продукт догматизма, весьма характерного для постмарксистского мира.

Российские интеллектуалы, в отличие от подавляющего большинства интеллектуалов германских, не преодолели архаичный культурный примордialизм, т.е. представление об «естественной» природе культуры, приросшей к телу нации. Россия прошла мимо идей социокультурного конструктивизма. Вот, скажем, в 1983 году вышел в свет сборник «Изобретение традиции», оказавший большое влияние на мировую антропологию и социологию, но мало

замеченный в России. Составитель этого сборника Эрик Хобсбаум выдвинул необычную для того времени идею о том, что национальные традиции в большинстве своем представляют собой новые изобретения, которым по разным причинам придается образ давних традиций.

Это доказывалось на английском материале. Например, знаменитый шотландский кильт (мужская юбка), равно как и клетчатая ткань, из которой ее шили («шотландка»), были изобретены лишь в 1720 году, и не в Шотландии, а в Ланкашире. Шотландским же национальным символом они стали позднее, уже в XIX веке, когда этот наряд стал использоваться в качестве военной формы и главного отличительного признака шотландских полков в британской армии. В той же монографии приводятся статьи, показавшие, что многие ритуалы английской монархии, считающиеся тысячелетними, на самом деле были созданы в годы правления королевы Виктории. Да и сам стереотип англичан как завзятых традиционалистов сложился лишь в викторианскую эпоху. С 1980-х годов многие идеи этой книги получили многократное подтверждение на материалах разных культур, однако в России она не переведена и не опубликована.

Назову еще одну, наверняка не последнюю причину популярности у части российских либералов идеи «особого пути». Она внешне похожа на респектабельную идею культурного разнообразия, одобренную Советом Европы и кодифицированную в «Белой книге» по межкультурному диалогу (Страсбург, 2008). Однако в действительности доктрина «особого пути» ближе к идее тоталитарного универсализма, чем к культурному плюрализму.

Европейская «Белая книга» исходит из идеи свободного выбора пути развития, а доктрина «особого пути» настаивает на его предопределенности. Присмотритесь к ней, и вы увидите, что речь идет все о том же советском паровозе, который якобы «вперед летит» по строго обозначенному маршруту («иного нет у нас пути»). Раньше конечная станция называлась «коммунизм», а сейчас ее просто переименовали. Одни называют ее «Великая Россия», другие — «Страна рабов». На самом же деле и пути-то у этого паровоза нет, а есть лишь запрет на движение.

Игорь КЛЯМКИН:

Идею «особого пути» здесь пока вроде бы никто не отставал. Водораздел между позициями, по-моему, не в том, что одни выступают за европейский путь, а другие — за «особый». Водораздел в том, что одни говорят о возвращении к европейским истокам, а другие — о том, что России предстоит не возвращение ее европейскости, которая в лучшем случае была в стране периферийной, а преодоление ее неевропейскости. Это спор людей, у которых общие ценности, но разные типы исторического сознания.

Следующий — Игорь Борисович Чубайс.

**Игорь ЧУБАЙС (директор Центра по изучению России РУДН):
«Как можно всю богатейшую историю страны сводить к маргинальной
личности Ивана Грозного?»**

Сначала несколько коротких реплик.

Я услышал здесь, что в России не было частной собственности. Интересно, а что большевики национализировали — колхозы, что ли?

Изумило меня и то, что никто не анализирует русскую историю, — то ли не любят ее, то ли не знают. Вместо этого берутся две точки из нашего десятилевекового прошлого: правление Ивана Грозного и Смута. Не буду распространяться об этом подробно; скажу только, что, когда в Великом Новгороде ставили памятник тысячелетию Руси, на нем изобразили 150 фигур, ее олицетворяющих. Ивана Грозного среди них нет, его никто и не вспомнил. Только большое сталинско-дегенеративное мышление выксовывает одну и ту же маргинальную личность из богатейшей истории Отечества!

Кстати, Иван IV за всю свою жизнь погубил 3000 человек, а Сталин одним списком отправлял на тот свет тысячи: катыньская катастрофа — это единовременное уничтожение более 20 тысяч польских офицеров. Поэтому даже при таком подходе, акцентирующем внимание на злодеяниях одного из русских царей, никаких аналогий между советчиной и досоветским российским прошлым провести невозможно.

Теперь о том, что звучало не фрагментарно, а фундаментально. Было сказано, что у нас, кроме Янова, никто не предложил целостную концепцию российской цивилизации. Напротив меня сидит полусонный, время от времени убегающий из аудитории профессор Кантор, который как раз такую теорию разработал. Могу добавить, дабы он не зазнался, что не он один — таких авторов не меньше полудюжины. Я тоже занимаюсь этой проблематикой почти 20 лет и изложил свою концепцию, в частности, в монографии «Разгаданная Россия». Правда, мне намекнули, что остаток тиража изъят, но это уже другая проблема. Как проблема и то, что в либеральном клубе сделать доклад на эту тему невозможно.

Второй тезис, точнее, вопрос, который звучал: Россия — Европа или Азия, Евразия или что-то еще? Ответ очень важен, он затрагивает основы нашей идентичности. Нас постоянно хотят представить какими-то «побочными мутантами». Есть, мол, Европа, а мы какие-то дегенераты, причем подобные доклады, как правило, приветствуются.

Что же такое Европа, какие народы являются европейскими? После падения Великой Римской империи возник вопрос: почему она пала? Было предложено два ответа: из-за распада права и из-за распада морали. И оба они были даны европейскими народами. Точнее — разными европейскими народами, каждый из которых имел полное право так называться.

Европа и тогда уже не являлась единой. Была Западная Римская империя и ее наследники, был Восточный Рим — Византия и его наследники. Народы,

считавшие, что причина кризиса — распад права и потому нужно государство делать правовым, — это запад Европы. Другие европейцы, считавшие, что Рим пал из-за деградации морали, создали Византию. Это восток Европы, к которому принадлежит и Россия.

Европа и сегодня не едина, и Евросоюз, вообще-то, надо было бы называть Западноевропейским союзом. Возможно, так оно и будет, когда мы преодолеем последствия семи с лишним советских десятилетий и еще двадцати постсоветских лет деградации права и морали. Когда осознаем, что значит быть востоком Европы.

В двух словах, конечно, это сложно объяснить, поэтому сошлюсь на всем знакомый сюжет. У Пушкина в «Пиковой даме» главный герой — немец Герман, который стремится разбогатеть, но в России у него ничего не получается. Здесь главное не деньги, а мораль и нравственность, здесь — другие ценности. Поэтому, сделав ставку на богатство, Герман проигрывает и заканчивает жизнь в психушке. Этим завершается «Пиковая дама». Давайте наконец и мы определим и восстановим свое место, хватит висеть в воздухе.

Еще один постоянно звучавший здесь тезис, с которым я попробую поспорить: Россия — это деспотия, а Европа — это либерализм.

В зале много педагогов, я тоже давно работаю в вузе. Помню, как в конце 1970-х рецензировал диссертации, в которых писалось, что вековая мечта такого-то народа — строительство социализма. Потом пришло другое время, и пошли другие диссертации: вековая мечта такого-то народа — суверенитет и независимость. Или: вековая мечта такого-то народа — демократия и рынок. Но на самом деле все социальные ценности исторически обусловлены, вечных ценностей нет. И либерализм тоже обусловлен исторически и, соответственно, исторически преходящ.

На протяжении многих веков европейская цивилизация в целом была христианской, никакого либерализма во времена Средневековья здесь не было. Он просто не был востребован и потому не мог и возникнуть, как не могло возникнуть, скажем, телевидение в деревне XVI века, где все общались лицом к лицу. Массовая коммуникация возникает тогда, когда возникает массовая аудитория. Так вот, европейская цивилизация была христианской, и христианство органично решало все проблемы.

Кризис христианства в конце XIX века («если Бога нет — все дозволено») привел к новым явлениям. На место Христа, как высшей фигуры, попытался вскарабкаться вождь, человеко-бог. Кто-то должен был освящать и трактовать оставшиеся без фундамента законы, нормы, правила. Этим «кто-то» и стал вождь, причем никакой принципиальной разницы между негодяем в мавзолее и, скажем, Франко или Гитлером нет. Это явления одного порядка. Вожди говорили: я знаю, как надо, и — никакого либерализма! Но эпоха вождизма оказалась короткой, большинство стран избавилось от нее через два-три десяти-

летия. В России же она просуществовала больше 70 лет и до сих пор отчасти сохраняется.

Ну а когда люди разочаровались в Боге, и в вожде, они пришли к третьей модели. Каждый как бы сказал себе: «Я больше никому не верю, я решаю все сам, и никто мне ничего не навязнет». Значит, либерализм и свобода в рассматриваемом контексте — это историческая катастрофа, это потеря всех ценностей и правил, утрата доверия, когда остается полагаться только на себя.

Добавлю к сказанному, что после падения христианства все время продолжались и продолжаются нескончаемые попытки найти человеческую замену Богу. На пьедестале оказывались Че Гевара и Ганди, Майкл Джексон и Владимир Высоцкий, Наоми Кембелл и Лех Валенса, Юрий Гагарин и Александр Дубcek... Но всякий раз получалось, что избранный ориентир «не совсем» ведет к Храму или даже совсем к нему не ведет. В этом специфика и драма постхристианской цивилизации — мы не можем вернуться к Богу, но не можем и обойтись без Бога.

Ну а если либералы уверены, что история человечества — борьба за либерализм, то это забавный миф, не более того. Законы морали были и будут выше норм права.

Игорь КЛЯМКИН:

А образцы моральности, как я понял, предлагается искать в Византии. Но если принять во внимание и мнение о Византии других людей (таких, например, как Сергей Аверинцев), то поиск не покажется очень уж легким. И у наследников Византии, ставивших в политике мораль выше права, плохо-важно обстояло дело не только с правом, но и с моралью.

Что касается упрека в чрезмерном внимании к Ивану Грозному, то он мне справедливым не показался. В основном здесь говорилось не столько о Грозном и его терроре, сколько о том, что было до него. О периоде, который Александр Янов называет «европейским столетием России». Но именно для этого мы и собирались, а не для того, чтобы обсуждать всю российскую историю, демонстрируя к ней свою любовь, и судьбы либерализма в мире.

Андрей Илларионов просит минуту для реплики.

Андрей ИЛЛАРИОНОВ (президент Института экономического анализа):

У меня даже не столько реплика, сколько вопрос. Доклад Янова называется «Европейская и "холопская" традиции в России». Эмиль Паин уже обратил внимание на то, что противопоставление европейской и холопской не очень удачное. И хотелось бы все же услышать, что понимается уважаемыми коллегами под термином «европейская традиция», под термином «Европа», под термином «европейская цивилизация». Может быть, кто-то знает, что подразумевает под этими терминами Александр Янов?

Говорят: мы — европейская нация, мы — не европейская нация... Что конкретно имеется в виду? Есть страны, находящиеся в Европе, которые большинство участников нашего собрания вряд ли назовут европейскими. О чём же все-таки идет речь?

Игорь КЛЯМКИН:

Надеюсь, что аудитория откликнется на ваши вопросы. Следующий — Леонид Поляков.

Леонид ПОЛЯКОВ (*заместитель декана факультета прикладной политологии ГУ—ВШЭ*):

«Русские европейцы, претендующие на политический успех, не могут относиться к истории своей страны как к истории Азиопы»

Я с Александром Яновым знаком с 1991 года. Он тогда приехал в Россию, и идеи у него были те же, что и сейчас. Во всяком случае, мысль о том, что русский либеральный проект должен получить какой-то исторический бэкграунд, Александром Львовичем высказывалась, я это хорошо помню. Что касается европейской, то он понимает ее прежде всего политически — как договорную природу власти. Для него это самое главное.

Как я отношусь к концепции Александра Львовича? Для меня это вопрос не отвлеченной науки (в данном отношении Янов точно не историк), а практическо-политический. Чтобы российские либералы смогли сформулировать свои притязания не просто на власть, а на национальное лидерство, т.е. выступить от имени большинства, они должны иметь за собой очень серьезную политическую традицию. И Александр Львович задает им всем очень большой вопрос: если вы, российские либералы, хотите эту власть получить демократически, по-европейски, то как совместить это с вашим нежеланием считать Россию европейской страной?

Ведь если она не Европа, а Азиопа, то вы должны выступать за авторитарную модернизацию сверху, за принудительное внесение вируса европейского в эту азиопскую почву, которая из себя самой не может породить демократию и либерализм. Тогда вы должны быть готовы к тому, что вам скажут: при таком отношении к стране и ее истории вы можете внедрять свои идеи только теми же способами, которыми Петр I и Сталин внедряли идеи противоположные. И что вы на это возразите?

Возразить нечего. А все потому, что изначальная установка была совершенно неправильная. Она несовместима с желанием получить власть демократическим путем и легитимировать ее именно как либеральную и демократическую. Что в такой ситуации было бы выгодно, какое поведение было бы политически технологичным? Неужели такое, при котором избирателю постоянно внушается, что он живет в стране с тысячелетней холопской тра-

дицией, что его предки — сплошные уроды, которые никогда не могли даже себя защитить, что их все время грабили, что вся Россия — это некое проклятое Богом пространство? Или, наоборот, такое, при котором население убеждают в том, что мы такие же европейцы, как и немцы, французы или поляки?

Кстати, в 1991-м был выбран именно второй вариант. Пафос был в том, что мы отказываемся от коммунистического проекта, так как считаем себя такими же европейцами, как и другие, и хотим жить так же «нормально», как и они. Технология сработала, но мы, похоже, не умеем учиться не только на своих ошибках, но и на успехах.

А Александр Львович Янов, по-моему, просто гениальный политтехнолог, в своем отечестве не признанный. То, о чем я сейчас говорю, он говорил задолго до меня много раз. Дискуссия, похожая на сегодняшнюю, была в 1990-х годах, и Янов тогда в одном из журналов опубликовал статью — своего рода вызов российским либералам. Что ж вы пилите сук, на котором сидите? — спрашивал он. Зачем все время внушаете народу, что единственная политическая традиция, которая у нас есть, — это традиция, идущая от Ивана Грозного, который проделывал со своими боярами то, что проделывал?

Вместо этого, призывал Янов, давайте буквально по крупицам раскапывать нашу либеральную предоснову. Давайте говорить о Судебнике 1550 года и его 98-й статье, о Михаиле Салтыкове и «верховниках», давайте говорить обо всем том, что может свидетельствовать о нашей европейскости в прошлом, чтобы исторически легитимировать нашу европейскость в настоящем и будущем. Но, судя по сегодняшней дискуссии, и сейчас большинство тех, к кому он обращается, прислушиваться к Янову не расположено.

Мы отвечаем ему, что судебники были в одном экземпляре и ни на что влиять не могли. А можно ведь этот факт интерпретировать и иначе. Да, всего один экземпляр, но он хранился в царской казне, в самом центре, что соответствовало его значимости и для царя, и для его бояр, и обе стороны знали, что такой документ существует и что соблюдение его для всех обязательно. В одном и том же можно увидеть пустую бумажку, а можно — исток законодательного ограничения власти на Руси, важное свидетельство ее европейской.

Вот две точки зрения на русскую историю, из которых предстояло и предстоит выбирать. Во второй из них есть не только европейская ретроспектива, но и европейская перспектива для России. А что в первой?

Я всегда симпатизировал тому, что делал Александр Львович. Мне импонирует то, что он сохраняет поразительное родство со своей страной. А также то, что он писал и пишет.

До сих пор помню его блистательный текст в «Вопросах литературы» —

очень продвинутом в середине 1970-х годов журнале, публиковавшем очень смелые статьи о русской истории и русской литературе. Текст Янова был о Константине Леонтьеве — фигуре в те времена запретной, и это создало вокруг Александра Львовича неблагоприятную для него атмосферу. И вскоре он из страны вынужден был уехать. Это было 35 лет назад, а итогом его жизни за границей стал этот вот трехтомник о русской истории и русской современности. И он в нем, как и раньше, уговаривает своих идеальных единомышленников: друзья мои, ну согласитесь же с тем, что Россия — страна изначально европейская, а не азиатская и холопская!

Но будет ли он услышен?

Игорь КЛЯМКИН:

Никто здесь не утверждал, что в России вообще не было европейско-либеральных политических тенденций. Вопрос в том, с какого времени вести их отсчет. Что касается технологизации исторического знания, то я, зная Янова почти полвека, не замечал, чтобы он ставил перед собой такую задачу. Мне всегда казалось, что он ищет истину, а не изобретает технологический инструментарий для успешного наследования либерализма. И собрались мы сегодня, чтобы обсудить содержание его концепции, а не ее инструментальную полезность.

Григорий ТОМЧИН (президент Фонда поддержки законодательных инициатив):

Можно вопрос ко всем? А что, в XIII—XV веках в Европе было мало абсолютизма? Там он тогда уже закончился, что ли? Разве там была одна только демократическая традиция?

Леонид ПОЛЯКОВ:

Правильно, Григорий Алексеевич, достаточно почитать Макиавелли...

Игорь КЛЯМКИН:

Абсолютизм начинает складываться в Европе только со второй половины XV века. До этого там были сословно-представительные монархии. И вопрос в том, имела ли государственность, возникшая после освобождения от монголов в Московии, европейские аналоги. А также в том, почему во всей Европе, где тоже были диктатуры и диктаторы, им не удалось укоренить принцип абсолютной власти настолько глубоко, чтобы его, как у нас, и через пять веков не удалось бы выкорчевать.

Предоставляю слово Аркадию Липкину. Он уже высказывал свое критическое отношение к концепции Янова — в том числе и в дискуссии, проходившей на нашем сайте, о российском государстве. Возможно, Александр Львович об этом не слышал. Пожалуйста, Аркадий Исаакович.

Аркадий ЛИПКИН (профессор РГГУ):

«В послемонгольской Московии не было ни европейских феодальных отношений договорного типа, ни европейских самоуправляющихся городов»

Я согласен с тезисом Янова о принципиальной двойственности российской политической культуры. Однако суть этой двойственности и, соответственно, суть отличия России от восточной деспотии, о котором он говорит, я вижу в другом. Но, чтобы представить это свое видение, мне придется вкратце изложить и свою концепцию.

Модель, из которой я исхожу, состоит из двух подсистем.

Первая подсистема включает в себя *самодержца и народные массы*. Отличие моей позиции от позиций Александра Янова, Ричарда Пайпса, Леонида Вильевса и многих других, друг от друга тоже отличающихся, заключается в том, что именно народные массы, на мой взгляд, создают (или, во всяком случае, поддерживают) место для самодержца. Естественно, в буквальном смысле массы самодержавие не создают, но они делают его устойчивым, делегируя все макрополномочия и решение всех возникающих между сообществами споров наверх. Типичная «народная масса» — крестьянство. Типичная самодержавная система — Китай.

Система политических и экономических институтов в России тоже принадлежала и, похоже, принадлежит к этому классу систем. Можно найти очень много параллелей в досоветской, советской и постсоветской эпохах. И прежде всего это приказной характер «вертикали власти», воспроизводящей нефеодальные отношения внутри госучреждений. Последнее восстановление такой «вертикали» началось в октябре 1993 года.

Александр Львович пишет, что ничего от прежних антиевропейских институтов в России уже не осталось, а остались лишь патерналистские стереотипы в массовом сознании. Но это ведь и есть основа всей системы! Так что если патерналистские стереотипы остались, то все восстановится (уже восстановилось). Это во-первых. А во-вторых, надо бы понять, почему эти стереотипы сохраняются.

Века крепостного права в качестве объяснения привлекать не надо, потому что для изживания его последствий обычно достаточно одного-двух поколений. К тому же такое объяснение можно было бы обсуждать, если бы Россия оставалась крестьянской страной. Правда, социолог Наталья Тихонова говорит, что малые российские города — это еще не города и потому у нас и сейчас больше половины населения еще не урбанизировано. Если так, то этот вопрос требует особого социолого-культурологического исследования.

Предлагаемый мной взгляд на основу самодержавной системы власти подтверждается тем фактом, что народные массы время от времени подымают бунт, поскольку у них нет других каналов выразить свое недовольство, но в случае успешности такого бунта вся структура восстанавливается. И ничего

другого произойти в этой системе не может, хотя содержательное наполнение мест в ней можно полностью поменять. Это и происходит в случаях «сокрушительных побед» народных бунтов, к которым в истории России, по-видимому, следует отнести «смутное время» перехода от Московского царства к Российской империи, переход от царизма к советской системе и, с моей точки зрения, переход от советской к постсоветской системе в начале 1990-х. Это смены больших периодов.

Вторую подсистему — в данном случае я говорю только о российском историческом феномене — составляют *привилегированные слои общества*, культивирующие высокую (т.е. требующую образования) европейскую культуру, в центре которой *свободная личность, договор и право*. Это и есть *интеллигенция*. Поскольку же эта культура по своей природе антисамодержавна, то против нее в принципе настроены и власть, и государственная идеология (досоветская, советская и постсоветская, если о таковой можно говорить), и основная народная масса, т.е. все элементы первой подсистемы. Но такая культура и ее носители необходимы для модернизации и военно-технического «догоняния» Европы. Поэтому авторитарная власть вынуждена ее культивировать и в значительной степени поддерживать.

Однако у этой подсистемы нет стационарного состояния. Она постоянно испытывает колебательные циклы реформ–контрреформ, осуществляющихся под лозунгами «Мы — Европа!» и «Мы — не Европа!». Реформы необходимы для «догоняния» Запада после очередного поражения, но они сопровождаются ростом антисамодержавных настроений, поэтому после жатвы-победы наступает реакция, проводящая контрреформы. Эти «малые» колебательные циклы имеют место внутри упомянутых выше больших периодов.

Теперь, думаю, понятно, в чем я усматриваю разницу между Россией и восточными деспотиями. Ее специфика состоит в конфликте между первой и второй подсистемами, которого в восточных деспотиях не наблюдалось. Поскольку же вся описанная система-кентавр российского Нового времени сложилась не сразу, а только после петровских реформ в XVIII веке, то понимание именно последних трех веков нашей истории сегодня чрезвычайно актуально. А более древнее прошлое, мало чем отличающееся от того, что имело место в других самодержавных системах, следует отнести к предыстории формирования современной России.

И еще несколько разрозненных замечаний.

Андрей Николаевич Илларионов поставил вопрос о том, что есть «европейскость» и «неевропейскость». Думаю, что отличие между ними — это отличие двух институциональных систем. Одна — *договорная*, другая — *приказная*. Центральный момент в ценностной системе европейской цивилизации — права человека, равенство всех перед законом. Это то, что у нас не выросло, хотя является главным пунктом либеральных реформ (так же, впрочем, как

в конце XIX века). Кстати, правовая реформа, если осуществлять ее под лозунгом *равенства всех перед законом*, может рассчитывать на массовую поддержку — в отличие от других либеральных лозунгов.

В связи с вопросом о «европейскости» хочу отметить еще один важный момент. Цивилизационная общность Европы не задается только религией, это лишь одна из составляющих ее культурного ядра. Истоки цивилизационной специфики Европы не только и не столько в христианстве, сколько в уникальной феодальной вассальной системе, основанной на договоре, а также в самоуправляющихся городах. В послемонгольской Московии не было ни такой системы, ни, как здесь уже отмечалось, таких городов.

Леонид ВАСИЛЬЕВ:

Откуда же взялись они, эти самоуправляющиеся города, как вы думаете?

Аркадий ЛИПКИН:

Это уже другой вопрос.

Леонид ВАСИЛЬЕВ:

Нет, это тот же самый вопрос. Самоуправляющиеся города — это наследие античности.

Аркадий ЛИПКИН:

Вопрос действительно интересный, но я не могу сейчас на нем останавливаться.

Еще одно замечание — по поводу *аристократии*, которая, по Янову, как и в Европе, ограничивала в Московской Руси великокняжескую или царскую власть. Но если даже и так, то в культурном измерении само по себе это еще ничего европейского в себе не заключает. Сошлюсь на С. Шмидта — одного из представителей историков 1960-х годов, у которых Янов ищет аргументы в поддержку своей концепции. Шмидт писал, что на боярской аристократии в России основывался институт местничества с его принципом коллективной *родовой* ответственности, а не западный институт индивидуализма (свободного человека).

Высшая точка развития российской культуры как культуры европейской — конец XIX — начало XX века. И именно там, а не в XVI столетии следует искать опору для возрождения идей свободной личности и либеральных принципов жизнеустройства.

И наконец, об употреблении Александром Львовичем термина «национальное государство» по отношению к России XV—XVI веков. «Национальное государство» предполагает бессословное общество. А такое общество и в самой Европе возникло много позже. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Аркадий Исаакович. Следующий — Владимир Кантор.

Владимир КАНТОР (*профессор Государственного университета — Высшей школы экономики*):

«В России не было ни одной книги, посвященной праву, которая прозвучала бы так же сильно, как "Дух законов" Монтескье или "Философия права" Гегеля»

Разговор без автора несколько двусмыслен, напоминает проработки давних лет. Автор должен иметь право сразу ответить. Но раз он сам так просил, то, значит, имеем право говорить то, что думаем.

Когда Янов пишет о холопстве России, то я думаю, что это полправды или даже треть правды. К моменту воцарения Ивана Грозного Россия была страшной разбойной. Разбой был в ней главным занятием всех слоев общества. В 1555 году был принят специальный закон («Приговор о разбойном деле»), из которого ясно, что люди, должны искоренять преступность, всячески учили вали от своих обязанностей. Это было поистине национальное бедствие.

Конечно, положение всеобщего бесправия и беззакония, возникшее в результате монгольского ига, было главной причиной криминализации российской жизни. «До половины XVII века, — писал, скажем, Н. Чернышевский, — вся Европейская Россия была театром таких событий, при которых можно дивиться разве тому, что уцелели в ней хотя те малочисленные жители, которых имела она при Петре. Татарские набеги, нашествие поляков, многочисленные шайки разбойников, походившие своей громадностью на целые армии, — все это постоянно дотла разоряло русские области».

Разбойники, повторяю, вербовались изо всех общественных сословий. Но у боярства было больше возможностей применять насилие, а сознание его было точно так же воспитано *помимо и вне* идей законности, как и сознание «черного луга». Да и существовали эти идеи лишь в умах немногих представителей высшего сословия, соприкоснувшихся с европейской жизнью, — вроде Ф. Карпова. Показательно также, что и само социальное угнетение боярством простого люда воспринималось народом в общей ситуации той эпохи как разбой.

Перед Россией было два пути в борьбе с этими бедами и неурядицами, с этим «безнарядьем» социально-политической жизни. Первый — путь реформ и медленного внедрения законности в сознание всех классов общества. Второй — путь жесткой, тираннической организации страны, когда *никто из подданных* не имел никаких прав. И этот второй путь казался народу привычнее и естественнее.

Освобождение от татарского ига устранило угрозу внешнего централизованного правления, но к другому варианту жизни общество не привыкло. И потому стало неуправляемым, саморазрушающимся. Структурные реформы, прово-

дившиеся правительством Избранной рады, как и любые такие реформы, шли медленно, их плоды созревали не сразу. Нетерпеливому человеку (а царь Иван был нетерпелив) в таких обстоятельствах обычно кажется, что и результатов-то никаких нет, что ничего и не сделано. Ускоренный же путь централизации в условиях России XVI века был возможен только при использовании террора.

Вспомним знаменитого публициста той эпохи Пересветова. Он говорил, что Россию может спасти только «гроза». Примеры он приводил публицистически страстные: «Царские вельможи благодаря своему коварству и дьявольскому соблазну додумывались до того, что выкапывали только что захороненных покойников из могил, пустые могилы засыпали, а покойника, исколов рогатиной или изрубив саблей и измазав кровью, подбрасывали в дом богача. Потом выставляют истца-клеветника, который Бога не боится, и, осудив неправедным судом, разграбят двор его и все богатство. Нечисто богатели они диавольским прельщением, а царской грозы к ним не было».

Поэтому и советовал Пересветов малолетнему царю, будущему Грозному, напустить на бояр «грозу». Призывы его звучали страшновато: «Таких надо в огне сжигать и другим лютым смертям предавать, чтобы не умножались беды». Что же из всего этого следует?

Тезис первый. Из ситуации разбойной анархии всегда вырастает диктатура типа диктатуры Ивана Грозного. Но и она оказывается не всесильной. Уже цитированный мной русский философ имел все основания написать: странно, как в ситуации тотального разбоя Россия смогла дожить до реформ Петра Великого. И это действительно странно, если принять во внимание все, что происходило в стране в первые послемонгольские столетия.

Вот свидетельство из немецкой диссертации, посвященной восстанию Степана Разина (1670–1671) и защищенной вскорости после восстания. «Потомство вряд ли поверит тому, — писал диссертант, — что один человек за столь короткое время занял такую территорию и опустошил такие области, что на пространстве в 260 германских миль все пришло в совершенный беспорядок». Название диссертации тоже занято: «Стенко Разин донски казак изменник», т.е. Степан Разин, донской казак изменник.

Этих восстаний опасались не только в Москве, но и в Европе: не окажется ли страна после поражения московского правительства в руках более варварского и тиранического вожака, который бросит новые орды на Европу и затопит ее новым потопом? Царская Москва все-таки начинала признавать некоторые формы и нормы европейской жизни и уже желала, чтобы Московию считали страной, подобной европейским. Но такое желание было, мягко говоря, не всеобщим. По мнению русских историков, смысл происходившего был в том, что после поражения татар, т.е. *внешней Степи*, бунтовала *внутренняя Степь*, не желавшая поворачиваться к европейской, городской жизни. «Поднималась степь, поднималась Азия, Скифия, — резюмировал этот культурно-

исторический конфликт С. Соловьев, — на великороссийские города, против европейской России».

Тезис второй. Как говорил Георгий Федотов, в России бег наперегонки между бунтом и цивилизацией чаще заканчивался победой бунта. Но кто нес в России ношу цивилизации? Эта тема связана, конечно, с христианством — об этом здесь и Лев Регельсон говорил, и Игорь Чубайс, и Глеб Якунин. А с христианством, в свою очередь, связан либерализм, кто бы и как бы их ни противопоставлял. У Федора Степуна была прекрасная мысль, что либерализм есть земная проекция небесного христианства. И об этом — знаменитая евангельская формула: «В доме Отца моего келий много. Каждый получает отдельное независимое жилище. Я, как каждый человек, имею прямое обращение к Богу. Я к нему привязан».

Этот принцип либерализма, означающий ценность каждого человека, — он, конечно, приходит в Европу с христианством. Вопрос, однако, в том, насколько христианство укоренилось в России. По словам известного историка Аничкова, на крестьянских погостах находили церкви только начиная с конца XVII века. Об амальгаме христианства и язычества в России писали и Соловьев, и Флоренский. У Флоренского был прекрасный образ: для русского крестьянина церковь и колдун — это два департамента. Он одинаково готов служить в обоих. Поэтому говорить о том, что принцип свободной христианской личности пронизал Россию, не приходится.

Тезис третий. Точнее, не тезис даже, а вопрос: на чем же держится в России либерализм? Он ведь все-таки держится! Причем порой переходит и в наступление. Уже одно то, что мы здесь сидим и говорим о том, о чём говорим, означает, что либеральные идеи, может, и не побеждают, но живут. Я думаю, что это связано с очень простой вещью — с просвещением.

Просвещение, образование создает слой людей, способных влиять на общество. Другое дело, что русское общество бесконечно этому сопротивляется, что есть перебежчики из этого образованного слоя. Вот, скажем, нынешнее руководство, создавшее движение «Наши». Неужели человек, придумавший идею «наших», абсолютно не владеет культурным кодом России?

«Наши», по Достоевскому, — это бесы. То есть, назвав молодых ребят «нашими», тем самым, по сути, обозвали бесами тех, кто работает на власть. В свое время один из русских публицистов писал, что большевики собирают очередное учредительное собрание с целью его разогнать, запрещают смертную казнь с тем, чтобы расстреливать уже не десятками, а сотнями тысяч, ну и так далее. А ныне придумывается движение «Наши» — очевидно, образованным человеком, который не мог не читать «Бесы». И я спрашиваю: придумывается зачем? Чтобы помогать обеспечивать «порядок»? Но бесы были ведь выразителями, хоть и на ином уровне, абсолютно разбойного российского начала! Что это такое? Игра? Мистика? Я не знаю.

Этому разбойному началу может противостоять только один принцип — принцип права. Заметим, что это очень четко было не раз произнесено в русской философии. Вместе с тем в сборнике «Вехи» отмечалось, что в России, в отличие от Запада, не было ни одной книги, посвященной праву, которая прозвучала бы так же сильно, как «Дух законов» Монтескье или «Философия права» Гегеля. В России были мощные юристы, были философы-правовики, но они не звучали. Поэтому вся правовая философия России родилась где-то в предреволюционные годы, на изломе, и действовать на публику не смогла.

Но она осталась. И то, что она осталась в культуре, дает нам некий шанс. Потому что оставшееся в культуре всегда имеет шанс прорасти.

Игорь КЛЯМКИН:

Совсем уж грустный взгляд на отечественную историю. И вообще, и на ее «европейское столетие» в частности. Может быть, потому, что христианство в России глубоко не укоренилось, в ней так плохо обстояло и обстоит дело и с моралью, и с правом. И сегодня приходится все начинать чуть ли не с нулевой отметки, выясняя, что из них первично, а что вторично. Нетрудно обнаружить, что и раскол между российскими интеллектуалами проходит именно по этой линии. На какой же тогда стадии исторической эволюции мы находимся, если руководствоваться европейскими цивилизационными критериями?

Слово — Сергею Магарилу.

Сергей МАГАРИЛ (преподаватель РГГУ):

«Если Россия — часть Европы, то почему же российские реалии столь разительно отличаются от европейских?»

Сначала попробую ответить на сформулированный Андреем Илларионовым вопрос о различиях между европействостью и российствостью (употреблять слово «холопство» я тоже считаю невозможным). Оно — в доминирующем типе человека. Европейского варвара раннего Средневековья сменил законопослушный гражданин правовых государств современной Европы. В России, насколько можно судить, этого не произошло.

Сошлюсь на точку зрения Игоря Яковенко, по мнению которого доминирующий человеческий тип современной России — поздний варвар. При этом фундаментальным критерием, вынуждающим признать правоту проф. Яковенко, является неосвоенность права как основополагающей цивилизующей инновации. Оно, как уже отмечалось сегодня, не освоено ни элитами, ни тем более массовыми слоями населения России.

Теперь несколько реплик по теме сегодняшней дискуссии. Александр Янов убедительно показал: либеральная традиция в России периодически воспроизводится — почти с закономерностью неизбежного. Однако это, по-

моему, не совсем точная формулировка. Фактически традиционно воспроизводятся слабые демократические импульсы, столь же неизбежно гаснущие в аморфной, косной атмосфере Московии.

Янов доказывает, что Россия — часть Европы. Вопрос: почему же тогда российские реалии столь разительно отличаются от европейских? В своей сегодняшней обыденности мы этой европейской не видим или почти не видим — особенно если говорить о социально-властных отношениях.

Александр Львович пишет также о латентных ограничениях власти, которые существовали в XV—XVI веках. Да, существовали. Но почему же эти ограничения — ни тогда, ни впоследствии — не формализовались, не укрепились, не отвердели до степени институтов? Ответ может быть только один: Россия уперлась в массовое невежество, в острейший дефицит просвещения, о чем я еще скажу. А сколько-нибудь влиятельные и образованные социальные слои об ограничении власти самодержца даже не помышляли. Это был удел одиночек или, в лучшем случае, узких групп интеллектуалов. Неслучайно, комментируя избрание на царский трон Михаила Романова, Ключевский пишет: других политических идей, кроме самодержавной, в средневековой Московии не нашлось.

По Сергиевичу, который здесь упоминался, традиция русского договорного права существовала до самого октября 17-го года. Но почему же эта традиция не окрепла за всю многосотлетнюю историю, не стала ее доминантой? Отсюда вопрос о приложимости концепции Александра Янова к нынешним нашим реалиям. Следует подчеркнуть: в отличие от многих историков Александр Львович остросовременен, и в этом его величайшая заслуга. Однако важно все же понять: почему либерализму до сих пор не удалось пустить серьезные корни, стать ощутимо влиятельным общественным явлением современной России?

Мне уже приходилось говорить об ее 700-летнем опоздании с учреждением университетского образования. На Западе с самых первых университетов, с Болонской школы юридический факультет был в числе наиболее влиятельных и популярных. В Болонской школе права уже в середине XII века училось до 10 тыс. студентов со всей Европы. Европейские университеты воспитали корпорацию профессиональных юристов, объединенных общим обучением и корпоративным сознанием своей роли — руководить юридическими делами церкви и светского мира империй, королевств, купеческих гильдий и ремесленных корпораций. Образованные правоведы разъезжались по всей Европе, занимая должности судей либо юристов королевских властей, юридических советников церкви, городских магistrатов, становились всевозможными административными служащими, непосредственно применяя свое университетское образование.

А о России приходилось читать: в Московском университете 10 лет спустя после его учреждения на юридическом факультете, несмотря на казенные сти-

пендии, учился один студент. Трудно вообразить эту бездну времени: семьсот лет опоздания с освоением обществом юридического знания!

И наконец, последний вопрос: как сегодняшняя высшая школа справляется с принципиально важной исторической миссией — формированием гражданского самосознания? Постсоветским реформам 20 лет. Ежегодно стены высшей школы покидают порядка одного миллиона выпускников. Каждому из них прочитано шесть—восемь социогуманитарных курсов — от отечественной истории до культурологии; полки книжных магазинов завалены соответствующими учебниками, серьезной аналитикой и публицистикой. И что же?

А то, что общество, подгоняемое нашей авторитарно-бюрократической «вертикалью», вновь безропотно и послушно повернуло в позднесоветскую, исторически тупиковую авторитарную колею. Этот поворот исчerpывающим образом охарактеризован в текстах президента Медведева. А отсюда — вопрос к нам, уважаемые коллеги. Все ли мы делаем для того, чтобы из стен высшей школы выходили Граждане, т.е. носители гражданских убеждений и гражданского самосознания?

Евгений ЯСИН:

Таким образом, и по критерию образования и образованности Россия в «европейском столетии» от Европы была далека...

Игорь КЛЯМКИН:

Следующий — Кирилл Батыгин.

Кирилл БАТЫГИН (политолог):

«Какой-либо окончательной предрасположенности российского государства к авторитаризму не существует»

Является ли верным распространенное убеждение в неизбежности доминирования авторитарных тенденций в России? Нет, отвечает Александр Янов, какой-либо окончательной предрасположенности российского государства к авторитаризму не существует. И ссылается в подтверждение на опыт либеральных «оттепелей», которые неизменно следовали практически за всеми периодами «диктатур». Например, «после Ивана IV — "деиванизация", после Павла I — "депавловизация", после Николая I — "дениколаизация" и так далее вплоть до десталинизации после Сталина».

И хотя эффективность и глубина воздействия вышеуказанных либеральных процессов крайне относительна, с основным выводом автора трудно не согласиться.

Любое государство (более того, человечество в целом и каждый отдельный человек) заключает в себе две фундаментальные тенденции, которые можно условно обозначить как «либеральную» (рациональную/эволюционистскую)

и «авторитарную» (силовую/командно-административную). Они присутствуют всегда и в любой человеческой системе. Ведь и либеральная Европа, как уже не раз отмечалось, буквально несколько веков назад была крайне нелиберальной: достаточно вспомнить печальный пример инквизиции, «охоты на ведьм» и гонений против еретиков, которые достаточно трудно соотнести с современным либерализмом.

Впрочем, и сам либерализм не представлял собой изначально то учение, с которым мы знакомы сегодня: в XIX веке, скажем, по-настоящему свободным человеком, по либеральной версии, мог быть только белый мужчина-европеец определенного уровня достатка и образования. Но и кажущийся непоколебимой глыбой деспотический режим не является тем однородно мрачным образованием, которым его часто представляют.

Даже предельно авторитарный Древний Китай породил не только Шань Яна, который представил, пожалуй, «лучший» проект создания тоталитарного государства. Китай породил и таких мыслителей, как Конфуций и Лао-цзы, общие постулаты которых очень близки к либерализму. Притом что ни условия их жизни, ни тем более государство, в котором они творили, не располагали к каким-либо проявлениям либерализма.

Если же говорить о России, то в ней были не только крупные либеральные мыслители, но и протолиберальные практики, осуществлявшиеся протолиберальными органами управления (в частности, вечевыми институтами и, в некоторой степени, земскими соборами). Помня также о частых попытках определенной либерализации авторитарного режима, регулярно предпринимавшихся, можно сделать вывод: тезис о России как европейской стране не выглядит столь уж нелепым, каким кажется он приверженцам идеи о российском «тысячелетнем рабстве».

Европейской в том смысле, что Россия, как и любая страна Европы, не представляет собой априори деспотическое или демократическое государство. Выбор политического режима зависит в ней от вполне объективных факторов — например, от профессионализма политической элиты. И потому в каждом отдельно взятом случае приходится говорить о различном сочетании либеральной и авторитарной тенденций.

Проявления либерализма в пределах русской системы никак нельзя сводить к так называемому вялому пунктиру, о котором говорит упоминаемый Яновым Андрей Пелипенко. Однако нет оснований говорить и о какой-либо системности либерализма применительно к России. В лучшем случае мы могли бы описать русскую историю как постоянную попытку воспользоваться либеральными принципами для модернизации, рационализации и легитимизации существующей авторитарной системы.

Что же дальше? Каковы перспективы? В обозримом будущем, полагаю, нет оснований рассчитывать на консолидацию либеральных тенденций россий-

ского государства и превращение их в ведущий фактор функционирования русской системы. Но это не значит, что надо отказываться от самой установки на ее либеральную трансформацию, поддерживая идею об «авторитарной сущности» российского государства. Наоборот, от идеи этой пора отказаться как от стратегически тупиковой. Отказаться в пользу идеи длительного процесса реализации либеральных принципов.

«И кто усомнится, что если есть у России будущее, то это либеральное будущее? Восемнадцать поколений была она антitezой Европы, но ведь всё на свете кончается», — логично завершает свой доклад Александр Янов. А я завершу свое выступление цитатой из Алексея Хомякова, к которой часто обращается Александр Львович и которую я (как, впрочем, и он) хотел бы несколько преобразовать: «Покуда Россия остается страной, уверенной в имманентности своей авторитарности, у нее нет права на нравственное значение».

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Кирилл. Мы приближаемся к финишу. Ирина Карацуба, пожалуйста.

Ирина КАРАЦУБА (доцент факультета иностранных языков МГУ):

«Есть ли у нас история, написанная не с позиции победителей, а с позиции побежденных»?

Я не буду злоупотреблять вашим терпением. Слушая нашу очень интересную дискуссию, я все время вспоминала слова Марка Блока, что задавать себе вопросы очень полезно, но отвечать на них очень опасно. Думаю, что Янов задал вопросы, которые очень полезно себе задавать. Вместе с тем все то, что сегодня на них отвечали, показывает, сколь опасен этот путь. Потому что на любой тезис глубоко уважаемых ораторов можно привести 10 контртезисов с подтверждающими их фактами.

Очень долгая дорога в дюнах нам еще предстоит. Но спасибо Александру Янову уже за то, что его труд дает нам возможность продолжить движение по этой дороге. Я говорю «продолжить», потому что сам Янов хорошо вписан в русскую историографическую традицию. У нас не только традиция Карамзина имеется («самодержавие — есть палладиум России»). Есть еще традиция Ключевского — радикально демократическая, но малопопулярная среди историков.

Еще мой покойный учитель Борис Краснобаев в 1979 году, когда мы с ним обсуждали новейший учебник Федосова, сказал мне: «Ир, ну у нас же республиканцев нет, у нас все анархисты». И до сих пор республиканцев практически нет, до сих пор у нас практически все анархисты. Однако Янов все же не один, рядом с ним я бы поставила фигуру Владимира Борисо-

вича. Это очень интересные личности, которые представляют другой вариант развития исторического знания.

А теперь — три тезиса, которые лично для меня очень важны.

Тезис первый: мы имеем историю, написанную с позиции победителей. А где история, написанная с позиции побежденных, униженных, оскорблённых? За них только великая русская литература будет вступаться или истории тоже?

Второй тезис — о либерализме до либерализма. Конечно, прав был Леонович: либерализм в России начинается с 1767 года, с созыва Уложенной комиссии Екатериной II. Но все-таки любой из нас понимает, что была и очень богатая предыстория, которую можно увести (и нужно уводить) к древним временам.

И третий тезис мне тоже ужасно симпатичен: что Россия — страна европейская. По крайней мере, по базовым параметрам, т.е. по языку и по вере. И это очень надежная историческая и культурная опора.

Я думаю, что Янов задал вопросы, над которыми нам всем предстоит еще долго думать и искать на них ответы. И спасибо ему за это огромное.

Игорь КЛЯМКИН:

Список претендентов на выступления исчерпан. Лев Львович Регельсон просит слова, чтобы отреагировать на услышанное.

Лев РЕГЕЛЬСОН:

«Наше европейское будущее коренится в нашей изначальной европейской сущности»

У меня несколько ответных реплик.

Прежде всего, отвечу Игорю Николаевичу Данилевскому. Вы говорили, что нестяжатели были не против монастырского землевладения, они только хотели, чтобы монахи своими ручками эту землю обрабатывали. Но, Игорь Николаевич, в этом же все и дело! Земля без крестьян никакой ценности не представляла, кому она нужна была в то время?

Далее, вы говорите, что Нил Сорский, как и Иосиф Волоцкий, тоже был против ереси. Да, конечно. Но Сорский был и категорически против того, чтобы еретиков травили и казнили. Нестяжатели, «заволжские старцы» прятали их от преследований в своих кельях, за что сами подверглись обвинениям в ереси.

Вопрос о секуляризации земель был тогда очень актуален. Государству нужен был новый класс служивых людей, а чем их вознаграждать? Денежное налогообложение только начинало развиваться. Оставалось одно — по месту службы (отсюда — «помещики») наделять их землей. А где ее взять? Либо забирать землю у бояр, тем самым резко нарушая сословный баланс государ-

ства, либо закрепощать свободных крестьян. Но это было экономически самое прогрессивное сословие! От крестьян шли основные денежные налоги, из них складывалась тогдашняя «предбуржуазия».

Иван III избрал самый разумный курс — забрать землю у церкви (как впоследствии сделали северные соседи России), осуществить секуляризацию гигантских церковных латифундий, полученных как привилегии от Золотой Орды, а также по многочисленным завещаниям, когда все ждали конца света в 1492 году. Секуляризация церковных земель в Новгороде прошла очень успешно; Иван III умело сыграл на внутренних противоречиях церкви: московская иерархия не стала оказывать поддержку своим новгородским конкурентам. Но что было делать в центральных и южных землях? И здесь государь избирает своей идеей опорой движение нестяжателей, обладавшее огромным авторитетом в народе.

Это был самый прогрессивный и вполне реальный путь. Кстати говоря, и для самой церкви это был путь наиболее благоприятный. Я уже говорил о том, что нестяжатели были носителями самых высоких традиций мирового Православия и христианства вообще. Сокрушительная победа иосифлянства на триста лет погрузила церковь в глубочайшее духовное оцепенение. Так что, вопреки Достоевскому, «русская церковь в параличе» не «с Петра Великого», она в параличе с разгрома нестяжателей. Это оцепенение начало проходить только после того, как Екатерина II (преследуя, конечно, свои собственные цели) отобрала у церкви земли с крепостными крестьянами. «Бездонные земли» монастырям были оставлены — пожалуйста, сами ее обрабатывайте. Но избалованные «молитвенники» к этому не привыкли: три четверти монастырей тут же закрылись.

И вот тогда, несмотря на упорное сопротивление епископата и обер-прокуратуры, начала понемногу возобновляться нестяжательская традиция. Весь XIX век шло медленное духовное возрождение православия, которое проявило себя в таком грандиозном, мало изученном и недостаточно оцененном явлении, как Поместный собор 1917–1918 годов.

Игорь Григорьевич Яковенко говорил, что нестяжательство — это узкая церковная тема. Но, понимаете, вся история России, а тем более средневековая, — это сплошь церковная тема. А что «православие не рождает буржуазию» — это просто неверно: того, что я сказал насчет старообрядчества, думаю, достаточно. Ну а насчет того, была ли в России частная собственность, Игорю Григорьевичу тут уже ответили. И ответили, я полагаю, правильно.

Далее, Эмиль Паин вспомнил идею Вебера о «расколдовании мира». Но это и одна из центральных идей Янова. У него множество идей, которые как жемчужины разбросаны в разных местах его огромного труда. Вспоминаю, например, его яркую и точную формулу: «Иосифлянское заклятие довлеет над Россией». О чем идет речь? Доктрина неограниченного, псевдосакраль-

ногого самовластия — это был радикальный возврат к язычеству. Но в христианском мире это была религиозная новация, изобретенная иосифлянами. По сути, они продали истину православия за чечевичную похлебку своих латифундий. А хранили эту великую истину, по которой и сегодня томится человечество, как раз нестяжатели. Ту потерянную истину, которую, как затонувший град Китеж, Россия с тех пор ищет и никак не может обрести заново.

Янов с полным на то основанием настаивает: произошла коренная ломка вековых социально-политических традиций, произошел радикальный переворот, произошла именно революция, «самодержавная революция» Ивана Грозного. Эта религиозная революция глубоко отравила народную душу России: не только государь, но и сам верующий народ поддался соблазну самообожествления. В этом соблазне есть невероятное обаяние, он непосредственно обращен к эгоизму и гордыне — самым простым и глубоким основам человеческого греха, как личного, так и национального.

И отсюда через века перебрасывается мост: от Иосифа Волоцкого — к Московской патриархии, от Ивана Грозного — к Иосифу Сталину. Сейчас на все лады повторяются заклинания: «При Сталине Россия была великой», «Россия может быть или великой, или никакой». Но если имперское величие есть самоцель — неважно, какой ценой достигаемая, — то, значит, ради этого можно и самого Антихриста принять и в итоге сделать свою страну «никакой», обречь ее на гибель?

Те, кто не жил в эпоху Сталина, просто не в состоянии представить себе, что это было. И нельзя их упрекать за то, что не могут. Все было другим, сам воздух был другим. Нормальное человеческое сознание этого вместить не может, да и не должно вмешать. Это была какая-то иная цивилизация, не вполне человеческая. И она всерьез претендовала на мировое господство! Может быть, только Даниил Андреев на своем мифологическом языке сумел выразить инфернальную природу сталинизма.

Старшее поколение, кому за 70 и кого дыхание дракона опалило лично, еще что-то помнит. Янова оно опалило со страшной силой, поэтому главный пафос всей его жизни — сделать все, чтобы это никогда не повторилось, чтобы дракон больше не ожил, чтобы метастазы, которые он после себя оставил, никогда больше не проросли, чтобы опять Россия не была заколдованна. Нет сейчас самодержавия, нет крепостного права, между Россией и Европой нет железного занавеса, но имперский соблазн жив как никогда. Пусть это агния, но каковы могут быть ее последствия?

Александр Львович рассказывает, как славянофилы, образованнейшие люди своего времени, начали возрождать в XIX веке иосифлянское заклятие, самообожение нации, имперскую манию величия. И в чем же они увидели уникальность «русской цивилизации»? В заповедях Сергия Радонежского и Нила Сорского? Или в светоносной поэзии Пушкина? Нет, совсем в дру-

том — в неограниченном самовластии царей и в глобалистском военном пафосе! И ведь не только Уваров, Шевырев и Погодин, но и такие люди, как Аксаков, Достоевский, Тютчев! А вы думаете, сегодняшние имперские идеологи так уж бездарны?

Это отнюдь не бесталанные люди, они пишут ярко, хлестко, зажигательно. Имя им — легион. Книжные полки ломятся от их бесчисленных монографий и брошюр, молодежь читает их взахлеб, Интернет забит их эпигонами и комментаторами. При всей их маргинальности, они явно доминируют сегодня в российском информационном пространстве.

А где же либералы? С этой стороны тоже есть несколько ценных монографий, но мало, слишком мало, а текстов популярных, захватывающих воображение и мысль, — таких вообще почти нет. Александр Янов с его блестящим стилем и публицистической страстью (не говоря уже о глубине содержания) мог бы стать флагманом идеального либерального наступления, теперь уже правильнее сказать — контрнаступления. Конечно, мы можем между собой спорить, у всех нас свои амбиции — это нормально. Но перед лицом грозной опасности, совершенно реальной, нельзя расслабляться. Может быть, мы все-таки будем друг друга поддерживать, отложив амбиций до лучших времен?

Реализовать наши немалые интеллектуальные возможности, объединить разрозненные силы вокруг общих, морально несомненных ценностей — вот к чему призывает Янов тех, кто любит Россию не слепо, но «с открытыми глазами», кто не желает ее самоуничтожения, кто верит в ее будущее. А коренится это будущее в нашем европейском прошлом, в нашей изначальной европейской сущности.

Игорь КЛЯМКИН:

«Основные вехи политической европеизации России — жалованные грамоты Екатерины II, реформы Александра II и октябрьский Манифест 1905 года»

Все, кто хотел, выступили. Я тоже хочу высказать свое мнение. По крайней мере, по некоторым вопросам.

Конечно, трилогия Александра Янова охватывает не только «европейское столетие», что справедливо отмечалось в некоторых выступлениях. Но, думаю, не ошибусь, если скажу, что концептуальное своеобразие авторского подхода наиболее заметно проявляется именно в анализе этого периода. Да и для своего доклада Александр Львович предпочел отобрать прежде всего то, что относится к данному периоду. Отсюда и характер нашего обсуждения: он был предзадан акцентами, расставленными в докладе самим автором.

Сразу скажу, что концепция «европейского столетия» мне не близка. Истоки российской либеральной государственной тенденции я вижу не в XV столетии, а в столетии XVIII, во временах Петра III и Екатерины II. Эта позиция, представленная некоторыми выступавшими, обосновывается и в книге «Ис-

тория России: конец или новое начало?», написанной мной в соавторстве с Александром Ахиезером и присутствующим здесь Игорем Яковенко. Вспоминаю о ней только потому, что Александр Янов не преминул нас в своем трехтомнике раскритиковать: мол, законодательное освобождение дворян от обязательной государственной службы в XVIII веке могло иметь место лишь потому и постольку, поскольку такая служба ранее была узаконена, а узаконена она была не в «европейское столетие», а гораздо позже. Ивану III и его ближайшим преемникам закон об обязательной службе не надо было отменять по той простой причине, что его в их времена еще не существовало вообще!

С этим, конечно, спорить трудно. Но можно ли было такой неузаконенной службы в XV–XVI веках избежать? Можно ли было ее избежать, учитывая, что она была условием наделения дворян землей и ее сохранения за ними? Можно ли было ее избежать, если именно на этой служилой основе выстраивалась, начиная с Ивана III, послемонгольская московская государственность? И похоже то было, по-моему, больше на сultанистскую Османскую империю, чем на переходившую к использованию наемной армии Европу. Разве не так?

Повторяю: принуждение к службе, не опосредованное правом (договором сторон), с европейской стороны в моем сознании не совмещается. Ничего общего не вижу я также в отношениях между московскими правителями и служилыми людьми в «европейском столетии» и отношениях князя и «вольных дружинников» в Киевско-Новгородской Руси. Кроме того, разумеется, что в том и другом случае отношения эти строились в отсутствие договорно-правовой основы. Вот почему я и веду отсчет либеральной тенденции в России не с Ивана III, а с Петра III и Екатерины II. И если Александру Львовичу эти аргументы не кажутся убедительными, то очень интересно было бы услышать его возражения.

Дело не только в том, что дворяне в XVIII веке были раскрепощены, получив право не служить. Дело и в том, что в жалованной грамоте Екатерины II дворянству было впервые сказано: законы, гарантирующие его права, не могут быть изменены и отменены, они являются постоянными, дарованными «на вечные времена». Имелось в виду и право собственности на землю. Другое дело — и здесь я соглашусь скорее с Игорем Яковенко, чем с его оппонентами, — что легитимным в глазах подавляющего большинства населения, т.е. крестьянства, оно при этом не стало. Напомню, что ликвидация частной собственности на землю была осуществлена большевиками в соответствии с заимствованной ими эсеровской программой, которая, в свою очередь, находилась в соответствии с наказами самих крестьян...

Но, как бы то ни было, неотменяемость екатерининских законов делала их, по сути, конституционными, ибо они ограничивали монополию самодержцев на законотворчество. Причем ограничивали в той сфере, в которой Су-

дебником 1550 года правовое упорядочивание не предусматривалось вообще; в этой сфере сохранялись отношения доправовые. Это во-первых. А во-вторых, ограничения самодержавия в XVIII веке, в отличие от ограничений века XVI, оказались необратимыми: когда Павел I по старой традиции попробовал ими пренебречь, он кончил тем, чем кончил.

Евгений ЯСИН:

Дворянство почувствовало вкус свободы...

Игорь КЛЯМКИН:

Оно почувствовало, что за ним — закон, отмене не подлежащий. Отменить его можно было только посредством ликвидации всей дворянской элиты и замены ее другой, что и сделали впоследствии большевики.

А в досоветский период обозначившаяся в XVIII веке европейско-либеральная тенденция получила продолжение и углубление в реформах Александра II, освободившего от крепостной зависимости крестьян. Хочу особо упомянуть и об учреждении им земств, т.е. местного самоуправления.

Леонид ВАСИЛЬЕВ:

Не менее важна была и судебная реформа...

Игорь КЛЯМКИН:

Разумеется, как и реформирование армии, отказ от рекрутчины, существовавшей в стране со времен Петра I. Но я вспоминаю именно о земстве, потому что Александр Львович усматривает европейскость первоначальных реформ Ивана Грозного как раз в учреждении местного самоуправления. Но насколько корректно говорить о таком самоуправлении в России до эпохи Александра II? Ведь только при этом правителе у органов самоуправления появилась собственная экономическая база: им было предоставлено право самообложения, т.е. установления местных налогов. А раньше этого не было. И сейчас, между прочим, нет...

Евгений ЯСИН:

Да, реально этого нет, хотя в Конституции такое право записано...

Игорь КЛЯМКИН:

А местное самоуправление при Иване Грозном, как отмечал и почитаемый Александром Львовичем Василий Ключевский, таковым, строго говоря, не являлось. И дело не только в отсутствии права на самообложение. Дело и в том, что местные выборные органы призваны были восполнять дефицит чиновничества, выполняя и общегосударственные функции. Или, говоря

иначе, будучи выборной местной разновидностью государственной бюрократии.

Во всяком случае, ничего похожего на европейское городское самоуправление, как неоднократно отмечалось в ходе дискуссии, в Московии не наблюдалось. Никита Павлович Соколов мог бы, правда, сослаться на Новгород, но после походов на него Ивана III и самоуправляющийся Новгород остался в прошлом. И я спрашиваю: можно ли считать выравнивание порядков в этом городе с порядками в других городах Московии движением в европейском направлении?

У новгородцев, желавших сохранить свои вольности, наблюдалось, как известно, сильное тяготение к Литве, за что они и были Москвой наказаны. Но какая страна была в то время больше Европой — Литва или Московия? Могли ли литовские магнаты позволить себе, скажем, то беззаконие в отношении своих соотечественников, которое позволял себе там бежавший в Литву от произвола Ивана Грозного московский «европеец» Андрей Курбский, причисляемый Александром Яновым к числу самых выдающихся фигур отечественного либерализма?

И наконец, третья важнейшая веха европеизации, если ограничиться досоветскими временами, — октябрьский Манифест 1905 года и Основные законы 1906-го, положившие начало российскому парламентаризму. По сути, это был уже реальный выход за политические границы самодержавия, так как оно впервые частично урезалось в своих полномочиях выборным народным представительством. Но если первые две либерализации системы синхронизировались с существенными расширениями имперского пространства, то третья явилась, помимо прочего, и реакцией на исчерпанность экспансионистского ресурса, что и продемонстрировала убедительно война с Японией.

Так вот: можно ли утверждать, что все эти три вехи, начиная с екатерининской жалованной грамоты дворянству, были продолжением традиции, заложенной в «европейском столетии»? Возникло ли тогда нечто похожее на то, чем отмечена каждая из этих вех?

Я адресую эти вопросы Александру Янову. И руководствуясь отнюдь не желанием во всем его опровергнуть. Мне хочется, чтобы позиция, которая вызывает у меня сомнения, была максимально прояснена. Не исключаю, что Александр Львович в чем-то меня переубедит. И потому продолжу перечень своих вопросов.

Мне непонятно, правомерно ли вообще начальный период государственности выдвигать в качестве альтернативы ее более поздним формам. В данном случае государство доопричной Московии — государству опричному и послеопричному. Интересно, кстати, что Янов в одном месте проводит параллель между Иваном III и Лениным периода НЭПа, с одной стороны, и между Иваном IV и Сталиным — с другой. Надо ли понимать это так, что нам предлага-

ется вернуться к идеи советских шестидесятников, вроде бы преодоленной, т.е. к идеи о ленинизме как исторической альтернативе сталинизму? Если же нет, то почему такой подход оправдан применительно к другой эпохе? Почему оправданно искать историческую альтернативу самодержавию Ивана Грозного в более ранних, начальных формах российского государства?

Лев РЕГЕЛЬСОН:

Чтобы ответить на такого рода вопросы, придется писать четвертый том...

Игорь КЛЯМКИН:

Не знаю, не уверен. По-моему, ответ может быть очень коротким.

Возможно, несколько больше места потребуется для того, чтобы показать, в каком направлении эволюционировало Московское государство в границах самого «европейского столетия». Какая тенденция доминировала, скажем, при Василии III, который в глазах европейца Герберштейна выглядел правителем, власть которого превосходила власть любого монарха? Европейская тенденция или «холопская»? И какую роль в этой эволюции сыграло прервавшее ее боярское правление? Интересно: не будь этого системного сбоя, понадобилось бы наследнику Василия III искать поначалу компромисс с боярством, поделившись с ним законодательными полномочиями, а потом вырезать его, когда эти полномочия стали восприниматься как чрезмерные ограничители полномочий царских?

Вопрос не покажется таким уж странным, если учесть, что наделение Боярской думы законодательными полномочиями было не подтверждением и закреплением сложившейся до того практики, а отступлением от нее, ее, если угодно, ревизией. Предшественники Грозного не были очень уж щепетильны в своих отношениях с Думой. И «латентные ограничения власти», о которых пишет Янов и о которых вслед за ним говорил Лев Львович Регельсон, действовали при них далеко не гарантированно.

Напомню, что и истинный «европеец» Иван III (не говоря уже о сменившем его Василии III) позволял себе с Думой не считаться. И самочинными казнями не пренебрегал, когда думские бояре очень уж сопротивлялись, — я имею в виду ситуацию, когда он решил вместо уже коронованного внука Дмитрия назначить своим наследником сына от второго брака Василия. Конечно, масштабы репрессий были несопоставимы с теми, которые учинил потом Иван Грозный, конечно, речь шла не о тысячах, а о единицах, но прецеденты были и до Грозного.

А это значит, что никакой обязательной нормы, никакой традиции, исключавшей бессудные репрессии, в послемонгольской Московии изначально не утвердились. Когда же законодательное ограничение после эволюционного сбоя, имевшего место при боярском правлении, было наложено, царь, этим

ограничением тяготившийся, нашел способ его ликвидировать — столь же насильственный, сколь и «законный». Ведь сама же Боярская дума, устрашенная Грозным и, что немаловажно, поддержавшим царя московским людом, его опричнину и санкционировала. Отсюда и мой вопрос: сложилась ли на ранних стадиях Московского государства традиция, исключавшая произвол правителя и принятие им самовластных, т.е. в обход Боярской думы, решений? И в каком все-таки направлении эволюционировала московская власть до того, как эволюция эта была прервана боярским правлением?

А теперь — по поводу самой 98-й статьи Судебника 1550 года, наделявшей Боярскую думу законодательными полномочиями. У Александра Львовича эта статья фигурирует как русская Magna Carta. Не буду останавливаться на том, что никакой законодательной процедуры формирования Думы той статьей не предусматривалось — царь мог вводить в нее тех, кого хотел, по своему усмотрению. Меня в данном случае интересует другое.

Меня интересует, есть ли разница между английскими баронами начала XIII века, представлявшими свои территории, и московскими думскими боярами XVI столетия, которые были сосредоточены в столице и никого — кроме самих себя и своих семейных кланов — не представляли? Поэтому английские бароны добивались в первую очередь права влиять на размеры налогов со своих земель, которое и узаконила Magna Carta. Разве в Московии XVI века было то же самое? И могло ли из московской Боярской думы произрасти нечто похожее на английский парламент, который возник уже через несколько десятилетий после принятия Хартии вольностей? Парламент, в котором заседали не только бароны, но и по два выборных представителя от рыцарства и городов. И почему различные группы английского общества это свое право на такое представительство отстаивали и отстояли в жесткой, временами кровавой, борьбе, а русское общество три века спустя перед произволом Ивана Грозного оказалось бессильным и всерьез даже не сопротивлявшимся?

Леонид ПОЛЯКОВ:

В России тоже было выборное представительство. В 1613 году Земский собор избрал царя Михаила Романова...

Игорь КЛЯМКИН:

Александр Янов этот эпизод для иллюстрации своей концепции не использует, а потому и я не буду на нем останавливаться. Что касается отличий российского Земского собора от европейского парламентского представительства, то они хорошо показаны у того же Ключевского. Советую почитать.

Правда, Янов, как я уже говорил, ссылается на подготовленный Михаилом Салтыковым договор 1610 года с поляками, в котором предусматривались не только Боярская дума, но и Земский собор, существенно ограничивавшие

власть царя. Но в том договоре есть не только это. В нем — цитирую по Ключескому — написано и такое: «Мужикам крестьянам не дозволяется переход ни из Руси в Литву, ни из Литвы на Русь, а также и между русскими людьми всяких чинов, то есть между землевладельцами». Насколько понимаю, это называется крепостным правом.

Так что если и правомерно в данном случае говорить о конституции, то разве что о крепостнической. И я хочу понять: как сочетаются у Александра Львовича жесткие обвинения в адрес тех, кто отменил «крестьянскую конституцию» Ивана III (кстати, документов об официальной отмене при Иване Грозном Юрьева дня обнаружить, насколько знаю, так и не удалось), с апологией проекта Салтыкова? Проекта, где ни о каком Юрьевом дне не упоминается, а крепостничество предполагается узаконить? И с «верховниками» 1730 года, кстати, то же самое: самодержавие они действительно хотели ограничить, но на крепостное право, к тому времени давно уже узаконенное, не покушались.

Также не очень понятно мне — это в каком-то смысле возвращает меня к реплике Леонида Полякова, — почему Александр Львович придает такое большое значение проекту Салтыкова и не придает никакого значения тому, что положения этого проекта, хотя и без ссылок на него, были реализованы при первых Романовых. К тому же своими, русскими царями, а не иноземными. Тогда и Боярская дума была, и Земский собор работал (первые десять лет — фактически на постоянной основе). Может быть, потому, что в реальной московской политической жизни все оказалось не так привлекательно, как на бумаге? Или потому, что именно при первых Романовых было юридически окончательно закреплено и крепостное право? Но ведь и Михаил Салтыков намечал сделать то же самое! Правда, об этом сегодня почти никто не знает, а о закрепощении крестьян при Алексее Михайловиче Романове известно каждому школьнику. А значит, и каждому взрослому...

И наконец, последнее. Чтобы лучше понять, что же все-таки представляла собой государственная традиция «европейского столетия», какую именно альтернативу самодержавию она в себе заключала, хотелось бы получить ответ еще на один вопрос. У Александра Львовича есть замечательный, по-моему, анализ содержания таких понятий, как «деспотия» (восточная), «абсолютизм» (европейский) и «самодержавие» (российское). Он убедительно показывает, что вещи это разные. Но чем все же было Московское государство «европейского столетия»?

Ответ Янова: ни деспотией, ни самодержавием. Но чем же тогда? Европейским абсолютизмом? Европейской сословно-представительной монархией? И если речь идет о последней, то насколько соответствовал московский вариант такой монархии известным к тому времени (и уже уступавшим историческую дорогу абсолютизму) европейским моделям? А если в Московии тогда был абсолютизм европейского типа, как трактует Янова Лев Регельсон, то какой смысл сравнивать ее с доабсолютистской Англией времен Великой

хартии вольностей? И мог ли абсолютизм такого типа возникнуть на той стадии развития общеноционального внутреннего рынка, на которой находилась Московия в «европейском столетии»?

Я солидаризируюсь с призывом Льва Львовича к поддержке друг друга, к объединению вокруг общих ценностей. Наше сегодняшнее обсуждение я именно в этом ключе и рассматриваю. Самим фактом публичной дискуссии мы хотим привлечь к работам близкого нам по ценностям автора, идеи которого почти не обсуждаются, общественное внимание.

Да, они здесь оспаривались, но оспаривать интерпретацию событий пяти-сотлетней давности — не значит оспаривать ценности. Наше историческое сознание пребывает сегодня в таком состоянии, что без столкновения разных мнений и подходов нам не обойтись. При этом они могут еще больше расходиться, но могут и сближаться, что в какой-то степени, как мне показалось, произошло сегодня в споре Регельсона и Данилевского о нестыжателях. Но в любом случае они будут проясняться, освобождаясь от чрезмерной порой идеологизации и инструментализации.

Мы опубликуем стенограмму этой дискуссии на нашем сайте. Разумеется, если Александр Львович сочтет нужным ответить на прозвучавшие здесь выражения и вопросы, то мы будем рады предоставить ему слово. А нашу сегодняшнюю встречу разрешите завершить. Благодарю всех участников обсуждения за содержательные выступления. Их расшифровки будут каждому из вас представлены для авторизации и для внесения уточнений и дополнений. Думаю, не только вы, но и Александр Львович Янов заинтересован в том, чтобы реакция на его идеи была представлена максимально полно и внятно. Хочу также надеяться, что ему эта реакция покажется заслуживающей внимания. Еще раз всех благодарю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Андрей ПЕЛИПЕНКО (главный научный сотрудник Российской института культурологии)

НЕ БЫЛО НИКАКИХ «МОСКОВСКИХ АФИН» И МОСКОВСКИХ ПЕРИКЛОВ

К сожалению, мне не удалось из-за болезни присутствовать на обсуждении доклада Александра Янова. Но поскольку уважаемый Александр Львович назначил меня не только выразителем идей либеральной культурологии, но и удостоил достаточно развернутой критики, я должен хотя бы коротко на нее ответить.

Надо сказать, что я уже имел опыт обсуждения данной темы с Александром Львовичем по Интернету. Однако, при всей корректности и взаимной добро-

желательности стиля дискуссии, содержательных плодов она не принесла и затухла по причине непреодолимых парадигматических и отчасти мировоззренческих различий.

Суждения А. Янова касаются многих аспектов и нюансов темы, и ответить на них столь же подробно я не возьмусь. Остановлюсь лишь на самом главном, не придираясь к деталям.

Прежде всего, должен признаться, что не являюсь либералом *par excellence*. И не только потому, что дилемма «либерализм-авторитаризм» (или нечто синонимическое) представляется мне донельзя узкой и, по сути, исторически исчерпанной. По своим политическим воззрениям я скорее экспертократ. Но коли уж Александру Львовичу угодно считать меня либералом, то перед лицом оппонентов из авторитарного лагеря спорить с этим не стану.

Если одним словом охарактеризовать мои претензии к тому подходу, посредством которого уважаемый автор интерпретирует российскую историю и мои скромные о ней суждения, то это слово — *передергивание*. Как известно, ложь страшна теми крупницами правды, которые в ней растворены (Кант). Читая рассуждения Янова о «европейском столетии» и отмечая эти самые крупинцы правды, ловишь себя на мысли о невообразимом передергивании исторических фактов и фантастичности интерпретаций.

Автор подробнейшим образом смакует и раздувает в значении все, что только можно различить на чахлом поле российского либерализма. Но об авторитарной традиции, которая всегда одной левой давила все эти жалкие ростки, говорится вскользь, неохотно и походя. Порой кажется, что только высокий профессионализм с трудом удерживает автора от того, чтобы объявить все эти «давилки», действовавшие и в столь любимом им (и им же придуманном) «европейском столетии», досадными случайностями.

Да, при Иване III и его ближайших преемниках имело место некоторое равновесие векторов и форм исторической эволюции: имперского в своей тенденции государства (Казанское ханство, кстати, было присоединено за 12 лет до опричнины) и национального феодализма в общеевропейском мейнстриме. Но... «европейское столетие»?

Не было никаких «Московских Афин» и, соответственно, московских пеприков! Почему мы не должны доверять свидетельствам иностранцев — того же Герберштейна, в конце концов? Общий строй московских порядков уже в «европейское столетие» вполне оформился в «тяглое государство» (термин А. Буровского). А нам что-то говорят про «Афины»...

По мнению автора, я не заметил и не оценил должным образом реформ Избранной рады. Но дело в том, что, будучи не историком, а культурологом, я интересуюсь не событиями в их историческом измерении, а их общекультурными последствиями. Неужели это различие нуждается в разъяснениях?

Александр Львович явно передергивает, приписывая мне мысль о начале российской истории с Ивана Грозного, со второй половины его царствования. Это не история началась при Иване Грозном, это глобальное макроисторическое *противостояние* между российской (инверсионной) и западной (медиационной) культурно-цивилизационными моделями стало определенно оформляться примерно с того времени. Не больше, не меньше. И, мне кажется, я выражал эту мысль в своих работах (в том числе и в цитированной автором) достаточно ясно. Вот почему канувшие в Лету итоги реформ Избранной рады, сколь угодно важные для историка, для меня особого значения не имеют. В этом нет пренебрежения историческими фактами. Это просто другой масштаб видения проблемы и другая парадигматика интерпретаций.

Автора явно задела моя «графическая» метафора о том, что либеральная линия в российской истории представляет собой вялый пунктир, тогда как по мнению Янова — полнокровную линию (если не более того). Настаиваю — именно вялый пунктир. Да и то лишь в лучшем случае!

Я опускаю здесь соблазнительную возможность попридираться к автору по поводу его экстраполяции понятия «либерализм» на другие исторические эпохи, которую он осуществляет с легкостью необыкновенной. Чего стоят хотя бы «несятчатели-либералы»! Обращусь к самой сути спора.

Суть эта, по моему мнению, состоит в том, что следует принципиально различать *мир идей* и *сферу социально-политических практик*. Идеи в обществе могут рождаться самые разнообразные, в том числе и наипрогрессивнейшие. Однако ставить их на одну доску с политическими практиками — либо недомыслие, либо сознательное шулерство.

Кстати, когда я впервые услышал выступление Янова на семинаре А.С. Ахиезера, то просто не поверил, что столь фантастически преображенную картину российской либеральной традиции можно рисовать всерьез. Тогда я, грешным делом, заподозрил автора в либеральной ангажированности. И лишь убедившись в его несомненной профессиональной честности и искренности, избавился от этих подозрений.

Наиболее поразительный пример смешивания идей и практик у Янова кажется даже не его любимого героя — Ивана III, а другого «фаворита» русского либерализма — Михаила Салтыкова с его конституцией 1610 года. Можно, разумеется, спорить, настолько ли уж эта конституция была либеральна — в частности, в вопросе о крепостном праве. Но суть дела все же не в этом. Она в том, что конституция Салтыкова никак не отразилась на современных ей политических практиках, т.е. осталась в области истории идей. И констатация этого гораздо важнее любых рассуждений о ее прогрессивности и прочих достоинствах.

Но совсем уж трогательно звучит довод автора, что наработки этой конституции со временем оказались востребованными: «...три столетия спустя

проект Салтыкова был и впрямь воплощен в жизнь в Основном законе конституционной монархии 1906 года». Хорошо же развивалась на Руси либеральная традиция, если в 1906 году оказались актуальными идеи трехсотлетней давности! Странно, что автор не понимает, что предоставляет дополнительную (и выразительную) аргументацию не сторонникам своим, а оппонентам. А говорить об отмене крепостного права в 1861(!!!) году как о «блестящей победе» либерализма, как, впрочем, и о других «победах» из приводимого автором ряда, можно, как мне кажется, лишь с позиций очень утонченного чувства юмора.

Чтобы глубже укоренить Россию в Европе, Янов объявляет неприемлемым использование применительно к ней понятия *деспотизм*. Я не стану касаться смысловых разнотечений этого понятия, имеющих место в общегуманистическом, историческом и культурологическом контекстах. Есть такой не очень чистый риторический приемчик: когда нечего ответить по существу, начинают придиরаться к терминам. И Александр Львович объясняет мне, как школьнику, что термин «деспотия» к России неприменим, а в доказательство рассказывает о монаршей собственности на землю в Китае и Турции, по отношению к которым данный термин уместен. Таким образом мне и другим «либеральным авторам», коих автор уличает в «изначально ложной» установке, предлагается уяснить, что Иван Грозный — это не Навуходоносор и не Цинь Шихуанди. А в подтексте слышится: «Не все еще потеряно, не все!»

Спасибо, просветили: в основе всего — собственность на землю. Конечно, конечно — производительные силы, производственные отношения, азиатский способ производства... Помню все это, помню. Но меня почему-то мучает вопрос: приходило ли в голову кому-либо из психически вменяемых граждан СССР поверять поступки тов. Сталина на их соответствие закону, не говоря уже о нормах права? Чем он владел, какой собственностью? И не поважнее ли будет такая независимость политической практики от каких-либо писаных норм, имевшая место на Руси не только в сталинские времена, пресловутой *формальной* собственности на землю?

Да, Россия — не азиатская деспотия, и я не сомневаюсь, что все авторы, использующие применительно к ней данный термин, выражаются в той или иной степени метафорично. Но метафора эта не столь уж далека от действительности, как может показаться на первый взгляд, если рассуждать не формально. Хотя, соглашусь, степень метафоричности следует пояснить в каждом конкретном случае.

Отдаю себе отчет в том, что мои замечания о докладе Янова и его книге, которым я не склонен отказывать в содержательности и насыщенности конкретным материалом, обрывочны, бессистемны и конечно же методологически эклектичны и некорректны. Строго говоря, было бы корректно, став на пози-

цию историка, провести имманентную критику взглядов автора, уличая его в том, что он видит лишь то, что хочет видеть. А затем, выйдя на позицию культуролога, проинтерпретировать полученные выводы. Однако для этого потребовалось бы проделать весьма трудоемкую работу и изложить ее результаты в отдельной книге...

Можно было бы, правда, порассуждать еще и о том, как и в чем Александр Львович видит источник оптимизма для либерального будущего России. Однако и в данном случае ограничусь лишь самыми короткими замечаниями.

Какие бы счастливые метаморфозы ни ожидали «либеральную линию», я не могу себе представить Россию, входящую в Европу вместе со всеми своими Башкириями, Калмыкиями, Якутиями и Чечней. Просто не хватает фантазии — ни исторической, ни литературной. Да и у наиболее продвинутых регионов тоже не может не быть больших проблем с таким вхождением, даже при самых фантастически благоприятных условиях.

Но здесь хоть можно говорить о какой-то надежде. В том смысле, что либеральное будущее России неизбежно обусловливается ее распадом и регионализацией. При этом внешний рисунок распада может выглядеть обусловленным геополитическими, экономическими и тому подобными факторами, но за ними неизбежно прступит глубинный фактор — культурно-цивилизационный.

Таков экзамен, который ждет Россию в ближайшем будущем. Это будет жестокий исторический урок. Но зато прекратятся наконец все тошнотворные «русские» разговоры с расковыриванием язв и бесконечным обсуждением заведомо не решаемых вопросов, которые просто боятся решать.

Однако есть и еще один, гораздо более тревожный и неприятный вопрос, глубоко табуированный в сознании российского либерала. Вопрос звучит так: а есть ли либеральное будущее у самой Европы (в широком ее понимании)? Не пришел ли поезд европейского либерализма, за которым бежало, задрав штаны, российское просвещенное общество, на конечную станцию? Не размылся ли за последние лет сто этот, казалось бы, незыблемый кисельный бежек?

Но нет, не буду начинать эту сложную и болезненную тему. Тем более что Александр Янов, как истинный рыцарь либерализма, данного вопроса не касается. Остается разве что сказать, что для меня лично тема России — периферийная. А также принести извинения — не ритуальные, а вполне искренние — за некоторую полемическую резкость и заверить Александра Львовича в не менее искреннем моем к нему уважении.

Приложение 2

Александр Янов

ЗАМЕТКИ О ДИСКУССИИ

В двух словах — хорошая дискуссия. Она вскрыла старые раны, поставила проблему и дала если еще не надежду, то, по крайней мере, намек на надежду, что возрождение либеральной (европейской) традиции в России возможно.

Мне, конечно, предстоит сейчас отвечать если не на все, то хоть на главные поставленные в дискуссии вопросы. Но прежде хотелось бы поблагодарить всех, кто посвятил целый вечер своей жизни — три часа! — чтобы послушать обмен мнениями по вполне, казалось бы, абстрактной проблеме. Особенно, разумеется, признателен я большинству выступивших на этом обсуждении. Во всяком случае, тем из них, кто старался следовать удивившему меня своей точностью введению Игоря Моисеевича Клямкина: «Если [европейской традиции] в российской истории не было, а было лишь "тысячелетнее рабство" и "ордынство", то у нас с вами нет не только прошлого, но и будущего. С нуля в истории ничего не начинается...»

И правда же, в том и состоит величайшая беда российского либерального сообщества, что оно потеряло свою традицию. В конце XIX века оно ее еще смутно помнило, а в конце XX забыло. Без традиции, однако, как объяснил нам один из самых опытных в этих сюжетах людей, лорд Бенджамин Дизраэли, на которого я ссылаюсь в трилогии, жизнеспособного политического движения быть не может. Говоря современным языком, вот же чему на самом деле учит нас Дизраэли: без восстановления корней, без возрождения традиции вам из политического гетто не вырваться. Никогда.

Но можно ли возродить утраченную традицию? Не знаю. Исторический опыт, однако, подсказывает, что во многих случаях можно. В споре с британским марксистом Эриком Хобсбаумом, которого очень хвалил Эмиль Паин, я сослся в трилогии на серию примеров таких возрожденных традиций. Вот лишь один из них — самый, пожалуй, неожиданный. Ну кто мог бы подумать еще полвека назад, что воскреснет после полутора тысяч лет забвения традиция всемирного Исламского халифата и что во имя ее снова, как в глубоком Средневековье, будут убивать людей?

Но если возрождаются даже давно забытые традиции, то почему бы не могла возродиться и традиция отечественного либерализма, пусть и порожденная еще европейским столетием России в XV–XVI веках, но потерянная сравнительно недавно? Ведь и требуется для этого всего лишь очистить российскую историографию от мифов. Здесь читатель, боюсь, вздохнет: ничего себе «всего лишь»...

Так или иначе, прав Лев Львович Регельсон: суть трилогии «Россия и Европа. 1462–1921», которая и была предметом дискуссии, действительно *в по-*

пытке возродить либеральную традицию России. И потому наибольшая моя признательность именно Льву Львовичу, с таким достоинством представлявшему меня в дискуссии. Едва ли я и сам сделал бы это лучше. Тем более что он самостоятельно развел предложенную в трилогии парадигму русской истории в необходимом, но неожиданном даже для меня религиозном аспекте. Понятно, что он не мог за меня ответить на все вопросы, поставленные на обсуждении. Но этого ведь и никто, кроме автора, не смог бы.

Потерянный ключ к саморазвитию

Сначала, однако, придется мне заметить с огорчением, что самые существенные темы трилогии в дискуссии вообще не прозвучали. Спор шел, увы, в рамках все той же парадигмы (или «старой национальной схемы»), которую с презрением отверг еще Георгий Петрович Федотов. Помните, «она давно уже звучит фальшью»?

Для дореволюционных русских историков Россия была лишь запоздалой Европой. Для того, что я называю Правящим Стереотипом мировой историографии (впредь я буду называть его для краткости просто Правящим Стереотипом), Россия — «азиатская империя», будь то монгольская по происхождению, или византийская, или «патrimonиальная». Вот и на обсуждении опять спорили о том же — Европа ли Россия, или не Европа.

Но ведь трилогия моя не о том. Я пытаюсь сломать как «старую национальную схему», так и Правящий Стереотип, с которым и пришлось мне главным образом в трилогии сражаться. Я предлагаю новую «национальную схему» и действительно, как иронизировал Игорь Клямкин, «сознательно противопоставляю ее чуть не всей отечественной и западной русистской историографии».

Да, Россия, как, впрочем, и Германия до 1945 года, Европа по рождению и культуре в широком смысле слова. Но, как та же Германия, Европа с изъяном, «испорченная Европа», если можно так выразиться. «Испорчена» Россия двойственностью своей политической культуры, мощью своей патерналистской традиции, лишившей ее способности к самопроизвольной политической модернизации. Вот почему двойственность политической культуры России — ключевое понятие трилогии.

Я повторяю это не только в каждом томе, но, рискуя появлением «стилистических разногласий» с Никитой Павловичем Соколовым, которого эти повторения раздражают, чуть ли не в каждой главе. К сожалению, однако, несмотря на эти повторения, никак эта ключевая мысль в ходе дискуссии практически не прозвучала. Отчасти, конечно, потому, что большинство выступавших трилогию не читали. Я понимаю, одолеть двухтысячестранничную машину не всем в наше суэтное время под силу. Немножко, я надеюсь, поправит дело коротенькая брошюра «Европейское будущее России?», опуб-

ликованная по инициативе Дмитрия Борисовича Зимина фондом «Динас-тия», в которой вступительные главы ко всем трем томам трилогии довольно удачно сведены воедино. Одолеть стостранничную брошюру, согласитесь, все-таки проще.

Так или иначе, здесь самое время ответить на основополагающий вопрос Андрея Илларионова. Он настойчиво допытывался, что «понимается уважаемыми коллегами под термином "европейская традиция", под термином "Европа", под термином "европейская цивилизация"». И впрямь, без выяснения этого предмет спора повисает в воздухе.

Само собою, определение «европейскости» повторяется в трилогии многократно. Но повторю снова: особенность европейской государственности — в ее способности к самопроизвольной политической модернизации, короче, к саморазвитию. В отличие от всех других форм модернизации — экономической, культурной, церковной — политическая модернизация, если отвлечься на минуту от всех ее институциональных сложностей вроде разделения властей или независимого суда, означает, по сути, нечто вполне элементарное: *гарантии от произвола власти*. Именно благодаря этой способности и сумела Европа вырваться из омута деспотической стагнации, господствовавшей в политической вселенной на протяжении тысячелетий.

Россия, как и все европейские страны, обладала этой способностью вплоть до второй половины XVI века. То есть до момента, когда восторжествовавшая иосифлянская Контрреформация вдохновила Грозного царя на самодержавную революцию, резко усилившую патерналистскую составляющую русской политической культуры и сумевшую институционализировать ее в таких инертных нововведениях, как крепостное право. С этого момента Россия и оказалась «испорченной Европой» и начала вести себя очень странно. Например, время от времени противопоставлять себя миру, непременно сопровождать каждую реформу контрреформой и впадать в политический ступор после контрреформы. Одним словом, вести себя непредсказуемо — не только для соседей, но и для самой себя. Короче, она потеряла ключ к саморазвитию. Так в самой сжатой форме могу я здесь ответить на вопрос Андрея Илларионова. Подробный ответ — в трилогии.

«Второй фронт»

Другая тема, не прозвучавшая в дискуссии, — постоянное в первом томе сравнение России (североевропейской в начале своей государственности страны) с ее североевропейскими же соседями, со Швецией, Данией и Норвегией. Это сравнение ценно не только потому, что культурно и климатически они были ближе всего к тогдашней России. Первостепенно важно и то, что их тоже застигло «второе издание крепостного права», распространявшее-

еся, подобно лесному пожару, в XV–XVI веках по всей Европе к востоку от Рейна.

У них, у соседей, тоже больше трети всего земельного фонда страны было, как и в России, захвачено монастырями. И, соответственно, были свои яростные идеологии монастырского стяжания, тамошние, если хотите, иосифляне. И агрессивное помещичье лобби, армейское, так сказать, офицерство, настойчиво добивавшееся от правительства прикрепления крестьян к земле, тоже у соседей было. И, как в России, создавались у них грозные военно-церковные блоки, опираясь на которые какой-нибудь чрезмерно честолюбивый король тоже мог, если угодно, устроить брутальную самодержавную революцию со всеми художествами опричнины. И были у них, наконец, и свои нестяжатели, столь же страстно, как и в России, агитировавшие против церковного любостяжания.

Короче, североевропейские соседи балансируют на грани той же пропасти, что и Россия. Упасть в нее означало изменить судьбу страны до неузнаваемости. Означало крушение традиционного политического строя, разгром аристократии и тотальное порабощение большинства соотечественников. Надолго, на столетия. В том-то, однако, и загадка, что балансируют соседи на краю той же пропасти, но, в отличие от России, в нее не упали. Почему?

Не странно ли, что отечественные историки никогда не задали себе — и поныне не задают — этот простой вопрос? Тем более это странно, что, если все-таки его задать, как я в трилогии сделал, разгадка оказывается сравнительно несложной. Да, североевропейские короли уступили давлению помещичьего лобби и разрешили ему закрепостить крестьян. Но — только на конфискованных у церкви землях. Таким образом и раскололи они могущественный военно-церковный блок, и, насмерть поссорив помещиков с церковниками, предотвратили у себя самодержавные революции.

Разумеется, соседи, подобно Ивану III, вступили для этого в союз со своими нестяжателями, изолировав иосифлян. Только дед Ивана IV, родоначальник европейской России, довести дело до ума не успел, возникавший военно-церковный блок не разрушил. Что было дальше, известно. Попавший под влияние иосифлян внук, разогнав свое реформистское правительство компромисса, сделал прямо противоположное тому, что завещал ему дед.

Разница с соседями очевидна. Конечно, и у них на конфискованных монастырских землях наступил помещичий «рай». Крестьяне были прикреплены к земле, повсеместно была введена барщина и — никакого Юрьева дня. Но... Но основной массив крестьянских земель остался нетронутым, большая часть крестьянства по-прежнему была свободной. Не менее важно и то, что уцелела и аристократия, что не превратилась она в рабовладельческую. Вековая драма русской аристократии, которой уделено в трилогии так много места, была у соседей предотвращена. Так или иначе, в XVII веке, когда россий-

ское крестьянство было уже безнадежно — и totally — закрепощено, в Дании несли барщину лишь 20% крестьян. И эта разница изменила все будущее североевропейских соседей России.

Я не стану здесь повторять, откуда она взялась. Господа историки, не поблеските прочитать трилогию: там все объяснено подробно. Одно, во всяком случае, ясно. Игорь Григорьевич Яковенко со своим категорическим утверждением, что «у Александра Янова Грозный предстает как *deus ex machina*», оскачалился очевидно. Оскандалился, ибо на самом деле, как детально показано в трилогии, самодержавная революция назревала в России на протяжении десятилетий! А смысл дела простой: тогдашнее Московское государство оказалось слабее иоифлянской иерархии, сумевшей, в отличие от североевропейских коллег, отстоять свои земные богатства.

Какая уж там «идеологически санкционированная деспотия» (термин Яковенко), если оказалась Москва неспособна добиться даже того, чего добились обыкновенные абсолютистские государства в Северной Европе? Какой *deus ex machina*, если борьба вокруг монастырского землевладения (а следовательно, и вокруг военно-церковного блока, сделавшего возможной опричнину), началась еще в 1480-е? Какое отсутствие частной собственности (это опять же Яковенко), если не сумело Московское государство справиться с частной собственностью монастырей на протяжении трех столетий?

Легко упростить, если хотите, вульгаризировать сложнейшее переплетение и противоборство социальных сил и жестокую политическую борьбу, результатом которой стали самодержавная революция и крепостное право в России. Особенно легко это, когда не знаешь материала. Игорь Яковенко его, к сожалению, как мог убедиться читатель, не знает.

Право, мне было просто неловко слышать из уст серьезного, проницательного ученого, можно сказать, «производителя смыслов» в своей науке, все процитированные выше категорические высказывания, столь явно заимствованные из Правящего Стереотипа. Но главное, зачем ему так бесцеремонно вторгаться в незнакомую ему область? Неужели только затем, чтобы подорвать возрождение либеральной традиции в России?

И ведь Яковенко вовсе не был одинок в дискуссии. Та же история и с прекрасным в пределах своей «грядки» специалистом Игорем Николаевичем Данилевским, который совершенно очевидно «плывет», едва выходит за ее пределы. И то же самое с замечательным «экспертократом» Андреем Анатольевичем Пелипенко, которого я впервые вижу всерьез рассерженным на то, что «исторические события» — ему, как он сам признается, «не интересные», — не укладываются в спекулятивные схемы Правящего Стереотипа.

Как бы то ни было, вот он здесь, перед читателем, мой «второй фронт», о котором говорил на обсуждении Лев Львович Регельсон. Из-за этого и пришлось мне завершать трилогию главой «Последний спор» и заново в ней

перевоевать, если можно так выразиться, уже законченную войну — только на новом фронте. Очень трудно будет возродить либеральную традицию России, как продемонстрировала, между прочим, и наша дискуссия, покуда у Правящего Стереотипа столько талантливых — и самоотверженных — союзников дома.

Старый диспут

Вообще-то, не так уж и сложно объяснить, почему реалии российской истории, говоря словами Льва Львовича, «так трудно входят в сознание, почему вызывают такое непонимание и отторжение — как на Западе, так и в самой России». Относительно Запада, впрочем, объяснить это много проще. Если вокруг консенсус и тебя так учили, если ты заранее знаешь, что Россия «азиатская империя», то результат твоего исследования, по сути, предзадан. И все, что в постулат не укладывается, просто проходит мимо твоего сознания.

Вот смотрите. Я рассказал в трилогии, как спорил в 1977 году на Би-би-си с одним из лидеров Правящего Стереотипа Ричардом Пайпсом. И неожиданно обнаружил, что он, автор классической «России при старом режиме», вообще не слышал о Михаиле Салтыкове. Пайпс ужасно удивился, когда я спросил его, откуда взялся в России начала XVII века подробно разработанный проект конституционной монархии, подобного которому не знал никакое другое европейское государство (включая, естественно, и Польшу). Это легко проверить: в именном указателе его книги даже Салтычиха есть, а Салтыкова нет.

Хуже того, не знал он и о жесточайшей идеиной войне между иосифлянами и нестяжателями, продолжавшейся, между прочим, четыре поколения. Не знал ни о том, что вдохновителем этой борьбы был Иван III, ни о том, что и сам великий князь был под влиянием нестяжателей. Не знал, несмотря на то что писали об этом практически все историки русской церкви, не говоря уже о блестящей плеяде советских медиевистов-шестидесятников, детально исследовавших эту проблематику.

Вот что писал, например, о «странным либерализме Москвы» А. В. Карташев: «Лукавым прикрытием их [великого князя и его окружения] свободомыслию служила идеалистическая проповедь свободной религиозной совести целой школы так называемых заволжских старцев». Конечно, будучи иосифлянином, Карташев говорил о «странным либерализме Москвы» враждебно. Но Пайпс-то вообще ни о чем подобном не ведал. Стереотип не позволил ему это даже заметить.

Какой, в самом деле, либерализм в «патrimonиальном государстве», да еще в XV веке, за два столетия до Петра, прорубившего в нем окно для западных идей? Какая идеиная война, тем более такой остроты, что доставалось порою за «свободомыслие» и самому великому князю — и не только от позд-

нейших иосифлянских историков, но и от современников? Разве согласился бы самодержавный царь терпеть публичный выговор от монаха за то, что, посягая на церковные земли, оказался он, мол, вовсе и не царем, а «неправедным властителем, слугою диавола и тираном»?

Пайпс, понятно, знал, что сделал Грозный с митрополитом Филиппом. Но он понятия не имел, что при Иване III ни одного волоса с головы дерзкого монаха не упало, что, напротив, после такого серьезного, согласитесь, выговора, можно сказать призыва к мятежу, пригласили Иосифа Волоцкого на аудиенцию, и государь предложил ему компромисс (который жестоковый-ный монах, впрочем, отверг). Короче, в 1977 году Пайпсу было совершенно ясно, что ничего подобного в «патrimonиальной России» быть не могло.

Я же утверждал, что было. И подтвердил это документально. Наверняка у Пайпса должно было сложиться обо мне примерно такое же впечатление, какое сложилось у Андрея Пелипенко, когда он впервые лет 15 назад слушал мой доклад на семинаре Александра Самойловича Ахиезера. Напомню, если кто забыл: «Я просто не поверил, что столь фантастически преображенную картину российской либеральной традиции можно рисовать всерьез. Тогда я, грешным делом, заподозрил автора в либеральной ангажированности». Это Пелипенко пишет уже сейчас в приложении к стенограмме дискуссии.

В диспуте с Пайпсом, однако, все документальные козыри истории сдали мне. Поэтому спор он проиграл. И — о чудо! — 12 лет спустя появляется его новая книга, в которой он, пусть косвенно, но признал мою правоту. Я говорю о книге «Русский консерватизм и его критики», в большом сегменте которой, сопоставимом по размеру с главой «Иосифляне и нестяжатели» в трилогии, подробно обсуждается то, чего, исходя из его концепции, в России быть не могло. И более того, подчеркивается «роль замечательной фигуры того времени Василия (Вассиана) Патрикеева».

Правда, Салтыков отсутствует и в именном указателе новой книги. Зато имена Нила Сорского, Иосифа Волоцкого, не говоря уже о Вассиане, повторяются многократно. Разумеется, иосифлянско/нестяжательская контрверза никак не стыкуется с остальным текстом и выглядит в новой книге Пайпса совершенно инородным телом. Того, что от исхода этого спора зависело будущее страны, Пайпс не понимает по-прежнему. Напротив, подчеркивает, что «политическая дискуссия началась около 1500 года в связи с вопросом, который может показаться достаточно второстепенным, — в связи с монастырским землевладением». На самом деле в 1500 году спор, начавшийся за два десятилетия до этого, близился к кульминации. И решался в нем, как мы уже знаем, не второстепенный вопрос, а судьба России.

И конечно же роль в этом споре великого князя объясняется вовсе не его «странным либерализмом», не тем, что он «обратил жадный взгляд на владения монастырей». Но, по крайней мере, признает теперь Пайпс, в отличие

от Яковенко, что идейная война в европейском столетии России шла не по поводу какой-то невнятной «монастырской инициатической традиции», но о вещах первостепенно серьезных: «Борьба [между Вассианом Патрикеевым и Иосифом Волоцким] велась за саму сущность русского христианства».

Косвенно подтверждает это и сам Иосиф в своей знаменитой жалобе: «В домах, на дорогах, на рынке все — иноки и миряне — с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении пророков, апостолов и святых отцов, а на словах еретиков, отступников христианства, с ними дружатся, учатся у них жидовству. А от митрополита еретики не выходят из дома, даже спят у него». Так вот же они, «Московские Афины», которые категорически отрицают Пелипенко. Не я, но современник этих «Афин» ему противоречит. Он, а не я обращает внимание на то, как горячи, как страстны и, главное, как массовы были споры — «в домах, на дорогах, на рынке».

Нет, я ни на минуту не утверждаю, что отступление Пайпса, пробившее гигантскую брешь в его теории «патrimonиальной России», произошло под влиянием поражения в нашем диспуте или моей книги *The Origins of Autocracy*, которую он, несомненно, читал (не мог не читать, уж очень большой надела-ла она шум в начале 1980-х и слишком много говорилось в этой книге о нем). Зато уверен я в другом. В том, что Пайпс, как все в Америке, видел своими глазами, пусть по телевизору, в 1989—1991 годах неожиданное возрождение тех же «Московских Афин», на которые так горько жаловался пять столетий назад благоверный Иосиф. Ведь именно массовость этих современных споров «в домах, на дорогах, на рынке» и похоронила на самом деле советологию...

Салтычиха и Салтыков

Новая книга Пайпса — довольно точный пример того, как обстоит дело с неприятием моих идей на Западе. Отчаянно медленно пробиваются робкие ростки российской реальности сквозь жесткую кору Правящего Стереотипа. Хотя старейшина американской русистики Сэмюэл Бэррон уже в начале 1980-х заметил в *Slavic Review*, что «Янов, по существу, сформулировал новую повестку дня для исследователей эпохи Ивана III», аукнулось это наблюдение в новой книге Пайпса лишь четверть века спустя. Пусть Салтычиха все еще важнее для него, чем Салтыков, но Вассиан, о котором он еще в 1977-м понятия не имел, уже «замечательная фигура».

Важно, однако, что для Игоря Яковенко и его единомышленников никакого Вассиана не существует и поныне. И в этом суть проблемы. Как и четверть века назад, Россия отказывается поддержать попытку возродить отечественную либеральную традицию, не готова вступить за нее в борьбу с могущественным Правящим Стереотипом. Более того, слишком многие

из ее либеральных историков и мыслителей (об «экспертократах» я уже и не говорю) вообще предпочитают идолов этого Стереотипа возрождению либеральной традиции России. И потому не станет, боюсь, прошедшая дискуссия началом серьезной кампании за ее возрождение. Несколько голосов, безоговорочно поддержавших мою попытку, напоминают, согласитесь, скопье партизанское ополчение, бессильное перед регулярной армией Правящего Стереотипа и его отечественных союзников.

Можно, конечно, попытаться этих людей пристыдить, как сделал Леонид Владимирович Поляков. В конце концов, очевидно же: закрепись в сознании большинства соотечественников мысль, что Россия всегда, с самого начала своей государственности, была «страной рабов, страной господ», то такой ведь она и останется. Можно даже спросить отечественных союзников Правящего Стереотипа, хотят ли они, чтобы и дети их жили в такой стране. Но поможет ли это?

Если так, однако, то в чем же тот намек на надежду, с которого я начал? Думаю, он в либеральном энтузиазме не только таких представителей старшего поколения, как Эмиль Паин, о. Глеб Якунин или Лев Регельсон, но и — что особенно важно — молодых наших преемников, как Никита Соколов, Ирина Карацуба или Кирилл Батыгин. А также в тех сдвигах, которые чудятся мне в здоровом скептицизме Игоря Клямкина, задавшего очень серьезные вопросы, на которые я тотчас же и принял бы отвечать, когда б не...

...Третья пропущенная тема

Речь об Иваниане, занявшей треть первого тома и, с моей точки зрения, представляющей его сердцевину. Поверьте, это изнурительная работа: впервые собрать по кусочкам все, что говорили, писали и думали о Грозном царе историки, мыслители, поэты и художники, выяснить, как и почему столько раз кардинально менялся в их глазах его образ на протяжении четырех столетий. Результатом, однако, была, по существу, история общественной мысли России. И теперь, заглянув в нее, Владимир Кантор, например, мог бы увидеть, что всего лишь повторяет своими словами идеи Сергея Соловьева, так же как Игорь Яковенко повторяет Константина Кавелина, а Игорь Чубайс — братьев Аксаковых.

И много еще чего могли бы узнать из Иванианы участники дискуссии. Допустим, о том, как объяснил я Андрею Пелипенко еще много месяцев назад в Интернете, что Сигизмунд Герберштейн ходил еще в коротких штанышках во времена «Московских Афин» и знать о них поэтому не мог. Даже в эпоху Интернета и телевидения трудно было бы поверить молодому иностранцу, прибывшему с официальным визитом в путинскую Россию, что каких-то два десятилетия назад в этой же стране кипела идеальная и политическая жизнь, что

«в домах, на дорогах, на рынке» бушевали публичные споры. Что уж говорить о Средневековье? А Пелипенко, как ни в чем не бывало, снова ссылается на Герберштейна, как на очевидца событий.

То же самое с Игорем Чубайсом, повторяющим уже лет 200 назад опровергнутую легенду, будто «Иван IV за всю свою жизнь погубил 3000 человек». Заглянув в Иваниану, Чубайс узнал бы, что погибло в то царствование больше миллиона человек, что жизнью каждого десятого заплатила тогдашняя Россия за бесчинства «царя бешеного, купавшегося в крови подданных», по словам одного из самых уважаемых декабристов, М.С. Лунина.

Да что там говорить, много чего несерьезного — и нелепого — не прозвучало бы в дискуссии, загляни ее участники в Иваниану...

Откуда есть пошла европейская традиция?

А теперь, наконец, к вопросам Игоря Моисеевича Клямкина. Увы, заметки затянулись, и ответить здесь на все его вопросы не позволяет формат. Но на главное его несогласие с новой парадигмой ответить императивно.

Оно — хронологическое. Нет, говорит Игорь Моисеевич, европейская традиция, которую я связываю с латентными ограничениями власти, никак не могла зародиться в самом начале русской государственности, в XV веке. (Киевско-Новгородская Русь была, как я это понимаю, образованием еще протогосударственным, оттого и превратилась, в отличие от сложившихся государств — скажем, Польши или Венгрии, тоже лежавших на пути завоевателей, — лишь в западную окраину великой степной империи.) Начаться могла эта традиция, думает Клямкин, только с серединой истории русской государственности — с указа Петра III о вольности дворянской и с жалованных грамот Екатерины II. И в связи с этими грамотами возникает в России частная собственность.

Прав Игорь Моисеевич в одном: юридическое оформление получила европейская традиция России действительно лишь во второй половине XVIII века. Но ведь во Франции получила она такое юридическое оформление значительно позже. Во всяком случае, еще при Людовике XIV, современнике Петра, и при XV и XVI Людовиках, т.е. до самой Великой революции, существовала европейская традиция практически во всех странах Европы, кроме Англии, лишь в той же форме латентных ограничений власти, что и в Москве Ивана III. На языке государственной (юридической) школы российской историографии (см. Иваниану), на котором говорит Клямкин, это должно было бы означать, что никакой европейской традиции не существовало тогда и в Европе. Если же говорить не о юридическом оформлении реальной истории, то хронологическая перетряска, на которой настаивает Игорь Моисеевич, уязвима как с точки зрения фактов, так и с точки зрения политической.

В самом деле, куда мы денем факт, что до самодержавной революции «правительственная деятельность Думы имела собственно законодательный характер», в чем и состоит, по сути, открытие Ключевского? Куда денем мы факт, что Дума «была конституционным учреждением с обширным политическим влиянием, но без конституционной хартии»? На языке новой парадигмы это «без конституционной хартии» как раз и означает латентное ограничение власти. Причем несопоставимо более сильное ограничение, чем, допустим, во Франции Людовика XI, современника Ивана III, где ничего подобного и в помине не было.

И в первую очередь стояла Дума на страже — чего бы вы думали? — именно частной собственности, которой, согласно Правящему Стереотипу, не существовало в России до 1785 года, а согласно Игорю Яковенко — вообще никогда. Прежде всего, конечно, озабочена была Дума защитой вотчинной, боярской собственности. И это очень хорошо знали крупнейшие литовские магнаты, массами устремившиеся, как доказал в своем классическом исследовании М.А. Дьяконов, в Россию со своими вотчинами в царствование Ивана III.

Игорь Клямкин объясняет это «окатоличиванием» Литвы. Но, во-первых, нисколько не помешало это «окатоличивание» тому, что с таким же энтузиазмом ринулись эти магнаты обратно в Литву после самодержавной революции Грозного. А во-вторых, и это главное, мыслимо ли представить себе, чтобы стали они рисковать своей собственностью, перебегая из страны, где никто не смел на нее покуситься, в страну, где она могла бы оказаться под угрозой конфискации по воле великого князя? Разве не следует из этого неопровергично, что вотчинная собственность была так же гарантирована в Москве Ивана III, как и в Литве?

Это факт настолько, впрочем, очевидный, что позволить себе его отрицать мог бы разве либеральный культуролог. Для остального человечества куда интереснее факт собственности крестьянской. Как следует из обнаруженной А.И. Копаневым *Уставной грамоты трех волостей Двинского уезда 25 февраля 1552 года*, концентрация земель в руках богатых крестьян приобрела в европейское столетие России весьма значительные размеры. И не о каких-то клочках земли шла речь, они покупали целые деревни. Причем, как пишет Копанев, «деревни и части деревень стали объектом купли и продажи без каких бы то ни было ограничений». Переходила земля из рук в руки «навсегда, как собственность, как аллюдиум, утративший все следы феодального держания».

И принадлежали тогда этой крестьянской предбуржуазии не только пашни, огороды, сенокосы, звериные уловы и скотные дворы, но и рыбные и пушные промыслы, ремесленные мастерские и солеварни, порою, как в случае Строгановых, с тысячами вольнонаемных рабочих (все соответствующие сноски приведены в трилогии). Важно, что речь идет об аллюдиуме, т.е.

о собственности, отнять которую не мог никто, включая государство. Так не следует ли из этого, что крестьянская собственность точно так же, как и вотчинная, была в тогдашней Москве гарантирована? И, стало быть, присутствовали в ней латентные ограничения власти, причем не только социальные, но и экономические.

Короче, похоже, что Правящий Стереотип ошибся на два с лишним столетия! Частная собственность существовала не только в середине истории русской государственности, как следует из хронологии Клямкина, но уже в самом ее начале, в европейском столетии. И между прочим, суть Великой Реформы 1550-х состояла не только в отмене «кормлений», но и в том, что она ввела вместо них в уездах крестьянское самоуправление, включавшее, естественно, и выборный суд, и налоговое самообложение. В трилогии об этом рассказано очень подробно. По всем этим причинам не выдерживает хронология Игоря Моисеевича критики с точки зрения исторических фактов.

С точки зрения политической, дело с этой хронологией обстоит еще хуже. Ибо выглядит она (и это отчетливо видно в Иваниане), скорее как перелицованные славянофильство. В чем был смысл славянофильской историографии? Отворил, мол, изменник Петр ворота русской крепости для соблазнительных, но пагубных для России западных идей — в частности, для идей, связанных с преимуществами правового государства. И в результате получилось что? «Историческая катастрофа», о чем нам еще раз напомнил уже в ноябре 2009 года Игорь Борисович Чубайс.

Но ведь хронология Клямкина предполагает примерно то же самое — только с обратным знаком. Согласно ей западные идеи, которым отворил ворота России Петр, сделали свое дело, положили начало ее европейской традиции. Иначе говоря, место идей византийских, которые, по мысли славянофилов (и Чубайса), могли бы сформировать пусть и неправовую, но зато высокоморальную русскую государственность, заняли идеи европейские, правовые. В обоих случаях, впрочем, речь об одном и том же — о чужих идеях, а не о корневых, отечественных. Наивно было бы полагать, что оппоненты европейской традиции России не воспользуются этой хронологической путаницей.

Увы, дальше не лучше. Если связь хронологии Игоря Моисеевича со славянофильской историографией косвенная (зеркальное отражение), то связь ее с Правящим Стереотипом — хотя бы через концепцию того же Ричарда Пайпса — прямая. Пайпсу эта хронологическая уловка необходима как способ примирить его теорию «патrimonиальной России», лишенной и частной собственности, и правового мышления, с ее историей после Петра, включая Великую Реформу 1860-х. Западные идеи играют в его концепции роль своего рода «живой воды», влившей европейскую жизнь в пустыню азиатско-деспотической империи. Но российской-то историографии зачем идти в фарва-

тере Правящего Стереотипа — если, конечно, считает она свою страну не азиатско-деспотической пустыней, но Европой (пусть и «испорченной»)?

Так что неправ Эмиль Паин, когда, противоречи Бенджамина Дизраэли, представляет спор о происхождении европейской традиции в России «внутри-семейным спором историков». Принципиально важно, даже в самом приземленном политическом смысле, что «расколдовывание» России началось, извините за тавтологию, с начала ее государственного существования. Я думаю, что даже Пелипенко понял бы это, загляни он в трилогию. Впрочем, его, как мы знаем, «исторические события не интересуют». Но Игоря Клямкина они интересуют. Он, в отличие от Пелипенко, понимает, что без отечественной, т.е. не заимствованной ни из Византии, ни из Европы, либеральной традиции «наше историческое сознание обречено быть исключительно негативистским. А это значит, что тогда у нас нет в стране своего прошлого, а следовательно, нет и будущего».

На другие вопросы Игоря Моисеевича ответы в трилогии содержатся. А если сформулированы они там неточно или неполно, я всегда буду рад ответить на них в рабочем порядке. Замечу здесь только, что если сравнить два царствования — Ивана III в Москве и уже упоминавшегося Людовика XI во Франции, вступившего на престол лишь годом раньше Ивана, — то, ручаюсь, ни один историк не усомнится, что московский государь был несопоставимо более европейцем, нежели его французский коллега и современник.

КУДА ВЕДЕТ СТРАНУ «ДУУМВИРАТ»?

Игорь КЛЯМКИН (*вице-президент фонда «Либеральная миссия»*):

Сегодня¹ мы собрались, чтобы обсудить состояние и перспективы нынешней российской политической системы. Равно как и ее соответствие либо несоответствие задачам модернизации страны. Хотелось бы также продвинуться в понимании путей и способов ее трансформации, в поисках либерально-демократической альтернативы ей — если не политической, то хотя бы интеллектуальной.

Вопросы, которые мы предлагаем обсудить, вы получили заранее. Я их повторю:

1. Выдерживает ли российская политическая система испытание экономическим кризисом?
2. Что могут предпринять власть и различные группы элиты для обеспечения жизнеспособности государственной системы? Обозначился ли уже вектор ее эволюции или существует выбор между различными сценариями?
3. Какое развитие событий было бы оптимальным с точки зрения задач модернизации?

Учитывая, что речь идет о политической системе в условиях экономического кризиса, начать обсуждение я прошу Сергея Алексашенко. С тем расчетом, что он соединит политические аспекты темы с экономическими. Пожалуйста, Сергей Владимирович.

Сергей АЛЕКСАНДЕНКО (*директор по макроэкономическим исследованиям ГУ—ВШЭ*):

«Вектор развития политической системы зависит от того, какую линию поведения выберет правительство в сфере экономики»

На первый вопрос — выдерживает ли российская политическая система испытание экономическим кризисом — ответ очень короткий. Да, выдерживает. И более того, я бы сказал, успешно выдерживает, потому что внутри государственных структур не наблюдается никаких признаков раскола или разброда.

Намеки на неспособность системы выдержать кризис можно было увидеть в период откровенной паники, с сентября до середины декабря 2008 года, когда экономика быстро падала, ситуация менялась от недели к неделе, когда власть даже не успевала понимать, что происходит, и делались какие-то абсурдные заявления. Но потом, когда обвальное падение закончилось, она взяла себя в руки, понимая, конечно, что экономика упала, но при этом ничего страшного дальше уже происходить не будет. Поэтому, на мой взгляд, политическая структура сейчас достаточно устойчива, и — по состоянию на сегодня

¹ Дискуссия проходила в июле 2009 г.

ни — не существует никаких признаков того, что она может рухнуть или зашататься.

Во многом это обусловлено тем, что Россия в предкризисные годы смогла накопить громадные золотовалютные резервы и очень большие резервы бюджетные. Если вспомнить события осени 2008 — начала нынешнего, 2009 года, то потеря 250 млрд долларов валютных резервов была бы для многих стран катастрофой, но, при их общем докризисном уровне в 600 млрд, это оказалось вполне терпимым. Для сравнения напомню, что в кризис 1998 года Россия потеряла валютных резервов на 10 млрд долларов. Это чтобы была понятна интенсивность нынешних явлений. 200 млрд долларов бюджетных резервов на начало 2009 года дают возможность бюджету не просто удержаться на плаву, но и увеличить номинальные расходы на треть по сравнению с 2008 годом.

Это означает, что устойчивость политической системы объясняется тем, что бюджет находится не то что в хорошем состоянии, а в таком, которое лучше, чем в прошлом году. У власти сегодня больше денег и, следовательно, гораздо больше возможностей для того, чтобы удерживать ситуацию под контролем. Но оборотной стороной этой медали является то, что, если положение ухудшится и власть столкнется с реальным жестким бюджетным ограничением, она неизбежно начнет качаться.

На второй вопрос (о сценариях эволюции и возможностях выбора между ними) отвечу так: с точки зрения сохранения политической устойчивости и определения вектора будущего развития России есть два фактора, от которых будет зависеть ход событий. Во-первых, продолжительность нынешнего кризиса (длинный или короткий). Во-вторых, та антикризисная политика, которую для себя изберет власть (ручное управление или системные реформы).

Для меня выход России из кризиса означает, что экономический рост станет устойчивым и превысит 3%, а дефицит федерального бюджета составит менее 3% ВВП и российский Минфин сможет его финансировать за счет рыночных заимствований. Совпадение этих двух условий сделает российский бюджет устойчивым, у властей не будет проблем с его планированием и исполнением. В противном случае, когда проблемы бюджетного секвестра или размена повышения пенсий на сокращение инвестиций будут обсуждаться ежегодно, а возможности финансирования дефицита бюджета за счет Резервного фонда или Фонда национального благосостояния уже иссякнут, власть объективно не сможет исполнять свои формальные и неформальные обязательства. И тогда внутри нее начнется более или менее жесткая конкуренция за бюджетные средства. Что, в свою очередь, может привести к политическим переменам (пока оставим в стороне направление этих перемен).

Своеобразным водоразделом для моего анализа является продолжительность кризиса в два года, т.е. либо кризис кончится к середине 2011 года и нач-

нется заметное оживление экономики, либо он станет застойным и продлится еще какое-то время. Если кризис продлится только два года, то понятно, что бюджетного обострения ожидать не следует: в 2010 году, при всех проблемах, которые сейчас очевидны, бюджет устоит при практически полном использовании оставшихся резервов. Если же оживления экономики и роста бюджетных расходов в 2011 году не произойдет, то либо властям придется идти на серьезное сокращение бюджетных обязательств по большинству позиций, включая нынешние «неприкасаемые», либо (что более вероятно, учитывая политический цикл) власти разменяют наращивание предвыборных бюджетных расходов на макроэкономическую стабильность.

Второй фактор, который будет определять вектор развития политической системы, — то, какую политику, какую линию поведения выберет правительство. Здесь тоже существуют две альтернативы. Первая — ручное управление, посредством которого правительство и реагирует сегодня на возникающие проблемы, и определяет сами проблемы, заслуживающие такого реагирования. Это, собственно, то, что пропагандируется сейчас на каждом углу. Альтернативный подход состоит в том, что власть по каким-то причинам признает, что слабости российской экономики связаны со слабостью государственных и экономических институтов, и начинает проводить системные преобразования, направленные на создание экономических стимулов, которые позволят экономике развиваться с опорой на собственные силы, а не ждать подачек со стороны государства. Набор приоритетных проблем при этом понятен и не очень широк: политическая и экономическая конкуренция, независимость и действенность судов, преодоление коррупции, открытие экономики для иностранных инвестиций и встраивание несырьевых секторов российской экономики в экономику глобальную.

Имея по два варианта для каждого фактора, я строю матрицу сценариев 2×2 и, основываясь исключительно на своих ощущениях, даю такие вероятности для этих факторов: короткий кризис — 40%, долгий кризис — 60%, ручное управление — 80%, системный подход — 20%. Путем простого перемножения вероятностей можно получить вероятность каждого из четырех сценариев.

Сценарий «короткий кризис/системный подход» является наименее вероятным, но оптимальным с точки зрения запроса на модернизацию страны и ее превращения в современное государство. Потому что ни о какой модернизации без системного реформирования политической и экономической системы говорить невозможно. Но именно поэтому у него самая низкая вероятность осуществления, и пока в политическом пространстве не видно «спонсоров» такого сценария.

Сценарий «долгий кризис/системный подход» немного более вероятен. Его логика опирается на гипотезу, согласно которой по мере нарастания экономических проблем власть (вдруг!) осознает, что нужно менять экономиче-

скую политику правительства, нужно реформировать политическую систему. И для этого должен появиться либо новый лидер, либо нынешний лидер по каким-то соображениям должен поменять свои воззрения. Вероятность этого будет возрастать по мере затягивания кризиса, но она вряд ли превратится в неизбежность.

Сценарий «короткий кризис/ручное управление» — наиболее желательный с точки зрения власти и нынешних политических структур. Он означает, что главной задачей является «ночь простоять да день продержаться». Следует всего лишь дождаться начала оживления в мировой экономике, восстановления спроса на российское сырье, и жизнь заметно улучшится, а проблемы исчезнут. Неважно, что не будет прежних 8% роста, а будет 3–4, но, безусловно, общий тонус и настроение в обществе станут оптимистическими. После этого власть скажет: «Смотрите, как мы здорово справились с кризисом» — и закрепит нынешнюю политическую конструкцию на многие годы вперед. Слабая сторона такого сценария в том, что российский корабль отпускается на волю волн и единственным спасательным кругом для экономики России становится бурное восстановление экономики мировой. Впрочем, вероятность этого сценария довольно высока, и, возможно, власть небезосновательно на него рассчитывает. Его реализация означает консервацию нынешней политико-экономической системы, можно сказать, «застой два», а платой за него для России станет нарастающее отставание от развитых и современных развивающихся стран.

Сценарий «долгий кризис/ручное управление» — наиболее вероятный, но и самый болезненный для общества, когда постепенное нарастание проблем будет раскачивать устойчивость политической и социальной системы. Если в этом и следующем, 2010-м, годах всем, кто живет на выплаты из бюджета, включая пенсионеров, будет относительно хорошо (по сравнению с другими), то дальше денег уже может не хватить и экономические проблемы будут постепенно нарастать. Власть будет реагировать на них введением разного рода административных ограничений и «закручиванием гаек», что будет приводить к еще большему ослаблению рыночной конкуренции в экономике.

Использование ручных методов решения современных экономических проблем показывает, что этот подход является абсолютно неэффективным. Все больше и больше секторов и предприятий ставятся в положение иждивенцев, которые встают в очередь за помощью к государству, лишь усиливая давление на бюджет. Затяжной бюджетный кризис и неспособность властей выполнять свои бюджетные обещания могут привести либо к дестабилизации макроэкономической ситуации, так как финансирование бюджета будет осуществляться за счет кредитов Центрального банка, либо к деградации бюджетной сферы, которая будет постоянно сталкиваться с недофинансированием, и росту противоречий внутри властных структур. Такое развитие событий

может создать предпосылки для смены политической конструкции. Однако, в силу проведенной «зачистки» политического пространства, вероятность выхода на поверхность националистически-коричневатого оттенка новых политических сил существенно выше вероятности возврата либеральных лидеров, которых нынешняя власть числит среди своих главнейших врагов.

В целом длинный кризис будет намного сильнее подталкивать власть к политическим изменениям, поскольку накапливание проблем в этом случае будет гораздо более очевидным. Торжество методов ручного управления потребует выхода на первые роли «человека а-ля Сечин», который ориентирован на просоветскую систему управления экономикой. Мои ничем не подкрепленные надежды на торжество системного подхода к решению экономических проблем потребуют от власти найти «нового Чубайса образца 90-х» с либеральными, реформаторскими взглядами, которого сейчас никто не может даже идентифицировать.

Игорь КЛЯМКИН:

В последнее время российские власти и российские СМИ не только призывают к модернизации экономики, но и демонстрируют вроде бы практические шаги в этом направлении. Я имею в виду, в частности, создание совместно с «Боингом» предприятия в Екатеринбурге и покупку Сбербанком «Опеля»: по заявлению Германа Грефа, чуть ли не главным условием этой покупки стало соглашение о предстоящем создании в России центра по подготовке персонала для отечественного автопрома по самым современным стандартам. Можно ли рассматривать это как шаги по пути модернизации?

Сергей АЛЕКСАНЕНКО:

Не вижу оснований для такого вывода. Говоря о первом случае, нужно вспомнить, что в 2006 году два главных акционера российского производителя титановых изделий ВСМПО (Тютюхин и Брешт) продали свои пакеты акций «Ростехнологиям». Я интенсивно общался с Брештом с 2002 года и видел, как у меня на глазах компания ориентировалась на то, чтобы повышать качество продукции, увеличивать долю готовой продукции, выходя на прямые заказы Airbus и на Boeing. Соглашение же с «Боингом» о строительстве упомянутого завода было подписано в августе 2006 года (за месяц до продажи акций) в присутствии Путина. Но, как вы понимаете, такие проекты не появляются ни за месяц, ни за квартал. То есть сама идея этого предприятия — результат работы прежних менеджеров, а лавры, что называется, достались Чемезову.

Но дело, конечно, не только в этом. С точки зрения воздействия на экономику значение этого завода будет не очень большим. Объем продаж ВСМПО составлял 1–1,3 млрд долларов в год. Предположим, завод будет производить 20–25% от этой суммы за счет более высокой степени обработ-

ки. Для конкретного предприятия результат очень впечатляющий, но для объема российского экспорта — совершенно незначимый. Разумеется, «Боинг» на долгие годы становится зависимым от российского предприятия, но в целом можно сказать, что это скорее исключение, нежели системное решение.

А покупка «Опеля» — вообще странная идея, потому что пакет «Опеля» стоит дешево (600–700 млн долларов), но при этом покупатели должны взять на себя обязательства по покрытию убытков «Опеля», которые на ближайшие три года оцениваются до 6 млрд евро. В самой заявке с российским участием содержится весьма странная конструкция: управляющим партнером выступает Magna — производитель автокомплектующих, который долгие годы пытался купить себе какого-то производителя автомобилей. Для Сбербанка уготована роль финансового инвестора, при этом Сбербанк хочет «застолбить» себе возможность передать свой пакет третьему лицу.

В данной ситуации несколько легковесно звучат громогласные заявления о том, что «Опель» сможет импортировать в Россию 200 тыс. автомобилей в год. Прямой импорт невыгоден, в России много локализованных производителей. Создавать же в нашей стране производство на 200 тыс. машин тоже бессмысленно, потому что и так конкуренция достаточно высока. Кроме того, «Опель» не самая раскрученная и не самая выгодная по соотношению цена/качество марка. Ни в мечтах «Опеля», ни в мечтах GM нет идеи усиления своего присутствия в России. Более того, немецкое правительство категорически против этого, потому что оно дает деньги на поддержку компании и, естественно, не заинтересовано в сокращении рабочих мест в Германии и создании рабочих мест в России.

Игорь КЛЯМКИН:

Греф говорил о создании в России центра по подготовке высококвалифицированных специалистов для нашей автомобильной промышленности. Это, по его словам, одно из главных условий сделки, ее модернизационная составляющая. Посмотрим, что из этого получится. Слово — Дмитрию Борисовичу Орешкину.

Дмитрий ОРЕШКИН (*ведущий научный сотрудник Института географии РАН, руководитель аналитического центра «Меркатор»*):

«Тандем, или "двурогая вертикаль", лучше, чем "вертикаль однорогая", которая слишком легко превращается в копье»

Мне кажется, что представленные сценарии следует рассматривать. Я согласен с Сергеем Алексашенко, что финансовые запасы есть и что их хватит на довольно долгий срок. Но дело не только в экономике, находящейся на нисходящем тренде.

Кризис шире, он захватывает сферу управления, сферу пропаганды, саму вертикаль власти. Элиты начинают испытывать повышенный «комплексный» стресс, особенно в регионах. Популярность «среднего губернатора», если верить опросам ФОМа, снижается на 10–20% — за отдельными исключениями, типа Шаймиева. Региональные элиты напряглись, у них есть реальные трудности в управлении ситуацией. Тандема это пока не касается — он у нас в общественном мышлении отдельно. Он отвечает за главное, а главное для нынешнего общественного мнения — это война, это противостояние с Америкой, «подъем с колен». Данная модель хорошо выстроена в ментальном смысле: «вертикаль» к хозяйству не относится, до хозяйства не опускается. Хотя все с удовольствием наблюдают, как «крутый» Путин, на секунду отвлекшись от дрессировки «господина в пробковом шлеме», «разруливает» ситуацию в Пикалеве. Так что с народом все в порядке. Пока.

Но некоторые тенденции пугающи, если не для населения, то для элитных групп. Не так уж важно, что население думает, — сегодня оно политическим игроком не является, к тому же ему крепко замусорили мозги. А вот элиты — другое дело. Картинка обогатилась новыми штришками после визита Обамы. Он вежливо, но однозначно подчеркнул, что Медведев все-таки главный. Путин — главный по самоварам, по севрюжине с хреном, по сапогу, а по Конституции главный все-таки Медведев. Статус Медведева приподнят, статус Путина аккуратно приспущен. По сплетням из Кремля, Медведев остался чрезвычайно доволен прошедшей встречей. Про Путина — неизвестно.

Получается, что у нас ситуация (ментальная и государственная) переживает некоторое испытание на разрыв. Или приближается к этому испытанию. С одной стороны, монолит антизападничества дает трещины. Или, по крайней мере, за главное, т.е. защиту Родины от происков американского империализма, понемножку начинает отвечать, рядом с Путиным, вроде как и Медведев тоже. Или нет? Это остается загадкой. Сегодня русского человека, который смотрит ТВ (а кто не смотрит?), серьезно тревожит Гондурас. Или, скажем, Венесуэла параллельно с Грузией. Кто у нас главный по Гондурасу? Если Медведев, то Путину остается хозяйство, а хозяйство вроде как с державой и «вертикалью» не связано. Хозяйство — вещь политически вредная: безработица, невыплаты, рост цен. А Гондурас — вещь политически полезная. По крайней мере, с точки зрения массового мышления.

Но нас-то интересует мышление элитное. А вот ему как раз совсем не до Гондураса. Оно очень жестко фокусируется именно на хозяйстве. Денег нет, ждать особо неоткуда, тандем и «вертикаль» далеко, а кому отвечать перед населением, которое раньше или позже отвлечется от высокой geopolитики и потребует еды и работы?

Здесь и наблюдается ментальный разрыв. Пока центр (по телевизору!) предъявляет строгий счет губернаторам: чтобы никаких задержек или невыплат!

Но довольно скоро (и конечно не по телевизору) можно ожидать появления ответных претензий: а вы денег нам послали? А вы нам экономику помогли сделать? Не ваша ли «вертикаль» нам руки вяжет?

Такого рода претензии необязательно иметь публичный или явный характер. Важно, что они есть (и даже прорываются в СМИ). Возникает вопрос: кому они адресованы? Тандему целиком? Медведеву? Путину?

Моя гипотеза заключается в том, что главным образом все же Путину. С Медведева пока взятки гладки. За экономику все-таки отвечает Путин. И в формальном отношении — как премьер, и по сути — как автор системы. Поэтому для Путина появляется радикально новая ситуация. Хорошо быть национальным лидером на фоне очевидного роста — тогда все твои действия выглядят однозначно верными. И совсем другое дело — на фоне спада. Здесь надо искать крайнего. Положим, он найдет и принесет в жертву кого-нибудь в правительстве. Но этого хватит месяца на три-четыре — не больше. Дальше — опять то же самое. А тут еще и с Гондурасом (в смысле, с «подъемом с колен» на международном уровне) как-то неважно выходит. И на Кавказе стреляют. И на улицах тоже.

А ведь у нас кто-то строил «вертикаль» — помните? С целью наведения порядка, повышения эффективности и вообще всего хорошего. Может, его и надо попросить использовать этот спасительный инструмент?!

Каковы перспективы в такой ситуации у Владимира Владимировича Путина? Он хорошо понимает, что на шоу, подобных пикалевскому, долго не продержишься. Ручек не напасешься в олигархов кидать. Например, в Алтайском крае, куда он недавно ездил, ожидали, что он непременно приедет на Рубцовский тракторный завод, где производство тоже стоит, кинет в кого-нибудь ручку — и порядок. А он не приехал. Теперь у начальства и у граждан когнитивный диссонанс. Зачем вообще приезжал на Алтай, если не заглянул в Рубцовку?!

Вероятно, приезжал посмотреть на хозяйство Карлина перед тем, как того оставлять губернатором на очередной срок. И оставил-таки. Несмотря на Рубцовск и прочие реальные экономические трудности в крае. То есть громокипящая риторика идет отдельно, а управлеченческая практика — отдельно. В принципе, решение совершенно правильное, рациональное. Но далеко не победное. Если так дальше пойдет, то от статуса Зевса-громовержца и главного по Гондурасу он съезжает в позицию неплохого (может, даже лучшего!) хозяйственного управленца. Данная позиция проигрышна по определению: как сейчас экономикой ни управляй, видимых улучшений не будет еще год-два минимум. Такой инерционный сценарий Путину не подходит просто потому, что эффективность его фирменной модели управления на практике оказывается сомнительной. Вместе с тем такой сценарий ничем особенно не угрожает Медведеву. Ему, как стажеру-исследователю, отвечать не за что.

В этой ситуации мне видится объективное расхождение интересов двух членов тандема. Медведева устраивает вялое течение событий, а Путина (точнее, коллективного Путина) — нет. Коллективному Путину надо взрывать ситуацию, которая тихо-мирно ведет его в хозяйственное болото, где славы не обрящешь, а захлебнуться очень даже легко.

Какие у него могут быть способы возвращения статуса и ухода от ненужных хозяйственных заморочек? Самый простой — бегство наверх. Вариант первый — отстранить Медведева. Это нелегко. У Медведева международная поддержка, за Медведева Конституция. Не будут в восторге и региональные элиты, которым приятней иметь дело с Медведевым, — с ним можно договариваться и вытоговоривать себе больше преференций, чем у Путина, который связал себе руки жесткой риторикой. Так что у Путина не так уж много реальных ресурсов для того, чтобы прийти и сказать: «Дмитрий Анатольевич, пора тебе заболеть и уйти в отставку». Если Дмитрию Анатольевичу достанет мужества ответить: «Собственно, с какой стати?» — то «сковырнуть» его будет довольно трудно. На вопрос: хватит ли мужества? — ответа у нас нет.

Вариант второй — создание Союзного государства. Например, с Южной Осетией. Тогда — новые президентские выборы и еще 12 (6+6) лет у власти. Заманчиво, но чревато затяжным кризисом в отношениях с Западом. Что не вызовет восторга у основных групп поддержки.

Вариант третий — создать критическую ситуацию, что-то типа конфликта с Японией, аншлюса в Приднестровье, войны с Грузией или с Белоруссией. То есть поднять пыль. В критической ситуации роль лидера автоматически переходит к Путину — просто потому что он реально контролирует силовой ресурс, у него больше опыта, у него имидж такой боевой. Тогда он легко Медведева отодвигает в сторонку: не до формального закона, войны! Враг у ворот! Нечего играть в демократию, надо сплотиться!

В таком случае формируется долгожданная ситуация осажденного лагеря, мы как бы вынужденно портим отношения с внешним миром, укрепляем цензуру, отменяем выборы (не до выборов!), заметно сужаем горизонты для Медведева, но расширяем для коллективного Путина. В пределе — превращаем Россию в большую Северную Корею, с опорой на собственные силы. Это гарантирует пребывание у власти надолго, несмотря на сколь угодно негативные результаты.

Остается неясным вопрос, решится ли на такое Путин. Ему всерьез приходится об этом думать, потому что электоральные механизмы передачи власти от себя себе, как мне кажется, близки к исчерпанию. Ресурс фальсификации выбран почти до дна; региональные элиты тоже не видят особой необходимости надрываться ради Путина: надоел. Посмотрим, что покажут региональные выборы, но мне кажется, что к 2011-му, даже если обозначится выход из кризиса, в социальном и элитном измерении большого позитива не приба-

вится. Скорее, прибавится негатив. А это значит, что от федеральных выборов надо как-то уходить. То ли отменять, то ли... Еще сильнее их фальсифицировать трудно: получится совсем как в СССР.

Второй вопрос, на который тоже нет ответа, — какого рода может быть кризисная ситуация, чтобы можно было надолго отменить сразу все: и выборы, и свободу слова, и свободу передвижений? Превратить страну в осажденный лагерь?

Третий вопрос: каковы ресурсы гибкости тандема, до каких пор может сохраняться разделение властей, с какого момента потребуется перехватывать все в одни руки? Мне кажется, жесткому крылу путинской группы либо кому-то рядом с ним раньше или позже станет очевидной необходимость перехвата и консолидации всей власти в одних руках. Тандем был построен для «тучных лет» — чтобы спокойно делить деньги. А сейчас наступает время делить ответственность. Не уверен, что эта конструкция адекватна для такой задачи. Никому неохота быть крайним.

Если так, то надо определиться, какой из сценариев лучше с нашей точки зрения для России. Мне кажется — длинный и вялый, с сохранением хотя бы формального разделения властей. Во всяком случае, в его рамках труднее развязать войну. Короткий «пыльный» сценарий ведет к еще большему укреплению силового блока, нарастанию произвола и безответственности.

Длинный сценарий полезен еще потому, что дает время элитам и рядовым гражданам осознать, что что-то идет неправильно. Мне кажется крайне важным не допустить истерической пыли спровоцированного кризиса — взорванного Рейхстага, аншлюса и проч. Средств для этого практически нет. Но в любом случае, вне зависимости от личных отношений к тому или иному лидеру, в чисто институциональном отношении тандем, или «двугорая вертикаль», с этой точки зрения, лучше, чем «вертикаль однорогая», которая слишком легко превращается в «копье».

Сохраняя «двугорость», мы сохраняем возможность делать то немногое, что еще можно, — помогать элитам и населению осознать реальную ситуацию, взвесить потенциальные угрозы. Для России выгодно, чтобы такое разделение властей (при любом субъективном отношении к двум главным персонажам) сохранялось, — хотя бы потому, что это обещает некое пространство для выживания между двумя неравными по силе центрами влияния. Неравными, поскольку Медведев объективно слабее. Мне кажется, сейчас надо поддерживать его для того, чтобы сохранить ситуацию институционального баланса. Или псевдобаланса.

Сергей АЛЕКСАНЕНКО:

Кто входит в группу Медведева? У меня ощущение, что ее просто не существует. Второе: у вас был тезис, что у властей нет шансов еще больше фальси-

фицировать выборы. Но их и не надо фальсифицировать — просто нужно никого к ним не допускать. Что делалось, делается и будет делаться.

Дмитрий ОРЕШКИН:

Возможно, в группу Медведева входят Волошин и те, кто рядом. Кроме того, значительная часть материальных губернаторов-президентов. Сегодня они сами по себе, но в ситуации выбора поддержат скорее Медведева — просто потому, что с ним надеются поднять свой статус выше, чем с Путиным. Еще институт Юргенса, аппарат администрации, часть медийных элит...

Насчет выборов — понятно, что не будут подпускать. Тем не менее у любых ограничений есть пределы. «Единая Россия» объективно теряет популярность; коммунисты, я думаю, будут набирать больше голосов, потому что люди старшего поколения воспринимают кризис как противостояние «капитализма» и «социализма». Соответственно, Кремль будет для равновесия подкачивать правое крыло. Но главное — как себя поведут региональные элиты. Именно они обеспечивают окончательную цифру, но их поведение уже не столь гарантированно, как раньше.

Сейчас выборы вызывают у людей существенное разочарование: все понимают, что они нечестные. Это приемлемо, когда живется неплохо: «Ну и наплевать, что выборы нечестные, главное, зарплата прибавляется на десять процентов в год». Если же ситуация ухудшается, зарплату не платят, а при этом еще и выборы нагло фальсифицируют, реакция может быть иной. Хотя я не склонен ожидать «оранжевой революции» — не настолько я наивен и не настолько народ активен. А вот элитные группы (особенно в регионах) могут начать представлять центру счета — в виде не предусмотренных планом итогов голосования.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Дмитрий Борисович. Пафос вашего выступления понятен, но все же не хотелось бы, чтобы мы глубоко увязали в проблеме «Путин — Медведев». В том числе и потому, что самой такой проблемы на сегодняшний день просто не видно. Пока Медведев не предпринял никаких политических действий, кроме имитационных, которые свидетельствовали бы о его претензиях на самостоятельную роль внутри тандема. А тем более — на создание политической системы, альтернативной путинской «вертикали власти». Наоборот, он эту «вертикаль» еще больше укрепляет — достаточно вспомнить об увеличении сроков полномочий президента и Думы или о ликвидации последней выборной процедуры в Конституционном Суде.

А две спецкомиссии, которые он создал, — по противодействию фальсификации истории и формированию позитивного имиджа России за рубежом — свидетельствуют, похоже, о продолжающемся поиске новой единой

государственной идеологии. После эксперимента с «единственно верным учением» тут, естественно, обнаруживаются трудности, да и действующая Конституция препятствует возвращению государственной идеологической монополии в любом ее виде. В результате же мы наблюдаем попытки нашупать организационные механизмы, которые позволяли бы осуществлять идеологический контроль при формальном отсутствии государственной идеологической монополии. Короче говоря, призывать к поддержке Медведева против Путина нет, по-моему, никаких оснований уже потому, что никаких обнадеживающих новых тенденций в деятельности Медведева пока не обнаруживается.

Не очень понятна мне и идея поддержки сохранения тандема. Во-первых, пока он и так сохраняется, в нашей помощи не нуждаясь. А во-вторых, во имя каких стратегических целей его следует поддерживать, учитывая конкретную направленность его действий, о которой я говорил? Война, как показали события годичной давности, вполне возможна и при наличии тандема. На что мы рассчитываем при его сохранении? Какую имеем в виду перспективу?

К тому же его историческая судьба будет определяться не нашей поддержкой либо ее отсутствием. И даже не тем, что происходит в элитных «верхах» — федеральных и региональных. Это будет определяться в решающей степени тем, что происходит «внизу». А о том, что там происходит, нам, надеюсь, подробно расскажет Лев Дмитриевич Гудков.

Лев ГУДКОВ (директор Аналитического центра Юрия Левады):

«Уровень социальной напряженности сегодня в России примерно такой же, каким он был в 2002 году»

Я согласен с представлениями Сергея Алексашенко о сценариях возможного развития. Что касается наиболее реалистичных оценок предстоящего периода (год-два), то нас, скорее всего, ждет медленно развивающийся кризис, переходящий в хроническое состояние депрессии.

Как кризис отражается на жизни населения и его настроениях? Судя по всем нашим замерам, острые фазы уже прошла, она приходилась на октябрь–ноябрь 2008 года. В декабре, правда, рост всех показателей напряженности еще продолжался, но темпы его были уже существенно иными. Можно даже, с некоторой осторожностью, говорить о стабилизации положения в обществе или о замедлении развития кризиса. В большей степени он затрагивал и затрагивает слои и группы с низкими доходами.

Так или иначе, около 40% населения ощутили за время кризиса падение уровня жизни. При этом нарастают сомнения в том, что правительство в состоянии предложить какую-то единственную программу, которая выведет страну в ближайшие годы из этого кризиса. Но это именно сомнения, а не твердая уверенность в том, что руководство страны — полный полити-

ческий банкрот, высказывают сравнительно небольшие группы опрошенных. Невелика доля и тех, кто убежден в наличии у властей достаточных ресурсов, чтобы справиться с усугубляющимися проблемами. Настроение же большинства можно охарактеризовать как умеренный, хотя и усиливающийся пессимизм.

Пока нет оснований утверждать, что это представляет слишком уж серьезную опасность для режима. Уровень социальной напряженности сейчас примерно такой же, каким был в 2002 году. Сегодня ситуация оценивается немногим лучше, чем это было в 1998 или даже в 1997 годах. Кроме того, имеется большой ресурс накопленного за последние пять лет доверия власти, который позволит ей продержаться некоторое время, даже если ситуация будет резко ухудшаться.

Предположим, как многие эксперты нам говорят, пойдет вторая волна финансового кризиса, а за ней и новый общий спад экономики. Но, во-первых, массовые реакции всегда идут с некоторым запаздыванием, массовое сознание обладает значительной инерцией, связанной с тем, что даже очень тревожную информацию оно будет «переваривать», взвешивать различные последствия событий, варианты возможных действий. А во-вторых, у людей нет выбора, нет альтернативы. Оппозиция дискредитирована и вытеснена с политического поля, СМИ, если говорить о тех, что оказывают решающее воздействие на избирателей и общественное мнение в целом, полностью управляемы и откровенно сервильны по отношению к власти. Поэтому у людей нет ни других точек зрения на происходящее, ни сознания, что они могут как-то повлиять на положение дел в стране.

Если судить по опыту прежних кризисов, по тому, как население реагировало на обвалы в экономике раньше, то пока запасы надежд, иллюзий, «терпения», а у некоторых — и сбережений (правда, заметно сократившихся) есть еще как минимум на год-полтора. Факторов, которые это состояние могли бы изменить в кратко- и среднесрочной перспективе, мы не находим. Тем не менее власть в условиях растущей неопределенности будет выбирать все более простые (и все менее эффективные) решения и даже способы реагирования на ситуацию. То есть будет выбирать так называемое ручное, или, говоря более привычно, административное, управление, руководствуясь при этом в первую очередь интересами самосохранения, а не чем-либо иным.

Поэтому репрессивность режима будет потихонечку усиливаться, хотя результативность давления на общество будет невелика, поскольку системные дисфункции увеличиваются, а по отношению ко всей массе таких дисфункций эти простые средства, очевидно, работать не смогут. Учитывая же, что ухудшение экономического положения и, соответственно, рост напряженности будут, скорее всего, продолжаться, то в общественном мнении произойдет, возможно, частичное перераспределение авторитета двух первых лиц.

Медведев будет понемногу набирать вес, Путин вынужден будет делиться властью. Никакой же реальной угрозы самому существованию тандема я пока не вижу. Возможны лишь сдвиги внутри него, но они не будут слишком существенными, поскольку структура власти принципиально не изменится. Не изменится и массовое восприятие ее как бесконтрольной, не зависящей от населения и занятой лишь своими собственными проблемами дележки влияния и доходов. Не изменятся в ближайшем будущем и патерналистские ожидания по отношению к руководству страны, касающиеся социальной поддержки малоимущих, обеспечения всех работой, жильем, минимальными социальными благами.

При таких обстоятельствах политическая ситуация будет и дальше развиваться очень медленно и вяло. Ведь и у оппозиционных элит нет вариантов, которые они могли бы предложить обществу. Они в состоянии растерянности и подавленности. И не видят опоры для себя ни в среде региональных властей, ни в бизнесе. Отчасти поэтому никаких серьезных акций и политической работы не проводится. Например, я не видел ни одного варианта «альтернативного правительства», то есть альтернативной программы конкретных мероприятий в самых разных областях — социальной, политической, правовой, которые могли бы публично обсуждаться. Дело не в распределении постов и портфелей, а в выдвижении конкурирующей с официальной версией модели понимания проблем, стоящих перед страной, и, главное, альтернативных в сравнении с правительственные способов их решения. Ничего такого сегодня нет, а потому нынешний политический режим выглядит в глазах населения безальтернативным.

Безальтернативность режима — это очень важный момент, который задает условия восприятия ситуации как полной безнадежности. Не надо обманываться насчет «особой любви» народа к Путину: оценки десятилетия его правления весьма сдержанные, если не критические, но люди в своем большинстве все равно будут голосовать за него. В массовом сознании нет никаких иллюзий относительно характера режима, его «справедливости», «законности» или честности и порядочности лиц, стоящих во главе страны. Принимать его заставляет именно сознание безальтернативности и некоторых, довольно слабых, надежд на то, что эти люди в Кремле все-таки могут хоть что-то сделать — если не сейчас, то в будущем. Другими словами, действует привычная легитимность фактических держателей власти. То, что есть, выглядит лучше, чем всякие перемены. Поскольку за ними таятся возможные угрозы.

Вариант резкого обострения ситуации гипотетически возможен, но маловероятен, так как пока трудно увидеть, что могло бы вызвать такое развитие событий. Но если кризис, скажем, к концу 2009 года или в начале 2010-го перейдет в новую острую фазу и будет продолжаться еще года два или более, то «эволюция» нынешней политической системы будет очень быстрой. И закон-

чится она крахом. Потому что сложившаяся структура власти в принципе неустойчивая, негибкая, у нее нет (и не может быть) запасных вариантов. И держится она на инерции, на привычках пассивной адаптации к существующему положению, идущих еще от советских времен, от культуры мобилизационного общества. Она держится на стратегии снижения запросов, ограничения потребления, что имеет свой, вполне определенный и исчислимый, предел. Сегодня установка на «терпеть» — главное, что определяет массовые настроения. Доверия к институциональной системе нет, но нет и других, альтернативных моделей поведения.

Отвечая на вопрос, в каком направлении эволюционирует система, я бы сказал: в сторону деградации, «упрощения», утраты относительной автономности ее отдельных подсистем, а следовательно, и снижения эффективности управления. Все больше и больше накапливается проблем, которые она не в состоянии решить или решение которых руководство страны отодвигает в неопределенное будущее.

Денис ДРАГУНСКИЙ (главный редактор журнала «Космополис»):
«Вместо политики и экономики юридических лиц возникает политика и экономика физических лиц»

Для меня проблема дуумвирата Медведев — Путин представляет огромный теоретический интерес. И вот почему. Уже в самом слове «дуумвират» кроется понятный исторический соблазн. Хочется аналогий — тем более что история политических учреждений дает нам достаточно материала для сравнений и сопоставлений.

Однако же очевидно, что этот тандем (лучше называть его именно так) не имеет ничего общего с существовавшими дуумвиратами. Ни с традиционной римской традицией двух консулов и других дуумвиров, ни с позднеримским дуумвиратом доминус — цезарь в версии Диоклетиана, ни со средневековыми дуумвиратами (на Руси в XII веке это случалось дважды). В первом случае перед нами весьма архаическая модель, во втором — изощренный способ передачи власти, в третьем — временный компромисс властителей. Но все эти случаи, несмотря на их различия, сходятся в одном — они имеют место в жесткой институциональной рамке, понятной современникам.

Совершенно иной случай перед нами. Речь идет не об институтах, а о лицах. В самом деле, никто не говорил о дуумвирате или даже о тандеме Ельцин — Гайдар, хотя весьма существенные основания для этого были. Никто не говорил о тандеме Путин — Касьянов, хотя это было очень длительное позитивное сотрудничество. А вот теперь заговорили. Что означает, что на наших глазах формируются другие рамки. Я уже не раз говорил и писал об этом: вместо политики и экономики юридических лиц (государств, корпораций) возникает политика и экономика физических лиц (лидеров, акционеров).

Собственно, ситуация была теоретически предсказана еще более ста лет назад. В конце XIX века велась полемика между «формалистами» и «реалистами» в теории государственного права. «Формалистами» были такие крупнейшие и известнейшие правоведы, как Лабанд и Елинек. На стороне «реалистического» подхода выступали менее знаменитые персоны — Йеринг и Меркель.

Что говорили первые? Они говорили, что государство — это «юридическое лицо, наделенное волей». Это и есть знаменитая формулировка Пауля Лабанда, такая своего рода мощная метафора. Государство представляется некоторым почти живым существом, у которого есть интересы и стремления. Причем показательно, что имелось в виду именно государство в целом, в единстве территории, населения и политической власти. То есть можно было говорить, что государству нужны новые земли, нужен хлеб, нужен союз с теми-то и теми-то соседними государствами, нужна война, не нужна война и т.п. Государство именно в таком представлении и являлось сувереном, т.е. хозяином самого себя.

Но «реалисты» считали, что это заблуждение. Что нужно говорить не о некоем метафоричном, мистифицированном государстве, а конкретно о кайзере, о министре и так далее, вплоть до сельского старосты. Они-то и являются носителями определенных личных свойств и личных интересов, определенной власти, а следовательно, и реальными носителями суверенитета. Поскольку именно они, лично, издают обязательные распоряжения. Каков кайзер, таков и рейх, каков сельский староста, такова и деревня, и не надо морочить голову всеми этими трансценденциями, говорили «реалисты».

Но тогда, в XIX веке, да и в XX тоже, для всей политико-экономической ситуации больше подходила «формалистическая» (лабандовская) концепция. Это и понятно. Расцветал модерн. Нация-государство, индустриализация, массовая однотипная фабричная занятость, представительная демократия с ростом политического участия, массовое социальное обеспечение, модернистский патриотизм как идентичность в полноте вышеуказанных параметров... Государство воспринималось (и в большой мере было) единым.

Однако жизнь не стоит на месте, и сейчас получается, что мы вступили в другую систему, в ту, о которой говорили сто лет назад «реалисты».

Ведь что сегодня происходит? Сегодня, говоря о государстве, мы говорим о Путине и Медведеве. Они заменили собой всю страну. Когда мы говорим о России, нам интереснее всего, что будет через сколько-то лет с Путиным, что — с Медведевым, какие они посты будут занимать, будут ли дружить или поссорятся. Получился абсолютистский миф, которого, кажется не было при классическом абсолютизме в XVIII веке. Все-таки в те времена во всех полемиках речь шла о «нашем христолюбивом народе». А теперь говорят, какие ресурсы у Путина, какие у Медведева, что может сделать Путин, что может сделать Медведев. Конечно, здесь сильна патерналистская закваска, сильно желание переложить власть и ответственность на кого-то самого главного.

Психологический момент тут, безусловно, играет значительную роль. Но все же эту роль в данном случае не надо преувеличивать.

Мы совершенно объективно и непреложно, имея в виду тектонические сдвиги от модерна к постмодерну (прежде всего, сдвиги от «зарплатного общества» к «обществу распределенного дохода», а также в области политического участия), пришли от политики национальной к политике персональной. От суверенитета «государства в целом» («народа в целом») к суверенитетуластной верхушки. Внутренняя, да и внешняя политика стала полем столкновения и реализации интересов небольших групп. В предельном случае — личных интересов крупнейших лидеров и крупнейших собственников. Почему об этом не говорят вслух? Непривычно, неприятно.

Но вместо того чтобы опережающими темпами исследовать новую институциональность — а как ее, наверное, приятно изучать, вот она, на наших глазах возникает! — вместо этого мы изучаем взаимоотношения в tandemе Медведев — Путин, помещая их (и Медведева с Путиным, и их взаимоотношения) в старинную модерную рамку представительной демократии и массового политического участия. И продолжаем мечтать о временах, когда в Россию придет (вернется) добрая европейская демократия 1950—1980-х годов. Думаю, пора бы уже уяснить: всё, проехали.

Был задан вопрос: есть ли альтернативы нынешнему режиму и каковы они? Ответ: любой режим вечен до тех пор, пока не сменится другим — таким же вечным, самовлюбленным и наглым. Закономерность революции видна всегда только задним числом. Никто не знал, что означает беготня вокруг Бастидии в июле 1789 года или арест Временного правительства в октябре 1917-го. Никто тогда не представлял себе, чем все это кончится. Так что в смысле радикальных преобразований мы ничего предсказывать не можем.

Еще один вопрос: выдерживает ли российская политическая система испытание экономическим кризисом? Конечно выдерживает, причем с большим успехом и, наверное, с неким запасом прочности. Потому что в ответ на явное снижение жизненного уровня никто не бежит ни к Бастидии, ни на Дворцовую площадь. Вообще нет никаких политических действий в ответ на экономические тяготы. Так что — да, выдерживает. Но — с одной важной оговоркой.

Политическая система — далеко не единственная скрепа нашей (да и любой другой) страны. Наша национальная система состоит из политической системы, из социальной системы, из географическо-региональной системы, и это, конечно, не полный перечень. Политическая система, повторяю, лишь одна из них. Она, безусловно, выдерживает, но в отрыве от всех других систем, которые не выдерживают.

Вспоминаю, что в 1994 году в «Вашингтон пост» была статья их колумниста Уильяма Расберри, которая называлась Separation of powers from the peo-

ple. То есть «Разделение властей и народа». Оно, по мнению автора, произошло в США в 1990-е годы. У нас оно произошло на десять лет позже. Но это значит, что и у нас модерная демократическая политика становится прошлым, причем еще до того, как утвердились в настоящем. Это значит, что и у нас политическая система оторвалась от всех других общественных систем.

Итак, модерная политика уходит, но политическое сознание с этим не может так просто примириться. Бесконечные разговоры о тандеме — это, повторяю, тоска по классической партийной, конкурентной политике. Но ее уже нет и не может быть. Столкновения социальных сил, партий, движений, яркой предвыборной борьбы, ответственности депутата за каждую строчку в предвыборной программе его партии — всего этого больше не существует. Все это заменилось верхушечными играми, что, между прочим, очень интересно для наблюдателя. Происходит нечувствительное уподобление политического анализа светской хронике.

В конце концов, государство — это то, как мы его себе представляем. Сейчас мы представляем себе государство как игру политических элит или даже просто как игру властвующих персон. Сразу оговорюсь, что это не просто наша фантазия. Это не журналисты уподобили политику светской хронике, это естественный ход событий, это становление «политики физических лиц». Но что получается в итоге? А получается как раз то, что старая, привычная для нас реальность государства исчезает. Государство существует в виде пятна на карте, в виде границ, в виде дорог. Оно как бы девальвируется, как бы расползается, растворяется в тумане. Мы действительно видим исчезновение государства как единой институциональной рамки.

Вот пример. Руководители некоторых регионов говорят, что «бандитов надо найти и уничтожить», — вместо того чтобы призывать «арестовать и передать суду». И никто из более высоких начальников не поправит нижестоящего начальника, не скажет, что не пристало легитимному главе региона угрожать бессудными расправами — пусть даже отпетым злодеям. Отпетых злодеев надлежит судить и карать по закону, в этом, собственно, и состоит смысл государства. Получается институциональный маразм в исконном смысле слова, т.е. распад. Но что он означает? Как учил нас товарищ Сталин в своей основополагающей брошюре «Марксизм и вопросы языкознания», когда сталкиваются два языка (а право — это язык государства), то в результате столкновения двух языков не получается некий третий язык — всегда один побеждает, а другой исчезает. Вот и у нас сейчас происходит постепенное замещение права неправовыми решениями, замещение политики элитными играми, замещение экономики конфликтами акционеров. Это и есть разложение классического модерного государства.

Наиболее вероятный сценарий — дальнейшее расположение государственности, которая в конце концов примет политico-географический облик.

Я не могу утверждать, что дело идет к тому, что мы все заживем «без России и без Латвий, единственным человечьим общежитием». Нет, все-таки Евросоюз имеет свои границы, есть Шенгенская зона. И Россия имеет свои границы, много сил на их формирование положено было, много людей их обслуживают, и поэтому границы не отменят. Но, опять же, не отменят по логике постмодерна, по логике интересов физических лиц. Не потому, что граница — это святое, а потому, что люди, обеспечивающие наличие границы, должны иметь свой доход. Поэтому нельзя сказать, что на свете все расползется, и все будут ползать по планете как хотят. Но, очевидно, какая-то фрагментация пространства рано или поздно произойдет, и скорее раньше, чем позже. И мы это еще увидим.

Сегодня мне трудно представить себе, как это будет. Вряд ли на территории России возникнут новые классические (модерные) суверенные государства, вряд ли Россия юридически расползется по другим странам (Северный Китай и Восточная Единая Европа). Но фактически такое расползание уже началось. Возможно, что юридического оформления вообще не потребуется, оно будет избыточно, оно будет мешать существующим группам интересов и физических лиц, а новые группы и физические лица, интересы которых потребуют такого оформления, не возникнут.

Главный вопрос: насколько это страшно? Надо ли этому противостоять и как? Что надлежит нам сделать, учитывая, что альтернативной программы экономической у нас нет, альтернативной программы политической у нас нет? Но, может быть, и правильно, что их нет. То, что сейчас происходит в России, — это издыхание модерна. Классический индустриальный модерн издается. Россия всегда впереди планеты всей, и, может быть, он в России умрет раньше, чем везде. И потому не стоит говорить, что может существовать альтернативная программа, которая укажет, как нам обустроить Россию — в том смысле, чтобы вернуться к прежнему состоянию модерна, с представительной демократией и высоким уровнем политического участия. Никак не вернуть, не возродить большое пространство, которое будет единым экономически, политически, социально, идеологически. Говорить об этом смешно.

Так что же нам все-таки делать? Думаю, что в любом случае надо поддерживать конкурентную политику и экономику — для того, чтобы просто не помереть. Кроме того, нам нужна переоценка ценностей. Нужно понять, что нам достались ценности от модерна: 1) сильное контролирующее государство, армия, силовые структуры; 2) территориальная целостность; 3) нестесненная свобода во внутренних делах, т.е. суверенитет; 4) конкурентная экономика; 5) важная роль на международной арене; 6) рост народного благосостояния.

Шесть параметров, шесть ценностей модерна. И хорошо было бы обратиться к многоуважаемым социологам, чтобы они помогли нам понять, насколько эти ценности сейчас сильны в сознании народа. А главное — чем и ра-

ди чего люди готовы пожертвовать. Они согласны жить в сильном государстве, но не иметь возможности выехать из него даже в Анталью? Они согласны получать гарантированные деньги, зато не иметь возможности получать чуть больше? Или они готовы жить в слабом распадающемся государстве, но в любой момент взять ноги в руки и отправиться туда, где есть хорошая работа и высокая зарплата?

Наша роль (неглупых людей либеральных настроений) не в том, чтобы создать концепцию развития России, а в том, чтобы достичь приемлемого уровня понимания тенденций. Сейчас мы находимся в состоянии некоего концептуального рынка, рынка концепций. Наступило время новой великой мены. Недавно мы, как говорят ненавистники либерализма, «сменили сильное государство на широкий ассортимент колбасы». А что сейчас меняют и на что? И согласны ли мы, скажем, на те варианты обменов, которые предлагает правящая верхушка? Например: бюрократия будет вас теснить, зато нас будут бояться во всем мире. Или: мы закроем интересные газеты, зато американцы не смогут сунуть к нам свои грязные лапы. Ну а если и не согласны, то ведь обычатель, имея в виду власть, может сказать в ответ: мне наплевать, что вы тут делаете, зато я имею возможность немножко подворовывать и летом ездить в Анталью.

Нам нужно понять, как сейчас выглядит вся эта система обменов. Я думаю, что результат будет неожиданным. Обнаружится, что народ давно уже перестал быть сторонником чего-то единого, большого и могучего. Все это — товар, предлагаемый элитой, т.е. людьми, которые активно торгуют на политических рынках. И народ готов покупать его (или делать вид, что покупает) лишь вместе с возможностью тоже быть народом физических лиц.

Игорь КЛЯМКИН:

Очень, по-моему, интересно. Есть о чем подумать. Тенденции и в самом деле желательно знать и правильно понимать. Но у Дениса Викторовича так получилось — скорее всего, невольно, что некоторые общие тенденции «издыхания модерна» на Западе и в России проявляются примерно одинаково, с той лишь разницей, что в России они имеют шанс реализоваться даже с некоторым опережением. Но так ли это? Действительно ли речь идет о родственных явлениях?

Следующий вопрос — ради чего изучать тенденции? Ради самого процесса познания? Экономических и политических программ не надо, проекты не нужны. Какова же тогда цель предлагаемой познавательной работы? Денис Викторович и сам, похоже, чувствует, что тут что-то не так, и потому призывает нас все же «поддержать конкурентную политику и экономику». С тем, что становление такой политики и экономики очень слабо соотносится с персоналиями тандема и их взаимоотношениями, я спорить не буду. Но «поддерживать» что-то — это уже за границами «изучения тенденций»...

Лев ГУДКОВ:

Дело не в том, чтобы изобретать философские или национальные политики либо еще что-нибудь. Основная задача — предложить альтернативные политики — конкретные, ориентирующиеся на интересы тех или иных групп. Потому что нынешняя политическая система сводится к тому, чтобы элиминировать всякую проблематику политики, т.е. представительство групповых интересов.

Разные институциональные сферы развиваются у нас с разной скоростью. Наиболее консервативна политическая система, которая блокирует развитие и импульсы к дифференциации. Поэтому задача заключается в том, чтобы представить, каков характер интересов у определенной группы, и обеспечить механизм репрезентации этих интересов.

Денис ДРАГУНСКИЙ:

Получается, что сначала все-таки изучение.

Лев ГУДКОВ:

Во-первых, об интересах мы и сегодня многое знаем. А во-вторых, не следует превращать их изучение в особую и самостоятельную историческую стадию. Какой смысл в таком изучении, если не работает главное — сами механизмы репрезентаций разных интересов и их согласования? А без этого, сколько бы тенденций и насколько глубоко мы ни изучили, процесс модернизации не может даже начаться, если под модернизацией понимать институциональную дифференциацию и специализацию.

Игорь КЛЯМКИН:

Не думаю, что это спор о частностях. Профанация общественного целеполагания ради утверждения приоритетности познания — очень распространенное поветрие в либеральной среде. Но такая установка обрекает нас на положение сторонних наблюдателей с сопутствующим ему отношением в обществе. Тенденции, которые нам предстоит лишь изучать, формировать будут другие при нашем добровольном неучастии. Так что это спор о характере и направленности нашей интеллектуальной деятельности. И очень хорошо, что Денис Викторович такой спор вольно или невольно инициировал. Следующий — Сергей Жаворонков.

Сергей ЖАВОРОНКОВ (старший эксперт Института экономики переходного периода):

«Есть две альтернативы, причем отнюдь не умозрительные, нынешнему положению вещей»

Хотелось бы все же от философских рассуждений вернуться к нашей пове-

стке. Я согласен, что запас прочности политической системы значителен, но вместе с тем события последнего года обозначили тренд к его сокращению. Здесь говорилось о падении рейтингов губернаторов, но мартовские региональные выборы 2009 года показали и падение рейтинга «Единой России» (примерно на 15% по сравнению с 2007 годом), после чего в администрации президента были отставки руководителей, курировавших региональные выборы. Я считаю, что такой тренд имеет все шансы продолжиться. Власть не спасает узость оппозиционного меню, состоящего всего лишь из Зюганова и Жириновского, потому что люди готовы голосовать за самую сильную партию, которая не «Единая Россия». Сейчас, очевидно, такой партией является КПРФ. Проблема не в социализме, а в таком вот банальном выборе: или — или.

Здесь говорилось, что Россия может распасться, когда сократится поток денег из федерального центра. Резко обостряется ситуация на Северном Кавказе, который и в самом деле может отделиться от России в среднесрочной перспективе. Потому что там за один месяц убивают министра внутренних дел Дагестана, фактического соправителя республики, и стреляют в президента Ингушетии... Это второе обстоятельство, свидетельствующее об уменьшении потенциала политической прочности системы.

Есть и третье обстоятельство, которое может вызвать обострение противоречий в правящей элите. Это проблема раздела бюджетного пирога. Резервов хватает, но их недостаточно, чтобы поддерживать высокие расходы при дефицитном бюджете. А когда встанет вопрос о сокращении расходов, то он будет звучать очень персоналистски: чьи расходы сокращать — мои или твои? У разных чиновников будет разное представление об этом. Мы же понимаем, что за бюджетными расходами стоят частные интересы. Здесь я вижу определенный потенциал для конфликта.

Кроме того, отсюда же следует стремление части чиновников улучшить экономическую ситуацию в стране. А это можно сделать прежде всего за счет институциональных реформ, к которым и склоняются определенные группы бюрократии. Не потому, что эти чиновники являются в теории приверженцами либерализма, а потому, что понимают: это улучшит их материальное положение, их долю пирога, капитализацию бизнеса. Не секрет же, что большинство чиновников имеют собственные бизнесы. Это предпосылки перемен, это те трещинки в системе, которые заметны уже сейчас.

Если же говорить о возможных вариантах дальнейших действий власти, то наиболее вероятным сценарием, согласен, является стремление поддерживать статус-кво — тушить конфликты, сглаживать противоречия. Согласен и с тем, что нам не стоит обсуждать сценарий конфликта Путин — Медведев, потому что это бессмысленно. Если завтра окажется, что Владимира Владимиrowича постиг апоплексический удар (в российской истории такое быва-

ло), то почему, собственно, Медведев будет править по-другому? Откуда это следует? Да ниоткуда. Так что этот вопрос не является принципиальным.

Тем не менее есть две альтернативы, причем отнюдь не умозрительные, нынешнему положению вещей. Я бы оценил их шансы невысоко, но они реально существуют. Первая альтернатива — вариант контролируемой демократизации и контролируемого улучшения институтов, осуществляемых именно с теми целями обеспечения личного блага и комфорта членов правящей группировки, о которых я говорил. Запас прочности позволяет это сегодня делать. Вспомним, например, выборы в Сочи, где оппозиции удалось взять власть на слабо: вам слабо у Немцова выиграть? Власть, допустив Немцова до участия в выборах, показала, что не слабо. Очевидно, что даже с поправкой на фальсификации Немцов проиграл в первом туре.

Алексей МИХАЙЛОВ (председатель Совета Центра экономических и политических исследований):

В первом туре — да, а что было во втором — неизвестно.

Сергей ЖАВОРОНКОВ:

Второго тура в таких случаях не проводится по законодательству. Я сочным примером проиллюстрировал, что власть может выигрывать и при относительной демократизации, которая не означает катастрофы для власти, не ведет к ее неизбежному проигрышу на выборах. Но здесь есть, правда, другой риск.

Дело в том, что этот сценарий предполагает неких козлов отпущения. Кто-то должен ими стать, кто-то из нынешней власти. Неважно, кто это будет персонально — Сурков, Сечин либо кто-то другой. Все понимают: если двигаться в данном направлении, то должны быть принесены определенные жертвы, которыми никто становиться не хочет. И у потенциальных кандидатов на роль таких жертв формируется совсем другая, прямо противоположная, идеологическая альтернатива. В их представлении, политическая модернизация — это не дозированная подконтрольная демократизация, а переход в режим автаркии при отказе даже от тех формально сдерживающих «демократических» ограничений, которые сегодня еще существуют.

В частных беседах многие люди, близкие к политическому крылу администрации президента, говорят: «Это огромная ошибка, что мы стоим в Совете Европы. Это огромная ошибка, что мы твердим о демократии, о том, что Россия — демократическое государство. Надо, как китайцы, сказать, что у нас своя особая система, при которой демократии не было, нет и не будет. Потому что не может быть в принципе. И тем самым мы снимем стимул нас атаковать». Уже говорят, что мы в ВТО вступать не будем, что в знак протеста, если Европа нас обидит, мы можем выйти и из Совета Европы. А это означает по-

терию влияния Европейского суда по правам человека над российскими делами. Такой вот сценарий, за которым стоят вполне определенные интересы. Однако и здесь есть свои риски.

Да, этот сценарий полностью устраивает тех членов правящей группы, которые имеют активы в России. Но далеко не все из них имеют активы только в России — многие имеют их и за рубежом. А для активов за рубежом данный сценарий неблагоприятен.

Что же в итоге? В итоге мы имеет доминирующую ориентацию на поддержание статус-кво при относительно слабых альтернативных тенденциях. Если в процентах, то я бы обозначил это соотношение как 65:35 в пользу сохранения статус-кво.

Игорь КЛЯМКИН:

Две вещи пока можно констатировать по ходу нашего обсуждения. С одной стороны, говорили о загнивании, деградации системы. С другой — о том, что она выдерживает испытание кризисом. Как сочетаются эти утверждения? А если не сочетаются, то какое из них в большей степени соответствует реальности?

Сергей АЛЕКСАНЕНКО:

Я напомню, что в марте 1991 года Советский Союз казался нерушимым монолитом, хотя фактически уже без Прибалтики. Никто не мог сказать тогда, что спустя несколько месяцев страна исчезнет в одночасье. Так и сегодня: если система прочная сейчас, то это не означает, что она не может рухнуть через месяц. Но по состоянию на сегодня она — монолит.

Алексей МИХАЙЛОВ:

«Медведева как самостоятельной политической фигуры сегодня просто не существует»

Я-то как раз не думаю, что нынешняя политическая система выдержит экономический кризис. Прежде всего, потому что рассчитывать нам стоит только на длинный кризис. Он, кстати, вовсе не означает, что проблемы будут нарастать постепенно. Он означает, что проблемы будут время от времени резко обостряться.

У нас кончается бюджетный Резервный фонд, и надо резать бюджетные расходы — на четвертый квартал 2009 года расходы из него не предусмотрены вообще. Мы загнали себя в тупик. Нельзя брать кредит у Центрального банка — запрещено законом. Международные организации не дадут нам валютных кредитов, пока у нас такие большие валютные резервы. Внутренние заимствования? Но ведь нечего занимать-то! Это просто перекачка денег из одного кармана в другой. Так что бюджетный кризис резко обострится.

Далее, банковская система. Многие банки из первой двадцатки уже работают с убытками. Им уже надо запрещать работать с населением. Избежать новой волны банковского кризиса не удастся тоже.

Ну и конечно цены на нефть. Сейчас они поднялись, но могут и упасть. Может быть, мы увидим 40 или даже 30 долларов за баррель.

В этой ситуации медленно нарастает кризис верхов — первый признак революционной ситуации, по Ленину. Такой кризис обычно нарастает по экспоненте: сначала медленно, а потом резко ускоряется. Так будет и у нас.

Мы здесь всерьез рассуждаем о дуумвирате. Но правы все-таки те, кто говорит, что в политическом смысле никакого дуумвирата нет. Я лично вижу ширму серого кардинала, который в любой момент выставляет действующего президента или тех, кто выступает от его имени, клоунами. Заявил же Аркадий Дворкович (шерп наш на G8), что мы отказываемся сокращать выбросы углекислого газа к 2050 году! Это прозвучало просто анекдотично. За 40 лет или ишак умрет, или падишах: может, к тому времени эти выбросы признают не столь вредными, договоренности много раз пересмотрят. Но сегодня «семерка» по этому поводу договорилась. И никто не ожидал, что этот «плюс один» к «семерке» в лице России заявит столь «принципиальную» позицию. Наверное, отношения с Китаем для нее важнее, чем отношения со странами «семерки». Но ведь неизвестно еще, оценит ли Китай нашу позицию...

Примеров такой политической клоунады на самом высшем уровне можно привести много, она происходила, происходит и будет происходить. Медведева как самостоятельной политической фигуры сегодня просто не существует. Не существует ни президентской команды, ни программы, ничего. Главный резерв этой жестко вертикальной системы — сдача Медведева. Формально ведь именно он, а не Путин за все отвечает, ведь и в регионах — люди, им назначенные. Так что подвесить на него вину за все плохое, что было и есть, можно. Но вряд ли это даст много времени политической эlite. Скорее, только ускорит кризис верхов.

В чем он будет проявляться? Давайте исходить из очевидных тенденций. Тенденция этого года — потеря процентов «Единой Россией» на региональных выборах, о чем здесь уже шла речь. Не менее очевидно и то, что «Единая Россия» становится более регионализированной, ориентированной на губернаторов, а не на Москву.

В 2010 году, я думаю, ключевым вопросом повестки дня станет возвращение к выборности губернаторов. Они сами (а может, и Совет Федерации) инициируют этот процесс. И Кремль будет готов «поддаться», так как это образует дополнительный клапан для выхода народного недовольства. Мы, как либералы, дружно поддержим расширение демократии, будем радоваться, отдавая себе при этом отчет в том, что это первый шаг к дальнейшему развалу страны, к усилению процесса ее регионализации.

Что будет в 2011 и в 2012 годах? Да, будут выборы — парламентские, а потом президентские. Но я думаю, что на сей раз их фальсификации, без которых, разумеется, не обойдется, обернутся против самих фальсификаторов. Не исключаю ситуации, когда все до последнего (и социологи, и кто угодно) будут предсказывать очередную победу «Единой России» на выборах в Думу и Медведева или Путина на выборах главы государства. А в последний момент вдруг выяснится, что региональные элиты дали совсем другую команду...

Сергей АЛЕКСАНЕНКО:

За кого же они призовут голосовать? Если не «Единая Россия», то надо, чтобы был кто-то другой. Кто же именно?

Алексей МИХАЙЛОВ:

Я думаю, что на думских выборах будут конкурировать те же партии, что и раньше. Но «Единая Россия» свои нынешние позиции утратит, а коммунисты, ЛДПР и партия Миронова их укрепят. Как бы то ни было, «Единая Россия» 50% мест в Думе иметь не будет.

Сергей АЛЕКСАНЕНКО:

Может быть... А что будет с кандидатурой президента?

Алексей МИХАЙЛОВ:

Я полагаю, что вполне могут появиться кандидатуры, которые не будут стопроцентно одобрены Кремлем. Это не будет уже такой дирижируемый процесс, как в последнее время. И я совершенно не исключаю, что выборы президента на шесть лет будут на самом деле не для этого «дуумвирата». Срок президентских полномочий Медведев продлил для себя либо для Путина, но пожинать плоды будут, возможно, уже другие.

Кто-то сказал, что история России — это не история, а география. Но и политика России — это тоже не политика, а география. Я думаю, что именно в этом направлении, т.е. в направлении регионализации, идет сегодня политическое движение. Именно в регионах формируются альтернативы, именно в них следует ждать появления альтернативных лидеров.

Если осенью 2008 года я думал, что нас ждет повторение 1998 года, то сейчас мне кажется, что нас ждет повторение 1991-го. Как все будет происходить конкретно, я сказать не могу, но предстоящая регионализация России представляется мне очевидной. И самое неприятное в этой ситуации, повторю, двусмысленность позиции либеральной интеллигенции, позиции либералов. Все, что мы будем говорить и делать, преследуя самые лучшие цели, на самом деле будет способствовать развалу страны. И останется утешать себя лишь тем, что это движение неизбежно. А также надеж-

дой, что оно будет происходить в достаточно мирных формах, как было в 1991-м...

Существующая политическая система очень жесткая, она не предполагает никаких возможностей обратной связи с населением. Она не предполагает даже нормальной реакции на вызовы, которые имеют место. И эта система будет держаться до последнего. Она будет вести себя как последний динозавр, оставшийся после вымирания всех остальных: он, в соответствии со своей природой, так топтал землю, что все вокруг тряслось.

Так и будет происходить с этой политической системой. Она будет ужесточаться, она даже может скатиться до репрессий. Жить в стране будет все менее уютно. Но испытания длинным экономическим кризисом система все равно не выдержит.

Игорь КЛЯМКИН:

Возможная трансформация системы через регионы — это, по-моему, очень важно учитывать. Напомню, что, по последним данным Левада-Центра, 57% населения высказываются сегодня за выборность губернаторов. Это резкая смена настроений по сравнению с тем, что было в последние годы...

Лев ГУДКОВ:

Фактически речь идет о реанимации настроений, имевших место во время отмены губернаторских выборов. Потом люди с ней примирились и стали поддерживать, а теперь вернулись к прежним представлениям.

Игорь КЛЯМКИН:

Тем более показательно. Это можно рассматривать как реакцию на кризис и на путинскую политическую систему. Уже не на ельцинскую, а на ту, что сложилась в 2000-е годы. Что же касается возможной дезинтеграции страны как следствия демократизации, то это надо обсуждать. Конечно, от любых прогнозов всегда можно отмахнуться, благо они недоказуемы. Но я предлагаю всерьез поразмышлять и об этом, оставляя и за собой право в дальнейшем на сей счет высказаться.

Евгений ЯСИН (президент фонда «Лiberальная миссия»):

«Мы теряем возможности инновационного развития, инновационный потенциал страны становится исчезающей малой величиной»

У меня не такие для страны пессимистические — я бы сказал, даже апокалиптические — прогнозы, которые я услышал здесь от некоторых выступавших. Я представляю развитие моей страны как нормальное развитие. Что мне не нравится и несколько меня нервирует — это формирование нынешнего режима, его политика, которая сознательно ведет к отрыву России от Запада,

к укреплению своего положения через подчеркивание суверенитета. Политика ориентирована, в принципе, не на интересы страны, а на собственные интересы тех, кто сегодня у власти. Когда же они внушают нам, что озабочены исключительно величием России и тому подобными высокими материальными, то это либо глупости, либо расчет на глупость других. Почему?

Если представить себе тот путь, которым мы так или иначе должны были пройти после 1991–1992 годов, то, как я вижу, он заключался прежде всего в решении ключевых экономических задач, в создании рыночной экономики — пусть и в несовершенном виде. Без этого невозможно было представить себе развитие демократии. Мы, к сожалению, упустили тогда многое. Определенная полоса стабилизации и отступления мне представляется неизбежной. Другое дело, что это могло происходить в других формах, неизбежно с потерей практически всех демократических завоеваний, которые были в 1990-х годах. Но это вопрос для более детального анализа.

Сегодня я в экономике и политике наблюдаю определенное накопление элементов, которые дают почву для будущего более или менее нормального развития. Конечно, есть проблемы. Одна из них заключается в том, что, наряду с этим нормальным развитием России, развивается вся мировая экономика, вся мировая система, которая оставляет нам все меньшее поле для маневра и все меньше исторического времени для него. С другой стороны, налицо торможение, которое создается существующим политическим режимом; оно также обостряет проблему времени. У нас его не остается для того, чтобы национальные задачи решать более или менее спокойно, эволюционно, разумно. И вследствие этого действительно возникает угроза очень серьезного упадка.

Мы, собственно говоря, теряем возможности инновационного развития, которые для нас, как для национального государства, являются важными. Ресурсов, кроме нефти и газа, нет, инновационный потенциал становится исчезающе малой величиной. Мне кажется, что ситуация складывается очень тревожная, инновационная экономика формируется медленно, ускорить ее формирование нельзя, а на возвраты и реставрации старых порядков тоже не остается времени.

Но я не склонен к тому, чтобы опускать руки. Я считаю, что, если мы уж выбрали себе долю либералов, то все равно наша задача, как и наших предшественников-диссидентов в 1970-е годы, точить камень, продолжать работу и добиваться, чтобы наши выводы, наши ценности распространялись как можно шире и как можно быстрее. На мой взгляд, такого рода подвижки, изменения сознания все-таки происходят. Честно говоря, у меня были такого рода ощущения и перед кризисом. А сейчас особенно, потому что надоели глупые, прямо скажем, действия и решения Владимира Владимировича, они начинают раздражать все большее количество людей.

Что касается выборов в Сочи, о которых вспомнил Сергей Жаворонков. Я считаю, Немцов там выиграл. И считаю так по очень простой причине. Если даже он получил 13% голосов и если бы даже получил еще меньше, то — обращаю ваше внимание — он ведь не парламентскую партию представлял. Организация почти на нуле, денег предельно мало, и, выступая против всей государственной машины, он все-таки набрал 13%. А если бы не было откровенного жульничества, он бы получил 23 или 25. Немцов доказал, что он достаточно серьезная величина, а это значит, что достаточно серьезная величина и те силы, которые за них стоят. Он доказал, что если на выборы выйдут достойные люди и никто не будет мешать, то они могут победить.

Не надо впадать в пессимизм, хотя я согласен и с тем, что все зависит от того, как общество осознает свое состояние. Пессимистические настроения распространены не только в либеральной среде, они распространены и среди коммунистов, и среди представителей правящей элиты. У меня такое ощущение, когда с ними разговариваешь, что они порой готовы хвататься за голову. То же решение по ВТО перед приездом Обамы, в которую мы намереваемся двигаться теперь вместе с Беларусью и Казахстаном...

Сергей АЛЕКСАНЕНКО:

Чья это была идея бредовая?

Евгений ЯСИН:

Путина, кого же еще! А на днях я прочитал в газете, что Россия может вступить в ВТО индивидуально...

Конечно, кто-то ему подсказывает. Там есть много охотников, которые ходят и долбят. Хотите — почитайте «Независимую газету», где на целую полосу, в соответствии со старыми взглядами Ремчукова, доказывается, что юридические услуги нельзя отдавать на откуп свободному рынку, на котором будут работать западные юридические компании. Если такая ситуация в юридических услугах, то я представляю себе, говорит автор, что творится во всех других. Если в других то же самое, то мы просто заложим голову и эти западные тигры нас сожрут. Я немножко лучше многих других представляю себе, какие велись по ВТО переговоры, какие там достигнуты уступки и соглашения. И я считаю, что, если бы даже ничего позитивного во вступлении в ВТО не было, в нее надо вступать. А позитивное ведь есть тоже. Но такие люди ходили и талдычили Путину всякую чушь. И, кажется, преуспели.

Есть, кстати, конкретный человек, на которого указывают пальцем, — Сергей Юрьевич Глазьев, который одержал колоссальную победу как назначенный сравнительно недавно секретарь этого росийско-казахско-белорусского таможенного союза (возможно, я ошибаюсь, но куда-то его точно назначили). И он, видимо, получил доступ к уху и что-то нашептал. А Путин его

послушал. Я так понимаю природу этой бюрократической системы: кто последний зашел и нашептал, что таким образом можно поставить пику Медведеву или кому-то еще, того и слушают.

Сергей ЖАВОРОНКОВ:

В течение шести лет мы решали, вступать или не вступать. Приезжает Обама. На повестке один из пунктов — вступление в ВТО. Путина прижимает дедлайн. Он все решения принимает тогда, когда его окончательно прижимают к стенке и он должен сказать либо «да», либо «нет». Он решил — нет. Он осознанно решил не вступать в ВТО. А Таможенный союз — это отговорка.

Евгений ЯСИН:

Да, Путин принимает решения в последний момент. Вопрос в том, какие он принимает решения и почему? От того, что они принимаются в последний момент, они не становятся более взвешенными.

Сергей ЖАВОРОНКОВ:

Они личные! Он принял личное решение: не вступать. Мы не можем залезть к нему в голову и узнать его аргументацию. Я не могу ответить на этот вопрос.

Евгений ЯСИН:

Вся аргументация была ему представлена. И он каждый раз либо интуитивно, либо эмоционально решает вопрос так, чтобы его власть становилась сильнее. А она тем сильнее, чем дальше Россия от Запада — вот и все. Это единственный аргумент. Так же продуманно он принимал решение по Белоруссии. А перед этим — по Кавказу. Все было продуманно и взвешенно, как кажется.

Теперь по поводу перспектив. Сейчас время для размышлений о том, что устарело в нашем арсенале. Например, вопрос об импортозамещении. Все либералы — сторонники экспортной ориентации экономики. Но в то же время, чтобы был экспорт конечной продукции, надо научиться ее делать. Кстати, несколько дней назад я был в магазине, купил четыре светильника очень симпатичных. Они все оказались российскими. Я вспоминаю, когда начались реформы, первая моя радость заключалась в том, что какая-то наша компания стала выпускать воду в пластмассовых бутылках — по-моему, это был «Святой источник». Помню, как радовался, что мы наконец-то что-то начали делать такое, чего раньше не могли.

В действительности качество продукции, которая у нас производится, не такое уж плохонькое — в особенности за пределами Москвы вы это можете ощутить. Делать какие-то выводы, что мы можем победить в научно-техническом соревновании, пока абсолютно нет оснований. Просто я считаю, что

процесс оздоровления экономики очень сильно сдерживается и задерживает-ся в результате запуганности, зашуганности бизнеса, который считает, что лучше валить отсюда скорее, чем вкладывать здесь куда-то деньги. Это связа-но с теми же причинами, о которых мы уже говорили.

Не исключено, что под влиянием экономического кризиса режим станет более жестким и будет прибегать к репрессиям. Однако я не считаю, что следует говорить, будто никакого тандема нет, что реально абсолютно всем управля-ет Путин и что никакие подвижки невозможны. Я думаю, что какие-то вариан-ты есть, и они связаны с возможным размежеванием в политической элите. А какая-либо альтернатива этому — например, расчет на то, что демократы по-бедят на выборах, — абсолютно исключена. До тех пор, пока этот режим не раз-валится и опять не будет хаоса, опять не будет сплошного безобразия...

Но такой вариант я не рассматриваю как желательный. Вариант револю-ции — я слышал, что мы можем якобы организовать выступление масс, — это тоже пустой разговор, потому что люди исключительно пассивны и мобили-зовывать их сейчас на какие-то выступления бессмысленно. Я себе такого не представляю. У меня простая логика: в течение 20 лет двух революций в од-ной стране не бывает. Наши три революции — 1905 года, Февральская и Ок-тябрьская 1917-го — это одна революция. Так же было во Франции в XIX ве-ке. Поэтому я полагаю, что поворот в той или иной форме начнется с раскола в элитах. А как именно, я не знаю. Но то, что полного единодушия в тандеме нет, — это очевидно. Какие мы из этого можем сделать выводы, я пока тоже не знаю.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Евгений Григорьевич. Первый тур обсуждения мы завершили. Все присутствующие высказались. Теперь я предоставлю каждому возмож-ность отреагировать на услышанное. Кроме того, большинство выступавших обходили третий вопрос — о том, какое развитие событий в стране было бы оптимальным с точки зрения задач модернизации. В основном анализиро-вались возможности нынешней политической системы и сценарии развития в зависимости от тех или иных действий властей. О стратегических альтерна-тивах этой системе, об альтернативных проектных целеполаганиях говори-лось мало.

Призываю вас этот пробел, характерный не только для сегодняшней на-шей встречи, попробовать восполнить. Помня в том числе, что один из глав-ных упреков либералам заключается в том, что никакого собственного проек-та у них для страны нет, что они способны лишь критиковать тех, кто «делает дело», и в лучшем случае анализировать происходящее. «Изучать тенденции», как сказал бы Денис Драгунский. Кто первый? Дмитрий Борисович Орешкин, пожалуйста.

Дмитрий ОРЕШКИН:

«Именно путинский "вертикальный" курс готовит страну к очередному циклу распада в ближайшем будущем»

Мне кажется, что в нынешней дуумвиратной политической структуре можно видеть потенциал для быстрого ужесточения с помощью силового кризиса, теракта, переворота, локальной войны или чего-то подобного, с превращением «двурогой» вертикали в «однородную». Поскольку «вертикаль» в принципе — конструкция, органична для одного начальника, а не для двух.

Важно подобный сценарий нейтрализовать. Нам доступен только один способ: рассказывать, как и зачем подобное может случиться; кому это выгодно (таким-то группам и по таким-то причинам); какие признаки уже налицо, а каких можно ожидать в ближайшем будущем.

Избиратели и элиты отстают в осознании процессов, и это нормально. Если на два года — очень хорошо, как раз до выборов. Если на год — еще лучше. Значит, у нас больше шансов быть услышанными. Надо объяснять, что в условиях кризиса с точки зрения удержания власти в идеале вообще было бы разумно выборы отменить. Или totally фальсифицировать, для чего, собственно, и отрабатывается технология голосования через Интернет или мобильный телефон. В США этих технологий предпочитают избегать — потому что затрудняются с гарантиями защиты от манипуляций. Зато мы не затрудняемся. И ничуть не боимся!

Тем не менее важно сохранить эти выборы как процедуру. Чтобы все видели, как власти из них выкручиваются, как их фальсифицируют.

Вдогонку я бы хотел прокомментировать слова насчет вины либералов за будущий распад страны. Их уже обвиняли и обвиняют за распад прошлый. Поэтому с него и начну.

Я, как географ, над этим долго размышлял и полагаю, что ситуация совершенно иная. На самом деле вина за распад страны лежит на тех, кто был до либералов. Ведь и Горбачева обвиняли в том, что он подорвал экономику, соединив обращение безналичного рубля с наличным. В то время как виноват тот, кто эту вымороченную схему с «безналичной валютой» (которую нет смысла зарабатывать, потому что за нее нечего купить) изобрел и десятилетиями эксплуатировал.

То же самое с единством государственного пространства.

Ради сохранения своей корпорации у власти коммунисты и чекисты душили все альтернативные скрепы, соединяющие страну, поскольку боялись конкуренции. Ведь если укрепляются регионы, то ослабляется их прямая бюрократическая зависимость от центра. Если, скажем, налаживаются прямые экономические связи между Омском и Новосибирском, то Москва им не очень нужна. Москва это понимала и допускать не хотела. Старалась эти горизонтальные связи прервать, заменить исключительно вертикальными. Объединя-

ла страну за счет тотального замыкания на центр. Через иерархию ЦК КПСС, КГБ, Генштаба, Госплана...

Это сильные скрепы. Но — целиком бюрократические и вертикалистские. А альтернативные, низовые скрепы отсутствовали. Рубль — «двуухоловый урод», который никому не был нужен. Одна голова «наличная», другая — «безналичная». Не съездив в Москву, на безналичные рубли «фондов» не выбьешь. И уже только поэтому устойчивых межрегиональных экономических отношений не выстроишь: кому ты нужен со своим «безналом». Короче, деревянный советский рубль скрепой не был.

«Хозяйственные связи», «единый народнохозяйственный комплекс» — тоже не скрепы, а пустые слова. Зачем этот «комплекс», если он производит не прибыль, а головную боль? Зачем мне гонять уголь и сталь с одного конца страны на другой, если ничего, кроме зарплаты (опять же в деревянных рублях), мне это не приносит? Так же не была «скрепой» и целиком фальшивая советская идеология. Как только рухнули партийная иерархия и КГБ, так рухнуло и идеологическое единство. А взамен ничего не было. Гиперцентрализация, учрежденная еще Сталиным, душила любые альтернативные (неподконтрольные) связи и скрепы на низовом уровне. Ни частной инициативы, ни общей настоящей валюты, ни социальной инфраструктуры. В современном Китае все это есть, хотя остро недостаточно, но у нас-то совсем не было!

Сейчас ситуация лучше. Есть настоящий рубль как минимум и есть еще какие-то неформальные связи. Но мы имеем поразительно слабую инфраструктуру материальную, потому что мы тратим силы на поддержку Белоруссии и еще кого-то. Мы имеем слабую структуру судов, слабую структуру выборов. А ведь будь эти структуры сильными, они стали бы тем механизмом, который, по идеи, помогал бы нарабатывать и унифицировать связи между регионами, когда везде судят по одним законам и совместно честно выбирают президента. Если же судят не по закону, а по прейскуранту, а выборы заведомо фальсифицируются, то эта инфраструктура страну не объединяет. Не скажу, что разъединяет, — нет. А просто даром существует, даром тратит государственные ресурсы и человеческие силы.

Если президента не выбирают совместно, а назначают в Москве, то в критический момент этот президент оказывается не «моим», а неуволимо «московским». Я за него не несу ответственности и не возлагаю на него надежд. Искусственная централизация, сопровождающаяся искусственным уничтожением альтернативных «горизонтальных» скреп, начиная от социокультурной инфраструктуры и вплоть до материальной и транспортной инфраструктуры, создает очевидные предпосылки для последующего распада страны, когда центр ослабевает. А центр неизбежно ослабевает, потому что страна начинает понимать, что он ей, в общем, не нужен. Он ее скорее сдерживает, чем помогает. Как чувствовали себя украинцы, когда проводили свой референдум

о национальном суверенитете? Им та Москва была сбоку припеку. Что они от нее получали, кроме пустых рублей, идейных накачек и новых исторических решений очередного съезда?

Вот об этом и надо говорить. Глупо и неправильно утверждать, что демократия и либерализм раскалывают страну. Я понимаю, что вы про будущее. Вы загодя готовы каяться...

Игорь КЛЯМКИН:

Вы, как понимаю, обращаетесь к Алексею Михайлову.

Дмитрий ОРЕШКИН:

Да. Так вот, на самом деле проблема-то как раз в том, что именно путинский «вертикальный» курс готовит страну к очередному циклу распада в ближайшем будущем. Начиная от идиотской миграционной и демографической политики и кончая столь же идиотскими попытками обрубить функционирующие горизонтальные связи Дальнего Востока с Китаем или с Японией (например, правый руль) и заменить их нефункционирующими вертикальными связями с Москвой.

Мне кажется, еще можно успеть наработать альтернативные механизмы, объединяющие страну. Например, настоящие, ненадувные, политические партии. Настоящие сетевые формы бизнеса — ритейл, телефонные сети. Слава богу, кое-что из этого есть. Но нужно больше.

Америка едина не потому, что замкнута на Вашингтон, а по строго противоположной причине — у нее есть масса огромных, самостоятельных, тесно связанных друг с другом центров роста. Гораздо более мощных, чем столица. От Сан-Франциско до Нью-Йорка, Сиэтла или Хьюстона.

Нам подобного долго еще не видать именно из-за сталинско-путинского «вертикализма».

Лев ГУДКОВ:

«Оптимальным сценарием модернизации был бы тот, который способствует многообразию: выборность губернаторов, усиление местного самоуправления, устранение монополии исполнительной власти»

Я не совсем понимаю, почему Евгений Григорьевич обвинил нас в пессимизме, нарисовав меж тем самый настоящий пессимистический сценарий. Я не думаю, что нам грозит реальный распад страны — тем более распад, вызванный ослаблением «вертикали». По разным причинам не грозит, в том числе и потому, что для того, чтобы произошел развал, нужно чтобы кто-то «подобрал» отпадающие части. Но пока что-то не видно, чтобы кто-то захотел их взять. Мало кто из соседей (Турция, Иран или еще кто-то) покушается на то, чтобы присвоить себе такой проблемный регион, как республики Северного Кавказа.

Говорят о Китае, который нацеливается на то, чтобы с течением времени захватить Приморье и Дальний Восток. Пока это только внутренние фобии и идеология пугания оппонентов. В XXI веке имперская geopolитика безнадежно устарела. Появились совершенно другие формы политического влияния и доминирования. Кроме того, пока не видно каких-либо реальных сил, заинтересованных в выходе из России, кроме как в Чечне. А они должны быть для того, чтобы процесс дезинтеграции начался.

Я не согласен с тем, что в 1991 году никто не представлял себе перспективы раз渲ала, что для всех это было полной неожиданностью. Наши исследования того времени показывали, что шли процессы консолидации национальных элит в союзных республиках, что в «монолите» возникли трещины, причем очень глубокие. И более того, очень многие готовились к этому, готовили распад СССР или, точнее, выход из Союза. Я напомню об эстонской программе ИМЭ (программе республиканского хозрасчета), которая была просто промежуточной стадией воссоздания суверенитета.

С 1985 года шел непрерывный, не очень заметный и понятный для русских процесс теневого самоутверждения местных элит, которые не только в Прибалтике или на Кавказе, но и в Узбекистане или Казахстане (хотя, конечно, в существенно менее определенных формах) задумывались о реорганизации отношений с центром. И если открыто они и не выдвигали требования суверенизации, то потихоньку к этому готовились. На мой взгляд, это было вполне хорошо — и то, что готовились, и то, что прошла суверенизация.

Сегодня, мне кажется, идут самые разные процессы (и по направленности, и по своему характеру), в том числе и те, о которых здесь говорилось. Что такое упоминавшийся «процесс деградации»? Это прогрессирующее состояние, при котором управляющий центр постоянно упрощает способ управления нижестоящими уровнями системы, подавляет автономность отдельных частей, их функциональную специализацию, а значит — и уровень сложности структуры в целом, эффективность работы каждой ее части. Вместо саморегуляции переходят на «ручное управление». Власть начинает давать указания по всему кругу возникающих вопросов: от Пикалева или регулирования цен до трактовки исторических событий или морали. Это и есть, собственно, процесс деградации.

Ответом власти на кризис в наших условиях может быть только поддержание относительной деградации системы в целом, блокирование импульсов модернизации, которые возникают постоянно и в самых разных сферах жизни. Но точно так же и систематически они гасятся, так как не может быть устойчивым состоянием сочетание авторитарного режима и модернизированной экономики. Авторитаризм при определенных предпосылках (не всегда, правда) мог быть условием форсированной модернизации, «догоняющей модернизации», но дальше он оказывался препятствием и либо уступал место де-

мократии (как это было, например, в Южной Корее, на Тайване), либо модернизация прекращалась, начиналась инволюция страны (как это было не раз с латиноамериканскими странами).

Для меня процесс модернизации заключается в усложнении функциональной системы в целом. Суть этого процесса — в дифференциации институтов, в повышении специализации каждого из них, в появлении специальных интеграционных подсистем и последующих вторичных функциональных связей.

Несколько слов по поводу «горизонтальных отношений», о которых говорил Дмитрий Орешкин. Возьмем такую область, как судебная система. Тут совершенно конкретные задачи, которые должны быть проработаны, и понятно как. Необходимо формирование специальных административных судов, где бы гражданин мог судиться с государством, — сегодня это просто исключено. Необходимо формирование специализированных судов — семейных, ювенальных, мировых и проч. Это изменение рамок территориальных судебных округов, разделение территориальных границ административных и судебных округов, устранение судебной бюрократии в виде председателей судов. Это специализированное обучение судей и многое другое.

Есть вполне конкретные задачи. Но они пока очень слабо обсуждаются, к публике они почти не вынесены. И люди этого просто не знают. Мне представляется, что такая работа — очень важная задача либеральных партий. Между тем я не видел ни у одной партии в программе подобных вещей и не видел их выдвижения. Оптимальный сценарий был бы тот, который содействовал бы многообразию: выборность губернаторов, усиление местного самоуправления, устранение — и это главное — монополии нынешней исполнительной власти. Или, говоря иначе, ослабление тотальной централизации управления, а потому неизбежной и усиливающейся склонности власти к использованию своего монопольного права на репрессии, усиливающейся коррупции и, как следствие, усиливающейся непродуктивности государственной машины.

Любые меры, которые могли бы способствовать этому (будь то выборность, увеличение прозрачности, критичность СМИ и проч.), способствовали бы одновременно и созданию предпосылок для модернизации в указанном смысле. Когда это станет возможно, сказать трудно. Я не очень представляю себе сроков. Более того, допускаю, что это может быть вообще нереальным (по крайней мере, в обозримые человеческие сроки). То, из чего я исхожу, а именно из анализа массовых настроений, пока не показывает никаких движений в сторону улучшения. Но я прекрасно понимаю, что тот материал, с которым я имею дело (общественные представления, мнения), весьма консервативен, что он запаздывает по отношению к актуальному движению общества или экономики. Мы ловим следы, последствия этих изменений, а они всегда обнаруживаются с некоторым запаздыванием.

Денис ДРАГУНСКИЙ:

«Задача либералов — найти какой-то адекватный, нелюдоедский способ эффективного удержания территории»

Я согласен с Гудковым, что нам нужна конкурентная политика и конкурентная экономика. Нужна, возможно, более адекватная, многообразная, динамичная презентация деловых интересов на политическом уровне — от муниципального до общефедерального. Нужно искать механизмы, с помощью которых эти интересы удалось бы согласовывать, так как только это может открыть нам ворота к какому-то позитивному развитию. Но это слишком обещее утверждение.

Нам нужно решить для себя, что мы называем «позитивным развитием», потому что иногда модернизация для нас становится каким-то фетищем. Некоторые даже готовы простить Сталину миллионы жизней, которые он зарыл в фундамент индустриальной модернизации. Чем мы теперь будем платить за модернизацию? Задача либералов — найти какой-то адекватный, нелюдоедский способ эффективного удержания территории.

Есть такие две страны в мире — Россия и Израиль. Они разные по размеру, но перед ними стоит одна и та же задача — удержать территорию. В случае Израиля речь идет о крохотной стране в центре враждебного исламского мира, в случае России — об огромном расползающемся пространстве, в котором транспортные связи являются неподъемным бременем, не говоря уже о погранично-оборонных проектах. Тем более что Россия неоднократно попадала в замкнутый круг оборонной экспансии.

Россия расширяла территорию для нужд обороны. Расширив ее, она дальше двигалась для тех же самых нужд. Нас все время в этом убеждали: России нужен выход к морю, России нужно степное предполье, России нужны страны-сателлиты. В каком-то средневековом проекте так оно и есть, но сейчас это уже не работает. Поэтому задача, с которой не справились ни царские элиты, ни коммунистические, ни либеральные элиты ельцинского призыва, когда они были у власти, ни элиты 2000-х годов, эта задача остается прежней — найти концепцию развития, при которой Россия сможет остаться Россией, при этом не тратя все силы на удержание своей территории. Или, по крайней мере, тратя их без ГУЛАГОв и прочих ужасов. Без бесконечного затягивания поясов. Без бесконечного (сначала романтичного, а потом лицемерного) «жила бы страна родная, и нету других забот».

Дальше нужно ответить для себя на вопрос, каковы реальные угрозы распада России, кроме психолого-идентичностных кризисов и кроме возможной катастрофы для правящих элит. Согласитесь, когда эти элиты говорят о необходимости сохранять Россию, они действуют в интересах своих детей, внуков, и не более того. О чем речь? О гражданской войне, об экспансии ислама, о пособничестве китайцами? Все это необходимо четко понимать. Без этого пони-

мания все разговоры о будущих сценариях являются только разговорами. Однако я верю, что модель конкурентной экономики и конкурентной политики в конечном итоге возобладает. Как трава пробивается через асфальт, как солнышко пробивается через облака, как дети рождаются даже во время войн и кризисов.

Сергей ЖАВОРОНКОВ:

«Худшее, что может предпринять российская интеллектуальная элита сегодня, — это пытаться как-то облагородить режим»

Наиболее оптимальный сценарий, на мой взгляд, — это максимальная дестабилизация нынешнего режима. Я не уверен, что в свое время, в 1991 году, независимая Россия, например, создалась бы без ГКЧП. Без ГКЧП, возможно, было бы что-то другое, куда менее модернистское.

Я не верю в способность правящей группы удержать жесткий авторитарный режим в течение даже короткого времени. Не верю, что эти люди откажутся от своих зарубежных активов, как материальных, так и символических — последние для них тоже важны.

Худшее, что может предпринимать российская интеллектуальная элита сегодня, — это пытаться как-то облагородить режим, ждать оттепели, содействовать оттепели и так далее. Нынешний президент, очень верно было здесь сказано, — это операция «прикрытие», это «пустое место», которое произносит либеральные фразы.

Помните первую статью Дмитрия Анатольевича в политической карьере? Когда она была написана и о чем она была? Так вот, первая статья этого человека была в ноябре 2003 года в «Ведомостях». Посвящена она была делу ЮКОСа и обещала нам независимый справедливый суд. Шесть лет прошло с тех пор. Мне кажется, достаточно, дальнейшей эволюции от этой личности можно не ждать.

Сергей АЛЕКСАНЕНКО:

«Бессмысленно разрабатывать альтернативные программы, так как на них нет запроса и нет сил, готовых их поддерживать»

Начну с частности — с утверждения Алексея Михайлова о том, что Резервный фонд заканчивается в 2009 году. Он не заканчивается, его хватит на финансирование половины дефицита будущего, 2010 года. Кроме того, нет сомнений в том, что власть целиком использует Фонд национального благосостояния. Поэтому с точки зрения устойчивости бюджета еще полтора года кризиса не составят серьезной угрозы для режима.

Абсолютно правильно было сказано, что первым признаком раскола элит будет сокращение бюджетных расходов и обострение дискуссий вокруг этого. Первая попытка завязать такую дискуссию непроизвольно возникла в ны-

нешнем году, когда изначально Кудрин «пробил» через Путина концепцию 5%-го дефицита. Но для этого нужно было бы сократить незащищенные статьи расходов почти в два раза. Понятно, что с этим никто согласиться не мог. В результате идея Кудрина была откинута, и сейчас уже решили, что дефицит-2010 составит 7,5% ВВП. То есть борьба за бюджетные деньги уже началась, и объединившаяся элита с радостью пошла «трамбовать» Кудрина, а Путин, собственно говоря, ее поддержал. Впрочем, нельзя исключить, что дефицит будет больше — именно потому, что договориться о сокращении расходов будет практически крайне тяжело.

Третий вопрос нашей дискуссии подразумевает какие-то нормативные высказывания — надо, мол, чтобы ситуация развивалась так-то и так-то. Мне же представляется более правильным смотреть, как она развивается реально и пытаться уловить тенденции, к чему нас призывал Денис Драгунский. В этой связи я не думаю, что у нас есть основания рассчитывать на радикальные перемены, что произойдут какие-то резкие изменения в голове Владимира Владимировича: что-то в ней щелкнет, и он поменяет свои политические взгляды. Или Дмитрий Анатольевич проснется как-то утром и почувствует, что он *man with the balls*, и немедленно подпишет указ об отставке Путина и помиловании Ходорковского.

На мой взгляд, нужно четко понимать, что в России у власти находится хунта, которая получила эту власть, используя почти демократические методы. Мало есть людей, которые говорят, что Путин в 2000 году победил нечестно. На самом деле это стандартная ситуация для Латинской Америки, когда после того, как очередная хунта рушится, проходят демократические выборы, избирают очередного лидера оппозиции и он очень быстро превращается в лидера очередной хунты. Наша хунта — это группа людей, которые по большому счету формально не занимают верхние позиции в государстве. Это так называемая группа друзей. Часть из них вообще не в государственном аппарате работает — она в коммерции, в бизнесе, как, например, Якунин, Тимченко или Ковальчук.

После того как были внесены изменения в избирательное законодательство и взят под контроль подсчет голосов, не существует механизма не только прихода оппозиции к власти, но и формирования содержательной оппозиции в принципе. Избирательное законодательство составлено таким образом, что из выборного процесса можно исключить любого кандидата. И именно поэтому фальсификация голосов на выборах уже не нужна — Богданов и Жириновский вряд ли устроят многих как реальные оппоненты власти.

И как любая хунта, нынешняяластная группировка будет стремиться держаться у власти бесконечно долго, упорно и используя для этого все возможности. Ни малейшего желания отдавать власть я у них не вижу. Поэтому мне не очень понятно, когда Алексей Михайлов говорит, что губернатор или реги-

он смогут помешать нынешним лидерам выиграть выборы в 2011–2012 годах. Им просто не будет альтернативы. Все более или менее сильные кандидаты будут выкинуты, и в результате, кто бы ни пошел на выборы в 2012 году, Путин или Медведев, у него просто не будет конкурента, который смог бы получить широкую поддержку. Вот почему я считаю, что сценарий политических перемен в ходе следующих федеральных выборов невозможен.

Здесь очень часто звучало, что хунта будет закручивать гайки и ужесточать режим. Я думаю, это будет ее самой большой ошибкой. Потому что ужесточение режима будет, наоборот, ухудшать ситуацию.

Мне очень близка высказанная в ходе обсуждения мысль, что отсутствие реальной политической конкуренции, отсутствие системы checks and balances ведет к расплодзанию государства. Будет происходить постепенная деградация государственных институтов, потому что у нынешней власти нет ни малейшего желания реформировать их, делать более устойчивыми. Мне кажется, это и есть плавный вялотекущий процесс, который мы сегодня наблюдаем. Он-то и будет вести нас к тому результату, о котором сказал Алексей Михайлов, — к развалу страны.

Как ни странно или как ни смешно, нынешний режим сам делает все возможное, чтобы государство начало расплодзаться. Уже несколько раз был повторен тезис, что (в пику Америке) в торговле с Китаем в приграничных районах нужно переходить на национальные валюты. Но в ситуации, когда весь Дальний Восток торгует только китайскими товарами, использует только китайских строителей, реализации этого намерения приведет к тому, что в течение трех лет Дальний Восток перейдет на расчеты в юанях. Связующее для России звено, которым сейчас является рубль, совершенно точно исчезнет. И после этого пойдет экспансия юаня на Запад, к Уралу и медленное вытеснение русского населения вслед за рублем.

И последнее. Мне очень понравилась фраза того же Дениса Драгунского о том, что бессмысленно разрабатывать альтернативную экономическую программу, так как на нее просто нет запроса и нет сил, готовых ее поддерживать. Сегодняшняя политическая система опирается на доминирующую группу в бизнесе, на экспортеров сырья. По большому счету нет в бизнесе других интересов.

Обратите внимание на то, что Путин за все время нахождения у власти, по сути, не принял ни одного решения, которое бы ущемляло экономические интересы экспортеров сырья. Да, посадили Ходорковского, но это не означает, что режим по отношению ко всем нефтяным компаниям изменился, — напротив, при первом осознании кризиса осенью 2008 года первыми, кто получил государственную поддержку, стали нефтяники. Сыревики живут «в шоколаде», поэтому они будут всегда поддерживать этот режим. Всерьез рассуждать о том, что в нашей стране есть какие-то технологические

анклавы, которые вдруг захотят поддерживать альтернативную программу, по-моему, просто нелепо. Экспортерам сырья разработка новых технологий не нужна; то, что им нужно для текущей деятельности, они пока в состоянии покупать.

Главная угроза сегодняшней России — угроза развала страны, поэтому альтернативная программа должна строиться на удержании целостности территории. Есть единственный способ это сделать — американский. Нужно сделать страну либеральной и открыть границы, проводить активнейшую иммиграционную политику. Обратите внимание, Америка живет третье столетие и до сих пор привлекает к себе людей со всего мира. Поэтому перед российским обществом, государством, страной нет другого пути, кроме как населить нашу необъятную территорию активными людьми. Собственно говоря, и для модернизации страны это тоже нужно. Потому что модернизация без притока свежих людей со свежими мозгами, людей, которые захотят что-то делать на этой территории помимо добычи нефти-газа-металлов, невозможна.

Алексей МИХАЙЛОВ:

«В перспективе я, к сожалению, вижу путь не к модернизации, а к хаосу»

Я может быть, спровоцировал более острое обсуждение, чем было до меня, и сделал это сознательно. Я ни в коем случае не настаиваю на обрисованном ранее политическом сценарии, наоборот. Я попытался представить себе наиболее легитимный и мирный путь перехода к хаосу и демонтажу этой самой политической элиты, которая сейчас у власти. Если все пойдет другим путем, то будет только хуже. Мне, как либералу, кажется, что это очень рискованная игра, но я все равно буду поддерживать движение в этом направлении — переход к выборам губернаторов и так далее. Чем дальше страна отойдет от вертикали власти — тем лучше. У нас нет другого пути, кроме как выход через хаос. Да, двух революций не было в течение 20 лет в одной стране, ну так это же разные страны — СССР и Россия. Люди уже забыли, что было в 1991 году, новое поколение выросло, оно входит в активную жизнь. Кроме того, в нашей стране революции уж если происходят, то бывают очень часто. У нас в один год случились две революции, как в 1917-м.

Главная проблема и в самом деле заключается в том, что нынешняя политическая элита от власти добровольно не отойдет. Не надо ничего придумывать по поводу того, что они и так много набрали, у них и так много в офшорах — хватит, мол, и на себя, и на детей, и на внуков. Если они отдадут власть, то ничего этого не будет, потому что новая власть все отнимет. Ничего они удержать не смогут — кроме того, что спрячут совсем далеко. И все влияние в стране они при смене власти утратят тоже. А пользоваться всеми благами, скрываясь от Интерпола, неинтересно. Это не тот финал, на который рассчитывают представители нынешней элиты. Они этого боятся и на это никогда

добровольно не согласятся — совершенно не та ментальность. И это надо хорошо понимать.

А если нынешняя политическая элита не отойдет от власти, то она пойдет дальше по пути ужесточения, по пути упрощения политической системы, судебной системы, всей вертикали власти. Никакого другого пути у нее просто нет. Она не может идти по другому пути, потому что любой другой путь она будет воспринимать как собственное ослабление.

Я не знаю, что имеется в виду под словом «модернизация» в третьем вопросе, но, к сожалению, я вижу в перспективе путь не к модернизации, а к хаосу. И надо по возможности пройти этот путь максимально безболезненно, для чего желательно создать какие-то легитимные рамки. Примерно так, как это произошло с развалом Советского Союза. Я не о том, хорошо ли, плохо ли, что развал произошел. Важно, что он прошел в легитимных границах — право на выход было записано в советской Конституции. Точно так же и дезинтеграция России, раз уж она неизбежна, лучше бы тоже шла мирно, по более или менее легитимному пути. Именно этому могла бы помочь либеральная интелигенция. А что она может еще сделать в сложившейся ситуации, я не знаю.

Евгений ЯСИН:

«Если у меня сегодня мало единомышленников, то я буду действовать так, чтобы их становилось больше, а не оправдывать свое бездействие тем, что их слишком мало»

Я полагаю, мы должны вспомнить, что наша сегодняшняя встреча состоялась по инициативе Николая Ивановича Лапина, который прислал несколько документов, свидетельствующих, с его точки зрения, об ухудшении ситуации в плане наступления консервативных сил. Первый — о праздновании 20-летия факультета социологии МГУ, второй — собрание «Клуба 4 ноября» для обсуждения доклада, где были прямые тезисы про то, что России никакая демократия не нужна. Мне кажется, об этом нужно вспомнить. Николай Иванович — сам он принять участие в сегодняшнем разговоре не смог — предложил обсудить, что мы, либералы и сторонники демократии, в складывающейся ситуации можем и должны делать.

То, что мы написали в третьем вопросе, — это и есть в данном отношении самое главное. На мой взгляд, сценарий, который был бы оптимальным с точки зрения задач модернизации, — это не просто обновление оборудования, но и институтов и культуры. Наиболее же актуальная задача, которая может быть поставлена сегодня во главу угла, — это демократизация. Были времена, когда все валили на демократию, что она нам не подходит, что в 1990-е годы олигархи ее использовали и тому подобное. На мой взгляд, никакая модернизация оборудования без модернизации институтов и без демократизации, без установления нормальных европейских правил политической игры невоз-

могна в принципе. Эти лозунги можно выдвигать вместе с нормальными коммунистами, с левыми, с кем хотите, и я думаю, что они сегодня будут во многом иначе, чем раньше, восприниматься публикой. Другое дело, насколько власти будут позволять говорить, но, с моей точки зрения, сегодня ситуация изменилась или меняется таким образом, что эти лозунги снова можно ставить во главу угла.

Что бы мы ни говорили, альтернатива перед страной жесткая: деградация научно-техническая или инновационная экономика. И выбор в пользу последней сделать невозможно без создания нормального демократического общества. Мне кажется, об этом следует заявлять совершенно открыто, определенно и каждый раз тыкать власть носом: мы не можем решить то-то и то-то, потому что нет демократических институтов.

Что конкретно мы должны предлагать? Вот, скажем, суды. Конечно, пока не будет нормальной системы наверху, я имею в виду исполнительную и законодательную власть, пока не будет там политической конкуренции, оздоровить наши суды не удастся. Но значит ли это, что мы не должны ставить конкретные вопросы о том, например, чтобы не поручать председателям судов распределение дел между судьями? Уверен, что все суды такой лозунг будут поддерживать. Вы можете не говорить им «Станьте независимыми!», лозунгово вы это можете не поднимать, но привлекать внимание к практическим вопросам, решение которых способно хоть как-то повлиять на ситуацию, можно и нужно. От этого, конечно, не произойдут чудеса. Но если говорить о таком развитии, которое бы не создавало хаоса или создавало минимум хаоса, а формирование институтов все-таки продолжалось, я бы обратил внимание на такие вещи. Их, кстати говоря, если анализировать, можно набрать довольно много.

Среди них — и восстановление выборности губернаторов. Я бы это поддержал, будучи абсолютно уверенным в том, что никакого раз渲ла страны от этого не произойдет. Более того, сейчас уже очевидно, к каким результатам привела отмена этих выборов. Недавно мне попалась интересная статья, в которой очень хорошо показано: проблема дефицита кадров, которую поставил Медведев (нет, мол, людей, которых можно было бы назначать на ответственные должности), связана именно со свертыванием выборных процедур.

Что касается расстановки сил, то я согласен с тем, что Путин и группа экспортёров сырья сегодня доминируют и что они будут замораживать ситуацию. А мы должны противопоставить им либерализацию во всех отношениях, которая возможна только в результате демократизации. Да, власть мы сегодня не убедим. Но мы должны убеждать не власть, а общество. Открыто, жестко, не боясь, если нужно, называть имена.

Мы должны, я считаю, продвигать идею привлекательной страны. Если она будет открываться, если станет приглашать людей и создавать благопри-

ятные условия для всех, кто захочет сюда приехать и работать, то она будет развиваться успешно. Пускай это ухудшит условия труда для служб безопасности, но ради страны и ее будущего, если оно их беспокоит, пусть поработают, резервы у них есть. Пока же с их стороны идет активное противодействие, закручивание гаек в этом вопросе, постоянно предлагается что-то ограничить или прекратить. Сейчас в Государственную Думу поступил проект закона об усложнении приглашения в Россию иностранных профессоров. Каждый раз что-нибудь новенькое, только следи!

Я считаю, что мы ничего пропускать не должны. «Мы» — это не только сидящие здесь, не только «Либеральная миссия», но и все другие демократические организации.

Сергей АЛЕКСАШЕНКО:

Их нет, таких организаций.

Евгений ЯСИН:

Есть!

Сергей АЛЕКСАШЕНКО:

Назовите.

Евгений ЯСИН:

Я вчера был на заседании гражданской школы в Сахаровском музее. И там было представлено довольно много организаций: Московская Хельсинкская группа, Российское отделение Human Right Watch, «Мемориал», Антикоррупционный комитет, Transparency International — сколько тебе надо?

Сергей АЛЕКСАШЕНКО:

Евгений Григорьевич, я испытываю огромное уважение ко всем названным организациям, но у меня такое ощущение, что сейчас в обществе нет никого, кто хотел бы что-то выдвигать. Полная политическая апатия. К тем организациям, что вы перечислили, можно добавить еще «Солидарность», где 50–100 человек. Вот и все. Страшный парадокс ситуации состоит в том, что она, эта ситуация, устраивает большинство народа. Лев Дмитриевич Гудков не даст соврать (да он об этом и говорил), что все опросы показывают абсолютнейшее спокойствие населения. Вы говорите, что мы должны поддержать лозунг выборности губернаторов. Да его же никто не выдвигает! Что значит — мы должны поддержать?

Евгений ЯСИН:

Почему не выдвигают? Шаймиев выдвигал!

Сергей АЛЕКСАНЕНКО:

Он один раз его выдвинул и задвинул тут же. И все!

Евгений ЯСИН:

Значит, так. Я убежден в том, что разговоры об отсутствии поддержки со стороны народа — это ради самоуспокоения и самооправдания. Ради того, чтобы самим ничего не делать. Бессмысленны все эти подсчеты: нас всего сто человек, нас всего двести человек. Делай свое дело, и будь что будет.

Как решались такого рода проблемы в прошлом? Они решались прежде всего элитами. То есть людьми, которых всегда меньшинство. И если их деятельность соответствовала общественным потребностям, которые большинством населения осознаются с большим опозданием, то рано или поздно эти люди находили контакт с обществом. Я считаю, что наши позиции общественным потребностям соответствуют. И если у меня сегодня не так много единомышленников, как хотелось бы, то я буду действовать так, чтобы их становилось больше, а не оправдывать свое бездействие тем, что их мало.

Алексей МИХАЙЛОВ:

Евгений Григорьевич, мы с вами несколько дней назад присутствовали на собрании под названием «Россия после Путина». Я там просидел чуть дольше, чем вы. И там никто ничего не сказал относительно того, что надо делать. Все только вздыхали: «Ох, какой tandem. Ох, как бы нам его сдвинуть с места». Вопрос же в том, что делать...

Вы говорите о роли элиты. Но «элита» — понятие широкое: она делится на политическую, военную, интеллектуальную и еще всякую разную. И если узкий круг философствующих мыслителей сидит и обсуждает судьбы Родины, выдвигая прогрессивные лозунги (ту же выборность губернаторов), то этого недостаточно. Нужно, чтобы еще кто-то, кроме философов, поддерживал этот лозунг. И только потому, что идея выборности губернаторов находит поддержку в регионах, эта идея неминуемо, по-моему, реализуется.

И еще. Я не согласен с Сергеем Алексашенко, что власть ориентируется на экспортёров сырья. Их отжимают сейчас намного больше, чем при Ельцине. Власть действует в своих собственных меркантильных интересах. И опирается при этом на группы, которые могут быть связаны или не связаны с экспортёрами сырья. Важно лишь то, что это ее собственные группы. Те, которые для нее «свои».

Евгений ЯСИН:

Чтобы наши идеи и лозунги поддерживались, их надо выдвигать и объяснять их смысл. Выборность губернаторов — это то, что людям известно по опыту. А о том, чем полезно им большинство наших идей, они и понятия

не имеют. Наша задача сегодня — влиять на формирование общественного мнения, причем без упоманий на гарантированно быстрый успех.

Игорь КЛЯМКИН:

«Интеллектуальные проекты вовсе не обязательно должны быть жестко привязаны к текущим тенденциям»

Будем завершать. Я согласен с Евгением Григорьевичем, что надо публично озвучивать конкретные предложения по реформированию тех или иных сфер, привлекать к этим предложениям внимание общества. Об этом же говорил и Лев Дмитриевич Гудков, упомянув, в частности, об административных судах, которых у нас до сих пор нет. Есть и другие конкретные меры, которые реализованы в посткоммунистических странах Восточной Европы и Балтии.

Скажем, комитеты по противодействию коррупции — специальные независимые структуры, выведенные за пределы исполнительной власти и ответственные только перед парламентами. Правда, при нашем парламенте, вмонтированном в «вертикаль», это мало что даст, но важна уже сама осведомленность общества о мировом опыте решения тех или иных проблем. А также о том, что нынешняя российская власть этот опыт игнорирует, предпочитая ту же борьбу с коррупцией имитировать, о чем и свидетельствуют принятые недавно «антикоррупционные» законы.

Пробуя суммировать смысл всех сегодняшних выступлений, приходишь к выводу: в границах какого-то периода (год, полтора, может быть, два) ситуация выглядит достаточно определенной, а за пределами этого периода начинает выглядеть крайне неопределенной. На недавней встрече с Ричардом Пайпсом, проходившей в «Либеральной миссии», один известный человек сказал: «При советской власти я занимался эпохой Возрождения и не мог публиковать результаты своих занятий, но сейчас, слава Богу, таких запретов уже нет, сейчас можно публиковать все, что хочешь. И не только об эпохе Возрождения». А другой, не менее известный человек, когда я ему об этом рассказал, отреагировал следующим образом: «Да, это так, но, к сожалению, нет гарантии, что это необратимо, что скоро и тексты про Возрождение не начнут цензурировать».

Так вот, это отсутствие гарантий необратимости перемен, произшедших после обвала коммунистической системы, с приходом нового президента не только не преодолевается, но и усугубляется. Система «вертикали власти» продолжает достраиваться при имитации демократического вектора. Дмитрий Борисович Орешкин призывает поддерживать сохранение «дуумвирата», так как только при таком сохранении есть возможность объяснять обществу смысл происходящего. Уберут, мол, Медведева, и эта возможность исчезнет. Я согласен с тем, что объяснять это надо, но соединять подобные объяснения с призывами к сохранению «дуумвирата» нет, по-моему, никакой необходимости.

ности. Такие призывы реально означают политическое противопоставление Медведева Путину, для чего нет оснований. Можно верить в демократическую альтернативу путинизму, олицетворяемую Медведевым, но вера, доказательств, как известно, не требующая, не может быть аргументом в выстраивании не только политической стратегии, но и тактики. Идя по этому пути, мы рискуем еще больше дезориентировать общественное мнение.

Мне показалось важным и симптоматичным повышенное внимание, которое привлекла в ходе обсуждения тема возможного распада России. Уже одно то, что происходит сейчас на Северном Кавказе, свидетельствует о том, что тема эта не надуманная. Доводы типа того, что отпадающие регионы некому сегодня будет «подобрать», не показались мне убедительными. СССР распался, хотя не все его республики кто-то заранее собирался «подбирать». Но если распад России не исключен, то вопрос этот должен быть предметом обсуждения. Тем более если возможность дезинтеграции страны ставится — я имею в виду выступления Алексея Михайлова — в прямую зависимость от демократизации.

Дмитрий Борисович Орешкин возражал на это в том смысле, что причиной распада России, как и распада СССР, может быть не демократизация, а бюрократическая «вертикаль», блокирующая развитие горизонтальных связей между регионами. Я с таким выводом согласен. Но отсюда еще не следует, что демократизация станет панацеей от распада, как не следует и то, что она не окажется его стимулятором. Поэтому и реальная проблема, достойная обсуждения, видится мне не в том, что способствует дезинтеграции, а в том, что позволяет ее избежать. Реальная проблема заключается в цене такой дезинтеграции в случае, если она окажется неизбежной. Демократия — не гарантия от распада, а гарантия его цивилизованности, чем и озабочен прежде всего, насколько я понял, Алексей Михайлов.

Но и сама демократизация, как показала наша дискуссия, — это тоже проблема, требующая, на мой взгляд, дальнейшего обсуждения. Решается ли она при восстановлении выборности губернаторов, о чём здесь тоже много говорилось? Думаю, что не решается. При сохранении недемократического центра это будет означать возвращение в 1990-е, когда выборность губернаторов и республиканских президентов сопровождалась утверждением в регионах не демократических, а авторитарно-бюрократических коррупционных порядков. Выборность губернаторов при сохранении недемократического (пусть даже и выборного) центра ведет к воспроизведению в регионах модели центра — вот о чём свидетельствует опыт 1990-х годов. И главный политический урок тех лет заключается, по-моему, в том, что без демократии или, что то же самое, без свободной политической конкуренции на федеральном уровне не может быть ни демократии в регионах, ни утверждения в стране федеративных отношений.

Я понимаю, что в этой аудитории агитировать за свободную политическую конкуренцию — значит ломиться в открытую дверь. Равно как и объяснять, что без такой конкуренции не будет ни правового государства (и, соответственно, его очищения от коррупции), ни институциональной и технологической модернизации, ни роста народного благосостояния. Все это присутствующим известно не хуже, чем мне, и Евгений Григорьевич Ясин сегодня это лишний раз подтвердил. Но факт и то, что в либеральной интеллектуальной среде наблюдается склонность такое целеполагание профанировать в силу его заведомой — на сегодняшний день — нереализуемости. Не стало исключением и сегодняшнее наше собрание.

Не надо проектов и программ, давайте изучать тенденции — к этому призыву Дениса Драгунского присоединился и Сергей Алексашенко, не обративший даже внимания на мои и Льва Гудкова возражения. И понятно почему: заказчиков («спонсоров») на такие программы и проекты нет, ни властью, ни бизнесом, ни населением они не востребуются, а потому и незачем попусту тратить время и лучше заняться отслеживанием тенденций. К тому, что по этому поводу сказали Гудков и Ясин, хочу добавить следующее.

Глупо спорить с тем, что тенденции надо изучать (оны, кстати, и изучаются), что без их знания и понимания любые программы и проекты могут оказаться маниловщиной. Но интеллектуальные стратегические проекты вовсе не обязательно должны быть жестко привязаны к текущим тенденциям. Либерально-демократический проект во всех странах, где он реализовался, начался как упреждающий, т.е. в реальности почвы для практического воплощения не имевший. Если бы либеральные интеллектуалы занимались там тогда только отслеживанием тенденций и ждали заказчиков, то они бы, наверное, ждали их до сих пор.

К тому же привязка к текущим тенденциям, не опирающаяся на более широкие представления об отечественном и мировом историческом опыте, может сопровождаться весьма спорными умозаключениями. Вот обнаружили мы, скажем, тенденцию, что общественные настроения резко качнулись в сторону выборности губернаторов. Но я уже говорил, что поддержка этой идеи, отвлекаясь от положения дел в федеральном центре, может быть равносильна поддерживанию движения не вперед, а назад.

Или другая тенденция, тоже выявленная социологами, а именно изменение представлений населения о степени демократичности российского государства в годы правления Путина. Значительная часть респондентов считает, что в эти годы демократии в России стало больше, чем было при Ельцине. Поэтому что демократия у них ассоциируется не с разделением властей, политической конкуренцией и прочими волнующими нас вещами, а с ростом благосостояния. Понятно, что, обнаружив такую тенденцию, мы, если следовать логике некоторых коллег, должны укрепиться в мысли, что демократия обще-

ству не нужна, так как ее смысл в его сознании искажен. И — продолжать убеждать друг друга в необходимости отслеживать и дальнеше тенденции в ожидании, что они сами, без наших усилий и попыток влиять на их формирование, станут более благоприятными.

Между тем реальность, зафиксированная социологами, требует от нас совсем другого. Она требует просветительской работы, призванной разъяснить населению, что демократия и рост благосостояния действительно между собой связаны, но что этот рост в 2000-е годы был обусловлен ситуативными обстоятельствами, т.е. мировыми ценами на нефть и газ, а не тем, что «демократии стало больше». Конечно, когда уровень жизни реально повышался, такие разъяснения имели мало шансов быть услышанными и воспринятыми. Но теперь, когда этот уровень падает, возможностей для просвещения стало значительно больше.

Теперь людям легче воспринять мысль о том, что без демократии устойчивого роста благосостояния быть не может и что то, что они раньше считали демократией, является ее профанацией. Но я пока не замечал, чтобы даже наши весьма скромные каналы информационного влияния для такого просвещения использовались. И пока у нас самих не сформируется устойчивая установка на развитие общества как субъекта системных изменений, мы будем соблазняться аналитикой отношений внутри «дуумвирата», критикой всевластия «хунты», сетованиями на отсутствие заказчиков наших проектов (при отсутствии самих таких проектов) и подменой общественного целеполагания оторванным от него «изучением тенденций».

Я считаю очень важным и полезным состоявшийся сегодня обмен мнениями. И именно тем, что он позволил прояснить не только то, в чем мы всеходимся, но и то, чем друг от друга отличаемся. А это побуждает к дальнейшим размышлению. Я говорю это прежде всего о себе, но надеюсь, что и другие участники дискуссии получили достаточно сильные интеллектуальные импульсы.

Благодарю всех за участие в нашей встрече и за содержательные выступления. Понимаю, что те, с кем я полемизировал, готовы выставить встречные возражения. Но моя сегодняшняя функция ведущего дает мне право на заключительное слово, чем я и воспользовался. Продолжение дискуссии, если в нем есть потребность, придется на какое-то время отложить.

ТАЙНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ ЭЛИТЫ

Игорь КЛЯМКИН (вице-президент фонда «Либеральная миссия»):

Сегодня вам будут представлены результаты еще одного исследования умонастроений российской элиты. Его проведение инициировал Михаил Афанасьев год назад, когда мы представляли здесь аналогичное исследование Левада-Центра. Предложение показалось нам интересным, и мы его поддержали. А в чем особенность этого исследования, чем оно отличается от предыдущего и каковы полученные результаты, автор расскажет сам.

Ему будут оппонировать три профессиональных социолога — Лев Гудков, Ольга Крыштановская и Георгий Сатаров, которым мы заранее разослали таблицы с результатами исследования. Надеюсь, что и выступления других участников обсуждения будут достаточно конкретными, так как все вы могли ознакомиться с письменным текстом доклада Михаила Николаевича, размещенным на нашем сайте¹. Те же, кто это сделать не успел, смогут узнать о результатах исследования из сегодняшнего выступлении его автора.

Пожалуйста, Михаил Николаевич.

Михаил АФАНАСЬЕВ (директор по политической аналитике и PR ЦПК «НИККОЛО М»):

«Сложившийся в общественном мнении портрет российских элитных групп должен быть подвергнут основательной ревизии»

Спасибо. Сначала — о фокусировке и выборке исследования. Элиту, как и все остальное, можно понимать и представлять по-разному. Соответственно, подходить к ней и изучать ее тоже можно по-разному. Например, есть маркетинговое понимание элиты, согласно которому в нее входят те, кто покупает элитные товары. Может быть выделена элита по признаку популярности — тогда это те, кто всегда в телевизоре. Можно подразумевать под элитой верхи власти, можно выделять ее и по IQ. Мы во главу угла поставили потенциал общественного развития, заключенный в определенных социальных группах, исходя из двух достаточно простых соображений.

Соображение первое: коли худо-бедно общество развивается, пусть и неравномерно, то это развитие должно быть сконцентрировано в каких-то точках социального пространства. Вряд ли оно размазано по нему равномерным слоем.

Второе соображение. Глядя на тот слой крупнейшего бизнеса, связанного с властью, и на саму власть, т.е. на группы, представляющие классическую олигархию, вряд ли кто решится утверждать, что развитие концентрируется

¹ См. этот текст в приложении к стенограмме данной дискуссии. Дискуссия проходила в октябре 2008 г.

в их группах. Поэтому были выделены группы, которые производят наиболее важные публичные услуги. Мы назвали их группами развития, учитывая их успешность и предположив, что она свидетельствует о наличии у них определенного потенциала. В нашу выборку вошли чиновники, силовики, предприниматели, менеджеры, юристы, работники медицины, науки и образования, журналисты и эксперты. Чиновники, силовики и значительная часть юристов представляют государство. Предприниматели и менеджеры — бизнес. Все остальные — общество, социальную и публичную сферы. На этих группах развития и было сконцентрировано наше исследование, охватившее в целом 1000 респондентов.

В нем не ставилась задача проверки тех или иных идеологем. В нашей анкете и в беседах с опрашиваемыми не звучали такие слова, как демократия, авторитаризм, либерализм, западничество, почвенничество и целый ряд других. Задавались, по возможности, более конкретные вопросы: о вариантах институциональных решений и вариантах развития. Вопросы, касавшиеся экономической и бюджетно-финансовой политики, способов реформирования ЖКХ, роли СМИ, устройства и функционирования публичной власти в центре и на местах. И конечно же исполнения государством своих важнейших функций.

В российском информационном поле — прежде всего в самих элитных группах — сложилось вполне определенное представление об элите, которое транслируется в массовую аудиторию. Я сейчас не оцениваю это представление, а предлагаю сосредоточиться на самом его содержании. Оно заключается в том, что российская элита очень тесно связана с государственной властью, которой благодарна за возможность пользоваться благами жизни. Что она, соответственно, боится их потерять, а потому опасается утратить расположение этой власти. Что успешных людей в России сегодня интересует исключительно личное преуспеяние и поэтому их поведение вполне предсказуемо, будучи управляемым посредством известных стимулов. Что российская элита приняла западный образ жизни и его бытовые стандарты, но категорически не приемлет западные правила гражданской ответственности, публичной открытости и подотчетности. И наконец, что она в принципе не заинтересована в построении общества, основанного на открытой конкуренции, а не на регулируемых сверху статусных привилегиях. А отсюда следует, что нынешняя элита поддерживает правящий режим и преемственность проводимого курса, который ориентирован, как известно, на сведение политической системы к административной вертикали власти и контролю правящей администрации над ключевыми экономическими активами страны.

Такое вот общепринятое представление, всем вам хорошо известное. Однако результаты проведенного исследования показывают, что этот портрет российских элитных групп должен быть подвергнут основательной ревизии.

Несмотря на значительное огосударствление не только экономики, но и общественной сферы в целом, а также на то, что значительная часть элиты зарабатывает деньги в государственных или окологосударственных структурах, аффилированных с теми или иными государственными органами, — несмотря на это мы наблюдаем дистанцирование элиты от государства, которое порой напоминает бегство от него. Во всяком случае, люди, добившиеся успеха, подчеркивают, что он никак не связан с позитивным влиянием государства. И это, на мой взгляд, выглядит неожиданно.

Мы обнаружили далее весьма и весьма критический взгляд элитных групп на сложившуюся экономическую и политическую систему. Как известно, главным достижением 2000-х годов правящая администрация считает построение вертикали власти, которая является якобы основой общественной стабильности и повышения управляемости. Опрос же фиксирует радикальное расхождение оценок элитных групп с этим представлением. Лишь менее трети их представителей верят в то, что меры по укреплению вертикали власти повысили эффективность управления в стране. Абсолютное большинство опрошенных согласно с другой оценкой, а именно, что чрезмерная концентрация власти и бюрократизация всей системы управления на самом деле снижают социальную эффективность государства.

Элита развития в большинстве своем видит функциональные провалы современного российского государства, соответствующим образом их оценивая. Она осознает, что ситуация неудовлетворительна и развивается не в ту сторону, в которую нужно. И это, безусловно, важнейший социальный показатель и для общества, и для власти.

Но помимо функциональных провалов фиксируется и ряд конкретных сфер явного неблагополучия. Достаточно сказать, что 60% (а в некоторых группах и больше) опрошенных негативно оценивают исполнение государством его фундаментальных функций в таких социальных сферах, как образование, обеспечение единых рыночных правил, личной безопасности, защита прав частной собственности и, что было для меня совсем уж неожиданно, обеспечение свободных выборов. Большинству респондентов категорически не нравится, как проходили в России последние парламентские и президентские выборы. При этом доля респондентов (36%), оценивающих выборы положительно, фактически совпадает с реальным рейтингом «Единой России», который фиксируется нашими региональными исследованиями.

Еще один фундаментальный вывод, который можно сделать по результатам нашего исследования, заключается в том, что российская элита в преобладающей своей части сделала свой цивилизованный выбор, если понимать под ним выбор институциональных основ построения национальной жизни. Причем отнюдь не в пользу той точки зрения, которая доминирует на всех телевизионных каналах. Эта «самобытническая» точка зрения собрала менее

трети сторонников. А 66% опрошенных считают, что развитие современной России должно базироваться на верховенстве закона, в том числе и над властью, плюс на конкуренции в экономике и политике.

Следующий немаловажный вывод заключается в том, что российская элита, как бы ее ни ругали, является именно тем слоем общества, который продуцирует и накапливает общественный капитал. Обычно одним из критериев этого служит участие в добровольных объединениях. Так вот, по данным опроса WVS (World Value Survey), в России 70% населения ни в одно общественное объединение не входят, а те, которые сказали, что входят, имели в основном в виду профсоюзы. По данным же нашего опроса, более 60% респондентов из элитных групп считают себя членами той или иной добровольной ассоциации. Это без учета такого ответа, как «своя команда» по месту работы. На первых местах идут два вида добровольных объединений — различные профессиональные ассоциации и соседские, т.е. ТСЖ и похожие на них формирования. Таким образом, потенциал общественного ассоциирования, производивания и поддержания новых общественных тканей в элитных группах наличествует. Именно отсюда, из этих групп, новая социальная ткань и прирастет.

Очень важным представляются и сложившиеся в российской элите представления о норме социального и политического развития. Эти представления почти во всех ее группах совпадают. Исключение составляют чиновники и силовики, хотя и в их среде представления далеко не однозначные. Я говорю не о норме поведения, а именно о представлении относительно такой нормы, отдавая себе отчет в том, что с такими представлениями их носители не очень-то считаются, что обязательными они, как правило, ни у кого не являются. Тем не менее и такое представление о норме, о том, как должно быть, на мой взгляд, очень важно. Как важно и то, что это «должно быть» разительно отличается от того, «что есть».

Можно выделить в данном отношении точки элитного консенсуса, т.е. те позиции, по которым большинство набирается во всех элитных группах, включая государственное чиновничество. Это приоритет государственных инвестиций в человеческий капитал, коррекция стратегии реформы ЖКХ, политическая конкуренция, разделение властей, либерализация партийной системы, выборность в той или иной форме глав регионов, а не их назначение, а также развитие самостоятельности местного самоуправления. Кроме того, есть еще преобладающие мнения, которые не во всех элитных группах собирают большинство приверженцев, но около 60% в целом по выборке. И если исходить из этих представлений, то можно сказать, что партия старого курса — это большинство (но далеко не все) сотрудников спецслужб и половина чиновничества. В целом же эта партия включает в себя менее трети элиты развития.

И в заключение о либеральной части элиты. Я имею в виду не партийных или околопартийных либералов, а тех людей, которые, отвечая на наши вопросы, последовательно выбирали следующие позиции: верховенство закона, в том числе и над властью, честная конкуренция с общими правилами игры, открытость власти обществу и ее подотчетность ему. Так вот, та часть российской элиты, которая выбирает эти позиции, составляет более 45%, т.е. подбирается к половине.

Станет ли, однако, эта либеральная часть элиты ядром нового социального большинства? Это главный вопрос. Он-то, на мой взгляд, и должен быть поставлен сегодня в повестку дня.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Михаил Николаевич. Я вижу, что у аудитории есть много вопросов, и отведу на них больше времени, чем обычно. Чтобы обсуждение было продуктивным, все неясное желательно максимально прояснить.

Григорий ВОДОЛАЗОВ (профессор РГГУ, доктор философских наук):

Не находите ли вы противоречия в том, что сказали? С одной стороны, элита прислонилась к власти и покорно играет по ее правилам, а с другой — является субъектом развития. Как это у вас совмещается?

Михаил АФАНАСЬЕВ:

Противоречие не у меня. Противоречие существует между расхожим представлением об элите и ее позициях, которое я тоже разделял, и самими позициями, выявленными в ходе исследования.

Александр КЫНЕВ (руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики):

Михаил Николаевич, вот такой вопрос: каков процент среди тех людей, которым предлагалось ответить на вопросы анкеты, отвечать отказались? Ведь получается, что вы должны учитывать только мнение тех, кто изначально доброжелательно отнесся к исследованию. Но насколько соответствует оно реальным умонастроениям всей элиты?

Михаил АФАНАСЬЕВ:

Хороший вопрос. В предыдущем исследовании Левада-Центра, о котором здесь упоминалось, соглашался отвечать примерно один из 25. У нас получилось более благодарное VIP-общение: нам отвечали через одного. Мы обратились к 2000 человек, из которых согласие на участие в исследовании дала тысяча. Причем больше половины были изначально настроены недоброжелательно. Это, кстати, отдельная тема исследования, как в элитных группах

проводить опрос. И его ход в данном случае предоставляет в наше распоряжение не менее значимую информацию, чем сам опрос и его результаты. Я не могу сейчас на этом останавливаться, но в книжке¹, которую готовлю, это обязательно сделаю.

Дмитрий КАТАЕВ (*председатель Общественного совета по жилищной политике*):

Понимаю, точный ответ вы не дадите, но все же: если бы такой опрос удалось провести в 1960–1970-е годы, какие были бы получены результаты? Мне почему-то кажется, что примерно такие же, какие получены вами сегодня. Как вы думаете?

Михаил АФАНАСЬЕВ:

В те времена такие опросы не проводились и проводиться не могли. И такие варианты ответов, какие мы предлагаем сегодня, вставлять в социологическую анкету в советское время никому не пришло бы в голову.

Вы, как понимаю, хотите сказать, что тогда социологи получали, что хотели получить, и сейчас то же самое. Но это не так. Достаточно сказать, что три четверти всех респондентов, согласившихся отвечать на наши вопросы, требовали полной анонимности. Причем они просили не только не называть их самих, но и их компании, а некоторые даже и регион.

Поэтому то, что мы анализировали, не есть общественное мнение российской элиты. Это совокупность частных мнений представителей элитных групп, высказанных по секрету. Тем не менее я считаю, что полученные данные заслуживают внимания. О том, что элиты у нас никуда не годные, мы все хорошо знаем. А о том, что они гораздо более нормальные, чем принято думать, я, например, до нашего исследования не предполагал.

Игорь КЛЯМКИН:

Головы у них нормальные, а действия не совсем.

Андрей ЛАРИН (*факультет менеджмента ГУ–ВШЭ*):

Какими критериями вы руководствовались, комплектуя элитные группы для исследования?

Михаил АФАНАСЬЕВ:

Критерий у нас был достаточно простой. Мы опрашивали успешных людей. Успех должен быть подтвержден рейтингом в широком смысле. Напри-

¹ См.: Афанасьев М. Н. Российская элита развития: запрос на новый курс. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2009.

мер, мы опрашивали членов торгово-промышленных палат ряда регионов. Вполне, на мой взгляд, ясный и четкий критерий успешности бизнеса. Что касается федеральных чиновников, то мы ориентировались на уровень руководителей департаментов и их заместителей в органах государственной власти. Для региональных чиновников это был уровень министров, заместителей министров, начальников отделов региональных правительств и администраций, а также глав местного самоуправления. На других группах останавливаться не буду, это займет много времени.

Алексей ЗУДИН (руководитель политического департамента Центра политических технологий):

Мой первый вопрос связан с тем, что существует очевидная разница между вербальной поддержкой и поведением. В какой степени это учитывалось при обработке полученных результатов?

А второй вопрос обусловлен тем, что я все-таки не понял критерии дифференциации: в чем отличие плохой «олигархической элиты» от хорошей «элиты развития»? Из того, что вы сейчас сказали, отвечая на вопрос, следует, что «элита развития» была выделена по должностному принципу. Если так, то насколько правомерно это делать?

Михаил АФАНАСЬЕВ:

При обработке данных «поведенческая поддержка», в отличие от вербальной, не учитывалась. Если же речь идет об интерпретации результатов, то очевидное несовпадение представлений элитного большинства о должном и правильном и боязнь публичного выражения этих представлений требуют самого серьезного внимания и объяснения. Ведь, по сути, речь идет о социальном цинизме нашей элиты.

А об отличии «олигархической элиты» от «элиты развития» могу сказать, что это отличие прежде всего статусное. «Элита развития» успешна, но она отстранена от формирования политического курса страны. Внутри должностной иерархии она находится на средних позициях. В терминологии Ольги Викторовны Крыштановской, это не элита, а субэлита. Под элитой же она подразумевает только верхний уровень государственной власти. Но у меня другие критерии, и я попытался их обозначить.

Лев ГУДКОВ (директор Аналитического центра Юрия Левады):

Если судить по тем предварительным данным, которые нам предоставили, то в глаза бросается одна очевидная «аномалия». Я имею в виду ответы представителей армии. Реакции военных явно не совпадают с обычными представлениями о ней как консервативной и антидемократической силе. Армия в отличие от других силовиков получается у вас какая-то очень уж либеральная.

В этой группе опрошенных оценки ситуации и текущей политики весьма негативные, а представления о том, как надо было бы устроить жизнь в России, порой слишком уж либеральные. Чем вы это объясняете?

Михаил АФАНАСЬЕВ:

Я с вами не вполне согласен. По вопросам, касающимся отношения к Западу или отношения к СМИ и того, как их нужно регулировать, армейские офицеры занимают отнюдь не либеральную позицию, что сближает их с работниками правоохранительных органов и национальной безопасности. Позиция этой группы не либеральная, но она антирежимная. И понятно почему. Ведь не секрет, что существующий режим — это не их режим. Они от него мало что имеют, они его не любят и всячески манифестируют это в ходе такого «секретного» социологического исследования.

Владимир ЮЖАКОВ (Центр стратегических разработок, руководитель проекта по административной реформе):

Я бы хотел уточнить: а почему в исследовании не представлена такая элитная группа, как политики? Или у нас уже все политики вне политики? Либо их позиция настолько секретна, что не удалось разузнать?

Михаил АФАНАСЬЕВ:

Если под политиками подразумевать депутатов Государственной Думы или региональных легислатур, то они представлены. Но в отдельную группу мы их не выделяли, во-первых, потому, что их было опрошено сравнительно немного, а во-вторых, потому, что все они из «Единой России».

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Михаил Николаевич. Сейчас мы послушаем трех известных профессиональных социологов, которым, как я уже говорил, мы предоставили возможность с результатами исследования ознакомиться заранее. Первый — Лев Дмитриевич Гудков.

Лев ГУДКОВ:

«Наличие в головах элиты либеральных представлений еще не означает, что эти представления будут воплощаться в ее поведении»

Прежде всего, мне хочется поздравить автора. По-моему, получилась очень интересная работа. Она добавляет много важных штрихов в картину наших представлений о российской эlite. Да и вообще отрадно, что такие исследования делаются. Они очень трудны, и я не могу, исходя из собственного опыта, не отнестись с состраданием к тем, кто занимается этой проблемати-

кой. Может быть, легче исследовать бомжей и преступников, чем закрытые высокостатусные группы.

Немаловажно и то, что опрос масштабный — опрошено 1000 человек. Хотя, справедливости ради, замечу, что авторы ошибаются, утверждая, будто их работа является первым крупномасштабным опросом такого рода. В 1993–1994 годах сотрудники нашего Центра Л. Хахулина, Л. Косова и Б. Головачев провели репрезентативный опрос элиты, причем это был действительно опрос по представительской выборке, основанной на номенклатурных справочниках советского и ельцинского времени. Выборка тогда составляла 2000 человек.

Представленные Михаилом Афанасьевым данные свидетельствуют об изменении настроений по сравнению с имевшими место в 2005–2006 годах, когда мы проводили свой опрос российской элиты. Замечен рост ее критичности в отношении к власти. Однако эти изменения не кажутся мне столь радикальными, чтобы можно было говорить о том, что они носят принципиальный характер.

К тому же использовавшаяся в данном исследовании методика не позволяет делать выводы о трансформации этой критичности в какие-то конкретные действия. И это, на мой взгляд, недостаток не столько методический, сколько методологический. Он был уже зафиксирован в вопросе Алексея Зудина и, я думаю, зафиксирован точно.

Необходимо различать декларативное и операциональное поведение. Между тем в исследовании нет ни одного вопроса, который позволял бы выявить, насколько реализуемы те или иные представления и существует ли сама потребность в их реализации. С точки зрения задач модернизации это, конечно, очень хорошие представления, и они с каждым годом становятся все лучше. Люди постепенно чему-то обучаются, осваивая некоторые западные представления о том, как нужно жить. Но наличие таких представлений еще не означает, что они могут воплощаться в собственном поведении.

Если посмотреть распределение ответов по группам, то мы увидим, что наибольшее одобрение политики властей, наибольшая удовлетворенность проводимым ими курсом наблюдается у тех, кто сам входит в структуры власти, т.е. у «чекистов» (так авторы называют группу, состоящую из работников спецслужб и правоохранительных органов) и чиновников разного уровня. У них уровень критичности минимальный. Но чем дальше опрошенные от власти, тем критика становится резче. Выдвигаются относительно либеральные альтернативные модели: респонденты указывают на необходимость дифференциации ветвей власти, ограничения влияния государства, установления независимого суда, т.е. проговаривают все то, что прописал либеральный доктор. Но в какой степени все эти хорошие представления могут реализовываться на практике? Ответа нет.

Правда, по некоторым косвенным признакам в ходе вторичного анализа можно попытаться выявить связи между определенными декларациями и реальным поведением, которое может осуществляться в соответствии с теми или иными интересами. Но совпадения мы при этом не обнаружим. А если так, то различия результатов исследования, которое делали мы, и тех, что получены Михаилом Николаевичем, не столь уж существенны, как могло бы показаться. За время, прошедшее между двумя опросами, никакой новой программы действий у элиты не появилось. Повторяю: если большинство ее представителей заявляют, что они ничем не обязаны власти и от нее дистанцируются, то это еще не значит, что появились какие-то новые модели действия.

Не свидетельствует об этом и то, что по сравнению с населением в целом у элиты существенно выше показатель участия в различных ассоциациях. Сами по себе это еще ни о чем не говорит. Да, подавляющее большинство людей — по данным наших массовых опросов, примерно 90% — в общественные организации не входит, чем от элитных групп заметно отличается. Но это в наших условиях сугубо формальный показатель. Не в том дело, участвуют ли опрошенные в заседаниях родительских комитетов, собраниях членов ЖСК или нет. В советское время все входили в какие-то объединения: в комсомол, ДОСААФ, состояли членами спортивных клубов и проч. Сегодня этого нет, а элитные ассоциации возникли, причем не предписанные, а добровольные. Ну и что с того? Дело ведь не в этом, а в том, какие это ассоциации, есть ли у них установка на реализацию тех представлений об устройстве государства и общества, которые сложились у представителей элиты.

О том, что такая готовность минимальна, можно в какой-то степени судить и по представленным данным. В общественно-политических организациях состоят всего 14% опрошенных. Причем если посмотреть, кто они, то, скорее всего, обнаружится, что это в основном «единороссы» или политически к ним близкие люди. Так что, с какой стороны ни смотреть, мы имеем дело с аморфной неструктурированной массой критически настроенной элиты, недовольной теми, кто у власти, бурчащей, как в советское время интеллигенция на кухнях, но при этом ведущей себя, как и все, т.е. как полагается.

Как же могут быть реализованы те реформаторские представления о политическом и социально-экономическом устройстве, о которых мы можем судить на основании проведенного опроса? Что нужно делать, чтобы такие представления начали трансформироваться в политическое действие? Дело ведь не просто в декларировании либеральных и демократических идей, которое мы все время ловим в ходе наших исследований. Мало зафиксировать те или иные представления о необходимости правового государства или нормальных выборов вкупе с недовольством выполнением нынешними властями тех или иных государственных функций. Нужно получить еще данные о том, с какими реальными групповыми интересами эти идеи соотносятся, чем мо-

жет быть мотивирована их реализация и как люди собираются их реализовывать.

И вот тут-то и выясняется, что ничего такого мы обнаружить не можем. И не только в силу методических или теоретических просчетов, а потому, что в таких пост тоталитарных обществах, как наше, ничего такого нет и не может быть. Острая социальная критичность околоэлитных кругов, которая может проявляться и в форме «позитива», т.е. ни к чему не обязывающих представлений о должном, оказывается здесь просто необходимым условием существования. Поэтому и вопрос, по-моему, надо в первую очередь ставить о функциональной роли элитного или околоэлитного недовольства и его мотивах.

Эти мотивы могут быть разными. Во-первых, правомерно говорить об элитарно-групповой самоидентификации, предполагающей дистанцирование от тех, у кого в руках рычаги власти, с сопутствующим отказом от ответственности. Во-вторых, критичность может быть способом выражения претензий на более высокий статус в форме дискредитации вышестоящих. В-третьих, она может мотивироваться внутривидовой конкуренцией за власть и влияние («мы знаем, как сделать лучше»).

По нашему исследованию, степень негативизма представителей элиты к своим элитным коллегам была очень высокой. Их обвиняли в некомпетентности, продажности, коррумпированности, шкурности, причем обвиняли те, кто либо непосредственно входил в структуры власти, занимаясь исполнительской деятельностью, либо обеспечивал подготовку решений. Острая критика и дискредитация власти внутри структур самой власти — характерная особенность таких кланово-бюрократических систем, как российская. Взаимная антипатия и готовность «сожрать» друг друга — отличительная черта людей, борющихся за доступ к уху или телу высшего лица, конкурирующих за признание своей лояльности, а не компетентности. Вместе с тем понятно, что резко негативные оценки в этой среде коллег или вышестоящего начальства не могут быть публично артикулированы.

Однако исследование, которое мы обсуждаем, как и проведенные ранее нами, показывает, что уровень солидарности с проводимой в стране политикой (и самой государственной системой) в разных элитных группах разный. Соответственно, отличается, причем порой очень существенно, и уровень критичности, а равно и предрасположенность к альтернативным рациональным представлениям о социально-экономическом и политическом курсе. Чем дальше опрашиваемые находятся от центров власти и реального влияния, тем больше проявляется критичность оценок и альтернативность установок. И, соответственно, наоборот.

Но я еще и еще раз обращаю внимание на то, что даже в группах, настроенных максимально критически и выделяющихся своими установками на либерально-демократическую трансформацию системы, не возникает никаких

идей относительно того, как эти представления, существующие в головах опрошенных, могут быть переведены в операционную плоскость, в область практической деятельности. Мы не знаем, каковы могут быть механизмы такого перевода представлений в действия, как не знаем и того, как может быть преодолено сопротивление тех, кто сегодня фактически управляет государством. Данное исследование на эти вопросы ответов не дает.

И еще несколько замечаний.

Исследование Михаила Афанасьева показывает не только очень высокий уровень критичности элитных групп в оценках выполнения государством своих главных функций (соотношение позитивных и негативных оценок примерно 1:2). Я обратил внимание на то, как распределяются самые резкие, самые критические оценки, которые и есть самые важные. Потому что именно они показывают, какие сферы деятельности властей выглядят в глазах респондентов самыми провальными. И оказывается, что такими провальными воспринимаются сферы очень немногие. Во-первых, это политика, приведшая к резкой дифференциации доходов, во-вторых, положение дел с жильем, в-третьих, российские выборы и, в-четвертых, российская судебная система.

Что означают эти данные? Они означают, что в эlite провальными считаются, прежде всего, те сферы, которые не затрагивают непосредственно основания власти и ее политики. Да, у нас плачевное состояние ЖКХ, массовая необеспеченность жильем или его низкое качество. Да, растет социальная дифференциация, разрыв между богатыми и бедными. Но пока это не вызывает сильного социального напряжения, пока нет массовых протестов, руководству страны эти проблемы ничем не угрожают, а потому и не особенно его беспокоят. Подчеркиваю: дело не только в свойственном высшему руководству социальному цинизме или склонности к демагогии, но и в том, что растущая дифференциация доходов и трудности с жильем не сопровождаются в стране сколько-нибудь заметным ростом напряженности. Социальная застисть, рессантимент традиционнонейтрализуется привычным представлением о том, что блага распределяются иерархически, что никаких равных прав у людей нет, что социальная справедливость связана с обеспечением минимума, а не с равенством доступа к распределению благ.

Далее, выборы, тоже вызывающие недовольство опрошенных. Опрос проводился почти сразу по окончании избирательного цикла 2007–2008 годов, и у респондентов не размылась еще свежесть впечатлений. На заведомо нечестный характер выборов они отреагировали, причем многие резко критически. Возможно, в элитных группах вызрело недовольство сужением поля межэлитной конкуренции. Но и в данном случае нет достаточных оснований утверждать, что отторгаются сами основания сложившейся в России политической системы. К тому же и среди населения каких-то резких движений и протестов по поводу выборов и их результатов опять же не наблюдалось.

Эта зона пока остается для власти столь же безопасной, сколь и зона социальных проблем, о которых я говорил раньше.

То же самое можно сказать и о судебной системе. Зависимость судов от исполнительной власти, их неспособность защитить людей от произвола с ее стороны открытого народного негодования не вызывает. Но суд — это едва ли ни самая главная опора всей нашей государственной системы. Ведь и те же выборы не могли бы быть такими, какие есть, без надежной судебной защиты. Так что резко критическая оценка этой системы опрошенными в какой-то степени может свидетельствовать об антисистемных настроениях в российской элите.

Но — обратите внимание: неудовлетворенность состоянием российских судов выразили лишь 29% респондентов (проведением выборов — 33%, а дифференциацией доходов и положением дел с жильем — соответственно 54 и 45%). А отсюда и мой итоговый вывод: российская элита не только не расположена трансформировать свои представления в практические действия, но и в самих своих представлениях демонстрирует снижающуюся степень критичности по мере приближения к вопросам, непосредственно касающимся базовых параметров российской системы власти. Ведь в оценках, скажем, таких вещей, как обеспечение свободы слова, свободы объединений или защита прав собственности, уровень критичности заметно ниже.

Ольга КРЫШТАНОВСКАЯ (*директор Института прикладной политики*):
«Во всем мире под элитой подразумевают правящую группу общества, которую с помощью опроса изучать невозможно»

Я с большим уважением отношусь к Михаилу Николаевичу Афанасьеву, часто цитирую его замечательные работы. Но в данном случае должна выступить в роли Бабы-яги. Моя критика состоит из двух частей. Первая часть — это сама концепция, а вторая относится непосредственно к социологии.

Начну с более легкой, со второй. По телевизору нам часто показывают разного рода «опросы» населения. Спросили двух девушек и одну бабушку на улице — и вот оно, мнение народа. «Эхо Москвы» регулярно проводит интерактивные опросы и сообщает их результаты. Конечно, с оговоркой — мол, так думают не все жители России, это не репрезентативный опрос, а только мнение наших слушателей. Но оговорка мгновенно забывается, а цифры в памяти остаются.

Вынуждена напомнить коллегам, что социология — это не любой опрос людей на ту или иную тему. Если вы опросили одного, пусть самого умного человека, например Евгения Григорьевича Ясина, а потом сказали, что так думает вся Россия, потому что Ясин россиянин, то это не социология. И даже если опросить всех, кто сейчас здесь находится, — это тоже не социология, позволяющая судить о том, что думает вся Россия.

Есть азы социологической науки, игнорировать которые недопустимо. Любой опрос должен начинаться с определения генеральной совокупности. И если вы собираетесь, как в данном случае, опрашивать «элиту развития», то сначала выясните, сколько человек в стране она в себя включает и какие у нее социально-демографические характеристики. Это и будет генеральная совокупность «элиты развития». Естественно, что всех людей, в нее входящих, опросить невозможно, потому из нее выделяется выборочная совокупность. А чтобы эта последняя репрезентировала всю изучаемую социальную группу, нужно сделать отбор в соответствии с очень строгими принципами социологии, которые вырабатывались десятилетиями.

В представленном исследовании мы ничего этого не видим. А значит, исследование нерепрезентативно. И какой тогда смысл обсуждать полученные цифры? Эти цифры — артефакты. Это просто пузыри какие-то, больше ничего.

Теперь по поводу концепции. Сама идея разделить «элиту господства» и «элиту развития» мне очень нравится. Красивая идея: выделить умных и креативных людей, способных генерировать новые мысли, и назвать их «элитой развития». Но это будет чисто условное название. Потому что во всем мире под элитой подразумевают правящую группу общества. Нравится нам это или не нравится, признаем мы за данной группой право называться элитой или не признаем. Непризнание за ней такого права происходит из того, что в России существует антагонизм между правящим классом и народом. В этом — проблема, в этом, если угодно, главный нерв нашей жизни. Но если мы начинаем искать решение этой проблемы в том, чтобы искать элиту не за кремлевской стеной (там, мол, не элита), то мы не решаем проблему, а «замазываем» ее.

А теперь вот мы эту найденную нами элиту еще и опрашиваем. И получаем результат: элита настроена либерально. Господа, дорогие мои, ну какая же это элита? Это просто успешные люди, представляющие разные сферы деятельности и согласившиеся ответить на ваши вопросы. А элиту опросить вообще невозможно: профессионально изучая ее 20 лет, заявляю это вполне ответственно. Потому что если вы исследуете элиту и пришли, например, во Внешторгбанк, то вы должны опросить президента банка, а не заместителя начальника управления, который согласился принять вас, потому что он ваш знакомый. Если вы приехали в регион, то вы должны опросить первых лиц. Если вы пришли в Минобороны, то вы должны опросить людей, которые принимают решения, а не тех, которых удалось уговорить с вами побеседовать. Между прочим, все, что касается военных ведомств, имеет свою специфику: их представителям законодательно запрещено участвовать в социологических исследованиях. Поэтому я вообще не понимаю, что это за группа военных, которых вы опрашивали.

Так что, как это ни грустно, настоящую элиту мы изучить с помощью опроса не можем. Но и какие-то паллиативные решения — давайте, мол, опросим хотя бы тех, кого можем, — это не выход из положения. Я знаю, как проводятся такие исследования. Как знаю и то, что это движение по линии наименьшего сопротивления. Движение, в ходе которого подменяется предмет изучения.

Мой вывод — извините меня, пожалуйста, за резкость оценок — сводится к тому, что ни концептуально, ни строго социологически данное исследование не может восприниматься как серьезная заявка на что-то. Хотя сами по себе цифры можно обсуждать. Наверное, это даже любопытно.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Ольга Викторовна. Я понял основную идею вашего выступления так, что российская элита, ее умонастроения — это недоступный для социологии объект, а потому и изучать его социологам нет никакого смысла...

Леонид ВАСИЛЬЕВ (главный научный сотрудник Института востоковедения РАН):

Может быть, кто-то скажет, можно ли изучать элиту посредством опросов?

Ольга КРЫШТАНОВСКАЯ:

Как социолог, я утверждаю, что элиту опрашивать невозможно. Изучать ее, разумеется, надо — это одна из важнейших тем в нашем обществе. Однако, повторяю, изучать ее с помощью опросов невозможно, потому что люди, в нее входящие, недоступны. Ведь надо опрашивать Путина, Медведева, Потанина, Абрамовича... Но если это невозможно, то, естественно, встает вопрос: можно ли эту реальную элиту, т.е. верхушку нашего общества, исследовать другими методами? Да, можно. Но эти методы должны быть более хитрые и более сложные.

Я, например, использую метод биографического анализа. Но это не значит, что он единственный. Можно использовать метод контент-анализа и изучать тексты высокопоставленных лиц. С тем, чтобы «извлекать» из этих текстов ту идеологию, которая находится в головах представителей элиты. Можно изучать их действия, принимаемые ими политические решения. А опросы тут не годятся. И не только потому, кстати, что эти люди недоступны. Представьте себе, приходит к Путину социолог и спрашивает: «Дорогой Владимир Путин, ты вот как думаешь, Россия должна стремиться к прогрессу?» Владимир Владимирович ответит: «Да, должна».

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо большое. Теперь Георгий Александрович Сатаров.

Георгий САТАРОВ (президент фонда «ИНДЕМ»):

«Проведенное исследование показывает, что размежевание между элитными группами — это размежевание между реформистами и путинистами»

Я бы хотел сначала обратиться к выступлениям своих коллег. Мне очень жаль, что Ольга Викторовна Крыштановская перечеркнула огромный пласт социологии, берущий начало, по крайней мере, с Дюркгейма. Я помню, что в его исследовании суицида генеральная совокупность не определена по той простой причине, что генеральную совокупность суицида определить невозможно. Еще напомню, что существует социология девиантного поведения или, к примеру, социология интимных сторон жизни, где генеральная совокупность тоже не определяется. Извините, но то, что вы говорили, относится не к социологии как таковой, а к очень узкой ее части.

Это когда берется генеральная совокупность и ее основные социально-демографические параметры (количественная дифференциация по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта), на ее основе строится выборка и высчитывается процент погрешности при перенесении данных, полученных при опросе по выборке, на генеральную совокупность. Да, такими опросами занимаются 99% наших социологов. Но у социологии есть и другие задачи, равно как и другие методы исследования. Может быть, они не попали в некоторые доступные вам учебники, но это не значит, что их нет и что они не применяются. Короче говоря, пафос вашего выступления мне непонятен в принципе.

А Лев Дмитриевич Гудков говорил о том, что исследование ничего не дает нам для понимания готовности «элиты развития» к практическим действиям ради воплощения своих представлений в жизнь. Но ведь такие задачи и не ставились. Ставились задача выявления оценок респондентами социально-экономической и политической реальности и установок на ее изменение, если такие имеются. Не более того. При этом я думаю, что авторы исследования не хуже нас знают азы социальной психологии, т.е. какова дистанция между установками и реальными действиями. Короче говоря, и такой упрек я считаю некорректным.

Что мне нравится в исследовании Михаила Николаевича? То, что это титаническая работа по сбору данных, проделать которую действительно трудно. Что мне не нравится? Мне не нравится, что это огромная работа по сбору данных при мизерной работе по их анализу. Такое несоответствие, кстати, имеет место не только в данном конкретном случае; оно свойственно всей нашей прикладной социологии вообще. А поверхностность анализа ведет к поверхностности выводов.

Пользуясь тем, что нам, троим оппонентам, результаты исследования были представлены заранее, я попробовал с ними поработать¹. Прежде всего,

¹ Последующая часть выступления Г. Сатарова представлена в сокращенном виде.

я свел их в две таблицы, в первой из которых оценки респондентами деятельности власти, а во второй — их представления о том, каким должен быть политический курс. И посчитал среднюю частоту предельно негативных ответов по всем 15 вопросам анкеты. То, что получилось, в значительной степени было предсказуемо. «Говорящие головы» (я объединил в одну группу журналистов и экспертов) настроены к власти более критично, а чиновники и «чекисты» — менее. Но разрыв между группами грандиозным не назовешь.

А вот военные действительно «вываливаются», в этой группе негативное отношение к власти проявлено очень сильно. Но это вовсе не обязательно потому, что военным живется хуже всех. Негативные оценки могут появляться не потому, что им плохо, а потому, что другим слишком хорошо: а почему это, собственно, чекисты расселись, а мы чем хуже? Думаю, именно это в данном случае главный мотив негативизма, и это очень опасно для власти. Если бы я по-прежнему был помощником президента, я бы уже сегодня позвонил ему и сказал, что вот она, опасность. Совершенно очевидная опасность, зреющая в армейской среде.

А что показывают представления о должном, о том, каким должен быть политический курс? Тут обнаруживаются крайне интересные вещи. Обнаруживается, что размежевание между элитными группами проходит по линии, если можно это так назвать, реформизм — путинизм. Я взял весь массив данных по всем группам и обнаружил там совокупность, с одной стороны, респондентов с несколько утопическими установками либерального толка, а с другой — совокупность людей, выступающих за сохранение и укрепление вертикали власти. И опрошенные группы элиты отличаются между собой именно тяготением к одному из этих двух полюсов.

К путинизму склоняются прежде всего «чекисты» и чиновники, а к реформизму — «говорящие головы», к которым ближе всего группы бизнеса и специалистов (юристы, медики, работники образования). А военные, несмотря на их повышенную критичность, находятся примерно посередине. И если они сменят «чекистов» у власти, то в политическом режиме и в политическом курсе ничего не изменится. Сегодня же оплотом режима являются «чекисты» и чиновники.

Итак, представление о должном структурируется двумя факторами. Я их назвал реформизмом и путинизмом. При этом, судя по данным исследования, реформизм относительно безразличен к природе политического режима — его представители полагают, что реформы можно делать и при таком режиме, как сейчас, и при другом. Мол, если власти объяснить, что делать, а она прислушается, то все будет как надо. Такие настроения существуют в нашей среде, а результаты опроса показывают, что они распространены достаточно широко. А путинизм безразличен к социально-экономическому содержанию политики. Его адептам важно только, чтобы существовали госкорпорации.

Это для них главное, это основополагающая экономическая установка, а все остальное не имеет значения.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Георгий Александрович. Вы осуществили собственный анализ данных, который, по-моему, очень полезен. Чрезвычайно интересным представляется и столкновение позиций, которое мы здесь наблюдали. Я оставляю за собой право в дальнейшем его прокомментировать. Пока же предлагаю выскажаться всем желающим. Кто первый? Игорь Минтусов, пожалуйста.

Игорь МИНТУСОВ (председатель совета директоров «НИККОЛО М»):

«Если ценности и установки "элиты развития" сравнивать с ее действиями, то оснований для большого оптимизма не обнаруживается»

Я хочу, по примеру Георгия Александровича, сначала сказать о выступлениях оппонентов. После выступления Ольги Крыштановской мне захотелось возразить ей и поддержать Михаила Афанасьева. Но после Георгия Александровича у меня появилось, наоборот, желание поддержать Ольгу Викторовну — я имею в виду саму постановку ею некоторых вопросов.

Конечно, когда проводится такой масштабный опрос (1000 человек), а по его результатам делаются выводы, опровергающие привычные представления, у людей возникает желание узнать, насколько репрезентативна выборка. Но я обращаю ваше внимание на то, что в данном отношении Михаил Николаевич очень аккуратен. Слова «репрезентативная выборка» он не использует.

Второе мое соображение касается замечания Ольги Викторовны о статусе опрошенных — это, мол, не элита. Элита — это Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев... Допустим. Но что было бы, будь они включены в выборку? Кстати, теоретически это не так уж невозможно, как некоторые могут показаться. Ну и что бы нам это дало?

Вот, скажем, у нас в выборке были два губернатора. Потребовалось много усилий, чтобы они там оказались. И какой от них толк? Мы не можем из них составить подгруппу и сделать какой-то анализ. Скажу больше: если мы проведем опрос всех губернаторов, что теоретически опять-таки возможно, то снова могут возникнуть методологические вопросы. Назначен респондент или не назначен? Выбран или не выбран? Это все не так просто.

Теперь — о результатах исследования. Свидетельствуют ли они о каких-то обнадеживающих тенденциях? Ответы, уже прозвучавшие в некоторых высказываниях, были пессимистическими. Потому что дело не только в том, какие ценности и установки, декларируемые «элитой развития», но и в том, каковы действия и как они соотносятся с ее ценностями и установками. И вот здесь-то оснований для большого оптимизма не просматривается.

В связи с этим расскажу одну забавную историю. Пару месяцев назад я разговаривал со своим хорошим товарищем — крупным чиновником, несколько лет курирующим работу со СМИ в Администрации Президента РФ. Он потратил на меня в своем рабочем кабинете целый час. И помимо прочего говорил о том, как неадекватно ведут себя либералы, как плохо, что они приходят в этот кабинет, чтобы просить деньги на поддержание партии или движения. А я в конце разговора спросил: «Слушай, а сам ты кто по убеждениям?» Он сделал паузу и ответил: «Я — либерал». Потом добавил: «Но это между нами, ты не особо акцентируй на этом внимание».

Тем не менее мы не должны, по-моему, игнорировать те достаточно неожиданные выводы, которые вытекают из результатов проведенного исследования. Помня, разумеется, и о сомнениях, высказанных Ольгой Викторовной. Так вот, эти результаты не подтверждают доминирующее сегодняшнее представление о том, что основная часть элиты настроена антилиберально и антизападнически. И у меня после данного исследования блеснула слабая надежда, что это антизападничество не цивилизационное, а конъюнктурное.

С другой стороны... Я не хочу задавать Михаилу Афанасьеву вопрос о том, кто он по убеждениям. Можете не отвечать, Михаил Николаевич. Но если вы тоже считаете себя либералом, то надо бы внимательно следить, чтобы ваша приверженность либеральным ценностям не влияла на интерпретацию полученных данных.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Игорь Евгеньевич. Слово Мариэтте Омаровне Чудаковой, которая, насколько могу предположить, отвлечет нас от обсуждения профессиональных вопросов социологии.

Мариэтта ЧУДАКОВА (доктор филологических наук, литературовед):

«Не думаю, что декларируемые представителями элиты либеральные убеждения можно считать убеждениями»

Я прочитала текст Михаила Николаевича, размещенный на сайте. В нем четко и ясно сказано, что исследователь не претендует на изучение господствующей элиты — той, которая принимает решения. А что нам ее особенно изучать-то? Мы и так видим ее решения и действия по их выполнению.

В исследовании, результаты которого нам предложены, объектом изучения, как я поняла, были успешные люди, нашедшие какой-то контакт и даже согласие с властью. Свежесть такого подхода уже в том, что мы узнаем нечто новое о людях богатых, о которых все мы, в чем я убедилась за последние годы, довольно мало знаем.

Для меня самой некое открытие относительно их самих и нашего незнания произошло тогда, когда я прочла книгу очерков журналиста Панюшкина; мне

ее подарила мать автора, слушавшая мою лекцию в музее Булгакова. Из одного очерка я узнала, что он занимается детьми, больными лейкемией, позвонила матери и спросила: «Вот когда он ими занимается, что там у него получается?» Это было несколько лет назад, еще до благотворительных концертов Хаматовой и Корзун. И эта женщина сказала то, что меня поразило: «Когда он печатает в "Коммерсанте" свои короткие очерки и дает в конце номер счёта матери, каждый раз приходят немыслимые деньги». Именно этот эпитет был употреблен — «немыслимые». Причем, подчеркнула она, как правило, анонимно.

Этот факт, бесспорно, свидетельствует о том, что широко распространившееся у нас оплевывание богатых и успешных людей, упреки в жадности и равнодушии к жизни других не соответствуют реальности. Дальше я стала за этим следить и увидела, как благодарят в «Коммерсанте» тех, кому удалось своими деньгами спасти детей от смерти, — благодарят, называя чаще всего только имя, а не фамилию. Я сталкивалась с этим еще в конце 1990-х, когда, собирая деньги на ремонт детского санатория на Алтае, просила одну московскую церковь назвать мне тех, кто их давал. Мне отвечали, что знают только их имена, чтобы молиться за них.

Так вот — о сегодняшних богатых и очень богатых. Их анонимные «немыслимые» взносы на лечение незнакомых им детей говорят, что мы очень мало об этих людях знаем. Это первое. Второе — почему они действуют анонимно? Уверена, не только из скромности и не только из желания укрыться от налоговой инспекции. Думаю, в первую очередь потому, что уверены: наши люди простят им любой Куршевель, но не простят благотворительности. Распространенное суждение (чаще всего тех, кто сам копейку не подаст): «Вот, наворовали горы, а теперь крохи отдают...» Такой подход у нас в так называемом обществе (нормального общества пока нет), по-моему, очень заметен. А кому же хочется, чтобы его за свои же деньги еще облили помоями?

Встает, однако, вопрос о политических предпочтениях этих людей. Каковы они? Я слежу за форумом газеты «Ведомости». Сама там печаталась, и меня на этом форуме постоянно поливали грязью, причем совершенно, на мой личный взгляд, беспочвенно. И это не анонимы: в отличие от других форумов здесь все известно: фамилии, имена, отчества и места работы. Я не раз просматривала эти данные — не иностранных названий в указаниях места работы не было. Речь идет об успешных людях, работающих в разнообразных холдингах. И тем не менее неизменно поносящих последними словами ту эпоху, когда образовались их рабочие места, и тех ее деятелей, которые этому способствовали.

Но примерно за месяц до думских выборов 2007 года рисунок форума неожиданно резко изменился. Я уже знала его участников по именам. Думала также, что знала и их идеологию — мягко говоря, отнюдь не либеральную. А тут

вдруг оказалось, что у подавляющего большинства обнаружились либеральные взгляды и беспокойство за результат выборов. Я стала размышлять: в чем тут дело?

Вот моя гипотеза. Это люди очень занятые, они не могли углубляться в содержание обсуждавшихся на форуме вопросов — головы заняты другими мыслями. Вот они и писали Бог знает что. Но настал момент, когда они, нажав клавишу «политика», вынуждены были сосредоточиться. И стали писать вполне разумные вещи. А затем прошли выборы. Они были потрясены их результатами: сказалось то, что им некогда было следить за тем, как велась властью предвыборная кампания. И они стали задавать друг другу вопросы: «Скажите, а кто же голосовал за "Единую Россию"?!» И решили провести свой опрос. Они провели его среди родных и личных знакомых, что составило довольно большой круг людей, и выложили результаты в Интернете. Выяснилось, что в их среде за «Единую Россию» голосовали единицы — главным образом старшее поколение в семьях, что многие голосовали за СПС, а многие не голосовали вообще.

А теперь спрашиваю: как же мы должны реагировать на результаты, полученные в ходе исследования Михаилом Афанасьевым? Если две трети опрошенных им успешных людей недовольны действиями власти, если они декларируют приверженность либеральным ценностям, то что это значит? Ведь если все так хорошо, то почему все так плохо?

Думаю, мы должны констатировать две вещи.

Во-первых, сформировался огромный слой людей, которые не имеют *целостной системы убеждений*. Они могут думать и так и сяк. У них есть какие-то либеральные глубинные убеждения, которые всплывают, как со дна, в какие-то моменты, вроде описываемой мной ситуации с выборами. Но это не включено в некую личную *систему убеждений*. Поэтому я вообще не уверена, что их можно назвать убеждениями. Быть может, взгляды? Мнения?

Во-вторых, в отличие от того, к чему мы вроде привыкли, эти либеральные убеждения не имеют никакого отношения к их поступкам, о чем здесь уже неоднократно говорилось. Мысли и поступки разведены. И это очень печально. Мысли, не подкрепленные поступками, разлагаются. Пока мы этого еще не видим, но, наверное, скоро увидим. От одного моего собеседника я недавно услышала: «Уважаемый мною и вами человек вполне либеральных взглядов сказал мне недавно, что голосовал за "Единую Россию". Потому что ему так удобней».

Итак, сегодня в России немало людей либеральных убеждений, которые никак эти убеждения не проявляют, а действуют вразрез с ними, так как не-редко такие убеждения не соответствуют представлениям об удобстве их жизни. И наоборот, те 30% успешных людей, которым либеральные взгляды, которым нравится сегодняшняя власть и хочется, чтобы она еще боль-

ше все контролировала, — они как раз очень активны, они действуют, у них мысли и поступки друг другу не противоречат. Но наша общественная жизнь структурируется сегодня не только их активностью, но и пассивностью либерально ориентированной публики.

В подтверждение — один выразительный пример. Прошлым летом вышла книга по истории России XX века для учителя, написанная с «государственных» позиций. Общественность сумела на этот факт отреагировать, и ее резкая реакция не оказалась бесплодной. Когда по матрицам этой книги написали не менее отвратительный, оправдывающий Сталина и террор учебник истории уже для учащихся, его выпустили всего лишь тысячным тиражом. И, несомненно, ждали нашей новой реакции. Но на этот раз общество, занятое удобствами своей жизни, не прореагировало.

А теперь учебник вышел полумиллионным тиражом. Причем рассыпается по школам бесплатно. А это заведомо значит, что именно он выиграет лицемерно объявленную конкуренцию с другими, добрыми учебниками, которые школа должна закупать. И почему же молчат авторы этих учебников — известные историки, среди них и академики? Интересно, как люди либеральных убеждений поведут себя в ситуации, когда, при успехе обучения по новому учебнику, через несколько лет проляжет непреодолимая черта между поколениями? Когда выпускники школ будут от нас отмахиваться: «А чего? Сталин был отличный мужик, успешный менеджер, он убивал для пользы дела»?

А потом, того и гляди, памятник Дзержинскому потащат обратно на Лубянскую площадь. Не исключено, что активные люди попытаются его поставить — рядом с Соловецким камнем. Не знаю, воспрепятствуют ли этому люди либеральные. А главное, захотят ли препятствовать.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Мариэтта Омаровна. Следующий — Григорий Томчин.

Григорий ТОМЧИН (президент Фонда поддержки законодательных инициатив):

«Исследование, по-моему, выявило не запрос на новый курс, а представление об этом курсе при отсутствии запроса на него»

Очень хорошо, что сегодня представлено это исследование. Но признаем-ся себе: если снять запреты, то и ответы «чекистов» и чиновников были бы более либеральные. Потому что на протяжении последних 15–20 лет общество приучили: интеллигентный человек должен давать именно такие ответы.

Но при этом надо еще и адаптироваться к реальности. И потому говорят: создание госкорпораций — мера вынужденная; мы знаем, что это не есть хорошо, но другого выхода нет. Или: назначение губернаторов — это неправильно, но посмотрите, кого у нас выбирают! Или: конечно, с правами и свободой

ми дело обстоит не очень, но хорошо, что мы можем все, что хотим обсуждать. Доклад Михаила Афанасьева называется «Российская элита: запрос на новый курс». Но запроса-то как раз и нет. Есть убеждение в том, как все должно быть устроено, а запрос на это отсутствует. И я боюсь, что скоро не будет и убеждений, если мы будем продолжать бесконечно говорить, вместо того, скажем, чтобы распределить между собой главы учебника, упомянутого Мариэттой Омаровной, и написать рецензии на каждую из них с обозначением всех фальсификаций.

Почему это надо сделать? Потому что книжка очень умная и по фактологии правдивая. Но — лишь на 95%. А 5% — это основа для создания новой идеологии. Она закладывается в учебник по истории для 11-го класса, который окажет влияние не только на детей, но и на родителей. И через какое-то время на вопросы социологов будут отвечать уже совсем не так, как сегодня. Общество приучат совсем к другим ответам, и тогда уже не только либеральные действия, но и либеральные мысли останутся в прошлом.

Что внушает школьникам этот учебник? Он внушает им, что, не будь речи Черчилля в Фултоне, Сталин в 1946 году начал бы демократические преобразования. Что Сталин был вынужден пойти на политические репрессии, ибо если бы он вел себя по-другому, то не удалось бы восстановить страну и провести модернизацию экономики. Учебник будет формировать вполне определенное отношение к Западу, к приоритетам развития страны, к ценности человеческой жизни. После обучения по нему от либеральных убеждений не останется и следа.

Очень интересное сегодня у нас обсуждение. И оно стало бы еще и полезным, если бы мы после него пошли писать рецензии на этот учебник. Его выход в свет представляет собой очень серьезное событие. Даже более серьезное, чем война на Кавказе. Это важнее даже, чем кризис, который сейчас наступил. Кризис — это год-два. А книга — навсегда.

Игорь КЛЯМКИН:

Навсегда ничего не бывает, Григорий Алексеевич. Так что и эта книга переживает свое время. Точнее — не переживет.

Григорий ТОМЧИН:

Я имел в виду навсегда для истории нашей страны.

Игорь КЛЯМКИН:

С этим не поспоришь.

Григорий ТОМЧИН:

И история нашей страны закончится. Просто закончится.

Алексей ЗУДИН:

«Российские элиты застряли в состоянии группового самоутверждения, которое побуждает их не к ориентации на перспективу, а к групповой закрытости и самоизоляции»

Высокие оценки доклада уже прозвучали, и я к ним присоединяюсь. Попробую прокомментировать концепцию, которая была заявлена и тестирована.

Во-первых, авторы установили, что в сегменте, который с самого начала был назван «элитой развития», наблюдается повышенная концентрация социального капитала.

Во-вторых, в ней была обнаружена установка на либеральный вариант экономического и политического развития.

В-третьих, среди абсолютного большинства «элиты развития» было зафиксировано такое явление, как социальный цинизм.

Таковы выводы. Но они, к сожалению, просто фиксируются отдельно друг от друга, хотя отмеченные свойства (социальный капитал, либерализм и социальный цинизм) не могут существовать изолированно. Они как-то между собой связаны, и эта взаимосвязь, как мне кажется, порождает самостоятельное качество. А потому и вывод напрашивается диаметрально противоположный тому, который делают авторы. Вывод такой: «элита развития», которую они сделали объектом своего анализа, в результате их исследования обнаружена не была.

В качестве доказательства, что обследованные группы принадлежат к «элите развития», указывается на концентрацию в них социального капитала: имеется в виду готовность создавать, цитирую, «разнообразные профессиональные ассоциации, товарищества собственников жилья и других соседских объединений, объединений людей в защиту своих прав и интересов, добровольных групп для занятий с детьми и молодежью». Но здесь, на мой взгляд, имеет место чересчур свободное обращение с понятиями. Потому что социальный капитал в тех формах, которые авторами были упомянуты, способствует производству не общественных, а клубных благ, доступных конкретным группам. А вот публичные блага, которые доступны всем и которые выступают синонимом общественного развития, в данном случае не производятся. Если авторы убеждены в обратном, то нужно доказывать отдельно.

Таким образом, были обнаружены авангардные группы, которым без достаточных на то оснований был присвоен титул «элиты развития». На самом деле она таковой считаться не может, потому что в ней отсутствует и повышенная способность к производству общественных благ, и выраженная ориентация на общественные интересы. Есть лишь обыкновенный групповой эгоизм. Можно сказать, что состояние авангардных групп, выявленное в ходе исследования, мало чем отличается от того, которое было им свойственно в

1990-е годы. Российские элиты застряли в состоянии группового самоутверждения, которое побуждает не к ориентации на перспективу, а к движению в противоположную сторону — к групповой закрытости и самоизоляции. Проявлений этого множество, и часть из них вполне вписывается в ростки «малой социальности», о которых сообщают авторы.

Но отрицательный результат тоже важен. Не надо только представлять его как положительный. И сама постановка вопроса об «элите развития» тоже очень важна; я вижу в этом заслугу авторов. Можно согласиться и с их утверждением, что бессмысленно искать такую элиту на каком-то конкретном участке элитного пространства. Она не может не быть дисперсной, и авторы совершенно оправданно сделали объектом своего исследования и чиновников, и «чекистов», и предпринимателей, и журналистов, и экспертов. А это значит, что реальное существование такой элиты мыслимо только в виде коалиции.

Такого вывода, правда, нам не предложено, но он следует из всей логики представленного анализа. Однако согласившись с тем, что «элита развития» не может быть ничем иным, кроме как определенным умонастроением представителей разных групп, а совсем не некоей совокупностью позиций в социальной структуре, авторы вступили в противоречие с самими собой. Потому что изначально «элита развития» была определена как совокупность неких социальных позиций — привилегированных, но не властных.

Мои выводы, сделанные на основе данного исследования, следующие.

Первое: коалиция «элиты развития», безусловно, будет коалицией меньшинства, потому что абсолютное большинство функциональных элит всегда, при любых условиях будет ориентироваться на защиту групповых интересов, которые неправомерно отождествлять с общественным благом.

Второе: никакая коалиция не сложится сама по себе. Ее можно сформировать только при помощи направленных, осмысленных действий. Все, что мы знаем про крупные социальные общности, говорит о том, что сейчас, как и в 1990-е годы, они не могут у нас выступать субъектами политических перемен. Только индивидуальные инициативы конкретных лидеров могут положить начало формированию «элиты развития».

Третье: шансы на успех таких индивидуальных проектов будут тем выше, чем более последовательно удастся выдерживать ориентацию на умножение общественного капитала, а не клубных благ. А это означает, что измерять лучше не дистанцию, отделяющую авангардные группы от «населения» в целом, а способность отдельных представителей элит формулировать общеполитические цели и задачи на языке, который преодолевает различие между элитными и массовыми группами.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо. Следующий Мусихин Глеб Иванович.

Глеб МУСИХИН (профессор ГУ—ВШЭ):

«Максимум, о чем сегодня можно говорить, — это о запросе элиты лишь на видимость нового курса»

Я начну, на первый взгляд, издалека. В свое время классик современной немецкой теоритической социологии Николас Луман сформулировал модель современной власти, которая основана на взаимном влиянии. И его призыв к элите современных обществ был следующим: хотите получить реальную власть в сегодняшнем мире — откройтесь влиянию; только будучи открытым ему, вы будете реально властвовать. Только так и никак иначе. Если, конечно, под реальной властью понимать не средство обогащения, не контроль над отдельными отраслями экономики, а способ системного воздействия на общество.

Только элита, открытая для общественного влияния, получает в свои руки такой инструмент властвования. И отсюда следует абсолютно парадоксальный вывод: при авторитарных тенденциях, а тем более при авторитарном режиме, элита необычайно бедна властью. Она обладает большими полномочиями, но по большому счету она безвластна. Она может обогатиться, она может навязать какую-то свою точку зрения, но она неспособна к системному воздействию на общество, которым управляет. И вот почему говорить о запросе на новый курс со стороны современной российской элиты, на мой взгляд, не совсем корректно.

Чтобы сформулировать запрос на новый курс, элита должна обладать реальной способностью данный курс реализовать. Только после этого можно формулировать какой-то запрос. А российская элита, если ориентироваться на модель власти Николаса Лумана, такой реальной способностью не обладает. И даже сама она это осознает.

Если убрать пропагандистскую трескотню, то российская элита, при трезвой самооценке, прекрасно понимает, что реальным системным воздействием на ситуацию она не обладает. Отсюда, кстати, и госкорпорации, представляющие собой способ минимизации издержек при отсутствии реальных властных ресурсов. Поэтому максимум, о чем можно говорить, — это об элитарном запросе на *видимость* нового курса.

Разумеется, и в данном случае можно выстраивать различные сценарии. Можно вбрасывать в СМИ какие-то новые мысли, новые намеки, псевдоноевые проекты. Но это не формулирование запроса на новый курс. Это, повторяю, не более чем заявка на видимость его осуществления. И не потому, что российская элита не хочет нового курса, а потому, что не в состоянии его осуществить.

Почему? Да именно потому, что она закрыта для общественного влияния. Она не обладает реальным властным потенциалом современного общества, между тем как российское общество в значительной степени все же современ-

ное. Как в свое время проговорился наш бывший президент, «Россия, к сожалению, часть современного глобального мира».

Игорь КЛЯМКИН:

У нас осталось три человека, которые просили предоставить им слово, — Максим Артемьев, Игорь Яковенко и Андрей Пионтковский. Все трое смогут выступить. Пожалуйста, Максим Артемьев.

Максим АРТЕМЬЕВ (обозреватель интернет-журнала «Новая политика»):

«Страна развивается от худшего к более худшему, и потому я остаюсь пессимистом»

Авторы представленного исследования пришли к выводу о запросе российской элиты на «новый курс». Мол, элита эта в ходе своего развития дошла до некой точки, после которой осознала, что курс должен быть изменен. В ее головах происходит якобы какое-то кипение, и она уже не такая, какой была еще вчера.

Но я тем не менее остаюсь пока пессимистом. Попробую объяснить почему.

Приведу пример из современной истории России. Вспомним 2000 год, когда президентом стал человек из ФСБ — фигура, ранее никому не известная. Тогда многие представители демократов успокаивали себя: да, он из ФСБ, но реформы продолжатся и, конечно, средства массовой информации не будут преследоваться. А потом были разгром НТВ, взятие под контроль ОРТ и других каналов. Ладно, сказали демократы, со СМИ что-то не то, но корпорации трогать не будут. Однако вскоре последовал разгром «Юкоса». Нехорошо, сказали демократы, но Ходорковский — это исключение. Затем — отмена губернаторских выборов. Ладно, сказали нам, во внутренней политике многое идет не так, как хотелось бы, но совершенно ясно, что во внешней политике ухудшений не может быть. Но сегодня есть уже и война со страной — членом СНГ, и фактическая аннексия ее территорий, и признание непризнанных республик. То есть если смотреть на новейшую историю объективно, не забывая о либеральных ценностях, то придется признать: страна развивается от худшего к более худшему. А потому и верить в то, что появился запрос на новый курс, не приходится.

Это первое соображение. Есть и второе.

Современная российская элита очень технократична. Если посмотреть на назначаемых губернаторов, то все они технократы, т.е. люди, не привыкшие к публичности, никогда нигде не избирающиеся, не привыкшие с кем-то спорить, не общающиеся с избирателями. Им всем эти либерализация и демократизация совершенно чужды. И «элита развития», скорее всего, по своему складу вряд ли существенно от них отличается. Поэтому, какие бы хорошие устремления у нее ни были и как бы ни тянулась она к чему-то лучшему,

это лучшее совсем не то, на что мы с вами рассчитываем. Не то, что принято называть модернистскими установками.

Третье соображение. Говорят: запрос на новый курс. Мне же кажется, что есть уже не только запрос, но и ответ на него. Это Дмитрий Анатольевич Медведев, наш новый президент. Может быть, это некорректно говорить, но по сравнению почти со всеми, кто сидит за этим столом, Медведев моложе — кому-то даже в дети годится. Итак, молодой, современный юрист, совершенно западный, сформировался в постсоветское время, не был членом КПСС, работал много в бизнесе, был помощником Собчака. Для него Советский Союз — это далекая история. И хочется спросить: «Ну и что? Где же новый курс?»

Так что оптимизма, повторяю, у меня нет. И потому закончу ссылкой на Поппера, который говорил, что история непредсказуема, а будущее туманно. Что история не подчиняется никаким законам, а зависит только от нас. От нас — значит и от российской элиты тоже. А соответственно, от ее запросов. Но эти запросы, как мне кажется, сегодня таковы, что перемен ждать не приходится.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо. Следующий — Игорь Григорьевич Яковенко.

Игорь ЯКОВЕНКО (доктор философских наук, профессор РГГУ):

«Изменения в сознании элиты создают потенциальную возможность качественного скачка в случае серьезного кризиса»

Представленное нам исследование вызвало настороженную реакцию и породило острую полемику, что уже само по себе показательно. Его результаты не соответствуют нашим собственным представлениям о российской эlite. Между тем, исходя из общих соображений, можно было бы ожидать именно такого результата.

Эта элита сложилась в постсоветской России, но отсюда вовсе не следует, что она готова бесконечно поддерживать сегодняшнюю ситуацию. Люди формируются не только корпоративными интересами, они детерминированы гораздо более широким контекстом. Сегодня и бизнес, и менеджмент, и государственное управление требуют определенного уровня и качества мышления. Сознание, ориентированное на примитивные схемы, просто неадекватно. А, скажем, пропаганда сегодняшняя, те объяснительные модели, которые выбрасываются в общество, позиционированы на уровне плинтуса.

Элита, о которой мы говорим, попадает в идеологический контекст, в пропагандную ситуацию, отторгаемую на уровне вкуса. Люди отторгают нынешний агитпроп как для себя унизительный. Надо иметь в виду, что существует

чувство самосохранения, в том числе и в элите. Рудименты крепостничества не являются исторически устойчивым явлением, особенно это относится к сегодняшней эпохе.

Кроме того, слишком высокий уровень социального цинизма личностно дискомфортен. Не может большая масса людей быть циниками. Человек устроен так, что нуждается в психологически комфортной системе миропонимания, когда реализация его личных и групповых целей и интересов, интересов вполне своеокрыстных, «упаковывается» в идеальное содержание. Законченные циники — явление редкое. В больших социальных группах доминирует потребность сформировать целостную, ценностно непротиворечивую систему.

Если между тем, что отражается в головах элиты, и реальностью существует дистанция, то это, как мне представляется, фактор напряжения в самом обществе и потенциал кризиса для режима. Кто-то из выступавших упомянул интеллигентское бурчание на кухне. Такое бурчание не является, конечно, достаточным условием, но оно необходимо для изменений в обществе. Изменения в сознании элиты, пусть даже частичные, — позитивный фактор.

Из этого совсем не следует, что мы обречены связывать все наши надежды с трансформацией элит. Меня бы гораздо более порадовали данные о позитивной трансформации массового сознания. Но сегодня мы говорим об элитах.

В докладе зафиксирована существенная особенность элитных ответов: чем ближе к властной позиции, тем более ответы совпадают с путинской моделью. Но само по себе это еще мало о чем говорит. Из «правильных» ответов чиновников или «чекистов» не следует, что в сознании этих людей не содержится других мыслительных моделей.

Здесь все время возникали вопросы: «А что делать? Как изменить ситуацию? Как от описанных изменений в сознании перейти к социальным или политическим процессам?» Это самое сложное. Мне представляется, что изменения в сознании элиты создают потенциальную возможность качественного скачка в случае серьезного кризиса. В противном случае любой кризис завершится в конце концов возвращением в наезженную колею.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо. Теперь Андрей Андреевич Пионтковский.

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ (*ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН, политолог*):

«Есть комплекс 1936 года, при помощи которого правящая верхушка манипулирует протолиберальным классом»

Я успел уже горячо любимой мной Ольге Викторовне Крыштановской сказать в коридоре, что не разделяю ее резкой критики. Если убрать словечко

«элита», то большая часть этой критики снимается. Пусть это будет исследование о втором слое российской власти — как политической, так и экономической.

Мне работа понравилась. В методологическом смысле она напомнила мне исследование одного из основателей современной социологии Адорно «Фашизм-тест», где он тоже принципиально отказывался от всякой идеологизации, а задавал какие-то совсем, казалось бы, нейтральные вопросы о воспитании детей, о разных бытовых вещах. А в результате получался портрет персонажа, определявший степень квазифашизмности его сознания.

Так вот, нам был представлен такой же непрямой «Либерализм-тест», который второй слой нашей власти очень успешно прошел. Оказалось, что в большинстве своем он разделяет либеральные ценности. И на этом можно было бы остановиться, но последняя часть доклада, которая была, к сожалению, смазана из-за недостатка времени, как в хорошем детективе, все меняет. Выясняется, что это либерализм «на кухне» и «с кукишем в кармане» и что никакой готовности противостоять «плану Путина» у нашего второго слоя нет.

Как ни парадоксально, мы возвращаемся к массовому восприятию «элиты». К восприятию, для которого характерно убеждение в том, что этой самой «элитой» манипулирует правящая верхушка. Что подводит нас к самому главному вопросу: а почему эти незаурядные люди, обладающие определенной степенью власти, люди, от которых зависит будущее России и которые, как выяснилось в исследовании, являются носителями либеральных ценностей, — почему они не готовы защищать эти ценности?

Я хорошо помню начало 2005 года. После массы неудач власти — Украина, Абхазия, монетизация льгот — это был, как мне кажется, период, когда антипутинские настроения «элиты» готовы были вот-вот активно проявиться. Я мог бы сейчас разрушить с десяток карьер людей очень прокремлевских, если бы процитировал, что они говорили тогда о высшей власти. Впрочем, все это чувствовали не только мы, но и власть, имеющая своих неплохих социологов и политтехнологов. И тем не менее все вернулось на круги своя. Так почему же власти удается эффективно манипулировать этим протолиберальным вторым слоем?

На мой взгляд, здесь сказывается не столько устрашение точечными репрессиями, сколько управление коллективным сознанием двумя с половиной идеологемами или двумя с половиной комплексами. Первый комплекс можно назвать «неовеймарским». В результате тысячекратного повторения в общественное сознание и подсознание вбивается идея о встающей с колен России, ранее униженной, «лежавшей до последнего времени на коврике под столом». Этот неовеймарский комплекс сплочения вокруг власти униженной нации очень искусно включается и модулируется как раз в те моменты, когда настроения — а их изучает власть — начинают казаться ей опасными. Недав-

няя грузинская война — это классический пример такого включения и, кстати, ответ на ту растущую оппозицию армейских кругов, о которой говорилось в докладе.

Второй комплекс я бы назвал «комплексом Гершензона — Радзиховского». С одной стороны, наш второй правящий слой прекрасно понимает, что его, как выразился докладчик, фрустрируют в особо извращенной форме: и манипуляцией выборов, и имитацией политического процесса в целом. Но в то же время тем же людям активно внушается мысль о том, что настоящие выборы привели бы к власти намного более страшных людей, чем те, которые сегодня там находятся. То есть оба комплекса работают на одну и ту же сверхидею: да, люди, которые правят нами, несовершены, они полны пороков (сильно подворовывают, например), но они защищают нас и от внешних угроз (вместе с ними мы встаем с колен), и от внутренних: по классической формуле Гершензона, мы «должны благословлять эту власть, которая своими штыками и тюрьмами защищает нас от ярости народной».

Но есть еще и нечто третье. Оно не тянет на идеологему или комплекс, а поэтому я и сказал «два с половиной». Я имею в виду настроение, выражаемое в словах «мы никогда не жили так хорошо». Так говорят даже очень умные люди — Борис Акунин, например. Отчасти они правы. Авторы доклада опросили только 1000 человек, а целый русский золотой миллион в материальном плане никогда не жил так хорошо по мировым меркам, как живет сейчас, и отказываться от этого он не хочет.

Но когда я слышу такие разговоры о хорошей, как никогда, жизни, у меня все время создается ощущение *dejà vu* — где-то и когда-то я все это уже слышал или читал. Ну, конечно: Илья Эренбург, «Люди, годы, жизнь». В 1936 году ощущение людей в Доме на набережной, в домах писателей в Лаврушинском переулке было именно таким. Тогда разрешили елки, приняли бухаринскую конституцию, в Елисеевском появились балыки и колбасы, Мандельштаму разрешили вернуться из ссылки — никогда еще не было так хорошо. Вот это и есть третий комплекс, при помощи которого протолиберальным классом манипулирует верхушка. Я бы назвал его комплексом 1936 года.

И последнее. Трудно отделаться от впечатления, что исследование, проведенное в марте—мае 2008 года, предназначалось авторами для одного воображаемого читателя — молодого либерального наследника. «Идите царствовать, государь Дмитрий Анатольевич! Элиты вас поддержат». Но если так, то это призыв, равносильный рекомендации Никите Сергеевичу сделать свой знаменитый доклад не на XX, а на XIX съезде — с национальным лидером, не лежащим надежно в Мавзолее, а сидящим сзади в президиуме и меланхолически попыхивающим трубкой.

Леонид ВАСИЛЬЕВ:

«Реальные перемены могут быть инициированы только той элитой, которая находится у власти»

Думаю, будет неправильно, если мы оставим без внимания нашу правящую элиту, ту самую, которую Ольга Крыштановская только и считает достойной именоваться элитой.

Осознав, что ситуация в мире и в стране за последние месяцы сильно изменилась, эта элита ныне явно утратила столь свойственное ей безмятежное восприятие бытия в сочетании с ощущением чуть ли не вседозволенности. Она, похоже, не знает, как выйти из создавшейся в России ситуации. Сегодня всем очевидно, что на смену столь упорно утверждавшейся стабильности идет неумолимая стагнация, остановить которую никто уже не в силах. А стагнация неизбежно повлечет за собой заметное ухудшение жизненного стандарта основной массы населения со всеми сопутствующими последствиями.

Дело в том, что люди, впав в состояние эйфории (не без помощи мощной и послушной власти системы массмедиа), стали (и привыкли) тратить денег намного больше, чем могут сейчас заработать. И хотя эта особенность образа жизни свойственна далеко не всем, в больших городах страны она очень заметна. А ведь именно эти города и живущие в них во многом задают тон в любом более или менее развитом обществе. И ничего с этим поделать уже практически нельзя, не рискуя слишком сильно потревожить наполненный взрывной смесью сосуд. Отсюда и вопрос: есть ли у руководства страны основания рассчитывать на то, что правящая элита, послушные ей органы правопорядка и массмедиа в их нынешнем облике в состоянии что-то достаточно быстро и радикально изменить?

Выступавший передо мной коллега Пионтковский упомянул о «комплексе Гершензона–Радзиховского». Про Радзиховского не знаю, а упоминание о Гершензоне вполне уместно. Но если даже кто-то по его совету и уповаet сегодня на власть и ее способность защитить интеллектуалов от «ярости народной», то вовсе не факт, что такие упования оправданы. При неблагоприятном развитии событий власть и саму себя неизбежно сможет защитить. Настроения большинства населения могут стать взрывоопасными. И тогда даже честные выборы не помогут, так как победа на них вполне может оказаться на стороне тех, кто давно уже сделал ставку на национализм, расизм и агрессию.

Разумеется, стоило бы загодя все поставить с головы на ноги и начать как раз с того, чтобы изменить состояние умов. Но для этого нужна иная политика, нужно начать говорить людям правду и разрешить выразителям разных точек зрения в достаточно свободной манере высказывать их. Быть может, правящая элита, которая сегодня закрывает рот всем, кто с ней не согласен, все-таки сумеет изменить эту чреватую взрывом политику — прежде всего политику телеоболванивания населения?

Нет никакого сомнения в том, что, начав это делать — не слишком торопясь, но целеустремленно, — современная политическая элита вполне в состоянии добиться немалых сдвигов в общественном мнении. А создаваемые вспышках карманные либеральные партии ничего не изменят. И прикарманенные старые либеральные партии не изменят тоже. Такие партии, если им, как и всем про- чим несогласным, часто избиваемым на митингах полицейскими дубинками, не дать подлинной свободы, вряд ли помогут делу и той же правящей элите.

Гораздо проще и безопаснее для нее осознать, что следует приоткрыть, а затем и совсем открыть клапан. Только свободное независимое слово, только ощущаемое людьми чувство, что все могут высказаться, что голос каждого, кому есть что сказать, будет услышан, что совместными усилиями можно найти приемлемый для всех выход из складывающегося скверного положения, в состоянии изменить ситуацию. Ситуацию, чреватую катастрофой, которую не предотвратят слабеющие потоки нефтедолларов.

Пока что общество, подстегиваемое сверху, настроено крайне агрессивно, причем телевидение заботливо указывает направление агрессии, будь-то США или крохотная оборонная Грузия. Но не следует тешить себя иллюзиями. Агрессивность общества может довольно быстро это свое направление изменить, направившись в сторону тех, кто сегодня благодушествует, полагая, что «все схвачено». Так что лучше — это подсказывает элементарный здравый смысл — не раздувать тлеющие угли. Не поддерживать в условиях усиливающегося ветра слабо контролируемое пламя. Не внушать людям — что называется, на пустом месте — ощущение превосходства их страны на других, расчитывая при этом на массовую чистку мозгов с помощью (в том числе) извращающих историю учебников. Расчет в конечном счете не оправдается.

Люди не очень-то склонны погружаться в прошлое, даже если стараться его искусственно облагородить. Их более всего интересует и задевает то, что происходит сегодня. И если сегодня им плохо, если у них возникает ощущение тутика, то ничего хорошего ждать не приходится. Пока они выходят на улицу в количестве немногих сотен, а то и десятков, их сравнительно легко, как бездумно полагают власти, образумить дубинками. Но так бывает не всегда.

Бывает, что чувство социального протesta возникает стихийно, по случаю и вроде бы малозначимому поводу. Но это только кажется, что неожиданный взрыв не подготовлен всем, что ему предшествовало. А главное в том, что, когда такое случается, дубинки обычно не помогают. Кроме того, никогда заранее не ясно, станут ли те, кто держит в руках оружие, пускать его против возмущенного и обретающего силу народа. История свидетельствует о том, что бывает по-разному...

А потому лучше не доводить до греха. Лучше вовремя очнуться и дать возможность тем, кто способен, выдвигать какие-то новые идеи (но не по команде сверху!). Препятствовать этому — значит готовить страну к тому, чтобы она

стала нищей. Идейно нищей, промышленно нищей, культурно нищей. Единственное, что нас пока удерживает на плаву, — это бензоколонка. Но если окажется, что и она не спасает?

Тогда не придется сетовать на то, что-де такой уж у нас народ. Какой народ — давно и всем известно. Но разве это основание для того, чтобы пичкать его иллюзиями, воспитывать в нем агрессивное неприятие всего иного и рассчитывать только на то, что запас нефтедолларов никогда не иссякнет? И разве не для того правящие верхи занимают свое место, чтобы понимать все это?

Что касается интеллектуальной элиты страны, то ее дело — прилагать все усилия для того, чтобы эти верхи не чувствовали себя всесильными и бесконтрольными. Чтобы они заблаговременно ощущали давление снизу. Чтобы счи-тались с тем, какие реальные процессы идут в стране и к чему они могут в соз-дающейся обстановке привести.

Игорь КЛЯМКИН:

Это был Леонид Васильев, который предоставил себе слово сам. Я так понял, вас, Леонид Сергеевич, что вы обращались к президенту Медведеву, чтобы предупредить его о грозящих опасностях...

Леонид ВАСИЛЬЕВ:

Я рассчитывал на Медведева еще два-три месяца назад. Боюсь, что я ошибся.

Игорь КЛЯМКИН:

Все желающие высказались. Предоставляю возможность Михаилу Нико-лаевичу отреагировать на все сказанное. Точнее, на все то, на что он сочтет нужным. Пожалуйста.

Михаил АФАНАСЬЕВ:

«В элитных группах вызрел запрос на новое качество государства»

У меня Леонид Сергеевич Васильев чуть не украл заключительное слово. Я примерно этим и хотел закончить, т.е. обращением к власти по поводу неблагополучного положения дел в стране. Между тем в ней сложился относи-тельно широкий слой продвинутых людей, настроенных на перемены и готов-ых их принять. Слой, который я назвал элитой развития.

Выступившие в ходе дискуссии коллеги оспаривали мой вывод относи-тельно запроса этой элиты на новый курс. Нет, говорили они, нет ни запроса, ни субъекта такого запроса, т.е. нет самой элиты развития. Попробую ответить на прозвучавшие возражения.

Коллега Глеб Мусихин утверждает, что элита развития безвластна, а пото-му и нет у нее никакого запроса на перемены. Такая логика мне непонятна.

С первой частью утверждения я согласен. Но почему у безвластной элиты не может быть запроса на новый курс? Если следовать этой логике, то его и у массовых слоев населения быть не может — у них ведь власти еще меньше. А мы между тем их изучаем и делаем на основании полученных данных выводы о настроениях и установках общества. Почему же мы не можем то же самое делать в отношении элитных групп?

Именно это я и сделал, проведя специальное исследование. Его результаты были вам представлены. Мой вывод остается прежним: в элитных группах образовался запрос к верховной власти. Запрос на новый курс.

Не очень понятна мне и логика Алексея Зудина. По его мнению, никакой элиты развития в ходе исследования не обнаружилось. И это, мол, само по себе не плохо, так как отрицательный результат — тоже результат. Но вместе с тем Алексей Юрьевич говорил о возможности некой элитной коалиции. Откуда же такая возможность появится? Ведь если элиты развития в стране нет, то откуда возьмется коалиция? Что это слово может изменить?

Для меня, кстати, элита развития — это не предмет поиска. Для меня это данность. Есть люди, которые осуществляют государственное и муниципальное управление, функции по обороне, национальной безопасности, защите правопорядка. Есть люди, которые организуют здравоохранение и оказывают медицинские услуги, есть люди, которые предоставляют образовательные услуги. Это, на мой взгляд, и есть элита развития. Ее-то я и исследовал, после чего представил вам предварительный анализ полученных данных. Более углубленный анализ — впереди¹.

Георгий Сатаров на основе наших данных выделил два фактора, определяющих умонастроения респондентов, — путинизм и реформизм. Согласен с его выводом, что путинизм безразличен к содержанию экономической политики. Поэтому, между прочим, этих «путинистов» очень трудно определить по каким-то параметрам. Их позиции бессодержательны, они от исследователя ускользают. А с тем, что реформизм в элитных группах безразличен к характеру политического режима, я так вот сразу согласиться не могу. Это надо еще внимательно проанализировать.

Ну и, наконец, главный вопрос: насколько реализуемы обнаруженные в ходе исследования представления элиты? И какова ее собственная готовность к такой реализации? Мой ответ: *российские элитные группы готовы к тому, чтобы новый курс реализовывала власть*. И это чрезвычайно важно, поскольку у нас постоянно доказывается, что ни нация в целом, ни ее элита ни к чему такому не готовы. Что эта элита накрепко связана с системой и будет сопротивляться всему, что подрывает вертикаль власти, госкорпорации и все такое прочее.

¹ См.: Афанасьев М.Н. Российская элита развития: запрос на новый курс. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2009.

А исследование показало: ничего подобного! Элита развития ждет, она внутренне готова к тому, чтобы власть развернулась и действовала по-другому.

Как именно? Исследование дает ответ и на этот вопрос. Как бы ни хаяли нашу отечественную элиту, у нее есть представление о норме, в соответствии с которой оцениваются те или иные движения власти и результативность этих движений. И в основном оцениваются критически.

Полученные данные подводят к однозначному выводу: государственная идея путинского образца, т.е. идея вертикали власти, себя исчерпала. Она не работает ни в качестве мобилизационной силы, ни в качестве легитимирующего фактора. В это — я говорю об элите — больше не верят.

А второй вывод заключается в том, что в элитных группах созрел запрос на новое качество государства. Именно это качество становится главным критерием, по которому оцениваются наши верхи. И прежде всего оцениваются опять-таки элитными группами, которые свои оценки еще и тиражируют. И поэтому совершенно согласен с Сатаровым — пора звонить в Кремль!

Игорь КЛЯМКИН:

«Вектор и темпы системных преобразований всегда определяются тем, какие предпосылки для перемен сложились внутри старой системы, подлежащей преобразованию»

Завершаем дискуссию. Я благодарю всех ее участников. Думаю, мы правильно сделали, проведя такое исследование. Меня не убедили возражения Ольги Викторовны Крыштановской. Кроме случайных выборок существуют, как известно, и выборки направленные, с помощью которых изучаются и сравниваются между собой отдельные социальные группы. Конечно, простое суммирование мнений различных элитных групп не представляет мнение элиты в целом. Использовать такое суммирование следует осторожно, отдавая себе отчет в его условности. Но данные по отдельным группам — это вполне достоверный результат. И в этом отношении проведенное исследование соответствует профессиональным социологическим стандартам. Кстати, и исследование Левада-Центра было осуществлено точно так же, и я не очень понимаю, почему к тому исследованию Ольга Викторовна, выступая в этом зале, отнеслась гораздо более благосклонно.

Ольга КРЫШТАНОВСКАЯ:

Я тогда не решилась сказать то, что думаю.

Игорь КЛЯМКИН:

Что ж, благодаря работе Михаила Афанасьева мы лучше узнали ваше мнение, и это уже само по себе неплохо. Но оно мне, как и Георгию Сатарову, представляется весьма спорным.

Несколько слов о полученных результатах. О чем они свидетельствуют? Они свидетельствуют о том, что в большинстве наиболее продвинутых групп российского общества, которые Михаил Николаевич называет элитой развития, доминируют либерально-демократические представления об оптимальном и желательном экономическом, социальном и политическом устройстве России. Но такие представления, если они не соответствуют существующему положению вещей (а они ему не соответствуют), вполне могут сочетаться с адаптацией к этому положению и отсутствием установки на его изменение. Наша «элита развития» сегодня субъектом таких изменений рассматриваться не может. Она интегрирована в сложившуюся систему и инициировать ее трансформацию не будет. Здесь никаких иллюзий быть не должно. Но я бы не стал преуменьшать и значение того, что представления людей о должном и правильном сложившейся в стране экономической и политической системе противостоят.

Рано или поздно вопрос о системных преобразованиях окажется в повестке дня. А вектор и темпы таких преобразований всегда определяются тем, какие предпосылки для перемен сложились внутри старой системы, подлежащей преобразованию. Чтобы это не выглядело абстрактным, сошлюсь на два исторических примера.

Первый пример касается судебной реформы Александра II. Можно ли ее было провести на несколько десятилетий раньше? Нет, нельзя, потому что к началу XIX века в стране почти не было квалифицированных юристов. Когда они появились? Они появились при Николае I, потому что в это время их уже готовили в университетах. Режим Николая I, как известно, не был либеральным. И юристов при этом режиме готовили отнюдь не для либеральной реформы судебной системы. Но ее осуществили именно юристы, получившие образование во времена Николая I. Потому что в ходе образования и знакомства с европейским правом у них возникли представления об ином, чем в России, судопроизводстве.

Другой пример — из той же эпохи. Можно ли было отменить крепостное право, скажем, на полстолетия раньше? Способна ли была власть на это пойти? Нет, причем при любом царе. Потому что она боялась не только неготовности крестьян к свободе, но и протesta дворян, составлявших ее главную элитную опору. А почему власть перестала потом опасаться дворян? Потому что в ходе наполеоновских войн дворяне, побывавшие в Европе, увидели иной, чем у них, образ жизни высших классов. И они стали его менять, для чего нужны были деньги. И помещики стали занимать их у государства под залог крестьян. А к середине XIX века около двух третей крепостных уже было заложено, т.е. фактически они помещикам уже не принадлежали. Поэтому в головах последних стало складываться представление о том, что крепостным правом — при соответствующей компенсации — можно пожертвовать. И та-

кие представления явились одной из существенных предпосылок крестьянской реформы Александра II.

Понятно, думаю, почему так важно знать, в каком направлении эволюционируют представления элитных групп при нынешнем режиме. Результаты, полученные в ходе представленного исследования, внушают в этом отношении определенный стратегический оптимизм.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Михаил АФАНАСЬЕВ

ЗАПРОС НА НОВЫЙ КУРС

В марте–мае 2008 года, как раз между выборами и инаугурацией третьего президента Российской Федерации, мы провели опрос российских элитных групп — первое социологическое исследование отечественной элиты с объемом выборки в 1003 респондента. К особенностям только что завершенного проекта помимо объема выборки следует отнести специфику целевой аудитории, т.е. элиты, и предмет ее опроса.

Мы исходили из следующих соображений. Во-первых, социальное развитие неравномерно распределено в социальном пространстве; вероятно, оно концентрируется в определенных группах общества — группах развития. Во-вторых, не похоже, чтобы социальное развитие было сконцентрировано и продуцировалось именно в том «золотом проценте» российского высшего класса по доходной стратификации, который принято называть «элитой».

Сегодняшний, аномально узкий, высший класс России состоит из главных государственных начальников и тесно связанных с ними капиталистов, представляя собой *олигархию* в классическом, аристотелевском смысле слова. Этот олигархический высший класс можно назвать *элитой господства*. Образ мысли этой элиты хорошо известен, явлен в ее деятельности и дан всем в ощущении. Мы же решили сфокусировать исследование не на господствующей верхушке, но на *элите развития*, понимая ее как элиту тех социальных групп, которые исполняют самые актуальные и востребованные общественные услуги — государственное управление, оборона и охрана правопорядка, юриспруденция, предпринимательство, корпоративное управление, здравоохранение, наука и образование, массовая информация и публичная экспертиза.

Успешные представители указанных социальных групп, за исключением главных государственных начальников и глав крупнейших корпораций, и составили целевую аудиторию опроса.

Наш опрос не ставил своей целью ни выяснение отношения к тем или иным идеологемам, ни измерение «уровня доверия» к публичным институтам и должностным лицам. Мы предложили респондентам дать оценку исполнения сегодняшней властью главных государственных функций, а затем выразить свое отношение к альтернативно сформулированным вариантам национального развития — институциональным основаниям и приоритетам в таких областях, как экономическая и бюджетно-финансовая политика, ЖКХ, сфера массовой информации, устройство и функционирование публичной власти в центре, в регионах и на местах. На выбор респондентов выносились уже представленные и доминирующие в информационном поле варианты ответов. Другими словами, мы провели тестирование в элитных группах ряда известных программных тезисов и проектов решений.

Относительно российской элиты сложилось вполне определенное представление, которое воспроизводится прежде всего в самих элитных группах, а также тиражируется в массовых аудиториях и за рубежом. Дело не в том, что это представление скорее плохое, чем хорошее. Предлагаю на время отвлечься от того, что такое хорошо и что такое плохо, но сосредоточиться на *социологическом содержании* тех характеристик, которые обычно приписываются российской элите теми или иными ее представителями. С разных точек зрения (скажем, правящей администрации или оппозиции, той или другой идеологической платформы, тех или иных ученых, экспертов, журналистов) эти характеристики нередко оцениваются с противоположным знаком. Однако с «объективным» содержанием главных характеристик, похоже, все согласны. Сведу это содержание в четыре пункта.

1. Российская элита очень тесно связана с государственной властью. Она благодарна нынешней власти за возможность пользоваться жизненными благами, дорожит своим положением и расположением власти, боится их потерять и потому не только не имеет, но и не хочет иметь своего собственного мнения, отличного от мнения власти.

2. Российская элита исповедует последовательный мировоззренческий релятивизм, ей чужды нормативно-ценостные подходы в оценках действительности и собственной деятельности. Успешных людей в сегодняшней России интересует исключительно их личное преуспеяние, поэтому их поведение вполне предсказуемо и управляемо посредством главных стимулов: денег, статусных привилегий и наслаждений.

3. Российская элита приняла западный образ жизни и бытовые стандарты, но не принимает западных правил гражданской ответственности, публичной открытости и подотчетности.

4. Российская элита не заинтересована в построении общества, основанного на открытой конкуренции, а не на регулируемых сверху деятельностных, доходных и статусных привилегиях. Она вполне поддерживает правящий ре-

жим и преемственность его курса («План Путина») на сведение политической системы к административной «вертикали власти» и контроль правящей администрации над ключевыми экономическими активами страны.

Результаты проведенного нами опроса российских элитных групп опровергают по ряду существенных моментов вышеприведенные утверждения и заставляют подвергнуть их основательной ревизии. Оказалось, что большинство успешных людей, составляющих российскую элиту развития — на государственной, гражданской и военной службе, в юриспруденции, в бизнесе и корпоративном управлении, в здравоохранении, науке и образовании, в массовой информации и публичной экспертизе, — не связывают свои личные успехи с позитивным влиянием государственной политики и склонны, скорее, дистанцироваться от государства.

В элите развития явно преобладает критический взгляд на сложившуюся в стране систему управления и ее результативность. Как известно, правящая администрация рассматривает выстроенную в 2000-е годы «вертикаль власти» в качестве своего главного достижения и залога социальной стабильности. Но как раз в этом центральном пункте мнение правящей администрации резко расходится с мнением национальной элиты, абсолютное большинство которой считает, что мероприятия по укреплению вертикали власти в итоге привели к чрезмерной концентрации власти и бюрократизации всей системы управления, снизив тем самым ее социальную эффективность. Такой разворот общественного мнения в элитных группах со всей очевидностью обнаруживает новые и важные социальные обстоятельства.

Во-первых, разговоры об укреплении «вертикали власти» более не воспринимаются продвинутой частью (и вряд ли только этой частью) российского общества в качестве государственной идеи; эффективность этих слов и мероприятий — как для мобилизации воли нации, так и для легитимации правящего режима — сегодня крайне низка.

Во-вторых, главным пунктом социальной и политической повестки национального развития отныне становится *качество государства*.

Российские элитные группы фиксируют *функциональные провалы* сегодняшнего государства на жизненно важных направлениях социального развития: уменьшение разрыва в доходах между богатыми и бедными; решение проблемы доступного жилья; обеспечение права на справедливый суд; развитие здравоохранения. Кроме того преобладание негативных и крайне негативных оценок обнаруживает *сферы явного неблагополучия* в таких государственных делах, как обеспечение свободных выборов, развитие образования, установление и поддержание единых рыночных правил, обеспечение личной безопасности граждан и защита права частной собственности. Также велико в элитных группах недовольство тем, как государство определяет и реализует национальную экономическую стратегию.

Вопреки распространенным утверждениям, абсолютное большинство российской элиты не разделяет представления о том, что развитие российской нации должно зиждаться на безусловном примате государства в общественной и хозяйственной жизни. Российская элита развития вполне определилась с *цивилизационным выбором*, если под таковым понимать выбор институциональных основ развития страны. Элитные группы практически едины в понимании того, что национальные системы жизнедеятельности необходимо развивать на следующих базовых принципах: верховенство закона в обществе, в том числе над властью, плюс конкуренция в экономике и политике.

При всей своей культурной ограниченности и общественной слабости российская элита обладает потенциалом общественного развития. Именно элитные группы выступают той средой, где в первую очередь происходит генерация новых социальных тканей, создание и рост *общественного капитала*. Проявление этой позитивной тенденции можно увидеть в росте численности новых общественных объединений: разнообразных профессиональных ассоциаций, товариществ собственников жилья и других соседских объединений, объединений людей в защиту своих прав и интересов, добровольных групп для занятий с детьми и молодежью. Показатели участия во всех таких объединениях у элитных групп заметно выше, чем в среднем у населения. В целом 68% россиян, по данным WVS, не входят ни в одно общественное объединение. По данным нашего опроса, 62% респондентов из элитных групп считают себя членами той или иной добровольной ассоциации (это не считая «своей команды» по месту работы).

Желание перемен в российских элитных группах нельзя недооценивать. Как и значение того социологически установленного факта, что в сознании российских элитных групп укоренились вполне определенные представления о *норме развития* в экономике, политике и социальной сфере.

Так, модель «государственного капитализма», лобируемая и частично уже реализуемая на высшем уровне государственного управления, отнюдь не имеет широкой поддержки в российской элите, которая в своем абсолютном большинстве ориентирована на нормальный капитализм с общими, действительно государственными, правилами игры, благоприятствующими честной конкуренции и широкому развитию национального предпринимательства.

Анализ полученных социологических данных позволяет выявить и сформулировать актуальный запрос российских элитных групп к государственному руководству страны на *новый курс* государственного управления и национального развития. В первую очередь, следует выделить точки *элитного консенсуса*, т.е. приоритеты развития, поддерживаемые абсолютным большинством во всех элитных группах. К таковым относятся:

- 1) приоритетность государственных инвестиций в развитие человеческого капитала;

- 2) коррекция стратегии реформы ЖКХ;
- 3) реальное обеспечение политической конкуренции, разделения властей, открытости и подотчетности власти обществу;
- 4) приведение партийной системы в состояние, достойное граждан свободной и цивилизованной страны;
- 5) переход от назначения глав регионов России президентом к иному порядку, основанному на выявлении общественного мнения и воли народа в регионах страны;
- 6) развитие самостоятельности местного самоуправления с закреплением за ним собственности и части налогов, которые могут обеспечить выполнение функций местного самоуправления.

Помимо указанных точек элитного консенсуса можно выделить *преобладающее мнение* в российской элите по следующему ряду важных вопросов национального развития:

- необходимо системное государственное стимулирование частных и корпоративных инвестиций в основной капитал и технологическое перевооружение;
- нужно сделать порядок формирования правительства России более открытым, конкурентным, обеспечивающим реальное обсуждение альтернативных правительственные программ и выбор из них лучшей;
- следует усиливать парламентский контроль над исполнительной властью;
- необходимо реформировать судебную власть, обеспечив внекорпоративный контроль граждан (потребителей), честные критерии и процедуры корпоративной ответственности судей;
- следует прекратить сегодняшнюю практику контроля властей над информационной политикой СМИ и обеспечить действенный — общественный, а не бюрократический — контроль за соблюдением общественных интересов в сфере массовой информации.

Судя по количеству противоположных ответов, реальный размер «партии старого курса» составляет от одной четвертой до одной третьей части опрошенных профессиональных элит. Среди чиновников и силовиков сторонники прежнего курса составляют половину указанных элитных групп, исключая, однако, армейских офицеров, которые в своем большинстве очень критично настроены к правящей администрации и созданному ею порядку. Даже если прибавить к сторонникам «вертикалей» и госкорпораций людей, постоянно воздерживающихся от изъявления своего мнения по общественно-политическим вопросам, то «партию старого курса» удастся растянуть самое большое до 40% от всех участников опроса российской элиты развития.

А как назвать тех участников опроса, которые последовательно выступают за соблюдение принципов верховенства закона в обществе, в том числе над

властью, за развитие конкуренции в экономике и политике, за институциональное обеспечение открытости и подотчетности власти обществу? Думаю, вполне уместно назвать их *российскими либералами*. И их у нас тоже немало. Результаты проведенного исследования показывают, что доля либералов в российских элитных группах приближается к половине: 45,5% от числа всех участников опроса.

Либеральные взгляды в российской элите разделяет почти каждый пятый силовик (чаще армейский офицер, реже сотрудник правоохранительных органов), каждый третий чиновник, около половины российских предпринимателей, менеджеров, юристов, врачей, абсолютное большинство элиты науки и образования, массовой информации и публичной экспертизы. Примечательно, что российские либералы отличаются более активным участием в общественных объединениях и создают ассоциации с более широким радиусом доверия: профессиональные, соседские, правозащитные, школьно-родительские, спортивные, культурные. Другими словами, они активнее других создают российский общественный капитал.

В целом, однако, ни жажду перемен, ни приверженность республиканским ценностям в отечественных элитных группах не стоит преувеличивать. Абсолютное большинство успешных людей новой России поглощено проблемами личного преуспеяния и благосостояния своих семей — они чураются общественной активности и склонны к *социальному цинизму*. Совокупность их частных мнений по вопросам национального развития пока не стала их *общим мнением* и общим делом, а потому и сами они не стали еще полноценной национальной элитой. Не потому, что они глупы или безвольны, но потому, что их разум и воля сосредоточены сегодня на выживании, конкуренции и потреблении. Глубоко укоренившийся социальный цинизм мешает им взаимодействовать, объединяться и влиять на власть не только по «глобальным» вопросам, но и в ситуациях, непосредственно затрагивающих их жизненные интересы.

Нет достаточных — ни теоретических, ни практических — оснований считать потребительский индивидуализм и социальный цинизм новой российской элиты «детской болезнью», которая сама пройдет по мере взросления. Запущенные в детстве болезни не проходят. Для лечения *общественной недостаточности* российской элиты начальственное попечение не годится — необходима концентрация, как сказал бы Николай Бердяев, просветленной энергии. Проще говоря, *доброй воли* состоявшихся и успешных людей.

Итак, мы наблюдаем и переживаем весьма противоречивую историческую ситуацию. Сложившийся в России олигархический бюрократический капитализм помимо самой олигархии пользуется поддержкой большинства сотрудников спецслужб и половины чиновничества. Абсолютное же большинство армейских офицеров, предпринимателей и менеджеров, профессиональной

элиты в социальной и публичной сферах, значительная часть чиновников — одним словом, российская элита развития в своем большинстве — предпочитают нормальный капитализм с правовым социальным государством и готовы поддержать деятельное обновление страны на основах верховенства закона и честной конкуренции. Другими словами, российская элита разделяет программный тезис президента Медведева о том, что «свобода лучше несвободы», и готова принять его за идеиную основу национальной консолидации.

В то же время российским элитным группам явно не хватает «субъектности» — способности к коллективным действиям и воли к определению государственной политики. Приспособляемость — это, конечно, необходимый критерий вертикального отбора. Но, приобретя гипертрофированное значение в механизме воспроизведения российской элиты, он в значительной мере превратил ее в элиту приспособленцев.

В этой ситуации многое будет зависеть от консолидации и коллективных действий в либеральной части национальной элиты, которая довольно велика и проникнута ожиданием «нового курса». Поскольку именно либеральная часть российской элиты вырабатывает, отстаивает и продвигает те модели и форматы развития, вокруг которых уже сегодня, как было показано выше, складывается конструктивное согласие элитных групп, постольку именно она может стать ядром *нового большинства*. И она им станет, если изъявит свое общее мнение и свою общую волю.

НУЖНА ЛИ ДЕМОКРАТИЯ РЯДОВОМУ РОССИЯНИНУ?

Игорь КЛЯМКИН (вице-президент фонда «Либеральная миссия»):

Мы придаем большое значение нашему сегодняшнему собранию¹ и вынесенной на обсуждение теме. Что-то подобное мы пытались сделать еще лет пять-шесть назад, о чём говорили с Юрием Александровичем Левадой, и он нас в таком намерении поддерживал. Но по разным причинам это не получилось. Мы обратили тогда внимание на то, что картина общества и представлений о нем у разных социологов разная, причем нередко прямо противоположная. И едва ли не в первую очередь разногласия касаются демократического потенциала этого общества, его «готовности к демократии».

Скажем, по данным исследования 2001 года, проведенного под руководством Татьяны Кутковец (я тоже принимал в нем участие), большинство населения России придерживается вполне модернистских представлений об устройстве государства и общества, а по данным присутствующего здесь Марка Урнова, массовое сознание россиян находится чуть ли не на племенном уровне. Эта социологическая разноголосица сохраняется и сегодня, о чём можно судить, в частности, по дискуссии «Нужна ли россиянам демократия?», ведущейся на нашем сайте. Не только разные социологические службы дают разные результаты, порой взаимоисключающие, но и данные одних и тех же служб комментируются порой прямо противоположным образом — на их основании делаются прямо противоположные выводы. Так что предстоящее обсуждение давно назрело.

Я благодарен Льву Дмитриевичу Гудкову, руководителю Левада-Центра, который с пониманием отнёсся к проблеме и согласился начать этот разговор. Мы специально пригласили для участия в нем людей, которые непосредственно проводят (или проводили раньше) социологические исследования и представляют достаточно широкий спектр подходов к изучению массового сознания и к интерпретации данных. Не исключаю, что по ходу дискуссии нам придется коснуться каких-то сугубо специальных вещей, в том числе методических. Надеюсь, что мы удержимся от того, чтобы превращать это собрание в семинар по методике. Но от того, как задаются вопросы, зависят и получаемые результаты, и, может быть, вместе мы приблизимся к какому-то консенсусу по поводу того, как спрашивать можно, а как — нельзя.

Предоставляю слово Льву Дмитриевичу Гудкову.

¹ Дискуссия проходила в октябре 2009 г.

Лев ГУДКОВ (*директор Аналитического центра Юрия Левады*):

«Главная проблема эволюции России заключается в том, чтобы показать, как работает демократия»

Данные об относительно массовых представлениях о демократии, о которых я буду сегодня говорить, основаны на многолетних общероссийских репрезентативных исследованиях Левада-Центра, включая старый ВЦИОМ. Прошу принять во внимание, что мы имеем дело с проблемой интерпретации коллективных представлений, зафиксированных опросами общественного мнения, т.е. интерпретации довольно сложных, не статичных и не однозначных конструкций массового сознания. Игорь Моисеевич Клямкин уже коснулся этого, открывая наш круглый стол.

Дополнительную сложность этому предмету придает то обстоятельство, что дело касается представлений о демократии, распространенных в обществе, которое никогда не имело опыта существования в условиях демократии, за исключением очень коротких и переломных в истории страны периодов. Оно не имело опыта самоуправления, реального разделения властей, ответственной перед населением политики властей. Поэтому правильнее было бы сказать, что, описывая динамику мнений о демократии, мы говорим о процессе заимствования чужих идей, рецепции идеологических конструкций, которые появились не здесь и которые воспринимаются разными группами с разной степенью адекватности, усваиваются с разным успехом. Более того, наталкиваются на определенное сопротивление и непонимание.

Поэтому складывающаяся на основе опросов общественного мнения картина отношения к демократии получается довольно противоречивой. Она не может быть сведена к каким-то примитивным схемам. Например, к той, что «традиции русской культуры органично не допускают демократии». Равно как и к той, что единственным препятствием на пути демократического развития России оказывается нынешний авторитарный и коррумпированный режим, пытающийся удержать власть всеми доступными ему средствами.

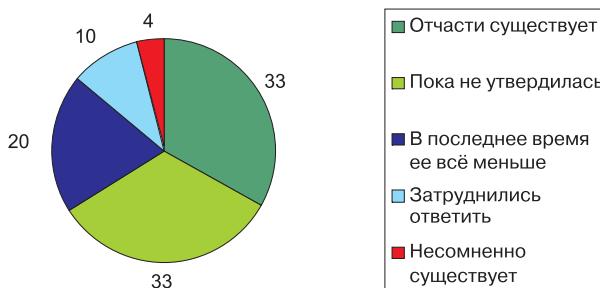
Речь в данном случае идет именно о том, какова роль этих представлений о демократии в обществе, какова их функция в структуре массовой идентичности; для кого (в каких группах) они значимы, а для кого — нет; в ответ на какие факторы или обстоятельства общественной жизни они активизируются и почему блокируются и подавляются; как они сочетаются с другими компонентами массового сознания. К сожалению, в абсолютном большинстве случаев если дискуссии по поводу судьбы демократии в России и возникают, то носят почти исключительно догматический и схоластический характер, что вряд ли можно считать продуктивным. Такие споры сводятся либо к демонстрации партийных знамен, а не к анализу общества, либо ограничиваются

призывами к внесению либеральной идеологии и демократических идей в среду косного населения, такие идеи отторгающего.

Однако дело ведь не в том, существует в головах у людей некоторая идея или нет, а в том, в поле каких интересов она оказывается, как сцепляется с материальными либо идеальными интересами тех или иных групп и институтов, с практическим, политическим или экономическим повседневным поведением. Самы по себе идеи могут висеть в воздухе, быть в арсенале «свободно парящей» интеллигенции, но без сцепления, связи, синтеза с институциональными и групповыми интересами любые идеи, как писал Макс Вебер, бессильны.

Хочу сразу сказать, что мы сегодня имеем дело с ситуацией, когда разные сферы нашего общества после краха советской системы трансформируются или развиваются с разной скоростью и с разным успехом. Одни быстрее, другие медленнее, но наиболее консервативной оказывается сама политическая система: мы имеем очень примитивный по своему устройству режим управления, не контролируемый обществом, не учитывающий интересы разных групп населения и не могущий учитывать их в своей практической политике, поскольку для этого нет необходимых механизмов представительства. Поэтому способ управления сводится к подавлению общественного разнообразия и — тем самым — к блокированию развития институтов, к сдерживанию их автономизации, включая и признание их компетенций, к ограничению механизмов самоуправления, т.е. к нейтрализации императивов социально-структурной дифференциации, увеличения сложности и самоорганизации, которое, собственно, и есть «развитие». Основные усилия власти направлены на то, чтобы парализовать процессы рецепции демократии. И результаты опросов отражают эти усилия.

Существует ли в сегодняшней России демократия?



В % к числу опрошенных

Август 2009, N=1600

Нетрудно заметить: ответы разбиваются по третям, что говорит об отсутствии сильного ценностного поля и признанных общественных авторитетов, могущих упорядочивать мнения в более или менее ясные конфигурации. Треть респондентов говорит, что демократия «пока не утвердилась», треть считает — «отчасти существует», а остальные разбиваются на две небольшие подгруппы: 20% говорят, что ее в последнее время становится все меньше, и 4% твердых сторонников режима утверждают, что она «несомненно существует».

А что думают люди относительно того, нужна ли России демократия? Вот данные опроса (здесь и далее в % к числу опрошенных).

Как Вы думаете, нужна ли России демократия?

	Июнь 2005	Декабрь 2006	Декабрь 2007	Июнь 2008	Июнь 2009
Да, России нужна демократия	66	56	67	62	57
Нет, демократическая форма правления не для России	21	27	16	20	26
Затрудняюсь ответить	13	17	17	18	17

Сомнений у большинства нет. От 56% до двух третей в разные годы под влиянием разных факторов говорят, что России нужна демократия. Это свидетельствует о том, что идея «демократии» проникла в толщу массового сознания и обрела некоторую силу нормативности мнения большинства, требующего своего признания. Другое дело, что ясного представления о том, что такая демократия, как она работает, а главное — как она может быть реализована в нынешних условиях, у большинства россиян нет.

Желательность демократии для нашей страны обусловлена туманными, диффузными представлениями о том, что «на Западе», в «нормальных странах» жизнь лучше в социальном, правовом и человеческом плане, люди более обеспечены, социально более защищены, дольше живут, лучше лечатся, качество жизни там выше и все такое прочее. Именно так считают 64% россиян (опрос проведен летом 2009 года). Двумя годами ранее мы задавали вопрос: где выше ценится человеческая жизнь и где полнее реализуется само право на жизнь — в России или в странах Запада? Только 13% респондентов сказали, что в России; ответ «в странах Запада» дали 69% опрошенных.

Это значит, что с представлениями о демократическом устройстве связываются совершенно не рационализированные, но тем не менее вполне значимые ассоциации с более высоким уровнем жизни, материальной обеспеченностью, правовой защищенностью и качеством жизни. Такое же заключение можно вывести из данных августовского опроса 2009 года:

Какое из этих мнений ближе к Вашим собственным взглядам?

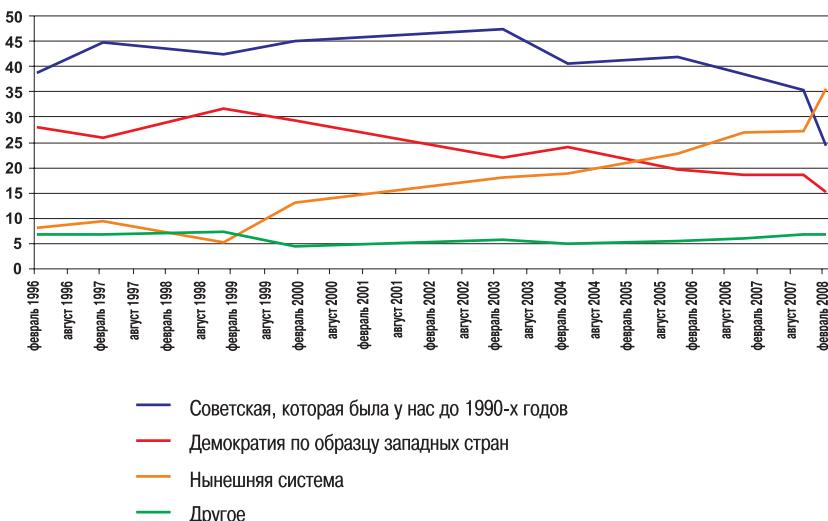
Совершенно уверен(а), что демократия – это лучшая политическая система для нашей страны	12
Склоняюсь к мнению, что демократия – это лучшая политическая система для нашей страны	38
Склоняюсь к мнению, что демократия находит для нашей страны	23
Совершенно уверен(а), что демократия находит для нашей страны	8
Затрудняюсь ответить	19

Август 2009, N=1600

Половина опрошенных уверена, что демократия — это лучшая политическая система для нашей страны, или, чтобы быть более точным, склоняется к тому, что все-таки это более предпочтительная система, чем действующая сейчас. Поэтому, казалось бы, о чём спорить? Демократическая модель принимается большинством населения! Однако остается опять-таки неясным: а что, собственно, понимается под «демократией»?

Проблема интерпретации еще больше осложняется тем, что популярность «демократии по образцу западных стран» с приходом Путина к власти и с усилением антizападной риторики в государственной пропаганде заметно падает, равно как и популярность доминировавшей долгое время в массовом сознании советской модели политического устройства.

Какая политическая система кажется Вам лучшей: советская (та, которая была у нас до 1990-х годов), нынешняя система или демократия по образцу западных стран?



N=1600

Следует только учесть, что, несмотря на сохранявшуюся довольно долго ностальгию по советской системе, абсолютное большинство людей понимают, что вернуться к ней невозможно. Более того — они и не хотели бы туда возвращаться. Функция советской модели заключалась не в том, что народ считал ее оптимальной или даже предпочтительной, а в том, что она выступала условием для критики актуального положения дел в 1990-е и в начале 2000-х годов. Ретроспективная идеализация советского времени была необходимым условием для выражения массового недовольства настоящим, средством выплеснуть свое раздражение тем, что власти так и не выполнили своих обещаний по «социальному договору», который полагался в начале реформ. И одновременно усиливалось трезвое сознание утопичности или иллюзорности первоначальных (послепутчевых) представлений о возможностях быстрого и прямого переноса западных демократических форм на российскую почву.

На этом фоне росло признание легитимности нынешней системы...

Игорь КЛЯМКИН:

Да, это видно на вашем слайде: сейчас ей отдают предпочтение свыше 35% респондентов, что заметно больше доли приверженцев и советской модели, и западной...

Лев ГУДКОВ:

Для подавляющего большинства населения законность и правомерность нынешней системы основывались не просто на самом факте ее утверждения (нормативность фактического — важнейший элемент политической культуры общества, адаптировавшегося к государственному насилию). Путинский режим оказывался прагматически приемлемым, поскольку его развертывание и укрепление совпало с выходом экономики из трансформационного спада 1990-х годов, а также с долгожданным материальным благополучием, вызванным перераспределением доходов от нефти и экспорта сырьевых продуктов.

Кроме того, основной массой населения репрессивный и авторитарный характер этого режима не ощущался, поскольку наиболее значимые для массы свободы, полученные во время ельцинского правления (потребления, заработка, развлечений, мобильности) не были затронуты. К тому же сохранилась видимость политического выбора — известное разнообразие политических партий, удовлетворяющее представлениям неразвитой массы. Немаловажным обстоятельством было и то, что значительной частью населения Путин воспринимался в качестве связующего звена между советской эпохой и нынешним временем, как политик, восстановливающий все, что составляло предмет национальной гордости населения бывшей «супердержавы». Особенно характерно такое восприятие было для социальной периферии, для бедных, малообразованных и консервативно настроенных слоев, травмиро-

ванных распадом СССР и утратой символической идентичности с великой империей, компенсировавшей убожество их повседневного существования.

Сокращение масштабов абсолютной бедности, устойчивый рост уровня жизни вели к тому, что население постепенно успокаивалось после кризисных 1990-х. Начинался потребительский бум, особенно заметный в той среде, которая сильнее всего ориентировалась на западные ценности и идеалы. И суть дела здесь даже не столько в оппортунизме, характерном для образованных слоев, бюрократии и российского предпринимательства, сколько в массовой потребности поверить наконец в возможность лучшего будущего, в предсказуемость жизни.

Несмотря на то, что сами доходы распределялись крайне неравномерно, у людей после десятилетия потрясений, после длительного состояния дезориентации, аномии, хронической фрустрации, о силе которых мы можем судить только теперь по их последствиям, возникло ощущение, что жизнь и в самом деле налаживается. И население готово было ради этого повышения уровня жизни жертвовать и менее значимыми свободами, и демократией. Потому что, вообще говоря, понятие свободы для обывателя, для нормального обычного человека расшифровывается прежде всего именно как ощущение свободы от нужды, как обеспеченность экономического существования.

И тем не менее большинство россиян, как мы видели, продолжают выступать за демократию. Что же они под ней подразумевают? Что такое в их глазах «демократия»?

Для удобства восприятия я разделил ответы на этот вопрос на две колонки: позитивные и негативные значения «демократии».

С чем, в Вашем представлении, прежде всего связывается слово «демократия»?

(В % к числу опрошенных, возможен выбор нескольких вариантов)



Ноябрь 2006, N=1600

Если мы посмотрим вначале на позитивные ответы, то увидим, что, вообщем говоря, наиболее частые среди них не связаны с тем пониманием демократии, которое предполагает функционирование современных институтов (представительство интересов, разделение властей, конкуренция партий, контроль над исполнительной властью, баланс сил и т. п.). Правовые «гарантии соблюдения властью прав и свобод граждан» (такой ответ дали 27% опрошенных) напрямую не связаны с понятием «демократия». Напомню, что идея правового государства возникла раньше современных демократий — она появилась еще в XVIII веке как часть философии ограничения государственного произвола, присущего абсолютизму. Хотя в дальнейшем эта идея и побудила правоведов и политических мыслителей искать и разрабатывать те процедуры, которые бы обеспечивали контроль над властью и ограничивали ее произвол, само по себе такое понимание политического устройства еще не предполагало утверждения демократии. Последняя включает в себя еще и определенные механизмы обеспечения ответственности держателей власти за проводимую ими политику, т.е. механизмы смены власти. Она включает в себя презентацию интересов разных групп населения и реализацию политических программ в проведении определенной бюджетной политики, во внутреннем управлении. Она включает в себя зависимость легитимности власти от характера политического курса и возможности смены правительства и еще многое другое.

Так вот, до понимания того, как практически должны быть увязаны идеи и интересы, массовое сознание россиян еще не дошло. Хотя смутную потребность в такого рода процедурных механизмах оно чувствует, но только преимущественно в негативном виде: как нежелательность или опасность длительного пребывания у власти одних и тех же лиц. Около 60% респондентов считают необходимыми периодические перевыборы власти, наличие оппозиционных партий и неприемлемость ограничения прессы (если только дело не касается цензуры общественных нравов).

Следующий вариант тестовых ответов на понимание демократии — «справедливое управление государством с участием всех граждан на равных основаниях» (27%) — представляет собой отзвук популистской риторики позапрошлого века или школьных знаний о полисной демократии. «Возможность критики властей всех уровней» (13%) — это опять-таки рефлекс перестроекных времен, массовых настроений, захвативших продвинутые группы в эпоху гласности, смелое утверждение самой возможности безнаказанной критики властей на всех уровнях. Отчасти данную позицию можно трактовать как установку на контроль власти обществом, но мне это кажется все же довольно вольной трактовкой и слабым ходом в интерпретации такого рода данных.

Только последние две позиции в этой колонке отражают, собственно, представления о демократии как работы демократической машины, предпо-

лагающей разделение властей, конкуренцию политических партий и т.п., т.е. важнейшие компоненты демократического устройства. Если учесть, что сумма всех ответов здесь в целом превышает 100%, так как каждый второй респондент дал два или более вариантов ответа, то совокупная доля сторонников двух последних позиций окажется равной примерно 12–15% населения. Но эта группа состоит из самых компетентных опрошенных. Таков, строго говоря, масштаб либерального или демократического ядра российского общества. Это именно те, кто постоянно голосовал за демократов, кто использует в своей практике максимальное число источников информации, это самые квалифицированные и последовательные сторонники вестернизации России.

Однако потенциал демократии, естественно, гораздо больше, чем ядерный массив убежденных демократов. Можно представить себе своего рода «поперечный срез» демократически ориентированных россиян. Он будет состоять из нескольких концентрических кругов: просвещенного ядра (12–15%), более или менее последовательных сторонников демократии, неготовых, однако, к участию и принятию ответственности (еще 15%) и размытой, аморфной массы пассивных граждан, в принципе предпочитающих не репрессивные, не авторитарные методы государственного управления (30%).

Важно подчеркнуть также, что удельный вес позитивных и негативных значений демократии заметно различается в разных социальных группах.

***Соотношение позитивных и негативных ассоциаций,
возникающих у опрошенных
в связи с понятием «демократия»***

В СРЕДНЕМ –		1,5
Возраст		
18–24		2,5
25–39		1,3
40–54		1,4
55 лет и старше		0,9
Образование		
Высшее		1,6
Среднее, среднеспециальное		1,3
Ниже среднего		1,0
Семейный доход		
Высокий		1,5
Выше среднего		1,9
Ниже среднего		0,9
Низкий		0,9

Позитивные, хотя и сильно размытые ассоциации с демократией в гораздо большей степени присущи молодым, образованным горожанам или, чтобы быть более точным, жителям самых крупных городов. За неимением времени я не буду особо комментировать это обстоятельство. Негативные же суждения о демократии чаще выносят люди, принадлежащие к уходящему советскому поколению. В их ответах отчетливо проступает рессентиментная тональность бедного и завистливого человека, воображающего, что справедливый государственный порядок — это порядок, при котором государство обеспечивает граждан всем необходимым, что нужно для скромного существования. Проблема, однако, в том, что подобные патерналистские настроения широко распространены и в других социальных группах, причем независимо от того, как их представители относятся к демократии.

На очередном рисунке мы видим идеальную картину отношений между государством и гражданами, как она представляется нашим людям.

Как Вы думаете, как должны складываться отношения между государством и его гражданами?

Государство должно как можно меньше вмешиваться в жизнь и экономическую активность своих граждан



2001, январь

Государство должно устанавливать единые для всех правила игры и следить за тем, чтобы они не нарушились



2006, март

Государство должно заботиться о всех своих гражданах, обеспечивая им пристойный уровень существования



Затрудняюсь ответить



N=1600

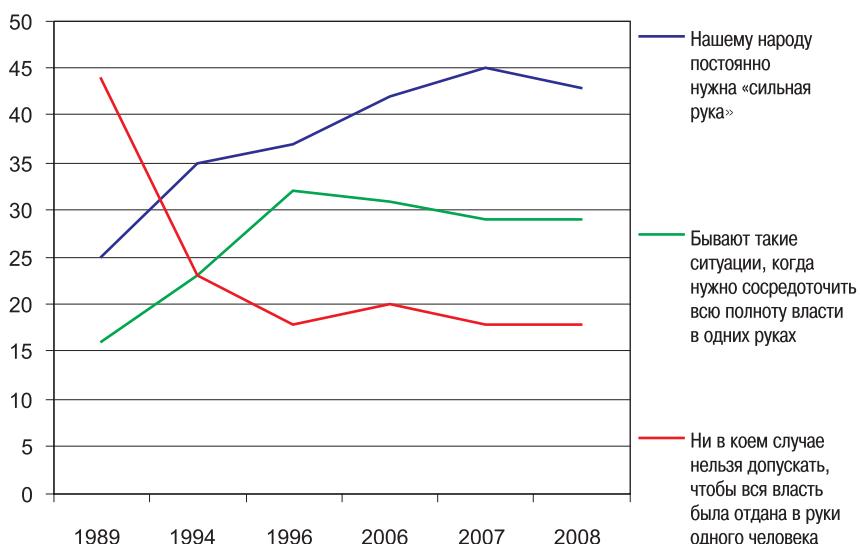
Это идеал чисто патерналистского государства: оно должно заботиться обо всех своих гражданах, обеспечивать им и работу, и жилье, и медицинское обслуживание, и определенный — пристойный, подчеркиваю, — уровень существования. За пять лет (2001–2006) заметно, что основные соотношения немножко изменились, но не принципиально. Ограниченностю собственных возможностей и ресурсов действия оборачивается двусмысленной надеждой на государство. Двусмысленной постольку, поскольку абсолютное большин-

ство точно знает, что государство этих своих обещаний выполнить не может и выполнять их не собирается.

Об этом говорит неизменно низкий уровень доверия к основным общественным или политическим институтам — местным властям, милиции, суду, прокуратуре, Думе, партиям, профсоюзам и т.п. Недоверие к институтам и ощущение собственного бессилия, невозможности влиять на происходящее сопровождалось усилившимися с конца 1980-х годов надеждами на сильного лидера, который в состоянии контролировать деятельность других органов власти и заставить чиновников выполнять то, что они обязаны делать в соответствии со своими должностными обязанностями.

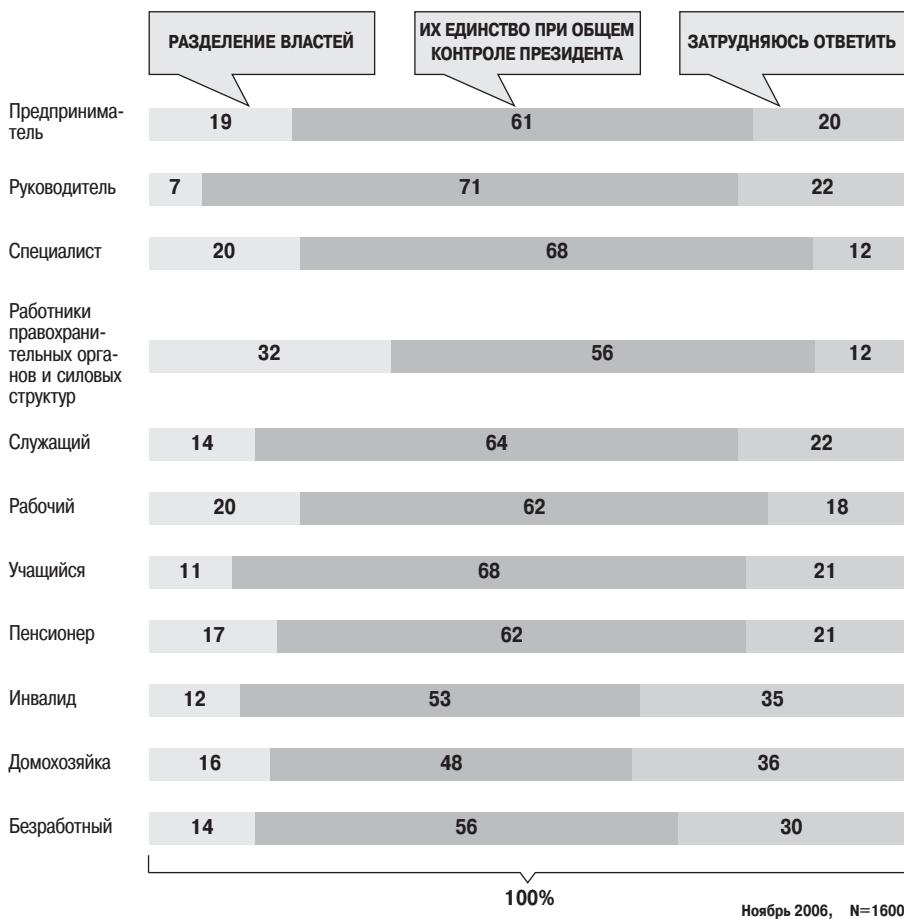
Можно сказать, что именно непонимание того, как может быть практически реализована «демократия», парадоксальным образом заставляет людей призывать для этого авторитарных лидеров — даже вопреки ясному сознанию, что интересы обычных людей, «общества» и «власти» радикально расходятся.

Бывают ли, по Вашему мнению, такие ситуации в жизни страны, когда народу нужен сильный и властный руководитель?



А вот как ответили россияне еще на один вопрос. В данном случае их предпочтение, отдаваемое «единству власти», олицетворяемому президентом, перед принципом разделения властей проявилось еще более отчетливо.

Что, по Вашему мнению, было бы лучше для России – система разделения власти или «совместная работа», координируемая президентом?



Специально обращаю ваше внимание на то, что респонденты не воспринимают свои ответы как противостоящие демократии, как альтернативные ее принципам. Просто в массовом сознании парадоксальным образом сочетаются установки на демократию с ориентацией на персоналистскую власть. Такая власть считается, очевидно, наиболее адекватной сущности государства и желательному характеру его отношений с населением, который выглядит следующим образом.

Какой принцип отношений между государством и его гражданами Вы бы лично поддержали?

	1990	1997	2007	2009
Люди должны пойти на некоторые жертвы ради блага государства	7	6	4	7
Государство должно больше заботиться о людях	57	68	80	79
Люди должны проявлять инициативу и сами позаботиться о себе	25	18	13	12
Затрудняюсь ответить	11	8	3	2

Но при этом отношение к «людям, находящимся сегодня у власти» и олицетворяющим в глазах населения государство, совершенно недвусмысленно негативное.

Вы считаете, совпадают ли сейчас в России интересы власти и общества?

Определенно да + скорее да	28
Скорее нет + определенно нет	62
Затруднились ответить	9

2007 г., ноябрь; N=1600

Нынешняя политическая «элита» предстает жадной, коррумпированной, эгоистически мотивированной группой людей, держащих в своих руках все рычаги власти, цепляющихся за нее, внутренне озабоченных лишь борьбой за власть и стремлением удержать ее, а потому блокирующих свободное, имманентное развитие других институциональных сфер, о чем я уже говорил. Монополия на средства принуждения (спецслужбы, суд, правоохранительные органы) выступает как инструмент защиты власти от населения и принуждения его к выполнению того, что хочет власть. Право произвольно толкуется теми, кто должен обеспечивать равенство всех перед законом.

Однако следует особо подчеркнуть, что из этой категории («людей, находящихся сегодня у власти») первые лица государства массовым сознанием выводятся. Напротив, действует механизм переноса на них проективных значений коллективных идеальных «мы», приписывания им той мотивации действий, которую хотела бы видеть у них основная масса населения, расширивания их в цвета собственных надежд и иллюзий. Но тем самым происходит и разгрузка их от ответственности и, соответственно, от критики. В этом и заключается один из секретов устойчиво высокого рейтинга тefлонового президента Путина и его преемника. А вся тяжесть последствий за проводимую или непроводимую политику падает на ближайшее окружение — тех самых «людей у власти», которые играют роль злых бояр при добром царе.

Как Вы расценили бы людей, находящихся сейчас у власти?



Отмечу любопытный момент, указывающий на силу пропаганды и применения административного ресурса. Негативные представления о власти, которые существовали на протяжении 15 лет, заметно ослабели в ходе предвыборных кампаний 2007 и 2008 годов. Кривая негативизма резко пошла вниз, что указывает на особый эффект политтехнологической работы, достигнутый благодаря монополизации средств массовой информации, исключению альтернативных источников информации и критики, вытеснению оппозиции, фактическому блокированию любых авторитетов и инстанций, кроме официозных.

В целом, как я говорил, надежда на власть, т.е. патернистские иллюзии, конечно, существует как один из планов реальности. Но повседневное поведение граждан строится на совершенно других представлениях о власти и чиновничестве, гораздо более pragматичных и лишенных каких-либо намеков на идеальность. Господствует ясное понимание принципиального расхождения, более того — несовместимости интересов власти и общества...

Игорь КЛЯМКИН:

И какую же роль в таком случае играет ориентация на демократию, о чем вы говорили раньше?

Лев ГУДКОВ:

Вопрос ожидаемый, и я на него, разумеется, постараюсь ответить. Необходимость постоянно адаптироваться к властному произволу создает у рядового

человека своеобразную структуру двоемыслия, нейтрализующего действенность представлений о демократии, заставляя их быть как бы условно реальными, взятыми временно «в скобки», подвешенными, но не забытыми или ничтожными. Благодаря такому повороту в интерпретации «демократии» мы можем более адекватно судить о том, какие же функции выполняют представления о ней у разных групп российского общества.

Очень грубо и схематично можно говорить о том, что представления о демократии выступают либо как дальние ориентиры политического действия и собственного участия в общественно-политической жизни, либо как средство легитимации власти, либо как моменты самоидентификации элиты и наиболее продвинутых групп (своего рода флагки и средства самодемонстрации). Но все это вовсе не обязательно предполагает или требует каких-либо практических действий по продвижению демократии или ее защиты. У разных групп понятие «демократия» играет различную роль, но подробно описывать ее у меня сейчас нет возможности.

Хочу только остановиться еще раз на господствующем мнении о принципиальном и непреодолимом расхождении интересов власти и населения. Это важный момент, позволяющий понять природу двоемыслия российского массового сознания, показывающий, как происходит блокировка рационализации политической проблематики в нашем обществе, как вытесняется из сознания людей мысль о необходимости и возможности их собственного участия в общественной деятельности, принятия ими ответственности за происходящее, а стало быть — и рецепция демократической идеологии. Власти не доверяют, но при этом демонстрируют им внешнюю лояльность. На них надеются, но одновременно наделяют их самыми отвратительными качествами. Двоемыслie — один из наиболее действенных механизмов адаптации к репрессивному государству, к неподконтрольной власти. Это основа того, что называется «русским терпением».

Лукавое сознание чрезвычайно важно в наших условиях. С одной стороны, оно ведет к девальвации всех ценностей, что смягчает остроту напряжения, вызванную разными требованиям к человеку (запросами разных групп, институтов, усвоенной культуры). С другой стороны — к появлению устойчивой атмосферы аморализма и цинизма и политической пассивности, замыканию людей в ближних — семейных, соседских, дружеских — общностях, т.е. тех, внутри которых люди друг другу доверяют. А это означает резкое разграничение сфер ответственности, этический, ментальный и социальный партикуляризм, мозаичность существования индивида в отдельных сегментах реальности, в которых действуют свои особые, не повторяющиеся в других обстоятельствах и ситуациях нормы и правила поведения.

Приведу еще один пример — поведение россиян на выборах. Октябрьские выборы 2009 года превратились в издевку над самим смыслом «выбора», стали чистым фарсом. Мы никогда до этого не фиксировали такой высокий процент

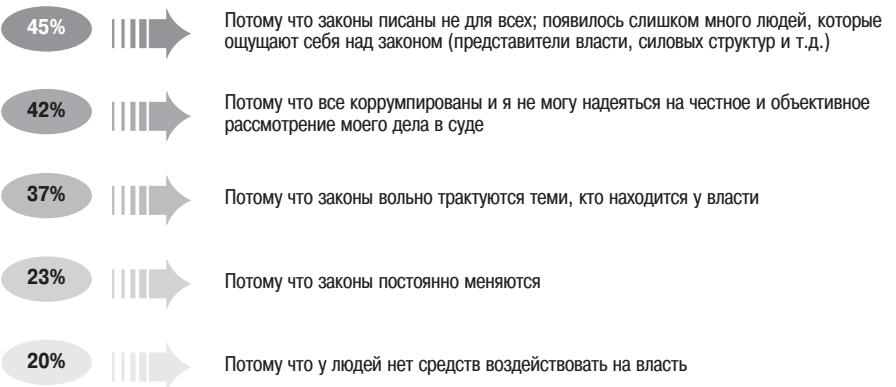
людей (62% респондентов), заранее считавших, что предстоящие выборы будут имитацией борьбы, чистой инсценировкой, необходимой властям для каких-то своих целей. 38% москвичей еще за 12 дней до выборов заявили, что они будут фальсифицированы, проходить с разного рода манипуляциями и давлением на избирателей и понятно в чью пользу (более 50% опрошенных полагали, что подтасовки и приписки будут произведены в пользу «Единой России»).

Такое мнение преобладало даже среди избирателей самой «Единой России»: большинство из них — 56% — разделяло такие настроения. Среди прокремлевской «оппозиции» таких было от 75% (среди сторонников «Справедливой России») до 77–79% (у ЛДПР и «Яблока»). Население видит произвол, видит беззаконие, но не видит способов противостояния ему и почтает за лучшее ко всему этому приспособливаться. Россияне не чувствуют, что их права гарантированы, не чувствуют себя защищенными законом. Но ответственность за происходящее они возлагают исключительно на все тех же «людей у власти». Поэтому и ответы на вопрос «Почему Вы не чувствуете себя под защитой закона?» тоже не выглядят неожиданными.

Почему Вы не чувствуете себя под защитой закона?

(Вопрос задавался тем, кто не чувствует себя под защитой закона)

68% не чувствуют себя под защитой закона

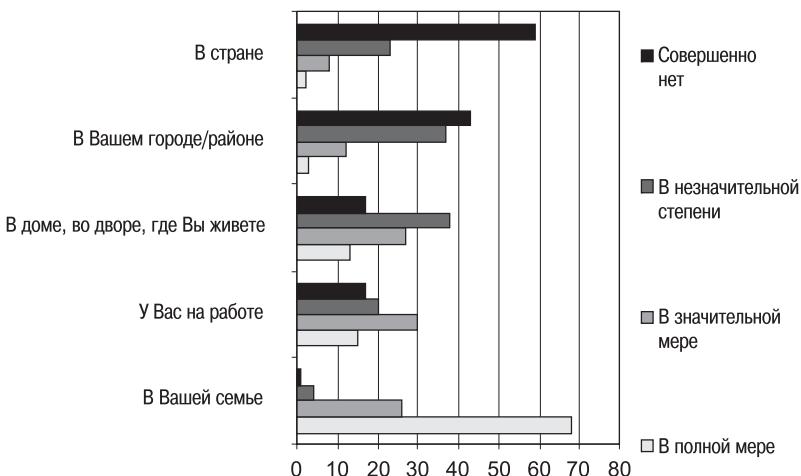


Ноябрь 2006, N=1600

Понятно, что при таком самоощущении общества о его готовности брать на себя какую-либо гражданскую ответственность говорить не приходится. Люди ощущают ответственность и готовы принять какое-то участие в общественных делах, проявить заботу, осуществлять деятельность только там, где они могут оказать какое-то влияние. А если не могут, то ответственности не ощущают,

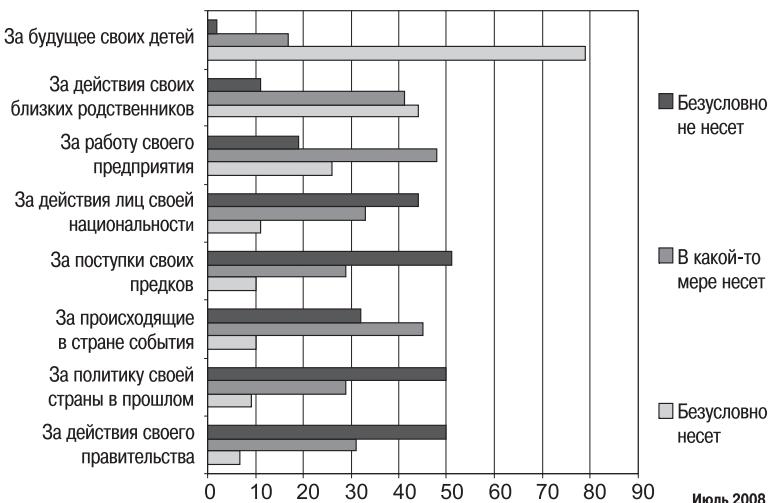
о чем и свидетельствуют их ответы (я специально беру именно 2006 год — пик рутинной поддержки путинского режима до электоральной мобилизации 2007-го):

Ощущаете ли Вы ответственность за то, что происходит... (2006)



Не менее красноречивы и ответы на другой вопрос:

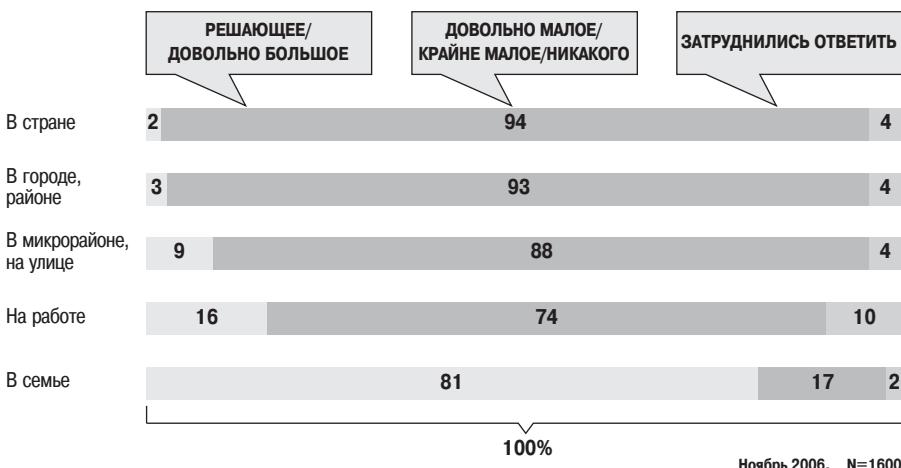
**Как Вы считаете, несет ли человек моральную ответственность?
(Дайте ответ в каждой строке)**



Люди чувствуют свою ответственность за семью, в меньшей степени — за положение дел на работе, но не в стране, городе, районе и даже в доме. При мерно такие же раскладки ответов мы получаем в вопросах об участии в деятельности неправительственных организаций, акциях гражданского общества. А на вопрос о возможности контроля граждан за деятельностью власти самый распространенный ответ: «Этого не было и нет».

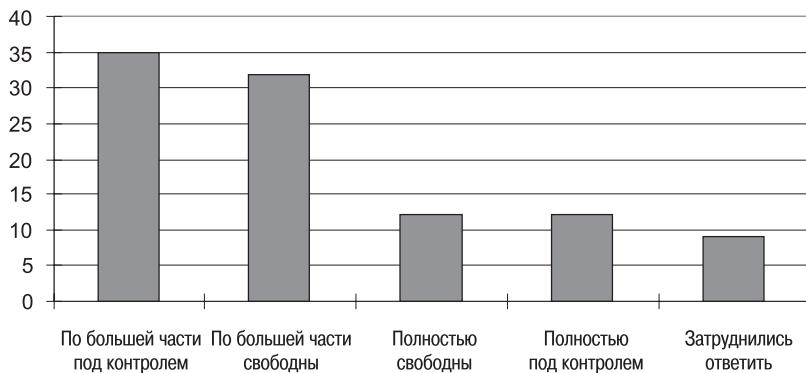
Население в массе своей не чувствует ответственности за происходящее, потому что не ощущает возможности влиять на положение дел в обществе. В скользь я уже об этом говорил, а теперь иллюстрирую это утверждение цифрами.

Какое влияние Вы можете оказывать на то, что происходит...



Таким образом, декларируемая ориентация на демократию сочетается не только с авторитарно-патерналистскими установками, но и с дефицитом гражданской ответственности и ощущением невозможности результативно проявить ее. Еще раз подчеркиваю: россияне, как правило, не ставят под сомнение значимость таких признаков демократии, как периодические выборы депутатов всех уровней, свободные и честные, выборность губернаторов, выборность высших лиц государства, а не произвольное их назначение руководством страны. Раз за разом в наших опросах за это выступает более 2/3 опрошенных, т.е. подавляющее большинство населения. И свобода СМИ как инструмента общественного контроля за действиями властей на протяжении всех 1990-х годов считалась главным достижением перестройки и первого этапа реформ. Но сегодня российское общество в своих представлениях о наличии в стране такой свободы выглядит расколотым.

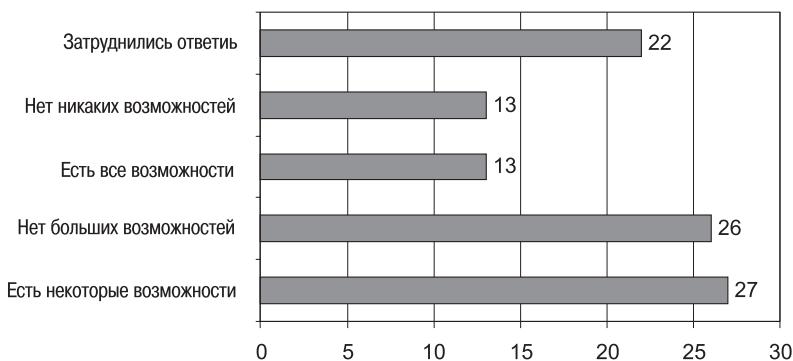
Как Вы считаете, СМИ в России сейчас свободны от государственного контроля или нет?



Август 2009, N=1600

Как видим, 48% опрошенных считают, что телевидение, пресса и радио находятся под контролем властей, но 43–44% не видят каких-либо ограничений свободы СМИ. Очевидно, в таком неразличении свободы и несвободы проявляется размытость в массовом сознании связи между свободой СМИ и качеством повседневной жизни. Примерно такие же пропорции обнаруживаются и в восприятии населением возможностей для деятельности в стране оппозиционных партий.

Как Вы полагаете, имеют ли оппозиционные партии и деятели в России реальные возможности представлять свои позиции?



2006, N=1600

Эти представления выглядят, конечно, странными, быть может, даже парадоксальными. Но и здесь, возможно, сказывается то, что деятельность оппозиционных партий, по мнению большинства населения, никак не связана с его повседневными интересами. Поэтому ограничение возможностей этих партий многими не замечается. Ведь если они не артикулируют интересы тех или иных социальных групп, не рационализируют повседневные проблемы их жизни, то они неизбежно теряют внимание и доверие людей.

Дело не только в том, что сегодня для этих партий заблокирован доступ к телевидению, но и в том, что они мало, по мнению опрошенных, озабочены делами основной массы населения. В том, что они заняты прежде всего борьбой за власть, за свои партийные интересы и не работают так, как должны работать массовые политические партии. Ну а если плохо работающими выглядят те или иные властные структуры, то опять же не потому, что у них мало свободы, а потому, как полагают многие, что они недостаточно контролируются другими институтами. Мы снова убеждаемся в том, что идея разделения властей в российском обществе глубоких корней пока не пустила.

**Должна ли деятельность суда и законодательной власти (разного уровня)
контролироваться органами исполнительной власти?**

	Судебной власти	Законодательных органов
В полной мере	27	22
В некоторой степени	29	32
Они должны быть полностью независимы	27	22
Затруднились ответить	17	24

2006, N=1600

Это — представление о том, как должно быть. А вот оценки того, как обстоит дело в реальности.

**Контролируется ли органами исполнительной власти деятельность
судебной системы в Вашем городе, районе?**

Полностью независима	8
Контролируется правительством	12
Контролируется местной властью	17
Коррумпирована, каждый, у кого есть деньги, может добиться благоприятного для себя решения	37
Затруднились ответить	31

2006, N=1600

Игорь КЛЯМКИН:

Очень много затруднившихся ответить — почти треть...

Лев ГУДКОВ:

Да, потому что обычным людям, похоже, не очень понятно, что такое независимость законодательной или судебной власти и зачем такая независимость нужна. Слово «контроль» им гораздо понятнее. При этом другие наши данные показывают, что в конечном счете это связано с той сильной символической нагрузкой на высшее руководство страны, которая существует в их сознании из-за неудовлетворенности функционированием институциональной системы в обществе и недоверия к ней. Это и заставляет видеть в первых лицах государства высших арбитров и силу, способную подавить или нейтрализовать произвол нежеллежащих уровней управления. Получается, что именно коррумпированность судебной власти (как и депутатского корпуса или чиновничества) трансформируется в сознании людей в требование усиления контроля, под которым прежде всего подразумевается контроль со стороны президента и национального лидера.

И тем не менее в последние годы люди чувствовали себя все более свободными, потому что рос достаток, появлялась надежда на будущее. А это главный критерий их самоопределения и восприятия режима как несколько более справедливого, чем были коммунистический и сменивший его ельцинский, а значит — и более «демократического». Свобода от нужды — это освобождение от чувства хронического унижения и несправедливости. Наступление эпохи путинской «стабилизации» означало появление возможности достойно жить на зарплату и пенсию, и, как вы видите на следующем слайде, за 12 лет (1995–2007) эта изменившаяся реальность заметно отразилась на самих представлениях россиян о том, что есть «стабилизация».

Что лично для Вас в первую очередь означает стабилизация положения в стране?

	1995	2007
Возможность достойно жить на зарплату или пенсию	32	53
Преодоление инфляции и роста цен	38	46
Рост производства	36	38
Преодоление контрастов между жизнью «богатых» и «бедных»	12	29
Обуздание преступности	34	19
Устойчивость государственной власти	23	18
Возрождение духовных и культурных ценностей	11	14
Возрождение государственного достоинства и славы России	11	10
Ликвидация «горячих точек», межнациональных конфликтов	18	11
Затруднились ответить	6	2

Август, N=1600, ранжировано по 2007 г.

Можно сказать, что рост благосостояния — это сегодня в глазах большинства россиян главное, отодвигающее все остальное на периферию сознания. Отсюда довольно низкая оценка деятельности правозащитных организаций и довольно отчужденное или отстраненное отношение к нарушению прав человека и тому подобным вещам. Мнение, что нарушения такого рода очень распространены в нашей жизни, разделяют 47% опрошенных, но очень большая часть россиян полагает, что их можно терпеть — лишь бы продолжалось начавшееся повышение жизненного уровня.

Несколько слов об отношении к западной демократии. Как бы там ни было, она является источником соответствующих политических представлений в России и перспектив утверждения в ней демократии, что бы ни говорили культурологи об архетипах российской цивилизации. Так вот, западная демократия воспринимается населением как некоторое желаемое направление развития России, хотя, под влиянием очень мощной и эффективной антизападной пропаганды, привлекательность западной культуры систематически гасится. Сохраняется (а временами даже усиливается) ощущение исходящей от Запада угрозы или опасности утраты собственной идентичности. Все это есть и будет воздействовать на массовое сознание еще довольно долгое время.

Но главная проблема эволюции России заключается не в том, чтобы вносить «идеи демократии в массы» (они уже усвоены), а в том, чтобы показать, как работает демократия и как она должна быть устроена, чтобы людям от нее была реальная польза. А это невозможно без рационализации проблематики повседневного существования населения, без связи демократических идей с рутинными интересами людей. Но такого рода работа — прямая задача элит. А российские элиты — очень слабые, с очень ограниченным интеллектуальным и культурным ресурсом, их кругозор и характер самопонимания не слишком отличаются от массовых представлений. Сегодняшние элиты едва ли в состоянии реализовать подобные цели, сделать понятными вопросы такого рода для масс.

На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание.

Леонид ВАСИЛЬЕВ (*главный научный сотрудник Института востоковедения РАН*):

У меня вопрос. Когда вы проводите опросы накануне выборов, вы даете цифру в 50, а то и больше процентов, готовых голосовать за «Единую Россию».

Лев ГУДКОВ:

Это от числа людей, готовых принять участие в голосовании.

Леонид ВАСИЛЬЕВ:

Предположим, но не многовато ли?

Лев ГУДКОВ:

Понимаете, для анализа даже таких относительно простых социальных факторов, как электоральное поведение, мы никогда не ограничиваемся ответами на один-единственный вопрос. Обычно используется целый набор диагностических вопросов, хотя для иллюстрации, как правило, приводится какой-то один из них. Кроме того, строится (на основе предшествующего опыта и длительных замеров) модель электорального поведения, причем учитываются разные ситуативные факторы, повышающие или понижающие вероятность явки, голосования за ту или иную партию, популярность лидера или партийной программы, общая ситуация и т.п.

В целом это довольно сложная процедура пересчета, взвешивания, учета разной готовности прийти на избирательные участки. Перед выборами в опросах задается масса вопросов. При каких условиях вы пойдете голосовать? Откуда вы берете информацию о кандидатах или партиях? Что вас привлекает в том или ином кандидате? Голосовали ли вы или ваши знакомые, родственники за эту партию? Как вы сами голосовали на предыдущих выборах?

Это довольно массивный блок вопросов, которые должны зафиксировать устойчивость мотивации и другие характеристики респондента. У избирателей разных партий эти характеристики могут отличаться или ранее отличались, потому что сегодня демократические и либеральные партии дискредитированы и вытеснены из избирательного поля. Основная масса их сторонников 11 октября не пошла голосовать. То же самое, впрочем, было и на последних думских выборах.

Что касается конкретно «Единой России», то она, как отмечается всеми аналитиками, набрала бы самый высокий процент голосов и без фальсификаций, хотя и значительно меньший, чем ей приписали. Меньшим этот процент был и по нашим данным.

Александр МАДАТОВ (доцент РУДН):

В отдельных вопросах анкет, в частности в вопросе, существует ли в России демократия, предлагается несколько вариантов ответов. Но что понимать под демократией? И необходимо ли было респонденту выбирать какой-то один вариант? Или несколько вариантов? Это первое, о чем я хотел спросить. И второе: опрашивается 1600 человек. Есть ли у вас под рукой структура выборки, социальный состав опрашиваемых?

Лев ГУДКОВ:

Мы проводим репрезентативные общенациональные опросы, а это значит, что структура выборки воспроизводит основные характеристики генеральной совокупности, т.е. всей популяции, всего населения страны. Речь идет о таких характеристиках, как пол, возраст, образование, структура рассе-

ления, этнический состав, профессиональная занятость. Кто не входит в число опрашиваемых? Во-первых, заключенные, во-вторых, военнослужащие срочной службы, находящиеся в казармах, в-третьих — больные в лечебных учреждениях и еще некоторые категории. До кого мы не дотягиваемся? До самых богатых и до социального дна.

Коротко скажу о формулировках вопросов. Когда мы задаем их впервые, обычно поиск формулировки проходит несколько стадий. В благоприятных ситуациях, когда есть возможность провести предварительно фокус-группы, сама дискуссия позволяет выявить типовые аргументы и определения. Потом мы это прокручиваем на открытых вопросах (без предлагаемых вариантов ответов).

Если говорить конкретно о демократии, то я могу привести в качестве иллюстрации один из недавних опросов, когда люди сами отвечали, без всяких подсказок, на открытые вопросы, в том числе и о демократии («Что такое, по Вашему, демократия?» или близкий по смыслу вопрос). Было получено от 40 до 50 различных вариантов ответов, которые в целом можно свести к пяти группам. Прежде всего, под «демократией» понимаются различные свободы (треть всех ответов на вопрос). Кроме того, это «выборы», честные и равноправные (7% всех ответов), «законность» (8%), «равенство» (5%), «достойная жизнь» (4%). И еще были очень туманные, неопределенные, не поддающиеся расшифровке ответы: «власть народа» (11%) и схожие высказывания. А после этого идет селекция формулировок, пилотаж и апробация вопросника. Затем уже готовятся разные варианты формализованных ответов, и эти варианты проверяются в разных опросах.

Хочу, однако, подчеркнуть: как бы ни различались методики, если вы корректно проводите опрос, то вы фиксируете не сумму индивидуальных мнений, а типовые коллективные представления, обладающие своей нормативностью, подчиняющие себе мнения не определившихся или слабых членов сообщества. Эти представления всегда схематичны, стандартизованы и потому исчисляемы. Разумеется, они беднее индивидуальных мнений. Как говорил Юрий Александрович Левада, «одинокий волк всегда умнее стаи». Но коллективные представления — не случайные вещи; они, в отличие от индивидуальных структур сознания, принудительны для отдельных индивидов.

Игорь Клямкин:

У меня тоже вопрос. По сути, мы говорим о потенциале демократии российского общества. И хотелось бы все же понять, каков этот потенциал, как его можно определить. На основании ваших опросов, разумеется.

Лев Гудков:

Ядро людей с демократическим образом мыслей составляет, как я говорил, 12–15%. Но есть окружающие его слои с неустойчивыми реакциями и с при-

чудливым и противоречивым сочетанием самых разных представлений, в том числе и либеральных. И наконец, внешний контур составляют (в моей конструкции демократического потенциала) те, кто, имея самые туманные и неопределенные представления о демократии, хотели бы ее установления в России.

Игорь КЛЯМКИН:

А можно ли по вашим данным судить о том, настроено ли население против демократии — разделения властей, свободной политической конкуренции, против нормальных выборов? Правомерно ли рассматривать умонастроения российского общества как препятствие на пути утверждения демократических институтов? Ведь именно это обычно имеют в виду, когда говорят, что россияне «до демократии не дорошли»...

Лев ГУДКОВ:

Нет, сопротивления демократическим идеям в российском общественном мнении мы не обнаруживаем. Если оно и есть, то не очень значимое, не очень сильное. Но факт и то, что в последние 10–15 лет настроения россиян довольно заметно менялись.

В первой половине 1990-х годов вопросы, связанные с демократией, очень оживленно и активно обсуждались, проблематика рационализировалась, рассматривались разные ее аспекты, а сама тема подлежала систематической проработке, постоянно была предметом дискуссий на телевидении и в газетах. Это было на слуху, эта тематика была понятна многим людям. Вы видели, что в 1989 году мнение «Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы власть была отдана в руки одного человека» было предельно концентрированным, его разделяли почти 45% населения. Это была самая большая группа респондентов, данное мнение в обществе доминировало. А далее произошло то, что произошло. С началом реформ, а потом началом чеченской войны популярность Ельцина и всего, что с ним было связано (разговоры о свободе, демократии и т.п.), — резко упала. Нижняя точка — это примерно 17%.

С некоторыми колебаниями удельный вес таких представлений сохраняет-ся и сегодня. Значит, это одна и та же среда, несущая такого рода идеи и взгляды. Это и есть те представители самых продвинутых групп, которые и должны были бы работать над задачами внесения в общественное сознание демократических представлений. Это не просто отдельные люди, это, вообще говоря, социальная опора элиты. Их мало, но дело здесь не в процентах, а в их функциях — в состоянии ли они задать новые образцы, могут ли они быть авторитетом для других групп. Их роль — вносить эти идеи, связывать с ними повседневные проблемы, а те в свою очередь — с практикой политического действия и государственного устройства.

Сегодня эти функции почти не реализуются. Поэтому представление о демократии остается для большинства населения очень туманным и нерационализированным. Сами идеи сохраняются, но они оказываются вне силового поля, вне возможности соединения интересов, идей и ценностей. Предложу вам такой образ: как вы знаете, если высыпать опилки на бумагу и поднести снизу магнит, то их хаотическое расположение немедленно структурируется. Вот такова и должна быть роль элит, наиболее авторитетных групп, которые структурируют массовые представления, соединяя их с повседневными проблемами существования, с экономическими интересами. И тогда диффузное, аморфное состояние в мозгах, которым характеризуются сегодня умы большинства населения (больше чем половины, до 2/3), превратится в структуры практической мотивации. Тогда нынешние абстрактные представления станут рабочими. Но для этого, повторяю, идеи демократии должны связаться с повседневной жизнью людей и сами люди должны понимать, как это увязано.

Сегодня кремлевская пропаганда, весь репрессивный аппарат направлены на то, чтобы разбить такие связи, рассеять внимание, показать, что нет альтернативы существующему режиму, сложившемуся порядку, нет никакой возможности выхода из этого состояния. Результаты налицо: за годы путинского правления в обществе укрепилась, очень усилилась циничная атмосфера.

Цинизм — важнейший фактор поддержания апатии населения и его дистанцированности от власти. Люди не хотят военного режима, но они готовы мириться с тем полицейским режимом, который реально существует, т.е. с полицейским не в немецком смысле (правовое, но недемократическое государство), а с чекистским. Не будем забывать, что у власти сегодня выходцы из структур тайной политической полиции.

Игорь КЛЯМКИН:

Понятно: будет царь — примут царя, будет политическая конкуренция — тоже возражать не будут. Аморфное, диффузное состояние массового сознания свидетельствует, как я понял, именно об этом?

Лев ГУДКОВ:

Оно свидетельствует о том, что видимого сопротивления политической конкуренции не будет.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Лев Дмитриевич. Предоставляю слово Марку Урнову.

Марк УРНОВ (декан факультета прикладной политологии ГУ—ВШЭ):

«Общество деградирует, и ситуацию может изменить только игра случая»

Цифры и комментарии Льва Дмитриевича меня не порадовали, но и не уди-

вили. Возможно, потому, что мое представление о нашем обществе совпадает с тем, что дают гудковские цифры.

Огорчили и удивили меня некоторые вопросы, которые задавались Гудкову после его выступления. Потому что, судя по этим вопросам, некоторые горячо любимые и уважаемые мной коллеги все еще остаются в пленах мифа о глубинной приверженности российского народа ценностям свободы и демократии, о стремлении народа влиться в западную цивилизацию и т.п. Нарисованная докладчиком картина этот миф разрушает. Отсюда нежелание ей верить, несмотря на авторитет Левада-Центра. Но, может быть, пора уже расстаться с интеллигентско-народнической мифологией обоснования демократии в России и трезво и объективно оценить ситуацию?

Ценности свободы в среднестатистическом российском человеке не укоренены, политическую демократию он считает чем-то весьма странным, частную собственность признавать не склонен.

В 2004 году мы проводили собственное исследование политических ориентаций россиян. В этом исследовании 70 с лишним процентов опрошенных высказались за то, чтобы тяжелая промышленность и ключевые отрасли экономики находились в руках государства. И примерно столько же народу сказали, что все государственные чиновники воры. Судя по всему, стремление к огосударствлению экономики перевешивает опасность того, что экономику разворуют.

Имущественное неравенство в российском обществе не легитимировано. Народ хочет прямо противоположного — равенства. Приоритет интересов личности над интересами группы тоже не легитимирован. Так что ответы на вопросы, предлагавшиеся Центром Юрия Левады, вполне логичны.

В утешение тем, кто страшится утраты веры в демократичность народа, могу сказать, что укорененность в массовом сознании авторитарного синдрома является не только следствием 74-летнего господства тоталитарного коммунистического режима, но и результатом нынешней эфирной политики контролируемых государством телеканалов. А этим каналам народ продолжает доверять. По данным Института социологии, в 1995–2007 годах доля россиян, которые в ходе опроса благожелательно воспринимали упоминание о США, уменьшилась с 77 до 37%, а удельный вес тех, у кого это упоминание вызывало неприязнь, возрос с 9 до 40%. Ухудшилось отношение и к Западной Европе. Ясно, что такая динамика во многом индуцирована СМИ. Но как бы то ни было, сегодня это факт сознания.

А что российская элита? А она примерно такая же, как народ. По нашим подсчетам, в России разрыв в ценностных ориентациях между людьми с высшим образованием, занимающими управленческие посты, и рабочим классом минимален. Между тем в США, Германии и других развитых странах этот разрыв достаточно велик: там когорта образованных управленцев значительно либеральнее рабочих.

Иными словами, у нас нет элитной группы, которая вела бы за собой людей в сторону либерализма. Элита наша — в полном смысле слова — «народная». Это часть народа, ничем с точки зрения ценностей и устремлений от него не отличающаяся. Разница только в положении во властной иерархии. Эти дети народа, точно так же как и среднестатистические россияне, думают не столько об общественном благе, сколько о собственном благополучии, не столько о долгосрочных тенденциях развития страны, сколько о сегодняшнем дне. Конечно же не все. Конечно же есть исключения. Но эти исключения системного эффекта не дают.

Есть ли в таком обществе демократический потенциал? По-моему, нет. Но это не означает, что он вообще не может появиться. Теоретически говоря, может. Что сейчас происходит? Общество деградирует: морально, физически, политически, технологически. И это будет продолжаться, пока игра случая не изменит ситуацию.

Представим себе, что вдруг каким-то (правда, плохо понятно каким) образом на верхнем этаже властной иерархии окажется группа людей, которые проникнутся трагизмом ситуации, поймут необходимость глубоких преобразований и захотят просветить народ и сделать ключевые группы общества ориентированными на либерализм и модернизацию. Это задача трудная, требующая много времени, сил и продуманной комплексной программы действий. Но это задача решаемая. Потому что общественное сознание очень противоречиво и, как следствие, очень пластично. Иных способов преобразования общественного сознания и создания в стране демократического потенциала, по-моему, не существует. Но вероятность такого сценария очень мала.

Рассчитывать на то, что кризис пробудит народ и тот наконец сам по себе «проснется, исполненный сил», откроет глаза и «все поймет», не стоит. По той простой причине, что в нашем обществе, в отличие от обществ западных, на фоне кризиса конформизм не ослабевает, а усиливается.

Так что я бы не обольщался. На сегодняшний день структурные условия, специфика элиты, специфика массового сознания и возможности контроля над массовыми настроениями не позволяют говорить о позитивных перспективах демократии и либерализма в России на обозримый период.

Что в этих условиях должны делать мы — люди, верящие в свободу и либерализм и не желающие загнивания и разворовывания страны? Мне кажется, что нам следует работать на долгосрочную перспективу. Мы должны просвещать и формировать людей, которые рано или поздно войдут в элиту и изменят ее структуру. Это единственное, что мы можем сделать.

Огорчает меня только то, что у нас может не оказаться времени, достаточного для формирования нормальной, полноценной, нравственной, ориентированной на либерализм элиты. Потому что с большой вероятностью страна в перспективе примерно 15 лет может просто развалиться. Вот на этой «радостной» ноте я бы хотел закончить свое выступление.

Наталья ТИХОНОВА (заместитель директора по научной работе Института социологии РАН, заведующая кафедрой социально-экономических исследований ГУ—ВШЭ):

«Демократия, даже в том виде, как население себе ее представляет, в России не утвердилась и не работает»

Я из-за ограниченности времени откажусь от замысла систематически изложить свою точку зрения на вопросы, которые вынесены на обсуждение сегодня. И попробую отреагировать на то, что уже звучало, поскольку у нас все-таки жанр круглого стола, а не просто обсуждение доклада.

Прежде всего, замечу, что я не могу согласиться с очень распространенным тезисом о двоемыслии и двоедушии нашего народа. Думаю, что мы имеем дело с гораздо более сложным феноменом. Существуют некие нормы, т.е. представления о том, как должно быть, и о том, как можно реально действовать в сложившейся ситуации. Это две совершенно разные плоскости, которые в сознании людей не пересекаются. Люди не хотят отказываться от присущих им норм, которые складывались поколениями, в основном еще в досоветское время, и в то же время наши респонденты достаточно здравомыслящие люди и они четко понимают, что реализация этих норм сегодня невозможна. Невозможно выжить в современных условиях, если будешь жить в полном согласии с этими нормами. И этой вилкой объясняется большое число странных, на первый взгляд, противоречий в данных опросах. Если говорить про методику, то на уровне инструментария эти два аспекта достаточно четко разводятся — методологически это не проблема.

Второй момент, на котором мне хотелось бы остановиться. Наши исследования показывают, что демократия для россиян — оптимальная модель развития общества. Однако при этом сама демократия понимается своеобразно. Но даже в том виде, как население себе ее представляет, демократия в России не утвердилась и не работает. И россияне не очень понимают, что они должны в сложившихся условиях делать для ее утверждения. Поэтому отставляют в сторону этот вопрос и начинают заниматься выживанием на индивидуальном уровне. Но это отнюдь не значит, что для них не важны ценности демократии, ценности свободы. Ценности свободы для наших сограждан важны исключительно, но свобода для них выступает несколько в иной ипостаси. Свобода на Руси — традиционно это воля, противоположность «неволи», «подневольности». Это порождает массу недоразумений.

Итак, свобода — это очень значимая ценность. Но, еще раз говорю, свобода сама по себе. Демократия же это все-таки система определенных правил и норм, которые востребованы в рамках соответствующей политической модели на определенном этапе развития общества. На каком этапе? На этапе, когда люди уже осознали, что они не просто частичка единого целого, а «отдельная самость», со своими интересами. Дальше эти интересы начинают группиро-

ваться. Возникает осознание, что нужны механизмы для их защиты. В принципе, мы сначала должны пройти этап социальной модернизации, потом социокультурной модернизации либо оба эти этапа пройти одновременно. Но у нас, к сожалению, этот процесс пока скорее в начале, чем в конце пути.

Не буду на этом подробно останавливаться — тема огромная. Скажу лишь, что модель эту нужно пробовать мерить по аналогии. То есть какая модель демократии — советская или западная — ближе населению России. Но если задуматься, а с тем ли типом общества, что на Западе, мы имеем дело в России, то нельзя быть уверенным, что западная модель демократии будет оптимальной моделью российского общественного устройства. С этой проблемой надо разбираться отдельно.

Может быть, мы находимся на том этапе, когда и экономически, и с точки зрения элементарного выживания населения более эффективной будет даже авторитарная модель — хотя, конечно, не тоталитаризм. Но пока я не видела убедительных свидетельств в пользу какой-либо из этих точек зрения. Эмоционально мы, как представители интеллигенции, тяготеем к западной модели. Но свои взгляды, свои предпочтения путать с объективной реальностью — это все-таки не дело ученых.

При этом надо помнить, что у нас все еще не завершена элементарная буржуазная революция, начавшаяся в 1905 году. Потому что базовый принцип равенства перед законом не обеспечен до сих пор. И первый признак демократии, который называет подавляющее большинство респондентов, — равенство всех граждан перед законом — до сих пор не реализован. Независимость судов и вообще все, что связано с этим формальным равенством прав, пока не обеспечено. И в этом отношении правовое государство действительно очень востребовано. Однако пока речь идет даже не столько о правах человека или о правах меньшинств, сколько об элементарном принципе формального равенства всех перед законом.

Третий момент — это проблема патернализма. Что показывает сравнение России и других стран? Нет у нас никакого патернализма. Меньше его только в Штатах и в других странах англосаксонской модели; из Восточной Европы — в Польше. Если говорить о классической Западной Европе, например о Германии, то все вопросы, связанные с патернистскими установками, дают там гораздо больший процент ответов, которые мы интерпретируем как проявления патернализма. Причем даже в западных землях Германии таких ответов больше, чем в России.

То же самое касается глубины неравенства. Наши респонденты допускают глубину неравенства по доходам не менее чем десятикратную, скажем, между неквалифицированным рабочим и директором крупного предприятия или известным ученым. Десятикратная разница в доходах — это достаточно глубокое социальное неравенство. Это разрыв не в три-четыре раза, как в Скандинав-

ских странах, и даже не в шесть-восемь, как в большинстве стран Западной Европы. Поэтому все рассуждения о патернализме из разряда мифов. И препятствием для развития демократической модели «патернализм» россиян не является.

Наконец, отношение к нынешнему режиму связано не столько с какими-то архетипами нашего населения, сколько с тем, что он пришел на смену ельцинскому, который вспоминается как кошмарный сон. Да, свободы там было много, но во всем остальном плохо. Отсюда следует, что нынешний режим пользуется поддержкой не потому, что он хорош или отвечает чаяниям населения, а потому, что кажется лучшим из возможных на сегодняшний день. Нет групп в элитах, которые население видело бы как выразителей своих интересов или интересов страны в целом.

При этом робкие напоминания нынешней власти о модернизации в разных сферах — это обращения к интеллигенции. Учет интересов бюрократии на практике — это обеспечение поддержки со стороны бюрократического аппарата. В результате оказывается, что в большинстве своем население режим этот поддерживало, поддерживает и поддерживать будет, потому что все остальные варианты еще хуже. Это либо достаточно карикатурные в восприятии населения фигуры типа Касьянова или Каспарова, которые всерьез как политическая оппозиция не воспринимаются. Либо лидеры совсем уж карикатурные, типа Жириновского, который тоже не воспринимается как реальная альтернатива.

Большинство населения при этом однозначно за рыночную экономику. Но что касается формирования западной модели демократии, то в качестве главных стопоров для этого выступает на микроуровне незавершенная социокультурная модернизация. То есть еще не сформировался тот тип личности, для которого права индивида, права человека, реализуемые на основании определенных правил и механизмов, являются краеугольными. С другой стороны, есть очень мощная бюрократия, которая заинтересована в сохранении сегодняшней модели развития общества и будет делать для ее сохранения все, что сможет.

Игорь КЛЯМКИН:

Очень выразительная иллюстрация той социологической разноголосицы, о которой я говорил в начале. Мы слышали сегодня констатацию патерналистских установок большинства россиян, а теперь слышим утверждение о том, что никакого патернализма нет. И оба мнения высказаны нашими авторитетными социологами. И еще хочу сказать, что о «карикатурности» тех или иных политиков, равно как и об их политическом потенциале, можно судить лишь при наличии свободного и равного доступа в политическое пространство. Следующий выступающий — Владимир Васильевич Петухов.

Владимир ПЕТУХОВ (заведующий отделом Института социологии РАН):
«Россияне отдают предпочтение "демократии на каждый день"»

Мне кажется, когда мы рассматриваем проблему демократии, ее восприятие обществом, то часто возникает смысловая путаница. Концепт «демократии» настолько многогранен, что мы сами говорим о разном и респондентов спрашиваем о разном.

Одно дело — выяснить отношение к демократии как к идею, к ее ключевым ценностным слагаемым. Здесь мы в ходе опросов получим один результат. А попросив оценить демократию как социальную реальность, социальную практику, мы получим уже совсем другие оценки, часто обратные. Разное видение возникает и тогда, когда демократия рассматривается с институциональной точки зрения или с точки зрения «демократии участия». И таких примеров можно привести множество, что, в свою очередь, ведет к разнобою в интерпретациях, когда любой аналитик при желании легко подберет нужную «эмпирическую фактурку» под нужный ему теоретический концепт.

Но если говорить о том, что меня больше всего тревожит, — это увеличивающееся расхождение между массовым представлением о демократии и экспертизно-доктринальным. Пропасть становится все больше и больше. Подавляющее большинство экспертов по-прежнему настаивают на приоритетности развития классической модели демократии, локализованной главным образом в сфере политики и выборных процедур. У наших сограждан подход, с одной стороны, более широкий, а с другой — более приземленный. В их представлениях демократия — это прежде всего система, ориентированная на идею общего блага, эффективность которой определяется динамикой уровня и качества жизни, социальной защищенностью граждан, масштабами коррупции, реальным обеспечением личных и коллективных гражданских прав и свобод. Проще говоря, россияне отдают предпочтение «демократии на каждый день», которая обеспечивала бы законность и правопорядок, а также возможность честно жить и честно зарабатывать. А с этим, как известно, большая «напряженка».

Нельзя не видеть и того, что классическая, нормативистская модель демократии, о которой мы говорим, в значительной степени устарела и отвечает представлениям тридцати-, сорока-, а может быть, пятидесятилетней давности.

Скажем, уже лет двадцать во всем мире обсуждается вопрос о кризисе и даже «угасании» традиционных демократических институтов — таких, например, как партии и профсоюзы. Или проблема соотношения капитализма, рынка, формирующего «общество потребления», и демократии. Все это уже нас также касается, возможно, даже в большей степени, чем кого бы то ни было.

Ведь сегодня уже совершенно ясно, что сам по себе рынок в лучшем случае нейтрален, а в худшем — является тормозом для развития демократии. Преж-

де всего потому, что он формирует массовый слой потребителей, а не граждан. На практике по «ведомству демократии» у нас сегодня проходят: первый сектор — сфера политики, политических отношений и выборных процедур, а также третий сектор — гражданское общество и какие-то общественные институты. Что же касается второго, корпоративного сектора и рынка труда, то они как бы выведены из «демократического оборота».

Мы говорим, что россияне равнодушны к политической конкуренции. При этом непонятно, откуда может взяться ответственный гражданин, обладающий чувством собственного достоинства, если на своей работе он зачастую абсолютно беззащитен и бесправен. Именно поэтому везде, кроме нас, одной из центральных задач развития демократии в XXI веке становится поиск механизмов перевода частноэгоистических интересов на язык обще значимых проблем. Запад знает массу примеров «компаний соучастия», когда акционерами являются миллионы граждан, а главное — накоплен огромный опыт правовых и политических форм воздействия на экспансионизм крупного бизнеса посредством легальных демократических институтов, начиная от профсоюзов, заканчивая СМИ и парламентами. У нас пока еще этого нет.

Теперь несколько слов о понимании нашим населением ценностей демократии. Конечно, оно изменилось по сравнению с тем, что было двадцать лет назад, когда демократия воспринималась как своеобразное замещение идеи коммунизма, как надежда на лучшую жизнь, на справедливо организованное общество. Сегодня, как я уже говорил, инструментальный, прагматичный подход явно доминирует над ценностным. Поскольку эффективность функционирования институтов, именуемых демократическими, крайне низка, то отношение наших сограждан к демократии можно охарактеризовать как «благожелательный скептицизм»: благожелательный по отношению к самой идеи и крайне скептический к реализации этой идеи на практике. Поэтому люди, признавая важность выборов, ходят на них все меньше.

Что же касается «метаний» респондентов, о которых говорил Лев Дмитриевич Гудков, то, мне кажется, бессмысленно рассматривать отдельные вопросы из анкет. Нужно анализировать совокупность эмпирических данных в динамике и с учетом специфических особенностей нашей страны. Многие эксперты обращают внимание на негативные стороны национального менталитета, не учитывая, например, то, что период становления демократии в нашей стране совпал с войной на части ее территории, сопровождался террористическими атаками, чудовищной преступностью и воровством. И когда говорят, что сегодня у россиян иное восприятие ценностей свободы, чем, например, у европейцев, то это обстоятельство надо иметь в виду.

Исследования показывают, что у россиян есть потребность в свободе, и их представления о ней, действительно, несколько отличаются от представ-

лений народов, имеющих стабильно функционирующие демократические институты на протяжении десятилетий, а то и столетий. Россияне рассматривают свободу прежде всего как свободу частной жизни, отдельной от государства, которой они не имели и которой они дорожат. Им представляется крайне важным самим решать, где жить, как учить своих детей, где работать, где отдыхать, о чем думать, какие фильмы смотреть, участвовать в политической жизни или нет.

Но это имеет и свою оборотную сторону в том смысле, что замыкание на частной жизни формирует у многих людей конформистские установки, апатию, в том числе и политическую, отстраненность от того, что происходит в стране. Тем не менее ситуация не так мрачна, как иногда представляется. Закупорка большинства каналов политического участия, как это ни парадоксально, может дать толчок к появлению новых современных форм общественной и политической самоорганизации.

Очень перспективными в этом плане являются, например, движения «одного требования», получившие развитие в последние годы. Речь идет о движениях автомобилистов, обманутых пайщиков и дольщиков жилищных пирамид и тому подобных, которые, с одной стороны, спонтанны, а с другой — очень организованы и эффективны. Такие формы, в отличие от «большой политики», не требуют каких-то существенных затрат (временных, материальных, организационных) и поэтому востребованы прежде всего активной, дееспособной частью общества. Решая какие-то конкретные социальные и материальные проблемы людей, они одновременно стимулируют их к общению, создают предпосылки выхода на более широкие общественные и политические проблемы.

После многолетней интеллектуальной спячки вновь началось активное обсуждение важных для страны тем. Профессиональной политикой сегодня занимаются единицы, но обсуждать что-то и дискутировать, чувствуя при этом приобщение к делам страны, своего региона, города или поселка, могут и должны многие. Некоторые даже считают, что коммуникативный аспект демократии в XXI веке будет более важен, чем институциональный. И здесь у нас есть неплохие перспективы.

Пока уровень солидарности, реальной включенности россиян в различные сети социального взаимодействия невысок. Тем не менее общество подошло к такому рубежу, когда либо оно окончательно согласится с существующим порядком вещей, либо люди начнут искать пути и способы более активного влияния на окружающую их жизнь. Исследования последнего времени свидетельствуют, что время выбора не за горами.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо. Следующий — Георгий Александрович Сатаров.

Георгий САТАРОВ (президент фонда «Индем»):

«Новая социальная среда создается и усваивается только новыми социальными практиками»

Начну с того, что демократия меняется примерно так же, как меняется с возрастом человек. То же самое можно сказать и об обществе. Если мальчик четырнадцати лет, глядя на бабушку, заметит, что она с дедушкой уже не спит, и на этом основании не будет зваться с девочками, это будет не самый логичный вывод. Это я к тому, что мы, как мне кажется, рассуждаем сейчас неисторично.

Существует ли связь между общественным мнением и демократией? Безусловно, существует. Но она совершенно разная в устоявшихся демократиях и в демократиях несостоявшихся. В состоявшихся и устоявшихся демократиях эта связь существенна. Там демократию есть кому защищать. Это все в популярных книжках написано — про «средний класс», например. Если в Германии фашисты поднимают головы, там же поднимаются миллионы представителей среднего класса. Если в Праге закрывают любимую телестанцию, то миллион выходит на улицу. В этом случае речь идет о состоявшейся демократии. И совсем другое дело — формирующаяся демократия.

Существует маленький процент людей в популяции, который я и предлагаю называть элитой; эти люди первые оказываются в будущем. Здесь смотреть на состояние всего общества совершенно бессмысленно. Простейший пример — послевоенная Германия. Когда ближе к концу 1950-х годов социологи проводили опросы и, как всегда, задавали очень умный вопрос: «А в какое время вы бы хотели жить?» — они получали соответствующий ответ: «В 1933 году». И подобных глупостей от общества, переходящего к демократии, мы можем услышать очень много.

Напомню, что серьезные социальные изменения делаются не на основании массового сознания и не толпами. Толпами рушится Рим. А переход к демократии, к рынку делается очень маленьким процентом населения. Поэтому, когда мы говорим, что надо подождать, чтобы воспитать граждан, я согласен с Марком Урновым: бесспорно, это нужно делать. Но мы можем не дождаться результата — субъект исчезнет. И я не дал бы пятнадцати лет. Бояюсь, что при той динамике, которая существует, все может произойти гораздо быстрее. Хотя это труднопредсказуемо. Поэтому первый вопрос, который мы должны задать, это не вопрос про общество, а вопрос про себя: про конформизм, про приспособленчество, про абсолютно необоснованную нашу трусость.

Поднимите руки те, кто знает, что такая 31-я статья Конституции. Никого. Значит, для легкого ликбеза объясняю: это та самая статья, в которой декларируется свобода собраний, митингов и т.д. Поднимите руки, кто знает

о том, что будет проводиться митинг в защиту 31-й статьи. О, уже, смотрите, четверо, больше даже — шестеро. Теперь поднимите руки те, кто пойдет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Уточню, я вчера разговаривал с Александром Ильичом Музыкантским, он божится, что все будет нормально. Это будет разрешенный митинг. Поэтому если еще пара человек добавится, это будет немало.

Так вот, начинать надо с анализа, я не хочу сказать элиты (с учетом того определения, которое я предложил, это может быть слишком заужено, даже по отношению к нашей аудитории, где сидят преподаватели, профессора). Напомню про события начала прошлого века, когда несколько сот преподавателей Петербургского университета сразу подали в отставку, как только царская власть посягнула на их академические права и свободы. Теперь сравните это с тем, что происходит в Московском университете нынче, скажем, на социологическом факультете. Что творится в любом университете страны в связи с тем, что у них отбирают право избирать ректоров. Начните демократию с себя и не предъявляйте претензии к гражданам. Не ждите, пока граждане выйдут на улицу, потому что, когда недовольные граждане выйдут на улицу, мы все будем ни при чем. Это нужно понимать.

Они ничего не сделают, если что-то не сделаем мы, избавившись от трусости, подчеркиваю — необоснованной, и от обоснованного приспособленческого конформизма. Да, действительно, общество потребления формируется. Я, извините, большую часть сознательной жизни не мог купить нормальные ботинки. Сделал это в 1992 году, когда впервые выехал за границу. Мне разрешили. И там купил себе хорошие туфли, с которыми под подушкой спал — такой был восторг. Конечно, общество потребления формируется. Оно формировалось еще при советской власти. Например, у каждого человека, которого выпускали на Запад. Он приходил в западный магазин и становился будущим «потребленцем». Это как раз обоснованно, а вот трусость необоснованна.

Кто в курсе дела — знает, что с помощью одного и того же высказывания нельзя доказать «А» и «не А». Но мы постоянно этим занимаемся. Я приведу пример из смежной области. Когда пытаются ругать демократию, то обычно говорят так: «Ну, это известно же, что с помощью демократических процедур Гитлер пришел к власти». Когда пытаются хвалить диктатуру, то говорят: «Ну, известны же несколько случаев, когда были прогрессивные диктаторы». Вот та самая порочная логика. Правда, в одном случае с помощью исключений пытаются доказать порочность системы, а в другом — абсолютно противоположное. Что это такое применительно к социологии?

Я сейчас не говорю, что в стране нет общественного мнения, потому что общественное мнение существует там, где есть конкуренция многих идей. Поскольку ее нет, значит, и мнения нет. Проблема в другом: аргумент, что об-

щественное мнение не готово к демократии, выдвигаемый на основании замеров, пусть даже абсолютно аккуратных и достоверных, не работает по одной простой причине — новая социальная среда создается и усваивается только новыми социальными практиками. Нет других методов. Увы. Только социальные практики меняют институты. Помните анекдот? Приезжает комиссия в дурдом:

- Ну, как у вас психи поживают?
- Да вот, прекрасно. Мы им тут устроили бассейн.
- Ой, какие вы молодцы. Ну и как психи?
- Довольны, пытаются прыгать с вышки.
- Ой, замечательно, пятерка вам.
- Ну, вот, может, побольше? Мы ведь пообещали им, если будут послушны, воды налить.

У нас ровно то же самое с демократией — бассейн без воды. Правда, один нюанс: вода в нем была. Это при том самом гнусном ельцинском хаосе.

Приведу простой пример. Вспомним реакцию оппозиции на не очень демократичные выборы 1996 года — не буду сравнивать их с нынешними выборами. Тогда коммунистическая Дума начала править избирательное законодательство. Фантастически демократичные поправки принимала. Поднимите это дело — увидите: расширялись права независимых наблюдателей и т.д. Работали нормальные механизмы. Теперь «воду откачали», как вы знаете. И те же, кто «откачали», обещают «налить». Они «на кранике стоят» и будут определять время, когда этот «краник обратно откроют». Но так в природе не бывает.

Только на практике граждане могут усваивать демократию, формировать установки, привычки и, наконец, ценности. Даже очень грамотными текстами, написанными популярно и распространяемыми миллионными тиражами, мы сделаем меньше, чем могут сделать практики. Поэтому аргумент неготовности не работает. Аргумент готовности важен, как это следует из того, что я говорил выше, для сформированной демократии, для устоявшейся демократии. Поэтому давайте спорить и говорить о себе.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Георгий Александрович. Выступили все социологи, выступления которых планировались заранее. Прежде чем открыть дискуссию, высказую несколько соображений, возникших у меня по ходу разговора.

Обращаю ваше внимание на то, что ни один из выступавших не приводил данных о том, что население является тормозом для демократической модернизации. Не привел таких данных и Марк Юрьевич Урнов, обвинивший некоторых из нас в «народопоклонстве». Не думаю, что упрек справедливый: никто из докладчиков народ не идеализировал. Речь шла лишь о том, что ис-

кать в нем и его представлениях препятствие на пути демократии не очень корректно. Да, убежденных сторонников демократии в стране сравнительно немного, но это не значит, что остальные — ее убежденные противники. Результаты массовых опросов, представленные Львом Дмитриевичем Гудковым, никаких оснований для подобных утверждений не дают.

Тем не менее такая точка зрения имеет достаточно широкое хождение в политической и экспертной среде. Лидеры и активисты наших демократических партий — бывших и нынешних — нередко убеждают себя и других: нас не выбирают, потому что народ «не тот». Но разве народ помешал нашей политической элите в начале 1990-х годов договориться о демократических правилах политической игры и сменяемости власти на свободных выборах? Разве он стал причиной борьбы элитных группировок за политическую монополию и ее последующего возрождения в исторически обновленной, антикоммунистической форме? И разве наши либералы — по крайней мере, их наиболее влиятельное тогда крыло — не приложили к этому руку?

Если мы с этими представлениями о «не том» народе наконец расстанемся, то это уже будет позитивный результат. Не забудем также, что российская правящая элита с такими представлениями тоже не спорит, она тоже объясняет необходимость своей монополии недостаточной зрелостью общества. Так что я бы поостерегся говорить о том, что правящая элита у нас «народная». Она у нас традиционно *наднародная, надобщественная*, из каких бы слоев ни рекрутировались ее представители.

И еще один момент, о котором здесь пока не говорилось. Дело в том, что представление о «неправильном» народе широко распространено не только в элитах, но и среди самого населения. В свое время мы с Татьяной Ивановной Кутковец зафиксировали интересную вещь: люди склонны приписывать народу некоторые традиционалистские особенности, которые своими личными особенностями не считают. В глазах отдельного человека народ тоже «не тот», этот человек себя от основной массы населения очень часто склонен отчленять. Но ведь таких «отчленяющихся» сегодня большинство! И если мы продолжаем рассказывать людям о «не том» народе, то мы способствуем тем самым консервированию атомизированного состояния нашего общества.

Переходим к свободной дискуссии. Первым записался Кирилл Родионов.

Кирилл РОДИОНОВ (*сотрудник Института экономики переходного периода*):
«В условиях закрытости элиты для критики извне элита обречена на ошибки»

Мне бы хотелось сказать несколько слов о том, какие факторы могут актуализировать значимость демократических идей в России.

Первый фактор — изменение настроений в российском обществе. Я не согласен с той точкой зрения, что в России общество никогда не будет

стремиться к демократии, соблюдению прав человека и т.д. Дело в том, что переход к авторитаризму, который произошел в России после 2000 года, во многом связан с тем, что в 1990-е годы Россия пережила тяжелейший этап революционной ломки институтов социализма и последующего перехода к рыночной экономике. Соответственно, усталость общества от политической нестабильности и социальных неурядиц десятилетия реформ способствовала росту апатии среди российских граждан. Однако сейчас сохранение докризисного статус-кво («свобода в обмен на колбасу») невозможно: в условиях длительного падения реальных доходов граждан рейтинг властей не может оставаться неизменным.

Второй фактор — кризис авторитарной модели. Уже во время нынешнего кризиса Россия испытывает на себе издержки монополизации политической системы: в условиях закрытости элиты для критики извне элита обречена на ошибки. В ближайшие десять лет Россия испытает на себе тяжесть нерешенности множества проблем — таких, как зависимость экономики от нефтяной иглы, недореформированность пенсионной системы, коррумпированность бюрократического аппарата и других. Если элита и дальше будет откладывать решение этих проблем на потом, то Россия в скором будущем встанет перед угрозой социального взрыва.

Третий фактор — выход стран Запада из кризиса, что рано или поздно произойдет. Периоды политического потепления и похолодания в России синхронизированы с периодами усиления и ослабления Запада. Так, переход от нэпа к политике коллективизации, ускоренной индустриализации и массового террора произошел одновременно с началом Великой депрессии. Быстрое послевоенное восстановление Европы, консолидация стран Запада под началом США были важными факторами того, что к 1953 году большая часть советской элиты осознавала необходимость реформ. Переход от преобразований Хрущева — Косыгина к консервации политической системы СССР совпал по времени со студенческими революциями 1968 года и последующим кризисом 1970-х годов на Западе (stagflation и энергетические кризисы 1973 и 1979 годов).

В 1980-х ситуация в мире радикально изменилась: «неолиберальная революция» Рейгана и Тэтчер, демократическая трансформация стран Южной Европы, начало рыночных преобразований в Китае способствовали тому, что необходимость реформ осознали и в СССР. В условиях резкого падения цен на нефть в середине 1980-х, ускорения евроинтеграции, динамичного экономического роста в развитых странах и усиления международного влияния США России пришлось осуществлять радикальную перестройку общественно-политической и экономической системы. Однако на рубеже тысячелетий обстановка в мире вновь переменилась.

Крах высокотехнологичного рынка NASDAQ в 2000 году, рецессия в США в 2001-м, теракты 11 сентября, трудности США в Ираке и Афганистане, про-

вал референдума по ратификации общеевропейской конституции в 2004-м, начало ипотечного кризиса в США в 2007-м свидетельствуют о некотором ослаблении стран Запада в первом десятилетии XXI века. И одновременно с этими событиями в России начали набирать силу авторитарные тенденции, на что указывают и взятие под контроль Кремля центральных СМИ, и повышение процентного барьера для прохождения партий в Государственную думу, и отмена выборов губернаторов. На основании этого с большой долей вероятности можно предположить, что после окончания экономических потрясений давление со стороны Запада на Россию вновь усилится, и это будет подталкивать элиту к мысли о необходимости преобразований.

Леонид ВАСИЛЬЕВ (*главный научный сотрудник Института востоковедения РАН*):

«Страна не поддается полному контролю, поэтому в любой момент могут произойти любые неожиданности»

Я с большим удовлетворением выслушал всех социологов, которые здесь высказали разные точки зрения. Больше всего мне понравилось выступление Георгия Александровича Сатарова, с мнением которого я во многом готов согласиться. Однако стоит уточнить некоторые суждения. Совершенно верно, что для ориентации страны или народа нет нужды в существовании большинства, убежденного в правильности того либо иного направления развития. Достаточно целеустремленного, но ведущего меньшинства. Но для того, чтобы это меньшинство сумело повести за собой остальных, нужны идеи или хотя бы лозунги, которые соответствовали бы их чаяниям. Или сила, которая заставила бы всех подчиниться. В наши дни в России это, в отличие от 1917 года, не так. Но могло бы быть примерно так. Это случалось в прошлом в других странах. Например, во Франции, почти уничтожившей саму себя после Великой революции. Спасли ситуацию Наполеон и его войны.

Я согласен с тем, что наш народ сегодня не готов к демократии, хотя еще пятьдесят лет назад утверждать это было бы неверно. Вообще, народы не являются вполне готовы к демократии, если они этому не учатся, как, например, английский, на протяжении веков. Однако в послевоенные десятилетия XX века ситуация в мире была уже иной. Демократия широко заявила о себе. И хорошо известно, что группа стран Восточной Азии, где основная масса населения до того очень мало знала, если вообще что-то знала, о ней, за немногие десятилетия, а то и за считанные годы пришла к демократии. Япония и разделенная на две части Корея — убедительное тому свидетельство. Причем корейский путь наиболее показателен, ибо является примером того, как можно подготовиться к демократии за довольно-таки короткий срок в очень сложной ситуации.

Конечно, в процессе трансформации обеих стран решающую роль сыграли послевоенные события и, в частности, то, в чьих руках оказалась власть.

Это, нужно особо подчеркнуть, имеет в наше время наибольшее значение. США и, в частности, Д. Макартур, используя явное силовое давление (а в Корее и начатую там войну, хотя она была развязана не ими), добились того, чего хотели. Япония, южная часть Кореи — в отличие от резко противостоящей ей северной — давно уже демократические страны западного типа. И это потому, что власть была в руках сторонников именно западной демократии. Никакой другой не бывает, потому что демократия может надежно опереться только на антично-буржуазный идеально-институциональный фундамент.

У нас сегодня власть не в тех руках, кому она по достоинству досталась 20–25 лет назад. И это, в общем-то, трагедия страны, истоком которой является главная ошибка в жизни Ельцина. Совершив ее, первый президент свободной России своими руками — но и руками своих помощников, которые помогали ему в этом, — погубил почти все то, чего страна начала добиваться за годы его правления. И в итоге народ, так и не успевший почувствовать вкус демократии и воспользоваться ее плодами хотя бы в той мере, в какой ими пользуется ныне южная часть Кореи, стал в массе своей ее врагом или, во всяком случае, недоброжелателем.

Значит ли это, что нынешняя Россия, превратившаяся в гигантскую мировую бензоколонку, приносящую — правда, не столько населению, сколько правящей элите страны — огромные доходы, совсем не готова к непонятой и чаще всего осуждаемой большинством демократии? Нет, все не так. Все зависит и будет зависеть от того, что будут делать власть имущие, старательно освободившие себя от любых нормальных для демократии сдержек и противовесов. Сегодня она, власть, ведет себя как временщик. Ее высшие представители хорошо понимают, сколь много значит то, с какой силой будет и далее подавляться инакомыслие немногочисленной, но все же реально существующей внепарламентской оппозиции. Понимают и то, как много может зависеть от случайности и неожиданного стечения не вполне контролируемых либо вовсе не контролируемых ею обстоятельств.

И еще. Страна не поддается полному контролю. Не то время. Поэтому в любой момент могут произойти любые неожиданности. Особенно надо учесть, сколь импульсивны и переменчивы сигналы, которые эта власть подает управляемому ею населению. А ведь в его памяти хранятся очень разные и порой крайне противоречивые интенции, от полумарксистского сталинизма с его массовыми беспощадными и не минующими никого репрессиями до национализма полуфашистского, а то и откровенно фашистского типа. И никому не дано знать, как и когда, в какой форме и от чего могут начаться события, грозящие выйти за рамки того, что можно подавить на какой-либо столичной площади силами ОМОНа.

Конечно, носители власти смогут сесть на самолет, стоящий где-нибудь на запасном аэродроме во Внукове, и покинуть страну. Но что станется с ней?

А ведь мы сегодня, обращая внимание на недолгий срок, который может еще просуществовать нынешняя власть, столь откровенно принижающая страну, ведем речь преимущественно именно об этом. И очень трудно сказать, что будет в случае острого социального или политического кризиса, который вполне может случиться вне зависимости от финансово-экономического, переживаемого всем миром.

Но одно есть смысл подчеркнуть — то, что здесь говорили наши социологи. Страна идет в разнос, и слишком долго она в этом состоянии не просуществует. Снежный ком проблем и противоречий, обиженных людей и ненаказанных преступлений наворачивается все больше и больше и при этом с ускорением катится под гору. Если верить тем, кто считает голоса на выборах, — а им очень мало кто верит, — в прошлый раз за правящую элиту было подано 60%, нынешней осенью цифра возросла до 65, в следующий раз она достигнет 70, а потом, глядишь, дойдет до 90. Когда это случится, что-нибудь вполне может произойти. И возможно, это будет достаточно скоро. К тому же есть надежда, что за эти годы подрастет новое поколение, которое уже не будет «нашим» по отношению к власти.

Пока же ситуация очень сложна. Я не верю, что власть разрешит делать то, о чем она будто бы говорит, имея в виду свободный выход на площадь в честь 31-й статьи Конституции групп несогласных. Группы выходят каждое 31-е число тех месяцев, которые эту цифру имеют, и намерены продолжать это делать. Насколько мы знакомы с повадками тех, кто решает такие вопросы, каждое 31-е число — пока ситуация сколько-нибудь не сдвинется с той точки, к которой она кажется ныне намертво примерзшей, — эти группы все еще будут встречаться теми же резиновыми дубинками, что и прежде. Но значит ли это, что следует смириться и ничего не нужно предпринимать?

Разумеется, нет. Те, кто готов к этому, будут выходить на площади в знак своего несогласия и протesta. И это великое дело. Мужество храбрых стоит приветствовать. Пусть не сразу, но со временем это может подействовать. Однако жизнь показывает, что такие выходы пока что на наше нынешнее общество — а это, пожалуй, самое главное — не действуют. Оно остается инертным и легко поддающимся на обещания успокоительной официальной пропаганды. Похоже, что, исчерпав свои потенции и утратив лучшую часть генофонда в ходе битв и репрессий разрушительного XX века, российское общество к массовым протестным движениям пока не готово.

Приходится уповать на то, что ситуация все-таки может в любой момент измениться. Ожидание может занять немало времени, на протяжении которого и выходы на площади, и различные иные формы повседневного — в небольших пока что масштабах — протesta могут сыграть важную роль. Со временем, рано или поздно, но, вполне вероятно, уже достаточно скоро, положение дел обязательно сдвинется с мертвоточки. В наш век резкого ускорения

шагов истории слишком долго ждать явно не придется. И тогда никакой роли не будет играть, какой процент населения высказывается за то или за это, к чему пока что, за неимением ничего другого, прислушиваются социологи.

Страна, живущая в явно ненормальном режиме, долго так не просуществует. Перемены могут прийти с самой неожиданной стороны, по любому незначительному поводу, ибо потенциал недовольства разных слоев населения по-немногу накапливается. А это значит, что наша отнюдь не очень счастливая страна будет вынуждена дать свой ответ на поставленные перед ней жизнью вопросы. Вот в этом я абсолютно убежден.

Игорь ЧУБАЙС (доктор философских наук, директор Центра по изучению России РУДН):

«Мы не в тоталитарной системе, а в авторитарной, поэтому можно найти эффективные технологии борьбы за демократию»

Коротко выскажу несколько соображений. Я рад, что практически все выступавшие согласны — предъявлять претензии к народу нелепо. Результаты опросов показывают, что не все респонденты сторонники демократии. Ну и что из этого? Надо разобраться — почему. Где реальность, которую надо менять? На мой взгляд, социологические опросы здесь мало помогут. Проблема в другом — в существующей машине дезинформации. Если бы на телевидении могли выступать те, кому сегодня слова не дают, то через два месяца мы бы жили в другой стране. То есть вопрос в поиске новых информационных технологий. Можно ли здесь что-то предложить?

На мой взгляд, можно, ибо запретительные флагги развесены не везде. Недавно наш президент обругал украинского за то, что тот пытается перейти на украинский язык. Это, конечно, большое безобразие, когда Украина будет по-украински говорить, но пока там еще очень многие говорят по-русски. И публикуют огромное количество документов, в частности архивы КГБ, от которых волосы дыбом встают. Если бы мы смогли и научились использовать украинский ресурс и сделали бы так, что, допустим, сайт, который там будет выходить, будет читаем и здесь, то мы бы узнали то, чего до сих пор не знаем.

Или другой канал. Скажем, президент обратился со статьей «Вперед, Россия». Причем на самом деле даже непонятно, что значит «вперед» и что значит «Россия». Потому что у нас нет системы ценностей, нет идентичности, ничего не определено. Но если он предложил вести дискуссию даже тем, кто с ним не согласен, это позитивно. Отчего же никто ничего не ответил? Давайте напишем, давайте высажемся, ведь крайне редко у нас возникает возможность диалога.

Или другой вариант — президентское послание.

Вообще, должно быть не послание президента, а послание президенту, потому что источник власти — народ, а президент — просто выбранный управ-

ленец. Давайте сделаем это, давайте зададим вопросы, ответ на которые он должен дать.

Повторю: самое главное — найти эффективные технологии, потому что мы не в тоталитарной системе, а в авторитарной. Для власти будет самоубийством, если она пойдет к тоталитарной системе, это тут же кончится крахом. Она не может все запретить, не может обеспечить 99% «за». Этим мы обязаны воспользоваться. Для этого голова должна работать, надо найти ходы.

И еще, очень коротко, хочу обратить внимание на то, о чем говорил Георгий Сатаров. На то, что нам нужна солидарность. В этом зале есть целый ряд людей, которые меня цензировали, прерывали мои выступления. Но я сейчас не про себя. Я обратил внимание на такую деталь. В день, когда идиоты и негодяи из «Наших» блокировали дом А. Подрабинека, я пошел на один митинг и потом пошел на одну дискуссию. И там и там хотел выступить с призывом к солидарности, к поддержке Александра Подрабинека. Но ситуация была такая, что ни там ни там выступить не удалось. Вот так бьют наших друзей. Так ставят под удар тех, кто занимается нашим общим делом. Давайте об этом помнить, давайте всегда поддерживать друг друга. Особенно до того, а не после.

Андрей КОНАКОВ (движение «Солидарность»):

«Основа потребности в демократии — независимый производитель»

Хочу поддержать Георгия Сатарова и Марка Урнова. Все-таки с мнением, что народ не тот, я бы согласился. В том смысле, что он разворачивается властью, которая загребает под себя все больше ресурсов. В первую очередь это доходы от торговли нефтью. Вместо рыночной экономики у нас получается экономика распределительная. Источником всех благ становится не личная деятельность индивида, а государство, которое ему может что-то дать или не дать. Развращение идет примерно так, как во времена Гражданской войны...

Сейчас в экономике действительно наблюдается рост государственного сектора, сокращение частного предпринимательства. Отсюда и рост патернистских настроений. Передел собственности, который проявился в деле ЮКОСа, говорит, что твоя собственность — она твоя исключительно условно. Поэтому зависимость гражданина от государства все время возрастает. Обилие нефтедолларов, которые распределяются, полностью ликвидирует потребность в развитии собственного производства. Все, что необходимо, можно приобрести за границей. Все высокотехнологичные товары. Все большую работу выполняют гастарбайтеры. Поэтому сокращается количество людей, которые способны трудиться.

Я бы поспорил с Владимиром Васильевичем Петуховым относительно того, что рынок порождает потребителей. Рынок порождает не только потреби-

телей, но и независимых производителей, готовых друг с другом конкурировать, которые должны при этом улучшать качество своего товара. Независимый производитель — это основа потребности в демократии. Производительные социальные группы представлены у нас в значительной степени гражданами других стран, «инородцами», на которых власть периодически пытается натравить коренное население. Скажем, разгром Черкизовского рынка не вызвал никакого сочувствия. Черкизовский рынок назывался почему-то «нарывом». Лишь в незначительном количестве репортажей была сказана правда о том, что там происходит.

Игорь КЛЯМКИН:

У меня предложение ко всем, кто собирается выступать. Постарайтесь говорить то, что до вас еще не было проговорено в этой и других аудиториях. Так мы сэкономим время. Александр Мадатов, пожалуйста.

Александр МАДАТОВ:

«Использовать термин "западная демократия" — то же самое, что говорить "западные железные дороги" или "западные автомобили"»

Я начну с определенных мифов, сложившихся не только в массовом, но и в научно-теоретическом сознании. Во-первых, слава богу, я сегодня услышал разоблачение мифа о том, что российский народ не приемлет демократию, что народ плохой, народ «не тот» и поэтому демократия не для русского народа. При этом все — и либералы, и национал-патриоты, и коммунисты, и единороссы — апеллируют именно к народу, и считается, что именно они являются выразителями народа.

Другой миф — о так называемой западной демократии. На мой взгляд, использовать термин «западная демократия» — то же самое, что говорить «западные железные дороги» или «западные автомобили». Да, демократии первоначально сложились и получили развитие именно на Западе. Однако, с учетом многолетнего опыта функционирования демократии в Японии, Индии, ряде стран Латинской Америки (даже если оставить в стороне новые демократии в Южной Корее или на Тайване), можно констатировать, что в природе не существует ни западной демократии, ни западной железной дороги. Демократия есть демократия — с ее универсальными свойствами (политическое участие, политический плюрализм, политическая конкуренция и соблюдение гражданских и политических свобод) и национальной спецификой во всех странах — как Запада, так и Востока.

Далее, о мифе, что российский народ якобы не приемлет частной собственности. Так ли это? Кто-то действительно ее не приемлет: как правило, те, у кого этой собственности нет или недостаточно. Это по общино-коммунистическому принципу — если у меня сдохла корова, пусть она сдохнет

и у соседа. К сожалению, людей с таким менталитетом у нас немало. Именно они не приемлют и демократию.

В чем причина высокой легитимности и поддержки со стороны населения нынешнего режима? Здесь это связывали с Ельциным, с событиями 1990-х годов. Тут есть доля истины, поскольку наступление определенной стабильности, улучшение жизненного уровня части населения — все это усилило легитимность режима. Наряду с этим, и здесь я согласен с Кириллом Родионовым, одним из факторов является естественная усталость народа от политических баталий. Но говорить о современном режиме как об исключительно авторитарном не совсем точно. С научной точки зрения, более правильно говорить о наличии гибридного режима, содержащего как авторитарные черты, так и демократический фасад.

Таких режимов в современном мире десятки. Представьте на нашем семинаре того же Путина, или Медведева, или Грызлова, или других представителей партии власти. Они нам ответят, что у нас уже демократия, поскольку у нас многопартийность, у нас избираемый парламент, у нас есть какие-то оппозиционные СМИ и т.д. Все это, конечно, будет в значительной мере лицемерие, но и в этом лицемерии есть какая-то доля истины. Так же и на уровне массового сознания у немалой части народа создается иллюзия, что демократия есть, но ее недостаточно.

Что может сегодня стать предпосылкой будущей редемократизации российского общества?

Во-первых, Конституция. При всех ее недостатках и противоречиях, не следует забывать, что она содержит вторую статью о правах и свободах и немалое количество статей, связанных именно с демократичным характером системы. При наличии Конституционного Суда и других институтов роль и значение Конституции в жизнедеятельности российского социума уже не те, что были в советский период.

Во-вторых, что сохраняется от 1990-х годов (и в чем, бесспорно, заслуга Горбачева и Ельцина) — индивидуальные свободы.

Наконец, нельзя игнорировать еще один фактор: современная Россия находится, несмотря на антизападническую риторику отдельных лидеров и отдельных деятелей, не в безвоздушном пространстве. Несмотря на попытки возродить какие-то атрибуты холодной войны, уже нет железного занавеса. Подавляющая часть образованной части населения (в том числе и среди молодежи) может свободно выезжать за рубеж, пользоваться альтернативными источниками информации (в том числе Интернетом).

За последние десятилетия в России худо или бедно сложились (пусть и слабые) средний класс и какие-то структуры гражданского общества. И со временем для них рамки нынешнего режима, обусловленные авторитарным откатом последних лет, окажутся тесными.

Наталья СМОРОДИНСКАЯ (руководитель Центра полюсов роста и особых экономических зон Института экономики РАН):

«Кризис в первую очередь нацелен на изменение системы ценностей»

На российские демократические перспективы я смотрю, во-первых, как экономист и, во-вторых, как экономист-международник. И мне кажется, что поворот к лучшему наметился уже сегодня. В последние несколько месяцев в России идет резкое, но необъявленное изменение официального курса: внутреннего — в сторону либерализации, внешнего — в сторону сближения с Западом. Этот поворот начался при отсутствии явных для него предпосылок. В стране нет ни массового общественного запроса на модернизацию, ни готовности властей менять свое мышление — что экономическое, что политическое. Правящим кругам, бизнес-элитам и всему обществу в целом пока остается выгодным рентоориентированное поведение. Тем не менее процессы демократизации курса уже начались. Почему? На это есть две группы причин — внутренние и внешние.

Сначала о внешних причинах. Мы не можем рассматривать Россию и перспективы ее демократизации в отрыве от глобальных процессов — страна не изолирована, она подвержена их объективному влиянию. Мы должны считаться с тем, что мироустройство стремительно меняется, что глобализация меняет буквально все, в том числе само содержание понятий «демократия» и «экономическая рациональность». Скажу больше, стремительно меняется весь культурный код экономической жизни. Собственно, в этом и состоит главная функция глобального кризиса. Он касается изменения системы финансов лишь во вторую очередь, а в первую очередь нацелен на изменение системы ценностей.

Прежде всего, главной ценностью становится кооперация — на ней основан весь антикризисный институциональный маневр мировой экономики. Ни одна страна, в том числе Россия, не сможет выйти из кризиса в одиночку. Сложилась беспрецедентная ситуация, когда страны «двадцатки» договорились о плотной взаимной координации своих антикризисных мер. Таких договоренностей в истории раньше не было. И Россия, кстати, договорилась вместе со всеми — ей и дальше придется действовать в связке, в режиме тесных согласований с Западом.

Второй объективный поворот в правилах игры касается дизайна управляющих воздействий. Современный мир будет все дальше уходить от иерархичных систем управления с вертикальной субординацией и все больше опираться на сетевые альянсы с горизонтальными связями. Глобализированная экономика — это экономика глобальных сетей, более гибких, чем вертикальные конструкции. И никто не свободен от влияния этих перемен, включая и Россию. Это значит, что всем без исключения странам придется открывать информацию, границы и рынки, придется наращивать партнерские связи

и вступать в сетевые коалиции. Хотят того местные политики или нет, но это вопрос выживаемости их наций в эпоху глобальной конкуренции.

Можно назвать еще массу внешних причин, но остановлюсь на внутренних. Какими из них вызван поворот к либерализации? Кризис ускоряет само-разрушениеластной вертикали. Поэтому власти в растерянности. Они давно потеряли контроль над экономикой, а теперь им придется делать то, что они всегда делают при потере контроля, — отдать бразды управления ситуацией на откуп рынку. И другого объективно не дано.

А чем вызвано сближение с Западом? Объективной потребностью спасать бюджет, точнее — тот источник доходов, который его наполняет. Главный источник доходов — энергосырьевая сектор, а его состояние устойчиво ухудшается. Власти уже не могут поддерживать этот сектор без серьезного притока иностранных инвесторов, кредитов и технологий. Поэтому придется шире открывать рынки для иностранного присутствия, придется искать зарубежные кредиты, придется вводить нормальные правила игры для инвесторов, реально применять соглашение о разделе продукции и т.п.

Я хочу еще раз подчеркнуть, что в мировом сообществе формируется новый культурный код, новые моральные устои. Миру нужно закрыть брешь между новейшими технологиями наращивания богатства и отсутствием нравственных норм для их регулирования. Отсюда — нынешний глобальный призыв к восстановлению fair-play, к более справедливым правилам игры и на рынках, и между государствами. Это объективный и положительный мировой тренд, и Россия от него не изолирована. Но в России повороты в экономическом курсе всегда зависели от власти, от элит, а не от широких общественных умонастроений.

Поэтому я бы хотела поддержать ту мысль, что если наша наука, наша профессура считает себя интеллектуальной элитой, то она должна действовать куда более активно. Мир переходит к эпохе знаний, где главное — интеллектуальный капитал. Это объективно выигрышный момент для российской интеллигенции. Мне кажется, для ученых наступило время активных действий.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо. Теперь Елена Борисовна Гусева. Напомню, что на прошедших выборах в Мосгордуму Елена Борисовна была единственным зарегистрированным кандидатом от правых сил.

Елена ГУСЕВА (советник муниципального собрания «Левобережный»):

«Нужно всегда быть готовыми действовать несмотря на внешние обстоятельства»

Сначала коротко о самих выборах 11 октября. «Единой России» действительно дописали голоса избирателей, эти голоса частично отобрали у комму-

нистов, у «Справедливой России», у ЛДПР и у «Яблока», завысили явку. На самом деле она составила примерно 19%. У «Единой России», по нашим протоколам, 47%. Кромебросов, работала «вертушка»: приезжали курсанты и голосовали в участках, когда уходили сильные наблюдатели, которых отсылали для наблюдения с переносными ящиками по домам.

У меня был сначала больший процент — ночью около 20% — в Левобережном районе, где я муниципальный депутат. После переписывания протоколов УИКов, ТИКов, ОИКа стало около 10%. В общем, фальсификация налицо. С этим мы пока миримся — к сожалению, это трудно оспорить в судах. Но я согласна с Сатаровым, что нужно быть готовыми действовать. Демократия придет и от кризиса тоже, потому что люди начали разбираться в своих домах, в том, как им управлять своим многоквартирным домом. Начали разбираться в договорах с поставщиками коммунальных и жилищных услуг. Они начали образовываться, социализироваться. То есть снизу тоже процесс какой-то идет.

Хочу обратить внимание, что наша элита не едина. Сейчас момент ожидания, когда между двумя-тремя крупными кланами наверху начнется борьба и они будут допускать элементы демократии, которые им позволят договариваться между собой. В эту брешь и надо влезать.

Я участвовала в выборах в Мосгордуму уже четвертый раз. И считаю, что всегда должна быть наготове, когда эта брешь откроется. Мы должны быть готовы к выборам.

Не исключаю даже, что «Правое дело» пустят в Госдуму в 2011 году, потому что наш кризис — не финансовый, наш кризис — кризис управления. Он шел уже давно, но более явным стал на фоне мирового кризиса. И он будет продолжаться. Властям придется срезать социальные расходы. Партия власти не возьмет на себя непопулярные меры. И потому, вполне возможно, и будет открыт политический коридор для правой партии, чтобы было на кого повесить урезание социальных расходов.

Таково мое мнение. Надо всегда быть наготове и действовать, несмотря на внешние обстоятельства.

Кирилл БАТЬГИН (политолог):

«Неизменная административно-принудительная по характеру модернизация страны породила демократический формализм»

Я представил бы историю России как некое постоянное стремление к «полномерной модернизации системы», в большинстве случаев — по демократической и, чуть в меньшей степени, либеральной модели. Основная проблема заключается в том, что эта идея модернизации (существовавшая и в царской России) реализуется в пределах системы, общие тенденции развития которой направлены в большой степени на авторитаризм. Соответственно,

любые усилия по ее модернизации направляются, в сущности, на попытки как обновить систему в соответствии с нуждами времени, так и сохранить авторитарные элементы.

Таким образом, русская демократическая модернизация заключается, по сути, в стремлении каким-то образом совместить несовместимое: демократические институты и сильный авторитаризм. В данном случае лучший пример — это реформы Александра II, результатом которых стали, в частности, органы местного самоуправления, превратившиеся в период контрреформ в некое продолжение органов исполнительной власти; еще более красноречива печальная история первых четырех русских Дум.

Как заметил политолог Игорь Пантин в одной из работ, «менялись "формации", системы, режимы, но административно-принудительный характер модернизации страны оставался прежним». Именно эта тенденция породила, по сути, тот демократический формализм, который сейчас характерен для России: несмотря на существование в пределах русской системы многих признаков демократического государства (определенный набор политических институтов, регулярные выборы, ряд правовых актов), они не несут какой-либо реальной нагрузки, так как фактически не затрагивают внутреннюю сущность государства. Здесь лучше всего провести аналогию с нормативно-правовыми актами, количество и скорость принятия которых не имеют никакого значения, если они не содержат в себе так называемый дух закона, т.е. в реальности не исходят из определенных принципов логики законотворчества. Соответственно, мы можем предположить, что формальное существование демократических органов не может обеспечить государству реальную демократическую модернизацию (это уже было доказано в течение последних двадцати лет).

Проблема заключается в том, что мы сами уже доказали на практике бесмысленность и алогичность этих авторитарных тенденций. Соответственно, у нас остается лишь один вариант дальнейшего развития, который тем не менее уже не предполагает учета нашей «авторитарной сущности»: демократическая модель, к реализации которой мы так и не подошли. Можно перечислить ряд факторов, которые бы активизировали развитие демократии в России: в частности, укрепление капиталистического «базиса» и становление более сильных парламентских органов.

Но даже если все необходимые для реализации данного процесса условия наконец-то проявятся на политическом пространстве России, остаются некоторые сомнения в связи с перспективами консолидации русской демократии. Проблема заключается в том, что переход к созданию демократии не предполагает ее скорейшего установления в качестве некой основной модели действий для всего государства. Более того, такой переход зачастую должен (именно должен, а не может) сопровождаться еще более продолжительным,

еще более болезненным и еще более тяжелым для всего общества периодом консолидации демократических тенденций, которые, по сути, должны исключить само существование каких-либо проявлений чрезмерного авторитаризма.

Возьмем пример Англии. Ей для создания первоначальной модели конституционной монархии (образца 1689 года, когда полномочия монарха, завезенного извне, были законодательно ограничены) понадобилось пройти через несколько кровавых войн. Ей пришлось пройти через диктаторский режим Кромвеля и принятие документов квазилиберального характера — в том числе знаменитой Хартии вольностей. Причем все эти события, даже если мы возьмем Хартию 1215 года как некий отправной пункт, растянулись более чем на четыре века. Само собой, дальнейший процесс демократизации политической системы и реализации либеральных свобод занял еще несколько столетий.

Процесс демократизации России представляется еще более сложным и потенциально опасным: слишком долгое время авторитаризм рассматривался как обязательная черта русской системы. Более того, именно сейчас, в условиях крушения всех сфер жизни общества, у России просто не остается больше времени для размышлений на эту тему. Мы уже достигли бифуркационной точки, и от нас требуется конкретное решение в связи с будущим русской демократии, а соответственно, и в связи с будущим всей России.

В заключение напомню название книги А. Ахиезера, И. Клямкина и И. Яковенко: «История России: конец или новое начало?». И в самом деле, мы живем именно в то время, когда нам придется вынести этот страшный приговор: конец или новое начало?

Максим СОРОКИН (преподаватель факультета права ГУ—ВШЭ):
«При действующей Конституции движение к демократии сомнительно»

В этой аудитории находятся господин Шейнис и господин Краснов, которые у нас одни из видных конституционалистов. Два раза упоминалось слово «конституция». Всего два раза. Почему? Мне бы хотелось, чтобы больше внимания уделялось институциональной организации.

Мы знаем, что в Конституцию были внесены поправки, которые увеличили срок полномочий президента и Государственной Думы. При этом срок полномочий президента будет превышать срок полномочий Думы ровно на год. Понятно, что укреплению нашего парламентаризма, и без того слабого, это способствовать не будет. Скорее наоборот.

Вы знаете, что Конституция 1993 года во многом ориентировалась на французскую Конституцию 1958 года. У нас до сих пор любят ссылаться на Францию. Ссылались на нее и Путин, и Медведев, обосновывая правомер-

ность увеличения срока президентуры. Но во Франции этот срок в 2000 году был сокращен с семи до пяти лет, а у нас он увеличился. Так что ссылки на европейский опыт некорректны.

Полагаю, что с окончанием кризиса надо подумать о проведении конституционной реформы и вернуться к идеям проекта Олега Румянцева. Действующая Конституция не дает достаточной возможности двигаться вперед в плане демократии, в плане усиления республиканского правления. Напротив, она сдерживает такое движение.

Игорь КЛЯМКИН:

«Ложная картина реальности может блокировать использование даже тех незначительных возможностей влиять на нее, которые сегодня существуют»

Давайте завершать. Я хочу напомнить, что мы собрались по определенной теме. И, как всегда, далеко от нее ушли. Обсудить мы собирались, и поэтому социологов позвали, демократический потенциал российского общества. Выслушав все выступления, я пришел к выводу, что такой потенциал есть, а также к выводу, что его нет.

Он есть в том смысле, что никакого противодействия утверждению демократических процедур (прежде всего свободной политической конкуренции) в представлениях населения сегодня не обнаруживается. Об этом говорил Лев Дмитриевич Гудков, и никто из выступавших представленную им картину под сомнение не поставил. Но такого потенциала нет в том смысле, что открыто выступать, отстаивая идею демократизации политической системы, общество сегодня не предрасположено.

Согласен с теми, кто среди главных причин этого указывал на отсутствие в массовом сознании связи между качеством демократических институтов и качеством повседневной жизни. Кроме того, судя по приводившимся данным, люди очень плохо представляют себе, что такая современная демократия, как она работает и чем отличается от ее российского суррогата, в чем смысл разделения властей и его полезность для общества. Вопрос, однако, в том, почему именно не фиксируется связь между демократией и благосостоянием, почему именно население плохо осведомлено о критериях демократичности политической системы. В чем тут дело — в культурно-ментальных особенностях, которые — прав Георгий Сатаров — меняются только под воздействием новых практик, под влиянием собственного опыта, или в дефиците элементарного политического образования?

Мы не можем исчерпывающе ответить на этот простой вопрос по той простой причине, что такого политического образования — даже начального — россияне не получили. Они не получили его в 1990-е годы, так как были вовлечены в противоборство разных элитных групп за политическую монополию. Противоборство, в котором демократические процедуры использова-

лись как подсобное средство. Ну а о том, как людей «просвещают» сейчас, здесь уже говорилось.

Но если мы не можем на этот вопрос ответить, то давайте хотя бы не закрывать его посредством магических слов «культура» и «менталитет». К сожалению, некоторые социологические службы этим соблазняются, что сказывается и на характере их анкет, и на интерпретации получаемых данных. Приведу один лишь пример, хотя мог бы привести намного больше.

Влиятельная социологическая организация предлагает респондентам оценить правомерность высказывания: «Наша страна отличается особой самобытностью и духовной культурой, превосходящей все другие страны». И получает 80% одобрительных ответов. А потом публикуются статьи, в которых на основании таких данных делается вывод о «высочайшем уровне национальной спеси, самодовольства и мессианства». А также о том, что россияне как народ для демократии не созданы, а созданы только для тоталитаризма, к которому страна рано или поздно обречена вернуться.

Я думаю, что это очень плохая работа социологов, дурно влияющая на самосознание российского общества: ведь эмпирическая социология не только изучает общественное мнение, но и формирует его, когда исследователи вбрасывают полученные ими данные в публичное пространство. Да, в головах людей существует стереотип, согласно которому русский народ «избранный», что он во всем самый-самый. Но в тех же головах есть и другой стереотип, согласно которому никаких избранных народов, заведомо превосходящих все остальные, в мире не существует. И этот стереотип несопоставимо более сильный: введи его социологи в качестве альтернативного варианта ответа, и они получили бы в его пользу примерно те же 80% ответов. Я это не гипотетически утверждаю, мы это с Татьяной Ивановной Кутковец уже делали. И получили именно тот результат, о котором я говорю.

Ложная картина культурной реальности, создаваемая порой не без помощи социологов, блокирует использование даже тех незначительных возможностей влиять на нее, которые в стране существуют. Такая картина может повлечь за собой и весьма спорное понимание наших стратегических задач, что мы наблюдали здесь и сегодня. Конечно, миссия либеральных профессоров и доцентов заключается в том, чтобы способствовать формированию будущей либерально-демократической элиты. Но дело-то в том, что сегодня это в какой-то степени уже вчерашняя задача.

Есть широкомасштабное исследование элит среднего ранга, проведенное Михаилом Афанасьевым по заказу «Либеральной миссии». Те, кто с ним незнаком, могут зайти на наш сайт и познакомиться. Из исследования следует, что элита эта в большинстве своем нынешнюю «вертикаль власти» и все, что с ней связано, отторгает, противопоставляя ей либерально-демократическую модель государства. «Вертикаль власти» находит опору главным образом

среди представителей силовых структур; даже значительная часть федерального и регионального чиновничества признает ее бесперспективность.

Либерально-демократическаяprotoэлита, если говорить о ее мировоззрении, в стране уже существует, но она вмонтирована в сложившуюся систему, привязана к ней своими интересами, а потому и открытого противодействия этой системе со стороны такой элиты ждать не приходится. Она не пойдет на площадь вместе с Георгием Сатаровым защищать 31-ю статью Конституции, хотя важность соблюдения данной статьи, скорее всего, отрицать не будет. Так что реальность не в том, что в стране нет людей, мыслящих антисистемно, а в том, что люди эти интегрированы в систему, в которой их представления о должном и правильном не могут быть востребованы.

В ходе обсуждения много говорилось о тенденциях, которые рано или поздно выявят ее исчерпанность, а также о том, как способствовать ее преобразованию. Я сейчас не хочу на этом останавливаться: другая, как говорится, тема. Мы ее постоянно обсуждаем и будем обсуждать впредь. Сегодня же хотелось поговорить о состоянии российского общества и его «готовности к демократии». И мы с помощью социологов выяснили, что принципиального отторжения демократических ценностей в этом обществе не наблюдается, что в данном отношении оно к демократии готово не меньше, чем в конце 1980-х годов были готовы поляки, чехи, венгры, болгары, румыны и другие народы Восточной Европы. Они ведь поначалу тоже не очень хорошо представляли себе, как работают демократические институты, но это не помешало тамошним элитам такие институты создать.

Мы выяснили также, что идея демократии может актуализироваться в масовом сознании и отделиться от авторитарных наслоений лишь в том случае, если она станет восприниматься как способ обеспечения более высокого, чем сейчас, качества жизни. И если у нас по этому вопросу обнаружился консенсус (а мне кажется, что мы к нему близки), то это не так уж и мало.

РОССИЙСКИЕ ВЫБОРЫ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Игорь КЛЯМКИН (вице-президент фонда «Либеральная миссия»):

О выборах, прошедших в стране 11 октября, сказано и написано немало. Тем не менее мы сочли нужным обсудить¹ это событие — слишком уж необычно оно даже для современной России, которую, казалось бы, уже ничем не удивишь. И публичный протест системных думских партий, от чего мы успели отвыкнуть, показателен тоже.

Во-первых, хотелось бы отчетливо представить себе, насколько возможно, всю картину прошедшего в сравнении с тем, что происходило на выборах раньше. Во-вторых, есть смысл обсудить вопрос о том, что означает случившееся 11 октября с точки зрения эволюции российской избирательной и — шире — политической системы. А также о том, какие это может иметь для нее и для общества последствия.

Целесообразно было бы остановиться и на тех мерах по совершенствованию избирательной системы, которые огласил в своем послании Федеральному Собранию президент Медведев. Это была реакция на протесты политиков и широкой общественности — пусть и не прямая, а косвенная. Как эти меры могут повлиять на дальнейшее развитие событий? И могут ли вообще?

Первое слово я предоставлю Дмитрию Борисовичу Орешкину, который подготовил доклад по интересующей нас теме. Потом выступит Лев Дмитриевич Гудков — он проинформирует нас об отношении к прошедшим выборам населения. А затем мы оба сообщения обсудим. Дмитрий Борисович, пожалуйста.

Дмитрий ОРЕШКИН (политолог, ведущий научный сотрудник Института географии РАН):

«Выборы даже в их сегодняшнем кастрированном виде представляют собой системную проблему для путинской номенклатуры»

Работа, которую я представлю, выполнена в Институте географии РАН совместными усилиями Владимира Козлова, Дарьи Орешкиной (при поддержке проф. Владимира Тикунова с географического факультета МГУ), моими и еще целого ряда специалистов, перечислить которых мне просто не хватит времени. Мы всех им помним и всем благодарны.

Мне кажется, кризис доверия к выборам был неизбежен, потому что он обусловлен общей динамикой развития (точнее, деградации) электоральной системы в путинскую эпоху. Фальсификации результатов голосования — лишь одно из проявлений этой тенденции.

Можно ли оценить масштаб фальсификаций? Растет ли их число, уменьшается или остается прежним? Ответить непросто, так как необходим эталон для

¹ Дискуссия проходила в ноябре 2009 г.

сравнения. Абсолютного эталона не существует по понятным причинам: чтобы его получить, нужно было бы провести выборы без снятия неугодных с регистрации, со свободной конкуренцией, без давления административного ресурса на прессу и участников, без манипуляций при подсчетах. Такой «идеальной лабораторной среды» у нас нет. Поэтому нет и безусловно строгих оценок.

Но можно попытаться подойти к проблеме с другого конца. В географическом разрезе. Если нельзя получить общегосударственный эталон «доброчестного голосования», то можно взять средние по стране результаты, сравнить их с данными по всем конкретным территориям и посмотреть, где наблюдаются максимальные отскоки по параметрам, особо чувствительным к деятельности административного ресурса. То есть за «эталон» мы берем среднюю по стране «норму» (при ясном понимании, что в этой «норме» де-факто уже защита некоторая манипулятивная составляющая) и пытаемся посмотреть, где и насколько отскакивают от нее данные местных избирательных комиссий.

Таким образом, сравнение приобретает региональный смысл. Коли мы не можем строго вычислить, каков объем манипуляций в целом по стране, давайте оценим и сравним их масштаб хотя бы по отдельным территориям — относительно средней общероссийской «нормы».

Методика

Мы использовали официально опубликованные данные по всем федеральным выборам начиная с 1995 года. У нас в стране около 95 тыс. избирательных участков, они объединены примерно в 2750 территориальных избирательных комиссий (ТИК). Данные в разрезе ТИК публикуются с 1995 года. Последние выборочные циклы сопровождаются публикацией сведений и по участкам (спасибо А. Вешнякову, который добился утверждения этой законодательной нормы), что дает еще более выразительную картину. Но для методического единства за весь период наблюдений приходится ограничиться уровнем ТИК.

Значит, отбираем «чувствительные» показатели. Это явка избирателей, доля недействительных бюллетеней, доля голосов «против всех» (до той поры, пока этот параметр не изъяли из бюллетеней), доля голосов за лидера и его (лидера) отрыв от среднего значения



Рис. 1

по России. Рассчитываем средние показатели этих параметров по всей стране. Скажем, средняя явка по России 66%, но есть ТИК, где она подскакивает до 100%. Это странно. Хотя при желании несложно подобрать объяснение, как поступает В. Чуров. Например, воинская часть или корабли в открытом море. Хорошо, мы не против. Наше дело зафиксировать эту «странность» статистически, а об объяснениях потолкуем потом.

Далее — доля недействительных бюллетеней. В среднем по стране она в нормальных условиях колеблется в диапазоне 1–2%. Это понятно: из 100 избирателей один-два всегда что-нибудь напутают. Сначала в одно окошко поставят галочку, потом спохватятся, передумают и поставят в другое. Потом разбираися, какого именно кандидата они имели в виду: бюллетень с двумя отметками считается недействительным. Но если доля недействительных 10% (в 10–20 раз больше нормы) или, наоборот, 0, то это опять-таки странно.

Обычно в ТИК несколько тысяч или десятков тысяч избирателей, и чтобы ни одна старенькая бабушка не ошиблась при постановке галочки? Феноменальная аккуратность. В реальности такое обычно бывает, когда вместо избирателей голосуют члены комиссий. То есть вбрасывают заранее «правильно» заполненные бюллетени или просто пишут протокол «по-советски», не затрудняясь подсчетом бюллетеней. Если же данный параметр слишком подскакивает вверх (скажем, до 10%), то, скорее всего, либо избиратель чем-то страшно раздражен (тогда бюллетени перечеркивают, пишут на них примерно то же самое, что на заборе, и пр.), либо (что чаще) электоральная администрация решила, что кто-то нехороший набрал слишком много голосов. В таком случае при подсчете его учат быть скромнее.

Это делается легко: в бюллетене, отданном в пользу нехорошего, ставится еще одна галочка в любом окошке. Бюллетень становится недействительным, голос в пользу нескромного кандидата исчезает. Но растет число недействительных!

Но это опять же интерпретации. Нас они пока не интересуют, а интересуют только «странные», необычные отскоки от «нормы». Просто мы объясняем, почему те или иные параметры могут быть интересны для анализа. Понятно, что примерно так же работает (работал!) показатель «против всех», который с конца 1990-х имел устойчивую тенденцию к росту. За что и был истреблен. Если ноль агрессивно-недовольных — странно. Если 10–15% — тоже странно, хотя и по-другому. Аналогично с долей голосов за победителя. Если в некоторой ТИК кандидат набрал 100% или около того — согласитесь, есть смысл призадуматься. Несколько тысяч избирателей — и все за одного! Отрыв от ближайшего преследователя или от среднего по стране говорит примерно о том же: в «норме», допустим, 30%, а в данной конкретной ТИК — 80% или даже все 100. Удивительная монолитность.

Еще раз: на данном этапе мы не интерпретируем, а всего лишь хотим подобрать набор параметров, по которым можно механически выявлять ТИКи с «электоральными странностями». При этом нас ничуть не занимает, кто именно на данных выборах в данной ТИК был лидером: Путин или Зюганов, ЛДПР или «Единая Россия». Важен отрыв и экстремальные значения как количественные показатели единства и монолитности загадочной души отечественного избирательного электората.

Итак, машина сначала рассчитывает среднюю для России величину по всем выбранным параметрам («норму») и потом начинает тупо сравнивать каждую конкретную ТИК по каждому из параметров с этой нормой. При этом отскоки учитываются как в плюсовую, так и в минусовую сторону от «нормы». Пафосно выражаясь, идет измерение расстояний между «нормой» и каждой конкретной ТИК в условном пятимерном статистическом пространстве.

Логика проста: можно себе представить, что избиратели какой-то ТИК страстно любят некоего политика и очень монолитно за него голосуют. Немного труднее представить, что все они при этом демонстрируют рекордную явку. Еще труднее представить, что среди них не нашлось ни одного подслеповатого пенсионера, который перепутал окошки и испортил бюллетень, равно как и ни одного пламенного борца за народное дело, который проголосовал «против всех».

Если ТИК одновременно по всем этим параметрам отскакивает далеко от «нормы», очевидно, к ней стоит присмотреться внимательнее. Может, это и вправду моряки или военные? Кстати, почему, собственно, принято считать естественной абсолютную явку и абсолютную монолитность голосования на судах и в воинских частях? Там что, избирательные законы РФ как-то иначе действуют или у граждан другие электоральные права?

Впрочем, это отдельный вопрос.

Электоральная управляемость

Позвольте не задерживаться далее на процедуре счета. Это стандартные методы многомерной статистики. С их помощью несложно рассчитать одно конкретное число, которым описана мера «отскока» данной ТИК от «нормы» в нашем пятимерном пространстве. Мы вежливо называем это число коэффициентом (индексом) «электоральной управляемости». Или индексом «особой электоральной культуры». В смысле — такая вот уж в этих ТИК «особая» культура, что люди голосуют как по ниточке, сильно отличаясь в своем поведении от общероссийского избирателя. Можно было бы сказать иначе: индекс «электоральных странностей». Или, уж совсем без обиняков, индекс «административного ресурса». Тогда, по крайней мере, все было бы понятно с воинскими частями: что полковник приказал, то капитаны и лейтенанты из избира-

тельной комиссии и обнаружили в ящиках для голосования. Статистика добросовестно фиксирует повышенные значения индекса.

Манипуляции? Сказать по совести и здравому смыслу — да, конечно. Но ведь выборы дело юридическое. А с юридической точки зрения такое заявление некорректно.

С помощью компьютера и теории вероятностей мы можем только статистически достоверно зафиксировать неестественные систематические «отскоки» (математики говорят «иррегулярности») и доказать, что их появление не могло быть обусловлено слепой игрой случайных чисел. А уж чем именно, помимо слепой игры, они могли быть порождены — здесь простор для адвокатской фантазии. Может, и вправду там такой загадочный народ живет. Ему вели старейшины, он весь строем пошел да и проголосовал не допуская отклонений. Чего только на свете не бывает, верно?!

Короче, индекс «электоральной управляемости».

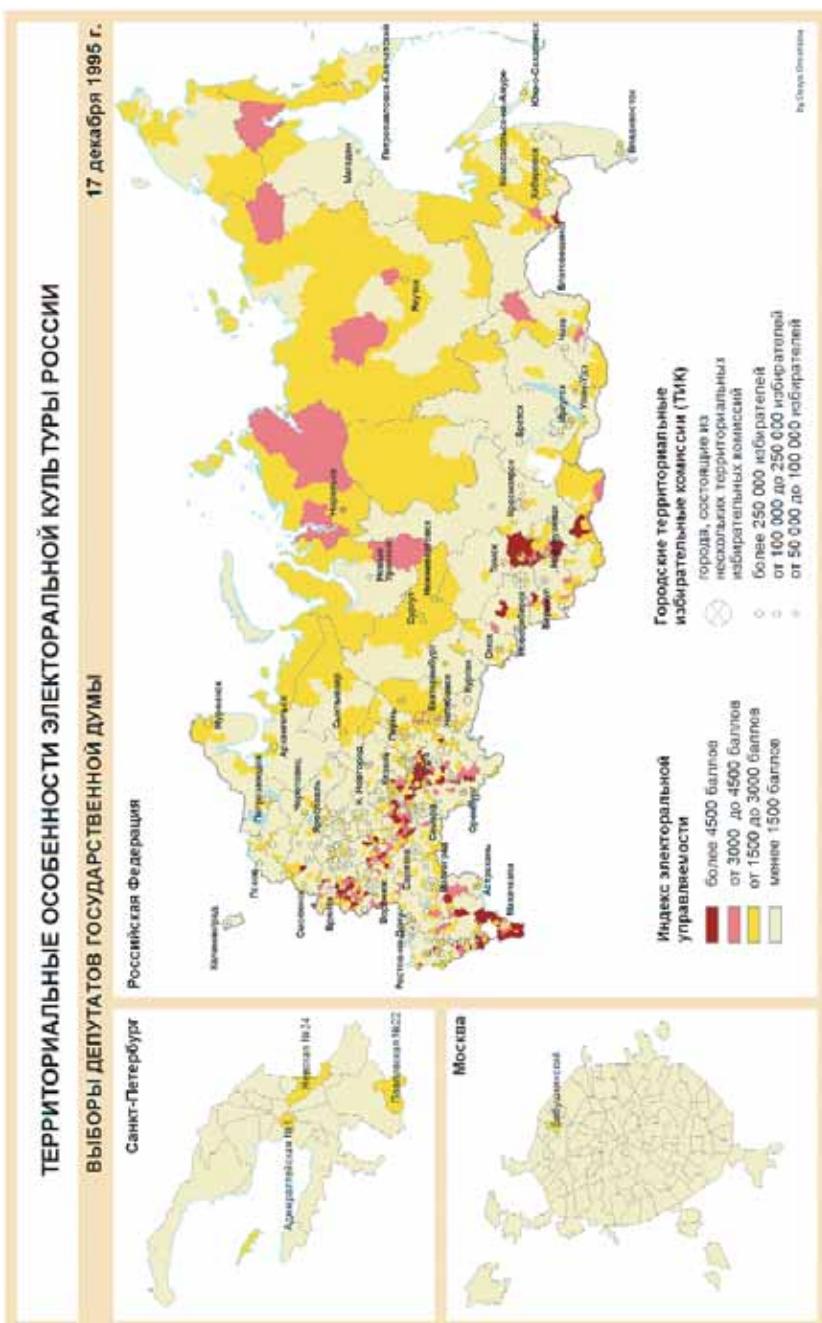
Картографическая интерпретация

Естественно, когда индекс был рассчитан для всех 2750 ТИК, сразу захотелось положить его значения на карту и посмотреть, что получится. Получилась на диво интересная картинка. Что косвенно говорит о том, что метод работает и отражает нечто ранее неведомое.

Первая карта — думские выборы 17 декабря 1995 года (рис. 2). Чем выше значение индекса управляемости, тем темнее красный цвет. Чем цвет бледнее, тем индекс ближе к «норме». Выскакивает в середине карты клинообразный полигон красного цвета. Это Кемеровская область. Выскакивает также Дагестан, и еще прослеживается пунктирная полоска ТИК красного цвета вдоль черноземной полосы России. Плюс некоторые ТИК на севере. На них можно пока не обращать внимания, потому что там избирателей очень мало, а соответствующие полигоны (территории) на карте непропорционально обширны.

Что удивительно? Если мы рассматриваем ТИК Томской области, соседней Новосибирской области или Алтайского края, то выходит в целом как по стране. Бледный цвет, то есть все недалеко от «нормы», значения индекса умеренные. Но стоит войти на территорию Кемеровской области, как индекс в два-три раза подскакивает.

Для нас это было открытием. Оказывается, административная граница в рамках этого методического подхода может играть весьма существенную роль. Притом что она ни прямо, ни косвенно в механизм подсчета не закладывалась. Мы просто брали ТИК под определенными номерами, безотносительно их привязки к субъектам Федерации, и прогоняли через программу. А потом, уже при наложении на карту в соответствии с официальными адресами, почти все ТИК Кемеровской области как на подбор оказались темно-красно-



го цвета. Прямо как в детском пазле — из темно-красных ТИК сами собой сложились контуры некоторых субъектов Российской Федерации!

Вот и в Дагестане практически все ТИК — за исключением более светлого пятна вокруг Махачкалы — окрашены темно-красным. И в Северной Осетии. То есть ТИК этих субъектов Федерации по каким-то загадочным причинам одинаково сильно отскочили по отобранным нами показателям от «нормы». Слишком высокая явка, слишком низкая доля недействительных и т.д.

А стоит выйти за пределы такого «особого» субъекта Федерации — и как рукой сняло. Вроде народ тот же самый или близкий (в случае Кемеровской области), а значения индекса в разы ниже. И уже нет такой компактности, картина становится пестрой, ТИК идут не в ногу. Что, собственно, переменилось? Да ничего особенного. Просто за административной границей кончается власть одного регионального начальника и начинается власть другого. Здесь лежит предел административного влияния, скажем, Амана Тулеева. И глупая машина этот предел сама нашупала с помощью индекса электоральной управляемости!

Метод работает даже лучше, чем мы надеялись. Но, конечно, не всегда и не везде. Чтобы всегда и везде — это, пожалуйста, к тов. Сталину.

В качестве объяснения можно, конечно, предположить, что все избиратели Дагестана, Северной Осетии или Кемеровской области на время выборов вышли в открытое море (это особенно актуально для Кемерова) или записались в солдаты. Но это уже будет немного слишком — в стиле В.Е.Чурова. Кстати, ни Мурманская область, ни Дальний Восток, где действительно есть такие ТИК (они на карте выглядят как мелкие красные пятнышки или точки), в целом из общего фона не выбиваются. Потому что большая часть ТИК там — нормальные. С бледным цветом. Как и абсолютное большинство прочих территорий Российской Федерации.

После этого строилась серия аналогичных карт для всех последующих федеральных выборов — думских и президентских. Президентские карты всегда получаются более пестрыми и более красными (рис. 3). По одной фундаментальной причине: меньше альтернатив и, следовательно, выше монолитность голосования. По существу, начиная с 1996 года вопрос всегда стоял о доверии или недоверии к одному человеку, олицетворяющему действующую власть. Причем стоял не только перед избирателем (что бы сам избиратель на этот счет ни думал), сколько перед региональными элитами. В отличие от рядового избирателя с его наивно-идейными симпатиями или антипатиями, элитам очень даже было что терять в самом вещественном смысле. Для них каждые выборы — вопрос о конкретном политическом будущем.

В 1996-м Москва на удивление дружно поддержала Б. Ельцина, при странах величинах недействительных и «против всех». Поэтому заработала повышенные значения индекса и красный цвет на карте. Можно только гадать:

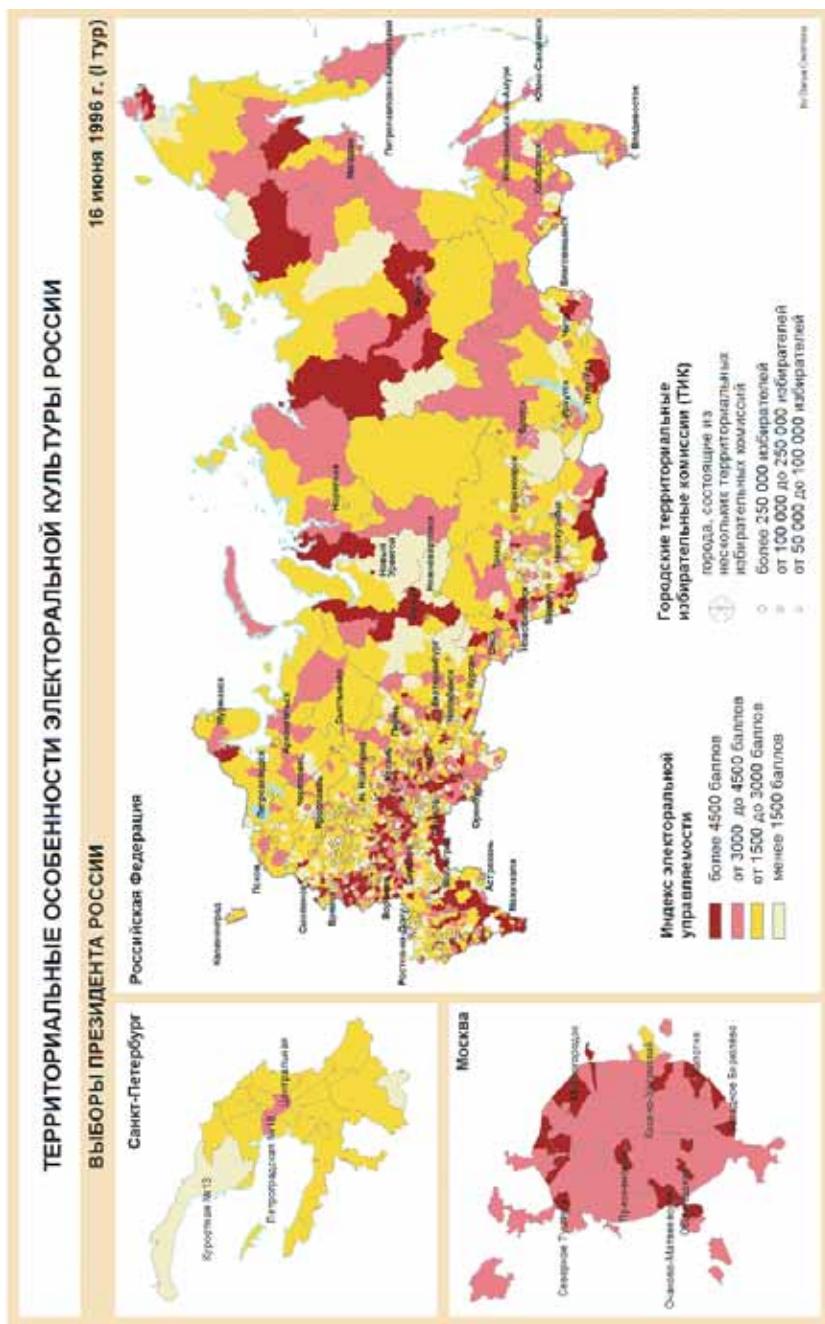


Рис. 3

то ли москвичи в ту пору все были такие отъявленные демократы, то ли не обошлось без помощи электоральной команды Ю. Лужкова, который одним из первых овладел преимуществами административного ресурса. И к тому же сумел поставить на правильную лошадь.

В Петербурге совсем другая картина. Там голоса разошлись: кто за Явлинского, кто за Лебедя, кто за Ельцина, кто за Зюганова. Соответственно, и цвет бледнее, без надрыва. А в целом по стране выходит более пестренькая и менее закономерная картинка: в условиях президентских выборов метод работает менее чутко. Монолитность голосования «глушит» прочие показатели. Хотя общие тенденции все равно видны: Дагестан, Осетия, вообще Северный Кавказ... Светлые тона в Нечерноземной зоне с ее малой долей сельских избирателей и относительно высокой урбанизацией и, наоборот, сгущение красных пятен в Черноземной полосе, где доля селян и мелкогородского населения заметно выше. На селе, известно, обеспечить «правильные итоги» с помощью административного ресурса всегда проще. Москва в этом смысле очень интересное исключение. Приполярные регионы, где жизнь сильно зависит от администрации, тоже демонстрируют растущие значения индекса электоральной управляемости.

Забавный пример дал тогда Дагестан — естественно, с преобладанием темно-красного цвета. В первом туре 16 июня 1996 года республика обеспечила 63,2% Г. Зюганову (с преобладанием в сельских районах) и лишь 28,5% Б. Ельцину (в основном за счет городов). У местной власти было две недели, чтобы сообразить, что она промахнулась с выбором (во втором туре Ельцин очевидно выигрывал за счет голосов Явлинского и Лебедя) и развернуться. Она успела: 3 июля 1996 года Ельцин получил уже 53,1%, а у Зюганова осталось лишь 44,3%. Суммарная амплитуда кульбита составила от 34,7% в пользу Зюганова до 8,8% в пользу Ельцина — итого 43,5% за две недели.

Это был, конечно, всероссийский рекорд гибкости. Характерно, что и в первом, и во втором турах значения индекса электоральной управляемости были весьма высокими. Значит, сначала местный административный ресурс старательно дул в паруса Зюганова, а через две недели — так же старательно в паруса Ельцина. Надо, однако, сказать, что даже в Дагестане тогда не наблюдалось ТИК со 100%-й явкой и редко случалось голосование за любого из кандидатов с монолитностью более 80%. Все это пришло в электральную практику лишь в эпоху Путина.

Следующий электоральный цикл — год 1999-й, выборы в Думу (рис. 4). Знакомая картинка. Но есть и новости: ясно вырисовалась Тува. Если помните, в 1999 году в тройке лидеров партии «Единство» был тувинец С. Шойгу. Понятно, все тувинские ТИК хором проголосовали с большой явкой и с большим отрывом. Мы опять не знаем, было ли это плодом народного энтузиазма или давления региональной администрации. Скорее всего, и то и другое. Как,

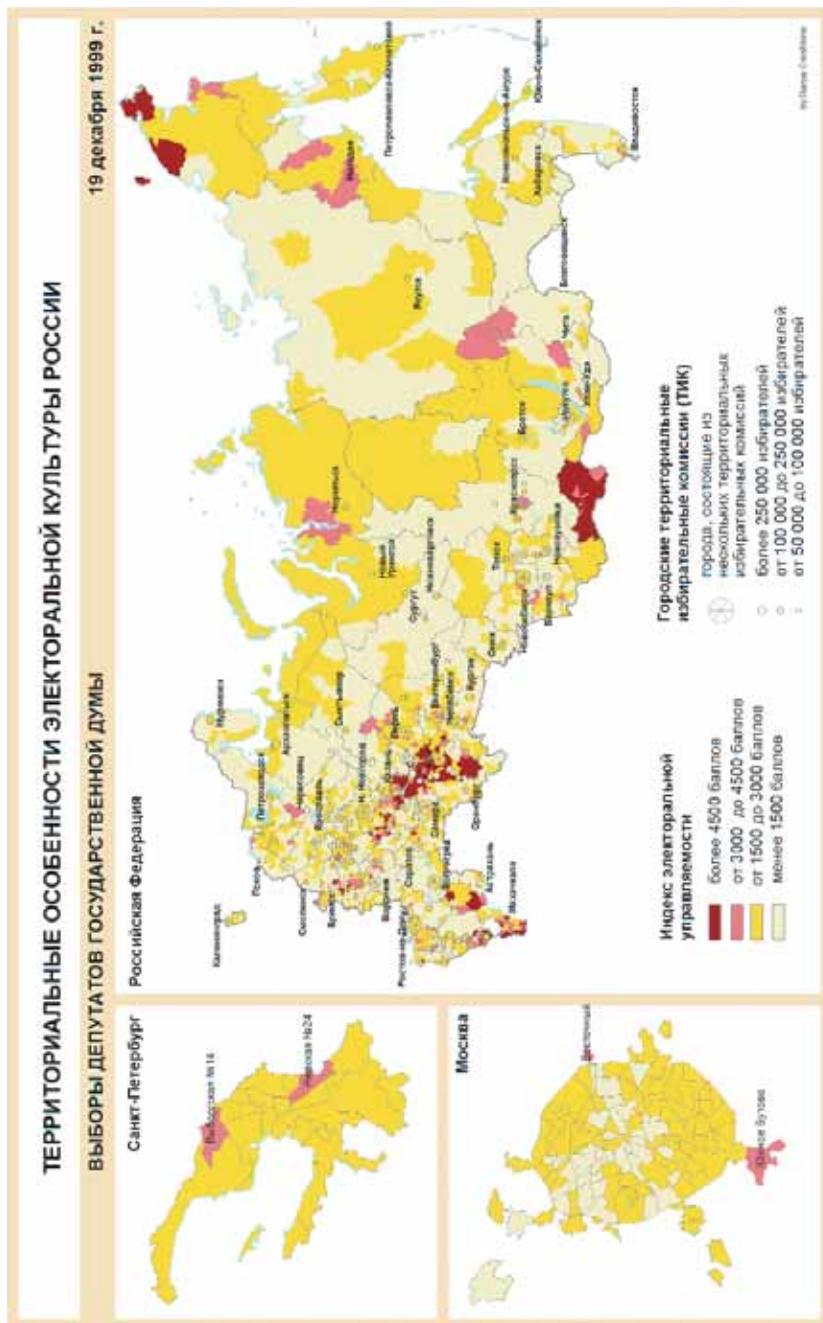


Рис. 4

вероятно, и в Москве в прошлом цикле. В любом случае удивительная монолитность, повышенная явка, малое число голосов «против всех» и недействительных бюллетеней — машина добросовестно зафиксировала факты и показала их на карте. У соседей Тувы тем временем все было не так. Ближе к «норме», бледнее.

Аналогично с Башкирией, Татарстаном, Ингушетией, Дагестаном и т.д. Надо напомнить, что содержательная (собственно «политическая») составляющая машину при расчетах не занимает. В Туве побеждает «Единство» и С.Шойгу со всеми «электоральными странностями», а в Башкортостане, Татарстане, Ингушетии точно так же отрывается «Отечество — вся Россия». Что неудивительно, если учесть, что М. Рахимов, М. Шаймиев и Р. Аушев в те годы были среди лидеров ОВР. Административный ресурс и «особая электоральная культура» в разных регионах тогда давили в разных партийных направлениях, но примерно с одинаковой силой. Что и зафиксировано индексом управляемости. Как видим, вырисовывается некоторая географическая закономерность.

Интересно, что тот самый Кемеровский регион, который на предыдущих парламентских выборах столь сильно выделялся, на этот раз никак себя не показал. Избиратели, что ли, переменились? Нет, просто А.Тулееву стало без разницы. «Не его» выборы! Он тогда не примыкал ни к партии Путина, ни к партии Лужкова—Примакова, ни к партии Зюганова. Стоял над схваткой и размышлял о будущем президентском цикле. И регион на глазах «побледнел», приблизился к «норме».

В целом думские выборы 1999 года были если не самыми свободными, то как минимум самыми конкурентными. Три партии имели серьезные шансы и вели настоящую борьбу, опираясь на разные типы ресурсов. КПРФ — в основном на идеологию, советскую ностальгию. Поддержка регионального административного ресурса из-под нее к этому времени уже стремительно уходила. «Единство» опиралось в основном на СМИ, ТВ (включая телекиллера С. Доренко), мощную финансовую поддержку олигархов, часть регионального истеблишмента и избирателей-антикоммунистов, которые остро не хотели возвращения «совка» и видели в Путине удачное сочетание лучших качеств демократа Ельцина и державника Лебедя. Партия «Отечество — Вся Россия» опиралась на административный ресурс и популярность входящих в блок губернаторов. Ее идеологию вряд ли кто сегодня вспомнит.

Неудивительно, что на карте четко выделены темно-красным цветом именно регионы, консолидированно поддержавшие ОВР.

Победило, однако, «Единство».

К президентским выборам 2000 года картина отстаивается и стабилизируется (рис. 5). Административный ресурс уже научился держать электоральную ситуацию под контролем. Произошла консолидация элит, антикремлевский

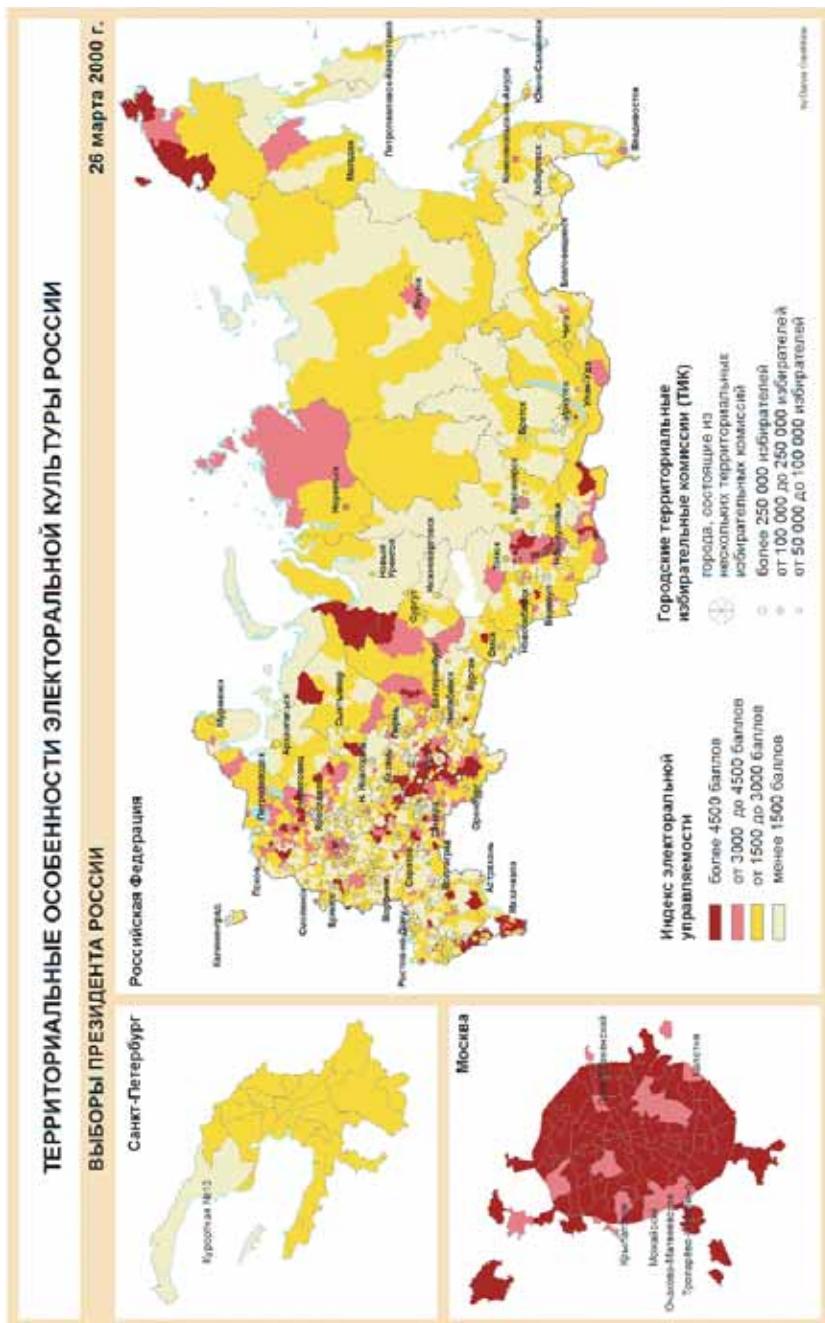


Рис. 5

демарш ОВР и региональных элит подавлен, Примаков уходит из политики, Лужков организованно отступает, демонстрируя жесткость и выторговывая себе льготные условия «княжения на Москве». ОВР на почетных условиях вливается в «Единство»; сформировано сословие бюрнеса — союз бюрократии и бизнеса. На его основе формируется такое политическое явление, как «путинский консенсус элит» (термин Г. Павловского).

Коммунизм (точнее, советизм), который в середине 1990-х еще пользовался мощной поддержкой части региональных элит, привыкших руководить, распределяя ресурсы (и не обделяя себя), к рубежу тысячелетий эту поддержку утратил. Начальники на личном опыте убедились, что при капитализме можно руководить значительно богаче и интересней. С тех пор КРПФ становится чисто идеальной партией, опирающейся только на поддержку верящих ей избирателей и не обладающей значимым административным ресурсом. Зававным образом коммунисты, десятилетиями строившие внутреннюю (в том числе электоральную) политику на отрицании «западной демократии» и связанных с ней равных, конкурентных и честных выборов при свободных СМИ и независимом суде, сегодня сильнее всех нуждаются именно в этих институтах. А противостоит им самый что ни есть советский принцип: «Неважно, как голосуют, важно, как считают». Только теперь он взят на вооружение не советской, а антисоветской номенклатурой бюрнеса.

Электоральные проявления упомянутых процессов воочию наблюдаем на картах. Москва опять ведет себя «странны». Показана необычно высокая для столицы явка, удивительные данные по недействительным бюллетеням и, главное, рекорд среди городов по голосованию «против всех» — 5,94%. С итогами явно что-то не так. Поддержка В. Путина всего 46,2% — очевидный проигул по сравнению с результатом Ельцина 3 июля 1996-го (77,3%) и «отскок» от средних цифр Путина по стране — в минусовую сторону.

Московская элита демонстрирует новому президенту норов и способность жестко контролировать итоги выборов? Для торга об условиях капитуляции дело совсем не лишнее. Впрочем, если угодно, можно утешать себя рассуждениями о том, что демократически настроенные москвичи сразу раскусили коварного Путина. И решили его слегка прокатить при удивительно высокой явке. Правда, в этом случае придется признать, что столь же дальновидными оказались избиратели Адыгеи (у Путина 44,7%), Республики Алтай (37,9%), Бурятии (42,2%) и Орловской области (45,8%). Все эти регионы отличаются, во-первых, повышенной электоральной управляемостью и, во-вторых, задержкой в развитии региональных элит. Прочие уже давно перестроились под нового президента, бодро поднимаются с колен, а эти все стоят, набычившись, и подпирают КПРФ.

Брали бы пример с Дагестана: обжеглись на Зюганове в 1996 году, республиканские элиты на этот раз не ударили в грязь лицом и с первой попыт-

ки выкатили Путину аж 81,0%. При привычно высоких прочих параметрах электоральной управляемости. На карте, понятно, регион опять выходит красным цветом. Им что Зюганов, что Ельцин, что Путин — избиратель любит взасос всех по очереди. Как и Ингушетия, которая сразу не пожалела новому президенту 85,4%. То ли еще будет! А вот в Чечне пока еще не полностью наведен конституционный порядок: у Путина всего 50,6% при разбросе по ТИК от 20,9 до 85,5%. На карте Чечня светленькая. Но это ненадолго.

Питер же, в отличие от лужковской Москвы, ведет себя не в пример простодушней и естественнее. За «своего» Путина — 62,4%. Но зато явка даже чуть ниже московской при вполне стандартных долях недействительных бюллетеней и голосующих «против всех» (2,48%). Это вдвое с лишним меньше, чем в Москве. И практически идеальное совпадение со средней величиной выступающих «против всех» — 2,47%, — рассчитанной для 100 крупнейших городов страны.

Понятно, цвет Петербурга опять светлее, чем у Москвы.

Достоин внимания феномен Кемерова. В 2000-м, после перерыва на думских выборах, регион опять всплыл в красном цвете. Ответ на поверхности: в этом цикле А. Тулеев выдвинулся в президенты. И хоть на чужих территориях лавров не стяжал, из своей выдавил все что мог. С помощью все того же инструментария. Повторим: избиратели этого типа, условно говоря, шахтеры, промышленные рабочие Кузбасса и юга Сибири, живут не только в Кемеровской области. Но показатели электоральной сплоченности, стоит выйти за пределы подконтрольной Тулееву административной зоны, колом идут вниз. По стране в целом Тулеев набрал 2,95%, а в «своих» Прокопьевске, Кемерове и Новокузнецке — соответственно, 57,8; 52,8 и 47,3%. В среднем по области — 51,6%. Вдвое больше Путина (25,01%).

Татарстан, Башкортостан, Мордовия, некоторые другие республики и автономные округа на «северах» в смысле индексов электоральной управляемости ведут себя примерно так же, хотя конкретные политические симпатии там могут крутиться как флюгер. Но всегда с одним правилом: туда, куда сегодня кажется правильным местным элитам.

С Северным Кавказом тоже все привычно и понятно. Но в целом основная часть страны выдержана в умерено-светлых тонах. То есть более-менее в общем ряду: где-то больше у Путина, где-то (уже весьма редко) у Зюганова. Полного беспредела не наблюдается.

Дальше карты можно просто листать, убеждаясь в устойчивости географического каркаса «особой электоральной культуры» (рис. 6, 7). Всегда выделяется Кавказ, всегда Южный Урал с соседним Поволжьем, все чаще нефтегазовый Север и Чукотка имени Р. Абрамовича. Которого в самом деле там искренне любят и изо всех сил поддерживают. Что, собственно говоря, красный

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
Выборы депутатов Государственной думы

7 декабря 2003 г.

Санкт-Петербург
 Москва

Республика Татарстан

Псковская обл.

Приморский край

Челябинская обл.

Муром

Саратовская обл.

Самара

Нижегородская обл.

Калуга

Липецк

Воронеж

Белгород

Краснодар

Севастополь

Сочи

Астрахань

Красноярск

Иркутск

Чита

Хабаровск

Владивосток

Ачинск

Красноярск-Сити

Кемерово

Новокузнецк

Новосибирск

Омск

Тюмень

Екатеринбург

Челябинск

Курган

Самара

Саратов

Волгоград

Астрахань

Каспийск

Азов

Донецк

Луганск

Харьков

Киев

Одесса

Днепропетровск

Днепродзержинск

Днепропетровск

Днепр

Кишинев

Бухарест

София

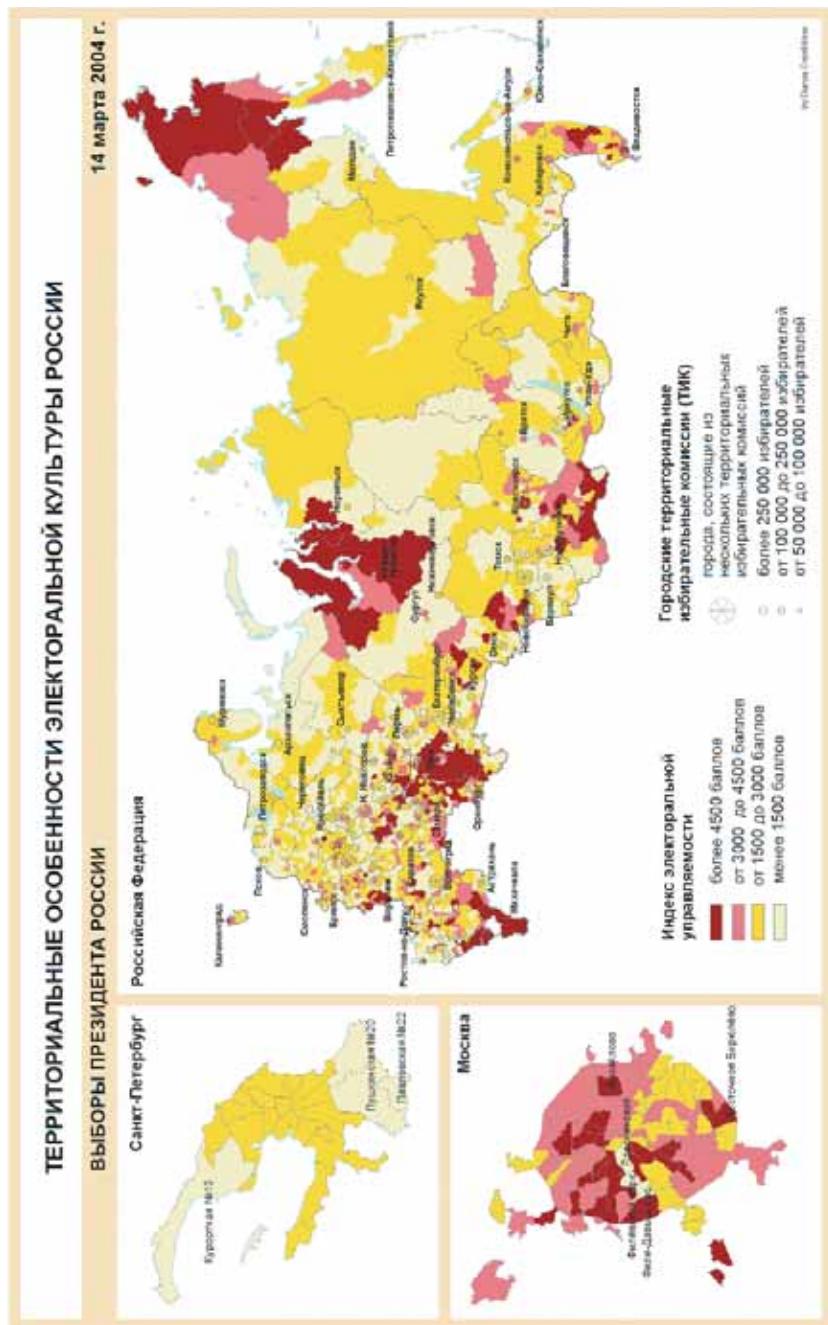


Рис. 7

на карте и демонстрирует. Еще раз подчеркнем, статистический метод не может юридически строго объяснить, в результате чего появляются «электоральные странности». То ли от любви народной, то ли от еще большей любви электоральных начальников.

Вероятнее всего — от обеих причин. Но «флюгерность» — сегодня за одного, завтра с такой статистически выраженной страстью за другого — все же заставляет склониться к мысли о преобладающей роли административного ресурса. Прошу заметить — не везде, а только на территориях, которые компьютер закрасил красным цветом. В остальных российских землях дело идет ни шатко ни валко. Нельзя сказать, что идеально, но все-таки и не по ингушско-дагестанским стандартам.

В 2007 году проблема счета усложняется, потому что убрали такую вредную для начальства графу, как «против всех» (рис. 8). Пришлось немного менять программу. Но принцип остался прежним. Северный Кавказ все равно выделяется, опять Южный Урал и Поволжье (Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Мордовия). Снова фрагментами юг Сибири и северные нефтегазовые регионы. С 2007 года административный ресурс стал действовать чуть умнее. Перестал гнаться за формальными цифрами явки. Понял, что политически верного результата можно добиться и, наоборот, при пониженной активности избирателей. Поэтому на картах появился синий цвет.

Отныне в некоторых случаях регионы с «особой электоральной культурой» по-прежнему дают странно высокий процент «за» с высокой явкой. А в некоторых (где начальство поумнее) напротив: у нужного кандидата поддержка странно высока, а явка показана на удивление низкая.

В самом деле: чем ниже явка, тем меньшим объемом «управляемого электрата» можно поправить дело и обеспечить нужный итог. Например, приходят на выборы всего 100 избирателей и все голосуют «неправильно». Но мы-то хитры! У нас в засаде стоит рота солдат ровно такой же численности. Хлоп — и вот уже явка 200 человек и 50% за «кого надо». Дешево и сердито.

Исходя из этих вполне здравых соображений, электоральная администрация загодя инициировала отмену необходимого минимума явки. И теперь чувствует себя замечательно. А наш компьютер в результате в дополнение к темно-красным полигонам стал рисовать небесно-голубые. Так выделяются ТИК, где при прочих «электоральных странностях» фиксируется отскок явки не вверх, а вниз. Здесь опять впереди всех Москва: все-таки действительно неглупые люди руководят процессом в столице; ловят юридические новации на лету и тут же пускают в дело. Но и Питер наконец подтянулся к передовому опыту.

Однако в абсолютном большинстве электорально управляемых ТИК люди предпочитают работать по старинке. Уж как привыкли рисовать высокую явку, так и рисуют. Чтобы не запутаться.

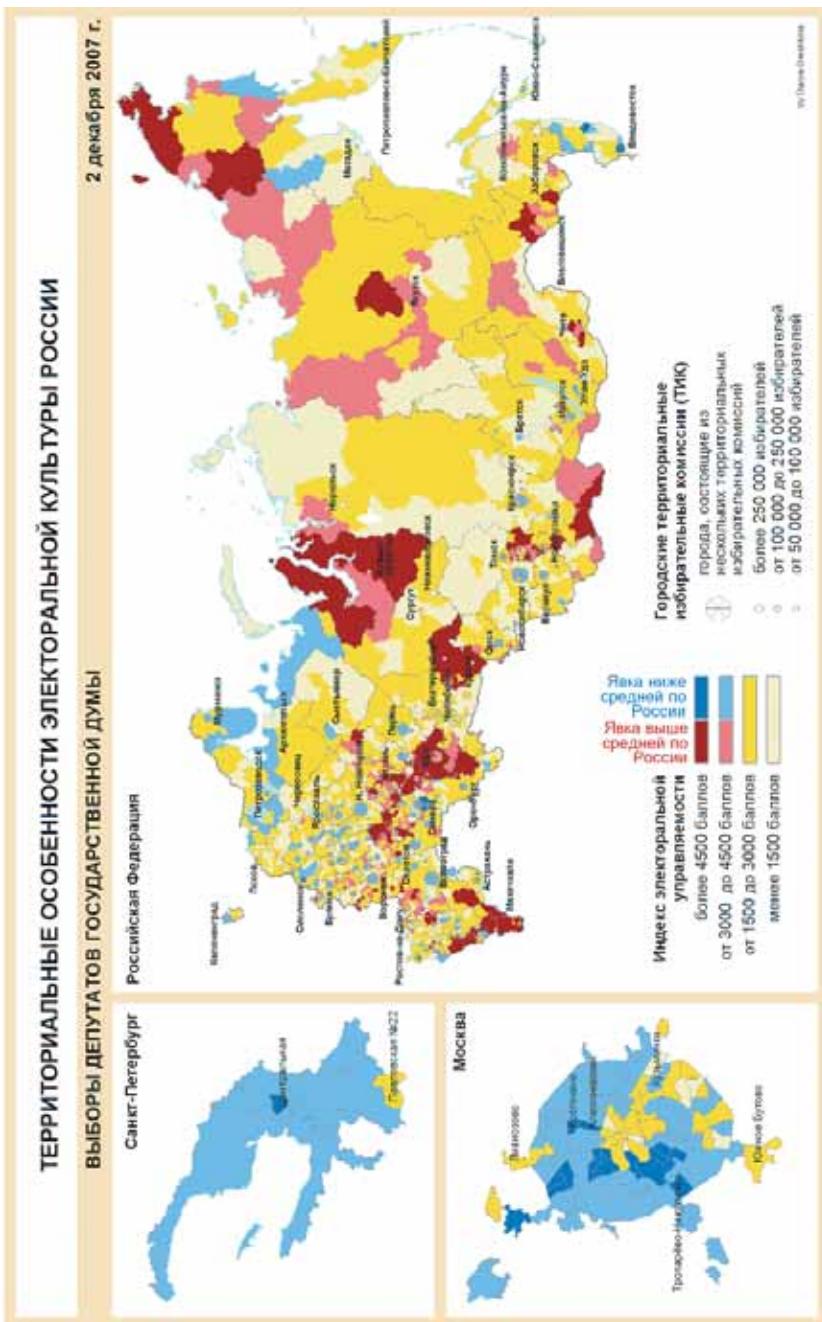


Рис. 8

Год 2008-й, президентские выборы (рис. 9). Обратите внимание на Москву. В целом по-прежнему индекс электоральной управляемости повышен, но не до максимума. При этом город как бы разделяется надвое. В менее престижных городских районах на юге и юго-востоке по-прежнему встречаются ТИК с повышенной явкой. А север, северо-запад и юго-запад (староэлитные районы) чаще склоняются к синим цветам. Но в обоих случаях интенсивность цвета показывает, что есть ТИК с некоторыми «странныстями» в поведении.

Самый центр, что интересно, странностей не желает демонстрировать. Оно и понятно: здесь голосование достаточно прозрачно, люди живут в основном образованные, знающие свои права и не стесняющиеся ими пользоваться. Так что случаев явно «управляемого голосования» здесь немного. И начальство не хочет рисковать попусту, и избиратели не очень-то готовы проглотить любой фальшак. К тому же именно «элитные» москвичи на самом деле демонстрируют выраженное расхождение в мнениях: в одной семье старшее поколение может быть твердо коммунистическим, а младшее столь же твердо «яблочным». В любом случае по сравнению с другими районами города нали-цио дефицит монолитности.

А вот с приближением к периферии города «странные» ТИК встречаются все чаще. Но это уже микрогеография и совершенно особая тема для исследования. Пока важно зафиксировать, что Москва внутри себя электорально не однородна. Есть районы с невысоким индексом управляемости, а есть — напротив. Последние тяготеют к окраинам, где трудней обеспечить партийный и общественный контроль за подсчетом голосов. Городская власть научилась настолько гибко оперировать административным ресурсом, что успешно получает нужный результат как при пониженнной, так и при повышенной явке. Питер же опять демонстрирует некоторую сдержанность и мало отклоняется от средних по стране цифр.

При взгляде в целом на карту 2008 года бросаются в глаза две вещи. Во-первых, все та же устойчивость географического каркаса: Кавказ, Урал—Поволжье, фрагменты автономных округов на Севере и в Сибири. Значимость административного фактора настолько велика, что в большом красном пятне на юге Урала (Башкирия, далее к западу смыкающаяся с Татарстаном, и пр.) можно заметить вторгающийся в него справа (с востока) маленький сине-желтый аппендикс. Это кусок соседней Челябинской области, по прихоти административно-территориального деления углубившейся в тело Республики Башкортостан.

Так выходит, что все ТИК Башкортостана вокруг темно-красные, но этот фрагмент челябинской земли упрямо демонстрирует сходство со среднероссийской «нормой». Население, в принципе, давно и довольно существенно перемешалось, а административные права — нет. И вот результат: челябинские голосуют «как все», а Башкортостан — как зона повышенной электораль-

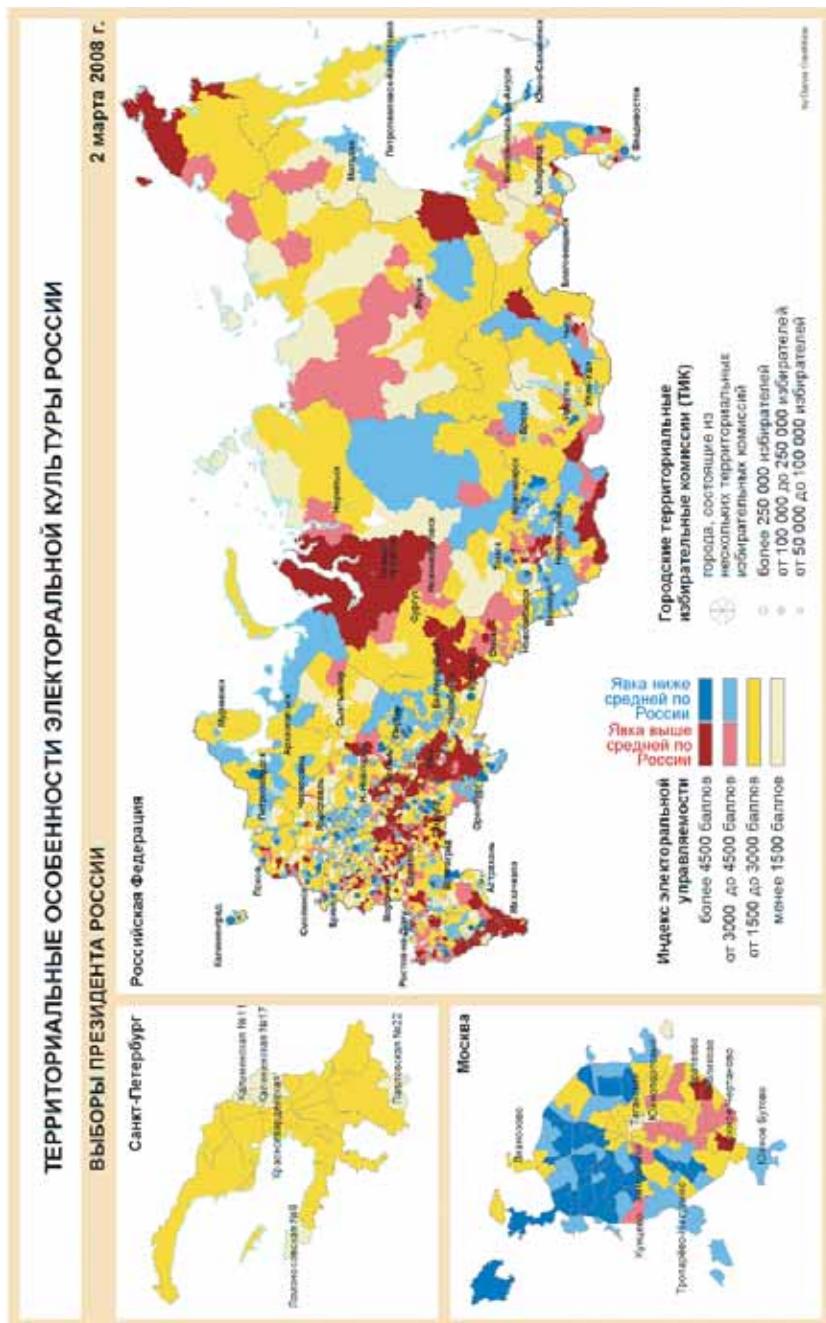


Рис. 9

ной управляемости. Перемена происходит при пересечении административной границы.

В данном случае не обойтись все же без социокультурных коннотаций. Ведь граждане и элиты республики принимают такие итоги голосования? Принимают. Они что, не знают, как это делается? Знают. Но молчат. Суды и ТВ не возмущаются? Не возмущаются. Стало быть, такова эмпирически зафиксированная в статистике норма жизни. В Челябинской области одна, в Башкортостане — другая. Электоральная статистика только фиксирует этот, в общем-то, тривиальный факт. Ну и еще позволяет как-то измерить глубину расхождений. И еще — косвенно — она свидетельствует, что выборы в России все-таки имеют смысл.

Когда говорят, что, мол, все схвачено, все куплено, задушено и продано — это неверно. В чисто научном смысле неверно. Да, схвачено, куплено, задушено, но — не все. И не везде одинаково. В этом и прелесть. Страна, как политическая и социокультурная реальность, сложнее и интереснее, чем кажется забубненным пропагандистам с того или этого фланга. Она — живая. Хотя, надо честно признать, жизнь эта не совсем человеческая.

А какая? Так вот мы и пытаемся разобраться. Как умеем.

Реальность может нравиться или не нравиться — как климат. Только из-за нелюбви к морозам не следует разбивать термометр.

Вторая важная новость на карте — красным цветом стыда залилась Тюменская область. Это к востоку (направо) от Челябинской. До 2007-го она была такой же, как соседи. Не выделялась. Но стоило бывшему губернатору этой земли г-ну Собянину прийти на руководящий пост в президентской администрации, как область стала выдавать фантастически массированные электоральные результаты в поддержку В. Путина и его партии.

Умеем мы все-таки быть благодарными, правда?

Прямо как в Дагестане. Вообще, по сравнению с «лихими девяностыми» европейская модель голосования все очевиднее отступает перед азиатской. Некоторые с удовлетворением называют это возвращением к истокам.

Наглядный пример того, как это делается на практике. Перед вами протокол Докузпаринской ТИК Дагестана 2003 года (рис. 10). Это первый и на ту пору единственный протокол такого рода. До 2003 года таких не было. Ни в Дагестане, ни где-либо еще.

Маленький Докузпаринский район расположен в горах на юге республики. Самая глухая провинция в одной из самых «особых» в электоральном смысле республик. В районе всего 10 избирательных участков общей численностью 8881 человек. Удивительно, но из 40 с лишним зарегистрированных партий только три получили здесь значимое число голосов. Это «Единая Россия», КПРФ и СПС. Недействительных бюллетеней ноль, за ЛДПР, за «Яблоко», за все остальные партии тоже ноль, «против всех» ноль и только три пар-

Докузпаринская		Сумма										
1	Число избирателей, вышедших в списки Число избирателей, выданных избирателям, погодом, избирательным, дворцами	8881	1433	1110	739	472	820	580	2236	269	185	1037
3	Число избирателей, выданных избирателям, погодом, избирательным, дворцами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Число избирателей, выданных избирателям, погодом, избирательным, выданных избирателям, голосования	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
9	Число избирателей, выданных избирателям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1.1. "Единая Россия"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2.2. "Союз правых сил"	436	72	54	36	23	40	29	112	14	9	47
20	3.3. "Партия Пенсионеров"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	4.4. "Национальный"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.5. "За Русь Святую"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6.6. "Объединение Российской партии "Русь"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	7.7. "Новый курс - Агромобилизация России"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	8.8. "Национально-республиканская партия России"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	9.9. "Партия за экономическое развитие "Лига народов"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	10.10. "Аграрная партия России"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	11.11. "Служебные партии России"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	12.12. "Национальная Партия Род"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	13.13. "Демократическая партия России"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	14.14. "Новая Россия - Евразийский Союз"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	15.15. "Первая Слободы"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	16.16. "Гордость" (народное патриотическое движение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	17.17. "Партия Мира и Единства (ПМЕ)"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	18.18. "ДПР"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	19.19. "Партия Жизни"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	20.20. "Единая Россия"	6970	1146	860	582	370	650	458	1789	215	146	754
38	21.21. Родина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	22.22. "Родительское предпринимательство"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	23.23. КПРФ	1306	215	161	109	70	122	86	335	40	27	141
41	Против всех	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рис. 10

тии с каким-то результатом в виде натуральных чисел. С каким же именно результатом?

А вот пожалуйста — в пересчете на проценты (рис. 11). Единая Россия по всем участкам имеет ровно 80% плюс-минус сотые доли, КПРФ — 15%, СПС — 5%. Чтобы было понятно, напомним, что тогда порог прохождения в Думу был как раз 5%.

Докузпаринская	Сумма	УИК №933	УИК №934	УИК №935	УИК №936	УИК №937	УИК №938	УИК №939	УИК №940	УИК №941	УИК №942
Явка	98,10	100,00	96,85	98,38	98,09	99,02	98,79	100,00	100,00	98,38	90,84
Доля недейств.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Единая Россия	80,00	79,97	80,00	80,06	79,91	80,05	79,93	80,01	79,93	80,22	80,04
КПРФ	14,99	15,00	14,98	14,99	15,12	15,02	15,01	14,98	14,87	14,84	14,97
СПС	5,00	5,02	5,02	4,95	4,97	4,93	5,06	5,01	5,20	4,95	4,99
Против всех	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Рис. 11

Можно сколько угодно рассуждать про горские традиции, уважение к старшинам. Но здесь предельно очевидно, что начальники просто взяли калькулятор, разделили общее число избирателей в пропорции 80/15/5 и потом вписали числа в протокол. Колебания в сотых долях — естественное следствие округления при переходах с уровня участковых комиссий на уровень ТИК. И все.

Интерпретировать такой протокол каждый может как ему угодно. Наше дело зафиксировать «странный» и оценить ее количественно. В рамках изранной методики компьютер бесстрастно отметит максимальный отскок от «нормы» вниз по недействительным бюллетеням (ниже нуля не бывает), максимальный отскок по параметру «против всех», поразительно высокую явку, поразительно высокую монолитность голосования. И в итоге присвоит Докузпаринской ТИК очень высокий индекс электоральной управляемости. Необязательно максимальный: если бы «Единая Россия» имела здесь не 80, а, скажем, 95%, то величина индекса поднялась бы еще выше за счет показателей монолитности.

Докузпаринский ТИК — первый и единственный пример столь откровенных и тупых манипуляций с начала периода наблюдений. Но никак не последний. К настоящему времени подобные протоколы по участкам насчитывают десятками и сотнями. В 2003 году электоральные администраторы этой единичной сводки стыдились, старались не упустить в прессу, высказывались между собой в стиле: «Ну, в семье не без урода...» Но с тех пор ситуация поменялась — и в техническом, и в нравственном смысле.

Такими протоколами сегодня чуть ли не гордятся. Их число быстро увеличивается. Они выходят из захолустья и обозначают свое присутствие не только в зонах традиционно высокой электоральной управляемости, но уже в Тюменской области и даже в Подмосковье. Их почти в открытую рассматривают как признак правильной организации дела и растущей «всенародной поддержки».

В качестве свежего примера — протокол Чегемской ТИК из Кабардино-Балкарии (табл. 1). Это уже не федеральные, а региональные выборы. Но суть та же. 40 тыс. человек на 18 избирательных участках проголосовали как по ниточке, с одинаковой явкой и практически одинаковыми итогами. Если что и стоит отметить, то лишь хирургическую точность, которая позволила коммунистам еле-еле (+ 0,02%) перевалить через 7%-й порог в республиканский парламент. А жириновцам столь же аккуратно переползти через порог не поз-

Таблица. 1. Результаты выборов 1 марта 2009 г. в Чегемском районе Кабардино-Балкарии

Избирательные участки	Число избирателей	Число полученных участками бюллетеней	Явка, %	«Единая Россия», %	«Справедливая Россия», %	КПРФ, %	ЛДПР, %
Чегемский район	40 065	40 065	81,88	70,40	15,63	7,02	6,95
№300	720	720	81,81	70,29	15,62	7,13	6,96
№301	533	533	81,80	70,41	15,60	7,11	6,88
№302	1 255	1 255	81,83	70,40	15,58	7,11	6,91
№303	2 794	2 794	81,89	70,41	15,65	6,99	6,95
№304	2 959	2 959	81,89	70,41	15,64	6,97	6,97
№305	2 681	2 681	81,87	70,39	15,63	7,02	6,97
№306	1 713	1 713	81,84	70,40	15,62	7,06	6,92
№307	2 804	2 804	81,88	70,43	15,64	6,97	6,97
№308	2 871	2 871	81,89	70,40	15,61	7,02	6,98
№309	2 821	2 821	81,89	70,39	15,63	7,01	6,97
№310	2 132	2 132	81,89	70,39	15,64	7,04	6,93
№311	2 011	2 011	81,90	70,37	15,60	7,10	6,92
№312	1 858	1 858	81,86	70,41	15,65	6,97	6,97
№313	2 484	2 484	81,88	70,40	15,63	7,03	6,93
№314	2 955	2 955	81,90	70,41	15,62	7,02	6,94
№315	2 514	2 514	81,86	70,41	15,65	7,00	6,95
№316	2 130	2 130	81,88	70,41	15,60	7,05	6,94
№317	2 830	2 830	81,87	70,39	15,62	7,03	6,95

волили ($-0,05\%$). Еще, конечно, умиляет абсолютное совпадение числа избирателей с числом бюллетеней.

Естественно, возникает желание проследить изменение числа ТИК с максимально высокими показателями индекса за всю историю наблюдений (рис. 12).



Рис. 12

По оси ординат — число ТИК с показателями индекса более 4500 (оны были показаны темно-красным цветом на картах). По оси абсцисс — последовательность федеральных избирательных кампаний. Процесс очевидно колебательный, из-за специфики метода. Уже говорилось, что во время президентских выборов индекс подскакивает из-за растущей монолитности голосований и уменьшения альтернативности. Наверное, играет свою роль и повышенная мобилизация/заинтересованность региональных элит — трудно точно сказать.

Так или иначе — на президентских выборах очевидные пики. За исключением цикла 2000 года, когда административный ресурс еще не совсем подстроился под «путинский консенсус» и не очень понимал, на кого работать. Насильно не понимал, что думские выборы 2003 года дали даже более мобилизованную картину. Тогда электоральные начальники на местах уже воспрянули духом, поняли, куда дует ветер, и засучив рукава принялись за работу. Неслучайно именно в 2003-м появился первый протокол «докузпаринского» типа.

Но в целом для думских выборов характерно относительное уменьшение числа «управляемых» ТИК. Голоса расходятся по разным корзинам, мотива-

ция у регионального начальства не такая мощная — словом, электоральная картина более раскрепощенная. Рискну сказать — более свободная. Вспомнив карты, отметим, что на президентских выборах красный цвет расползается по всей стране, а на думских все-таки обычно тяготеет к сравнительно небольшому числу территорий с «особой электоральной культурой». Опять же за исключением 2000 года. Перелом тысячелетий в России совпал с переломом электоральных свобод. А точнее — электоральной конкуренции элитных групп.

Потом тенденция пошла под гору, а наш график — в гору.

Очевидно, что волнообразные колебания идут на фоне общего роста числа «управляемых» ТИК. Если в 1995 году в стране 396 ТИК из 2750 отличались очень высокими индексами электоральной управляемости, то к 2007-му таких уже 951. Рост более чем в два раза.

Напомню, что индекс рассчитывается по сравнению с общероссийской «нормой», которая, понятно, тоже меняется от выборов к выборам. Поскольку «норма» выступает эталоном, ее саму сравнить уже не с чем. Следовательно, мы не можем сказать (вообще-то, можем, но для этого потребуются более замысловатые и менее ясные расчеты с большим количеством допущений), как эволюционируют содержание и качество «нормы» от выборов к выборам. В общем, пока она остается для нас «черным ящиком» — в ней спрятан некоторый объем манипуляций, но каков он, судить не беремся.

Удивительно, но даже в сравнении с такой не до конца понятной «нормой» мы наблюдаем рост числа «странных» территорий. Почему? Видимо, потому, что зоны «особой электоральной культуры» составляют на теле страны все-таки заведомое меньшинство. По крайней мере, пока. Следовательно, при расчете «нормы» их вклад относительно невелик, и он по закону больших чисел размывается среди более вменяемых данных, поступающих с «нормальных» территорий. Значит, отскоки «особых» ТИК от «нормы» сохраняют смысловую нагрузку, а «норма» все-таки остается сравнительно нормальной. Прошу прощения за тавтологию.

Отсюда, кстати, нетривиальный вывод. При увеличении числа «особых» ТИК понятие «нормы» должно бы деградировать. «Особость» и сделается «нормой» — как то было в СССР. Но ведь этого не происходит! Сохраняется какое-то достаточно большое (более половины!) число ТИК, по неведомым нам причинам не желающих принимать «особые» правила и считающих голоса более-менее честно. Только благодаря их незаметной, но твердой позиции мы еще имеем возможность рассчитывать «норму» и, следовательно, вычислять индексы отклонения от нормы.

То есть система комиссий внутри себя как-то сопротивляется! Хочет сохраниться по эту сторону приличий. Остается только снять шапку перед неизвестными членами избирательных комиссий разного уровня, которые вопре-

ки верховному тренду все-таки решаются писать в протоколах то, что должно быть по закону. Ну, или почти то...

Это опять реальное проявление того, что называется социокультурным фоном. Где-то он допускает и даже предопределяет электоральные манипуляции, а где-то их затрудняет. Местами даже делает невозможными. То, что среднероссийский «фон» способен к сопротивлению — пусть пассивному и ограниченному! — большая и неожиданная новость. И даже повод для гордости. Вот только держаться «фону» все труднее.

А мы-то с вами чем ему помогли? Тем, что ради красного словца участие в «таких» выборах называли соучастием?

Тем временем, если взять в расчет последние президентские выборные циклы, количество «особых» ТИК уже колеблется около отметки 1500, т.е. достигло половины от общего числа по стране. Печально.

КОИБ

В 2008 году на президентских выборах в Москве на 31% участков работали так называемые КОИБ: комплексы по обработке избирательных бюллетеней. Проще говоря, сканеры. Избиратель запускает бюллетень в сканер, тот фиксирует, в каком окошке поставлена галочка, запоминает и по итогам дня выдает электронный протокол.

Электроннику, конечно, тоже можно обмануть. Но труднее. Вмешаться в код — заведомо квалификации не хватает. Поэтому самый обычный вариант — кому-то из доверенных членов комиссии поручают пропустить через сканер сотню-другую «правильно» заполненных бюллетеней. Тоже, конечно, нелегко. Одно дело в обычную урну или прямо при подсчете вбросить пачку бумаги и совсем другое — стоять у сканера и с глупой улыбкой скармливать ему фальсификат по листочку. Пока другие отводят глаза. Противно и рискованно. Но иначе он, каналья, не проглотит. Если же будет существенное расхождение между «ручным» протоколом и электронным — скандал.

Тяжела ты, женская долюшка члена избирательной комиссии!

Поэтому в избирательных комиссиях сканеры недолюбливают. Особенно в зонах «особой электоральной культуры». Сотрудники Центра информатизации при ЦИК, обслуживающие эти сканеры на местах, мне рассказывали, что в Дагестане наиболее технически грамотные и гуманные комиссии просто выдергивали вилку из розетки, после чего составляли акт о технической неготовности устройства. И писали себе протоколы со спокойной душой, как умели.

Но были и менее грамотные, более эмоциональные комиссии. Особенно если с женщинами в руководящем составе. Потому что эмансипация. Так те просто лили в проклятую машину кипяток из чайника. Чтобы враг уже никогда не поднялся. Как жена Али-Бабы кипящее масло в кувшины, где пря-

чутся сорок разбойников. Такую личную неприязнь к потерпевшим механизмам эти женщины испытывали — просто кушать не могли.

И, в общем, есть за что.

Даже в Москве, где размах манипуляций еще далек от дагестанского, участки со сканерами показали существенные отличия от средних по городу.

С точки зрения социолога, треть избирательных участков — невероятно репрезентативная выборка. Примерно полтора миллиона человек. Если рассматривать весь город как генеральную совокупность, а участки с КОИБ как гигантскую выборку из этой совокупности, то не надо расчитов, чтобы понять, что цифры должны совпадать идеально. Если есть различия хотя бы в долю процента, то они уже статистически значимы, потому что при таком объеме выборки не могут быть списаны на случайные колебания.

Меж тем на практике, когда мы сравнили «Москву с КОИБ» и «Москву без КОИБ», выяснилось, что результаты расходятся на целые проценты (табл. 2). И «Москва без КОИБ» по странному стечению обстоятельств всегда уклоняется в «правильную» сторону по всем параметрам. Явка выше, поддержка Д. Медведева больше, недействительных бюллетеней меньше...

Таблица. 2. Реконструкция результатов президентских выборов 2008 г. в Москве
(с использованием КОИБ)

Кандидаты	По протоколу		Пересчет по участкам с КОИБ		Изменения	
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
Медведев Д.	3 285 990	71,5	2 630 165	65,9	655 815	5,6
Зюганов Г.	756 936	16,5	791 323	19,8	-34 387	-3,4
Жириновский В.	347 329	7,6	364 063	9,1	-16 734	-1,6
Богданов А.	93 714	2,0	102 795	2,6	-9 081	-0,5

Несложно пересчитать итоги, предположив, что вся Москва была бы оснащена этими устройствами. Явка в «Москве с электронными протоколами» получилась бы заметно меньше, чем было объявлено: не 4,6 млн избирателей, а всего около 4 млн. Из протоколов исчезло бы ни много ни мало 655 тыс. «лишних» голосов.

Столь же несложно вычислить и внутреннюю структуру этого странного «навеса» из голосов, который возник благодаря тому, что не везде в Москве административный восторг при подсчете сдерживался электронными контролерами. Результаты представлены в табличке. Абсолютное большинство из «навеса» принадлежит Д. Медведеву. Это значит, вброс мимо КОИБ шел целиком в его пользу. Но, кроме этого, шло и небольшое перераспределение. Если бы КОИБ стоял на каждом участке, Зюганов набрал бы на 35тыс. голосов больше, Жириновский — на 17 тыс., Богданов — на 10 тыс. А так они перешли в графу Медведева. В общем, не слишком много: в сумме примерно 60 тыс. голосов из 655 тыс. голосов «навеса».

То есть реальная практика подведения итогов на участках без КОИБ заключалась примерно на 90% в приписке или вбросе «кому надо» несуществующих голосов и только на 10% в перераспределении в его пользу голосов реально существующих.

Как еще можно объяснить статистически достоверные расхождения между «Москвой с КОИБ» и «Москвой без КОИБ», я не знаю.

Статистика строго показывает, что мы имеем дело не с одной большой генеральной совокупностью («Москва целиком»), из которой сделана произвольная немаленькая выборка («Москва с КОИБ»), а с явлением иной природы. Избирательский корпус города как бы распадается на две генеральные совокупности: те, которые голосуют с КОИБ, и те, которые голосуют без КОИБ. Между этими совокупностями значимые с точки зрения статистики расхождения, которые не могут быть объяснены случайными причинами.

Надо иметь в виду, что КОИБ вовсе не панацея от манипуляций. Во-первых, как уже было сказано, в него при некотором минимуме терпения и бесстыдства тоже можно напихать фальсифицированных бюллетеней. Во-вторых (и это важнее), на участке рядом с КОИБ, как правило, стоят и урны для обычного голосования. Из того разумного соображения, что сканеры не всем избирателям по сердцу и кто-то может захотеть проголосовать по старинке. Ну, правда: мало ли, человек электричества боится.

С другой стороны, это создает блестящую возможность обхехать глупую машину на кривой козе: пусть она себе считает как считает — благо железная. А мы будем себе считать бюллетени из обычных избирательных ящиков так, как нам удобнее. А потом составим общий протокол, где, например, электронные урны дали явку в 40%, а обычные — 70%. Видимо, потому что электронных урн добрые люди опасаются...

С точки зрения статистики это будет означать, что финальная явка по участку окажется меньше 70%, но заметно больше 40% и от соседнего участка, где сканеры жизни не портили, наш результат будет отличаться не так уж драматично.

С научных позиций было бы интересно сравнить, насколько расходятся «электронная» и «обычная» составляющие общего протокола на участке, где рядом с обычными урнами трудился сканер. Но вот этого нам уж точно не позволят — скажите спасибо, что финальные протоколы по участкам публикуют!

Значит, остается предупредить читателя, что в статистической совокупности «Москва с КОИБ» доля сканеров на самом деле ограничена и размыта за счет преобладания на участках обычных урн. Не будь их, расхождения между двумя совокупностями были бы значительно больше.

Отсюда — стратегический маневр для электоральных администраторов прост и очевиден: не надо лихорадочно сочинять, что-де сканеры «морально устарели» и их следует списать в утиль. Не надо выдумывать, что они «не обеспечивают экранирования» (от чего экранирование? — бог весть). Не надо даже лить в них кипяток. Достаточно всего лишь сделать так, чтобы на один сканер на участке приходилось три-четыре (а лучше пять-шесть!) обычных ящиков для голосования. И все будет ОК!

Воля и труд человека дивна дива творят.

Теперь — пример региональных выборов в той же Москве в октябре 2009 года. В городе 3274 участка. На них, естественно, зарегистрирована разная явка. Есть такие, где она составила всего 20–22%. Например, три участка, где голосовали большие начальники, а именно Путин, Медведев и Лужков (в Гагаринском, Тверском районах и в Раменках). Средняя по этим участкам явка всего 22%. Причем на участке, где голосовал премьер Путин, коммунисты набрали больше, чем «Единая Россия». В старые добрые времена такую избирательную комиссию немедленно приняли бы на нары за саботаж и политическую провокацию против народного строя. А сейчас — ничего. Люди всего-навсего честно подсчитали голоса и правильно составили протокол. Потому что, когда кругом начальство, журналисты, наблюдатели, как-то неловко фальсифицировать.

Как проголосовали, так проголосовали — уж не взыщите.

Это важно, потому что дает своего рода эталон и зацепку: на участках с начальниками, видимо, результаты не редактировали. Как минимум явку не подтягивали: так и осталась около 22%. Значит, и соотношение голосов существенно не могли поменять: коли нет серьезного вброса или приписки, откуда взяться переменам в партийных результатах? Только если перераспределить. А этого делать электоральные администраторы сильно не любят — мороки много, большой риск запутаться в цифрах, а главное — вы не поверите — как-то стыдно. Тем паче на элитных участках.

Одно дело — всунуть по-быстрому пачку «правильно» заполненных бюллетеней и забыть. Вроде как не украл, а просто помог хорошим людям. И совсем другое — сидеть, отбирать у одного, передавать другому, мусолить карандаш, «двадцать процентов долой, два на ум пошло...». Нет, нехорошо. Неприятно. Не по-гвардейски.

С другой стороны, в среднем по Москве явку показали в 36,5%. Примерно на 10–15% больше нашего элитного эталона. Значит, откуда-то взялись эти дополнительные проценты. Откуда?

Понятное дело, оттуда, где контроль послабее, а публика (в том числе в избирательных комиссиях) попроще. Не имеет вредной привычки права качать (табл. 3).

Таблица 3. Реконструкция результатов президентских выборов 2008 г. в Москве
(с использованием КОИБ)

Группы по явке	Число участков	Число и доля избирателей	ЕР %	КПРФ %	ЛДПР %	СР %	Яблоко %	ПР %	Ср. явка %
Менее 25%	588	1 378 900 (19,7%)	49,7	20,1	9,2	7,5	7,6	2,7	21,4
25–35%	995	2 304 547 (32,9%)	60,9	15,7	7,0	5,8	5,9	2,1	30,0
35–45%	860	1 941 019 (27,7%)	69,6	12,2	5,4	4,5	4,1	1,7	39,7
Более 45%	831	1 385 830 (19,8%)	74,4	9,4	4,8	4,9	3,1	1,4	53,5
ИТОГО	3274	7 010 296 (100%)	66,3	13,3	6,1	5,3	4,7	1,8	35,6
Независимый расчет С. Шпилькина			46,0	21,3	9,8	8,5	7,5	2,9	22,0

Давайте проверим эту рабочую гипотезу. Сгруппируем участки по показателю явки. На табличке видно: где зарегистрированная явка меньше 25%, там «Единая Россия» набрала менее 50%, КПРФ — около 20, ЛДПР — 9, «Справедливая Россия» — 7, Яблоко — 7,6. Таких участков в Москве 588 — примерно каждый пятый. Если бы по всей Москве явка сохранилась на этом уровне, в Мосгордуме было бы пять партий, преодолевших барьер в 7%.

Но в Москве были и участки, где явка превысила 45%. Их число 831. На них «ЕдРо» получила, если округляя, 74% , КПРФ — 9% , ЛДПР — 5% и так далее.

Чем выше явка, тем больше голосов за «Единую Россию». Или, по-другому говоря, после уровня в 25% практически весь прирост явки обеспечивается бюллетенями, поданными в пользу «Единой России». Доля прочих партий, понятно, при этом размывается, и они, кроме коммунистов, сползают под порог в 7%.

Каким образом электоральная администрация обеспечила столь монолитное голосование на уровне явки свыше 25%, мы можем только догадываться. Хотя, конечно, не бином Ньютона. До 25% одна структура электоральных предпочтений, после 25% — совсем другая. И чем дальше, тем больше.

Для сравнения приведены также данные независимого расчета очень квалифицированного специалиста по электоральной статистике Сергея Шпилькина, который пользовался другим, более строгим и точным методом корреляционного анализа для изучения этого же загадочного феномена. Если мы по-крестьянски, на глазок, для простоты и наглядности, заранее разделили участки на группы по явке и потому наш анализ не может быть детальнее выделенных градаций, то он брал весь массив данных целиком сверху донизу и считал связи между явкой и поддержкой партий. Эта процедура строже и потому позволяет корректней поймать точку на графике явки, после которой «Единая Россия» вдруг воспаряет над своим «нормальным» уровнем и начинает неудержимо отрываться от конкурентов.

Эта точка у него находится на уровне 22%. У нас, в силу менее строгого подхода, она зажата между 20 и 25%. У него «нормальный» уровень поддержки «ЕР» фиксируется как 46%. У нас — как «менее 49,7%».

Ну и что тут сказать? Выборы и электоральная статистика уже тем хороши, что они существуют. Если есть некоторый достаточно обширный массив данных, то в нем, как ни виляй умищем, все равно всех концов не спрячешь. Признаки манипуляций все равно останутся не здесь, так там. Реальная средняя явка в Москве была не более 25%. Благодаря расчетам С. Шпилькина можем сказать точнее: 22%. Реальная поддержка «ЕР» — менее 50%. По Шпилькину — 46%. Остальное — от лукавого.

Следовательно, в рамках проведенных расчетов официальная явка (35,6%) раздута примерно на одну треть. И поскольку она раздута практически целиком за счет голосов, приписанных «Единой России», на треть же раздута поддержка этой партии. Вместо официально показанных 66,3% ее результат был где-то между 45 и 50%.

Никогда прежде в Москве (за исключением советских времен, само собой) манипуляций такого масштаба не наблюдалось. Хотя красный цвет на представленных ранее картах говорит, что она долго и упорно, не считаясь с потерями, шла к этим блестательным результатам.

И вот пришла. Спасибо. Благодаря ей мы научились довольно точно оценивать масштабы вмешательства административного ресурса в подсчет голосов.

Настала пора сделать некоторые выводы

1. Российское политическое пространство весьма неоднородно. На общем фоне четко выделяются устойчивые зоны «особой электоральной культуры», проявляющие себя от выборов к выборам. При этом клише насчет того, что во всех республиках всегда считают «особо», эмпирическими данными не подтверждается: действительность сложнее. Такие республики, как Карелия, Коми, Удмуртия, Хакасия, редко выделяются по индексу электоральной управляемости. В то же время такие русские области, как Кемеровская и Орловская, а также город Москва (!) попадают в верхнюю двадцатку регионов, где с 1995 по 2008 год наиболее ярко проявлялась деятельность административного ресурса.

В топ-10 за весь период наблюдения входят Ингушетия, Дагестан, Тыва, Татарстан, Мордовия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Башкортостан, Орловская область, Чукотский АО.

Чеченская Республика отсутствует в списке не по недосмотру, а потому что участвовала не во всех федеральных выборах.

2. За последние два цикла зона высоких значений индекса электоральной управляемости заметно расширилась. Число ТИК с высокими показателями электоральной управляемости выросло более чем вдвое. Административный ресурс действует безнаказанней и смелей, подчинив своему влиянию «большую» Тюменскую область, существенную часть северных автономных округов и некоторые другие регионы.

3. Нарастающий масштаб фальсификаций стал фактом общественного мнения. Институт выборов быстро дискредитируется. Это опасно. В случае массового разочарования политическим и экономическим курсом выход из социального тупика с помощью утративших доверие электоральных процедур едва ли возможен. Альтернативные выходы ведут либо к гражданскому конфликту, либо к бесперспективной диктатуре туркменбашинско-лукашенковского образца.

4. Власть в ситуации цугцванга. Без допинга в виде фальсификаций она уже не может показывать нужный результат. Переход к честному подсчету означает падение рейтинга минимум на треть. Попытки и дальше бежать на допинге в условиях информационной прозрачности и массового осознания фальсификаций означают грандиозный скандал. Выборы даже в их сегодняшнем кастрированном виде представляют системную проблему для путинской номенклатуры. Не зря она учится их проводить при минимизации явки.

5. Уже поэтому, вопреки широко распространенному максималистскому заблуждению, выборы имеют смысл. Во-первых, даже при фальсификации на одну треть остается еще две трети. Их что, выкинуть? Во-вторых, все равно нет вменяемой альтернативы. В-третьих, если не выборы, то какие еще у общества есть механизмы мирного влияния? Сегодня мы хотя бы имеем опубликованные цифры для критического анализа и реальную политическую практику.

тику, которую можно обсуждать, выдвигать судебные иски и претензии. Без этого было бы лучше?

В стремлении дискредитировать и отменить выборы или то, что от них осталось, совпадают крайние сторонники и крайние противники путинской системы.

6. Исходя из десятилетнего опыта наблюдения за путинской политической манерой, есть смысл ожидать очередного рефлекторного рывка в туркменбашинском направлении. Возможно, под лозунгом «Кому нужны эти выборы после того, что с ними сделали?!». Широкие народные массы откликнутся с пониманием. Следует ли думающей части общества откликаться аналогичным образом?

7. Наконец, необходимо иметь в виду, что «полная демократизация», учитывая глубокую социокультурную неоднородность электорального поля России, ведет к неприемлемым рискам территориального распада, причем отнюдь не по демократическому шаблону. Истинно свободные выборы во многих регионах Северного Кавказа могут закончиться вооруженной диктатурой самого лютого из местных князьков с последующим поражением в правах на наиболее образованной, европеизированной и демократически мыслящей части населения. Тому примером Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и некоторые другие постсоветские территории.

Готова ли власть или «демократическая общественность» принять на себя ответственность за эти риски? И вообще, что вы думаете насчет свободных выборов в Афганистане?

Представляется, что единственный рациональный выход — систематически бороться за восстановление института выборов, критиковать и взаимодействовать с властью на этот счет. Защищать их от системной дискредитации. Разумных альтернатив не вижу.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Дмитрий Борисович. Очень интересный и глубокий анализ. На всякий случай замечу, что сторонников отмены выборов, насколько знаю, в этой аудитории нет. Что касается «полной демократизации», то я лично подразумеваю под ней не возвращение к выборности глав регионов, т.е. к практике 1990-х, а демократизацию федерального центра, которая в 1990-е остановилась на полпути, а потом была свернута вообще.

А теперь, как и договаривались, познакомимся с реакцией на октябрьские выборы населения. Лев Дмитриевич, пожалуйста.

Лев ГУДКОВ (директор Аналитического центра Юрия Левады):

«Нет сомнения в том, что октябрьские выборы усугубили и без того крайне недоверчивое отношение населения к выборам»

Отношение людей к этой выборной кампании отличалось почти полным отсутствием интереса и низкой оценкой ее значимости. Если говорить о Рос-

ции в целом, то лишь 26% россиян (сентябрь 2009 года) полагали, что предстоящие выборы будут «важным событием» для страны, а 56% считали их не заслуживающим внимания мероприятием власти. Поскольку, как они полагали, результаты голосования не окажут какого-либо влияния на политическую или экономическую ситуацию в тех местах, где живут респонденты. Это свидетельствует о том, что сложилось устойчивое массовое представление: депутаты местных законодательных собраний заняты делами, не имеющими отношения к повседневным нуждам и проблемам жителей. Показательно, что в Москве, при низкой оценке деятельности нынешней городской Думы, 67% опрошенных не могли назвать ни одной фамилии своих депутатов.

Вместе с тем, как мне представляется, такая реакция общества была и результатом сознательной кампании по снижению значимости выборов, тактики «непривлечения внимания» к этому событию. Для того, чтобы (при отменном пороге явки) на избирательные участки пришли только «свои», т.е. те, кто поддерживает партию власти или является объектом административного принуждения. А это, понятно, бюджетники — люди, зависимые по административной линии от своего начальства, которое в свою очередь зависит от региональных властей, командующих парадом. В Москве это дало соответствующие плоды: «внимательно» следили за ходом избирательной кампании всего 4% опрошенных, а 55% — не интересовались ни программами партий, ни выступлениями кандидатов. Если же говорить о 4% «внимательно следящих», то это, главным образом, активные сторонники оппозиции. Они полагали, что выборы будут проводиться под прессингом властей, а потому и проявляли повышенный интерес ко всей поступающей информации.

Предвыборный опрос москвичей дал довольно точную картину последующих официально объявленных результатов голосования, но... при условии вброса 420 тыс. бюллетеней за «Единую Россию»...

Евгений ЯСИН (президент фонда «Лiberальная миссия»):

Оказывается, можно заранее предсказать, сколько надо вбросить, чтобы получилось...

Лев ГУДКОВ:

Чтобы получить такие результаты, надо взять за базу расчета предшествующие данные голосования, скажем на выборах 2005 года, и накинуть столько, сколько представляется «политически обоснованным» и приличным. И — представить требуемые нормативные показатели.

Наши расчеты получены при условии явки 27–29%, а не 35,5%, как объявил Центризбирком. Это тот предел явки, который можно было предвидеть, если исходить из данных опроса и расчетов, сделанных на основе анализа предшествующих избирательных кампаний. При сравнении полученных ре-

зультатов предвыборного опроса с более ранними трендами, у нас получалось, что наиболее вероятная явка составит 23–25%, а максимум — 29%. В этом диапазоне явки картина распределения голосов не меняется. Соответственно, разрыв между прогнозируемой на основании опроса явкой и явкой, официально объявленной, образует ресурс фальсификации и приписок.

Как же эти фальсификации и приписки, если судить по нашим данным, оказались на распределении голосов?

Первый послевыборный опрос, проведенный 19 октября, дал несколько иные цифры, чем предвыборный. Мы получили и немножко иную мотивацию участия в голосовании. Так обычно и происходит на выборах: мотивы действий тех, кто собирается участвовать в них, не совсем совпадают с мотивами тех, кто реально голосовал или чьи голоса тем или иным образом использованы на выборах. Хотя бы потому, что многие голосуют за всю семью и, естественно, те, кто так «голосовал», не всегда знают, как и в чью пользу использован их голос. Однако я сейчас на этих сопоставлениях останавливаюсь не буду; мы проведем еще один, проверочный опрос, и тогда картина, надеюсь, получится более точной. Но даже если принять за основу данные предвыборного опроса, то получается, что в московскую Думу должны были пройти четыре партии, а не две, как было объявлено властями. При этом «Единая Россия» должна была получить 46% голосов, КПРФ — 27%, ЛДПР — 13%, «Справедливая Россия» — около 8%, «Яблоко» — 3% с небольшим и «Патриоты России» — менее 1%.

Чтобы официально обнародованные результаты после искусственного увеличения явки соответствовали распределению голосов предвыборного опроса, необходимо было вбросить примерно 350 тыс. бюллетеней за «Единую Россию», а остальные 250–300 тыс. перераспределить в ее же пользу, т.е. переписать протоколы. Забрали голоса в основном у КПРФ, у мironовской партии и у Жириновского. «Яблоко» вроде даже чуть-чуть добавили, потому что у нас никак не получалось 4,7% голосов, отданных этой партии. Даже с учетом предельно допустимой статистической ошибки.

Теперь — о реакции населения на объявленные итоги. На вопрос «Довольны ли Вы результатами выборов в своем городе, регионе?» 34% респондентов ответили «да», 22% — «нет», 35% заявили, что не знают результатов этих выборов, не интересуются ими и еще 7% затруднились ответить, поскольку, видимо, сам вопрос звучал для них диковато. Иначе говоря, 42% россиян абсолютно индифферентно относятся к самому смыслу и итогам выборов, полагая, что от их исхода жизнь не меняется. И это абсолютно закономерная реакция. На вопрос «Были ли эти результаты для Вас неожиданными?» ответили «да» всего 10%, 45% заявили, что они таковы, как и ожидалось, еще 10% «ничего не ждали от этих выборов» и 35% затруднились ответить.

Равнодушие огромной части населения к выборам и их результатам проявляется и в размытости его представлений о масштабах фальсификаций. В цифрах это выглядит так: 28% россиян полагают, что на них не было нарушений, 13–14% — что были незначительные нарушения, 10% указали, что нарушения были весьма серьезными, но не повлиявшими на конечные результаты, и 7% считают, что нарушения существенно изменили итоги голосования. А 42% респондентов на вопрос о нарушениях затруднились ответить. Это данные всероссийского опроса, к которым надо относиться с учетом того, что выборы проходили не во всех регионах.

В московском же послевыборном опросе картина другая. Здесь мнения разделились практически пополам: 34% москвичей полагают, что выборы проходили с теми или иными нарушениями, 36% — что нарушений не было или они были несущественными и 30% (главным образом, не ходившие голосовать) затруднились ответить. При этом 25% респондентов считают, что если бы нарушений не было, то «ЕР» не получила бы большинства мест в городской Думе, еще 39% допускают, что честные выборы позволили бы пройти в нее еще двум партиям, а 55% опрошенных жителей столицы заявили, что нарушения произведены в пользу «Единой России». Других мнений практически не было.

Однако важно иметь в виду не только представления о фальсификации сразу после выборов, но и до них. Дело в том, что непосредственно после выборов процент людей, считающих, что они прошли с нарушениями, резко снижается. Возможно, потому, что какое-то время оказывается одобрение выборов высшим руководством страны при неосведомленности избирателей о том, как эти выборы проходили и как считались голоса. Но потом (примерно через месяц) предвыборная картина восстанавливается. Какова же эта картина?

Основная масса населения заранее была уверена в том, что выборы будут сфальсифицированы. На вопрос «Как Вы считаете, на выборах в московскую Думу будет происходить реальная борьба партий за избирателей или лишь имитация этой борьбы, а распределение мест будет определено по решению властей?» только 17% москвичей ответили, что на выборах будет реальная борьба. А 62%, т.е. доминантное большинство, заявили, что «будет имитация». И это отношение к выборам не связано непосредственно с тем, как проходила избирательная компания: москвичи, как я уже говорил, за неё не следили. Здесь действуют мощные установки на недоверие власти как таковой, а эти установки распространяются и на проводимые ею выборы. Они в глазах большинства — заведомый «фальшак», участвовать в котором нет никакого смысла.

Причины неучастия выглядят следующим образом. Каждый третий из опрошенных москвичей (32%) говорил, что его участие или неучастие ничего

в итогах голосования не изменит, 17% респондентов не верили, что выборы будут честными, 15% заявили, что не интересуются политикой, и лишь 13% — что «не видят достойных кандидатов». Если же взять распределение ответов на этот вопрос среди тех, кто не собирался идти на выборы, то оно окажется еще более впечатляющим. Больше половины (53%) из них не хотели голосовать, потому что их голос ничего не изменит, 28% объясняли свое нежелание «нечестными выборами», 26% — отсутствием интереса к политике, 22% — отсутствием достойных кандидатов.

О восприятии выборов свидетельствует и отсутствие у людей каких-либо представлений о программах партий, равно как и о том, чем голосование по одномандатным округам отличается от голосования по партийным спискам. Опрос показал, что 50% респондентов не знали, чем одно отличается от другого, и лишь 9% опрошенных за неделю до выборов определились в своих предпочтениях относительно кандидата по одномандатному округу. Главным «основанием» выбора у собирающихся идти на избирательные участки было мнение ближайшего окружения (57%) и ТВ (24%), а не программные или идеологические особенности кандидатов. При этом 55% москвичей заявили о том, что СМИ явно недостаточно информируют избирателей о позициях претендентов или их программах, как и вообще о ходе кампании.

В таком отношении к выборам проявляются массовая апатия и парализующее чувство, что сделать ничего нельзя, что от обычных людей («таких, как я») ничего не зависит, что власти все равно, что думают о ней рядовые избиратели, поскольку влиять на нее невозможно. Реальные проблемы москвичей и ожидания того, как они будут решаться предстоящим руководством города, в программах партий и в электоральных установках отражения не находят. Поэтому и то, кто и как победит на инсценируемых выборах, по большому счету население не трогает. И это настроение появилось не сегодня. Перед парламентскими выборами 2007 года 57% россиян считали, что исход тех выборов предопределен — как ни голосуй, все уже известно, все предрешено в Кремле.

Можно ли, спрашивали мы, считать результаты октябрьских выборов отражающими мнение России? Только 27% ответили «да», аргументируя это тем, что «те, кто хотел, пришел и выразил свое отношение», а остальным это, видимо, не важно. А 32% опрошенных сказали «нет, потому что участвовала в выборах только треть населения». И еще 27% затруднились ответить. Так что ни до выборов, ни после них интереса к ним в обществе — во всяком случае, среди его большинства — не наблюдалось и не наблюдается.

Мы интересовались также мнением людей о том, будет ли новый состав депутатов работать лучше или хуже предыдущего. 10% опрошенных считают, что «лучше», 6% — «хуже», а основная масса опрошенных москвичей (54%) выбрала ответ «Так же, как и раньше». Но в этом «так же, как и раньше» про-

является, скорее всего, не удовлетворенность деятельностью народных избранников, а неосведомленность о ней и равнодушие к ней. А еще 15% полагают, что вновь избранные депутаты, как и старые, «не работали и не будет работать». Ну и 15% затруднились ответить.

Игорь КЛЯМКИН:

А протест системных партий нашел в обществе какой-то отклик?

Лев ГУДКОВ:

Лишь у 13% опрошенных. И это, думаю, свидетельствует о том, какое место в жизни людей занимают и партии, и их протесты, и сами выборы, равно как и результаты этих выборов.

Тем не менее вряд ли можно сомневаться в том, что октябрьские выборы еще больше усугубили и без того крайне недоверчивое и индифферентное отношение к ним населения...

Игорь КЛЯМКИН:

Я так понял, что какого-то очень уж большого влияния на массовое сознание эти выборы не оказали...

Лев ГУДКОВ:

Если и так, то потому, что сам статус выборов в стране упал в глазах людей намного раньше. Но факт и то, что с такой наглостью выборы еще не проводились, подобных масштабных фальсификаций раньше не было. Это принципиально новое состояние. Оно означает, что власть от «выборов» отказывается не собирается — они будут проводиться в любом случае, поскольку остаются для власти важнейшей формой ее легитимации. Во всяком случае, пока.

Мне кажется, идет подготовка к новым выборам, создаются условия для полного монопольного контроля за политическим пространством — для того, чтобы иметь не просто рычаги влияния, а полную, стопроцентную гарантию получения нужного результата в ходе следующей кампании по выборам в Госдуму, а затем и президента, которым я думаю, собирается быть Путин. Я не говорю, что это будет непременно реализовано, но такие планы — закрепление господства до 2025 года — постепенно становятся очевидными. Не уверен, что страна сможет выдержать этот режим столько времени, но такая стратегия поведения властей сегодня просматривается.

Игорь КЛЯМКИН:

Выслушав оба сообщения, я думаю о том, что мы будем дальше обсуждать. Есть картина фальсификаций, есть их динамика, есть осознание происходя-

щего инертно-равнодушным обществом, но нет субъектов, которые могли бы изменить ход событий. Такова ситуация, зафиксированная с помощью разных аналитических методов, и она, по-моему, дискуссии не предполагает. В таком случае целесообразнее, наверное, обсуждать не столько приведенные факты и цифры, сколько перспективы выхода из наметившегося системного тупика. Если не сегодняшние, то хотя бы завтрашние.

Лилия ШЕВЦОВА (*ведущий исследователь Московского центра Карнеги*):
«Мне кажется, Россия вплотную подошла к такому порогу, за которым нынешняя модель выборов будет подрывать власть нынешней правящей команды»

Думаю, что мы получили очень добротную основу для дискуссии. Я хотела бы предложить несколько тезисов относительно роли выборов и последствий фальсификации их результатов для легитимации власти. Тем самым я попытаюсь поместить октябрьские региональные и муниципальные выборы в России в более общий контекст.

Согласна с Львом Дмитриевичем Гудковым насчет роли выборов в легитимации российской власти. Напомню, что Россия уже использовала все другие возможные способы легитимации политического режима и системы властевования в целом: наследственную, партийно-идеологическую, административно-репрессивную. Для системы, которая оформилась в постсоветской России и которая стремится не противопоставлять себя — по крайней мере, открыто — западной цивилизации, иного способа легитимации, кроме выборов, просто не существует. Таким образом, они играют в России ту же роль, что и в западных демократиях. Но задача российских выборов другая.

Западная политическая жизнь выстроена в соответствии с аксиомой: *определенные правила игры — неопределенный результат*. То есть там выборы являются механизмом регулирования политической конкуренции и всегда содержат в себе элемент неопределенности. В России же действует другая аксиома: *неопределенные правила игры — определенный результат*. Здесь выборы являются средством воспроизведения политической монополии той правящей группы, которая оказалась у власти. Причем результат выборов должен быть гарантирован, что достигается за счет манипуляций с избирательными механизмами. При такой ориентации фальсификация неизбежна и является важнейшим элементом самого процесса выборов.

Выборы, ориентированные на определенность результата, характерны для всех гибридных политических режимов, которые используют имитацию демократических принципов для воспроизведения персоналистской власти. Мы имеем дело с ситуацией, которая отнюдь не уникальна. В мире существует немало имитационных демократий, которые определяются и как «гибриды», и как «делегативные демократии», и как бюрократически-авторитарные

режимы. При всем их многообразии, их объединяет одно — все они легитимируют и воспроизводят себя через манипуляцию с выборами.

Но чтобы такая модель воспроизводства власти работала, необходимо согласие как политического класса, так и общества или его части на участие в имитации выборов. А для этого, в свою очередь, должны быть определенные основания — усталость общества, его согласие обменивать свое право выбирать на иные — прежде всего экономические — выгоды. В России во время путинского экономического «чуда» население согласилось на игру в имитацию выборов. Тому было немало причин. Цена на нефть — лишь одна из них.

Однако историческая практика свидетельствует о том, что гибридные режимы не вечны. Фальсификация выборов в какой-то момент начинает не устраивать население либо его значительную часть, а нередко даже определенные элитные группы, которые оказываются готовыми к конкуренции. Приходит момент, когда общество говорит: все, больше терпеть манипуляцию нашим волеизъявлением мы не согласны! Такой момент истины для манипулятивных выборов имел место в самых разных странах — как в Латинской Америке, так и в Южной, Восточной и Центральной Европе, в Юго-Восточной Азии и даже в Африке.

Какие факторы заставляли население выходить на улицы и требовать честных и справедливых выборов? В каждой стране эти факторы были разные — и рост политического самосознания общества, и раскол элиты, и выход на сцену новых политических игроков, и экономический кризис. Какие политические и социальные группы становились силой «прорыва», которая была готова покончить с видимостью выборов и монополией на власть? Опять-таки самые разные. В Латинской Америке бывали случаи, когда армия выходила на сцену и говорила политикам: баста, следуйте конституции! В других странах это был бизнес — в первую очередь, крупный. Либо профсоюзы, либо группы интеллектуалов, либо, наконец, студенчество.

Для нас поучителен пример Сербии и Украины, где также существовали гибридные режимы. Они себя воспроизводили через манипуляцию выборами. Как известно, эти упражнения закончились «цветными революциями». И в Сербии, и в Украине группой «прорыва» была молодежь. Но к ней присоединились широкие слои общества, потребовавшие справедливых выборов и, следовательно, отказа от монополии на власть и переформатирование политического режима. Этот перелом стал возможен благодаря двум обстоятельствам: расколу правящего класса и «фактору Запада», поддержавшего «цветные революции».

Вряд ли Сербия и Украина перешли бы к плuriалистической демократии, не будь в наличии обоих этих обстоятельств. Но в данном контексте, во избежание недопонимания, стоит отметить, в чем именно состояла роль Запада. Он не инициировал и не провоцировал «цветные революции». Между прочим,

финансовая помощь украинской демократии со стороны западных институтов и организаций в преддверии тамошней «цветной революции» даже сократилась. Но само существование Запада как цивилизационной альтернативы и возможность для посткоммунистических государств присоединиться к Европе были, несомненно, важным стимулом, который толкал их население на отказ от игры в видимости.

Отмечу и еще одно существенное последствие фальсификации выборов в условиях имитационных демократий. На каком-то этапе они облегчают выживание власти и системы. Но приходит время, когда фальсификации и манипуляции выборным процессом начинают делегитимировать власть. И, как мне кажется, Россия вплотную подошла к такому порогу, за которым нынешняя модель выборов будет подрывать власть нынешней правящей команды. Во всяком случае, и Дмитрий Орешкин, и Лев Гудков своими докладами доказывают, что Россия, возможно, значительно приблизилась к этому порогу.

Степень фальсификации последних выборов свидетельствует о том, что правящая команда уже отбросила все условности. Манипуляция выборами без соблюдения видимости приличий, пусть и призрачных, — это уже новое качество политической реальности. Без игры в видимость выборы теряют свою легитимирующую роль.

То, что произошло в России на муниципальных выборах 2009 года, позволяет сделать вывод: сама власть начала тотальную делегитимацию системы и политического режима. Эти выборы продемонстрировали, что общество устало от нынешней и предшествующей политики. Население сказали: нам все осточертело. Вот что показали эти выборы и их результаты. Если же часть населения все еще играет в эту игру и приходит к избирательным урнам, то только потому, что людям не во что больше играть.

Сам факт отсутствия интереса к выборам власти и понимание того, что они все равно будут нечестными и несправедливыми, очень многое говорит о политическом состоянии российского общества. Ему закрыли все официальные и конституционные пути самовыражения. Остается только выходить на улицу.

Правда, между фактом реальной делегитимации системы, которая является следствием превращения выборов в фарс, и осознанием широкими массами того, что этот факт означает, может быть довольно продолжительный период. Но рано или поздно это осознание наступает. Так было всегда и везде. Вряд ли российская власть имеет основания надеяться, что Россия станет исключением из этого правила.

Лев ГУДКОВ:

Пока такого осознания не наблюдается. Даже те, кто еще ходит голосовать, руководствуются, как правило, не какими-то идеологическими или полити-

ческими соображениями. Они ходят и голосуют за кого-то потому, что, как они полагают, «так надо», так рекомендуют поступать ближайшие родственники, знакомые, коллеги по работе...

Лилия ШЕВЦОВА:

Но большинство населения сказали: нам осточертел этот фарс. Что уже само по себе немаловажно. Однако я отдаю себе отчет и в том, что российское общество не готово к украинско-сербскому сценарию трансформации.

В России отсутствуют три важных фактора, которые бы облегчили выход страны из системы персоналистской власти, саму себя воспроизводящей. Так, мы не видим влиятельных сил, которые бы не только предложили альтернативу, но и нашли возможность быть услышанными в обществе. В России нет раскола политического класса, как это произошло в Украине и подстегнуло движение этой страны к плюралистической демократии. И наконец, Запад в отношении России сегодня играет иную роль.

В период потрясений в Восточной Европе и в Украине западное сообщество предпринимало усилия по облегчению перехода этих стран к новым правилам игры. В российском случае Запад облегчает сохранение статус-кво, а следовательно, нынешней системы. Правда, не всегда западное сообщество это делает осознанно.

Евгений ЯСИН:

Вообще-то, Запад был также заинтересован в сохранении Советского Союза, но тем не менее распад произошел.

Игорь КЛЯМКИН:

До перестройки такой заинтересованности не было. Она появилась только при Горбачеве.

Лилия ШЕВЦОВА:

Действительно, Запад вплоть до 1991 года делал все, чтобы сохранить Советский Союз. Но тогда западные лидеры, поддерживая Горбачева, хотели сохранить демократический вектор развития СССР. А потом они делали все, чтобы помочь удержаться у власти Ельцину. Даже тогда, когда стало ясно, какой политический режим сформировался в России.

Нынешняя же позиция политического Запада в отношении России свидетельствует о том, что у него нет понимания, как ответить на российский вызов — теперь уже откровенно антидемократический. А не понимая, с чем они имеют дело, и не зная, что делать, западные лидеры предпочитают не раскачивать лодку. Более того, не будет преувеличением сказать, что позиция этих лидеров, которые отказываются от собственных цивилизационных принципов

в своем сотрудничестве с Москвой, превращает западное сообщество во внешнего охранителя российской системы.

Сергей ЖАВОРОНКОВ (*научный сотрудник Института экономики переходного периода*):

«В России механизм фальсификации выборов работает не хуже, чем в Беларуси, и он будет работать и впредь»

С тем, что было сказано, я в основном согласен. У меня есть несколько не связанных друг с другом замечаний.

Те данные о реальных результатах голосования в Москве, которые нам представили докладчики, на мой взгляд, не такие уж и пессимистичные. На тех участках, где относительно честно посчитали голоса, мы не видим сокрушительной победы «Единой России». Кстати, в столице есть два района, Гагаринский и Ломоносовский, где кандидат «Единой России» Платонов даже проиграл по одномандатному округу Губенко. То есть избиратели этих самых интеллигентных районов Москвы, ранее голосовавшие за СПС и «Яблоко», оказались очень sophisticated; они были готовы проголосовать и за Губенко — лишь бы против «Единой России».

Короче, массовой, а тем более нарастающей поддержки этой партии сегодня не наблюдается. По крайней мере, в Москве.

Игорь КЛЯМКИН:

Но речь шла о растущей фальсифицированной поддержке. И о том, что в обществе нет сил, этому противостоящих.

Сергей ЖАВОРОНКОВ:

Да, народ не готов сопротивляться, выходить на площади на несанкционированные митинги и получать дубинкой по башке. Во всяком случае, сейчас. Но уровень отторжения существующей системы — поддержу Лилию Шевцову — достаточно высок. Сегодня отношение людей к власти начинает напоминать поздние брежневские времена. Складывается мнение, что нами правят негодяи и, если бы была такая возможность, хорошо бы что-то всерьез поменять.

Не могу согласиться с выводом Дмитрия Борисовича Орешкина, что режим стоит на пороге отмены выборов. Да нет у него такой необходимости! В современном мире существует масса примеров, когда власть стабильно фальсифицирует результаты выборов, поддерживая эти результаты на одном и том же уровне.

В качестве примера приведу нынешнюю Беларусь. Лукашенко стабильно вбрасывает 30% бюллетеней, используя процедуру досрочного голосования (оно полностью фальсифицируется), что в сочетании с реальным рейтингом

Лукашенко дает ему около 70% голосов. То же самое происходит там на всех других выборах — парламентских, региональных, муниципальных, где лукашенковские кандидаты оказываются вне конкуренции. И если это работает, то зачем выборы отменять?

И в России механизмы фальсификации работают не хуже, чем в Беларуси. Я не вижу причин, которые мешали бы нынешнему режиму успешно использовать их и впредь. Наверное, результаты «Единой России» будут и дальше по-немногу «улучшать». Дабы не создавалось впечатления, что ее «популярность» падает. Но не до 99%; такие результаты ей не нужны.

Что касается роли Запада, то здесь я хотел бы уважаемой коллеге Шевцовой возразить. Дело в том, что Запад не всегда проводит одинаковую политику. Скажем, по отношению к СССР в 1960-х — начале 1970-х годов она существенно отличалась от той, которая стала осуществляться после советского вторжения в Афганистан. Запад очень инертен, но обладает значительной массой, и если эта масса определит иной, чем сейчас, вектор движения, то он может оказаться серьезным вызовом для путинской группировки. Учитывая в том числе и степень личной инкорпорированности ее представителей в западную систему.

Я не стану утверждать, что Западу очень интересно, что происходит в России и в каком направлении она развивается. Ему это может быть все равно, но тут есть своя граница: вряд ли кто возьмется доказывать, что Запад заинтересован в российском тоталитаризме. Да и сегодня его безразличие к России и ее политической эволюции не так уж и очевидно.

Напомню хотя бы о том, что на недавней сентябрьской сессии парламентской ассамблеи Совета Европы треть депутатов подписались под петицией, требующей исключения из него России. Притом что эта петиция была подана сомнительным заявителем Саакашвили, у которого у самого не все ладно с демократией. К тому же по сомнительному поводу российско-грузинской войны, где тоже, по-моему, не все так очевидно, как пишет Андрей Илларионов. Да, министерства иностранных дел надавили, петицию не приняли. Да, количество депутатов, первоначально подписавших этот документ, сократилось в два раза (их просто физически не оказалось в зале заседаний, когда там рассматривался данный вопрос). Но это из тех звоночек, которые не стоило бы игнорировать.

Лилия ШЕВЦОВА:

Когда я говорила о том, что современный Запад заинтересован в сохранении в России статус-кво, я имела в виду именно политический Запад, т.е. западных лидеров и западные правительства, которые определяют вектор отношений с Россией. Конечно, кроме них есть еще и западное общественное мнение, западные парламенты и просто рядовые граждане, которые заинтересо-

сованы в российской трансформации. Они постоянно напоминают о проблеме свобод и прав человека в России, что не позволяет западным лидерам свести всю свою политику в отношении Москвы к совсем уж циничному прагматизму.

Но общественное измерение западной политики, увы, пока не столь влиятельно, чтобы заставить политический Запад отказаться от курса попустительства Кремлю. Речь не о том, чтобы западные лидеры продвигали в России демократию, — это никому не нужно. Они, кстати, пытались это делать во времена Клинтона, но их помочь демократии кончилась поддержкой коррумпированного ельцинского режима и фальсифицированных президентских выборов.

Мы должны ожидать от Запада другого: отказа от открытой и безоговорочной поддержки персоналистской власти и создания благоприятных внешних условий для ее воспроизведения. Никто не заставляет западных руководителей поступать так, как это, например, сделал французский президент Саркози, признавший российские выборы в 2007–2008 годах «справедливыми». Лучшей поддержкой российской трансформации было бы просто следование Запада своим цивилизационным принципам.

Игорь КЛЯМКИН:

Давайте договоримся: после того, как все выступят, я предоставлю каждому возможность отреагировать на выступления коллег. Так у нас принято, и давайте этот регламент не нарушать.

Екатерина МИШИНА (доцент факультета права ГУ—ВШЭ):

«В России только потому могут быть такие выборы, что предела терпению у нашего народа нет»

Прежде всего, огромное спасибо докладчикам. Это было необыкновенно интересно. Из услышанного меня больше всего поразил тот факт, что существенный процент избирателей, пришедших на избирательные участки, не проявил никакого интереса к результатам подсчета голосов. И это проливает свет на природу явления. Все, что происходит в России в последние 15 лет, напоминает мне последовательную проверку населения страны на предел терпения.

Выясняется, что такого предела нет. И не потому, что страна населена ангелами. Это совершенно другое.

Это, во-первых, глубокое безразличие к происходящему. И во-вторых (здесь я солидаризируюсь с моим заведующим кафедрой Михаилом Александровичем Красновым), Россия не готова к осуществлению принципа разделения властей как такового. Мы ждали, что общество как-то отреагирует на отмену выборов губернаторов, но так и не дождались. Мы ждали, что оно отре-

агирует на то, что происходило и происходит с судом присяжных и что в итоге закончится, как я подозреваю, выхолащиванием его истинного смысла. Но население оказалось безразличным к этому.

Политический режим, который существует в нашей стране, в юридической науке называется «управляющей демократией». Это когда налицо некоторые атрибуты демократии за исключением одного, но самого существенного — результаты выборов не предопределены заранее. Происшедшее на октябрьских выборах стало еще одним свидетельством того, что в России правоизменительная практика идет по пути минимального использования законодательных возможностей. Вы же знаете, что конституция, равно как и любой закон, де-юре и де-факто существенно друг от друга отличаются. И не только, кстати, в России, но и в других странах. Причем такое бывает и на самых верхних этажах государственной власти.

Конституцию Пятой республики во Франции называют цезаристской, она предоставляет президенту огромные полномочия. Но это не значит, что французские президенты использовали все предоставленные им конституционные возможности. Даже тогда, когда срок их пребывания в должности составлял семь лет, а не пять, как сейчас. Что касается нашей страны, нашего избирательного законодательства и его использования в ходе предвыборных кампаний и самих выборов, то я боюсь, что произошло то, что называется «караул устал»: народу такая игра без правил стала неинтересной.

Народ не верит в институт выборов и его перспективы, как не верит и в закон, призванный защищать их от фальсификаций. Некоторые идут на избирательные участки по привычке, потому что сказали коллеги по работе, потому что туда идут друзья. Лев Дмитриевич Гудков, как социолог, это здесь подтвердил. А по сути своей это уже некий такой ритуал, причем ритуал, ни к чему не обязывающий.

Кирилл РОГОВ (научный сотрудник Института экономики переходного периода):

«Выборы продемонстрировали начало распада режима, при котором мы жили предыдущие несколько лет»

Я бы хотел сделать несколько общих замечаний по предмету нашего обсуждения. Эти замечания касаются как тактических, так и стратегических аспектов коллизии с последними выборами.

По всей видимости, эти выборы являлись частью плана укрепления «Единой России» как некой цементирующей партии, плана создания монопартийной системы по, так сказать, мексиканскому сценарию. Что нужно сделать, чтобы двигаться в этом направлении? Для этого нужно создать абсолютное доминирование «Единой России» на региональном электоральном поле. Чтобы все значимые элиты решали свои проблемы внутри этой партии, а не так,

как они играли в начале и середине 2000-х: одни — за «Единую Россию», другие — за «Справедливую»...

Лилия ШЕВЦОВА:

Если так, то это проявилось уже в Сочи, где кандидат «Справедливой России» вообще был отстранен от участия в выборах мэра...

Евгений ЯСИН:

Но там еще допустили участие Немцова. А потом, очевидно, с такого рода экспериментами решили покончить...

Кирилл РОГОВ:

И появился план, согласно которому «несистемные» кандидаты до выборов не допускаются, а участие в них кандидатов «системных» должно сочетаться с обеспечением безальтернативности «Единой России» на региональном уровне. Он-то и предопределил, как мне кажется, крайнее административное давление на октябрьских выборах и небывалый уровень их фальсификации.

Однако протест «системных» (ручных, точнее) партий свидетельствует о том, что в центре — в Москве, в Кремле — далеко не все хотят, чтобы этот проект a la Mexico осуществлялся. Демарш не был спонтанным, он был рас-считан и сделан с сознанием, что эта позиция у кого-то найдет отклик. Он не столько отражает собственные позиции этих партий, сколько некоторый расклад сил по отношению к проекту монопартийности.

Еще один результат последних выборов заключается в том, что стало ясно: КПРФ остается мощнейшей оппозиционной силой, ее потенциал очень высок и она способна составить конкуренцию «Единой России». И власти осознают эту опасность. Ведь если даже населению просто показать реальный результат, где у «Единой России» — 40–47%, а у КПРФ — 23–28%, то возникнет уже иная, чем сейчас, политическая ситуация. Это будет означать, что в КПРФ можно «вкладываться», что это имеет смысл. Что, в свою очередь, изменит ориентиры в выборе стратегии для элит.

Ведь на случай нового витка ухудшения экономической ситуации (а тренд здесь не изменился) и, соответственно, возрастания потенциала протesta — на этот случай есть, оказывается, политическая сила, которая готова протест возглавить. И не просто возглавить, а рассчитывать на более чем 30% избирателей. Это и продемонстрировали выборы, если смотреть на их нефальсифицированные результаты. А на них, конечно, в Кремле смотрят.

Если же говорить о более общих вещах, то, мне кажется, выборы продемонстрировали начало распада того режима, при котором мы жили предыдущие несколько лет и который — в терминах Роберта Даля — можно назвать

«инклюзивной гегемонией». Это режим, при котором уровень публичной конкуренции, публичной дискуссии весьма низок, а политическое участие населения довольно высоко. То есть это авторитарный режим, опирающийся на значительную реальную поддержку общества. Он существовал в России в первой половине — середине 2000-х, но сегодня, как я уже сказал, наблюдается, по-моему, верные признаки его распада.

Самым важным параметром на этих выборах мне представляется явка — реальная, а не приписанная. Явка около 20% для такого режима выглядит неприличной по некоторым причинам.

Во-первых, ее неприятно показывать, а показав, по-прежнему утверждать, что нашей главной партии, надежде и опоре страны, доверяет население. Поэтому что если явка составляет 20%, а за «Единую Россию» голосуют 50–60% (при фальсификации), то это значит, что она имеет поддержку 10–12% избирателей. Это никакая не гегемония, это ерунда какая-то. Для демократических, альтернативных выборов такой уровень «включенности» населения вполне нормален. А для безальтернативных — нет.

Во-вторых, при такой явке, как здесь уже было сказано, неизбежны большие издергки на фальсификацию. Надо много кидать бюллетеней, чтобы восполнить малую явку и дать нужный результат. И при этом все всё знают: если на выборы ходят 20%, то это значит, что образуются целые социальные слои, в которых на выборы никто не ходит вообще. Это значит, что человек не пошел голосовать, зная, что и все его соседи и знакомые не пошли тоже. Это значит, что нет и того «активистского» ядра, которое транслирует «правильную» норму: мы — за Путина, мы — за «Единую Россию»! Но если так, то, когда люди видят официальные результаты, их не надо убеждать в том, что все это «нарисовано». Так и проявляется отсутствие политической «включенности», ее деструкция.

Мне кажется, что симптомы разрушения режима «инклюзивной гегемонии» стали обнаруживаться и в некоторых социологических опросах второй половины 2000-х. Мы видим в них, что установка людей на «централизацию», на жесткие политические модели постепенно размывается. А ценность «плюралистических» моделей, наоборот, возрастает.

Так, по данным Левада-Центра, в ответах на вопрос, что важнее — права человека или порядок в государстве, чаще по-прежнему фигурирует порядок, но соотношение сторонников «порядка» и «прав человека» существенно изменилось: в 1997 году это было 60% против 27%, а сейчас — 51% против 39%. Разрыв уменьшился в три раза.

Другой вопрос — о многопартийности. В 1994 году доля ее сторонников и противников была одинаковой — 40%. К 1997-му процент противников даже возрос (до 48%), а процент сторонников остался прежним. Но в 2004 году мы обнаруживаем уже 50% сторонников при 40% противников, а в 2007-м со-

ответственно 56 и 36%. Тренд совершенно четкий. Спрос на многопартийность с 1994 года до второй половины 2000-х вырос в полтора раза.

Третий вопрос: нужна ли сильная оппозиция власти? Это непосредственно относится к теме «монопартийного проекта». Тут тоже впечатляющий рост утвердительных ответов по сравнению с 2001 годом. Тогда в пользу необходимости оппозиции высказывались 59% опрошенных при 23% голосов «против». Сейчас же процентное соотношение стало 71:16.

Но если в настроениях людей можно уловить растущую склонность к конкурентным и плuriалистическим моделям, то настроения властей, видимо, прямо противоположные. Проект «либерализации» показался им неприемлемым и пугающим, по-моему, даже в самом игрушечном своем варианте. Вернее, стало ясно, что игрушечный вариант не получится. Соответственно, если разрушается модель «инклюзивной гегемонии», а вариант демократизации, видимо, совершенно отвергнут, то единственный реалистичный сценарий — это попытка перехода к настоящей гегемонии, более жесткой. Но переход к этой модели возможен только в том случае, если общество удастся серьезно чем-то напугать.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо. Я хочу обратить ваше внимание на слово «распад», прозвучавшее в выступлении Кирилла Юрьевича. Происходившее 11 октября и в первые дни после выборов можно интерпретировать двояко. Можно считать это проявлением системной устойчивости и способности власти изыскивать средства для ответов на новые вызовы. А можно — проявлением назревающего глубокого системного кризиса, или распада. Какие-то внешние симптомы этого можно было наблюдать, кстати, в поведении некоторых лидеров «Единой России» — в частности, Володина и Исаева.

Вспомним, как реагировали они на протесты системных партий. Они реагировали откровенной «жериновизацией» политической стилистики...

Лилия ШЕВЦОВА:

Истерически реагировали.

Игорь КЛЯМКИН:

Да, истерически. И это симптом неуверенности, симптом того самого распада, о котором говорил Кирилл Рогов.

Несколько слов по поводу возможностей «более жесткой гегемонии». Это необязательно ликвидация выборной процедуры вообще. Может быть и вариант юридических ограничений, когда система воспроизводит себя не посредством манипуляций и фальсификаций итогов голосования, а посредством недопущения к выборам оппозиционных политических сил, способ-

ных составить конкуренцию власти. Так было, например, в Южной Корее в пору нахождения там у власти генералов.

Кстати, в определенном смысле такая система более правовая, чем наша: она обеспечивает монополию на власть не за счет нарушения закона или отказа неугодным партиям в регистрации, а за счет дискриминационности самого закона. Но такая легализация ограничений природе российской системы, как мне кажется, все же не соответствует. Ей нужен юридически чистый фасад, а такая «чистота» может поддерживаться только за счет имитационности.

Владимир ГИМПЕЛЬСОН (директор Центра трудовых исследований ГУ—ВШЭ):

«Растущие издержки фальсификации могут подавить нынешний высокий спрос на нее»

Мне тоже показался очень интересным и качественным анализ, представленный Дмитрием Орешкиным и Львом Гудковым. После их выступлений общая картина происходящего уже никаких вопросов не вызывает. Позволю себе сделать несколько дополнений в развитие того, что было сказано коллегами.

Дмитрий Борисович говорил о том, что со стороны власти спрос на «фальшак» последовательно растет. И предложение «фальшака», которое обеспечивается избирательными комиссиями, растет тоже. Это два узла единого механизма, поддерживающие и стимулирующие друг друга.

Пока издержки фальсификации малы, такой механизм надежен. Можно осуществлять ее, никого и ничего не боясь. И логика дальнейшего развития вроде бы понятна: все больше и выше. Тем более что технология фальсификации осваивается и распространяется очень быстро. В данном отношении «высокие технологии» в России освоены. Загвоздка же в том, что издержки фальсификации не остаются постоянными, со временем они могут меняться. И они, как показали докладчики и некоторые другие выступавшие, уже начали расти.

Если реальная явка 20%, то доложить еще 10% — это гораздо проще, чем доложить 20% при явке 10%. Издержки увеличиваются. И использование КУИБ заметно усложняет вмешательство в ход голосования и тоже повышает издержки. Увеличивает их и негативная реакция — пусть вялая — системных партий. И эти издержки фальсификации, скорее всего, будут расти, подавляя и спрос и предложение.

Повлияет ли на их динамику апатия населения, которое ни во что уже не верит? Однозначный ответ дать трудно. Можно лишь попробовать объяснить, почему люди так реагируют, почему им по большому счету все равно, что происходит.

Как вы, наверное, помните, Альберт Хиршман в своей книге «Exit, Voice and Loyalty» выделяет две альтернативные стратегии поведения: стратегию

выхода и стратегию голоса. Участие в выборах, политическая или общественная реакция на выборы — это стратегия голоса, требующая усилий. А стратегия выхода, как правило, намного «дешевле», и потому рациональные индивиды предпочитают чаще именно ее. Выход — это голосование ногами, которое происходит в разных формах.

Когда мы видим, что в Центральной и Западной Европе появляются целые российские поселения, то это выход, это реакция на российскую политику, включая и фальсификации результатов выборов. Люди живут на два дома, мигрируют туда-сюда, и им в значительной степени действительно стало все равно, что происходит в стране. Это не высшая, но средняя (в том числе региональная) элита. И пока у людей есть выход, пока они могут им в разных формах воспользоваться, они будут придерживать свой голос и не будут им пользоваться. Или, говоря иначе, не будут вмешиваться в ход событий. Это означает, что индивидуальные стратегии приспособления взяли верх над коллективными действиями и над политической активностью в любых формах.

Если мы смотрим на структуру нашего общества, используя длинные статистические тренды, то видим нарастание этой индивидуализации очень четко. Сегодня уже половина всех занятых не работает в корпорациях или каких-то организациях. Они предоставлены самим себе и решают свои проблемы теми способами, которые им удобны и доступны. Поэтому государство им малоинтересно. К тому же нередко они видят в нем не механизмы решения своих проблем, а механизмы создания проблем дополнительных. А значит, от него лучше держаться подальше. И пока можно выживать и существовать таким образом, явка на выборы будет падать, а реакция на фальсификацию их результатов будет оставаться вялой. Но это разложение общества и распад общественных связей.

Как долго такое будет продолжаться? Мне кажется, нам это знать не дано. Во всяком случае, у меня лично нет ответа на вопрос, куда это все может прийти. Но у меня есть ощущение, что издержки фальсификации для власти все-таки будут расти. Поэтому можно предположить, что с выборами могут покончить вообще. Но я согласен и с тем, что выборы — последняя линия легитимизации действующей системы.

Думаю, что для власти рациональной реакцией на происходящее был бы плавный, постепенный выход из «фальшака». Хотя бы потому, что и деградация выборов, и их свертывание грозят в перспективе гораздо более крупным, системным обвалом.

Игорь КЛЯМКИН:

Все, что вы сказали, — дополнительные штрихи к симптоматике того распада, о котором говорил Кирилл Рогов. Они наблюдаются не только в элите. Какие-то слабые симптомы проявляются и среди избирателей. На меня ко-

лоссальное впечатление произвел документ — он размещен на нашем сайте, — представленный наблюдателем от «Яблока».

Он был свидетелем подсчета голосов на одном из московских избирательных участков. И он приводит два протокола: первый, составленный сразу после подсчета, и протокол итоговый, официальный. Так вот, по первому протоколу победила «партия»... испорченных бюллетеней! Она набрала 46% голосов, а «Единая Россия» — всего 7%. В окончательном же протоколе у «Единой России» оказалось 26%, а количество недействительных бюллетеней уменьшилось больше чем на порядок.

Не берусь судить, что означают эти 46% избирателей, сделавших свои бюллетени недействительными. Но это тоже может быть локальным симптомом каких-то протестных настроений в обществе. Настроений, которые социологическими опросами пока не фиксируются.

Алексей КАРА-МУРЗА (заведующий отделом Института философии РАН):

«На октябрьских выборах был преподан наглядный урок всем, кто хочет пойти в политику: мало быть абсолютно лояльным, надо иметь "правильный" партбилет»

Спасибо большое докладчикам. Чувствуется, что мы проводим время в правильном месте и с правильными людьми. Теперь о сути обсуждаемой проблемы.

Во-первых, очевидно, что та точка, в которой мы оказались и сейчас находимся, — абсолютно закономерна. Это очередная логичная веха на политической линии нескольких последних лет. Линии, которую определили такие факты, как отмена губернаторских выборов, избрание Путина лидером правящей партии, обретение выигравшей партией права предлагать кандидатуры губернаторов, и т.д.

Региональные элиты все с меньшим количеством исключений все более концентрируются в «Единой России», и сохраняющиеся в этих элитах конфликты интересов все более поглощаются этой большой партийной «губкой». А все те, кто не поглощается, обречены на маргинализацию, с которой уже готовы, кажется, примириться. Отсюда и мое впечатление от демарша партий системной оппозиции в Государственной Думе. Своим уходом они демонстрировали свой протест не перед избирателями и не перед первыми лицами государства, а перед своими спонсорами: «Вы нам свои места в избирательных списках проплатили, а мы в свою очередь сделали все, что от нас зависело. И все было бы как надо, но нас банально кинули. А потому и все вопросы теперь не к нам...»

Во-вторых, любые выборы у нас, как и прежде, — это производная от главных выборов, президентских. Важнейший вопрос для всех: дадут ли Медведеву пойти на второй срок?

Как известно, кандидатуры президента теперь выдвигают партии. Напомню, что Медведева формально выдвинули четыре партии. Аграрiev и партию Барщевского как самостоятельные силы ликвидировали; «Справедливую Россию» на региональных выборах (особенно в Москве и Астрахани) унизили, и президент не смог ее хоть как-то защитить. «Шелуха» отпала, осталось «едро» — «Единая Россия», у которой есть конкретный лидер. Чтобы избираться, Путину не надо теперь нарушать Конституцию, как было бы, пойди он на выборы в 2008-м. И мне очень трудно представить ситуацию, в которой «Единая Россия» в 2012 году предложит на президентский пост не своего лидера, а кого-то другого. Трудоустройство же нынешнего президента на будущие двенадцать лет — вопрос для некоторых, возможно, морально тяжелый, но для сложившейся системы все же технический.

А теперь я добавлю к тому, что сказал, некоторые личные впечатления — своего рода «картинки с натуры». Вот Республика Марий-Эл, где только что прошли региональные выборы — одни из самых вопиющих в отношении масовых фальсификаций. Там участвовал список «Правого дела», созданный на базе активистов бывшего Союза правых сил. Еще совсем недавно это была сильная и влиятельная команда с немалыми ресурсами. Правда, она была предельно лояльна как к центральным, так и к местным властям. Бывали времена, когда марийский СПС имел большую фракцию в региональном парламенте; ее лидеров знали и «верхи» и «низы», их регулярно выбирали. Но на этот раз «правых» было решено «зачистить по полной». На тех участках, где до конца отработали надежные наблюдатели, результат правых — не менее 10%. А официально списку «Правого дела» нарисовали всего три процента.

Таким образом, характерной чертой последних выборов стала безжалостная «зачистка» всех альтернативных «Единой России» кандидатов и списков, даже предельно лояльных. Преподан наглядный урок всем, кто хочет попасть в политику: мало быть абсолютно лояльным, надо иметь «правильный» партбилет. Оборотной стороной этой окончательной монополизации политики становится, как я уже заметил, обострение борьбы за места в списках «Единой России».

Может ли президент, на словах ратующий за многопартийность, притормозить этот процесс или даже перенаправить его в иное русло? Можно ли сократить число откровенных фальсификаций, наказать «особо отличившихся»? Сделать это будет невероятно трудно, ибо придется противостоять тенденции, набиравшей силу и инерцию все последние годы.

Весной 2010 года предстоят новые выборы во многих регионах. Возьмем хотя бы два из них — Воронежскую и Рязанскую области. В обоих регионах недавно «наделены полномочиями» новые губернаторы — заметные люди в «Единой России». Логика современной политики диктует им удерживать и даже наращивать процент голосов, поданных за данную партию. Потому что та-

ковы условия индивидуального выживания: надо продемонстрировать, кто «хозяин» в регионе. Этого будут требовать однопартийцы из числа начальников и кураторов, а особенно те местные единороссы, кто уже формирует региональные партсписки и избирательные бюджеты.

Добрая воля начальства или индивидуальная совесть кого-то из местных руководителей — это, увы, очень слабые контраргументы в такой ситуации.

Денис ДРАГУНСКИЙ (главный редактор журнала «Космополис»):

«В эпоху постмодерна нельзя создать демократию эпохи модерна»

Я тоже хочу поблагодарить Дмитрия Борисовича Орешкина и Льва Дмитриевича Гудкова за замечательные выступления. Но у меня осталось от этих докладов тягостное впечатление. И не только потому, что все изложенное на самом деле очень печально: и наглые фальсификации, так объемно и убедительно проанализированные Орешкиным, и — особенно — безразличие людей, о чем говорил Гудков.

Кстати, в докладе Гудкова все время встречается цифра — 60–65%. Столько людей считали, что выборы будут сфальсифицированы, но столько же народу, уже после выборов, считает, что все прошло, в общем-то, нормально, приемлемо. Парадокс? Случайность? Ничуть.

Эта роковое число (в точности речь идет о 62,5% — число «золотого сечения») было применительно к данной проблеме исследовано математиком и философом Владимиром Лефевром и его последователями. Появление этого числа означает, что респондентам, по существу, совершенно все равно, их не задевает смысл происходящего. Если, например, высыпать перед человеком из мешка множество совершенно одинаковых, идеально отполированных металлических шариков и предложить расклассифицировать их на «хорошие» и «плохие» (или на «пусиков» и «масиков»), то что получится у него в итоге? Получится, что «хороших» — 62,5%, а «плохих» — 37,5%. Шестьдесят на сорок, грубо говоря. Хороших больше, ибо срабатывает правило положительной интенции. С «пусиками» и «масиками» будет та же картина в смысле пропорций, но кто победит — это уже зависит от того, кого человек предпочитает, какое слово ему больше нравится.

Вот именно поэтому у меня и возникло тягостное чувство второго, так сказать, уровня. Вызванное уже не бессовестными фальсификациями и даже не прискорбным равнодушием избирателей. Вызванное нашей аналитической позицией.

Перенесемся мысленно во вторую половину XIX или в начало XX века. Тогда признанным и на тот период наиболее эффективным инструментом политического анализа был марксистский. То есть рассмотрение политической реальности с точки зрения классовой борьбы, концентрации капитала, эксплуатации наемного труда и т.п. И ведь действительно, в пору индустри-

альной модернизации и формирования светского социального государства по бисмарковскому образцу, в золотую пору массовой электоральной демократии, которая отражала массовый и однотипный характер занятости эпохи модерна, — в ту пору это было актуально, живо, современно и своевременно. В те времена анализировать сословно-династические проблемы было как-то глупо. Как-то отстало.

Представьте себе, что в канун русской революции 1905 года некто пытается доказывать, что все беды России от того, что династия Романовых пару раз прерывалась, т.е. нечистокровна, а плюс к тому Александр I незаконно отстранил своего брата Константина от престолонаследия. Странно было бы это слушать на фоне стачек и эсеровских бомб. Хотя три-четыре столетия назад от того момента (в XV–XVII веках) вопросы династической жизни действительно определяли политическую реальность едва ли не полностью.

Однако времена меняются. Они менялись не только в прошлом, они меняются и сейчас, на наших глазах. И это необходимо понять и принять.

Нам нужно понять, что выборы — штука непростая. С одной стороны, выборы — очень древний и почтенный политический инструмент. Именно поэтому в обозримом будущем они не исчезнут, а скорее всего, не исчезнут вообще никогда. Не исчезнет, скорее всего, и ценность народного суверенитета — хотя она куда более неустойчива и нова, чем ценность выборов. Так или иначе, свободные выборы были, и остаются, и, очевидно, останутся мощнейшим традиционным, веками освещенным способом легитимации власти.

Но, с другой стороны, выборы далеко не всегда отражают ситуацию в стране, настроения граждан вообще и избирателей в частности. Выборы в конечном итоге — это ритуал узаконивания власти, а не социологический опрос и тем более не инструмент осуществления власти (Швейцария и местное самоуправление не в счет). Фальсификация выборов — пусть более тонкая, не такая бесстыжая, чем этой осенью в Москве, — вещь привычная, к сожалению. Подтасовывают и на демократическом Западе, и на авторитарном Востоке, и на хаотичном безвластном Юге. Однако Запад развивается своим демократическим путем, Восток — своим авторитарным, а на Юге бесчинствуют сомалийские пираты.

Разумеется, сказанное не означает, что фальсификации можно простить. Налицо самое настоящее оскорбление, и за него власть должна ответить. И уж конечно сказанное не означает, что раз даже на Западе бывают фальсификации, то и у нас все точно так же: на поверхности — подправляют цифры, вбрасывают бюллетени, но на самом деле кругом полная демократия. Нет, ничего подобного: даже если мы отчасти смахиваем на отдельные демократические страны в плохом, то это вовсе не значит, что мы похожи на них в хорошем. Увы, увы...

Но в конечном итоге дело не в фальсификации самой по себе, а в той социальной и политической реальности, которая делает эту фальсификацию возможной и, главное, терпимой.

Выборы, повторяю, это не термометр и не власть, это уже довольно давно ритуал. Но нам, живущим в стране, которая проходит этап догоняющей политической модернизации, многие вещи хочется воспринимать в их первозданной свежести. Нам хочется, чтобы выборы отражали ситуацию в стране и волю народа. Нам хочется, чтобы пришли излюбленные для всего народа люди, собрались бы на Земский собор и соборно решили выбрать на царство Мишу Романова. Хотя никто не докажет, что выборы указанного персонажа были действительно волей миллионов людей, а не плодом межкланового компромисса.

Мне очень понравилось выступление Владимира Гимпельсона, который отметил очень важную вещь: на сегодняшний день 50% занятых не ассоциируют себя с теми или иными корпорациями и организациями. Скоро еще больше людей будет работать на двух-трех работах — или временно, или на «фрилансе». То есть массовая однотипная занятость рушится — уже почти совсем разрушилась — на наших глазах.

Поэтому проблема массовых электоральных партий и проблема массового голосования на всеобщих выборах, как и вообще проблема всеобщих выборов (с упором на слово «всеобщий»), будет теперь совсем иной. Поэтому иной станет и проблема политической легитимации. Как эта проблема будет, простите за стилистику, проблематизирована в сознании политиков и в сознании народа? Не знаю. Как она будет решаться? Тем более не знаю, а фантазировать не хочу. Знаю только, что думать об этом надо уже сегодня.

Когда сейчас на региональном уровне заходит речь о местном (городском, областном, республиканском) парламенте, то в первую очередь имеются в виду финансовые ресурсы. Депутатское кресло в региональном парламенте или в городской Думе — это прежде всего возможность делать большие деньги, распоряжаться финансами путем утверждения местных бюджетов, путем выделения средств на различные проекты. За эти услуги бизнес хорошо платит. Это и способ войти в число акционеров, приобрести собственность на льготных условиях. Это защита от судебного преследования. Наконец, депутатское кресло — это членство в престижнейшем клубе самых влиятельных людей области или города.

Естественно, все это стоит огромных денег, все эти возможности, льготы и иммунитеты. И такие деньги охотно платят, т.е. покупают депутатское место. А отсюда и самый серьезный вопрос: можно ли всерьез говорить о народном волеизъявлении, когда за «проходное место в списке» уже заплачено?

Такова печальная реальность.

Я бы сформулировал проблему так: в эпоху индустриальной модернизации

и массовой однотипной занятости в России—СССР был коммунистический тоталитаризм. Поэтому классическая электоральная демократия модерна в нашей стране не сложилась. Тоталитаризм рухнул. Но вот если бы он рухнул сразу после войны или хотя бы в 1960-е годы, то можно было бы надеяться на становление демократии, пока многотысячные рабочие коллективы на месте, а также существует классовое сознание (по-нынешнему — идентичность) служащих, учителей, врачей и сотрудников НИИ. Но, увы, вместе с тоталитаризмом обрушился и модерн, остановились заводы и распалось все остальное. В постмодерном «обществе распределенного дохода», в отличие от модерного «зарплатного общества», работают другие механизмы.

В России не получится создать нетоталитарный модерн: все, поезд ушел. Странам, которые перешли к постмодерну из модерной демократии, значительно легче. Высокий стандарт свободных всеобщих выборов, унаследованный от демократического модерна, сам по себе обладает мощной нормативной, регулирующей, ценностной силой. В нем заложена историческая память о приличном поведении, об этикете, о честной конкуренции, о всеобщем благе и прочих прекрасных вещах. У нас этим вещам взяться неоткуда, потому что в постмодерн мы рухнули из тоталитаризма.

И тут возникает самый последний вопрос. Допустим, мы все все это понимаем. Допущение, конечно, смелое: увы, многие просто не хотят этого понять, многие думают, что достаточно наказать фальсификаторов и все станет хорошо. Наказать-то нужно, но нет — хорошо не станет. Однако допустим! И тогда вот он, вопрос: мы-то, с нашими душами, с нашей совестью, с нашими представлениями о приличиях, с нашими политическими убеждениями — мы-то никуда не делись! Нам-то, либералам, что делать?

Гимпельсон вспомнил замечательную работу Хиршмана «Выход, голос и верность». Так вот, к вопросу о выходе. Выход — это же необязательно в эмиграцию. Когда член партии СПС уходит в «Единую Россию», это ведь тоже выход, хотя, на мой взгляд, печальный. Мы должны понять, где наш выход — и хиршмановский, и просто человеческий.

Голос, я полагаю, лучше выхода. Может быть, мы что-то сможем сделать. Для этого надо говорить. Объяснять, просвещать. А для этого нам надо понимать, какие процессы (социальные, культурные, экономические) лежат в основе нынешней политической ситуации. Надо изучать эти процессы.

Игорь КЛЯМКИН:

Денис Викторович в последнее время настойчиво призывает нас к новому политическому мышлению...

Лилия ШЕВЦОВА:

Я хочу отреагировать на этот призыв.

Игорь КЛЯМКИН:

Придется немного подождать. Еще не все выступили по первому разу. Евгений Григорьевич, пожалуйста.

Евгений ЯСИН:

«Широкомасштабные фальсификации результатов выборов означают трансформацию "дефектной демократии" в авторитаризм»

Я тоже начну со слов благодарности докладчикам за очень содержательные сообщения. Они действительно помогают нам лучше понять, что произошло 11 октября, и осознать политическое значение происшедшего.

Когда появились расчеты упоминавшегося здесь Сергея Шпилькина, мне стало ясно, что случилось нечто очень важное. Сегодня я укрепился в этом мнении. Произошли какие-то важные изменения, последствия которых мы еще пока, может быть, и не видим. Но последствия будут, и мы должны рассмотреть возможные варианты развития событий.

Сразу скажу: мое убеждение заключается в том, что господин Путин уже выстроил всю систему в расчете на то, что он победит на выборах 2012 года, а потом — через шесть лет — еще раз. И досидит на высшем посту до своего пенсионного возраста и даже с избытком. По-моему, к этому все готово. Люди расставлены. Необходимые изменения в законодательстве сделаны. Они были предусмотрены еще до того, как он ушел с поста президента. Пришел Медведев, ему сразу было поручено провести изменения в Конституции. И тем не менее у меня в последнее время появилось ощущение, что что-то такое произошло, в результате чего вся эта конструкция зашаталась.

Меня заинтересовала статья, авторы которой — немецкие ученые В. Меркель и А. Круассан — предложили свою модель описания демократии в переходный период. Мне понравился введенный ими термин «дефектная демократия». И они проводят четкую границу между такой демократией и авторитаризмом. Если выборы не фальсифицируются или фальсифицируются в ограниченных масштабах, то это, полагают они, все же демократия, хотя и дефектная. А широкомасштабные фальсификации выборов означают ее трансформацию в авторитаризм.

Что происходило до последнего времени в России? Многие говорили: у нас демократии нет, результаты выборов предопределены, в любом случае победит «Единая Россия». Но я с этим не соглашался. Потому что каждый раз, когда я брал прогноз Левада-Центра или какой-то другой социологической службы и сравнивал его с официальными результатами выборов, существенной разницы не обнаруживалось. И потому всегда говорил тем, кто думал иначе, чем я: «Ребята, при всем моем критическом отношении к господину Путину, я должен признать, что его любит народ. И если вы хотите демократию, то должны с этим считаться. Считаться с тем, что народу нравится не то, что вам или мне».

Да, масштабы фальсификаций нарастили, но все же оставались в пределах приличий. В пределах «дефектной демократии». Однако после выборов 11 октября говорить так уже нет никаких оснований.

На мой взгляд, не так важно, что по поводу происшедшего думает население, которое не может быстро реагировать на изменения ситуации. Гораздо важнее, что по этому поводу думает элита. Так вот, у меня такое ощущение, что в элите появилось беспокойство: у нее не видно уже той уверенности, которая была прежде. Когда я слышу бесконечные выступления, в пессимистическом духе или, наоборот, в духе нарочитого оптимизма, представителей правительства и президентской администрации, то улавливаю симптомы беспокойства, чего раньше не было. Была уверенность, что все под контролем, все схвачено, народ управляем, никаких угроз для системы он не представляет. А теперь, похоже, уверенность поколеблена.

Здесь говорили о финансовых войнах за посты в законодательных собраниях. Но «воины», похоже, пока еще не отдают себе полного отчета в том, что они будут делать со своими постами в меняющейся ситуации. Они и раньше вряд ли рассчитывали на то, что будут реально выбирать губернаторов или оказывать политическое влияние каким-то иным образом. Они рвались к депутатским креслам и вступали, чтобы получить их, в «Единую Россию» ради защиты своего бизнеса, ради более надежного отстаивания своих частных интересов. Но теперь такая линия поведения может оказаться уже не столь надежной, как раньше. Что-то в системе надламывается, вопрос о ее трансформации стучится в повестку дня.

Как это может происходить?

К сожалению, устроить в России какую-нибудь «оранжевую революцию» и вообще какой-нибудь спектакль с участием народа, мне кажется, не получится. Возможные изменения опять-таки будут связаны с тем, какие процессы будут иметь место в элите. Именно от нее будут зависеть и изменения в настроениях населения, которое ушло в частную жизнь, отстранилось от политики и отказывается легитимировать власть на выборах, что заставляет ее прибегать к запредельным по масштабам фальсификациям.

А чем мотивирована эта пассивность большинства наших сограждан? Она мотивирована ощущением, что от них ничего не зависит. Вот и опросы показывают, что такое ощущение в обществе доминирует. В 1990-е годы, кстати, оно было распространено намного меньше. А сейчас — доминирует. И оно-то, как выясняется, оказывается не столько опорой власти, сколько свидетельством размывания ее легитимности.

Но нарастающие в обществе апатия и пассивность влекут за собой и еще одну проблему. Дело в том, что при таком состоянии общества ему невозможно внушить, что необходимо заниматься модернизацией, инновациями и тому подобными вещами. Не получится!

Я недавно вычитал у Гершенкrona интересную мысль: если вы хотите, скажем, проводить индустриализацию, то вы не сможете провести ее, предложив народу или хотя бы буржуазии чисто экономический лозунг. Например, лозунг, связывающий индустриализацию с повышением капитализации компаний или возрастанием прибыли. Этого недостаточно. Нужна еще какая-то идея, перекрывающая неизбежные риски перемен, которая могла бы воодушевить людей.

По мнению Гершенкrona, во Франции индустриализация и капитализм питались идеями сенсимонистского социализма, которые разделяли самые видные буржуа. В Германии это был национализм в духе Фридриха Листа, а в России — марксизм: сначала в интерпретации Струве и Туган-Барановского, а в советское время, как мы помним, совсем в другой. Сегодня же никакой модернизационной идеи в России нет, само по себе слово «модернизация» никого и ни к чему сподвигнуть не может, сколько его ни повторяй.

Национальная задача, которая перед нами стоит, без мобилизации общества нерешаема в принципе. И я, как вы понимаете, имею в виду не мобилизацию на вступление в одну партию. Ситуация усугубляется и кризисом, пусть и не очень ярко выраженным. При таких обстоятельствах людям уже не получится внушать, что Путин прав, а потому страну ждет светлое будущее. Времена, когда с Путиным связывались большие ожидания насчет того, что если сегодня мне досталось мало, то завтра благодаря Путину достанется много, уходят в прошлое.

На изменение общественной атмосферы сильно влияет и Интернет. Его роль в данном отношении постоянно возрастает, роль телевидения потихонечку начинает падать. Критические выступления в Интернете милиционеров и реакция на них говорят о многом. Симптоматично и то, что господин Илюхин, тот самый коммунистический прокурор, выступает вдруг с публичным заявлением насчет того, что в милиции дела обстоят не так уж и катастрофично, а критика, идущая от милиционеров, — это заговор против Нургалиева. С чего бы это, интересно, оппозиционер Илюхин так забеспокоился? Такой момент: даже противники режима почувствовали угрозу его обвала и, соответственно, угрозу утраты своих удобных политических ниш.

А что же наш тандем? Медведев, разумеется, прекрасно понимает, что ему нельзя рыпаться, что надо соблюдать двухлетней давности договоренности относительно распределения политических ролей и соблюдения внутрисистемных правил политической игры...

Игорь КЛЯМКИН:

Насколько можно судить, распределение ролей заключается в том, что Путин поддерживает стабильность (в том числе и посредством публичного одобрения результатов фальсифицированных выборов), а Медведев нащупывает

стратегию развития, не трогая устоев сложившейся системы. Но роль стратега сводится, как мы видим, к модернизаторской пропагандистской риторике, что для первого лица государства, да еще с такими конституционными полномочиями, выглядит более чем странно...

Евгений ЯСИН:

Возможно, его эта роль уже не устраивает и у него появились сомнения в том, что он должен выполнять свои обязательства. Именно потому, что ситуация довольно сильно поменялась.

Как могут развиваться события внутри тандема? С моей точки зрения, здесь мыслимы три варианта.

Первый вариант — сохранение тандема и демонстрация со стороны обеих сторон единства команды при публичной констатации путинского лидерства. Это значит, что в какой-то момент Медведев говорит: нас ведет вперед наш любимый вождь Владимир Владимирович, а я остаюсь его верным соратником.

Второй вариант — открытый раскол. Он выглядит сегодня маловероятным, но, в принципе, я бы его не исключал — именно потому, что напряжение в стране нарастает.

Третий вариант — сохранение нынешней неопределенности. Ни туда ни сюда.

Какой из этих вариантов лучше? По-моему, плохи все три. Ибо то, что произошло с выборами, — это серьезно. То, что власть делегитимировала сама себя, то, что эти фальсификации в колossalных масштабах стали известны всем, не может оставаться без реакции. И здесь тоже возможны варианты.

Один из них — принятие откровенно антисемитических мер. Выборы, конечно, не отменят, но каким-то образом предпишут, что все они должны заканчиваться в пользу «Единой России». Может быть, даже в Конституцию запишут — надо же как-то гарантировать сохранение себя у власти. Прецеденты законодательной дискриминации политических оппонентов, о которых упоминал Игорь Моисеевич Клямкин, вполне могут быть использованы. Это вариант авторитарно-репрессивный, которого я, честно говоря, очень боюсь.

Другой вариант — стороны договариваются о каком-то движении в направлении либерализации, предполагающей, что фальсификации итогов выборов исключаются. Или, по крайней мере, резко ограничиваются в масштабах.

Как бы то ни было, сохранение нынешнего положения до начала нового избирательного цикла 2011–2012 годов — это очень большой риск. Нельзя безнаказанно из раза в раз устраивать такие безобразия. Согласен с теми, кто говорил, что издержки фальсификации будут расти, удерживать равновесие будет все труднее.

В ближайшие времена, я думаю, должны все же произойти какие-то изменения, которые определят политику тандема или обозначат разные политики

внутри него. Я говорю так потому, что эффективность политической конструкции, очень тщательно выстроенной Владимиром Владимировичем, оказывается под большим сомнением. Не исключаю, что он будет и дальше работать над тем, чтобы все удержать, чтобы убрать сомнительные моменты и элементы. Но как это можно сделать, я не представляю.

Тем более, повторю, что ситуация требует национальной мобилизации — нужно что-то предложить людям, открыть какую-то общую перспективу, в которую они бы поверили, которая подняла бы их дух. Потому что в таком состоянии, как сейчас, когда они все больше и больше погружаются в апатию, фальсификации выборов и все прочие имитации становятся для страны губительными. Ни к чему, кроме стагнации и разложения, они не ведут.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Евгений Григорьевич. Все желающие свое слово сказали. Теперь я могу предоставить возможность тем, кто хочет, коротко отреагировать на выступления коллег. Может быть, что-то хотят сказать и те из присутствующих, кто пока от выступления воздержался.

Владимир КОЗЛОВ (*старший научный сотрудник Института географии РАН*):

«Предложения президента, призванные улучшить нашу избирательную систему, на практике ничего не изменят»

Почему-то никто из выступавших не откликнулся на просьбу нашего модератора, высказанную им в самом начале обсуждения. Я имею в виду вопрос, как повлияют предложения президента Медведева, сформулированные в его послании и конкретизированные в поручениях, на избирательную систему.

В целом, думаю, его предложения позитивны. Однако они слишком скромны, а часть из них не слишком конкретна.

Вот, например, самое срочное из всех поручений — в январе 2010 года «подготовить программу ускоренного технического переоснащения избирательной системы». Во что воплотится это поручение, понять невозможно. Поскольку же в ответственных за реализацию числится глава Центризбиркома В.Чуров, то на серьезные изменения надеяться не приходится. Возможно, все ограничится программой оснащения автомобилей, перевозящих избирательные бюллетени, системой ГЛОНАСС и показательным внедрением технических новинок на отдельных участках. На оснащение большого числа участков системами электронного голосования надежды никакой — у организаторов наших выборов на это нет ни желания, ни средств.

Или вот уточнение порядка досрочного голосования на региональных и местных выборах. Порядок в этом, конечно, нужен. Но когда ориентиром

выступает порядок такого голосования на федеральных выборах, где при его осуществлении нарушений было предостаточно, то рассчитывать на повышение в будущем доверия к нашим досрочным выборам не стоит. К тому же досрочное голосование не такая уж серьезная проблема на российских выборах — за исключением отдельных случаев. Да и проводится оно не везде — на выборах в Мосгордуму, например, его не было. А вот наведению порядка в проведении повсеместного и более масштабного голосования на дому в поручениях президента места не нашлось.

А что означает возвращение к 5%-му барьеру прохождения в региональные парламенты вместо прежнего барьера в 7%? Во-первых, это всего лишь возврат к тому, что уже было. Во-вторых, будут манипулировать итогами не вокруг 7%, а вокруг пяти. Да еще неизвестно, сколько времени потребуется на реализацию этого указания президента.

Еще предлагается отменить подписи для участия в региональных выборах партий, имеющих фракции в региональных парламентах. Как известно, партии, представленные в Госдуме, уже давно не собирают подписи для участия на всех выборах. Но почему бы не распространить это правило на все партии? Их у нас всего-то семь, и все они прошли долгую и сложную процедуру регистрации. Предлагаемое изменение — это полумера.

Равный доступ к СМИ партий, представленных в региональных парламентах, вряд ли станет таковым, если даже будет зафиксирован в законе. Вопрос в том, как такого рода нормы реализуются. В Москве равный доступ к СМИ во время выборов был декларирован, но для его обеспечения отобрали такие каналы, которые почти никто не смотрит, — «Столицу» и «Доверие». А у команды Лужкова при этом был еще общедоступный «ТВ-Центр» — как бы не городской канал, а федерального уровня. И потому не обязанный давать время кандидатам на городских выборах. Но ведь все знают, кто на самом деле этот канал контролирует и кто на нем активно выступал.

Так что предложения вроде бы и правильные. По крайней мере, в них на этот раз невозможно найти что-то ущемляющее права избирателей. Но они, во-первых, очень сдержаные. А во-вторых, боюсь, что на практике от них мало что изменится. Потому что реальная избирательная практика регламентируется совсем другими правилами.

Игорь КЛЯМКИН:

Одни имитации корректируются другими имитациями. О том, к чему они приведут, мы узнаем уже через несколько месяцев, когда состоятся следующие выборы. Возможно, на них более деликатно обойдется со «Справедливой Россией», чтобы исключить солидарный публичный протест сразу трех думских фракций.

Кто еще хочет выступить? Дмитрий Борисович, пожалуйста.

Дмитрий ОРЕШКИН:

«Имитационная демократия приводит к тому, что власть принимает имитационные решения, чтобы себя успокоить»

Что же мы имеем в итоге? Мне представляется, что верно тут было сказано про вызревающее в реальности новое качество. Действительно, что-то меняется. Общественная пассивность кажется какой-то верхушечной, декларативной. Конечно, ожидать подвижек снизу, на что рассчитывают коммунисты, совершенно бесперспективно. Но в глубине нечто зреет.

Меняется система ценностей, причем непонятно, в каком направлении. Я согласен, что даже Путин под стрессом. Вроде бы все выстроил как надо: телевидение под контролем, деньги под контролем, элита под контролем, силовики прикуплены, хорошо смазаны коррупционной рентой, а счастья нет. Ощущение контроля над ситуацией отсутствует, и даже, наоборот, есть ощущение, прямо противоположное. Ситуация уползает из рук. И опять-таки непонятно куда. Менты палят в белый свет, жалуются, пьянятся, плачут и не понимают, кого мочить, почем и где что, — еще один признак какой-то дезориентации.

Это касается и выборов, потому что люди в избирательной системе тоже под стрессами. Обрыдло уже, сколько можно, они же в конце концов тоже люди. Это к вопросу о приемлемом уровне приличия. О том, что прилично, а что — нет. Можно 5% приписать, ну 10, но 40 — уже неприлично. Беда, однако, в том, что для того, чтобы сделать запланированные суммарные 20, надо где-то приписать 40. Это вызывает чудовищный психологический дискомфорт: власть, мол, сходит с ума, а мы ее предписания должны исполнять.

Имитационная демократия приводит к тому, что власть принимает имитационные решения, чтобы себя успокоить. Ну, какая, в самом деле, разница — спрошу вслед за Владимиром Николаевичем Козловым — 7% проходной барьер или 5%? Какая разница — требуется перед выборами собирать подписи или нет? Если эти списки подписей считать одинаково для всех, тогда и проблем нет. Проблема возникает, когда у Касьянова подписи считают так, а у «Единой России» — эдак. Следовательно, она, проблема, в правоприменительной практике, а не в норме закона. А мы, значит, будем менять эту норму закона, сохраняя эту самую правоприменительную практику?

И последнее — об общих политических перспективах. Если из дуумвирата выделится один, то, скорее всего, это будет Путин. И тогда лукашенизация страны почти неизбежна. Поэтому, мне кажется, надо помогать в большей степени Медведеву. Не потому что тот демократ, а этот нет, а потому, что в наших интересах разделение властей.

Сергей ЖАВОРОНКОВ:

«Даже белорусский режим в чем-то демократичнее российского»

Лукашенизация — не самое ужасное. Белорусский режим в чем-то даже де-

мократичнее российского. В Беларуси нет, например, проблем с регистрацией оппозиционных кандидатов — в том числе и на президентских выборах. Политические убийства там прекратились. Последние убийства, в которых обвиняли Лукашенко, были в 2000–2001 годах. Количество политзаключенных — менее 10 человек, между тем как в России, по разным данным правозащитников, от 50 до 100. Лукашенко помиловал даже Козулина. Это примерно то же самое, что в России помиловать Ходорковского.

Со СМИ — ситуация такая же, как у нас: газеты свободные, а телевидение — нет. Интернет — пожалуйста, нет проблем. Количество уголовных дел за клевету против журналистов тоже примерно на российском уровне.

Правда, в Беларуси оппозиция никогда не побеждает даже на муниципальном уровне. Одномандатная система работает пока безотказно. Там, в отличие от России, нет правящей партии, а есть просто неформальные списки Лукашенко, которые спускаются сверху и за счет механизма 30%-го досрочного голосования по всей стране все лукашенковские кандидаты стопроцентно побеждают. Тем не менее белорусская оппозиция надеетсяся, что когда-нибудь ей удастся достигнуть такого уровня поддержки, что эти 30% можно будет перекрыть.

И еще в Беларуси оппозиционерам сложнее, чем у нас, сохранять престижную работу, причем давление может оказываться и на их родственников. Но в целом лукашенковская система — это не какой-то ужас, как казалось нам в 1990-е.

Игорь КЛЯМКИН:

То есть белорусская перспектива вполне приемлема...

Сергей ЖАВОРОНКОВ:

Я лишь хотел сказать, что там с демократией дело обстоит не хуже, чем у нас, а различия — косметические.

Игорь КЛЯМКИН:

Теперь — Лилия Федоровна. Мы готовы слушать обещанный вами ответ Драгунскому.

Лилия ШЕВЦОВА:

«У нас возникла своеобразная форма "системного либерализма", специализирующегося на доказательстве того, что Россия такая же страна, как и все остальные»

Было бы невежливо, если бы мы проигнорировали призыв Дениса Викторовича к интеллектуальной дерзости. В качестве образца такой дерзости он предложил свое понимание выборов, которое заключается в следующем:

«Выборы — это условность. В других системах — тоже немало фальсификаций. Кроме того, выборы — это деньги».

Соглашусь. Даже в западных демократиях случаются фальсификации. И деньги там — и немалые — тоже являются мотором избирательных кампаний. И что же из этого следует?

Я не собираюсь идеализировать политическую практику западных стран. Во многих из них она далека от идеала. Можно вспомнить, как выиграл выборы Буш-младший: там были и деньги, и манипуляции. Но я не знаю, в какой степени подход, предложенный Драгунским («не нужно эмоций — везде есть то, что есть у нас»), можно считать аналитическим прорывом. Зато знаю: если мы пойдем по этому пути, нам будет трудно конкурировать в интеллектуальной дерзости с Сергеем Марковым и другими кремлевскими пропагандистами, которые давно и энергично настаивают на том, что «Запад нам не пример».

Каждый раз, когда мы находим несовершенства в российской системе, любители интеллектуально дерзнуть с готовностью нам отвечают: «Коррупция? И на Западе коррупция. Фальсификации? И там тоже. Убивают? И у них убивают». Лучше всего этот способ аргументации освоен самим Путиным, который всегда находит что ответить на критику российской действительности и всегда готов доказывать, что речь идет об очередной «условности». Кстати, сам факт, что официальные российские пропагандисты используют те же аргументы, должен заставить нас задуматься об их реальном содержании и нацеленности.

Рискуя показаться банальной, я вынуждена повторить некоторые известные вещи. Не в поучение Денису Викторовичу, которому они известны не хуже, чем мне, а для читателей стенограммы нашего с ним диалога.

Да, в западных системах есть немало дисфункциональности. Но там речь идет о нарушениях в осуществлении демократических принципов. В России другое — здесь речь идет о том, что фальсификация выборов, коррупция, нарушения прав человека, слияние власти и собственности являются системными параметрами. В западных странах президент не назначает себе преемника. Там партии, выигравшие выборы, не думают, как удержаться у власти через массовые подтасовки. Там все это невозможно потому, что там есть независимая пресса и суд, которые не дают возможности выборам превратиться в условность. Не думала, честно говоря, что в этой аудитории мне придется приводить такие аргументы.

Но если об этих, казалось бы, очевидных для либералов вещах все же приходится говорить, то я не могу удержаться от вывода, что у нас возникла своеобразная форма «системного либерализма», специализирующегося на доказательстве того, что Россия такая же страна, как и остальные. Своеобразие же позиции Дениса Викторовича заключается в том, что у него это «доказа-

тельство» соседствует с утверждением прямо противоположным. С утверждением, что после смены модерна на постмодерн демократия европейского типа в России уже недостижима в принципе.

И что же тогда остается? «Особый путь» к особой цели? Ответить «да» — вот это действительно было бы смело. Хотя бы потому, что тут у Дениса Викторовича тоже немало предшественников среди кремлевских пропагандистов, не говоря уже о традиционалистах «почвеннического» толка.

Он, конечно, не заимствует у них их идеи и обоснования этих идей. Он, похоже, вообще не озабочен тем, чтобы как-то обосновать декларируемую им принципиальную невозможность движения России к демократии. Нет-нет, я не забыла: она — детище модерна, а сейчас на дворе постмодерн. Но почему для стран Восточной Европы и Балтии такое движение оказалось возможным, а для России оно перекрыто? Почему людям, занятым на одной работе в одной корпорации (признак модерна), демократия нужна, а занятые на нескольких работах (знак постмодерна) она ни к чему? И что же им в таком случае нужно?

Искренне сочувствую Денису Викторовичу, который хотел бы одновременно и голосу своей либеральной совести следовать, и доказывать, что следовать ей уже нельзя, даже если очень хочется: эпоха другая, исторический поезд ушел. Ну, а если нельзя, то совесть, надо полагать, можно и успокоить, призвав себя и нас заняться изучением новых мировых реалий вкупе с изучением глубинной природы нашего «особого пути», не расходуя драгоценное время на такие пустяки, как российские выборы. Изучать, конечно, надо, но упраждать такое изучение априорными констатациями в духе Дениса Викторовича не очень полезно, по-моему, для самого изучения.

А в заключение хочу упомянуть о законе граблей, по которому живет российская элита. Даже если российское общество нас не поддержит в наших либеральных мечтаниях, то эти ребята, сидящие на правящей ветке и не желающие с нее слезать, сами подорвут нынешнюю систему. Сегодня лучшая команда минеров на поле — это наши два лидера. Дмитрий Анатольевич своей модернизационной риторикой и повторением, что все плохо, только раскачивает путинскую вертикаль и стабильность, заставляя даже верных путинцев задуматься о том, кто же все-таки виноват, что все так плохо. А присутствие на сцене национального лидера, который не упускает случая напомнить, что он в стране главный, делегитимирует медведевское президентство.

С выборами — та же ситуация. Их фальсификация, как говорил Дмитрий Орешкин, может стать бомбой замедленного действия, способной взорвать всю систему персоналистской власти. Потому что массовая фальсификация демонстрирует стране, что власть в себе не уверена, неустойчива и не в состоянии удерживать ситуацию легитимными средствами.

Если манипуляция выборами окажется недостаточной для того, чтобы нынешний правящий класс сохранил свою власть, то он может решиться перейти к репрессивному механизму самосохранения. Но этот путь, о чём коллеги уже говорили, может лишь ускорить падение системы.

Денис ДРАГУНСКИЙ:

«Надо бороться за честные выборы, но нельзя считать, что они установят в России демократию европейского образца»

Нужно развести два понятия: мы убежденные либералы, но мы вместе с тем политические аналитики. Наши либеральные убеждения не должны закрывать для нас возможности анализа, исследования. А исследование должно быть смелым.

Да, мне нравится европейская демократия (при всей условности понятия «европейская»). Но эти мои предпочтения не мешают мне сказать, что у нас в России есть проблемы с социокультурной матрицей для построения европейской демократии.

Надо ли бороться за демократию и за элементарную политическую порядочность, за честные выборы? Надо! Можно ли считать, что честные выборы установят в России демократию милого моему сердцу европейского — хоть британского, хоть французского — образца? Нет, нельзя так считать! Считать нельзя, а бороться надо. Вот такая «загогулина», вечное противоречие исследователя и политика.

Что касается мобилизации и массовых репрессий, согласен: ресурсов на это нет. Мобилизация с массовыми репрессиями может быть, когда можно создать заводы, на которых работают по 100 тыс. человек. Репрессии в наше время могут быть точечные, по отдельным активистам, демонстрантам, оппозиционерам. Можно арестовать много таких активистов, можно начать «массовый точечный террор», но ответом на него станет полный обвал системы.

Игорь КЛЯМКИН:

Здесь у вас с Лилией Федоровной совпадение. Даже дословное.

Кирилл РОГОВ:

«Сегодня мы имеем нечто похожее на то, что происходило во времена перестройки»

И все же у Путина нет другого пути, кроме ужесточения режима. К более мягкому, чем сейчас, варианту он просто не готов. Но ужесточение режима возможно лишь в случае, если общество удастся предварительно запугать. Такой испуг станет и политической платформой, и рычагом мобилизации.

Парадокс, однако, в том, что ресурсов для проведения сколько-нибудь долговременной агрессивной политики и в самом деле сегодня у власти нет. И в Кремле, думаю, это тоже понимают.

Тут как в экономике. Когда падает цена на нефть, то, кроме снижения доходов, возникает еще и проблема давления на рубль плюс сокращение внешнего кредита. В итоге — тройной шок. Так и здесь: когда расползается массовая поддержка режима, параллельно сокращаются ресурсы управления и сама управляемость элит и аппарата. Результат — все тот же тройной шок. Управляемость падает как раз в тот момент, когда она необходима для отражения новой угрозы.

Можно сказать, что в данном отношении имеет место нечто похожее на то, что происходило во времена перестройки. Не в том смысле, в котором Горбачев проводил ее сознательно, а в том смысле, как она развивалась стихийно. Слабость в одном элементе системы вызывает цепную реакцию. И, как следствие, обуславливает вероятность полного паралича.

Игорь КЛЯМКИН:

«Наши выборы — закономерный результат имитации исторического движения при параличе двигательных органов»

Хочу выразить всем благодарность за интересную дискуссию. И в первую очередь — нашим докладчикам за очень информативные и содержательные сообщения.

Общий вывод, который напрашивается после этого обсуждения, представляется очевидным. Это вывод о том, что государственная система находится в состоянии разложения и гниения. Именно об этом свидетельствуют выборы, состоявшиеся 11 октября. Ответ на вызовы, данный в тот день правящей партией, не что иное, как реакция гниющего политического организма.

При этом сложившееся положение вещей осознается, судя по всему, как наверху, так и внизу. Наверху это проявилось в первые послевыборные дни в поведении лидеров «Единой России», в «жириновизации» их риторики и стилистики. А настроения «низов» фиксируются в данных социологов, которые показывают, что население все больше от гниющей системы отстраняется.

Что из всего этого следует? Из этого следует, что путинская система, созданная при благоприятной экономической конъюнктуре и способная в таких условиях обеспечивать свое самовыживание, оказывается уязвимой в ситуации, когда задача выживания становится одновременно и задачей изменения. На эту новую ситуацию система реагирует модернизационной риторикой. Лидеры страны понимают: выжить — значит модернизироваться. Но если это не получается, а легитимность хочется сохранять и укреплять, то ответом и становится то, что произошло на выборах.

И тут историческая ловушка, потому что для поддержания легитимности необходимо искусственно повышать уровень электоральной поддержки, демонстрируя ее постоянный рост, а это ведет не к модернизации, а к еще большей архаизации и деградации государственных институтов. Рассчитывать, что в таком состоянии они смогут обеспечить условия для модернизации экономической и технологической, было бы слишком уж опрометчиво. Но властям ничего не остается, как демонстрировать веру в то, что невозможное возможно.

Я не вижу сегодня никакого резона в том, чтобы обсуждать происходящее внутри правящего тандема. Не могу принять и интерпретацию самого факта существования такого тандема в смысле наличия у нас разделения властей. Это не разделение властей, а разделение функций внутри неразделенной монопольной власти. При этом одна функция (поддержания статус-кво) реальная, а вторая (реформаторско-модернизаторская) — сугубо пропагандистская. Такое «разделение властей» не в состоянии обойтись и без фальсификаций выборов. Потому что выборы нефальсифицированные ведут к разделению властей без кавычек.

Стратегический выход из сложившейся ситуации может быть только один — глубокое преобразование политической системы, введение в нее реального конкурентного начала. Другой вариант, о котором здесь упоминалось, а именно вариант экономико-технологической модернизации мобилизационного типа, в условиях постиндустриальной эпохи заведомо бесперспективен, на что некоторые выступавшие тоже справедливо указывали. А третьего варианта попросту не существует. Третий вариант — это имитация исторического движения при параличе двигательных органов.

Несколько слов по поводу полемики между Денисом Драгунским и Лилией Шевцовой. Конечно, Денис Викторович прав в том, что наши проблемы нужно обсуждать с учетом мировой ситуации и ее эволюции. Но тут есть опасность растворения этих проблем в этой мировой ситуации, в этих глобальных тенденциях.

Ведь что получается? Получается, что если в западных странах с теми же выборами тоже не все в порядке, то нам наши выборы всерьез и обсуждать ни к чему: везде ведь так, а потому надо думать о более важных и серьезных вещах. Но это, как справедливо заметила Лилия Федоровна, логика кремлевских политологов: мол, идеальной демократии нигде нет, у нас с ней дело обстоит, как и у всех, а в чем-то даже лучше, чем у других. Конечно, Денис Викторович оговаривается, что у нас не лучше, а много хуже, но своим общим умонастроением он невольно встраивается в их ряды, чего, на мой взгляд, нам бы делать не стоило.

Да, есть мировые тренды и мировые вызовы. Однако у нас мировое накладывается на специфику нашего внутреннего, которое от мирового (если, вслед

за Денисом Викторовичем, понимать под ним тенденции в странах Запада) существенно отличается. Поэтому и проблемы перед нами стоят другие. Это проблемы страны, застрявшей на исторической стадии, которая для развитых стран давно в прошлом. У них проблемы, связанные с эффективностью их демократических институтов, а у нас — проблемы, проистекающие из отсутствия таких институтов.

Правда, Денис Викторович полагает, что они в России и не могут возникнуть: в эпоху постмодерна, убежден он, нельзя создать демократию европейского типа, возникшую в эпоху модерна. Но бороться за нее он тем не менее хочет, и я бы пожелал ему успеха, если бы он сам такой успех аналитически смеял не объявил недостижимым. Хочу только заметить, что интеллектуал в отличие от политика может за что-то бороться только как интеллектуал, т.е. своей мыслью, и если он что-то провозглашает невозможным, то он борется не за это «что-то», а против него.

Впрочем, институт свободных и честных выборов, тоже вроде бы имеющий какое-то отношение к европейской демократии, Драгунский, если я правильно его понял, считает для России не только желательным, но и возможным. Однако, по его мнению, даже такие выборы не приведут в ней к демократии. А к чему именно они приведут, когда появятся, он предлагает нам изучать, одновременно борясь за демократию, которая объявляется недостижимой до всякого изучения.

Думаю, что такое новое упреждающее и смелое мышление, сосредоточившись на завтрашних проблемах, уведет себя от проблем сегодняшних. А вместе с этим уведет и от каких-либо реальных проблем вообще. Потому что завтрашние проблемы обозначатся сколько-нибудь содержательно и конкретно только после того, как сегодняшние станут вчерашними.

Коли уж нормальные выборы желательны и возможны, то надо бы, по-моему, сосредоточить усилия на том, чтобы помочь этой возможности превратиться в действительность. Это не такая уж простая задача — не только политическая, но и интеллектуальная, чтобы отодвигаться от нее в будущее и рассуждать о том, что будет, когда она решится. Да и решится ли, если наша мысль будет от нее отстраняться?

По-моему, под видом нового и смелого мышления нам предлагается расходительная тратка интеллектуальной энергии. Вполне допускаю, разумеется, что я что-то недопонял. В таком случае Денис Викторович, надеюсь, мне объяснит. Но не сегодня, а в следующий раз.

Еще раз всех благодарю.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ДЕМОКРАТИЯ (российский и польский взгляд)

Евгений ЯСИН (президент фонда «Либеральная миссия»):

Дорогие друзья, позвольте открыть нашу встречу¹. Она организована «Либеральной миссией» совместно с Высшей школой экономики и польским фондом «Пресс-центр для стран Центральной и Восточной Европы» при содействии посольства Польши в России. Спасибо всем, кто помог нам здесь сегодня собраться.

Тема, которую предлагается обсудить, для России более чем актуальна. Демократия, начавшая было утверждаться в стране во многом благодаря активности демократической интеллигенции, фактически свернута. И, мне кажется, пришло время разобраться, почему так произошло и есть ли тут вина самой интеллигенции.

В Польше, как мы знаем, такого отката не было. Однако и польские либеральные интеллектуалы после прихода к власти братьев Качинских стали испытывать тревогу, о чём я могу, в частности, судить по выступлению присутствующего здесь Адама Михника на недавних Ходорковских чтениях в Москве. Это говорит о том, что, при всех различиях посткоммунистической эволюции наших стран (Польша все-таки в НАТО и Евросоюзе), между ними сохраняется и что-то общее. И это, как мне кажется, предвещает содержательный разговор.

Нам очень интересен опыт польских интеллектуалов в отстаивании либеральных и демократических ценностей, причем не только нынешний, но и прошлый, т.е. опыт конца 1980-х — начала 1990-х годов. Потому что значительную часть пути к демократии, которую Польша прошла еще в те годы, России только предстоит пройти. Во всяком случае, я надеюсь, что предстоит. Какую же роль в этом может сыграть российская либеральная интеллигенция? Какие уроки должна она извлечь из неудач? Следует ли ей сотрудничать с не-демократической властью на предлагаемых той условиях, как считает часть либеральных интеллектуалов, или находиться в жесткой оппозиции этой власти, как полагают другие? Что должно доминировать в ее поведении при сложившихся обстоятельствах — pragmatism или идеализм?

Это то, что волнует нас. Уверен, что у польских коллег есть свои вопросы, которые они хотели бы с нами обсудить. Я уверен и в том, что российским участникам будут интересны волнующие наших друзей проблемы, причем независимо от того, насколько совпадают они с проблемами, которыми озабочены интеллектуалы в России.

На этом я свое вступительное слово завершаю. Более конкретно о том, ради чего мы здесь собирались, скажет Игорь Моисеевич Клямкин, который непосредственно занимался организацией нашей встречи.

¹ Дискуссия проходила в декабре 2008 г.

Игорь КЛЯМКИН (вице-президент фонда «Либеральная миссия»):

Евгений Григорьевич уже сформулировал основные вопросы, которые нам хотелось обсудить с польскими и российскими коллегами. У меня есть некоторые дополнения к сказанному им. Прежде всего по поводу актуальности для нас такого обсуждения.

Она обусловлена тем, что независимые либерально-демократические политические силы в России либо разгромлены, либо маргинализированы. Отсутствует сегодня в стране и либерально-демократическая интеллектуальная оппозиция снятой стратегической альтернативой сложившейся в стране политической системе и проводимому властями курсу. Если идеологи имперско-державной ориентации выдвигают проект за проектом и пытаются создать старо-новый язык, который общество готово было бы воспринимать (и в этом они немало преуспели), то на либеральном интеллектуальном фланге ничего такого не наблюдается. К тому же сам этот фланг раздроблен на множество групп и группок, причем все больше людей ищут и находят возможность прислониться к авторитарной власти.

Все это и сообщает актуальность вынесенной на обсуждение темы. Конечно, пригласив польских коллег, мы не ждем от них конкретных советов. Прежде всего мы хотим сами разобраться в том, что с нами происходит. Вряд ли гости из Польши смогут поделиться с нами и каким-то своим современным опытом, который мы могли бы непосредственно использовать. Разумеется, нам очень интересно узнать, как либеральная польская интеллигенция противостояла, причем небезуспешно, тем традиционалистским политическим тенденциям, которые олицетворялись братьями Качинскими в пору их совместного двухлетнего управления страной. Но это нам мало чем поможет, так как в Польше, о чём Евгений Григорьевич уже упоминал, совсем другая политическая система, другие суды, другие выборы, другие СМИ. Однако именно этим различием, как ни покажется странным, обусловлен и наш интерес к деятельности польских либеральных интеллектуалов. Но не к нынешней, а к прошлой.

Демократическая политическая система утвердила в Польше во многом благодаря этой деятельности. В России же такая система не утвердила, выполнить свою историческую миссию интеллигенции здесь не удалось. И вопрос в том почему. В этом мы и хотим разобраться с помощью польских коллег.

Внешне все было очень похоже. Польские интеллектуалы, как и российские, пережили период увлечения идеей «социализма с человеческим лицом». Потом в обеих странах ее изжили, на смену идеи хорошего и правильного социализма пришли идеи рынка и демократии. И интеллигенция наших стран, транслировавшая эти идеи в общество, разрушавшая старый идеологический язык и вводившая новый, приобрела колossalное влияние, стала признанным лидером общественного мнения. А потом, после падения коммунизма,

идеологически опрокинутого интеллигентией, ее представители начали реформирование социалистической экономики. Бальцерович в Польше приступил к этому раньше, Гайдар в России несколько позже, но оба они пытались продвигать свои страны в одном направлении. Все вроде бы и в самом деле похоже, а результаты разные. И нам хотелось бы понять, насколько повинна в наших неудачах российская интеллигенция.

Понятно, что отчленить ее ответственность за происшедшее от ответственности политиков и общества в целом не так-то просто, если возможно вообще. Но это надо делать уже потому, что такая ответственность на российскую демократическую интеллигенцию сегодня возлагается. Она подвергается жесткой критике за то, что предприняла атаку на советскую систему, не имея никакой проработанной альтернативы ей, никакого стратегического плана преобразования страны. Здесь присутствует Лев Дмитриевич Гудков, который специализируется на критике интеллигенции, и вариант такой критики, уверен, он предложит нам и сегодня.

Вместе с тем в последнее время нашим незадачливым интеллектуалам все чаще противопоставляются интеллектуалы восточноевропейские, и прежде всего именно польские. Удачливость же их объясняется обычно тем, что они готовились к переменам заранее, что к моменту распада коммунистической системы они уже хорошо представляли себе, что и как нужно делать. Поэтому, мол, в Польше сегодня демократия, а в России — ее «суверенный» суррогат.

Естественно, что критика эта обращена не только в прошлое, но и в настоящее. По мере того как нарастили обвинения путинского режима со стороны некоторых либеральных интеллектуалов при полной невосприимчивости к этим обвинениям подавляющей части общества, начала нарастать и волна обвинений в адрес самих обвиняющих: вот, мол, опять одна только критика при отсутствии какой-либо позитивной альтернативы, что может людей лишь отталкивать. Так говорят и пишут не только те, кто считает демократию для России чужеродной. Так говорят и пишут уже и некоторые интеллектуалы, которые мировоззренчески идентифицируют себя с либерализмом и демократией.

Вот почему нам чрезвычайно интересен опыт польской интеллигенции 1980-х годов. Нам важно понять, почему у нее получилось то, что у российской интеллигенции не получилось. Важно не только для оценки прошлого, но и для извлечения из него уроков на будущее.

Поэтому мы предлагаем роль польской и российской интеллигенции в период демонтажа коммунистических режимов обсудить отдельно. Мы договорились со всеми основными докладчиками, что начнем обсуждение с анализа прошлого. При этом каждый решал сам, какой период он будет рассматривать. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать. Возвращаю микрофон Евгению Григорьевичу.

Евгений ЯСИН:

Первое слово я предоставляю Адаму Михнику. Представлять же его самому, думаю, нет необходимости. Он широко известен не только в России, но и в мире как одна из ключевых фигур польского демократического движения 1980-х, как один из интеллектуальных лидеров «Солидарности».

Игорь КЛЯМКИН:

И еще как русофил-антисоветчик...

Евгений ЯСИН:

Да, так он сам себя называет. Пожалуйста, Адам. Какой видится вам сегодня роль польской интеллигенции в демонтаже коммунистической системы?

Интеллектуалы против коммунизма

Адам МИХНИК (польский общественный деятель, главный редактор «Газеты Выборчей»):

«Если широкие слои интеллигенции переходят в антисистемную оппозицию, то это значит, что система исторически обречена»

Когда я первый раз приехал в Москву — это был 1989 год, — кто-то из российских журналистов подарил мне книгу «Крах операции "Полония"». В этой книге я прочитал о себе, что Адам Михник — один из лидеров «центра польской контрреволюции». И я тогда подумал, что никогда в жизни не получал такого шикарного комплимента. Меня и моего близкого друга, покойного Яцека Куроня, считали в Москве чуть ли не самыми страшными людьми. И в Варшаве, разумеется, тоже. Поэтому генерал Ярузельский, тогдашний польский руководитель, и держал нас в тюрьме. А теперь он очень часто говорит: «Адам, если бы я знал, как потом все повернется, я бы тебя в тюрьме не держал». Но он, к сожалению, не знал.

Меня попросили рассказать о роли польской интеллигенции в демонтаже коммунистической системы. Надо сказать, что в той системе этот слой занимал особое положение. Сталин называл его представителей «инженерами человеческих душ». Да, они были одним из главных объектов репрессий, причем очень жестоких. Но, с другой стороны, власть постоянно использовала их для укрепления системы. Ни одна общественная группа не была объектом такого заигрывания и кокетства, ни одна, кроме коммунистической номенклатуры, не имела таких привилегий, как интеллигенция. Конечно, модель этих отношений была создана в Советском Союзе, но Польша ее тоже хорошо освоила.

Когда же обруч сталинизма лопнул и террор прекратился, польская интеллигенция была первой, кто начал подавать голос протesta. В отличие от дру-

тих групп населения, она умела говорить, и она заговорила. 1956 год, когда все это началось (так называемый польский Октябрь), — эхо десталинизации Советского Союза и доклада Хрущева на XX съезде КПСС. Причем давление на власть стали оказывать прежде всего интеллигенты, состоявшие в Коммунистической партии, взбунтовавшиеся коммунисты. Иными словами, протест шел у нас изнутри системы. Это были люди, которые критиковали ее с позиций социалистического идеала, о чем Игорь Клямкин уже говорил. Это были люди, верившие в перспективу демократического социализма, «социализма с человеческим лицом».

Вместе с тем 1956 год дал возможность появиться на легальной сцене еще одной категории интеллигентов, которых можно назвать либеральными католиками. Католическая церковь в Польше после 1956 года стала своего рода государством в государстве. Или, точнее, суверенным государством в несуверенном государстве. И благодаря тому что церковь обрела такую силу, появилось место и для тех кругов, которых я называю либеральными католиками. В частности, возникло такое образование, как Клуб католической интелигенции. Я его выделяю, потому что люди, входившие в него, впоследствии сыграли огромную роль в формировании польской демократической оппозиции.

Период между 1956 и 1968 годами — это период перманентной борьбы власти и интелигенции. Эта борьба стала возможной как потому, что власть отказалась от методов сталинской диктатуры, так и потому, что появилось первое поколение (моё поколение), которое не жило в страхе, которое не помнило ни войны, ни сталинского террора. Мы формировались уже после 1956 года, прививки страха не получив.

И наконец, была еще польская эмиграция в свободную Европу. Эмиграция, которая самим фактом своего существования свидетельствовала о том, что люди начинали терять веру в возможность реформирования коммунистической системы, веру в добрый социализм. И в самой Польше таких людей становилось все меньше. После 1968 года, ознаменовавшегося разгромом «пражской весны», мы в своем кругу обсуждали уже другие вопросы. Мы дискутировали о том, каким образом защищаться от коммунизма, как создавать свое собственное пространство, где мы могли бы говорить собственным голосом, который не глушится цензурными и административными глушилками.

Интеллигенты стали оппозицией власти. Использовать их как свой рупор она уже не могла. Но переход широких слоев интелигенции в антисистемную оппозицию означал, что система исторически обречена. При отсутствии лояльности со стороны образованных групп общества государство долго существовать не может. А такая лояльность оставалась в прошлом. Если в 1940-е годы выдающиеся писатели и ученые поддерживали власть из идейных соображений, то в конце 1960-х ничего подобного быть уже не могло. И потому, что

идея выдохлась, и потому, что такая поддержка осуждалась общественным мнением. Оно допускало сотрудничество с системой только при условии, что человек, находясь внутри нее, выполняет поручения власти таким образом, что это работает не на власть, а против нее. Например, я работаю в издательстве и знаю, что обязан издавать столько-то советских книг. И я их издаю. Но я издаю Трифонова, Окуджаву, Владимира, Войновича, Аксенова. Таких писателей, которые вроде бы советские, но только потому, что они проживают в Советском Союзе, а духовно они свободные писатели.

Власти не знали, что им делать с интеллигенцией. От кнута они отказались, а их пряники уже почти никого не соблазняли.

В определенные моменты интеллектуалы становились голосом общества, которому заткнули рот. Это, разумеется, вызывало раздражение «верхов». В какой нормальной стране возможно, чтобы вполне лояльное письмо тридцати писателей и ученых вызвало скандал на уровне высшего руководства, в нашем случае — на уровне Политбюро ЦК? А в Польше это так и было. Но, опять же, власть не знала, что с этим делать. Она пыталась вернуть доверие интеллигенции, расширяя пространство официально дозволенного, но интеллигенция использовала это пространство так, как считала нужным. И одновременно создавала новые собственные ниши для оппозиционной деятельности.

Например, до Польши дошло известие из Советского Союза о существовании там самиздата. Помню, что в моей среде люди испытали даже чувство стыда: в России самиздат, а у нас — нет! И наши эмигранты, издававшие за рубежом свободные польские издания, стыдили нас. «Как это так, — говорил мне один из них, — я получаю машинопись из России (речь шла о Терце и Аржаке, т.е. о Синявском и Даниэле), а из Польши — ничего!» И это влияло на нас чрезвычайно стимулирующим образом. Пример российского самиздата показал нам, что наряду с официальной прессой, прессой католической и эмигрантской могут быть и другие ниши, которые могут и должны быть использованы.

Нельзя не сказать и о новых явлениях в польской культуре того времени. Возникает молодой театр со своим особым языком, позволяющим обходить цензуру и создавать публичное поле оппозиционной коммуникации между актерами и зрительным залом. Возникает новое кино, не имеющее ничего общего с коммунистической идеологией. Кино, как его у нас называли, нравственной обеспокоенности. Об этом, наверное, будет говорить присутствующий здесь Кшиштоф Занусси, который был одним из лидеров новой волны. Возникают новая поэзия и проза. Короче говоря, появляется целая область в культуре, совершенно не контролируемая официальной идеологией и ей противостоящая. Это свидетельствовало о силе интеллигенции, но очевидной была и ее слабость. Мы умели создавать острова альтернативного об-

щества, но в противостоянии с властями были бессильны — в том смысле, что не могли ее ни к чему вынудить.

А в 1970 году, когда начались рабочие выступления на нашем балтийском побережье (в Гданьске, в Щодзине), интеллигенция осталась в стороне. Она молчала. Потому что в 1968-м власти, напуганные событиями в Чехословакии, учинили погром интеллигентии. Ее заставили замолчать. Ее сломали, ей, можно сказать, повредили позвоночник. И поддержать протестующих рабочих она не решилась.

Понадобилось несколько лет, чтобы интеллигенция встряхнулась, чтобы освободилась от травмы, нанесенной этим погромом. И она освободилась. Когда в 1976-м начались новые выступления рабочих — на этот раз под Варшавой, в Радоме и в Урсусе, из интеллигентской среды вышел новый проект. Возник Комитет защиты рабочих. И это стало переломным моментом. Не потому, что Комитет был столь важным, но потому, что он стал сигналом и символом. Три десятка человек, входивших в него, не бог весть какая сила в сравнении с силой государства и его репрессивных структур. Но Комитет стал немедленно «раскручиваться» радиостанцией «Свободная Европа», что способствовало формированию оппозиционной идентификации в широких слоях польской интеллигенции.

И было еще одно событие, значение которого трудно переоценить. В октябре 1978-го мы услышали по радио, что польский интеллектуал — актер, ксендз и бывший рабочий (потому что во время войны он был рабочим) — стал главой Римской католической церкви, стал папой. Это событие трудно переоценить, потому что оно открыло возможность легально идентифицировать себя с иной, некоммунистической Польшей и с иной польскостью. Отныне патриотический шантаж, которым пользовались коммунисты, умело разыгрывая антинемецкую карту (мол, сохранение за Польшей западных земель гарантировалось советскими войсками), перестает действовать. У нас появляется «своя» Польша, королем которой является Иоанн Павел II — интеллектуал, католик, поляк. Петр Скшинецкий, возглавлявший в Варшаве кабаре «Подвал под барабанами», вышел, как гласит легенда, на рыночную площадь и в состоянии, указывающем на то, что было принято много на грудь, вскричал: «Наконец-то польский рабочий чего-то достиг!»

После этого в Польше исчез страх. А власть совсем уж растерялась — она не знала, как ей с таким обществом сосуществовать и как им управлять...

Евгений ЯСИН:

Да, это все же другая атмосфера, не та, что была в Советском Союзе. У нас не было ни такой церкви, как в Польше, ни фактора Иоанна Павла II, ни массовых рабочих протестов, ни попыток интеллигенции нашупать контакты с широкими слоями населения...

Adam MICHNIK:

А у нас все это было. И когда в августе 1980 года вспыхнула забастовка на Гданьской судоверфи, которой руководили люди из Комитета защиты рабочих (они выступали в роли советников), мир увидел новую Польшу. Забастовка распространилась на всю страну. Это было неслыханно: профсоюзы демонстрировали независимость от власти, от Коммунистической партии! И если бастующие рабочие требовали смягчения или отмены цензуры, т.е. боролись за права интеллигентов, если на воротах верфи вывешивалась фотография Иоанна Павла II, а элементом протеста становилась месса во время забастовки, то это означало абсолютную делегитимацию коммунизма. Аргумент, что интеллигенты должны сидеть тихо, потому что власть в стране рабочая, пролетарская, столкновения с жизнью не выдержал. Пролетариат, объединившись в профсоюз «Солидарность», показал «своей» власти, что он говорит собственным, причем отнюдь не коммунистическим, языком.

13 декабря 1980 года генерал Ярузельский ввел в стране военное положение. И с того дня, вплоть до переломного 1989-го, в Польше существовали две нации, два народа. Был «официальный» народ, имевший свои учреждения, свои институции. И был второй народ — тот, который ассоциировал себя с «Солидарностью» и который с этим первым «народом» вообще не имел никаких контактов. У него была другая коллективная память, другая система ценностей, другой стиль жизни.

Что же делала в эти годы интеллигенция? Многие ее представители вели подпольную жизнь. Оттуда, из подполья, мы пытались влиять на атмосферу в стране. Мы читали сами и распространяли произведения Амальрика, Буковского, Войновича. Я уже не говорю о Сахарове и Солженицыне, что само собой разумеется. Присутствующий здесь Ежи Помяновский (прекрасный критик, писатель и великий посол русской литературы в Польше), живя в Италии, перевел две очень важные книги Солженицына, а мы эти переводы нелегально размножали. Мы издавали в подполье чехов — Кундеру, Гавела, Храбола, издавали и венгров. Это было распространение независимой культуры, альтернативной официальной, и ни один уважающий себя интеллигент без такой литературы, выходившей в издательствах так называемого второго круга, обойтись не мог. Он участвовал в этой «иной» жизни хотя бы для того, чтобы продолжать чувствовать себя интеллигентом.

Когда же в СССР началась перестройка, когда стало ясно, что Москва в наши дела вмешиваться не будет, польская коммунистическая власть оказалась в идеологическом и политическом вакууме. И она вынуждена была пойти на диалог с обществом. А общество было подготовлено к такому диалогу предшествующими десятилетиями. И польская демократическая интеллигенция хорошо представляла себе, какое государство должно возникнуть на месте государства коммунистического. Судить же достоверно о том, насколько пред-

тавляла это себе интелигенция российская, я не берусь. Есть вопросы, на которые вы можете ответить себе только сами. Это не тот случай, когда со стороны виднее.

Замечу лишь, что ваша задача изначально осложнялась стремлением Горбачева ввести демократию, как он ее понимал, на территории всей советской империи. Это было невозможно в принципе, и какие бы альтернативные проекты реформирования СССР и его превращения в демократическую страну вы тогда ни предлагали, шансов на осуществление они не имели. Понятно, что польские интеллектуалы таких проблем в то время не знали.

Евгений ЯСИН:

Но и после того, как СССР распался — тоже, кстати, не без участия интелигенции — и Россия стала самостоятельным государством, демократии у нас не получилось...

Адам МИХНИК:

Вот и интересно узнать, в чем вы видите сегодня причины этого. Мы же в 1989 году на Круглом столе власти и оппозиции добились проведения свободных выборов. И был великий исторический успех: коммунисты проиграли, а мы — выиграли. С тех пор в Польше начался процесс системной трансформации.

С точки зрения интеллигента, произошло чудо. У нас свобода, нет цензуры, можно ездить куда хочешь, можно писать все, что хочешь, и говорить все, что думаешь. И у власти лидеры «Солидарности», выбранные на свободных выборах. Но тогда же начались и сложности. Рациональный анализ заставлял поддерживать рыночные экономические реформы Бальцеровича. Но эти реформы вели к разрушению этоса «Солидарности», который был выстроен на философии справедливости. Они вызвали к жизни конкуренцию, когда кто-то должен выиграть, а кто-то проиграть. А среди проигравших оказывалась прежде всего та часть рабочего класса, которая была занята на больших предприятиях, продукция которых в рыночных условиях нередко становилась никому не нужной.

Представьте себе предприятие, которое производило, скажем, бюсты Ленина. Люди там хорошо работали и порой неплохо зарабатывали, многие из них даже получали награды и премии за рационализаторские предложения. Потому что у этих бюстов был гарантированный покупатель. Ведь каждый партийный и комсомольский секретарь должен был иметь на письменном столе такой бюст. И вот спрос на этот продукт пропадает. Хорошо, если фабрика, его производившая, сумеет модернизироваться. Например, бюсты Иоанна Павла II начнет выпускать или что-то еще. Ну а если не сумеет, то, значит, она приговорена к тому, чтобы обанкротиться. И рабочие, занятые на ней, говорят: «Что же нам устроили эти интеллигенты? Ведь мы своими за-

бастовками обрушили коммунистический режим. Ведь мы были единственной силой, которую эта власть боялась. Без нас интеллигенция ничего бы не сделала, а теперь ее представители ездят в Париж, они стали королями, а мы получили безработицу!» Я, конечно, несколько огрубляю, но, по сути, все примерно так и выглядело.

Но и большинство интеллигенции испытalo разочарование. Особенно те ее представители, которые активно участвовали в политике. Потому что для интеллигента политика являлась нравственным выбором. Он шел в нее, чтобы противопоставить правду официальной лжи, твердость убеждений — официальной беспринципности. Но профессиональная политика даже при демократии с нравственностью полностью не совпадает, а порой очень сильно от нее отличается. Избранные в парламент — это, как правило, не самые благородные, а те, кто умеет лучше других говорить по телевизору, или те, у кого есть деньги на плакаты. И интеллигенты вскоре начали чувствовать себя маргиналами, воспринимавшимися новой властью как помеха.

А что происходило в области культуры? Если при коммунизме проблемой была цензура, то теперь произошло размытие критериев, когда в потоке информации людям трудно отличать то, что представляет собой культурную ценность, от того, что является интеллектуальным и художественным нулем. Кроме того, рыночные отношения принесли в культуру диктатуру денег. При ней издать на польском языке, скажем, Иммануила Канта гораздо труднее, чем Конан Дойля или Сименона. Потому что на этих авторов есть большой рыночный спрос, несопоставимый со спросом на Канта.

Как эта новая ситуация сказывается на польской культуре? Думаю, не лучшим образом. Возможно, мои друзья со мной не согласятся, но я считаю, что за последние двадцать лет в нашей культуре не создано столь замечательных произведений, какие были созданы в коммунистическое время. Если же такие произведения сегодня и появляются, то и они, как правило, созданы теми деятелями, которые сформировались еще в эпоху коммунизма.

Что из всего этого следует? Из этого следует, что интеллигенции предстоит приложить усилия, чтобы обрести достойную ее роль в современной жизни. И не только в культурной, но и в общественной. Именно от нее в немалой степени зависит, будет ли Польша и другие посткоммунистические страны обречены на выбор, который я определяю как *выбор между Путиным и Берлускони*. Интеллигенция должна предложить другой проект, противостоящий и путинизму, и берлусконизму.

Возможно ли это? Могут ли интеллектуалы повлиять на общество? Я считаю, что могут. Мы в Польше два года имели власть, которая, по моему убеждению, была аналогом той политической модели, которую реализует Владимир Владимирович Путин. Лозунги у нас были другие: русофobia, германофobia, антикоммунизм дикий, но проект государства был тот же самый. И вот

в определенный момент, когда польская власть выступила с идеей люстрационного закона, чреватой терроризированием интеллигенции на ближайшие десять лет, интеллигенция сказала: «Нет». Преподаватели университетов, журналисты заявили: «Нет, мы этого не хотим и отказываем вам в послушании». И их протест был в обществе услышен, после чего и началось политическое падение братьев Качинских.

Оказалось, что мы вовсе не обречены на путинизм, что с ним можно эффективно бороться. Это, правда, требует не только решимости, но и терпения. А терпение, к сожалению, никогда не было достоинством интеллигенции.

Евгений ЯСИН:

Спасибо большое. Адам, как вы заметили, рассказал нам не только о том, что делала польская интеллигенция в коммунистической системе и как ей противостояла, но и о том, с какими проблемами эта интеллигенция столкнулась после падения коммунизма и сталкивается сейчас. Наверное, нам не удастся расчленить разговор о прошлом и настоящем, как мы первоначально планировали. Я не стану возражать, если и другие выступающие не будут в данном отношении очень уж щепетильными.

Слушая Адама, я вспомнил мысль одного из известных социологов (кажется, Парсонса) о том, что культура — это создание образцов. Но так как культура формируется во многом благодаря интеллигенции, то можно сказать, что интеллигенция производит образцы. Почему я об этом говорю? Потому что, когда интеллигенция переносит создаваемые ею культурные образцы в политику, результатом чего становятся политические и социально-экономические изменения, эти изменения неизбежно отличаются от задававшихся образцов. Вот и польская посткоммунистическая реальность оказалась отнюдь не столь «образцовой», какой она представлялась Адаму и его друзьям.

Такие отличия мы наблюдали и в нашей стране, развитие событий в которой в конце 1980-х годов в какой-то степени все же было похожим на происходившее в Польше. Совпадения реальной демократизации советской системы и демократизации в представлении Андрея Дмитриевича Сахарова, например, не было и здесь. Но со временем разрыв между образцами (целями, идеалами, образами будущего) и их воплощениями становился в России несопоставимо большим, чем в Польше. То, чего добились польские интеллектуалы, российским добиться не удалось. И я вслед за Игорем Клямкиным призываю российских участников нашей встречи поразмышлять о том, почему так произошло. Правомерно ли искать причину этого в различии самих образцов, задававшихся интеллектуалами наших стран? Или дело в чем-то другом?

Не знаю, захочет ли размышлять об этом Сергей Адамович Ковалев, биография которого во многом похожа на биографию Адама Михника, но я, предоставив ему слово, хотел бы на это надеяться.

Сергей КОВАЛЕВ (председатель Российского общества «Мемориал»):

«Если "политические идеалисты" моего поколения на скорые перемены не рассчитывали, то "неформалы" 1980-х уже ориентировались в своей деятельности на определенные результаты»

Меня просили, чтобы я говорил о периоде с 1985 до 1993 года. Но я не уверен, что сумею рассказать строго именно об этом периоде достаточно компетентно. Мне показалось неизбежным сильно выходить за эти временные рамки в обе стороны. Так я и буду поступать. Пример Адама Михника позволяет мне надеяться, что из этого что-то получится.

Евгений ЯСИН:

Что вас простят...

Сергей КОВАЛЕВ:

Надеюсь, простят. Но начну все-таки с середины 1980-х, чтобы дать оценку перестройке.

Тогда впервые за весь советский период истории высшие партийные иерархи — команда М.С. Горбачева — рискнули трезво и непредвзято взглянуть на ситуацию, в которой оказалась страна. Ресурсы, растратченные наbasнословно дорогое оружие, — и безнадежно проигранная гонка вооружений; потуги удержать разваливающийся лагерь сателлитов, интриги, дорогие подачки жадным, вероломным «друзьям» из стран третьего мира — и растущая международная изоляция. А внутри страны речь шла не о кризисе, но о преддверии настоящего коллапса — экономического, военного, политического. О нравственности я уже не говорю.

Стало ясно, что СССР не в силах сам найти пути к спасению, что конфронтация с Западом ведет все глубже в пропасть, что надлежит искать партнерство. Но этим поискам непреодолимо препятствовала структура власти, специально приспособленная к жесткому диктату внутри страны и жесткой конфронтации вовне. Вот почему «архитекторы перестройки» даже и не пытались сразу начать реформацию страны. Им было не до того. Они хотели прежде реформировать партию и сделать КПСС человекообразной. Во всяком случае, чуть более динамичной, способной хоть как-то отвечать на острые вызовы быстро меняющегося мира. Такой, чтобы руководство страны перестало быть нелепым сборищем стариков, ничего не знающих и не желающих знать, ничего не умеющих, кроме обкомовских интриг и кадровых махинаций, ни к чему не стремящихся помимо самой власти и ее денежных атрибутов и почестей.

При этом реформаторы ни в малой мере не покушались на абсолютную власть КПСС. Напротив, именно эту власть с ее зловещими особенностями они и собирались использовать в обозримом будущем для преодоления весь-

ма плохо предсказуемых, но заведомо неизбежных и заведомо очень грозных трудностей и проблем. И первая такая трудность, обусловленная помимо предвидимого бешеного сопротивления принципиальной противоречивостью самой задачи, заключалась в том, чтобы преобразовать КПСС так, чтобы использовать ее небывалые властные возможности в целях, противных ее собственной природе.

Хотя Горбачев занимал высшую государственную позицию, нельзя было рассчитывать на долгое применение такой стратегии; возможно, задача была невыполнима в принципе. К тому же игры с КПСС были опасны: толпе аппаратчиков, хочешь не хочешь, предстояло бы исполнять вовсе не свойственную им (скорее отвратительно чуждую) работу. То были люди, отобранные суровой и сладкой партийной жизнью, при всей их дисциплинированности, люди ревнивые и завистливые, мастера интриги и саботажа, безжалостные друг к другу, особенно к бывшим лидерам, убежденно беспринципные и лживые, постоянно готовые к расчетливому перевороту, что и показал вскоре август 1991-го. Разумеется, М.С. Горбачев, А.Н. Яковлев и Э.А. Шеварднадзе все это отлично понимали.

Я не знаю, чем они руководствовались в своем выборе стратегии. Понятно, что хозяин страны, генеральный секретарь ЦК КПСС, не мог прокладывать свой курс вне партии и тем более открыто против партии. Но какие обязательства и соглашения были условием избрания Михаила Сергеевича, какие конкретно соображения определяли его первые решения и диапазон действий? Была ли это надежда, используя свой тактический талант, переиграть жестоких оппонентов, успев сделать необратимые шаги и упредив ответные удары? Или то была призрачная надежда убедить партию, склонить ее к ответственности и самоотверженности, заставить предпочесть аргументы *о благе страны* сиюминутным заботам *о себе*? Или надежда на просыпающуюся народную поддержку нового курса, способную сорвать партийный бунт (и мы помним решающую роль этого фактора, такого мощного и, увы, такого кратковременного)? Или просто упование на русский «авось»? А может быть, Михаил Сергеевич руководствовался своеобразно трансформированной максимой «делай что должно, и будь что будет», во что мне хотелось бы верить? Наконец, нельзя совсем исключить наивную веру в «социализм с человеческим лицом» и возрождение к жизни «коммунистических идеалов» или вынужденную имитацию такой веры.

Как бы то ни было, Горбачев, думаю, не видел тогда альтернативы своей парадоксальной попытке сделать ядро «империи зла», т.е. партию, упрямо загонявшую историю в тупик, движущей силой самого кардинального поворота Новой истории. Похоже, такой альтернативой тогда, в самом начале, были только кровь и хаос.

Однако выбор, сделанный Горбачевым, вовсе не был нравственно бесплатным для реформаторов...

Евгений ЯСИН:

Дорогой Сергей Адамович, мы все-таки собрались поговорить не о Михаиле Сергеевиче, а об интеллигенции. В том числе и об исторической роли таких людей, как вы, о роли интеллектуалов-диссидентов...

Сергей КОВАЛЕВ:

Роль интеллигенции, ее возможности реально влиять на развитие событий в значительной степени определялись в то время стратегией и тактикой Горбачева и его команды. А каковы были эти стратегия и тактика в отношении той же интеллигенции? Подчас не самые значительные эпизоды становятся наиболее выразительной и доступной иллюстрацией стиля эпохи, ибо то, что кажется маловажным, не подвергается обычно серьезной маскировке. Вот, например, один из таких эпизодов.

На 10 декабря 1987 года было назначено открытие международного семинара, посвященного правам человека. Инициаторами семинара выступила небольшая группа диссидентов, бывших заключенных. Год, как мы все хорошо помним, был уже весьма ярко «перестроенным». Были официально произнесены все главные лозунги реформации: о демократии, о гласности, о возвращении к «ленинским нормам». К тому времени уже вернули (в декабре 1986-го) из горьковской ссылки А.Д. Сахарова, в январе-феврале 1987-го освободили политических заключенных. Были и другие, нарочито демонстративные признаки «раскрепощения» общества.

И вот незадолго до семинара, в конце ноября, если я не ошибаюсь, в Политбюро ЦК КПСС была адресована докладная записка от двух ближайших единомышленников Горбачева, А.Н. Яковleva и Э.А. Шеварднадзе, а также двух других лиц, подписавших ее по должности, — генерального прокурора Рекунькова и председателя КГБ Чебрикова. Это был классический донос привычной формы в духе прежних советских реалий. Дескать, ничему не наученные тюремой отщепенцы взялись за старое и, несомненно, намерены обличить клеветой советскую власть. Иначе зачем же они собираются рассуждать о правах человека? Персонально были выделены Л.М. Тимофеев, С.И. Григорьянц, Л.И. Богораз и ваш покорный слуга; написано было «и другие», но и других этих было совсем немного.

Правда, имело место и важное отличие от советской классики. В конце доноса говорилось: было бы, мол, справедливо примерно наказать негодяев, да вот нельзя. Потому что прогрессивная общественность, наша опора во враждебном мире, пожалуй, не поймет этого и того и гляди может усомниться в демократическом характере нашей перестройки. Жаль, но нужны, значит, иные меры.

Их-то и приняли. Случайные дорожные происшествия, сорвавшие участие многих; странные синхронные аварии в трех арендованных залах (пожарная

опасность, тараканы, то да се) — подробности где-то описаны. Выручили бе-зотказные московские кухни. Худо-бедно семинар состоялся.

Странная история, если вдуматься! Два члена Политбюро сообщают своим коллегам, что какие-то бывшие зеки собираются о чем-то поговорить. Зачем бы это? Царское ли это дело, писать такие докладные? Что, жандармы не могли доложить в Политбюро все что следует? А дело, похоже, в том, что два «пеперестройщика», подписывая донос, проходили тест на верность, или, по-лагерному, «проверку на вшивость». Тем самым они говорили этому Политбюро, что «мы с вами одной крови». С тем чтобы уцелеть и продолжать против него же смертельно рискованную игру.

Если я прав в моем допущении об уже тогда вполне осознанных командой Горбачева ходах в такой игре, то отсюда следует, что команда эта рассчитывала только на себя: она могла искать прочное партнерство или временные союзы исключительно в собственной партийной среде. В полном соответствии с методами «реальной политики» (и вопреки собственным долгосрочным целям!) она полагала неизбежным и остро необходимым, а значит, и вполне допустимым ради тактического обмана своих действительных противников бес-смысленно и лживо оскорбить добросовестных оппонентов...

Евгений ЯСИН:

А может быть, и возможных союзников в среде интеллигенции?

Сергей КОВАЛЕВ:

А может быть, в каких-то аспектах и потенциальных союзников. Мотивы же, которыми руководствовались лидеры перестройки, я и попытался понять. Вполне вероятно также, что помимо самозащиты целью этих лицемерных ру-гательств было удержать чью-то привычную карательную прыть. Но такие тактические игры, приносящие в жертву нравственность, даром не обходятся, за них рано или поздно приходится платить.

И вот здесь, по-моему, самое время резко обозначить противостояние так называемой *реальной политики* и *политического идеализма*. Противостояние, которое имело место не только в СССР времен Горбачева и имеет место не только в современной России. Это центральное, как я думаю, противоречие современности, определяющее глобальный нравственный и правовой кризис и настоятельно требующее разрешения.

Традиционными методами осуществления «реальной политики» на протяжении веков были лицемерие, обман, агрессивность, недоверие, закрытость, национальный эгоизм. Ее естественным продолжением хладнокровно призывалась война. Что и говорить, такими методами не приходилось гордиться, но и скрыть их было невозможно; они считались неизбежными, единственными и потому терпимыми, приемлемыми, даже обязательными. Поскольку

же для их эффективного применения требовалось общественное признание, давление *такой* государственной политики на общество, заметно подогревавшееся «патриотизмом», было чрезвычайно сильным. Вот почему ни сталинские миллионные жертвы, ни хамские декларации Гитлера, ни едкий позор Мюнхена, вопреки совести и здравому смыслу, не были восприняты в мире как смертельная угроза цивилизации, как вызов, требующий немедленного и самого жесткого ответа. Ведь такой ответ считался заведомо невозможным, а политика называется искусством возможного. И если так, то о чем же тогда речь?

Только однажды в истории было осознано, что это «искусство» зашло слишком далеко. Что «возможное» и «невозможное» должно зависеть, черт возьми, и от того, что мы по этому поводу думаем, что мы согласны допустить. И тогда, в середине XX века, всерьез показалось, что кровавый кошмар двух мировых войн, химическое и тем более ядерное оружие, Холокост и другие формы геноцида, вроде сталинских депортаций народов, наконец убедили мировое сообщество в жизненной необходимости строить принципиально иную политическую конструкцию мира. Конструкцию, основанную на новой политической парадигме.

Она сводится к весьма простым основным требованиям. Политика — искусство возможного? Прекрасно. Но эти «возможности» надлежит поставить под контроль, решительно ограничить, гарантированно исключив те обыденные политические приемы, которые привели мир к кошмару. *Право вне политики и над политикой* — вот принцип. Идеи этого круга приобрели название «нового политического мышления», к которому призывали А. Эйнштейн, Б. Рассел, А. Сахаров, М. Горбачев и многие другие, всякий по-своему. Этую концепцию по очевидным причинам, не требующим обоснования, я и называю «политическим идеализмом».

Преамбула Устава ООН и Всеобщая декларация прав человека представлялись в тот ключевой момент истории отчетливой точкой перелома мировой политической реальности, необратимым началом нравственного преобразования мира. Но не тут-то было.

Потребовались бы тома для подробного описания неопровергимых примеров циничного пренебрежения международного сообщества к собственным высокопарным заявлениям. Вспомним ковровые и атомные бомбардировки мирных городов; пол-Европы, отданной в рабство сталинской тирании; многие тысячи людей, выданных тому же Сталину в бессудную каторгу, а подчас и на смерть; политически обусловленные циничные отступления от фундаментальных принципов правосудия в Нюрнбергском трибунале, заметно снизившие эпохальное значение этого события. И это притом, что уже в самом начале войны против нацизма союзники провозгласили те самые лозунги свободы, человечности, права!

Можно было бы очень многое сказать о недостойном политическом лавировании в Совете Европы, в ОБСЕ, в комиссиях ООН, прямо противоречащем и упомянутым принципам, и уставным задачам этих важных органов. Это относится хоть к Чечне, хоть к Ближнему Востоку, хоть, например, к выборам в России, да и к иным острым проблемам.

В центре мировой политической конструкции по-прежнему амбиции и так называемые геополитические интересы государств. Самое скверное в том, что фундаментальные принципы права приспособила к делу, как свой рабочий инструмент, вполне традиционная политика. Принятые декларации отодвинуты в область ритуальной политической риторики и охотно используются «реальной политикой» ради имитаций. Но воплотить новую парадигму эта политика не способна в силу своей несовместимости с такой парадигмой.

Я говорю, заметьте, о политической практике устоявшихся представительных демократий, с их разделением независимых властей, «сдержками и противовесами», гражданским обществом, свободной прессой, прозрачной политической конкуренцией. И если даже в данном случае эта практика именно такова, то какой свободы политики от внеправовых влияний можно было ожидать в пост тоталитарной России?

Исходя из сказанного две вещи представляются мне теперь главными противоречивыми интенциями периода перестройки.

Первая — положительная. Повторю: впервые в советской истории Горбачев и его единомышленники были движимы чувством ответственности и стремлением руководствоваться приоритетами страны и окружающего мира. Впервые верхушка нашей власти намеревалась научиться сама и научить других действовать в рамках права, демократии, цивилизованной политики, пытаясь преодолеть изоляцию СССР, сделав его компетентным и добросовестным партнером в общемировых процессах. И это целеполагание вполне оправданно считать «идеальным».

Ну да, вместе с Политбюро лидеры перестройки стремились сохранить шестую статью Конституции, узаконившую партийную диктатуру; ну да, когда падение этой статьи стало неотвратимым, они вместе с Политбюро решили создавать «альтернативные», но беспрекословно послушные «политические партии»: так в считанные дни из воздуха была соткана ЛДПР, вскоре начавшая одерживать свои победы. Быть может, это согласие с тем послебрежневским Политбюро снова было самозашитой, мимикрией. А может быть, и средством еще на какое-то время удержать контроль над преобразованиями в руках верховной власти, не пустить их на самотек в гущу бурных и противоречивых событий. Или просто трусостью.

Не буду гадать, не буду выставлять оценки, в том числе моральные. Для меня важно, что есть достаточно оснований для уверенного предположения: «архитекторы перестройки» ясно осознавали и свою ответственность, и свой

риск, и глобальные масштабы своих планов. Противоположная крайняя гипотеза, согласно которой речь шла просто-напросто о стремлении Горбачева и его сторонников закрепиться во власти, представляется мне совсем слабой. В советской политической конструкции решимость прибегнуть к реформам — отличный способ вылететь из седла, но совершенно негодный способ для упрочения власти. В этой системе долгую власть гарантируют либо застой, либо уж реформы совсем специфического, «сталинского» свойства.

Евгений ЯСИН:

Но то, что вы называете «идеальным целеполаганием» Горбачева и его сторонников, как раз и обеспечивало им поддержку демократической интеллигенции. И какое-то время они шли вместе. Я имею в виду не диссидентов, а тех интеллектуалов из академической среды, тех журналистов, писателей и деятелей искусства, которые задавали тон в «перестроечной» публицистике и на первых съездах народных депутатов СССР. А потом часть этой интеллигенции в Горбачеве разочаровалась — в том числе и по причинам, о которых вы говорите, и связала свои надежды с Ельциным. Только вот демократии в стране так и не получилось. «Идеальных целеполаганий» для этого оказалось недостаточно.

Сергей КОВАЛЕВ:

Потому что в перестройке была и вторая интенция — отрицательная. Как обстояло дело со средствами воплощения замысла? С грустью следует признать, что подчас эти средства — весьма, впрочем, частые в политической практике — оказывались, увы, приемами самого низкого пошиба, сопряженными иногда с большой кровью. Тот непристойный пример со злосчастным диссидентским семинаром, который я так подробно описал, самый безобидный — в обстоятельствах 1987 года он не принес уже серьезных неприятностей никому из нас. Но ведь в те же «перестроечные» времена были Карабах и Сумгайит, Тбилиси и Баку, Вильнюс и Рига. И все это — трупы, пытки, произвол.

Каждое из упомянутых политических событий, каждый из конфликтов подвергался и еще будет подвергаться подробному анализу и оценке действовавших или как-то причастных политических сторон. Нет нужды доказывать, что наша — поначалу еще советская — «перестроечная» сторона (как потом и российская) была отнюдь не безупречна во всех этих перипетиях. Это все помнят, и я нимало не хочу обелять Горбачева. Но точно так же я не хочу взваливать и главную вину на зчинщиков перестройки. Дескать, у них, например, были рецидивы имперского мышления. Без таких рецидивов, скажем прямо, не обошлось, только вот для горбачевской команды они в чужом пиру похмелье.

Я могу, разумеется, ошибаться, но многое из того, что по обыкновению ставится в вину этой команде или лично Горбачеву, представляется мне, по-жалуй, чуть-чуть больше их судьбой, нежели виной. В том числе, может быть, даже кровопролитие около вильнюсского телецентра при неудачных попытках дозвониться тогда Горбачеву из Литвы.

Что значит больше судьбой, чем виной? В обиходной политике лидер всегда стеснен в своих решениях. Он должен искать баланс интересов, оценок, мнений не только в международной, но и в своей «внутриполитической» среде — в смежных ветвях власти, среди коллег, советников, общественных авторитетов, в академических кругах, в отношениях с оппозицией. Но в нашем случае, как вы понимаете, речь шла совсем не о тех стеснениях, которые имеют место в системе «сдержек и противовесов». Для «них» это нормальная политическая практика. А наши лидеры переломного периода отнюдь не находились в атмосфере нормальной практики. Такой практики и не могло быть среди руин не вполне еще рухнувшей тоталитарной системы. Какие уж там «сдержки и противовесы»! «В Кремле не надо жить... Там... всех Иванов злобы, и самозванца спесь взамен народных прав».

Я думаю, зависимость Горбачева от неожиданных, подчас фантастически нелепых факторов многократно превышала ту, которая еще оставляет политику возможность держаться некоторого курса, а не торговаться невесть с кем относительно разнообразных решений бессвязного множества мелких, а то и никчемных задач. На своей главной, «внутрипартийной» арене наши «перестройщики» работали в поле огромной злобной напряженности, окруженные центрами значительного влияния, подчас и силового. Место процедуры занимала интрига. Молодой парламент в целом годился больше для телевизора, нежели для работы, притом что парламентская трибуна сыграла тогда значительную общественную роль. Довольно многие депутаты простодушно путали законотворческую деятельность с теми занятиями, которым десятилетиями предавались советские верховные советы. Так что и парламент, тоже раздираемый страстиами, никак не мог стать ареной честной политической конкуренции, содержательных дискуссий извещенных решений.

Вот почему заявленные цели реформаторов, отделившись от политической повседневности, превращались в лозунги — чем более пышные, тем более необязательные. А политическая повседневность из упрямого воплощения принципиальных основ выбранного курса все более превращалась в вынужденное беспринципное маневрирование. Вдохновленные идеей превращения «империи зла» в «маяк свободы», лидеры грандиозного проекта завязли в Realpolitik, не сумели вырваться из когтей проклятой российской судьбы, которую мы веками сами себе строили.

Я понятия не имею о том, что на самом деле происходило на кремлевской кухне в связи с упомянутой вильнюсской трагедией, заклеймившей нас позо-

ром. Но очень легко представить себе, как Горбачев убедился, что он никакими шагами не может отвергнуть решение о танковой атаке, если оно вообще обсуждалось, или не в состоянии пресечь операцию, начатую помимо него. Что же, по-вашему, должен был бы сказать хозяин страны, если бы он снял трубку? «Всем сердцем сочувствую, но, к сожалению, помочь вам бессилен»? В существовавших тогда в политических верхах условиях и, главное, в рамках «реальной политики» я просто не вижу достойного выхода из легко представимой ситуации.

Но «реальная политика» в изобилии плодит такие ситуации каждый день. Тот совершенно бескровный и предельно гадкий случай высочайшего доноса о диссидентском семинаре выразителен только тем, что он документирован и в нем все как на ладони. Однако каждый из нас знает многие сочащиеся кровью ситуации, созданные «реальной политикой» и этой же политике предъявленные для разрешения, в свою очередь влекущего новую кровь.

Так что же, этот кровавый заколдованный круг — неизбежное мистическое свойство Realpolitik? И этот начальный «реализм» порождал и порождает все последующие наши беды? Может быть, трагедия Чечни коренится в Сумгаите, Баку, Ходжалы и Вильнюсе? Может быть, и разгон чудовищного хасбулатовского парламента — чудовищного, но парламента, чудовищного, но разогнанного — со временем отзовется кровью где-то еще? Может быть, весьма условные президентские «выборы» 1996 года и аукнулись нам совсем уж запредельным циничным хамством, с позволения сказать, «выборов» 2007-го и 2008-го? А все это вместе и обернулось в конце концов путинским авторитаризмом и может обернуться еще чем-то гаже, опаснее, порочнее этого авторитаризма? Приехали!

Игорь КЛЯМКИН:

Я так понимаю, что в данном случае вы имеете в виду не любую Realpolitik, а Realpolitik в процессе реформирования тоталитарной системы. Наш опыт действительно показывает, что осуществляемая «сверху» эволюционная, поэтапная трансформация такой системы в систему демократическую невозможна. Тем более если речь идет о государстве имперского типа, о чем Адам Михник уже говорил. Между тем не только у «архитекторов перестройки», но и у многих российских интеллектуалов были на этот счет иллюзии. В отличие, кстати, от интеллектуалов польских и не только польских, у которых таких иллюзий относительно возможностей перестройки коммунистических политических режимов не наблюдалось...

Сергей КОВАЛЕВ:

Меня сейчас волнует, как наше недавнее прошлое может оказаться на нашем будущем. Меня волнует судьба идей свободы и партнерства, преобразо-

вания страны в русле мирового демократического опыта — исходных идей перестройки, без которых, вне всякого сомнения, России не вырваться из своей русско-византийской судьбы, «бессмысленной и беспощадной», из своей раболепной, ленивой, жестокой и лживой истории. Что, «реальная политика», «искусство возможного» затоптали и закопали эти идеи навек?

Да ведь похоже, что и так, если мы согласимся, будто «искусство возможного» — единственная модель. А искушение согласиться, как и раньше, велико. Практические средства осуществить действенный контроль права над политикой не просто не разработаны, они туманны. Политик-идеалист по определению легко приобретает репутацию легкомысленного популиста или, хуже того, городского сумасшедшего. Такой политик — несомненная жертва интриг, провокаций, клеветы, но он не пожелал бы в борьбе со всем этим воспользоваться самыми эффективными и быстрыми приемами — просто в силу своей порядочности, своего «идеализма». Но эти качества уже сами по себе серьезно препятствуют народному признанию. Короткая и триумфальная посмертная слава А.Д. Сахарова, по-моему, исключение, подтверждающее правило.

Порядочность противника — грозное оружие в руках мерзавца. Открытость и бескорыстность целей, прозрачность средств делают политику, если можно так выразиться, вызывающе уязвимой. В этом смысле против «политического идеализма» — вековой опыт. И он же свидетельствует о том, что лавирование применительно к обстоятельствам, широкий и невзыскательный набор тактических шагов, включая обман, интригу, примитивную демагогию, как правило, эффективно.

Но они подчиняют себе цель, превращая ее в свое подобие. И потому эти инструменты для достижения высоких целей категорически не годятся. Тут — развилка, природа которой не предполагает третьего решения. Хочешь не хочешь, придется делать волевой выбор из двух возможных вариантов.

Один из них — «реалистический» — мы уже опробовали. Результаты у всех перед глазами. А политический идеализм, который представляется мне нечеловечески трудным, но единственным выходом из нашей почти безвыходной «земной» ситуации, никогда не был определенно заявлен, теоретически обоснован, четко сформулирован. Разве что не названная этим именем концепция очень аккуратно и предположительно, но все же, по-моему, вполне отчетливо выступала в публикациях А.Д. Сахарова.

Почва для этой идеологии складывалась в советской интеллектуальной оппозиции 1960–1980 годов. Хотя сегодня я и говорил исключительно о *политическом* идеализме, с полной категоричностью утверждаю, что оппозиция та не была политической. Если хотите, это было проявлением нравственной несовместимости с существовавшим тогда режимом. Все, что мы в те годы делали, включая публикации самиздата, о которых вспомнил Адам Михник, —

все это было упрямым стремлением заслужить право на самоуважение, защищать чувства собственного достоинства. Появилось не так уж мало людей, готовых купить себе такое право за тюремный срок. Это и была оппозиция.

Та волна интеллектуалов никакого непосредственного, прямого влияния на политическую эволюцию, переживаемую страной, не имела. Тогда только начинало складываться очень важное, но опосредованное, косвенное влияние, которое сказалось заметно позднее. Однако в скором времени мы его не предвидели, и, честно говоря, оно нас не занимало.

Разумеется, мы надеялись, а может быть, даже и верили, что когда-то наши заявления и протесты, наш самиздат, наши суды и сроки, воздействуя на потомков, внесут некий свой вклад и в политическую эволюцию. Как говорится, «декабристы разбудили Герцена...». При жизни же мы ни на что не рассчитывали. Я очень хорошо помню, как Б.И. Цукерман, весьма глубокий самиздатский публицист, один из самых высоких авторитетов той волны, в ответ на реплику о том, что Византия 300 лет заживо гнила, прежде чем рухнуть, задумчиво сказал: «Что ж, 300 лет меня вполне устраивают».

Чем же занималась эта странная группа интеллектуалов в ожидании столь отдаленных сроков? Сошлюсь на авторитетный источник, весьма известное интервью Андрея Дмитриевича Сахарова. Заметив, что не ожидает заметных изменений в СССР в обозримые сроки, он в ответ на вопрос «Зачем же вы делаете то, что делаете?» сказал, что интеллигенция умеет делать только одно — строить идеал. Вот пусть каждый и делает что умеет.

Мы и строили идеал — основу, как я полагаю, политического идеализма, хотя никто тогда так не говорил. Мы изобретали велосипед, увлеченно придумывая справедливые нормы права и процедуры, демократические максимы, основы «политической этики», если можно так сказать. И очень радовались, узнавая от своих более образованных друзей, что некоторые из наших сырых соображений давно уже работают в далеком мире в гораздо более совершенном виде. И жадно читали об этом, когда удавалось, не очень доступную в СССР литературу.

Насколько могу судить, заметное большинство в нашем круге составляли неверующие или агностики. Однако же почти каждый из нас с облегчением (может быть, даже и с удовольствием) быстро научился совершенно религиозному отношению к жизни — «делай что должно, и будь что будет». Вообще, совершенно естественным в той жизненной атмосфере было первенство должного перед сущим. И эта жизненная позиция, этот «идеализм» были результатом, достижимым прямо сейчас и ценимым много выше того потенциального отдаленного будущего результата, о котором, повторю, мимоходом все-таки тоже думали.

Впрочем, среди тогдашних диссидентов были и «реальные политики», серьезно полагавшие, что они либо уже создают весомую политическую оппо-

зицию (ДДСС — Демократическое движение Советского Союза), либо начнут в ближайшее время ее строить. По-моему, это было скорее направление мыслей, нежели что-то действительное. Его придерживались, в частности, немногие коммунисты, сохранившие, по крайней мере тогда, свои убеждения. Самый значимый и яркий пример — Петр Григорьевич Григоренко. Подчас такие политические поползновения отражали некую традиционность мысли, амбициозность, даже некоторое легкомысленное, как мне кажется, тщеславие (П.И. Якир и В.А. Красин). Думаю, были и явно талантливые, не состоявшиеся по русской судьбе политики, как В.К. Буковский. Но я не буду останавливаться на этом, вряд ли определяющем направлении протестной активности 1960—1980-х годов. Наверное, оно заслуживает обсуждения, но это не моя тема, она мне трудна.

Итак, в подавляющем большинстве мы не верили в близкие перемены. Знаменитая сахаровская оговорка относительно «крота истории, роющего не-заметно» из упомянутого уже интервью, не есть ни уверенное предсказание, ни даже вероятное предположение. Это было допущение, которого требовала академическая добросовестность, всегда свойственная Андрею Дмитриевичу. Скромное, очень аккуратное допущение, вероятность которого он сам оценивал весьма невысоко. Боюсь ошибиться, но мне как будто вспоминается скепсис по поводу этого допущения, выраженный им однажды в разговоре. Но если в оценке вероятности допущения он ошибся, то само допущение оказалось в точку.

Здесь естественно вспомнить и блестящую работу Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», содержащую основательный анализ и довольно убедительные доказательства того, что советская власть не вечна. Но это все-таки литературная реминисценция. Если бы Орвелл озаглавил свою книжку, например, «2058», я думаю, что Андрей этот год и поставил бы в заголовок своей брошюры.

Только после того как сверху началась перестройка — по тем причинам и по той «внутрипартийной» модели, о которых я уже говорил, — интеллектуальная оппозиция стала как-то влиять на происходящее в стране. Это влияние было двояким.

Влияние старой гвардии «сидельцев», представлявшееся нам нулевым, как оказалось, накапливалось на Западе, пробуждало там острый общественный интерес к варварским советским проблемам, таким необычным и вызывающим для западного интеллектуала, и вылилось в небывало мощное давление на советскую власть, как только она стала искать западной помощи. То есть это «диссидентское» влияние оказалось непрямым, опосредованным цепочкой: диссиденты — международная общественность — западная дипломатия.

Здесь очень многое не только представляет интерес, но и вызывает удивление. Почему, например, Запад так дружно спал в кровавые сталинские годы

и так резко проснулся в относительно вегетарианские брежневские? Полезно было бы обсудить весьма яркие эпизоды и этой летаргии, и этого бурного пробуждения, и новой нынешней дремоты. Кстати, содержательная дискуссия в данном направлении могла бы прямо затронуть насущные глобальные проблемы нашего нераздельного мирового сообщества — вида *homo sapiens*. Но сегодня для этого нет уже ни времени, ни сил.

С перестройкой возникло, однако, и совсем другое влияние совсем других интеллектуалов — на сей раз вполне прямое. Я имею в виду тех, кого стали называть неформалами. Не буду останавливаться на истории организованных ими движений. Скажу лишь, что это были наши троюродные братья — они тоже дети самиздата. Существенно также, что неформальные движения были действительно массовыми. Они быстро возникали, преобразовывались, порой исчезали, но в целом никогда не прекращали свое существование. Само обилие этих организаций и многочисленность их членов показывает, какой распространенной на самом деле в Советском Союзе была та нравственная оппозиция режиму, небольшой верхушечкой которой были мы — так называемые диссиденты.

В доперестроечные времена неформалы, как я полагаю, не были активны по двум причинам. Одна причина — нормальная и естественная осторожность. Ну сажают за это. Кому хочется ставить под угрозу свою семейную жизнь, любимую работу? Ради чего, каков будет результат?

Другая причина — близкая к первой, но без столь выраженного оттенка страха. Просто это были люди, склонные к *Realpolitik*. Они не хотели безрезультатных телодвижений. Разница между нами состояла в том, что мы, включая и автора «крота истории» Андрея Сахарова, совершенно не рассчитывали ни на какой близкий результат наших поступков, кроме внутренней свободы и тюремного срока. Конечно, как уже говорилось, приятно было думать, что когда-нибудь и наша роль в истории этой страны окажется не пустой, но настолько уже не будет. А неформалы, вдохновленные наступившими переменами, рассчитывали на результаты. Полагаю, что перестройка пошла быстрее, чем планировали «архитекторы», и не так, как они ее задумали, в какой-то мере благодаря усилиям именно неформалов. Впоследствии же некоторые из них оказались относительно близки к власти, неся ответственность за ее недостатки, просчеты, а порой и преступления, которые тоже имели место.

В каком-то смысле, между прочим, и Егор Тимурович Гайдар, если и не прямо неформал, то, во всяком случае, со своим экономическим семинаром, задолго обсуждавшим идеи преобразований, недалек был от умеренного и самого профессионального края этих движений. Можно назвать и другие имена. Сейчас модно отзываться о деятельности этих людей критически. Конечно, она была небезошибочна. Но тем не менее никто не доказал, что имеет заведомо лучшие решения. Значит, скорее всего, в страшных условиях

тех лет эта деятельность была среднестатистически положительна и результативна.

Не забудем и то, что к тому времени высшая власть волевым решением совершила новый выбор. Я, например, датирую его сентябрем-октябрем, может быть, ноябрем 1991 года. Этот выбор сделал Борис Николаевич Ельцин. К его чести должен сказать, что он честно старался научиться основам демократии. Он был добросовестен, но у него были и свои границы. Прежде всего — его партийный опыт и возраст.

В чем же был выбор? После поражения августовского путча некоторые люди — я не был самым энергичным из них, но тоже входил в эту группу — уговаривали Бориса Николаевича немедленно собрать Съезд народных депутатов. Потому что проигравшие коммунисты, которые составляли в депутатском корпусе тех времен 87 с лишним процентов (задумайтесь об этой цифре!), готовы были принять любую модель политического развития. Просто они боялись, что победители поступят с ними так, как они сами поступили бы с неприятелем, одержи они победу. И у нас наконец появлялся шанс иметь прозрачную, открытую, добросовестную политику ценностей, а не интересов. Общечеловеческих ценностей. Но Борис Николаевич сказал: «Все вы ошибаетесь. Время работает на нас». И уехал отдохнуть после блистательной победы.

А вернулся он уже в окружении тех «демократов», которых тщательно отобрал. Я не стану давать им характеристики. Все их помнят. Это были Сосковец, Коржаков, Грачев... Они и составили ближний круг президента. А в это время по вековой русской традиции кабинет Гайдара занимался чем угодно, но только не политикой. То есть он занимался очень важным делом — экономикой, но от политики был отстранен. А дальше все шло как по нотам. И пришло туда, где мы оказались.

Оставшееся время я потрачу на то, чтобы предложить, мне кажется, самую важную задачу будущим интеллектуалам, наделенным гражданственностью и чувствующим ответственность за страну, в которой они живут. Нескромно полагаю, что та волна интеллектуалов 1960–1980-х годов, к которой я принадлежал, заложила в русской общественной мысли некие ростки нового политического мышления. Того мышления, которое я называю, в противоположность политическому реализму, политическим идеализмом. Убежден, что за этим политическим течением будущее. А задача новых интеллектуалов — добиться, чтобы универсальные ценности перестали быть заклинанием в опытных политических устах.

Я понимаю, насколько такая задача трудна: ведь в мире ничьи усилия не направлены на преобразование политики. На то, чтобы заставить ее руководствоваться этими универсальными ценностями. Это мировой кризис — нравственный и правовой. С ним и в нем мы сегодня живем, и дальше нам будет жить еще труднее.

Евгений ЯСИН:

Очень содержательное, по-моему, выступление. Меня, правда, поначалу смущало, что Сергей Адамович так много внимания уделяет деятельности Горбачева и его команды, все-таки это не совсем по теме. Но потом я понял, как важно было обозначить тот политический контекст, в котором действовала демократическая интеллигенция горбачевского призыва. Потому что ее политическая активность в годы перестройки — это продукт прежде всего самой перестройки. И от того, что и как делали ее «архитекторы», во многом зависели и мотивация этой активности, и ее качество.

И еще, сравнивая выступления Сергея Ковалева и Адама Михника, я обратил внимание на то, что сами углы зрения, под которыми они рассматривают прошлое, свидетельствуют, возможно, о существенных различиях социальной среды, в которой им приходилось действовать. Польское общество пошло за Адамом Михником и его единомышленниками. А готово ли было идти за диссидентами, вернувшимися из мест заключения, или за лидерами неформалов общество советское? Я лично в этом отнюдь не уверен.

Да, очень популярны были интеллектуалы, входившие вместе с Сахаровым в Межрегиональную депутатскую группу, о которой Сергей Адамович не говорил вообще. Да, профессора Гавриил Попов и Анатолий Собчак были даже избраны мэрами Москвы и Санкт-Петербурга. Но и они, и многие другие оказывались в том политическом пространстве, которое формировалось сначала Горбачевым, а потом перипетиями его противоборства с Ельциным. Могла ли из этого противоборства генерального секретаря ЦК КПСС и одного из членов Политбюро вырасти российская демократия? Осознавало ли общество политический смысл этого слова, предполагавшего трансформацию самого устройства российской власти, преодоление ее персоналистской природы? У меня на сей счет есть большие сомнения, а после выступления Сергея Адамовича их стало еще больше.

Вот почему нам чрезвычайно интересно, как польская интеллигенция готовила поляков именно к системным переменам. Я имею в виду не только деятельность ее политизированных групп, к которым принадлежал Адам, но и деятельность художественной интеллигенции, людей искусства, о которых Адам тоже упомянул в своем выступлении. Думаю, что Кшиштоф Занусси — всемирно известный польский кинорежиссер — расскажет нам об этом более подробно.

Кшиштоф ЗАНУССИ:

«Во времена военного положения, введенного генералом Ярузельским, вся уважающая себя польская интеллигенция объявила бойкот государственному телевидению, что существенно повлияло на общественные настроения»

Я рискну говорить по-русски, хотя это для меня совсем чужой язык. Остается лишь надеяться, что язык Пушкина от моего выступления не пострадает. И еще, конечно, на вашу толерантность.

Организаторы нашей встречи поставили вопрос о той роли, которую сыграла интеллигенция в демонтаже коммунистической системы и утверждении в стране демократии. Согласен с Адамом Михником в том, что роль эта в Польше была заметной. Но она и в самом деле могла быть сыграна только потому, что значительные слои польского общества коммунистическую систему отторгали и были открыты для восприятия наших идей, наших фильмов, спектаклей и литературных произведений.

Адам упомянул о польском новом кино тех лет, получившем потом название «кино нравственной обеспокоенности». Когда мы делали наши первые фильмы, мы не знали, что это назовут именно так, а когда название появилось, мы не думали, что оно приживется. Но оно прижилось. Наверное, потому, что суть дела передавало точно.

Что объединяло многих моих коллег? Нас объединяло острое чувство некомфортности жизни в этическом плане. Подчеркиваю: не в материальном (уровень жизни в те годы заметно поднялся), а именно в этическом. Дискомфорт проистекал из того, что вокруг было столько лжи, столько лицемерия и цинизма, что по карьерной лестнице могли продвигаться вверх лишь люди серые или просто мерзавцы. И это чувство было привнесено в наше новое кино, которое нашло огромную поддержку у нашей публики. Потому что она испытывала те же чувства, что и мы.

Почему власть пропускала наши фильмы на экраны? Конечно, что-то пробовали вырезать, и были чиновники, которые гордились тем, что что-то вырезали, получая возможность продемонстрировать начальству свою бдительность. Но, с другой стороны, у власти уже не было былой уверенности в себе. Да и придираться к нам ей было трудно, потому что этическое противостояние формально не было противостоянием коммунистическим идеалам, включавшим в себя, как одну из главных, и нравственную составляющую.

Оглядываясь назад, я размышляю о том, почему рушатся бесчеловечные политические системы, а также о том, в каких симптомах их изжитость первоначально проявляется. Она проявляется не только в нравственном отторжении, но и в некоторых других вещах.

В сталинские времена, когда я был мальчиком, я был уверен, что так, как есть, будет до конца моей жизни. В детстве так кажется всем. Помню, как в школьном конкурсе я выиграл неожиданную награду — «Большую советскую энциклопедию». Она до сих пор стоит у меня дома — красиво так выглядит. А потом, в 1955 году, я решал, куда пойти учиться после школы. Меня привлекала архитектура, но строить что-то в духе социалистического реализма, над которым мой отец, бывший конструктором, ежедневно издевался, мне претило, а надежд на перемены в стране у меня все еще не было. И я пошел в физику.

А физики — это люди, зачастую очень независимо думающие. И я помню, как один из профессоров, которому я рассказал про мою «Большую советскую

энциклопедию», посоветовал: «Посмотрите, что там написано про кибернетику». Я посмотрел — это была непрофессиональная статья о том, как вредны империалистические идеи. И тот же профессор при нашей новой встрече сказал: «Если они так боятся нового знания, то их ждет скорый конец». Он не дожил до времени подтверждения своей правоты, но я вспомнил его слова, чтобы показать, на основании каких симптомов люди могут судить о нежизнеспособности политических систем.

Евгений ЯСИН:

Наши власти сегодня тоже многого боятся. Например, предоставлять обществу правдивую информацию, которую они подменяют пропагандой. Можно сказать, что у них страх перед информационной эпохой, и они пытаются от нее Россию оградить, как когда-то ограждали от кибернетики. Возможно, это тоже симптом нежизнеспособности, и мы еще вспомним вашего профессора...

Кшиштоф ЗАНУССИ:

Я ему, кстати, тогда не поверил. Наверное, мне были нужны другие, более очевидные симптомы, чтобы у меня возникло такое же представление. И вот — это были уже 1970-е годы — после длительной работы за границей я вернулся в Варшаву, и мою машину как-то остановил наш социалистический милиционер за какую-то водительскую ошибку. Он был абсолютно прав, и я готов был заплатить штраф. Милиционер взял мой паспорт, посмотрел и сказал: «А, вы кинорежиссер и вы много работаете за границей?» Я ответил: «Да, я много работаю за границей». А он мне: «Значит, вам этот штраф не страшен». Я согласился: «Нет, мне он не страшен». После этого он вернул мне паспорт со словами: «Ну, тогда не стоит штраф и выписывать». И он меня оставил, но посмотрел с огромным уважением: если я богат, значит, я прав. И это был знак: что-то кончается, люди руководствуются в жизни критериями оценок, которые ничего общего не имеют с теми, что предписываются им официально.

Помню и другие аналогичные примеры. В те же 1970-е я снимал для немецкого телевидения документальную картину про польского композитора Кшиштофа Пендерецкого. И по желанию немецких продюсеров я спрашивал людей на улицах, не завидуют ли они Пендерецкому, который в социалистические времена был уже сказочно богатым человеком. У него был дом, как дворец, огромный сад и все прочие атрибуты богатства. А люди все отвечали: «Нет, мы ему не завидуем. Он заработал эти деньги за границей, значит, они чистые. И хотя музыки его не выносим, но мы очень гордимся им». Вот в такие моменты я и начинал чувствовать, что коммунистическая система очень уж долго не продержится. Однако, когда именно и в результате чего она исчезнет, я не знал.

А во времена военного положения, введенного генералом Ярузельским, появились и симптомы иного рода. Совершенно неожиданно возник бойкот государственного телевидения со стороны наших артистов, что существенно повлияло на общественные настроения. Практически все выдающиеся актеры отказались выступать на нем. И все люди других профессий, которым было присуще чувство самоуважения, тоже не давали в то время никаких интервью. А люди на улицах нас приветствовали, если кого-то узнавали: «Спасибо, что вас нет на телевидении!»

Конечно, актеры, как и почти все остальные, бывают склонны к конформизму. Но ведь и конформистские установки заставляли в то время вести себя героически, потому что это нравилось народу. Конформизм по отношению к нему работал на репутацию, а конформизм по отношению к власти ее убивал. Это был такой момент, когда престиж не только актеров, но и других групп интеллигенции поднялся очень высоко.

А потом прежней системе, в подтверждение всех симптомов ее кризиса, и в самом деле пришел конец. Адам рассказал, как это происходило. Конечно, интеллигенция горячо поддерживала перемены. Не могу сказать точно, но, по моим наблюдениям, более 80% творческих людей были настроены против бывшей системы и приветствовали ее замену системой новой. И большинство из них понимало, что речь идет не просто о смене людей у власти, а именно о смене системы.

Это хорошо понимало и большинство польского общества. Поэтому польская демократия и состоялась. А как обстояло в то время дело в России, я, как и Адам Михник, судить не берусь. Но я готов вслед за ним утверждать: польская интеллигенция испытала не меньшее разочарование в состоявшейся полноценной демократии, чем российская — в демократии деформированной.

Скажу о том, что коробило и коробит лично меня. То, что раньше выглядело одним из симптомов изживания коммунизма (высокий статус денег, особенно честно заработанных, противостоял безжизненным идеологическим догмам и основанной на них искусственности карьер), после его краха обнаружило свою культурную, ценностную ущербность. И прежде всего я имею в виду отношение широких слоев населения к интеллигенции, оценку ее деятельности не на основании интеллектуального или художественного качества этой деятельности, а на основании внешних по отношению к ней критериев.

Первый раз я это заметил, когда у меня брали интервью на польском телевидении. От меня хотели, чтобы я высказался, как католик, относительно одной из программ на радио «Мария», в Польше довольно влиятельном. И при этом телевизионщики попросили, чтобы я ответил на их вопросы перед моим домом. Я поинтересовался, зачем им это нужно. «Вы знаете, — объяснили они, — если у вас большой дом (а у меня был большой дом) и если вы высту-

пите на его фоне, то вас будут лучше слушать, вы будете более авторитетны в глазах людей». Значит, подумал я тогда, интеллигент, который разбогател, заслужил, чтобы его слушали, а если бы я был бедным, то мои слова не имели бы значения. Но дело ведь еще и в том, что богатство или бедность человека искусства тоже зависят от массового потребителя!

В прошлые века, во времена, скажем, Гайдна и Моцарта, это было не так. Вы прекрасно знаете, что они были очень богатыми людьми, хотя их творчество адресовалось очень небольшой группе слушателей. Моцарт и Гайдн сочиняли музыку для нескольких десятков человек в салоне. Даже не для концертного зала, который появился лишь в XIX веке. Но покупательная сила епископа, императора и всех образованных людей была тогда такая, что эти музыканты могли стать очень богатыми. Моцарт, правда, свои деньги потом растерял, но это уже другой вопрос. А сейчас мы зависим от массового потребителя. Причем зависим вдвойне: от его спроса на наше творчество зависит наше благосостояние, а от уровня нашего благосостояния зависит наш авторитет в глазах этого потребителя!

Вот почему сегодня, когда мои студенты предлагают мне свои проекты, первый вопрос, который я им задаю: «Кому вы хотите нравиться? Ценителям искусства или народным массам?» В коммунистические времена этот вопрос так остро, как теперь, еще не стоял. Потому что коммунисты заблокировали процесс, характерный для западного демократического мира. Этот процесс начался у нас с опозданием.

До падения коммунизма мы жили в очень иерархическом, вертикальном обществе. Мы спокойно читали тогда «Восстание масс» Ортеги-и-Гассета на польском языке, но это казалось какой-то абстрактной литературой, нас непосредственно не касавшейся. А теперь так уже не кажется. Теперь совокупная покупательная сила масс огромная. И она, эта сила, коррумпирует все ценности. Ведь если мы хотим нравиться массам, то мы должны приближаться к их уровню, заведомо очень низкому. В противном случае наши произведения будут плохо продаваться. Художник, который хочет нравиться избранной публике с развитым вкусом, с экономической точки зрения шансов на успех не имеет. Потому что эта часть общества сколько-нибудь значительными деньгами не располагает и оплачивать высокое искусство не может. И это для нас стало новостью. Раньше мы с этим не сталкивались.

При коммунистах интеллигенция хотела рынка и демократии. Она получила то и другое, но при этом оказалась в зависимости от массовых вкусов и предпочтений. На Западе это произошло намного раньше. Да и в Польше это началось еще в докоммунистическую эпоху.

В XIX веке наша литература, скажем, обращалась только к эlite, потому что большинство было неграмотным. Я помню мою бабушку, которая удивилась, когда в 1920-е годы в Польше появилась литература для служанок. «Раз-

ве служанки уже стали грамотными? — спрашивала она. — Они уже умеют читать?» Ведь раньше сочинять романы для служанок никому не приходило в голову, потому что такие романы некому было бы читать. А теперь писатели (и не только писатели) оказались в зависимости от массового спроса. В коммунистическую эпоху мы зависели от государства, которое финансировало искусство. Нам такая зависимость не нравилась, но при демократии мы столкнулись с проблемами, о которых не могли даже предполагать.

Так что в том смысле, который я имею в виду, демократия для творческой интеллигенции — это огромное поражение. Потому что появившиеся у нас «олигархи», или, точнее, богатые люди (настоящих «олигархов» в Польше почти нет), в отличие от западных миллионеров и миллиардеров, богатыми стали двадцать лет назад, а то и позже. За такое короткое время интерес к культуре не формируется. Поэтому заказывать у того же Пендерецкого новые произведения они не будут. Они еще до этого не дозрели. Вот откуда у нас чувство определенного поражения.

Евгений ЯСИН:

Но то же самое наблюдается не только в Польше. Примерно то же самое мы видим и в России, где демократии нет, и на Западе, где она развита больше, чем в Польше...

Кшиштоф ЗАНУССИ:

Значит, в области культуры Россия тоже демократическая страна. А демократия не любит героев и не признает авторитетов. Демократически настроенные люди чувствуют себя хорошо, когда все равны и никаких авторитетов нет. И так, вы правы, обстоит дело не только у нас, но и в Западной Европе. Ведь и там героические литературные персонажи со сцены исчезли. Кто и где ставит сегодня Шиллера? Никто и нигде. Герои Шиллера не могут импонировать человеку, желающему постоянно слышать, что все люди равны. Во время борьбы за демократию Шиллер был очень востребованным автором. Как и Виктор Гюго, например. А когда демократия утвердилась, они стали не нужны.

Итак, вопрос, который перед нами стоит, — это вопрос о том, кому мы должны нравиться. При коммунистическом режиме ответ был ясен: мы не должны нравиться властям и должны нравиться тем широким слоям общества, которые настроены против властей. И у нас осталась память о том, как общество, даже если не понимало глубоко наше творчество, ценило то, что мы пробовали, как элита, брать на себя ответственность за других, за страну и ее будущее. Даг Хаммаршельд — шведский аристократ, бывший секретарь Организации Объединенных Наций, высказался в свое время очень точно. Он сказал, что элита — «это не те, которые стоят высоко, а только те, которые

принимают бескорыстно ответственность за других». И польские интеллектуалы, художники и артисты брали на себя такую ответственность.

А что же сегодня? По правде сказать, я совсем не пессимист, как вам, возможно, могло показаться. Я верю, что развитие культуры возможно и при демократии, хотя и не так быстро, как хотелось бы. В этом смысле изменения можно заметить и в Польше. На смену поколению, для которого нет никаких авторитетов, никаких настоящих образцов кроме тех, которые выставляются в модных магазинах, приходит другое поколение. И я уже вижу, как среди молодежи, с которой сталкиваюсь в разных местах как преподаватель, возникает интерес к интеллектуалам и людям искусства. Она начинает осознавать, что эти люди живут более богатой жизнью, чем миллионеры. Намечается поворот к ценностям высокой культуры и нравственности, к осознанию того, что эти ценности делают жизнь более комфортной, чем у тех, кто озабочен только высокими заработками. Я говорю прежде всего о молодежи, которая выбирает творческие профессии. Но идеализм, который я у них наблюдаю, может оказаться заразительным и для других.

Короче говоря, с представителями нового поколения я чувствую себя в Польше гораздо лучше, чем с поколением их родителей. Молодые люди ищут такую модель жизни, при которой есть место для идеальных устремлений и есть среда, в которой такими устремлениями можно поделиться с другими, строить на их основе общение. А с этого, быть может, начинается и идеализм политический, о котором говорил Сергей Ковалев.

Однако в нормальной демократической стране (а Польша, по большому счету, таковой является) люди искусства, по-моему, в политику погружаться не должны. Если демократия работает, то им там делать нечего. У нас был сбой, и два года страна двигалась в нехорошем направлении (Адам Михник об этом уже рассказал), но потом люди своим голосованием на выборах это опасное направление отвергли. Но это и значит, что наша демократия сработала. А если так, если положение в стране в целом нормальное, то для любого человека искусства политика не должна быть интересной.

Политика — это неинтересное для нас пространство, потому что настоящая политика — это налоги, а размерами налогов и их распределением через бюджет пусть занимаются специалисты. Мы же должны включаться в общественную жизнь только тогда, когда эта жизнь начинает отклоняться от нравственных ценностей. Но и в таких случаях, строго говоря, речь идет не о политической деятельности.

Когда мы, выступая против лжи, произносим слово «правда», это не политика, это выше политики. Когда мы говорим «насилие» или «несправедливость» — это тоже выше политики. И когда политическая реальность начинает таким словам соответствовать, мы не имеем права молчать. Тогда мы молчать не можем и не должны. Но пока у нас в Польше обстановка, вполне

приемлемая с точки зрения нравственности. И поэтому мы можем заниматься своими профессиональными делами.

А в заключение — еще один штрих к картине нашего коммунистического прошлого. В 1984 году я снимал с разрешения властей фильм «Год спокойного солнца». Действие происходит в 1945 году, а среди персонажей фильма был заведомый негодяй, мерзавец, стукач. Я собирался взять на эту роль одного из тех, кого в нашей среде все ненавидели, настоящего мерзавца. Но все актеры сказали: «Нет, это недопустимо. Мы с ним играть не будем». Пришлось взять на роль негодяя самого порядочного человека, который с огромной фантазией создал образ своего антипода. Вот такая была в Польше атмосфера, предшествовавшая падению коммунистической системы.

Игорь КЛЯМКИН:

Очень интересная эта история с бойкотом интеллигенцией государственного телевидения. В России я такое представить себе не могу. Наши либеральные интеллектуалы, допускаемые на ТВ, готовы участвовать в любых телешоу, даже если им позволяют сказать там всего несколько слов и обрывают, едва они начинают говорить то, ради чего и пришли на передачу. И при этом могут честить российское телевидение самыми страшными словами, не забывая при случае информировать окружающих о том, что сами они его не смотрят. Тут, мне кажется, есть о чем задуматься.

Евгений ЯСИН:

А мне показались чрезвычайно важными рассуждения Кшиштофа о роли нравственности и ее влиянии на политику. Ведь в конечном счете судьба любых реформ, само развитие общества зависят от нравственного состояния этого общества. Именно исходя из этого, мы некоторое время назад начали реализацию проекта под названием «Важнее, чем политика», ориентированного прежде всего на молодежь.

Важнее, чем политика, — это и есть в нашем представлении нравственность. Для нас является аксиомой, что перевороты в общественном сознании, сдвиги в системе ценностей всегда предшествуют политическим поворотам. И если значительная часть нашей молодежи солидаризируется сегодня с «суверенной демократией», то причину мы видим в ее этической глухоте, что никакими политическими лозунгами изменить нельзя.

Мы не можем сказать вслед за Кшиштофом, что в российском обществе, как и в польском, обстановка с точки зрения нравственности «вполне приемлемая». Но мы отдаем себе полный отчет и в том, сколь трудно противостоять аморальной атмосфере, которая насаждается в стране нашими политиками и нашими СМИ, почти полностью контролируемыми государством.

К сожалению, эту атмосферу властям помогают поддерживать и многие российские интеллектуалы, которые...

Игорь КЛЯМКИН:

...Которые не считают себя при этом безнравственными. Они руководствуются принципом лжи во спасение, лжи во имя сохранения и упрочения государства...

Евгений ЯСИН:

Если так, то они обманывают других, предварительно обманув себя. Ложь, введенная в принцип, не сохраняет государства, а подтачивает их устои, способствуя их разрушению. Мы это хорошо знаем по собственному историческому опыту. И потому так важно разобраться в том, почему в российской интеллигенции наблюдаются подобные тенденции. Она — точнее, ее часть — стала такой в последние годы или и раньше в ней было заложено нечто, у многих ее представителей проявившееся лишь сегодня?

Думаю, что приблизиться к ответу на этот вопрос нам поможет Лев Дмитриевич Гудков, который много пишет об отечественной интеллигенции, ее прошлом и нынешнем состоянии.

Лев ГУДКОВ (директор Аналитического центра Юрия Левады):

«Играя заметную роль в разрушении коммунистической системы, советская интеллигенция не задавалась даже вопросом о том, что и как делать потом»

Многое из того, что я хотел сказать, Сергей Adamovich Kovalев уже сказал. Я тоже полагаю, что крах советской системы меньше всего был связан с влиянием интеллектуалов, их критикой советской системы или какой-то их особой активностью в этом процессе. Нельзя сказать, что критического отношения к власти среди российских интеллигентов не было вообще. Оно имело место, но носило характер диффузного интеллигентского недовольства, редко поднимавшегося до ясного понимания природы советского тоталитаризма и его полного отрицания, а тем более до участия в оппозиционном политическом движении.

Неглубокий и никак не оформленный критицизм не оказывал сколько-нибудь существенного воздействия ни на общество, ни на власть. Советский режим развалился в силу скрыто идущего разложения или, если говорить социологическим языком, невозможности воспроизведения коммунистической системы. В чем это конкретно проявлялось? Во-первых, в отсутствии механизмов упорядоченной смены высшей власти. Во-вторых, в склеротизации каналов вертикальной мобильности, приведшей к застою. Эта склеротизация была вызвана послесталинским прекращением массового террора и запретом уголовного преследования представителей номенклатуры, что через два деся-

тилетия привело к практически полной стагнации внутри бюрократической системы. А недопущение политического представительства интересов различных групп населения и узурпирование руководством КПСС права принятия решений обернулось устойчивым падением эффективности управления.

Попытки реформирования верхнего уровня руководства страны, предпринятые Горбачевым, затронули монополию компартии на кадровые назначения, что в свою очередь почти мгновенно поставило под удар центральный принцип советской системы — принцип единства партии и государства. Или, точнее, партии и репрессивных структур. В результате вся система посыпалась. Интеллектуалы же к этому оказались не только не причастны, но даже и не готовы. И возникает естественный вопрос: почему?

Из-за ограниченности времени я не смогу углубиться в этот вопрос настолько, насколько он того заслуживает. Остановлюсь лишь на некоторых моментах.

Адам Михник уже упоминал о событиях 1968 года в Чехословакии и той роли, которую они сыграли в истории Польши. Но это очень важная точка и для российской интеллектуальной истории. Подавление «пражской весны» имело в Советском Союзе два последствия. Во-первых, в интеллектуальной среде окончательно и бесповоротно утвердилась идея о нереформируемости социализма. Это был конец социалистической идеологии, ее абсолютная и однозначная дискредитация. Во-вторых, признание нереформируемости системы повлекло за собой две прямо противоположные реакции.

С одной стороны, возникло умственное движение, причем довольно сильное, окрашенное диффузной этикой противостояния — системе, идеологии, власти, истеблишменту. Это был уход от политики, от общественной деятельности, от карьеры в «чистую» науку, религию, архаическую или, напротив, рафинированную философскую либо эстетскую культуру, в эзотерику. С другой стороны, мысль многих людей двигалась в совершенно ином направлении.

Если октябрьский переворот 1917 года, рассуждали они, это катастрофа русского народа, прервавшая его цивилизованное развитие, то надо начать с того исторического пункта, где тогда остановились. Так начались поиски альтернативной идеологии, которые быстро привели к пересмотру идейного багажа, к актуализации «почвеннического» наследия добольшевистского периода, к возрождению интереса к русскому национализму. Показательно, однако, что признание социализма мертвой доктриной сочеталось с непризнанием его полной идентичности с советской системой в целом. Ведь у последней было еще и другое измерение — имперское, или, мягче говоря, великодержавное. И оно-то если и не примиряло интеллектуалов данного типа с властью, то все же очерчивало между ними и нею некую общую зону.

Одним из вариантов этого или близким к нему течением стало очень значимое умонастроение, суть которого заключалась в установке на необходи-

мость сохранения культуры. Долг интеллигенции перед будущими поколениями виделся при этом в том, чтобы сберечь высшие ценности и образцы великой русской культуры, собирать все то, что, как считалось, входит в нее, вплоть до того момента, когда коммунистическая система рухнет. Эта установка на сохранение и сбережение, на воспроизведение русской традиции была чрезвычайно важной именно для интеллигенции — в первую очередь гуманистической.

Однако такая установка при попытках ее реализации блокировала все возможности интеллектуального взаимодействия и диалога с мировой западной мыслью. Во-первых, с социальной наукой, которая и воплощала в себе значения и смыслы модернизационных процессов и перемен. Во-вторых, с гуманистикой, поскольку идея «хранения» требует сакрализации, сверхценного статуса того, что подлежит хранению, и не допускает рационализации отношения к самому процессу консервации и музеефикации национального достояния. «Хранить» означало не прорабатывать и разрабатывать, а собирать и оппонировать — лживому официозу и чиновникам, рассматривавшим культуру только как ресурс для воспитания патриотизма и лояльности властям.

Этот этический акт несения огня духовности стал моментом самоидентификации, а чуть позже и консолидации интеллигенции. Этика противостояния была чрезвычайно важной составляющей легенды интеллигенции как слоя, утешительной сказки, рассказываемой ею себе самой. Здесь не должно быть никаких иллюзий: интеллигенция, если смотреть на ее реальную социальную роль, на ее статус, на тип ее организации, была частью государственной репродуктивной бюрократии. Никакой другой интеллигенции в Советском Союзе не было. Особый слой служивой государственной бюрократии, занимающийся просвещением, обоснованием и легитимацией власти, обеспечением ей массовой поддержки, цензурой, пропагандой, — вот что такое советская интеллигенция.

Два этих момента — профессиональная деятельность на государственной службе и «оппозиционная» самоидентификация — не противоречили друг другу, а друг друга дополняли, обеспечивая своеобразное представление интеллигенции о себе самой, завышенность ее самооценок, а также условия и возможность некоторого оппонирования власти в ее наиболее варварских и террористических проявлениях. Но именно такое двоевмислие блокировало выход к практическим действиям, развитие потребности в освоении западного опыта, западной науки с ее пафосом позитивного и ответственного знания, ценностей западной культуры. Возник специфически русский интеллигентский нарциссизм, не предполагавший никакой общественной активности и избегавший ее.

Несколько иные варианты такой неформальной, неофициальной интеллигентской деятельности дали импульс к развитию сети самиздата, хотя само

его возникновение следует отнести к более ранним временам, к началу 1960-х годов.

Мариэтта ЧУДАКОВА (*литературовед, общественный деятель*):
К 1957-му.

Лев ГУДКОВ:

Нет, в 1957 году возникло само слово «самиздат», но сравнительно массовое распространение текстов по сетям неформальных взаимосвязей началось примерно с 1962 года, после хрущевской кампании разоблачения Сталина. Именно к этому времени следует относить структурирование каналов самиздата. Он стал очень важным явлением и формой неформальной самоорганизации образованной части общества, т.е. той же самой гуманитарной бюрократии.

Неправильно представлять себе самиздат как тиражирование или распространение тех или иных чисто идеологических или политических текстов. Он включал в себя практически все, что цензурировалось в официальных изданиях, — от религиозной философии до порнолiterатуры или учебников по карате. В этом смысле самиздат был негативом по отношению к контролируемой информационной политике властей.

Если наши оценки правильны (а они сделаны довольно давно, в первой половине 1980-х, когда мы с моим другом и соавтором Борисом Дубиным еще занимались социологией литературы), то в начале эпохи самиздата пропускная мощность его каналов составляла несколько тысяч читателей, живших преимущественно в крупнейших городах. А к началу 1980-х годов, т.е. накануне перестройки, число включенных в эти сетевые структуры достигало нескольких миллионов. Естественно, основная часть населения туда не включалась. Но если оценивать число образованного сообщества Советского Союза примерно в двадцать миллионов человек, то самиздат к концу советской эпохи подпитывал примерно процентов десять-пятнадцать из них. Это больше разового тиража любого толстого журнала того времени — в том числе и перестроичного.

Однако самиздат мог не все. Что он не мог делать в принципе, по самой сути своей организации и способа функционирования? Ответ очевиден: в самиздате представлялись и циркулировали тексты, но не было и не могло быть их критики, анализа, обсуждения. Он обеспечивал знакомство с этими текстами — авторитетными и значимыми уже в силу самого факта их размножения под угрозой наказания. Но там не было интеллектуальной проработки проблематики, не было дискуссии. И это обстоятельство очень важно для понимания той роли, которую играли интеллектуалы в разрушении советской системы.

Обращение текстов в самиздате играло существенную роль в самоидентификации интеллектуального слоя, но не в смысле качества, глубины или практической ориентированности интеллектуальной работы, продумывания того, что делать дальше. Поэтому, когда система затрещала, все, что было накоплено самиздатом, попало на страницы журналов, в первую очередь толстых, которые за два-три года перекачали из него все, что было там накоплено за долгие годы. Однако никакой работы над текстами по-прежнему не было. Широкая публика ознакомилась с этим наследием и отложила в сторону.

Что же в итоге? В итоге критическая, разрушительная функция интеллектуалов оказалась выполненной. Советская система, частью которой была и которой оппонировала интеллигенция, в целом была оценена довольно негативно. Особенно острой критике подвергся сталинский период. Однако эта критика оказалась крайне поверхностной, не затрагивающей оснований системы, ее природы, источников, а главное — ее антропологии, т.е. причин того, почему советский режим довольно долго пользовался массовой поддержкой.

В значительной мере из-за ограниченности социологического понимания обстоятельств его возникновения и функционирования, отсутствия сравнительно-типологического анализа, общего горизонта рассмотрения советской системы вместе с нацизмом, фашизмом, маоизмом и прочими разновидностями тоталитаризма критика свелась в основном к личности Сталина. Он представлял при этом маньяком, вождем-одиночкой, злодеем, виновным в гибели миллионов невинных людей. Некоторые, правда, добавляли: не только Сталин, но и все большевики просто бандиты, люди с уголовным менталитетом. И этим, мол, все сказано. Конечно, не вся литература была такой, но преобладало в ней именно это.

Почему советский режим функционировал так долго, почему поддерживался населением? Почему потом начал распадаться? Почему от него осталось так много в нашей жизни и после того, как его уже нет? Объяснений не было. Я бы сказал, что их нет, по существу, и до сих пор. Ни историки — я имею в виду наших авторитетных научных сотрудников академических институтов — не вышли на публику с соответствующими работами, ни социологи, которые в общем и целом тоже не затрагивали подобных вопросов. О политологах я и говорить не хочу.

На этом фоне изначально несколько выделялись экономисты, но не исследованиями природы советской системы, а установкой на преобразование плановой советской экономики в экономику рыночную. Они не были захвачены задачей «нести культуру» и «хранить традиции», в чем видело свою миссию большинство советской интеллигенции. В силу своих профессиональных занятий они были включены в структуры управления и несколько

больше знакомы с практическими вещами, с управленческой техникой. Поэтому некоторые из них и оказались авторами реформ, инициаторами социально-экономических изменений. Не их вина в том, как они представляли себе социальную и политическую проблематику посттоталитарного транзита. Но их беда в том, что у них отсутствовало соответствующее социологическое или юридическое знание того, «как надо делать». Тем не менее они хотя бы пытались решать практические задачи. Другие же могли только разрушать советскую систему, не задаваясь даже вопросом о том, что и как делать потом.

Между тем критики такой системы неизбежно попадают в своего рода легитимационную ловушку. Дело в том, что критика предшествующего режима — это один из основных элементов или механизмов легитимации «преемника» при передаче власти в тоталитарных и авторитарных обществах. Такая смена в них — чрезвычайно болезненная и острыя проблема, не решаемая в принципе в силу самой природы персоналистских режимов, не допускающих ни представительства групповых интересов (а значит, и политического плюрализма), ни формальных правил передачи власти (из-за опасений единичного диктатора, что его могут свергнуть и заменить). Когда же смена власти все же происходит, она неизбежно сопровождается дискредитацией и обличением злоупотреблений и ошибок предшествующего правителя. Иного способа легитимации (точнее, псевдолегитимации) нового правителя или нового режима в таких случаях не существует.

Но подобная дискредитация и подобные обличения еще не меняют саму структуру системы. А отсюда следует, что одна лишь критика без выдвижения позитивной практической программы реализации реформ или социальных изменений ведет к восстановлению этой прежней структуры — в старой или обновленной форме. Так все и вращается в замкнутом кругу: один тиран разоблачается, а на его место усаживается другой, «хороший» диктатор.

Неготовность интеллектуалов к практической деятельности в ситуации начавшегося распада режима, вытекающая из особенностей их понимания своей «миссии» в тоталитарном социуме (ретрансляция культуры), закономерно обернулась восприимчивостью к идеи «модернизации сверху», когда распад свершился. Сознавая свою недееспособность в этом плане, никаких других вариантов преобразований интеллигенция представить себе не могла. Но, передав ответственность за реализацию реформ тем, кто казался ей способным осуществить ее планы и надежды, она всеми силами старалась уверить и себя, и общество в том, что «иного не дано». Связав свою судьбу с поддержкой нового режима, она поставила на кон и будущее страны.

Можно спорить о том, насколько серьезной была альтернатива авторитарной модернизации. Бессспорно, однако, что у первых наших реформато-

ров никакой другой идеологии реформ, кроме идеологии экономического детерминизма, доминировавшей в советское время, не было. Была одна мысль: мы начнем экономические реформы, наладим хозяйственную жизнь, а все остальное как-нибудь приложится. Соответственно, очень многие важные вещи правового и институционального плана были лишь продекларированы, но не могли быть реализованы. Для этого не было ни опыта, ни понимания смысла происходящего, ни соответствующих знаний. Равно, повторю, как не было и осознания ответственности перед обществом и соучастия в его жизни.

Новый режим, использовав интеллигенцию в ситуации кризиса и разрушения, заимствовав у нее ее критические лозунги, ее страсть в разоблачении прошлого, до власти ее не допустил. Интеллектуалы были при власти, украшали власть, но не принимали никакого участия в принятии политических решений. При этом механизмы их выработки оставались такими же, как и в советское время. Поэтому довольно скоро, всего через несколько лет, новый режим оказался таким же закрытым, что и прежний. И он так же опирался не на общество, а на силовые структуры — прежде всего на армию и политическую полицию.

Поддержав новый авторитарный режим в надежде, что его лидеры будут проводить модернизацию страны и политику сближения с Европой, интеллектуалы (я имею в виду их либеральное крыло) стали заложниками этого режима. Особенно остро это почувствовалось во время президентских выборов 1996 года. Тогда режим едва-едва смог удержаться, используя политические технологии и психологическое принуждение избирателей к искусственноному выбору: либо обеспечим поддержку Ельцина, либо нас ждет катастрофа и возвращение назад. И все это происходило при поддержке интеллигенции, которая не заметила, что возвращение назад, причем при ее непосредственном участии, уже произошло. Путин пришел потом на подготовленную почву.

В условиях спада экономики и массового обеднения наступившее разочарование в реформах и ожидание населением «спасителя» было более чем закономерным. Тем не менее приход гораздо более жесткого, чем Ельцин, и беспринципного «вождя», узурпировавшего власть, как оказалось, никем не предусматривался. Но этот приход стал естественным следствием того, что ни одна из сил, участвовавших в общественном движении за реформы, не смогла (и не собиралась) обеспечить рационализацию массовых интересов и нужд.

Нам сейчас очень важно понять связь идей авторитарной модернизации и экономического детерминизма с тем самопониманием интеллигенции, о котором я говорил. Такое самопонимание закрывает саму возможность учета интересов широких слоев населения и компромисса с ними. А раз так,

то рано или поздно логика сотрудничества с властью приводит к отказу от демократических идеалов и к поддержке национал-популистского режима. А такой режим не может обойтись без возвращения традиционных символов — православия, «русской духовности», «героического прошлого», без нагнетания ностальгии по великой державе и прочим идеологическим представлениям, которые путинский режим использовал на полную мощность.

Сегодня мы имеем дело, конечно, не просто с тем состоянием общества, которое применительно к Западу или Израилю Анатолий Щаранский определял как «дефицит моральной ясности». Как здесь уже говорилось, мы имеем дело с состоянием аморализма, отказа от возможности даже поверить в важнейшие ценности демократии. Политического идеализма, о котором говорил Сергей Адамович Ковалев, сегодня нет, и его не будет как минимум еще десять-пятнадцать лет. И именно поэтому мы находимся сегодня в худшей ситуации, чем два с лишним десятилетия назад.

Евгений ЯСИН:

Спасибо, Лев Дмитриевич. Не очень привлекательный образ интеллигенции вы нарисовали. Но хотелось бы все же хотя бы задним числом понять, что же именно она в конкретных обстоятельствах 1980-х годов могла и должна была делать, чтобы направить ход событий в иное русло. И альтернативу тому, что вы называете авторитарной модернизацией, я тоже хотел бы представить себе сколько-нибудь конкретно, однако у меня не получается.

Но допустим даже, что нарисованный портрет интеллигенции соответствует действительности. Допустим, что на ней, т.е. на нас с вами, лежит ответственность за поражение в России демократии. Какие все-таки должны мы извлечь из этого поражения уроки? И что делать сегодня? Я думаю, что очень интересное, хотя в чем-то и спорное сообщение Льва Дмитриевича подводит нас именно к таким вопросам.

Дорогие друзья, на этом разрешите завершить первый раунд нашего обсуждения, посвященный роли польской и российской интеллигенции в демонтаже коммунистических режимов в наших странах. Правда, обсуждения как такового еще не было. Мы откроем его после того, как выступят со своими сообщениями докладчики, которых мы просили проанализировать роль интеллигенции в посткоммунистический период.

Разговор об этом, как вы могли заметить, уже начался. По примеру Адама Михника, все ораторы так или иначе выходили и на современные проблемы, что, наверное, естественно: выступавшие не хотели ограничиваться рассмотрением прошлого, абстрагируясь от злободневных тем и проблем настоящего. Тем самым они создали задел для второй части обсуждения, что, по-моему, очень хорошо.

Вадим МЕЖУЕВ (главный научный сотрудник Института философии РАН):
Можно два слова вдогонку?

Евгений ЯСИН:

Ну, если только два слова...

Вадим МЕЖУЕВ:

Лев Гудков говорил, что природа большевизма и сталинизма нашими интеллектуалами до сих пор не понята. И это действительно так. Сталина у нас ставят в один ряд с Иваном Грозным и Петром I. Но это же совершенно неправильно! Сталина надо ставить в один ряд с Емельяном Пугачевым, а не с российскими монархами. Если бы Пугачев дошел до Петербурга, скинул Екатерину II и под именем Петра III сел на трон, то мы бы и имели сталинизм XVIII века. А ставить сталинизм в преемственную связь с представителями российской монархии, уничтоженной большевиками, — это, мягко говоря, некорректно...

Игорь КЛЯМКИН:

Очень оригинальный, но сомнительный, по-моему, подход. Конечно, большевики пришли к власти, опираясь на народные низы, а потому отдавали должное Пугачеву и другим руководителям крестьянских восстаний. Но Сталин уже одним тем, что предписал снять фильмы не о Пугачеве, Разине или Болотникове, а об Иване Грозном и Петре I, четко обозначил основную линию исторической преемственности. Иван Васильевич ему был нужен как пример борца с княжеско-боярской элитой, а Петр Алексеевич — как инициатор принудительного военно-технологического прорыва.

Большевизм, обрушивший прежнее государство, нуждался для своей легитимации в политической традиции этого государства и ее самодержавных персонификаторах, а не в тех, кто против него восставал. К тому же никакого «сталинизма» Пугачев, победив он, в XVIII веке установить не смог бы. И не только потому, что сталинизм не может утвердиться без телефона, телеграфа, железных дорог и прочих атрибутов индустриальной цивилизации. Он не мог утвердиться во времена Пугачева еще и потому, что для него не было тогда исторической функции.

Евгений ЯСИН:

Господа, вы начали дискуссию явочным порядком. Потерпите, пожалуйста. Давайте все-таки прервемся на обед, а потом продолжим. Еще раз напоминаю, что мы будем говорить о роли польских и российских интеллектуалов в посткоммунистический период. На этом я слагаю с себя полномочия модератора и передаю их Игорю Моисеевичу Клямкину.

Интеллектуалы после коммунизма

Игорь КЛЯМКИН:

«Мне кажется, что либерально-демократическое сознание российской интеллигенции все еще спотыкается об ее имперское и авторитарное подсознание»

Итак, мы переходим ко второй составляющей нашей темы, ради обсуждения которой и была прежде всего инициирована эта встреча. Я имею в виду современное состояние либерально-демократической интеллигенции, ее возможности влияния на общество, ее сильные и слабые стороны. Тот разговор о прошлом наших стран, который здесь состоялся, показался мне очень интересным. Однако до сих пор так и не прозвучал, по-моему, ответ на вопрос: почему же то, что в Польше получилось, в России не удалось? И можно ли эту нашу неудачу хотя бы частично списывать на российскую интеллигенцию?

Из зала:

Не получилось, потому что в России мало поляков.

Игорь КЛЯМКИН:

Не уверен, что их будет становиться больше. Поэтому ничего не остается, как рассчитывать на себя. А это предполагает и выяснение причин неблагоприятного развития событий.

Я вспоминаю осень 1991 года, первые месяцы после провала выступления ГКЧП и падения коммунизма в СССР. Еще до его окончательного развала становилось ясно, что ставка делается на реформирование экономики при сохранении институтов власти, сформировавшихся в Российской Федерации еще тогда, когда самостоятельным государством она не была. Но это и стало, по-моему, главной причиной того, что современная демократия в России не состоялась.

Польские интеллектуалы в 1989 году шли на Круглый стол власти и оппозиции с идеей преобразования государства. В России же частичное обновление политического класса, произшедшее после относительно свободных выборов 1990 года, сопровождалось ее вычленением из СССР, но не учреждением нового типа государства, основанного на демократических принципах. Этого не произошло и после того, как Советский Союз перестал существовать. Ни посредством созыва Учредительного собрания, ни путем свободных выборов с последующим принятием избранным парламентом новой конституции.

Так что можно сказать, что Россия, сохранив старые институты, сразу же двинулась по «особому пути», который и увел ее от демократии. Правомерно ли утверждать, что демократическая интеллигенция несет за это ответ-

ственность? Никто не знает, конечно, могла ли она тогда существенно повлиять на развитие событий. Все дело, однако, в том, что каких-либо заметных публичных попыток поставить вопрос об учреждении государства первым пунктом политической повестки дня с ее стороны тогда не наблюдалось.

Узнать, «что было бы, если бы», уже никому никогда не удастся. И потому я хотел бы, чтобы мы сейчас сосредоточились не на том, что было в 1990-е годы, а на том, что есть сейчас. Давайте обсудим, как российская либеральная и демократическая интеллигенция реагирует на то, что сегодня происходит в стране и со страной. У меня создается впечатление, что в большинстве своем онавольно или невольно, прямо или косвенно, публично или отмалчиваясь там, где отмалчиваться нельзя, солидаризируется с авторитарной властью.

Об этом можно судить, например, видя предрасположенность многих интеллектуалов к восприятию разнообразных концепций, согласно которым есть некоторая культурная предопределенность существования и развития России. Предопределенность, которая и обрекает ее на авторитарное правление. И речь идет не просто об *объяснении* прошлого и настоящего. Речь идет о том, что только так может быть и в дальнейшем. Понятно, что в этой логике демократическая перспектива выглядит заведомо утопической. Так происходит культурологическое примирение с действительностью, которому очень часто сопутствует примирение поведенческое. Об этом много говорят и пишет в последнее время Эмиль Паин, и он, насколько знаю, свои соображения на сей счет намерен представить и сегодня с учетом темы нашего обсуждения.

Но лучшим тестом на либеральность и демократичность сознания и поведения является все же отношение к некоторым принципиальным политическим вопросам, в максимальной степени проявляющее мировоззренческие установки. Вот, скажем, вопрос о новом расширении НАТО. Большинство либеральных экспертов и журналистов в данном отношении либо примыкают к позиции властей (расширение НАТО — угроза для России), либо отмалчиваются. Почему, интересно?

Ведь расширение евро-атлантического альянса означает расширение мирового либерально-демократического пространства. Ведь любой грамотный эксперт знает, что никакой военной угрозы это для России не представляет. Да, есть цивилизационная угроза, так как с нынешним российским государственным устройством либеральная демократия несовместима, а потому вступление в НАТО, например, Украины представляет для этого устройства стратегическую опасность. Но почему опасное для авторитарной власти выглядит таковым и в глазах интеллектуалов, продолжающих считать себя либералами и демократами?

Я уже не говорю о том, что двусмысленная позиция по этому вопросу означает открытое или молчаливое потакание той лжи, которой щедро окармливаются наши соотечественники со всех телеканалов относительно военных

угроз со стороны Запада. На наших глазах происходит искусственная милитаризация массового сознания, призванная дополнительно легитимировать авторитарно-бюрократическую властную систему. Мне кажется, здесь есть о чем подумать и поговорить.

Или вспомним позицию почти всей нашей либеральной интеллигенции по поводу оценки Украиной Голодомора 1930-х годов. Казалось бы, правовая квалификация этого преступления сталинского режима нашими соседями должна была подтолкнуть российских либералов к тому, чтобы требовать того же и в России. Ведь пока преступление не квалифицировано юридически именно как преступление, никаких препядствий для объявления Сталина «эффективным менеджером», чем все либералы дружно возмущаются, не существует. Так нет же, почин украинцев встретил у них отторжение, а кое у кого и нескрываемое раздражение. Но так как рационально обосновать его невозможно, придумываются небылицы относительно того, что Киев предъявляет исторический и политический счет за Голодомор современной России.

Что все это означает? Это означает, что в России нет не только сколько-нибудь влиятельных либерально-демократических политических сил, но и последовательной либерально-демократической политической мысли. Она спотыкается об имперское подсознание и перестает быть либерально-демократической. Есть, по-моему, смысл поговорить и о том, как это выглядит с точки зрения нравственности¹.

Исключения, конечно, тоже существуют, и я надеюсь, что мы в этом сегодня лишний раз сможем убедиться. Знаю, например, что по вопросам, о которых я говорю, собирается выступать Глеб Мусихин. Но вам также хорошо известно, в каком отношении находятся между собой исключения из правил и сами правила.

Давайте обсудим и нашумевшую историю с образованием партии «Правое дело». В данном случае, правда, большинство либеральных интеллектуалов создание такой партии, инициированное Кремлем, осудило. Но есть и те, кто его публично поддержал, и среди них присутствующая здесь Мариэтта Омаровна Чудакова. Да и в руководстве партии мы видим в основном выходцев из интеллигентской гуманитарной среды. И потому возникает естественный вопрос о сотрудничестве либеральной интеллигенции с авторитарной властью

¹ В конце февраля 2009 года Политкомитет партии «Яблоко» принял документ, в котором содержится призыв «дать на государственном уровне ясную и недвусмысленную правовую, политическую и нравственную оценку» всему советскому периоду и совершенным на всем его протяжении государственным преступлениям. Значит, украинский прецедент все-таки начинает сказываться и на поведении части российских либералов, хотя признаться в этом и публично поддержать этот прецедент они себе позволить не решились.

и его условиях, о чём уже говорил Евгений Григорьевич Ясин в своем вступительном слове.

Дело ведь не только в самом факте такого сотрудничества, но и в том, что его условия остаются для общества тайной. А это уже не что иное, как закулисная игра по «правилам», органичным лишь для авторитарно-бюрократической политической культуры. Что же означает согласие играть по ним либеральной партии? Думаю, что об этом тоже полезно подискутировать. Пока же мне кажется, что помимо имперского подсознания в России существует и подсознание авторитарное, корректирующее и действия людей, сознание которых авторитаризма не приемлет.

Что касается польских коллег, то от них было бы очень интересно услышать, в каком состоянии находится сегодня польское гражданское общество и какое влияние на его развитие могут оказывать и оказывают польские интеллектуалы. Насколько я осведомлен, во всех посткоммунистических странах, где утвердились демократические политические системы, оно развивается крайне медленно. Польша — не исключение. И это притом, что в ней, как показала и история «Солидарности», есть в отличие от России богатый опыт общественной самоорганизации населения. Нам важно понять, что именно блокирует у вас становление сильного и влиятельного гражданского общества. Возможно также, что ваш опыт поможет нам скорректировать доминирующее в России мнение о том, что из-за слабости гражданского общества у нас нет и не может быть демократической политической системы. В Польше оно тоже пока слабое, а такая система там тем не менее утвердилась.

Вот некоторые вопросы, которые, как мне кажется, полезно обсудить. Если будут предложены какие-то другие, очень хорошо. Первым выступит Эдмунд Внук-Липинский — замечательный социолог и политолог, известный не только в Польше, но и за ее пределами.

Эдмунд ВНУК-ЛИПИНСКИЙ (*профессор, ректор Высшей школы коллегии «Умсовитус» в Варшаве*):

«В демократической Польше интеллектуалы не могли уже играть ту роль, которую они играли в Польше коммунистической»

Я хочу начать с того, что произошло в 1989 году на Круглом столе власти и оппозиции, в котором мне тоже довелось участвовать. О том, что я хочу сказать, Адам Михник не говорил, а мне это кажется существенным.

Тогда изменение системы в результате Круглого стола произошло так быстро и неожиданно, как никто не мог себе представить — ни представители коммунистической элиты, ни лидеры «Солидарности». Мы определяли тогда свой возможный успех очень скромным образом, а именно как легализацию «Солидарности» и учреждение более либеральных порядков публичной жиз-

ни. Мы рассчитывали на то, что если примерно четыре года в парламенте будет оппозиция от «Солидарности», то за это время мы научимся управлять. А через четыре года, полагали мы, будут, может быть, свободные выборы, и тогда мы сможем, возможно, выиграть, будучи уже готовыми к роли политических руководителей Польши. Но то, что случилось в результате заседания Круглого стола, вышло далеко за горизонт воображения всех участников тех переговоров. Даже, наверное, и Адама Михника, чей горизонт воображения очень широк.

Не стану углубляться в то, почему так случилось. Во всяком случае, роль интеллектуалов в этом событии была, по моему убеждению, довольно ограниченной. Важно то, что лидеры «Солидарности» выиграли выборы и стали властью, к обладанию которой не готовились. Существенно и то, что «Солидарность» — многомиллионное массовое движение, возникшее на основе низовой самоорганизации после первого приезда в Польшу папы римского в 1979 году, быстро распалась. Движение консолидировалось наличием общего врага, с исчезновением которого исчезла и опора консолидации. Это, конечно, не единственная причина спада, но наверняка и не второстепенная.

Какова же была роль польских интеллектуалов после того, как «Солидарность» победила на выборах? Можно сказать, что они придали начавшимся тогда политическим процессам некоторое нормативное измерение, но не больше того. Реальная же политика началась в 1990 году, когда Лешек Бальцерович приступил к осуществлению радикальных изменений в экономике. Потому что ее реформирование, переформатирование ее субъектов было главной проблемой Польши в то время. Именно реформы Бальцеровича и изменили, собственно, всю нашу жизнь.

Однако эти реформы, вызвавшие отрицательную реакцию значительных слоев населения, тоже сыграли свою роль в распаде «Солидарности». Кроме того, они ориентировали людей на их частные интересы, что отнюдь не способствовало превращению этих людей в граждан, не способствовало формированию гражданского общества. А демократия без гражданского общества — это как дом без фундамента. Такой дом можно построить, но устойчивым и прочным он не будет. Мы, интеллектуалы, конечно же отдавали себе в этом отчет. И многие из нас шли в политику, чтобы формированию гражданского общества способствовать. Но из этого почти ничего не получилось и получиться не могло. Вхождение интеллектуалов в политику было изначально двусмысленным, так как было вхождением в совершенно иную сферу деятельности.

Деятельность интеллектуала и деятельность политика имеют разные логики. Если интеллектуал является, скажем, ученым, то для него главным мотивом и стимулом является желание дойти до истины, понять природу тех или иных явлений и процессов. Интеллектуал, конечно, имеет право высказы-

ваться публично по общественным проблемам, даже если они выходят за рамки его профессиональной компетенции. Особенно в области нравственности. Но занятие политикой — это совсем другое.

Главная дилемма, перед которой оказалась часть интеллектуалов, участвовавших в движении «Солидарность» — и Адам Михник живой этому пример, — как раз и заключалась в том, вовлекаться ли в политику, или по-прежнему оставаться вне ее. Потому что вхождение в политику имеет свою цену.

Интеллектуал, который такое вхождение осуществляет, неизбежно должен отказываться от свободы мышления, потому что не может повредить своей политической организации. Он должен сохранить определенный минимум партийной лояльности. И тем самым сужать перспективу познания, потому что он вынужден преувеличивать значение того, что совпадает с его политическими целями, и маргинализировать те элементы действительности, которые этим целям противоречат. В результате — неизбежное искажение видения реальности. А это значит, что ученый, художник или артист, который входит в политику, перестает быть интеллектуалом. Он становится технологом власти.

Политик же, который не хочет обладать властью, это не политик. Он должен желать власти, потому что иначе он не может осуществить свои цели. Те политики, которые говорят: «Мне не нужна власть», просто не понимают природы того, чем занимаются, как и того, ради чего они это делают.

К сказанному можно добавить, что интеллектуал, который поставляет свои знания политику независимо от того, какие цели тот преследует, является или циником, или партийным интеллектуалом. В том и другом случае это его, как интеллектуала, дисквалифицирует. Наконец, возможен вариант, когда интеллектуал изолируется от публичной жизни, и тогда он становится клерком. Но во времена великих перемен быть клерком могут позволить себе лишь люди, совершенно нечувствительные к общественным вопросам.

А теперь, прояснив различия между интеллектуалом и политиком, я хочу вернуться к разговору о гражданском обществе, которое является фундаментом демократии. В состоянии ли интеллектуалы способствовать его развитию? В коммунистический период они этому способствовали, о чём Адам Михник уже говорил. Но в тот период речь шла об особом явлении, которое я называю *этическим гражданским обществом*. В теории демократии такое понятие почти не употребляется, но оно, как мне кажется, очень точно характеризует мой собственный опыт и опыт моего поколения.

Диссиденты в коммунистической Польше, как и в Советском Союзе, о чём говорил Сергей Ковалев, становились диссидентами не потому, что они стремились к власти. Адам сидит рядом и, как бывший диссидент, может меня поправить, если я ошибаюсь. Тогда быть диссидентом означало прежде всего

нравственную оппозицию по отношению к коммунистической системе. Это означало моральную установку на гражданственность в условиях отсутствия гражданских прав. Это означало отказ принимать принципы репрессивного режима, как режима циничного, основанного на тотальной лжи. Такое диссидентское движение возникло во всех странах Восточной Европы и в Советском Союзе. Это и есть то явление, которое я называю этическим гражданским обществом.

Но такое явление не может быть исторически долговременным. Ибо или система репрессивно его уничтожает, видя в нем смертельную опасность для своего существования, или проигрывает и сходит со сцены. А если проигрывает, то этическое гражданское общество, противостоявшее прежней системе, свою миссию исчерпывает. Начинается игра интересов, начинается настоящая политика. И в этой новой ситуации те диссиденты, которые вошли в политику, став депутатами первого нашего свободно избранного парламента, быстро запутались, как кролик в машине. Они поняли, что настоящая политика — это не продолжение этического гражданского общества, а игра интересов и успешностей. Но они пытались совмещать одно с другим, что не получилось и получиться не могло.

Однако в демократической системе нельзя реализовывать интересы без поддержки граждан. А для этого должны быть граждане. Если их нет, то мы имеем дело с клиентами, которых можно покупать. Так и происходит в олигархических системах, где авторитарные руководители пользуются поддержкой масс, которую они купили, освободив людей от ответственности за их собственные действия. Польше удалось избежать авторитарного перерождения демократии, но мы могли наблюдать, сколь тяжким оказывается для многих это бремя ответственности.

Для значительного числа поляков, когда рухнул коммунизм, было огромной неожиданностью, что свобода означает неуверенность в будущем и риск. Но ведь если мы действительно имеем свободный выбор, как личности, то мы можем и ошибиться в выборе. А если мы ошибаемся, то мы переживаем поражение. Это вроде бы очевидно, но для многих в Польше это было шокирующим открытием. Было чем-то таким, что очень трудно перенести.

Конечно, в мировой истории это никакая не новость. Аналогичный шок пережили многие европейские народы в межвоенный период, когда огромные массы людей, говоря словами Эриха Фрома, бежали от свободы под крылья разных авторитарных вождей. Волна фашизма, которая прокатилась по Европе и столкнулась с коммунизмом, — это ведь тоже не обошлось без участия и поддержки обыкновенных людей. В Веймарской республике самые радикальные партии, т.е. нацистская и коммунистическая, отличались, как показывают исследования, самой большой текучестью избирателей. Значит, людям, которые отдавали свои голоса коммунистам или нацистам, было все равно,

за кого голосовать. Они голосовали за радикальную политическую альтернативу свободе и демократии, которая снимет с них бремя ответственности за собственную жизнь.

В посткоммунистической Польше демократия устояла, но кто-то из вас помнит, возможно, наши первые президентские выборы, когда вдруг четверть избирателей обнаружили готовность отдать государственную власть человеку ниоткуда. Не буду называть его фамилию — не стоит его упоминать. Этот человек за шесть недель стал в глазах многих привлекательной альтернативой и посткоммунистам, и лидерам «Солидарности». Первых отвергли, потому что сохранялась еще радость по поводу их недавнего политического падения. А вот от лидеров «Солидарности» многие их бывшие сторонники отвернулись именно потому, что открыли для себя, что свобода может сопровождаться поражениями. Между тем с готовности с этим считаться и это принимать только и начинается взрослая жизнь. Если мы хотим быть автономными личностями с правом свободного выбора, то мы должны нести ответственность за последствие такого выбора. Но, повторяю, многие в Польше были к этому не готовы.

Изменилось ли что-то с тех пор? Недавно мы провели исследование того, как люди понимают состояние гражданства в демократической системе и какой видят свою роль в ней. Мы пользовались классическим разделением гражданства на три сегмента: собственно гражданское, политическое и социальное. Гражданское — это свободная личность; политическое предполагает, что она может иметь политическое представительство и участие во власти; социальное — это обеспечение какого-то минимума благосостояния для всех. Исследование показало, что самым существенным для поляков является сегмент гражданский в сочетании с политическим, т.е. индивидуальная свобода в сочетании с правом прямо или опосредованно (через политическое представительство) участия во власти. Вместе с тем почти 40% нашего населения полагает, что демократическое государство не имеет права отказываться от тех функций, которые унаследовало от коммунистической системы, т.е. от опеки над людьми. Отсюда и наш вывод: польское общество является обществом гражданским, в значительной степени сохраняющим при этом ориентацию на патернистское, опекунское государство.

Какова же в таких условиях роль интеллектуалов? Что они могут сделать для развития гражданского общества?

Прежде всего, они призваны определять, что в политике можно и что нельзя. Они должны формулировать ее цели и нормативные основы их реального осуществления. Можно сказать, что они отвечают за состояние политической культуры в стране, потому что именно интеллектуалы определяют формат и способ ведения публичного диспута. Если они подлашиваются к низкому уровню этой культуры или на сей счет отмалчиваются, то они свою общественную функцию не выполняют.

Влиять на политическую культуру — значит влиять на формирование демократических, республиканских добродетелей. Таких, как доверие, толерантность, ответственность за других. Особенно важно сегодня для нас доверие, потому что при его дефиците (а Польша, как показывают исследования, сейчас переживает кризис общественного доверия и по вертикали, и по горизонтали) создаются некие приманки для политических лидеров, которые хотели бы расплывчатые авторитарно-патерналистские установки цементировать, соединить в один вектор. Но я надеюсь все же, что до этого в Польше дело не дойдет.

Игорь КЛЯМКИН:

Благодарю господина Внук-Липинского за содержательное сообщение. Обращаю внимание аудитории на введенный им термин «этическое гражданское общество». Мы, как и поляки, тоже пережили в свое время состояние, этим термином передаваемое. И у нас, как и в Польше, это состояние уже в прошлом. Но в Польше «этическое гражданское общество» оставило после себя демократическую политическую систему, а в России — обновленную версию системы авторитарной. И потому для нас «этическое гражданское общество» — это, возможно, не только прошлое, но и будущее.

Разумеется, о простом повторении польского опыта 1980-х годов речи быть не может. За прошедшее с тех пор время в России тоже возникла «игра интересов». И хотя гражданское общество, образуемое на основе консолидации этих интересов, у нас еще слабее, чем польское, аналог «этического гражданского общества» 1980-х уже невозможен. В условиях, когда существуют рыночные отношения и частная собственность, моральный протест не может даже временно осуществляться поверх конкретных экономических интересов. Не говоря уже о том, что широкую консолидацию такого протesta трудно представить себе при том дефиците доверия, намного более острым, чем в Польше, который наблюдается сегодня в российском обществе.

И еще я обратил внимание на то, как скромно господин Внук-Липинский оценил роль интеллектуалов в политических преобразованиях, начавшихся в Польше после победы «Солидарности» на парламентских выборах 1989 года. Я обратил на это внимание именно потому, что пример польских интеллектуалов сегодня очень часто используется — повторю то, о чем уже упоминал во вступительном слове, — для критики интеллектуалов российских: в отличие от них поляки, мол, заранее составляли конструктивные программы политических и экономических преобразований, чтобы обвал коммунистической системы не застал их врасплох. Да, такие программы у польских интеллектуалов были, что сыграло свою роль после падения коммунистического режима. Да, они привнесли в политику то «нормативное измерение» (я так понимаю, что измерение европейское), которое российской демократической интелигенции

привнести не удалось. В том числе и в силу ее неподготовленности к этому. Но оказывается, что и польские интеллектуалы не были готовы к тому, что власть окажется в руках антисоветской оппозиции. Равно как и к тому, что сама оппозиция эта, став властью, тут же расколется, а демократическая интеллигенция, пришедшая в политику, станет там инородным телом.

Но ведь и в России после падения коммунистического режима наблюдалось примерно то же. Вопрос же в том, оправданно ли в наших нынешних условиях то разграничение ролей интеллектуала и политика, о котором говорил польский коллега. Желательно иметь этот вопрос в виду, размышляя о сегодняшнем состоянии интеллектуальной элиты и ее возможностях в наших странах.

Обсуждение этого состояния и этих возможностей продолжит Глеб Мусихин.

Глеб МУСИХИН (профессор Государственного университета — Высшей школы экономики):

«Наша страна в целом опускается в третий мир, а ее интеллектуальная элита продолжает позиционировать себя как принадлежащую к странам "золотого миллиарда"»

Эдмунд Внук-Липинский очень четко и очень понятно обозначил приоритеты, которыми должно руководствоваться интеллектуальное сообщество, но они относятся лишь к той реальности, которую можно определить как общество «золотого миллиарда». Только в странах, к нему принадлежащих, интеллектуальное сообщество способно к самовоспроизведению как источник ценностей и смыслов гражданского общества. В других же странах положение несколько иное: это касается и самосознания экспернского сообщества, и его политического позиционирования.

На мой взгляд, проблема России именно в том, что в предыдущий исторический период ее существования в ней была создана достаточно мощная интеллектуальная элита. Можно спорить о том, какой именно она была, можно задним числом выражать недовольство ею, но она существовала. Советский Союз в интеллектуальном отношении был достаточно развитым обществом. Этот факт отрицать бессмысленно, хотя опять же можно дискутировать о том, каков был качественный состав этого общества в целом.

Но на известном всем этапе — в начале 1990 годов — в развитии страны произошел достаточно резкий перелом. И по большинству показателей она опустилась ниже того уровня, на котором интеллектуальная элита оказывается востребована и ценится. Иными словами, сегодня у нас имеется интеллектуальное сообщество, доставшееся нам от предыдущего исторического этапа, а подобающий уровень развития страны для такого интеллектуального сообщества отсутствует. В результате же это сообщество сталкивается с проблемой собственного самовоспроизведения в ситуации своего драма-

тического несоответствия окружающей социально-экономической действительности.

На мой взгляд, российские интеллектуалы оказались в положении интеллектуальной элиты стран третьего мира, где очень остро стоит вопрос о востребованности самой такой элиты. В развитом мире — в том, что я определил как страны «золотого миллиарда», — она формирует повестку дня для всего общества. Ну, если и не повестку дня, то какие-то ее стержневые моменты, т.е. она бросает в воду те смысловые «камни», от которых потом начинают расходиться «круги». Последние неизбежно адекватно воспроизводят изначально брошенные «камни», но тем не менее интеллектуальная элита дает определенный импульс для развития общественных умонастроений.

Иными словами, в западных либерально-демократических странах сформировалось то, что в свое время Йозеф Шумпетер назвал «демократией экспертов». Именно экспертное сообщество в широком смысле этого слова (имеются в виду не только ученые и интеллектуалы, но и журналисты, а также наиболее продвинутая часть политического класса) задает для демократии коридор целей и смыслов, внутри которого данное государство и данное гражданское общество обсуждают свои реальные перспективы. Представления о них могут расходиться, могут сталкиваться, но определенный коридор этих перспектив задается именно интеллектуальным сообществом.

Российская же интеллектуальная элита, будучи не соответствующей социально-экономической реальности, которая на данный момент в России сложилась, именно поэтому не способна не то что задать этот коридор возможностей, но даже участвовать в его формировании. Не способна именно потому, что она сложнее этой реальности. Не лучше и не хуже, а сложнее. Потому что она сформировалась как более сложная. И сейчас ей, чтобы участвовать в решении конкретных вопросов, стоящих перед страной, предлагается стать более адекватной, более прикладной, а по большому счету — более примитивной. То есть в обмен на возможность участия в решении каких-то государственных задач российской интеллектуальной элите предлагается упроститься. А в нынешнем своем состоянии она просто не может быть востребована.

Проблема заключается не столько даже в отношении к этой элите, сколько в ее самосознании, понимании ею своего положения. Потому что она — в силу совершенно естественного инстинкта самосохранения — не готова, думаю, признать свою принципиальную невостребованность как свершившийся факт. Это действительно обидное, болезненное состояние, которое на сегодняшний день имеет место быть в нашей стране.

Естественно, у меня нет никакого морального права интеллектуальную элиту осуждать — хотя бы потому, что, льщу себя надеждой, в каком-то смысле и сам к ней принадлежу. Но если она не сможет сделать хотя бы этот первый шаг и не осознает свое положение, то, на мой взгляд, она не сможет на-

чать и реальное осмысление проблем, которые перед Россией стоят, и всерьез обсуждать, куда же нашей стране реально двигаться. И тогда будут сохраняться все эти многочисленные недоговоренности, двусмысленности и неясности, которыми переполнены наши публицистические и аналитические тексты. Да, в них порой представлен детальный и даже изощренный анализ сложившейся ситуации, но в них нет не только однозначных ответов на какие-то вопросы, но и постановки однозначно понимаемых самих вопросов и проблем. А нет ее в том числе и потому, что, если все проблемы будут четко поставлены и осмыслены в своей сути, интеллектуальное сообщество опять же неизбежно должно будет сделать вывод о своей неадекватности (и, соответственно, неужности) в сложившейся российской реальности.

Итак, общая диспозиция примерно такова, что *наша страна в целом опускается в третий мир, а ее интеллектуальная экспертная элита продолжает позиционировать себя как принадлежащую к странам «золотого миллиарда»*. При этом что установки российской политической элиты далеко не тождественны установке этой самой экспертной элиты. Потому что для последней принадлежность российского общества к «золотому миллиарду» (действительная или потенциальная) — вопрос принципиальный: ведь если Россия к этому « золотому миллиарду» не принадлежит хотя бы потенциально, то интеллектуальная элита повисает в воздухе. Между тем для политической элиты принадлежность к « золотому миллиарду» или к странам третьего мира — вопрос не принципиальный, а второстепенный.

Главное для нее — контроль над Россией и российским обществом. А каким оно будет — развитым, либерально-демократическим или обществом третьего мира, для политической элиты, повторяю, не столь существенно, как для интеллектуальной. И в этой ситуации экспертное сообщество, на мой взгляд, само подрывает основу своего существования, потому что пытается выполнять две несовместимые, взаимоисключающие функции: поддерживать свое невостребованное экспертное качество и одновременно обслуживать политический класс.

Обслуживая властное сообщество, интеллектуалы не в состоянии прориковать ему собственную повестку дня. Они вынуждены довольствоваться положением экспертной обслуги, не более того. Не будучи же способными прориковать собственную повестку дня, интеллектуалы вынуждены принимать ту повестку, которую задает власть. И в которой им, как сложной социальной целостности, нет места. Ни сейчас, ни тем более в будущем. И это можно было бы считать фарсом, если бы это не было настоящей драмой.

Неспособность нашей интеллектуальной элиты выработать собственную повестку дня рельефно проявилась в последнее время в ходе обсуждения таких вопросов (о них здесь уже упоминалось), как возможное новое расширение НАТО и оценка Украиной Голодомора 1930-х годов.

В отношении к НАТО российское интеллектуальное сообщество, даже та его часть, которая считает себя либеральной и демократической, послушно выстроилась вокруг темы, заданной из Кремля: «Является ли НАТО угрозой для России или таковой не является?». Но обсуждать подобные вопросы — это и значит следовать чужой повестке дня. Лучше было бы, если бы наши интеллектуалы спросили и власть, и общество: «А почему Россия, как неотъемлемая часть европейской цивилизации, до сих пор не член НАТО?» Вот в чем проблема, а не в том, представляет ли евро-атлантический альянс опасность для нашей страны — тем более если речь идет не о военной, а о цивилизационной опасности. Ответом на бессодержательный вопрос, является ли расширение НАТО цивилизационной угрозой для России, может быть лишь перевод самого вопроса в иную плоскость: «А на каком основании мировоззренческие стереотипы администрации президента объявляются сущностью российской цивилизации?»

В отношении украинской оценки Голодомора ситуация еще более интересная. Прогрессивная российская интеллигенция с энтузиазмом бросилась обсуждать тему: «Был ли Голодомор на Украине локальным явлением или он относился ко всем территориям Советского Союза того времени?». И я не слышал, чтобы кто-то спросил: почему тема Голодомора служит на Украине формированию национальной памяти и национального самосознания, а у нас об этой теме вспомнили только после того, как она актуализирована другими? Да и то лишь для того, чтобы этих других дружно осудить? Где наше интеллектуальное сообщество, которое задает определенные рамки для общественной дискуссии?

Ведь мало кто озабочен даже вопросом о том, как вообще Сталин, главный конструктор Голодомора, мог попасть в число главных героев нашего времени. Напомню хотя бы о проекте «Имя Россия» на российском телевидении. Среди наиболее выдающихся отечественных деятелей культуры, политики, науки предлагалось выбрать того, кто на сегодняшний день может быть ассоциирован с Россией в целом. И одно из таких имен — Сталин. Как человек, виновный в преступлениях против человечности, может в принципе попасть в этот список, да еще и обсуждаться на государственном канале?

Можно сколько угодно сетовать на то, что у нас нет гражданского общества. Но если у нас есть интеллектуальное сообщество, то хотя бы оно могло предложить определенные рамки для формирования самосознания и саморазвития этого гражданского общества. Но таких предложений от него не поступает. Оно ждет, когда очередная тема будет инициирована администрацией президента, чтобы начать ее обсуждать. С положительным или отрицательным знаком — это уже непринципиально. Принципиально то, что интеллектуальное сообщество само ничего не предлагает. Оно ждет инициативы властных институтов.

Если так будет продолжаться, то существование интеллектуального сообщества в России — в том виде, в каком оно еще существует, — неизбежно закончится его самоликвидацией. Чтобы этого избежать, для начала было бы неплохо хотя бы понять, сколь опасен путь, по которому при нашем участии движется страна. И избавиться от иллюзии, что вот, мол, если мы получим доступ на каналы телевидения, то все изменим. Чтобы что-то изменять, для начала желательно хотя бы адекватно осознать собственное нынешнее положение.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Глеб Иванович. Вы предложили интересную постановку вопроса — и в общем плане, и в приложении к конкретным политическим сюжетам. Но один момент я не совсем понял. У вас получается, что при советской власти сформировалась «сложная» интеллектуальная элита, которая для постсоветской реальности слишком сложна. Но отсюда вроде бы должно следовать, что реальности советской эта элита вполне соответствовала, а потому и была в ней востребована. Но в чем именно советская реальность была сложнее нынешней, остается неясным.

Я могу согласиться с тем, что российская интеллектуальная элита, по крайней мере ее либеральное крыло, собственную повестку дня обществу сегодня не предлагает, выполняя, как правило, функции обслуживания власти. Но ведь и в советское время, насколько помню, она такой повестки не предлагала.

Глеб МУСИХИН:

Она решала другие задачи. Сейчас же контекст изменился, а интеллектуальная элита не меняется.

Игорь КЛЯМКИН:

Она слишком «сложная», но ей тем не менее предстоит меняться. В направлении еще большей «сложности»? В каком-то еще? Я пытаюсь сопоставить сказанное вами с тем, что говорил о советской интелигенции Лев Дмитриевич Гудков (а он говорил нечто прямо противоположное), и одно с другим совместить не могу. Поэтому я акцентирую внимание присутствующих на вашем тезисе о неспособности нашей интеллектуальной элиты формировать собственную повестку дня, альтернативную официальной, а вопрос о степени «сложности» этой элиты предлагаю оставить для будущих дискуссий.

А теперь я предоставляю слово господину Ежи Помяновскому. Это очень известный в Польше знаток России, о чём Адам Михник уже сказал. В свое время Ежи перевел на польский язык «Архипелаг ГУЛАГ». Он издатель журнала «Новая Польша», который выходит на русском языке. Пожалуйста, пан Помяновский.

Ежи ПОМЯНОВСКИЙ (*политолог, главный редактор журнала «Новая Польша»*):

«Маргинализация национальной интеллигенции национальной властью — это вопиющая безответственность»

После того как я выслушал так много интересных и тонких рассуждений, у меня появилось желание вернуться к некоторым простым вещам. Мой учитель, профессор Тадеуш Котарбинский, у которого я начинал мое университетское образование, утверждал, что около 90% всех дискуссий начинаются и продолжаются лишь из-за неточного определения понятий. Поэтому для начала позвольте мне напомнить определение интеллигенции, многим из вас, наверное, известное, которое дал Ричард Пайпс.

Он сказал, что «интеллигенция — это слой людей, не заинтересованных материально в консервировании существующего порядка вещей». Отсюда ее готовность понимать необходимость перемен и поддерживать их. Правда, в коммунистические времена поляки на собственном опыте осознали, что следует из такого определения. Достаточно было обратиться в полицейский участок, чтобы узнать, кто такие интеллигенты. Любой полицейский ответил бы вам, что это люди, которых превентивно помешают на первых страницах списков будущих интернированных.

Так это было, и это, по-моему, не противоречит тому, что сказал Ричард Пайпс. Но то, что происходило у нас в начале 1980-х, было все же не совсем обычным явлением. И оно многое объясняет не только в нашем недавнем прошлом, но и в том, что происходит в Польше сейчас.

Я имею в виду так называемый период шестнадцати месяцев карнавала «Солидарности». Это было то, о чем два последних столетия мечтали многие умные люди, начиная с Оуэна, Фурье и других утопистов. Произошло то, что в 1920-е годы в Советском Союзе называлось «смычкой». Это была смычка интеллигенции и передового отряда рабочего класса. Только благодаря этому мы и стали свидетелями упомянутого мной карнавала «Солидарности», что привело впоследствии к коренному перелому 1989 года.

Эта смычка рабочих и интеллигенции выразилась в Польше в виде своего рода «десанта» интеллектуалов первого разряда, наделенных при этом тем, что по-польски называется «сполочниковским инстинктом» (т.е. чувством гражданской обязанности), в рабочую среду. Они приехали из Варшавы и Krakова, чтобы помочь бастующим рабочим. Я утверждаю (и, может быть, Адам Михник изволит это подтвердить), что благодаря тому «десанту» забастовка рабочих на верфи не ограничилась требованием повышения заработной платы, а сопровождалась и выдвижением политических требований, включая требование освобождения «узников совести», т.е. Курона и других друзей Михника.

Это были беспрецедентные события, учитывая и то, что совместные действия рабочих и интеллигентов увенчались в конечном счете успехом. Ус-

пехом, который положил начало аналогичным успехам в других странах так называемого социалистического лагеря. И одновременно лишний раз продемонстрировал позитивную роль неуспешных экспериментов в истории. Экспериментов, которые показывают людям, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах.

В свое время мне, будучи студентом, довелось слушать лекции гениального человека, Алексея Дмитриевича Сперанского, опального последователя академика Павлова. Начинал он их с предупреждения, чтобы мы не искали успехов. Потому что, говорил он, неудачный эксперимент приносит порой результаты, гораздо более полезные для науки и для прогресса, чем многие удачные опыты. И эксперимент, проведенный в СССР в отношении интеллигенции, показал, что Алексей Дмитриевич был прав.

Как известно, в Советском Союзе пытались не ликвидировать интеллигенцию вообще, а превратить ее представителей в так называемых узких специалистов. Попытка, которая кончилась тем, что Советский Союз оказался позади стран Запада даже в производстве вооружений. И тогда в Кремле появился новый лидер — Михаил Горбачев, который хотел спасти социализм, осуществляв его перестройку, для чего ему пришлось апеллировать прежде всего к той же интеллигенции, причем не к ее профессиональному, а к ее гражданскому сознанию. Но это лишь ускорило крах советской системы, произшедший несмотря на то, что ничего похожего на польскую смычку рабочих и интеллигенции в добрьбачевском СССР не наблюдалось.

Но эта смычка, этот уникальный союз оказался и у нас кратковременным. Дав толчок грандиозным переменам, он вскоре распался из-за легкомыслия польской интеллигенции. Этим распадом и обусловлены те трудности, которые Польша сейчас переживает. Это и дало возможность братьям Качинским обратиться к населению через голову интеллигенции и, получив ее поддержку на выборах, попробовать править без интеллигенции, т.е. при игнорировании того гуманистического фактора, который отличает ее от всех других социальных слоев, занимающихся профессионально умственным трудом. Например, от чиновников.

Ярослав Качинский, человек больших способностей и очень успешный политик, отказывается, правда, считать свою партию «Право и справедливость» антиинтеллигентской. «Мы не антиинтеллигентская партия, — говорит он. — Просто в какой-то определенный момент мы пришли к убеждению, что нет у нас опоры, нет массовой поддержки для осуществления тех перемен, которые мы считаем абсолютно необходимыми. И поэтому мы обратились к другим слоям, обратились к массам — для того, чтобы получить большинство в парламенте». Но это было обращение к людям, представляющим самую отсталую часть общества. Они, конечно, в своей отсталости не виноваты, но решающее политическое значение имеет то, что среди них

преобладают антиинтеллигентские настроения, что интеллигентов они не выносят.

Правительство Качинских, прия к власти благодаря их поддержке на выборах, не могло с этим не считаться. Но именно поэтому то правительство довольно быстро сошло со сцены. Следующие парламентские выборы партия Качинских проиграла. И не потому, что ее избиратели от нее отвернулись (они не отвернулись), а потому, что интеллигенция, в том числе интеллигентная польская молодежь, пришла на выборы, чего до того не делала. Именно это привело к тому, что партия интеллигентных братьев Качинских, опирающаяся на отсталые слои населения, те выборы проиграла. Надеюсь, что власть она потеряла безвозвратно, что впечатляющих побед у нее уже не будет, хотя полной уверенности в этом у меня нет.

Мировая история знает немало попыток править без образованного и обладающего гражданским чувством слоя народа. К чему это ведет, известно тоже. Можно вспомнить, например, о том, как исчезла цивилизации инков в Южной Америке. Колонизаторы уничтожили умственную элиту этого народа. Все его культурные и религиозные традиции остались при нем, но он никогда уже не смог подняться с колен. В новейшее время на эти традиции пытаются опереться, причем довольно-таки искусственно и не всегда успешно, что видно, скажем, на примере Венесуэлы. Негативные последствия экспериментов, направленных на уничтожение умственной элиты, могут сказываться столетиями.

Мы в Польше тоже хорошо знаем, что такое ликвидация национальной интеллектуальной элиты внешними силами. Напомню, что немецкие оккупанты, после того как вошли в Krakow, первым делом созвали профессоров Ягеллонского университета и всех (или почти всех) сослали в Шаффхаузен. То же самое сделали в украинском Львове, который тоже был тогда польским городом и одним из ярчайших воплощений польской традиции, что, разумеется, вовсе не исключает права украинцев считать его украинским.

Что сделали во Львове нацисты? Они расстреляли профессоров университета, включая выдающихся ученых с мировыми именами. Исходя из своих интересов, нацисты рассуждали правильно: достаточно обезглавить народ, лишить его национальной интеллектуальной элиты, чтобы властвовать над ним беспрепятственно. Но если для колонизаторов и оккупантов это логично, то маргинализация национальной интеллигенции национальной властью — это вопиющая безответственность.

Интеллигенция — не реликт прошлого. Это фермент и зачин будущего, убедительные доказательства чему мы находим сегодня и в Европе (например, в Финляндии), и на Дальнем Востоке (в Японии). Это страны, успехи которых общепризнаны, не имеют ни единого грамма натурального сырья. Их достижения стали возможны благодаря приоритетному развитию образования и на-

уки. Или, что то же самое, благодаря опоре на интеллектуалов, на национальную интеллигенцию этих стран.

И потому я хочу завершить свое выступление чем-то вроде слогана, который звучит так: «Очки, объединяйтесь! Пожалуйста!»

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, пан Помяновский. Из вашего выступления хорошо видно, чем отличался режим Качинских в пору нахождения их обоих у власти от режима Путина. При режиме Качинских интеллигенция пришла на выборы, на которые раньше не ходила, в результате чего Качинские посты премьер-министра лишились. А у нас кто бы ни пришел, ничего измениться не может...

Глеб МУСИХИН:

Это пока.

Игорь КЛЯМКИН:

Понятно, что пока. Весь вопрос в том, сколько времени это «пока» продолжится и что его может оставить в прошлом. Путинизм — это ведь состояние не только власти, но и общества. В том числе и значительной части интеллигенции.

Ирина ЯСИНА (вице-президент фонда «Либеральная миссия», руководитель «Клуба региональной журналистики»):

Сегодня, как вы знаете, Путин общается по телевизору с народом. Когда у нас был перерыв, я немного посмотрела этот спектакль. А потом попросила Кшиштофа Занусси оценить оформление студии и атмосферу в ней. Кшиштоф произнес, по-моему, совершенно гениальную фразу: «Путь на небо».

Игорь КЛЯМКИН:

Многие считают, что так и надо, что это соответствует нашей политической и прочей культуре. А о том, как она влияет на российских либеральных интеллектуалов и что они ей противопоставляют, нам расскажет Эмиль Паин. Это его тема. Мы готовы слушать, Эмиль.

Эмиль ПАИН (профессор Государственного университета — Высшей школы экономики, руководитель Центра этнополитических и региональных исследований):

«Нельзя защищать демократию, добровольно соглашаясь сотрудничать с ее могильщиками»

Игорь Клямкин уже сформулировал тему моего выступления. Я буду говорить о том, насколько свободен интеллектуал в российских историко-куль-

турных обстоятельствах. В ходе нашей дискуссии стало ясно: немалая часть присутствующих полагает, что уровень этой свободы чрезвычайно ограничен. На вопрос нашего модератора «А может ли произойти в России то, что произошло в Польше?» из зала тут же последовали ответы, пусть и в шутливой форме, но, по-моему, очень типичные для нашей современной ситуации: «Может, если заменить российское население польским». Но если у тех, кому нравится направленность польских изменений, осталась надежда только на смену населения в России, то тогда зачем здесь жить? Уж такого чуда у нас не произойдет точно.

Историк Александр Янов, оценивая нынешнее состояние российской либеральной мысли, пришел к неутешительному выводу: либералам лишь кажется, что они сопротивляются нашествию новых крепостников, а на самом деле они уже сдались, поскольку незаметно для себя переняли язык наступающего врага. Я согласен с историком, но от себя добавлю: переняли не только язык, но и мироощущение.

Недавно на встрече российских и грузинских экспертов один из российских ее участников, весьма уважаемый мной человек, безусловно, либеральных и демократических взглядов, так определил истоки различий в демократических процессах двух стран. В Грузии, мол, исторически сложился самый большой в бывшей Российской империи слой дворянства, а в России был самый значительный слой крепостных. Поэтому Грузия склонна к индивидуализму и готова к непрерывным революциям, а Россия — к рабству и к воспроизведству деспотии.

Вроде, на первый взгляд, похоже на правду. В постсоветской Грузии революции случаются так часто, что там даже появилось шутливое предложение: «Давайте внесем в Конституции норму о том, что президент приходит к власти раз в четыре года в результате революции». По поводу же периодического возвращения деспотии в России сегодня не говорит только ленивый. Но не все похожее на правду ею является. Я вот вспомнил, что доля дворянства, сопоставимая с его долей в Грузии, была в Польше и в Японии. Однако самурайство совсем не стимулировало революции в Японии. Да и в Польше, по крайней мере в современной, смена власти происходит без революций. В разных ситуациях одно и то же явление, соприкасаясь со множеством других, приводит к совершенно разным следствиям. Это аксиома, причем вроде бы немудреная, однако почему-то идея «особых цивилизаций», вечно холопских или вечно шляхетских, очень популярна сегодня в России. И сама эта идея, на мой взгляд, не только приговор нынешнему уровню интеллектуальной мысли, но и вернейший признак застоя.

Что такое застой? На мой взгляд, это историческая ситуация, при которой правящие слои не хотят, а оппозиционные силы не могут и не знают, как жить по-новому. В эпоху застоя у власти и у оппозиции в ходу один

и тот же миф о фатальной предопределенности судьбы страны и ее «особом пути».

В России нынешняя власть с его помощью оправдывает возвращение к имперской форме правления, ныне именуемой «суверенной демократией». Мол, что поделаешь, традиция у нас такая. «Культура — это судьба. Нам Бог велел быть русскими, россиянами» — это из установочной лекции Владислава Суркова, главного кремлевского идеолога. В ней наш новый Жданов или Суслов, опираясь на работы нашего нового Маркса — философа Ивана Ильина, указывает нам, что культура определяет *вечные особенности политического строя*. В российском случае это централизованная, персоналистская, деинституционализированная власть, где персоны важнее институтов, неформальные нормы важнее правовых. «Так было и так будет!»

В представлении идеологов нового издания официальной народности и суверенной культуры наиболее благословенные периоды в истории России связаны с деспотией, ныне уважительно называемой сильным государством или великой державой, которой боятся. Тогда как все попытки либерализации и демократизации приходились на периоды слабого государства и кризисов. И это, кстати, тоже похоже на правду. Но сходство с правдой лишь внешнее, поскольку в этом представлении перепутаны причины со следствиями.

Действительно, в периоды величия кто же будет думать о переменах? И так хорошо жить. Только когда великое государство с шумом садилось в лужу, когда само это величие приводило к катастрофам — например, когда самое большое и самое милитаризированное государство Европы середины XIX века проигрывало Крымскую войну иностранному экспедиционному корпусу, приплывшему к берегам России на нескольких кораблях, — тогда и приходилось начинать перемены. Но поскольку эти перемены осуществлялись самой властью, то она хотела их ограничить мелочами, чтобы лишь «ружья шомполами не чистить». Поэтому реформы всегда были оборванными, незавершенными, предвещавшими новый цикл колебаний российского маятника: от сильной руки — к свободе и обратно. И никогда еще этого «обратно» избежать не удалось.

Одни говорят о такой предопределенности с радостью, другие с сожалением (реальным или притворным), но суть одна — «не дергайся, не рыпайся, приспособливайся». Вот новейший пример такого приспособления. Возникает новая партия «Правое дело», созданная прямо в Кремле, и ее основатели говорят об этом открыто, смело и честно: «Да, мы будем работать в шарашке, изготавливающей колючую проволоку для суверенной демократии, да, мы принимаем ее правила игры, но в рамках этих ограничений мы будем защищать истинную демократию». Не получится у вас, господа, защитить ее, коль уж вы добровольно согласились сотрудничать с ее могильщиками. А у них использовать вас — очень даже получится.

Есть времена, когда возникает спрос на перемены, и тогда появляются интеллектуалы, жаждущие народовластия, тогда появляется писатель Максим Горький и прославляет бурю и Буревестника, а есть времена застоя, время сильного государства, и тогда появляется писатель Максим Горький, но уже как председатель Союза писателей, и говорит: «Какие там бури, все позади. Партия дала нам все, отобрав у нас только одно право — писать плохо. Так не будем же злоупотреблять доверием партии. Приспособимся к ее требованиям».

Мне понятно, что время формирует спрос и на идеи, и на их носителей. Мне понятно, почему ныне в России нет спроса на демократию, но есть спрос на патернализм, фатализм и их «интеллектуальных» защитников. Но если мы говорим об интеллектуалах, то имеем в виду не только тех людей, которые всего лишь зарабатывают на жизнь умственным трудом. Обычно мы понимаем под этим людей творческих. Само же понятие творчества — это по определению стремление к новому и его созидание.

Во все времена появлялись люди, которые хотели вырваться из свободу из царства осознанной необходимости. И если бы не было таких людей, то не было бы ни коперников, ни галилеев, не было бы польской «Солидарности», не прославился бы мой друг Адам Михник, который не захотел приспосабливаться к социалистической демократии «народной» Польши. Мне такой образ мысли ближе, чем идеал демократов из «шарашки», поскольку их приспособительные рефлексы как раз и подавляют творчество.

Мне понятно, почему люди творческие сегодня уходят из политики и ищут те сферы (искусство, наука, бизнес), где пока есть возможность большей творческой самореализации, чем в политике. Но я уверен, что близятся перемены. Нынешний мировой кризис лишь симптом перехода мира в новую эпоху, назовем ее условно постмодерном, в котором способность к творчеству и будет основным капиталом общества, его конкурентным преимуществом. В таких условиях появится уже массовый спрос на творцов.

Вместе с тем не стоит забывать и об историко-культурных особенностях стран и народов. Они действительно существуют. Однако должен вам сказать, что, изучая материалы сравнительных социологических исследований, я к своему удивлению обнаружил, что сходство между Россией и Польшей неизмеримо большее, чем я предполагал. Во всяком случае, и та и другая страна занимает одно из последних мест в Европе по доле людей, уважающих закон. Зато они лидируют по доле людей, оправдывающих беззаконие. В обеих наших странах население не очень уважает власть. Что касается неуважения к парламенту, то Польша даже впереди всей Европы. И наши политические элиты во многом похожи. Во всяком случае, польские братья-близнецы в период, когда один из них был президентом, а другой — главой правительства, были в чем-то удивительно похожи на тех наших нынешних лидеров, которых в России называют «сладкой парочкой».

Но есть и различия. Судя по материалам сравнительного исследования академических институтов социологии — российского и польского, в наших странах люди по-разному трактуют понятие «свои». Для Польши это жители не только страны, но и всей Европы. В нашей же стране актуальное пространство, которое жители называют своим, ныне ограничивается Россией, в лучшем случае СНГ, да и то потому, что это тоже большая Россия («они когда-нибудь к нам вернутся»).

У японцев, как сказал профессор Помяновский, «ни грамма собственного ресурса». Им нужно много трудиться и постоянно перестраиваться просто для того, чтобы выжить. В Польше тоже ресурсов негусто. Зато в России собственных ресурсов пуды и тонны. Нам-то зачем обновление? Зачем нам эта Европа, зачем Запад? И так проживем.

Далее, наши богатые ресурсы порождают в народе сомнения относительно замыслов внешнего мира: «Все они на наши ресурсы зарята, все они хотят отхватить жирные куски нашей территории». А сейчас появился еще и новый страх, возникли новые подозрения к внешнему миру. Они связаны с популярной в России идеей о некой мистической, врожденной, общемировой русофобии: «Ну, поляки, понятно, нас не любят, но и все остальные тоже». А в этих условиях какое уж вхождение России в Европу?

Конечно же моему другу Адаму было в сто раз легче оставаться нонконформистом и стремиться к созиданию новой политической реальности в Польше, чем нам здесь. Он мог опереться на некую историко-культурную автоматику, на культивируемое польской элитой уже полтора века стремление вырваться из империи и войти в ту самую Европу, в которой ныне преобладает спрос на демократические ценности. В России такой целевой установки не было. И что я тогда должен сказать? Все, сдаемся, прав тот, кто говорит об исторической необходимости приспособиться к империи и ее особой культурной почве, взыскиющей сильной руки с кнутом? Неужели нужно признать правоту публициста Леонида Радзиховского, предложившего тем, кто не хочет кнута в России, свой рецепт: «Хочешь свободы, как в Швейцарии, так уезжай в Швейцарию»? Только десятки миллионов моих сограждан, уже стремящихся к более свободной, чем ныне, жизни, в Швейцарии не поместятся, да и вообще эмигрировать не собираются. Им и мне нужно думать, как жить в России, и у нас есть надежда. Россия — маятник, и все в ней меняется очень быстро.

В 1991 году в нашей стране, где не было никаких историко-культурных позывов к Европе, большинство (67%) опрошенных говорили о том, что «социализм завел нас в тупик, наше будущее и наша модель — это Запад». Это говорили люди в России, с ее необычайно прочными гравитационно-культурными стяжками. И такое настроение держалось, между прочим, два года, пока потихоньку не стало вытесняться усталостью от незавершенных ре-

форм. Тогда заговорили: «Да, социализм был не так уж плох, а Запад не очень нам подходит». Тут же откуда ни возьмись появились традиционные российские «инженеры человеческих душ», заголосившие: «Да, конечно не подходит, у нас особая цивилизация». И это сработало. Ментальность подвержена конструированию, и современная культурология исходит из того, что роль конструктивного фактора сильно возрастает. Наиболее подвержено манипулированию массовое сознание в обществах, лишенных опыта самоорганизации и саморегулирования. Однако цикл спроса на традиционализм завершается.

Я абсолютно уверен, что очень скоро снова наступят времена, когда в российском обществе будет спрос на перемены. Только я не уверен, что к тому времени интеллектуалы либерального толка будут готовы встретить исторические перемены каким-то новым технологическим заделом, социальными и политическими проектами, которые будут: а) действительно значимы для общества; б) приемлемы для него; в) восприняты как национально-специфичные, пригодные для нашей трудной почвы.

Игорь КЛЯМКИН:

Мы для того и собрались, чтобы хотя бы обозначить проблему, о которой говорит Эмиль Паин. Дело в том, что у нас нет на либеральном фланге проектных интеллектуалов. Более того, они почти все считают, в том числе и некоторые из здесь присутствующих, что заниматься какими-то общественными проектами — занятие для интеллектуала не очень достойное, потому что...

Эмиль ПАИН:

Потому что это оправдание.

Игорь КЛЯМКИН:

Да, оправдание. Что это поприще для идеологов и политтехнологов вроде Дугина, Павловского или Маркова. Только и слышишь: то-то и то-то недостаточно изучено, недостаточно осмыслено, недостаточно понято. И что же такое нам предстоит еще понять, например, в сталинизме, чтобы непредвзято отнестись к правовой оценке Украиной того же Голодомора и сделать соответствующие выводы применительно к России?

Происходит своего рода бегство от целеполагания в познание. Мол, настоящий интеллектуал призван изучать то, что было и есть, а проектировать то, как должно быть, — это за пределами объективной науки и научной деятельности.

Адам МИХНИК:

Но именно об этом говорил и Эдмунд Внук-Липинский...

Игорь КЛЯМКИН:

По-моему, он говорил о деятельности интеллектуала в стране, где демократические преобразования политической системы уже завершены. В России же дело обстоит иначе, она не так уж далеко ушла от состояния, в котором Польша находилась до первых свободных выборов 1989 года. В те времена, насколько я понял, интеллектуальная деятельность отнюдь не считалась у вас несовместимой с проектным политическим мышлением, изучение того, «что было и есть», — с экспертным моделированием того, как «должно быть». А у нас многими считается, хотя в политическом смысле ситуация в России, повторяю, сегодня не так уж сильно отличается от той, что была тогда в Польше. При этом и объекты изучения выбираются таким образом, чтобы избежать соблазна целеполагания. Где вы видели стремление изучать путь к демократии той же Восточной Европы?

Однако самое интересное заключается в том, что такая позиция может сочетаться с жесткой критикой деятельности российской интеллигенции в недавнем прошлом за отсутствие у нее позитивных программ, за несозидательный критический пафос. А порой даже и с критикой нынешней власти иластной системы — не менее суровой, чем критика советской интеллигенцией системы коммунистической. И чем же в таком случае эти два типа критики, оба избегающие какой-либо проектности, друг от друга отличаются?

Не знаю, культурный это феномен, психологический или какой-то еще. Но то, что он существует, — это факт.

Евгений ЯСИН:

Можно вмешаться в ваш разговор? Я хочу обратить внимание на то, что в моей книжке «Приживется ли демократия в России?», вышедшей в 2005 году, изложена программа, которую я предложил для демократов. Вполне конструктивная.

Игорь КЛЯМКИН:

Да, такие программы есть. Есть ваша, есть и другие. В конце концов, программы российских либеральных партий тоже сочиняли интеллектуалы. В них говорится о том, что нужно сделать, чтобы Россия стала свободной и демократической страной, какие осуществить в ней институциональные преобразования. Но я-то говорил о другом. Я говорил о проектах, адресованных не узкому кругу аналитиков и партийных активистов, а обществу.

Широкие слои населения, даже образованного, не очень-то интересует, как должна быть устроена демократия, потому что после опыта 1990-х оно плохо понимает, зачем ему нужна сама демократия, как она связана с интересами миллионов людей. И чтобы войти в контакт с их сознанием, нужно убедить их в том, что демократия им выгоднее, чем ее отсутствие. Убе-

дить, учитывая и эволюцию в этом сознании представлений о самой демократии.

Вот о каком проекте я говорил. О проекте, транслирующем в общество смысл демократии (экономический, политический, нравственный), а не только соображения о том, как она должна быть устроена. В конце 1980-х — начале 1990-х годов этого было бы достаточно. Сейчас — уже нет. Общество стало другим, и сегодня любой проект не может не учитывать сдвиги, произошедшие в его сознании под влиянием опыта 1990-х.

Судя по данным социологов, запрос на такой проект появляется и в самом обществе. Это уже реакция на опыт годов 2000-х, о чём, насколько я знаю, собирается говорить Кирилл Рогов, которому и предоставляю слово.

Кирилл РОГОВ (*сотрудник Института экономики переходного периода, политический обозреватель «Новой газеты»*):

«Тема "интеллигенция и демократия", утратившая актуальность в 1990-е годы, снова становится злободневной»

Тема «интеллигенция и демократия» еще несколько лет назад могла показаться сугубо исторической. Вполне ясный — в контексте советского социума — конструкт «интеллигенция» становился все менее и менее определенным и содержательным в ходе перестройки экономической и социальной реальности, которая происходила в России и других постсоциалистических странах на протяжении 1990-х годов.

Отдавая дань той роли, которую сыграла интеллигенция в демонтаже коммунистического режима, нельзя было не признать: новая система экономических отношений и выстраиваемые ею иерархии ценностей подрывают и лидерские позиции интеллигенции в обществе, и саму возможность ее сохранения как специфического социального слоя. Слоя, который, говоря очень приблизительно, характеризовался не только определенным уровнем образования и родом занятий (интеллектуальный труд), но и ориентацией на специфическую субкультуру. Субкультуру с собственными ценностями, в той или иной степени оппозиционными официальной («партийной») системе ценностей и всей официальной культуре идеократического советского государства.

Так вот, в 1990-е казалось более или менее очевидным, что социальное лидерство переходит от интеллигенции к формирующемуся частному бизнесу. Причем лидерство не только экономическое. Бизнес выдвигался на ведущие позиции и в формировании политической и общественной повестки дня, в организации национальной политической и общественной коммуникации, в выработке социальных стандартов и ценностей. В то время как выполнившая свою историческую миссию в ходе революции 1989–1991 годов интеллигенция выглядела «уходящей натурай».

Однако опыт общественной и политической жизни России 2000-х годов заставляет несколько пересмотреть эти представления 1990-х. И дело не в том, что интеллигенция нашла свое место в новой социальной реальности, трансформировалась и сохранила свои позиции. Дело в том, что опыт формирования общенациональной политической и общественной повестки дня, опыт выработки общенациональной платформы для политической коммуникации, для инсталляции в общественную и политическую жизнь новой системы ценностей и правил, реализованный на рубеже 1980–1990-х интеллигенцией, оказался пока единственным успешным опытом такого рода. Бизнес же обнаружил неспособность создать такое пространство общенациональной политической дискуссии и «сохранить» более или менее стабильную систему ценностей, которая могла бы определять рамки этой дискуссии. «Прагматизм» предпринимателей, казавшийся в 1990-е их огромным преимуществом перед увядающей интеллигенцией с ее «идеалами», оказался на поверку их слабым местом, невосполнимой родовой травмой.

В новом контексте, созданном сытыми 2000-ми, тема «интеллигенция и демократия» перестает быть темой исторической, а становится, напротив, весьма злободневной. И вопрос, который перед нами встает и требует ответа, может быть сформулирован так: каким образом интеллигенция сумела навязать советско-российскому обществу на рубеже 1980–1990-х годов представления о ценности и практичности демократии и что способствовало их быстрой девальвации, если таковая имела место? Или, по-другому, этот вопрос может быть сформулирован следующим образом: что произошло в общественном сознании с понятием «демократия», когда в 1990-е оно выскользнуло из рук интеллигенции?

Даже при самом беглом ретроспективном анализе судьбы «демократических ценностей» в те годы можно выделить две противостоявшие друг другу позиции. Первая — демократия против рынка. Вторая — рынок против демократии. Попробуем в них разобраться.

Позиция *демократия против рынка* появилась в публичном пространстве почти сразу после запуска экономических реформ. 9 января 1992 года, через семь дней после того, как в России были отменены фиксированные цены на продукты и товары розничной торговли, один из лидеров победившей оппозиции (движение «Демократическая Россия») Юрий Бургин выступил в «Независимой газете» со статьей. В ней он призвал обеспечить карточный минимум продовольствия по низким ценам для населения и решительно осудил либерализацию цен. Логика его состояла в том, что эта либерализация ставит крест на демократии в России, потому что неминуемо приведет к массовому недовольству, которое будет использовано реваншистами и обеспечит массовую поддержку будущей контрреволюции. Для того чтобы сохранить демократию, необходимо остановить болезненные экономические преобразования и прислушаться к голосу большинства.

Через две недели состоялся пленум «Демократической России», на котором сформулированная Буртиным позиция была оформлена в политическую платформу. В результате в руководстве движения произошел раскол. При этом главным лозунгом «радикальной» группы, осудившей начавшиеся экономические преобразования, была именно «демократия» («остаться на позициях большинства»), а группа, поддержавшая экономические реформы, удостаивалась упреков в отступлении от демократических идеалов. Этот раскол стал одной из ключевых проблем в демократическом движении 1990-х, а само его возникновение фактически обозначило конец демократического консенсуса 1989–1991 годов.

В дальнейшем раскол оформился организационно в виде двух партий — «Яблока» и «Демвыбора», которые не могли прийти к соглашению о совместных действиях. Они резко полемизировали друг с другом, что в значительной степени предопределило судьбу «демократических ценностей» в глазах населения и поражение «демократов» в политической борьбе. В отличие от широко распространенного представления, приписывающего этот раскол в большей мере личным амбициям лидеров, я думаю, что он был вполне принципиальным и в значительной мере подготовленным самой спецификой демократического консенсуса 1989–1991 годов и особенностями его идеиной платформы.

Дело в том, что в той платформе, которая была сформулирована к 1991 году как платформа демократической революции, обретение политических свобод и обретение экономических благ выглядело этаким Procter and Gamble — двумя бонусами в одном флаконе. Предполагалось, что, когда диктат КПСС будет уничтожен, исчезнет и главная преграда — эдакий валун, лежащий на нашем пути по «дороге процветания»; экономическое благополучие станет неизбежным призом и результатом политических преобразований. Это представление, безусловно, было очень продуктивно в предреволюционной ситуации, и, по сути, именно оно обеспечило массовую поддержку демократическому движению конца 1980-х. Однако, с другой стороны, именно это представление оказалось серьезной проблемой на следующем этапе, когда результаты экономических преобразований и преобразований политических оказались не только разными, но и в значительной мере противоречащими друг другу.

Более того, в известном смысле ситуация начала складываться так, что политические права нужны были одной части населения, а экономические — другой. Те, кто сумел извлечь из экономических прав материальную выгоду, не ходили, как правило, на митинги, не интересовались выборами и предпочитали решать все свои проблемы с помощью взятки (благо теперь у них появилась такая возможность). Политические права им как бы были и не нужны. В свою очередь, этими правами интересовались в основном те, кто, как тогда

говорили, «не включился в рынок». Эта группа продолжала ходить на митинги и интересоваться гуманитарно-политическими проблемами, в чем выражалась в том числе ее глубокая фрустрация от экономических результатов политического «освобождения». Трансформация политического неравенства советской системы в экономическое неравенство «дикого рынка» выглядела для представителей данной группы как крушение «демократических идеалов», как подмена «демократии». Этую позицию я и определяю как позицию «демократия против рынка».

Вторая позиция, обозначившаяся в те годы, — *рынок против демократии*. На самом деле, если мы всмотримся в аргументацию тех, кто продолжал поддерживать «либерализационные» экономические реформы, то обнаружим, что логика их по модулю была весьма схожей с логикой «радикальных демократов». Но в отличие от первых из дуплета предреволюционной программы (демократия + рынок) они выбрали в качестве приоритета рынок.

Как мы знаем, по результатам выборов и 1993, и 1995 годов в российском парламенте сложилось оппозиционное большинство, что не вело, однако, к смене правительства. Это был очень важный момент. Ведь если, несмотря на вполне однозначные результаты парламентских выборов, смены правительства не происходило, то это, естественно, не могло не девальвировать значимость парламента, и партий, и самого института выборов в глазах населения.

Интересно, однако, что сторонники «либерализационных» реформ рассматривали сохранение реформаторского правительства как важнейшее условие «сохранения (спасения) демократии». Предполагалось, что продолжение интенсивных реформ позволит в обозримые сроки сформировать в России класс собственников и так называемый средний класс, который в будущем станет опорой демократического режима. Переход же исполнительной власти в руки коммунистической оппозиции на фоне экономического спада с большой вероятностью будет означать, мол, остановку реформ, последующую отмену выборов и реставрацию коммунистического режима. Иными словами, ограничение демократии сегодня мыслилось как необходимый шаг к демократии в будущем. В то время как «демократия сегодня» воспринималась как представлявшая для этой цели серьезную опасность.

Во второй половине 1990-х коалиция в поддержку рынка против демократии стала очень влиятельной. Бизнес-элиты и сторонники разного рода «прагматических взглядов» все более приходили к убеждению, что демократия мешает рынку. И что для успешного и быстрого продвижения по пути модернизации и развития новых институтов придется пренебречь процедурными тонкостями «нормального» демократического процесса. Пиком интеллектуальной влиятельности этой коалиции можно, наверное, считать распространявшиеся в конце 1990-х годов, когда надежд на поддержку реформ со сторо-

ны большинства уже не оставалось, мечты о «русском Пиночете». Мечты, сыгравшие существенную роль в легитимации в сознании элиты, в том числе значительной части элиты демократической, прихода к власти «человека из КГБ».

С другой стороны, у широких слоев населения отсутствие удовлетворительных экономических итогов «демократизации» 1990-х также формировало представление о «подмененности», фантомности постсоветской демократии и ее ценностей. Таким образом, в сознании значительной части российского общества к концу 1990-х годов уже, можно сказать, сложился своего рода антидемократический консенсус. Это отнюдь не предполагало тотального отказа от ценностей демократии как таковой и выдвижения ценностей, им альтернативных. Но это был явный отказ от того понимания исторического развития, которое было характерно для демократического консенсуса 1989–1991 годов.

Тогда политические преобразования — демонтаж тоталитарной системы и замена ее демократической — осмысливались как главная предпосылка создания рыночной экономики и продвижения по пути благосостояния. Теперь же именно развитие экономики, экономический успех выглядели важнейшей предпосылкой всего остального — в том числе и продвижения к устойчивой демократии. Демократия стала целью «второго порядка», а ее «сокращение» здесь и сейчас стало рассматриваться как допустимое, а иногда и необходимое условие экономического успеха.

Возвращаясь к вопросу о том, что же произошло с демократией в России в 2000-е годы, важно прежде всего иметь в виду, что демократия остается и для российского населения, и даже в официальной риторике властей базовой ценностью. Не существует какой-то альтернативной идеологической доктрины, противопоставляющей «демократии» иные, несовместимые с ней цели. Точнее, они есть, но являются заведомо маргинальными. Спрос на демократию отнюдь не исчерпан. Проблема, на мой взгляд, не в минимизации такого спроса, а в распаде общего представления о том, что такая демократия. Понятие «демократия» в общественном мнении не столько девальвировано, сколько проблематизировано.

Во-первых, существует, как показывают социологические опросы, разделенное абсолютным большинством населения представление о неуниверсальности самого «облика» демократии и пути к ней. Так, согласно данным Левада-Центра, около 80% респондентов в 2006–2007 годах полагали, что «каждая страна проходит свой путь к демократии», и лишь около 7–10% считали, что «все страны движутся к демократии одним путем».

Во-вторых, следует иметь в виду, что согласно тем же социологическим опросам в 2000-е годы в восприятии многих людей демократии в России стало больше, чем было в 1990-е. И к этой оценке, так резко противоречащей элитарному мнению о «сворачивании демократии» в путинскую эпоху, необ-

ходимо отнестись серьезно. Она как раз и свидетельствует о том, что само слово «демократия» может наполняться разным смыслом.

В целом я бы выделил три различающихся и даже конкурирующих понимания этого смысла, которые представлены в общественном мнении.

В рамках первого представления приоритетом являются права человека. Предполагается, что любой политический режим, который будет отвечать прочим критериям «демократичности», но не обеспечит соответствие этому, должен считаться псевдодемократией. К данной точке зрения в наибольшей степени тяготеет демократическое сознание интеллигенции. Пожалуй, это наиболее элитарная и наиболее маргинальная позиция.

Второе представление о демократии акцентирует идею конкуренции. Оно наиболее близко людям бизнеса, различных групп хозяйственных элит и тому новому образованному классу, который в наименьшей степени воспринимает себя как наследника интеллигенции. Конкуренция — это прежде всего соревнование некоторых групп за власть в публичном пространстве. Например, на российских парламентских выборах 1999 года такое соревнование имело место, хотя ситуация в тот момент в стране не могла быть описана как полноценная демократия. Суть этой второй концепции можно охарактеризовать как «демократию элит». Проблема прав человека выглядит здесь менее значимой, чем возможность для элитных групп конкурировать за ресурсы и административные полномочия, привлекая на свою сторону избирателей.

И наконец, третье представление — безусловно, наиболее популярное, но и наиболее архаичное. Это представление о демократии как способе достижения общего блага. И правительство, которое, по мнению сторонников такого понимания, пытается достичь целей общего блага, в наибольшей степени соответствует образу «демократического». Данное толкование демократии в значительной степени полемично по отношению к предыдущему: правительство «общего блага» в сознании сторонников такой точки зрения противопоставлено, по сути, отрицательному образу «демократии элит», где общие интересы подменены интересами тех или иных групп и клиентов, а участие широких слоев населения в их кулаарной борьбе не приносит населению ощущения выгод.

Это третье представление непосредственно восходит к тому антидемократическому консенсусу, о котором я уже говорил. Так, в опросе Левада-Центра (январь 2008 года), предлагавшем респондентам указать наиболее существенные признаки демократичности общества, с большим отрывом лидирует ответ «высокий уровень жизни населения». На этот признак указали 60% респондентов. Следующие за ним по частоте упоминания такие признаки, как «порядок, соблюдение законности», «равенство всех граждан перед законом» и «соблюдение политических прав и свобод граждан», были упомянуты соответственно 49, 45 и 44% респондентов. А «разделение властей, независимость су-

да и законодательной власти», «плюрализм мнений, отсутствие тотального государственного контроля над средствами массовой информации» и «соблюдение прав и интересов национальных и иных меньшинств» назвали в числе признаков демократии лишь 6–12% опрошенных. Именно сторонники такого ее понимания обеспечивают поддержку политики В. Путина, и именно они склонны считать, что в 2000-е годы демократии в России «стало больше».

Тем не менее есть некоторые основания предполагать, что период разочарования в демократии, т.е. эпоха антидемократического консенсуса, в России заканчивается. К такому предположению подводят некоторые данные того же Левада-Центра.

Если в 1999 году 43% опрошенных были уверены в том, что России нужна одна сильная правящая партия, за существование двух-трех крупных партий высказывалось 35% и еще 5% видели пользу в существовании многих партий, то в 2008 году картина выглядит уже существенно иначе. Вариант одной правящей партии теперь выбирают 32% респондентов, за наличие двух-трех партий выступают 45% и еще 8% считают полезным наличие большого количества партий. Это значит, что в целом соотношение сторонников однопартийности и многопартийности было 43:40, а стало 32:53. Увеличилась и доля тех, кто убежден в необходимости политической оппозиции. Если в 2000 году такую убежденность декларировали 47% опрошенных, а 29% считали оппозицию ненужной, то в 2008-м это соотношение составляет уже 62:21.

Ухудшение экономической ситуации по мере углубления кризиса, скорее всего, подстегнет процесс разочарования в «сильной власти». Однако рост спроса на демократию будет сталкиваться сегодня с серьезной проблемой. Как я пытался показать, для удовлетворения такого спроса потребуется новая концептуализация самого этого понятия. «Демократия» — не выключатель на стече: так «Вкл.», а так «Выкл.»; в сознании общества ее границы и содержание могут очень сильно варьироваться. И по мере того как спрос на «демократию» будет расти, будет возрастать и конкуренция за новую интерпретацию ее содержания со стороны различных социальных групп и групп интересов. И здесь у демократической интеллигенции может появиться шанс на восстановление — хотя бы частичное — утраченных ею в 1990-е годы позиций.

Игорь КЛЯМКИН:

Да, если она осознает свою миссию и предложит обществу проект, в котором «демократия общего блага» и «демократия элит» не взаимоисключают, а предполагают друг друга. Проект, в котором политическая конкуренция выступает условием роста благосостояния. То есть проект, альтернативный и практике 1990-х, и тем проектам, которые представлены сегодня на политическом рынке.

Пока этого нет. Посмотрите, как активизировались в последнее время приверженцы имперского проекта; его обоснованию и обсуждению посвящаются целые номера журналов. А на либеральном фланге ничего такого не наблюдается. Кто-то ждет, что режим рухнет под ударами экономического кризиса. Кто-то тратит все силы на критику властей. А кто-то, наоборот, предлагает им свои соображения относительно косметической демократизации политической системы «сверху». Но обществу никаких проектов не предлагаются.

Мы выслушали все сообщения, которые планировались заранее. Переходим к свободной дискуссии. У меня уже большой список желающих выступить. Чтобы предоставить слово всем, я вынужден установить довольно жесткий регламент — не больше пяти-семи минут на выступление. Первой записалась Мариэтта Омаровна Чудакова.

Дискуссия

Мариэтта ЧУДАКОВА:

«Нам нужна легальная либеральная партия, чтобы получить доступ к широким слоям населения»

Мое выступление во многом прозвучит диссонансом, по крайней мере для моих соотечественников, хотя все, что здесь говорилось, для меня лично очень интересно и значительно. Но, может быть, мои слова иначе прозвучат для наших гостей. Им я должна сказать, что никогда не пила обычный наш когда-то тост за успех нашего безнадежного дела — всегда демонстративно ставила рюмку и говорила: «Нет, я за это пить не буду, я не считаю наше дело безнадежным», но всегда считала единственным тост «за вашу и нашу свободу». Поэтому, если мы сегодня начинаем говорить о том, что у нас не получилось с нашей свободой — этот мотив тут звучит все время так или иначе, — а именно вы, поляки, были для нас в 1980-е и последующие годы образцом этой свободы, то мы, получается, вас подвели.

Но я так не думаю. В отличие от подавляющего большинства нашей интелигенции я не считаю, что у нас ничего не получилось. Потому что если бы действительно *не получилось*, то пусть и не все (не буду примазываться к диссидентам), но по крайней мере многие из нас сидели бы сейчас не здесь, а совсем в другом месте и мы вряд ли вели бы эту свободную беседу. Значит, у нас все-таки очень многое получилось. Но когда мы слушали выступления людей из Польши... уж и не знаю, как их называть, потому что не хочется употреблять очень хорошее выражение, но для меня все-таки остающееся запятнанным советским официозным употреблением, — «наши польские друзья». Да, я не могу пока избавиться от того, что это советизм: «братья

партии», «польские друзья», «венгерские товарищи»... Так вот, когда говорили наши гости из Польши, наши сотоварищи, стала еще более выпуклой очевидной та разница, которая и раньше для нас была ясна.

Например, сегодня — с этим, думаю, никто из моих соотечественников не будет спорить — у большинства российского населения нет того уважения к деньгам, где бы они ни были заработаны, которое, как мы слышали, могут испытывать поляки. Нет уважения к большому красивому дому, на какие бы честно заработанные деньги он ни был выстроен. У нас сегодня обязательство подозревают худшее.

Во-вторых, конечно, огромный наш по сравнению с вами пробел — у нас не было такого очевидного, какой был в Польше, единства нации, нет его и сегодня. Может быть, мы его постепенно добьемся. Но и в этом случае останется большой вопрос — сможет ли достигнутое единство служить либеральным целям.

Третье же совсем из другого ряда. Когда я наблюдала в 1980-е годы за деятельность «Солидарности», я всегда думала о разнице рабочих: наши рабочие могли бы, конечно, продолжать забастовку при сухом законе в течение понедельника, вторника... Ну, среда, четверг... в самом крайнем случае — пятницы. Но уж в субботу-то надо выпить!..

Так что ни за что не удалось бы продержаться два месяца на сухом законе. Говорю как вполне патриотка своей страны. Не удалось бы, к сожалению.

Переходя к сегодняшней теме, хочу возразить Сергею Адамовичу Ковалеву в одном пункте его замечательного доклада. На мой взгляд, вы уменьшаете роль моральной оппозиции. На самом деле ее роль была огромна. И особенно это проявилось в годы перестройки. Мало того: опираясь и на пример вашей биографии, морально зачеркивали некоторых «прорабов перестройки», которых вовсе не надо было бы зачеркивать, — вплоть до Булата Окуджавы. Говорили: сравните, что делал в брежневские годы Ковалев, а что — они. Думаю, вы это и сами прекрасно помните. И так или иначе, это представление о самоотверженных усилиях диссидентов легло в фундамент преобразований конца 1980-х — начала 1990-х, и ваш пример участвовал, я уверена, среди прочих факторов и в духовном, мировоззренческом переломе Бориса Николаевича Ельцина.

Огромную роль сыграл и выход всего семи человек на Красную площадь в 1968 году. И далеко отстоящим по времени результатом становится, может быть, поведение наших присяжных заседателей — тех девятнадцати человек, которые недавно сказали, что они считают, что судья лжет. А ведь очень многие говорили: «Разве у нас получится справедливый суд присяжных — никогда не получится!»

Для того чтобы понять происходящее сегодня, нужно вспомнить отношение интеллигенции к двум нашим лидерам — последнему президенту Советс-

кого Союза и первому президенту России. Что обычно говорят о Горбачеве? О нем говорят: «Не хотел конца социализма, верил в него; если бы знал, что советская власть рухнет — не начал бы перестройку». Конечно, он верил. Он и сегодня верит, что социализм можно было реформировать. Но — важнейший нюанс. Он, конечно, не хотел, берясь за перестройку, разрушать социализм — он хотел его улучшить. Но, как опытнейший партработник, человек партийной системы, он знал: здесь опасно трогать даже один кирпичик, потому что обрушиться может все — как и произошло. Знал — и пошел на это. Спросим: почему же он пошел, если знал?

Потому что действовал, как я заглавила статью к его 75-летию, «импульс Великой Утопии». Горбачев верил, что такая замечательная вещь, как социализм, как-нибудь да выплынет. Не выплыл — к счастью, так сказать. Но вот эта тонкость важна: знал, допускал, но — рискнул, пошел на перестройку. Когда же стали доказывать, что все, мол, было обусловлено экономикой (упали цены на нефть и т.п.), что сам он здесь вообще ни при чем, то это дал о себе знать советский детерминизм, который сегодня господствует в умах.

Это полное отрицание свободы воли, которая все-таки является христианским постулатом, католическим, кажется, в большей степени, чем православным: свобода воли, свобода выбора. Почему сегодня у нас очень многие неплохие, неглупые люди, с которыми я во многом другом соглашаюсь, говорят, что партия «Правое дело» будет марионеткой Кремля? Потому что привыкли считать людей марионетками — советская власть приучила за долгие годы. Логика такая: раз Кремль придумал эту партию, значит, все в ней будут ему подчиняться. Потому что в партиях, которые не подчиняются, он не нуждается.

Между прочим, советская власть тоже не нуждалась в наших работах — ни в работах Сергея Аверинцева, ни в работах Михаила Леоновича Гаспарова. Но разве они были марионетками этой власти? Найдите в их напечатанных при советской власти трудах хотя бы *одну строку*, которой бы сегодня постыдились они, будь они живы, или мы, их поклонники! Не найдете. Так что все гораздо сложнее. И очень многое зависит от человека, что у нас очень часто забывается.

Я не совсем поняла слова моего сотоварища, глубоко мной уважаемого Льва Дмитриевича Гудкова, о том, что вся наша интеллигенция (мы же о ней сегодня говорим) была встроена в структуру советских государственных органов. Да я могу начать и не переставая называть череду имен: Нatan Эйдельман, Булат Окуджава, Юрий Домбровский, Григорий Померанц — ни сном ни духом они к этой структуре не имели отношения.

Другое дело, что как раз при Горбачеве я слышала от замечательных людей: «Для меня самое главное, что я в команде Горбачева». И, желая, чтобы он победил, бездумно повторяли за ним: «Больше социализма!» Я еще пробовала

возражать, выступая на конференциях: дескать, давайте задумаемся, может, *меньше* как раз социализма-то надо? Но тогда не было принято рассуждать на эти темы.

Так вот, очень правильно говорили все мои сотоварищи, что никто не готовился к концу советской власти. А почему не готовились? Почему никто не обдумывал, каковы будут наши действия? А как раз потому, что, как сказал Сергей Адамович, никто не верил. Вот это и был политический идеализм, этический идеализм. Действовали замечательно, но никто не верил в конец советской власти.

Сколько раз я слышала слово «никогда». «У нас этого *никогда* не будет» — того, другого, третьего. Меня, можно сказать, замучили, объясняя, что «Собачье сердце» никогда в отечестве не будет напечатано. А я устала повторять: «Запомните этот день — уверяю вас, вы увидите его напечатанным при своей жизни, в советской печати...» Что все и увидели в 1987 году. Но подавляющее большинство интеллигенции мыслило в унисон с Сусловым, который сказал Василию Гроссману, что его роман будет напечатан не ранее, чем через двести лет.

Да, не были готовы. И сегодня совершенно правильно было сказано, что и не будем готовы. Между тем во время кризиса все сдвинулось. Мы не знаем, куда мы идем. Нас ждут неожиданные перемены, которые, похоже, действительно могут застать нас врасплох. И именно поэтому перемены могут оказаться весьма печальными.

Так, не были готовы мы и к концу периода правления Ельцина. И когда сегодня интеллигенция заводит свой любимый мотив, обвиняя Ельцина: зачем он подсудобил нам такого преемника? — я всегда возражаю: «А что, у нас с вами был подготовлен свой демократический кандидат, которого он откинул?» Так что нечего тут перекладывать с больной головы на здоровую. Президент, уже тяжело больной, весь второй срок самоотверженно держал над нашими головами крышу демократии, а интеллигенция потратила это драгоценное время на устройство личных дел.

Сегодня уже стало модным сомневаться в выборах 1996 года. Многие мои сотоварищи, в том числе, к моему удивлению, и Лев Дмитриевич Гудков, с которым мы обсуждали это в перерыве, говорят, что было бы лучше, если бы те выборы выиграл Зюганов: процедурная правильность защитила бы, как я его поняла, от сегодняшних нарушений. По-видимому, люди продолжают верить, что деньгами можно сделать двенадцать с половиной процентов, на которые Ельцин опередил Зюганова. Я же считаю, что, если такие проценты делались бы деньгами, в мире вообще не было бы выборов: просто собирались бы самые богатые люди за столиком зеленого сукна и кидали кости. Но главное в том, что России в тот год абсолютно необходимо было выиграть эти выборы, т.е. не допустить к власти нераскаявшегося коммуниста.

Можно было бы не думать об этом — как пойдет, так и пойдет, если бы не было примера Гитлера, который пришел к власти демократическим путем. Смешно думать, что Зюганов — не сегодняшний, а 1996-го года, — приедя к власти и имея в распоряжении армию, флот и атомное оружие, вдруг бы потом, заливаясь слезами, ушел, проиграв через четыре года кому-то выборы. Смешно. Коммунисты приходят не за этим. Потому выиграть у них было необходимо. Но дело не только в этом. Я считаю, что весь второй срок совершенно больного президента был очень важен, важен был каждый день его.

Каждый день — это я не для красного словца говорю — цементировал российскую демократию. Потому что, кто со строительством имел дело, тот знает, что цемент схватывается не сразу, а долго. Именно поэтому в течение двух президентских сроков Путина демократию не удалось разрушить. Не удалось и, надеюсь, и не удастся.

Я согласна полностью с Сергеем Адамовичем, что будущее за этическим и политическим идеализмом. Только настоящее-то тоже имеется. Это нас советская власть хотела его лишить. У Пьецуха есть хороший рассказ, где подросток какой-то устроил коммунизм в одном поселке. И ему так испуганно говорят, когда набрали на этот поселок: «Не преждевременно ли?» А тот отвечает: «Конечно, преждевременно. Но пожить-то больно хочется». Так вот, мы уже прожили и видели многое. Для меня ночь одна у Белого дома в 1991 году стоит, может быть, очень многих лет жизни. А вот дети и внуки — они сегодня живут. Что же, мы будем опять говорить, как повторяли все во время перестройки: «Нет, должно смениться три поколения...» — только тогда, мол, что-то получится?

Это все оказалось полной ложью хотя бы потому, что новому поколению, не знавшему советской власти, сегодня внушают еще худшие вещи, чем внушили нам. Возьмите учебник истории. Моя дочь кончала школу в конце брежневского времени. А недавно она прочитала мою статью в The New Times об учебнике истории России с 1945 по 2006 год под редакцией Филиппова со многими из него цитатами и позвонила мне чуть не плача: «Что же это такое? Ведь наш же учебник был много лучше! Там про Сталина ничего такого не было!» Вот куда мы прикатили от брежневского времени!

Поэтому не стоит полагаться на химеры о поколениях, не знавших советской власти, с которыми сама собой придет демократия. Сегодня вновь нужна огромная просветительская работа. А значит, нужен беспрепятственный доступ к широким слоям населения. Именно поэтому я была одной из немногих, кто — вместе с Андреем Смирновым — поддерживал создание легальной либеральной партии. Больше никто из интеллигенции ее, по-моему, не поддержал и не поддерживает. Почему? Потому что — ее любимые слова — «не надо ложиться под Кремль».

Я недавно подписывала свою книгу, детскую книжку на книжной ярмарке, было много желающих получить автограф, но один все-таки просунулся с дру-

той целью: «Зачем вы ложитесь под Кремль?» Я сказала, что с женщиной на таком языке не говорят, и его оттеснили. Но до сих пор жалею, что, вместо того чтобы объясняться, не дала ему сразу по физиономии. Очень жалею.

Игорь КЛЯМКИН:

Большое спасибо, Мариэтта Омаровна, за яркое выступление. Но я сразу же хочу сказать, что если так дело пойдет и дальше, то половина записавшихся выступить не сможет. Я знаю, что вы все убежденные демократы. Демократия — это процедура. Если каждый из вас будет в два раза превышать время выступления, то вы отнимите его у других и тем лишите их права слова. А это не только недемократично, но и нелиберально. Поэтому еще раз настоятельно прошу укладываться в регламент.

Обращаю ваше внимание на сказанное Мариэттой Омаровной по поводу отсутствия у демократической интеллигенции собственного политического лидера. Как в прошлом, так и в настоящем. В этом еще одно наше существенное отличие от Польши и других стран Восточной Европы. В Польше, напомню, на первых президентских выборах противостояли друг другу не выходцы из коммунистической номенклатуры, а представители «Солидарности», к тому времени уже расколившейся, — Мазовецкий и Валенса. У нас же таких лидеров не было ни в 1980-е годы, ни в 1990-е, ни в 2000-е.

Я имею в виду лидеров, способных привлечь на свою сторону широкие слои населения. Отсутствие же таковых косвенно свидетельствует, по-моему, о политической несамостоятельности российской демократической интеллигенции, ее неспособности к непосредственной политической коммуникации с обществом. Поэтому ей все время нужны были посредники, которых она меняла в зависимости от перемен в общественных настроениях. Сначала она сделала ставку на Горбачева, потом — на Ельцина, потом часть ее пошла за Путиным, а теперь повернулась в сторону Медведева. Она по-прежнему ищет либералов и демократов не в обществе, а в коридорах власти.

Следующий вопрос: можно ли обеспечить контакт с обществом посредством таких партий, как «Правое дело»? Мариэтта Омаровна полагает, что можно. Давайте это обсудим. У меня же на сей счет большие сомнения.

Аналогия между этой партией и творчеством Аверинцева, Гаспарова и других замечательных людей убедительной мне не показалась. Не могу согласиться с тем, что эти люди не были нужны советской власти. Они были нужны ей как символы советской гуманитарной мысли за рубежом. При этом им дозволялось писать все, что они хотели, но — не выходя открыто за предписанные идеологические границы.

«Правое дело» тоже нужно нынешним властям — как символ демократичности существующей в стране политической системы. И она, как и система советская, не может допустить какую-либо деятельность, открыто направлен-

ную на ее трансформацию. Речь, разумеется, идет не о литературной деятельности для узкой элитарной аудитории (тут у нас возможностей несопоставимо больше, чем у Гаспарова и Аверинцева), а о деятельности политической, предполагающей постоянный контакт с широкими слоями населения.

В данном случае надежды перехитрить власть, используя эзопов язык или как-то иначе, что удавалось в коммунистические времена отдельным литераторам, вряд ли оправданы. Вряд ли удастся — об этом я уже говорил — перехитрить избирателей, которым не сообщается, на каких условиях дозволена деятельность партии и какие на эту деятельность наложены ограничения. А если я вижу, что от меня что-то утаивают, то на каком основании утаивающие рассчитывают на мое доверие к ним?

Системная демократическая партия в авторитарной системе — это, по-моему, из области фантазий и иллюзий. Это эксперимент, обреченный на неуспех. Впрочем, как напомнил нам Ежи Помяновский, неуспешные эксперименты тоже полезны. Иллюзии, воспринимаемые как достижимые цели, разрушаются не словами, а опытом неудач.

Следующий выступающий — Вадим Межуев.

Вадим МЕЖУЕВ:

«Интеллектуал, стремящийся до всего дойти собственным умом и не очень доверяющий традиции, в России не столько правило, сколько исключение»

Я хочу внести некоторые корректизы в полемику. Данное Ричардом Пайпсом и процитированное Ежи Помяновским определение западного интеллектуала как человека, открытого к переменам, мало подходит к русской интеллигенции, на которой действительно лежит главная ответственность за все то, что произошло в России за последние сто лет. Русская интеллигенция — совершенно особое образование, смысл существования которого можно понять лишь в контексте русской истории. В чем заключается этот смысл?

Сошлось на Георгия Федотова — философа русского зарубежья, на его знаменитую статью «Трагедия интеллигенции», в которой, на мой взгляд, дан блестящий анализ интересующего нас явления. Интеллигент в России — не просто ученый, писатель, художник или представитель какой-либо другой интеллектуальной профессии, но прежде всего носитель чужой, преимущественно европейской, культуры в собственной стране. Получив европейское образование и восприняв из Европы ту или иную сумму идей, будь то либеральных, социалистических и даже националистических (национализм — тоже европейская идеология), он затем пытался пересадить эти идеи на русскую почву. Отсюда — два основных качества русской интеллигенции.

Первое качество — идеяность. Русский интеллигент не просто человек высокой нравственности и морали (не надо, однако, при этом превращать его в святого), но в первую очередь носитель определенной идеологии, заимство-

ванной, как правило, из западных источников. Иное дело, что отстаивая свои убеждения, он часто являл собой пример подлинного подвижничества, само-пожертвования и героизма. Но, поскольку идеи, за которые он готов был отдать жизнь, были по большей части чужими, заимствованными из-за рубежа, еще одним качеством русской интеллигенции стала беспочвенность, т.е. несовместимость защищаемой ею идеологии с реальным состоянием страны и народа.

Что же явилось конечным результатом деятельности многих поколений дореволюционной интеллигенции? Результатом явилось то, что почва победила идею. Такой финал Федотов и назвал «трагедией интеллигенции». В истории русской интеллигенции он выделял три основных периода: вначале она была с царем против народа, в эпоху декабризма — против царя и против народа («страшно далеки они от народа»), а начиная с разночинцев и народников — с народом против царя. Вот тут-то она и погибла: народ, получив с помощью интеллигенции свободу, принялся истреблять ее с той же яростью, что и дворян, помещиков и капиталистов. Русская почва оказалась сильнее любых идеологий, поглотив их, или, точнее, переварив на свой лад, придав им характер, прямо противоположный их смыслу, — либо «социализма в одной стране», либо «суворенной демократии» с неведомой никому русской спецификой. И здесь самое время разобраться в природе этой почвы, столь неподатливой к любой западной идеологии.

В нашей истории, как я думаю, есть роковой рубеж, через который мы не можем перескочить вот уже триста лет. Он отделяет эпоху домодерна (или традиционного общества) от эпохи модерна. Вот уже триста лет модернизуемся, но никак не можем стать бровень с современными странами. Такое впечатление, что мы — страна перманентной модернизации, которая временами то вспыхивает, то угасает. И каждый раз какая-то неведомая сила отбрасывает нас назад, в наше прошлое. Что же заставляет нас при каждом новом витке модернизации возвращаться к исходному рубежу?

Я думаю, причину надо искать в двух так и не решенных пока основных вопросах русской истории. На них нет ответа ни у либералов, ни у социалистов, поскольку к моменту появления этих идеологий на европейской политической сцене они были уже решены самим ходом европейской истории. Русские интеллигенты вынуждены были искать на них собственные ответы, но, увы, пока все они не дали желаемого результата.

Первый вопрос — крестьянский. Большая часть населения России, даже та, что живет уже в городах, сохраняет прямую связь со своим недавним прошлым — с общинно-патриархальной деревней, с ее крестьянским укладом жизни, сознанием, менталитетом. Переселившись из деревни в город в годы индустриализации страны, многие так и не стали ни гражданами, ни буржуа в точном смысле этого слова. Подобная городская масса, не привыкшая жить

в условиях частной собственности и правовых свобод, неспособна ни к какой самоорганизации и постоянно испытывает потребность в сильном властном центре, в твердой руке, способной навести порядок. Она не верит в силу права и общего для всех закона, предпочитая ему право силы. Какая либеральная демократия может прижиться на такой почве?

Второй вопрос — национальный. Проблема не в том, что Россия многонациональная страна, таких стран много. Проблема в том, что каждый народ живет здесь на своей исторической территории, сохраняет связь со своими богами, традициями, языком и культурой. Какая демократия может объединить столь разные народы в одно целое?

Существует ли вообще либерально-демократическое решение крестьянского и национального вопросов в том их виде, как они стоят перед Россией? Где и в какой стране подобные вопросы были решены демократическим путем? Ведь демократия — власть не просто любого народа (иначе ее можно было бы легко установить где угодно, в любой точке планеты), а только такого, в котором каждый обладает сознанием и правом личной свободы, т.е. власть граждан. Или демоса, как говорили греки. Но как превратить народ в граждан? И тем более в условиях России?

Я, естественно, не противник демократии, вижу в ней единственно возможный способ существования народа в современной истории, но как она возможна на русской почве? Если власть и большинство народа едины в своем неприятии демократии или просто равнодушны к ее судьбе, то на что в таком случае можно рассчитывать? Вот здесь-то на первый план и выходят интеллектуалы. Для них демократия и свобода не просто благое пожелание или заимствованная извне идея, но необходимое условие собственной деятельности и социального выживания.

Чтобы перейти к гражданскому обществу и демократии, стать современной Европе, как известно, пришлось пройти через три «двери», отделяющие Новое время от Средневековья. Первая — Возрождение, вторая — Реформация, третья — Просвещение. Россия не прошла ни через одну: у нас не было Возрождения и Реформации, а Просвещение остановилось где-то на полу пути, затронув лишь верхний слой российского общества. Все вместе заняло в Европе примерно пятьсот лет. Решающую роль в этом переходе как раз сыграли те, кого принято называть интеллектуалами. Их следует отличать от мудрецов и пророков древности, вещавших от имени Бога, а также от средневековых богословов и схоластов, бравших на себя функцию интерпретации текстов Священного Писания. Хотя Жак Ле Гофф называет их «средневековыми интеллектуалами», они имели мало общего с интеллектуалами Нового времени, представленными в первую очередь гуманистами эпохи Возрождения, религиозными реформаторами и просветителями. Они подготовили наступление эпохи разума, эпохи модерна, поставив под воп-

рос любую идущую из прошлого традицию, сделав предметом рациональной критики понятия и представления, основанные на авторитете Предания или Писания.

В этом, собственно, и состояла функция интеллектуала в Новое время. Он взрывал любую традицию, если та была основана только на вере, а не на разуме. Интеллектуал с этой точки зрения — это человек, способный выдержать испытание свободой, не бегущий от нее под защиту традиции, а принимающий мир таким, каким он открывается его собственному разумению. В этом качестве ему противостоит консерватор, отстаивающий приоритет традиции перед любой новацией. Он интеллектуал лишь в той мере, в какой защищает традицию посредством рациональных доводов; во всем же остальном он убежденный антирационалист, склонный к догматическому мышлению.

Интеллектуала отличает от консерватора и традициониста не отрижение традиции, а критическая рефлексия над ней. Без такой рефлексии нельзя преодолеть тяжесть, инерцию былых времен. Интеллектуал (и здесь прав Пайпс) способен увидеть в реальности не только то, что в ней уже устоялось, стало привычным и обыденным, но и то, что требует пересмотра, дальнейшего изменения и преобразования. И только для таких людей демократия и свобода являются настоятельной жизненной потребностью. Я убежден в том, что утверждение той и другой прямо зависит от наличия в обществе сформированного и достаточно многочисленного класса интеллектуалов.

Между тем в России подавляющее большинство всегда составляли люди с консервативным мышлением, причем не только среди так называемого простого народа, что вполне естественно для крестьянской страны, но и среди политической и культурной элиты общества. Интеллектуал, стремящийся до всего дойти собственным умом, не очень доверяющий традиции, восстающий против нее, в России не столько правило, сколько исключение. Его судьба по большей части трагична — он либо изгой, либо лишний человек, либо просто чудак — человек не от мира сего (вспомним хотя бы судьбу Чадаева). Во всяком случае, пока интеллектуалы в вышеуказанном смысле не востребованы обществом в качестве безусловных лидеров культурной элиты, нельзя мечтать и о победе демократии.

Сегодня на роль духовного лидера претендует Православная церковь, поддерживающая существующую власть в ее претензии на ограничение политической свободы. Это еще одно препятствие на пути к демократии и современности. Нельзя забывать, что православие с момента своего зарождения пыталось соединить христианство с идеей Римской империи, тогда как Западная церковь пошла по пути соединения христианства с идеей Римской республики. Но это тема для особого разговора.

Игорь КЛЯМКИН:

С православием не очень понятно. Православные болгары сегодня в Большой Европе. И греки, и румыны.

Вадим МЕЖУЕВ:

Вы знаете хоть одну православную страну, стоящую во главе экономического прогресса? Народы, исповедующие православие, занимают в современном мире место если не совсем периферии, то полупериферии, но никак не центра.

Игорь КЛЯМКИН:

Речь же шла не об экономическом лидерстве. Речь шла о том, что православие — препятствие на пути к демократии. Пример православных стран, о которых я упомянул, свидетельствует о том, что препятствие это преодолимое. И если у России преодолеть его до сих пор не получается, то, следовательно, дело не в православии. По крайней мере, не только в нем.

Эмиль ПАИН:

Я хотел бы сказать несколько слов по поводу выступления Вадима Межуева. Оно мне очень понравилось, но я с ним совершенно не согласен.

Так получается, что мне в разных аудиториях приходится спорить с двумя противоположными позициями. Во-первых, с той, которая начисто отрицает сопротивление культурной почвы и переоценивает роль творческой интеллигенции, способной якобы перевернуть мир одной лишь своей волей: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» Во-вторых, с той, которая преувеличивает реальную сопротивляемость традиционной культуры в России. В данном случае я хотел бы поспорить именно со вторым из названных подходов, который, как мне кажется, как раз и был представлен уважаемым Вадимом Михайловичем.

Да, Россия весьма специфична и отличается очень сильно от той же Польши. Многое из того, что в Польше получилось, в России заведомо получиться не может. Но при этом и представление об *的独特性* нашей страны вызывает большие сомнения.

Так ли уж уникальна Россия тем, что интеллигенция в ней формировалась как культурно инородная по отношению к основной массе населения? А в какой, интересно, стране элита формировалась иначе? На территории нынешних Франции и Англии кельтская элита сменилась романской, затем германской. В Финляндии долго доминировала шведская элита, а в Чехии, Латвии и Литве — немецкая. В Польше значительная часть идей, которые многие сегодня причисляют к польским, была заимствована — в том числе и у русских интеллектуалов. Элита всегда инородна по отношению к основной части жителей; ничего необычного, а тем более уникального здесь нет.

Далее уважаемый Вадим Михайлович прав, безусловно, в том, что в России, сохранившей черты империи с ее этнически разнородными территориями, формирование единого гражданского общества, единых культурных, да и правовых, норм намного сложнее, чем в этнически более однородных государствах. Но и в этом Россия не уникальна. В Индии еще более пестрый конгломерат народов и культур. По всем предсказаниям, она давно должна была распасться. Но эта страна, расколотая на этносы, религии и касты, уже шестьдесят лет развивает демократию. И дай Бог многим европейским странам иметь такую демократию!

Сегодня только и слышишь: почва, почва, почва! Но о чём конкретно идет речь? Термин «культурная почва» — метафора. Помимо культурной почвы есть и другие — почва природная, экономическая... И кто сказал, что главная причина исторического бега России по кругу связана именно с её особой культурной почвой?

А я вам скажу, что больше вины на другой почве — экономической. Триста лет Россия живет торговлей своими природными ресурсами. Только раньше продавали лес и пеньку, а сейчас — нефть и газ. Когда страна торгует ресурсами, то удерживается ценность империи, потому что при ресурсном государстве имперская территория — главный ресурс. Но кто доказал, что это навечно? Во всяком случае, экономическая почва уж точно будет изменяться...

Евгений ЯСИН:

Навечно ничего не бывает.

Эмиль ПАИН:

Так в том-то и дело! И изменчива не только экономическая почва, но и культурная...

Игорь КЛЯМКИН:

Я думаю, что нечто уникальное России все же свойственно, хотя и не совсем то, по-моему, о чём говорил Вадим Михайлович. Возможно, я скажу об этом в конце дискуссии. А пока — слово Денису Драгунскому.

Денис ДРАГУНСКИЙ (главный редактор журнала «Космополис»):

«Нашим демократическим интеллектуалам недостает философской инициативы и умственной отваги»

Получился очень интересный разговор, нужно искренне поблагодарить организаторов встречи. Хочется сказать многое, но я ограничусь темой, обозначенной в названии этого мероприятия, — темой «интеллектуалы и демокра-

тия». А в заключение, если минутка останется, расскажу нечто любопытное специально для наших польских товарищей.

Про российских интеллектуалов здесь говорили разные вещи. Но основная проблема, о которой пока не говорилось, видится мне в том, что у нас конечно же есть интеллектуалы, но нет крепкого сообщества интеллектуалов. Крепкого — значит с определенными границами и понятной идентичностью, с внутренними ценностями, с характерными для сообщества нормами поведения.

Возможно, именно поэтому и само представление об интеллектуалах у нас не сложилось или сложилось не окончательно. Самоотождествление российских интеллектуалов скорее негативное: «Мы — это те, кто раньше был интеллигенцией». То есть в условиях социалистического тоталитаризма (а раньше в условиях царизма) умные и ответственные люди, регулярно поднимающие голову от корыта и думающие о несъедобных материях, были интеллигентами. А сейчас, в демократических и рыночных средах, настало время профессионалов-интеллектуалов. Тем самым молчаливо подразумевается, что ценностная (в частности, демократическая) составляющая «интеллигентности» отошла на второй план. Мне лично такое молчаливое допущение не нравится. Но оно, увы, существует, и с ним приходится сосуществовать.

Сегодня в России нет не только единого представления об интеллектуалах, но и того безусловного уважения к ним, какое раньше люди питали к интеллигенции. Впрочем, такого уважения нет не только в России.

Недавно мне довелось прочесть интересную книжку, из которой я узнал, что во Франции образованное сословие делится на два лагеря — «специалистов» и «интеллектуалов». Специалисты — это ученые, профессора или научные сотрудники, это историки, химики, медики и прочие исследователи. В общем, люди, которые занимаются делом. А интеллектуалы — это эрудированные господа с хорошо подвешенными языками, которые лихо и занимательно выступают по телевизору на разные актуальные темы. Хотя у них тоже есть ученые степени и звания, статьи и книги — иначе бы их не позвали в телевизор. Но социальное амплуа у них другое. Меня иногда приглашают выступать по телевизору, но мне почему-то ко второй категории себя относить не хочется. Да и, полагаю, никакому специалисту не хочется быть поп-интеллектуалом.

Что касается российских интеллектуалов, то они в отличие от европейских не имеют двух очень важных и уже названных мной вещей — собственного корпоративного интереса и собственных достаточно ясных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо, как нужно себя вести в различных политических и не только политических ситуациях. Это, наверное, можно объяснить исторически. Вадим Михайлович Межуев говорил, что трудно решать вопросы самоопределения интеллектуалов в России, поскольку еще

не решен старый вопрос «интеллигенция и крестьянство», т.е. образованное сословие и народ. Верно, в России до сих пор актуален и этот вопрос, и национальный вопрос невозможно решить...

Вадим МЕЖУЕВ:

Идея с почвой не сочетается...

Денис ДРАГУНСКИЙ:

Не сочетается. Идеи, которые традиционно проповедует русская интеллигенция, трудно бывает приспособить к «почве», т.е. к народным чаяниям. Если же говорить попросту, то наша интеллигенция, наши интеллектуалы некоторым образом вненациональны. Подчеркиваю: именно некоторым образом, поскольку в общем и целом идеи интеллектуалов, разумеется, направлены к национальному благу. Но этот «некоторый образ» нечаянно оказался едва ли не решающей чертой.

В чем тут дело? Мне кажется, что сплочение интеллектуалов может состояться только на национальной основе — разумеется, «в хорошем смысле слова». Речь может идти даже о своего рода национализме — опять-таки в лучшем смысле слова, в смысле борьбы за свободу родины, за национальную независимость, за национальное единство. Короче говоря, за свою страну. Вот сидящие здесь польские товарищи выступали за что? Они выступали за Польшу. За свободную, независимую, демократическую Польшу. Все интеллектуалы Восточной Европы (да и интеллектуалы Индии, например, или иной какой-нибудь далекой страны) выступали за что? За национальную независимость и демократию. Национализм и свобода, национализм и права человека, национализм и стремление к цивилизованности шли в одной упряжке. Потому что эти страны освобождались от колониальной зависимости, от имперского гнета, от пребывания в удушающем «поясе сателлитов».

Понятно, что имперское наследие России поставило российским интеллектуалам (как раньше — русским интеллигентам) роковую подножку. В то время как польские интеллигенты боролись за свободное национальное государство под названием Польша, русские интеллигенты выдвигали лозунг «раздробления России по народностям с вольною федеративною связью» (по памяти цитирую Достоевского, роман «Бесы», где писатель цитирует прокламацию Заичневского). Говоря иначе, польские интеллигенты боролись *за* свое государство (будущее, национальное, демократическое), а русские интеллигенты боролись *против* своего государства (существующего, имперского, монархического). Но люди обычно не заглядывают внутрь скобок. А без скобок получается: одни за свое государство, другие — против.

Игорь КЛЯМКИН:

Но именно поэтому и российские интеллектуалы в годы перестройки раскололись на «демократов» и «патриотов». В Польше же в те времена ничего похожего не было. Там был демократический консенсус. И в элитах, и в обществе.

Денис ДРАГУНСКИЙ:

В том-то все и дело, что у нас такого консенсуса не было и нет до сих пор. Более того, население обнаруживает явную предрасположенность к тому, чтобы отдавать предпочтение «патриотам-государственным». Или, что в данном случае одно и то же, националистам.

Разумеется, на самом деле наши российские демократические интеллектуалы тоже выступали и выступают за Россию. За то, чтобы в ней было хорошо жить. Они выступают за свободы — гражданские, политические, экономические, а также за высокий жизненный уровень населения. И это куда более важная национальная задача, чем «защита русского народа от инородцев, иноверцев и западных развратителей», что является в лучшем случае изоляционистским мифом, а в худшем — оправданием погромов. Но, увы, именно эта мифопогромная задача и воспринимается массовым сознанием как нечто похожее на стержень национальной консолидации. Может ли стать таким стержнем борьба за демократию и права человека, а тем более за вестернизацию России? Сильно сомневаюсь. Притом что на самом деле демократия и права человека для нашей страны важнее всего.

Однако я говорю не о том, что на самом деле, а о том, как массовое сознание воспринимает демократических интеллектуалов. Негативно оно их воспринимает, как врагов нации. Ну а националистически ориентированные интеллектуалы воспринимаются иначе, хотя это совсем уж несимпатичный народ, это чаще всего ксенофобы и конспирологи, это антисемиты, антизападники, антидемократы. В общем, люди, с которыми совершенно не хочется на одном поле играть в гольф.

Вот вам весьма существенный раскол интеллектуального сообщества, или, если хотите, показатель отсутствия такового вообще. Да, среди националистически ориентированных интеллектуалов, как и среди демократических, достаточно высокообразованных людей, которые много читали, написали много умных статей и толстых книг. Однако разногласия по поводу собственной политической идентичности не позволяют вести сколько-нибудь спокойный диалог: разговор сразу скатывается на жесткую полемику. Естественно, в такой ситуации не может идти речь о самоопределении интеллектуала именно как независимого мыслителя. Поэтому, может быть, и получается, что интеллектуалы бывают чрезмерно политизированы.

Мне такая политизация не нравится. Поэтому в споре между Мариэттой Омаровой Чудаковой и Львом Дмитриевичем Гудковым по поводу выборов

1996 года я вынужден принять сторону Льва Дмитриевича. Что такое демократия, каково ее, так сказать, рабочее определение? Все достаточно просто. Демократия считается утвердившейся в той стране, в которой власть два раза сменилась демократическим путем, путем свободных выборов. У нас в России за всю нашу историю такого не было ни разу. Вообще не было такого, чтобы полноценно выбирали себе власть. То престолонаследие, то переворот, то за-кулисные сговоры, то преемники...

Но в 1996 году России предоставился шанс — первый за всю ее многовековую историю — выбраться из этой колеи. Тогда на выборах побеждал кандидат-коммунист, но ясно было, что уже в 2000 году выберут кандидата от демократов (кстати, возможно, выбрали бы того же Путина). Но вся политическая верхушка и все интеллектуалы тоже были охвачены страхом, что Зюганов тут же отменит выборы, установит тоталитарный режим и начнет составлять расстрельные списки.

Я, глядя тогда на Зюганова и зная, в каком состоянии была в то время Коммунистическая партия, видя вообще слабость российских властных институтов, в этом очень сильно сомневался, как сомневаюсь и сейчас. А еще сильнее я сомневаюсь в политической целесообразности, которая заставила демократических интеллектуалов не поддержать демократический способ смены власти. Та же, кстати, целесообразность — вместо преданности идеям и ценностям демократии — заставила интеллектуалов бегом бежать в начале 2000 года поддерживать ельцинского преемника. Весь цвет российской интелигенции собрался тогда в «Президент-отеле», где выдвигали (или поддерживали) предложенного Ельциным кандидата, т.е. изображали общественную поддержку закулисному решению. Потом правда, многие разочаровались. Но музыка обратно не играет, и поезд задом не идет. Что получилось, то получилось.

Почему? Потому, повторяю, что целесообразность — якобы ради демократии — возобладала над собственно ценностями демократии, которые, как справедливо заметил Игорь Моисеевич Клямкин, являются ценностями скорее процедурными, чем моральными, а моральные ценности на них нарастают. В итоге все происшедшее, по сути, является провалом демократического проекта. При этом либеральный проект в экономике, в общем-то, победил. Победил он и в жизни. Создался класс мелких буржуа, тупых потребителей, которые любят брать кредиты, ходить в супермаркеты и живут, как и положено, в кредит. Такой класс сформировался.

Но либерализм и демократия — вещи совершенно разные. Кирилл Рогов говорил о расколе интеллектуалов по этому признаку. Совершенно правильно. Это абсолютно банальная ситуация. Точно так же интеллектуалы раскололись в Англии при Тэтчер, а в США при Рейгане. А уж как они раскололись при Пиночете... Страшно подумать, как эти чилийские демократы позволили себе выступать против либеральных экономических реформ, проводимых

в условиях военной диктатуры! Но во всех перечисленных и многих других случаях такой раскол преодолевался на основе демократических ценностей. А у нас он не преодолевается, накладываясь к тому же на другой, более фундаментальный раскол, о котором я уже говорил.

Чего, на мой взгляд, недостает нашим демократическим интеллектуалам? Недостает — это я в полной мере отношу и к себе — свободной мысли, философской инициативы, умственной отваги. А это нужно, чтобы понять, какие проблемы стоят перед страной. Даже чтобы просто перечислить эти проблемы, нужна некоторая интеллектуальная храбрость.

А напоследок хочу рассказать польским товарищам, что в нашей националистической мысли есть замечательная такая область, даже целая тенденция, под названием «Польский проект». Пишутся и публикуются статьи, в которых доказывается, что все, что происходит сейчас в Европе, придумали поляки. Почему? Потому что поляки на самом деле ведущая нация Европы. Почему? Потому что Польша —monoэтническая страна. Не в пример Германии с ее турками, Франции с ее арабами, Британии с ее пакистанцами, Испании с ее басками. Но поляки не только monoэтничны, они еще моноконфессиональны и вдобавок очень верующие. Поляки — это великие реваншисты. Они проникли в НАТО для того, чтобы НАТО пригнуть под Польшу. Зачем? Затем, чтобы восстановить Польшу от моря и до моря и наконец-то прижать Россию, как во времена великого княжества Литовского. Вот что готовят нам Польша!

Полагаю, что присутствующие здесь «польские товарищи» сумеют оценить этот изыск российских националистически ориентированных интеллектуалов.

Adam MICHNIK:

Очень даже интересно. Когда я участвовал в Лондоне в дебатах на тему «Взаимоотношения между поляками и евреями», то подумал, что есть какая-то асимметрия. Потому что я видел много поляков, которые ненавидели евреев. Видел много евреев, которые ненавидели поляков. Но я не видел ни одного еврея, который бы думал, что в польских руках власть над миром. Если не любишь, то так высоко объект нелюбви возносить не будешь. А теперь я знаю, что может быть и такое, но не у евреев, а у русских...

Igor KLYMKIN:

Надеюсь, что эта информация еще больше укрепит Адама в его русофильстве. Я предоставляю слово Ирине Ясиной.

Irina YASINA:

«Наша интеллектуальная "элита" скорее негативна, чем позитивна»

Во-первых, огромное всем спасибо за прекрасную дискуссию. Я получила

максимальное удовлетворение. И не только потому, что я полонист по образованию и, когда Эдмунд Внук-Липинский говорил по-польски, я была счастлива абсолютно. Главное, что разговор получился очень содержательный и глубокий.

Естественно, что я буду говорить о России, причем не вчерашней, о которой говорили многие передо мной, а о России завтрашней. Меня больше всего заинтересовало то, что, как заметил Кшиштоф Занусси, новое поколение поляков уже менее pragmatичное, чем поколения старшие. Что оно способно воспринять какие-то абстрактные либеральные идеи. Пока что в России я таких людей среди молодежи не вижу, хотя общаюсь с ней достаточно много. И это меня очень пугает. Ребята, которым сейчас двадцать — двадцать пять, никоим образом не пережили, не отрефлексировали происходившее и происходящее в стране, не попытались что-то осмыслить, а их родители и учителя их на такую интеллектуальную работу не стимулировали.

Дело не в телевидении, которое задурило всем голову. Эти молодые люди телевизор не включают, газет, как и книжек, не читают. Они общаются друг с другом, сидят в Интернете, тусуются, но общественные вопросы их не волнуют. И именно в этой связи я хочу коснуться роли элиты. «Элита» — это, вообще-то, животноводческий термин. Что касается нашей интеллектуальной «элиты», то она у нас скорее негативна, чем позитивна. Абсолютно правильно было сказано польской стороной, что интеллектуал должен вступать в политику или в политическую дискуссию тогда, когда разговор начинает идти о морали и нравственности, никак не раньше. Потому что до тех пор политика — это вопрос налогов. Но наша «элита» о морали и нравственности говорит постоянно, однако преобладающая ее часть понимает это иначе, чем мы.

Представители этой «элиты» считают, что морально быть патриотом. А для людей моего круга само слово «патриот» звучит как ругательное. Потому что у нас патриоты — это такие заединщики, которые хотят любить Россию, закрывая глаза на ее недостатки. А мы в меньшинстве, мы не кричим истошным голосом: «Ах, я люблю Россию, и уже поэтому мне все, что ни делаю, должно прощаться». Про это лучше всех, на мой взгляд, сказал Виктор Шендерович: «Как только человек начинает громко кричать про патриотизм, проверьте его карманы». Это, я думаю, вам в Польше тоже знакомо. Такая славянская, наверное, черта. Мы же пытаемся что-то изменить, усматривая патриотизм именно в этом. Но наше его понимание живого и заинтересованного отклика в обществе сегодня не находит.

Я не знаю, каким образом передать молодым людям, нашим детям это ощущение свободы, ощущение истинного, чаадаевского патриотизма. Не вижу возможностей. В том числе и потому, что в России такая «элита». На днях прочитала, что Игорь Бутман, замечательный саксофонист, написал заявление о вступлении в «Единую Россию». Зачем? Для чего? Когда в сталинские

времена люди что-то подписывали, можно было предположить, что они хотели избежать концлагеря и уберечь от него свои семьи. А сейчас-то в чем дело? Вы же не Ходорковский, господин Бутман! Вас в тюрьму не посадят. Зачем вы проситесь в «Единую Россию»?

Из зала:

Чтобы там развивать демократию...

Ирина ЯСИНА:

Порой, впрочем, кажется, что что-то начинает меняться. Недавно наша общественность собирала подписи под письмом за освобождение Светланы Бахминой. Точнее, за милосердие по отношению к ней. Вы, возможно, и в Польше о ней слышали. Это женщина с двумя детишками, которая сидит, беременная, в зоне по делу Ходорковского. Берусь утверждать, что никакой вины за ней нет. Ее посадили потому, что ее начальник успел уехать за границу, а ее просто взяли в заложники. Начальник, конечно, не вернулся, не дурак же. А она сейчас родила уже девочку, но по-прежнему остается осужденной. И многие люди подписали письмо в ее защиту. В том числе и большое количество народных кумиров — артистов и режиссеров. На моей памяти такое за последние годы впервые, и это в какой-то степени обнадеживает.

Реакции властей, естественно, не последовало. И я постоянно слышу вопрос: «А зачем вообще это все подписывать? Какое это имеет значение?» Я пыталась объяснить, что обязательно надо, потому что это ведь первый раз, когда такие имена зазвучали в общественном деле, хотя оно, вообще-то, не общественное, оно исключительно нравственное и моральное. Но это как раз тот случай, когда интеллектуал, актер, режиссер, художник, писатель, совершая определенный этический поступок, может повлиять и на политическую атмосферу в стране.

Но в России это пока не более чем призыв к милосердию, обращенный к властям, которые милосердием не обладают. Наши власти путают слова «милосердие» и «слабость». Как любые слабые мужчины, они не понимают, что милосердие только сильный, потому что слабый все время боится таковым показаться. Он полагает, что покажет свои мускулы, и все подумают, что он сильный. Наши власти не понимают, что, держа в заключении эту бедную женщину, они расписываются в своей трусости. Но, к сожалению, большинство нашего общества не понимает тоже. В его глазах это не трусость, а проявление уверенности и силы. Молодежь же такие вещи не интересуют и не волнуют вообще.

Я, повторяю, не знаю, как донести до молодых людей понимание важности милосердия, без чего не может быть того этического гражданского общест-

ва, о котором говорил пан Внук-Липинский и которого нам так недостает. Если вы знаете, как это сделать, — я обращаюсь к польским коллегам, — расскажите. Я слышу от вас: «Польская интеллигентная молодежь испугалась Качинских и пошла на выборы». Но наша молодежь никого не боится и на выборы не ходит. Путин или кто-то другой — ей совершенно все равно. Над Медведевым она смеется. Пока смеется.

И все это очень тревожно, потому что неизвестно, чем кончится. В стране сейчас экономический кризис, который будет продолжаться долго. Я спрашиваю ректора одного из высших учебных заведений: «А куда пойдут теперь твои выпускники?» Он отвечает: «Никуда. На биржу труда». Но я знаю, что они на биржу труда не пойдут.

У всех этих выпускников экономических и юридических факультетов нимб на голове и крылья за спиной. Они нацелены на успех, который последними восьмью тучными годами таким, как они, был гарантирован. Они уверены в том, что так будет и дальше, а кризис их не коснется. Но он их коснется. И как они будут на это реагировать? Как направить их недовольство, их разочарование жизнью, которое неминуемо настанет, в некое, если угодно, созидательное русло? Как сделать, чтобы у них появилось желание стать гражданиами, изменить жизнь в стране, а не желание обозлиться, запить, забить на все, как они выражаются?

Заканчиваю вопросом, а не ответом. Ответа у меня пока нет.

Эдмунд ВНУК-ЛИПИНСКИЙ:

Молодые и образованные поляки пошли голосовать против Качинских после двух лет их правления, потому что это было невыносимо эстетически...

Ирина ЯСИНА:

Значит, у польской молодежи развитый эстетический вкус. Можно только позавидовать.

Игорь КЛЯМКИН:

Все это вроде бы подтверждает мнение Вадима Межуева насчет отсутствия «почвы» для либеральных и демократических идей в России...

Эмиль ПАИН:

Она отсутствует, пока в нашей почве есть нефть и газ. Да и то лишь при высоких мировых ценах на них.

Евгений ЯСИН:

Сейчас эти цены уже не те, что раньше. Но как отреагирует на это наша культурная «почва», станет ли она более восприимчивой к нашим идеям?

Игорь КЛЯМКИН:

Возможно, нам поможет приблизиться к ответу Алла Гербер, которая давно уже просит слова. Между прочим — это я польских коллег информирую, — Алла Ефремовна является членом Общественной палаты Российской Федерации. Эта структура представляет в России гражданское общество, являясь своего рода промежуточной инстанцией между ним и государством. В Общественную палату входят многие представители российской интелигенции, в том числе и ее либерального крыла. Пожалуйста, Алла Ефремовна.

Алла ГЕРБЕР (президент фонда «Холокост», член Общественной палаты):

«Вспоминая Твардовского с его «что-то надо делать, делать что-то надо», я решилась идти в Общественную палату»

У меня недавно был очень серьезный спор с автором фильма «Бумажный солдат», с Алексеем Германом-младшим, который в Каннах получил приз за лучшую режиссуру. Она и в самом деле замечательная, а что касается смысла этого фильма, то я думаю, что в Каннах его вряд ли поняли. О нем, о смысле, и был наш спор с Алексеем.

Что хотел он сказать своей картиной? Он хотел сказать, что те самые годы, о которых мы так много говорили сегодня в начале нашего обсуждения, годы, когда мы захлебывались «подушечным чтением» книжек самиздата (порой их давали всего на одну ночь), когда пели песни Окуджавы и Высоцкого, когда устраивали уличные выставки картин, которые тайно и не тайно вывозили из Москвы в другие города, — что все это было с нашей стороны войной, ведущейся «бумажным солдатом». Что ничего мы в жизни, в которой на самом деле все было жестоко, страшно и грязно, не изменили и изменить не могли. Таков взгляд на нас сегодняшнего молодого человека, на который, разумеется, он имеет полное право.

Он имеет на это право, потому что пытается, но не может получить ответ на вопрос: «А чего вы, собственно, добились?» И я вслед за ним тоже начинаю думать: действительно, а чего мы все же добились?

Наверное, не очень многоного. Но кое-что нам все же удалось. Я вспоминаю то время, Алексей его не помнит, он был еще слишком молод, когда мы добились того, что в стране появились первые росточки гражданского общества. Когда в 1989 году съезд Союза кинематографистов свергнул прежнее руководство Союза, весь его старый генералитет и избрал совершенно других людей — это была наша победа. И мы все тогда были счастливы.

«Ну и что? И ради чего?» — усмехаются сегодняшние молодые люди. Они весьма скептически относятся к этим нашим, но не их победам. Может быть, потому, что собственных гражданских побед у них еще не было.

Хорошо помню и то, как шестьсот пятьдесят человек вышли из Союза писателей и стали членами независимого движения писателей «Апрель». Это бы-

ло тоже в годы перестройки. И мы ездили во все горячие точки, писали об освобождении Гавела, о возвращении Галича. Очень много «Апрель» по тем временам сделал.

Помню и наши демонстрации, на которые собирались десятки, а порой и сотни тысяч людей. Среди них были и те, кто сегодня подписался под письмом в защиту Светланы Бахминой. А тогда они шли на митинги и демонстрации в защиту демократии. Там можно было увидеть театр «Современник» в полном составе, всех актеров «Таганки»... Это было наше гражданское общество, которое мы сами создавали. «Ну и где вы сейчас?» — спрашивают меня те, кто в силу возраста этого всего не пережил. А я упорно и тупо, может быть, даже амбициозно повторяю: «Мы были и есть!»

Игорь Моисеевич Клямкин упомянул об Общественной палате. Я очень долго думала, прежде чем приняла предложение войти в нее. Мы обсуждали это с Евгением Григорьевичем Ясиным, который тоже получил такое предложение и принял его. И знаете, что помогло мне принять такое же решение? Мне помогли воспоминания о «Новом мире» Твардовского.

Многие из присутствующих в этом зале наверняка не забыли, чем был этот журнал для нашего общества. Как журналист, я тогда очень много ездила по стране, и меня везде спрашивали: «Что нового в «Новом мире»? Как Твардовский? Держится?» Этим жила тогда не только столичная, но и провинциальная интеллигенция. «Новый мир» — это ведь тоже был росток гражданского общества, появившийся еще в доперестроечные времена. И это пример того, как такие ростки могут возникать и при самых неблагоприятных для этого обстоятельствах. Были бы люди, в этом заинтересованные.

Так вот, я очень хорошо помню, как была однажды в редакции «Нового мира», и мы, как всегда, пили там чай с сушками, и Твардовский, который в очередной раз не мог добиться разрешения на публикацию (речь шла о произведении Владимира), все время повторял: «Что-то надо делать, делать что-то надо». Чай он не пил, но выпил две рюмки водки, после чего поднялся: «Ну, я пошел». Мы знали, что это значило. Он пошел биться. Пошел в эти чертовы кабинеты, которые и презирал и ненавидел. А потом на страницах журнала появлялось все то, что читала и чем жила наша интеллигенция. И я спрашиваю себя и вас: правильный это был путь или нет? Неужели и здесь уместно это скромничательное: чего добились?

Я же, думая о том, что «надо что-то делать, делать что-то надо», решилась идти в Общественную палату. И об этом не жалею. Если из Общественной палаты могли выйти письма в защиту той же Бахминой, в защиту Алексаняна и Ходорковского, то это лучше, чем ничего: наш голос в России слышен. Я очень много езжу по стране и знаю это не понаслышке.

Должна сказать вам, что, когда я возвращаюсь из регионов, у меня замечательное настроение. Такое идиотически замечательное настроение, которое

кажется смешным таким скептически и даже достаточно цинично настроенным людям, как некоторые мои собеседники. В том числе и Алеша Герман.

В нашей провинции замечательная интеллигенция. Она есть в школах, есть в музеях и библиотеках. И она ждет, чтобы с ней «нормально» говорили. Такой «нормальный» разговор сумел организовать в свое время Михаил Ходорковский — я имею в виду созданную им «Открытую Россию». Многие интеллектуалы ездили тогда от «Открытой России» в регионы, некоторых из них я вижу и в этом зале. И местная интеллигенция (прежде всего она) приходила вас слушать, вы же это хорошо помните. И я думаю, что только так, только посредством просвещения мы можем содействовать развитию в России гражданского общества.

Да, мы не прошли Возрождение, не прошли Реформацию, но Просвещение нас не миновало, и оно всегда было прерогативой русской интеллигенции. И сейчас в стране очень много людей, которые хотят ее слушать и способны услышать. Разумеется, когда нам есть что сказать и когда мы говорим искренне. Очень комфортно, конечно, утешать себя разговорами о неподатливой «почве», будто бы невосприимчивой к нашему голосу. Но это не нас слушать не хотят. Это мы не слышим идущий из общества запрос на наше слово.

Я очень благодарна организаторам сегодняшней встречи. В том числе и потому, что наши польские друзья приехали к нам, уже имея за плечами впечатляющие результаты своей просветительской деятельности. И мы должны сделать все, чтобы российское общество нас услышало, как услышало наших польских коллег общество польское. Есть же и у нас какие-то обязанности перед нашими собственными убеждениями, перед книгами, которые мы прочли, перед поступками, которые в жизни совершили. И не только перед собой есть у нас долг, но и перед теми людьми, которые, я уверена, нас ждут.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Алла Ефремовна. Вы, вслед за Мариэттой Омаровной Чудаковой, подняли интересный вопрос — о том, что значит наследовать в наши дни отечественную традицию легального отстаивания либеральных и демократических ценностей в недемократической системе. Сегодня мы узнали, что Мариэтта Омаровна считает себя продолжателем дела Аверинцева и Гаспарова, а вы — дела Твардовского. Хочется верить, что все, что вы рассчитываете осуществить, у вас получится. Хотя я не могу не отметить, что в контактах с молодежью вы испытываете, похоже, те же трудности, что и Ирина Ясина.

А теперь — слово Славомиру Поповскому, члену правления фонда «Пресс-центр для стран Центральной и Восточной Европы», возглавляемого известным польским журналистом и общественным деятелем Стефаном Братковским. Он приложил много усилий к тому, чтобы наша сегодняшняя встреча состоялась, но сам из-за болезни приехать в Москву не смог. Славомир, вам слово.

Славомир ПОПОВСКИЙ (польский журналист-международник, член правления фонда «Пресс-центр для стран Центральной и Восточной Европы»):

«Польская интеллигентуальная среда сегодня так же расколота, как и российская»

Да, я представляю Фонд Стефана Братковского — прекрасного человека и большого романтика, который верит, что разум и совесть интеллектуалов способны изменять мир. И я тоже в это верю.

Эмиль Паин сказал, что из-за экономического кризиса Россия может двинуться в сторону новой перестройки и что нужно к этому готовиться. Чтобы не получилось так, что в нужное время в головах и на письменных столах никаких проработанных сценариев преобразований опять не окажется. С этим трудно не согласиться, но я бы не преуменьшал и значение того, что в данном отношении сделано и делается российскими либеральными интеллектуалами. Есть сайт «Либеральной миссии», есть другие замечательные российские сайты, о которых я постоянно говорю своим друзьям, чтобы они посмотрели, что и как можно делать. То, что вы делаете, это просто чудо, этому можно только позавидовать. И очень жаль, что польские интеллектуалы довольно редко на эти сайты заходят.

Мое впечатление от нашего сегодняшнего разговора такое, что польские и российские интеллигенты очень друг на друга похожи. Мы не так уж далеко разошлись, как некоторым кажется. Мы близки уже в том, что польская интеллигентуальная среда (и, соответственно, польское общество) сегодня так же расколота, как и ваша.

Возьмем хотя бы этот ужасный польский эксперимент братьев Качинских под названием «Четвертая Речь Посполитая», о котором много говорили мои коллеги. Это и в самом деле малоэстетичный проект. Но его ведь тоже создавала интеллигенция! Речь вовсе не о том, что политики использовали ее в своих целях. Речь о том, что у истоков этого проекта стояли польские профессора.

Польская интеллигентуальная среда сегодня разделена на две части: есть так называемый салон и есть «антисалон». К «салону» принадлежит Адам Михник и все те, кто ориентируется на универсальные европейские ценности и мыслит в соответствии с ними. А в «антисалоне» мы видим радикальных националистов, которые...

Адам МИХНИК:

Это просто антикоммунисты с большевистским лицом.

Славомир ПОПОВСКИЙ:

Согласен. Но они существуют неслучайно, у них есть корни в польском обществе. Адам Михник говорил, что у нас был период, условно говоря, польского путинизма. Действительно был. Сопротивление, которое оказала этому польская молодежь и широкие слои польской интеллигенции, оказалось ус-

пешным. Их упрекали в использовании против оппонентов неприятного солженицынского термина «образованщина», что по-польски звучит как *векстаучухе*. Но это слово вполне соответствовало интеллектуальному уровню тех, против кого было направлено. И вот осенью 2007 года на парламентских выборах произошел замечательный поворот от «векстаучухов», благодаря которому мы сейчас живем чуть-чуть в другой Польше. Подчеркиваю: чуть-чуть.

Возвращаясь же к призыву Эмиля Паина (об этом говорил и Игорь Клямкин) относительно разработки проектов изменений, хочу заметить, что дискуссии, наблюдаемые мной в России, все еще слишком идеологически перегружены.

Очень много споров о базовых понятиях, таких как свобода, демократия, гражданское общество. Не думаю, что эти затянувшиеся споры, которые ведутся и в Польше, можно считать продуктивными.

На мой взгляд, гораздо плодотворнее тот подход, инициатором которого выступил в свое время именно Стефан Братковский, организовавший в конце 1970-х — начале 1980-х годов сообщество интеллектуалов под названием «Опыт и будущее». В нем были собраны разные люди, которые готовили и обсуждали доклады по тем или иным сугубо конкретным проблемам, стоявшим тогда перед страной. И это было очень интересно, там создавался серьезный интеллектуальный задел для будущего. А во время «Четвертой Речи Посполитой» Братковский попытался воссоздать это сообщество, членом которого, насколько знаю, является и присутствующий здесь профессор Внук-Липинский.

Мы подготовили и обсудили несколько докладов. В частности, доклад о польской внешней политике, что в то время, учитывая довольно авантюрный внешнеполитический курс Качинских, было крайне актуально. При этом доклады готовили группы из нескольких человек, каждый из которых писал свою часть. Я, например, вместе с бывшим министром иностранных дел Мюллером готовил раздел относительно восточной политики Польши. Был еще доклад «Состояние польской демократии», были и другие. И все это было абсолютно без идеологии, без политизации, все было очень конкретно.

Мне кажется, вместо всех этих идеологических споров, которым предается и польская, и российская интеллигенция, стоило бы подумать об организации нормальной экспертной работы. Почему бы вам не разработать, к примеру, проект реформирования российских судов? Полагаю, что такой проект мог бы быть востребованным...

Игорь Клямкин:

Наш президент уже поставил вопросы и о реформировании судов, и о борьбе с коррупцией, и о многом другом. Есть и соответствующие проекты. Но реальным реформированием и реальной борьбой их реализация

не сопровождается. И я не думаю, что у властей есть запрос на какие-то альтернативные проекты.

Славомир ПОПОВСКИЙ:

Но мы же говорим о заделе на будущее. Такие проекты могут быть востребованы завтра, если Россия снова встанет на путь перемен.

Игорь КЛЯМКИН:

С этим я согласен. Глеб Иванович правильно, по-моему, говорил, что наша интеллектуальная демократическая общественность реагирует лишь на то, что идет сверху. Предлагает, скажем, Кремль программу противодействия коррупции, и либеральные эксперты обрушаются на нее с уничтожающей критикой. Эта программа, конечно, того заслуживает. Но альтернативного проекта антикоррупционных законопроектов как не было, так и нет.

Продолжим нашу дискуссию. Слово — Дмитрию Бабичу.

Дмитрий БАБИЧ (главный редактор журнала *Russia Profile*):

«В России в отличие от Польши демократия не состоялась, потому что общественное мнение в ней склонно примириться с любой властью и ее действиями»

Я хотел бы все-таки вернуться к главному вопросу, который поставил Игорь Клямкин: «Почему в Польше демократия состоялась, а у нас нет?» Правда, и некоторые польские коллеги сетовали на то, что в их стране наблюдается нечто похожее на «путинизм». Но мне это кажется натяжкой.

Раньше я тоже склонен был искать сходство между политическими процессами в наших странах. Несколько лет назад, когда в Польше находилась у власти бывшая Коммунистическая партия, преобразовавшаяся в Социалистическую, я помню, говорил своему другу, польскому журналисту: «Согласись, это же точно такая партия власти, как и у нас». А он отвечал: «Да, но, когда она проиграет выборы, она станет оппозиционной партией. А у вас, если Путин скажет завтра, что "Единая Россия" ему не нравится, то она прекратит свое существование. Такое, если вспомнить судьбу партии "Наш дом — Россия", у вас уже случалось».

Игорь КЛЯМКИН:

Наша партия власти не может проиграть выборы, не может допустить, чтобы к власти пришла оппозиция. Она не может допустить даже само существование сильной оппозиции. А в Польше ни одной партии таким властным монополистом стать не удалось. И партия братьев Качинских, как напомнили нам польские коллеги, последние выборы проиграла, превратившись из правящей в оппозиционную. Какой же это «путинизм»?

Дмитрий БАБИЧ:

Думаю, что и наши гости из Польши с этим спорить не будут...

Адам МИХНИК:

Не будем. Я говорил лишь о том, что в методах правления Качинских есть то, что можно считать «путинизмом».

Дмитрий БАБИЧ:

Как бы то ни было, в Польше налицо институциональная (т.е. основанная на институтах) плюралистическая демократия, а в России таковой нет. Почему же в Польше этого удалось добиться, а в России не удалось?

Причину я вижу в том, что между российским и польским обществом, при всем их сходстве, есть существенное различие. В Польше очень сильное, если хотите, негибкое общественное мнение. А в России оно слабое и гибкое. Между прочим, это преимущество не всегда оборачивается благом для Польши. Ведь и партия «Право и справедливость» братьев Качинских тоже не только опирается на сильное общественное мнение, но и зависит от него. Зависит от людей с железобетонными католическими убеждениями, с консервативным взглядом на жизнь. Но, с другой стороны, сила общественного мнения не позволила польским политикам отступать от демократических принципов. И некоторые способы проведения экономических реформ, использовавшиеся в России, в Польше именно поэтому были невозможны тоже.

В свое время я спрашивал у председателя польского Центрального банка: «Как вы решили проблему денежного навеса?» — т.е. накоплений, сделанных населением в коммунистический период. Спрашивал, помня о том, как эта проблема была решена в России. В России деньги фактически забрали — во имя реформ. В Польше ничего подобного быть не могло. А у нас, когда в суде вкладчики Сбербанка спросили: «Что это было?» — Сергей Дубинин ответил: «Это была жертва, принесенная реформам». На что вкладчики ему сказали: «Но почему вы себя не принесли в жертву реформам? Почему вы потребовали ее от других?» В ответ прозвучало что-то маловразумительное, но, при слабом общественном мнении и, соответственно, при слабой зависимости от него властей, все это никакой роли не играло. В России общественное мнение склонно примиряться с любой властью и ее действиями. В этом и заключается его гибкость. Приходит новый начальник с новой идеологией, и общественное мнение очень быстро под него подстраивается, даже если он покушается на интересы миллионов людей.

Не избежала этого и российская интеллигенция. Ведь она не так уж и далека от народа. И в России, и в Польше, и в любой другой стране его основные особенности сказываются и на поведении интеллигенции. Так что не вижу ничего удивительного в том, что в Польше она могла устроить бойкот го-

сударственного телевидения, а в России такое невозможно себе даже представить.

Но и в Польше получилось не все, и об этом здесь уже говорилось. Во-первых, не получилось с культурой — в том смысле, что произошел культурный спад, заметный в Польше не меньше, чем у нас. Когда-то Писарев поставил вопрос: «Что нужнее — сапоги или Шекспир?» Современная эпоха дала ответ: «Сапожки». Нужны сапожки от «Гуччи», хорошей фирмы. Не кирзовье сапоги, а сапожки, которые важнее, чем Шекспир, Шиллер и все прочее. В обеих наших странах интеллектуалы понимают, что если современной демократии не нужен Шиллер, то проблема не в Шиллере, а в современной демократии, которой он не нужен. Однако польские интеллектуалы не видят здесь оснований для того, чтобы от нее отказываться, между тем как в России есть и такие, которые во имя Шиллера готовы ею пожертвовать. Правда, они не удосуживаются объяснять, почему при отсутствии демократии спрос на Шиллера должен возрасти.

Помимо культурного спада Польшу и Россию сближает национализм. Именно он стал той почвой, на которой в России произрос «путинизм», а в Польше возник проект «Четвертой Речи Посполитой».

У нас власть сейчас откровенно заигрывает с националистами, хотя и не со всеми. Она не заигрывает с антисемитами (ну, кроме, может быть, Дугина и кого-то еще), но заигрывает с антикавказским синдромом. Она выделяет те нации, которые по развитию стоят якобы ниже русских, а потому по отношению к ним допустимо быть ксенофобом. Но ведь и в Польше, насколько знаю, наблюдалось что-то похожее, причем при попустительстве и даже участии интеллигенции.

В 1990-е годы, когда жизнь в стране была очень тяжелой, я наблюдал за польской прессой. Она очень чутко улавливала доминировавшее тогда представление о том, что евреев или немцев ругать неприлично, а русских — можно. Не потому что русские плохие, а потому, что у них авторитарный режим, у них никогда не было демократии, они всегда были заграждением, т.е. угрозой для Польши. И у меня сложилось впечатление, что часть интеллигенции решила: «Ладно, позволим. Народу тяжело живется — надо дать ему отдушину». И к чему это привело? Качинские, которые начинали как русофобы, придя к власти, стали ругать не только русских, но и немцев. Потому что такова логика ксенофобии: если русских можно, то почему нельзя немцев? Мы помним эти выступления обоих Качинских — и Леха, и Ярослава, которые привели к тому, что в Германии снизился авторитет Польши, упало доверие к ней.

Конечно, в Польше ксенофobia не принимает таких драматичных форм, как в России: нет убийств на улицах, нет и бытовой русофобии. Если вы поедете в Польшу, то в автобусе, в банке — где угодно к вам будут относиться

прекрасно. Но уступка ксенофобии все же имела место, и она, мне кажется, в какой-то момент дала крайне отрицательные результаты.

В заключение хочу повторить, что в Польше в отличие от России институциональная демократия состоялась. Здесь нам есть чему учиться. И прежде всего учиться тому, что демократия предполагает не только стремление к политическим победам, но и готовность к поражениям.

Напомню российским коллегам, что в 1993 году польские коммунисты, переименовавшись в социалистов, вернулись к власти. И им позволили это сделать. Их победа на выборах не воспринималась как трагедия. В России же в 1996 году КПРФ и ее лидеру сделать этого не позволили. Тут есть, конечно, вина самой КПРФ, которая не преобразовала себя в социал-демократическую партию, как партия Квасневского. Но есть и вина общества, которое не смогло переступить через своего рода футбольную психологию: пусть победят моя команда во что бы то ни стало и любой ценой.

В результате же польская демократия стала фактом, а российская все еще остается недостигнутой целью. Будем надеяться, что она достижима в принципе.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Дмитрий. Алла Ефремовна, вы что-то хотели сказать?

Алла ГЕРБЕР:

Да, я хочу сразу отреагировать на тезис о «культурном спаде». Это, по-моему, однобокий взгляд. Когда мне говорят о гибели российской культуры, я обычно начинаю спрашивать:

- Такие-то замечательные фильмы вы видели?
- Нет, не видели.
- Такие-то книги замечательных новых писателей вы читали?
- Нет, не читали.
- На таких-то выставках таких-то художников были?
- Не были.

В нашей культуре происходят очень интересные процессы. Есть литература, кино, живопись, есть старые и новые театры, есть артхаусное кино и артхаусные спектакли... Наверное, эти замечательные книги, которые получают «Букеры», масса не читает, но она ведь никогда такую литературу не читала. И на Тарковского валом не валили, и на интеллектуальные спектакли Эфроса массового нашествия не было. Всем этим интересовалась опять же только интеллигенция.

Да, в культуре происходят сложные процессы. Да, многое из того, о чем поведал нам Кшиштоф Занусси, характерно и для России. Но не нужно говорить, что культура погибла. Это не так.

Игорь КЛЯМКИН:

Виктор Шейнис, насколько могу себе представить, о культуре говорить не будет. Он из тех российских интеллектуалов, которые еще во времена перестройки ушли в политику. Виктор Леонидович пробыл в ней много лет, был депутатом нескольких созывов Государственной Думы. Мне лично очень интересно, что он скажет по обсуждаемой сегодня теме. Пожалуйста, Виктор Леонидович.

Виктор ШЕЙНИС (*главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор Государственного университета — Высшей школы экономики*):

«Одна из причин поражения в России демократии заключается в том, что в кругах демократической интеллигенции, пришедшей в свое время в политику, оказалось очень мало реалистов»

Я рискую вызвать на себя огонь и высказать некоторые суждения, в кругах демократической интеллигенции не очень популярные. Мой давний друг Сергей Адамович Ковалев попытался жестко противопоставить политический идеализм политическому реализму, усмотрев в последнем чуть ли не главную причину наших неудач. И во многих других выступлениях звучало то же самое: политический идеализм — это хорошо, это соответствует нормам морали и нравственности, а политический реализм — это если и не совсем плохо, то уж, во всяком случае, менее достойно. Я же хочу выступить в защиту политического реализма и против закрепления за идеализмом статуса высшего эталона в политике.

Не хочу сказать, что только политический реализм и необходим, а политический идеализм, в том смысле, в каком он был здесь представлен, заведомо вреден. Отнюдь. Как гласил один детский стишок: «Мамы всякие нужны». Интеллигенты в политике тоже, наверное, нужны всякие: и идеалисты, даже отрывающиеся несколько от гречной земли, и реалисты, к которым я отнюдь не отношу, разумеется, бессовестных себялюбивых карьеристов. Но я думаю, что трагедия России, трагедия перестройки и постперестройки, не решивших задачи, которые объективно стояли перед страной, и наступивший затем откат в значительной мере были связаны с тем, что среди демократической интеллигенции, пришедшей в политику, оказалось очень мало реалистов.

Я говорю это, помня о том, что интеллигенция всегда составляет в обществе меньшинство и что в ее составе людей общественно ангажированных (и реалистов, и идеалистов) — малая толика, всего несколько процентов. Но социальная роль этой группы, особенно в периоды революционных и контрреволюционных потрясений, намного превосходит ее численность. И от того, насколько она соответствует в такие времена стоящим перед той или иной страной историческим задачам, зависит очень многое.

В идеале роль, с которой интеллигенции далеко не всегда удается достойно справиться, заключается в том, чтобы соединить две разные, но равно необходимые обществу вещи — ценности и интересы. Об этом сегодня говорил Вадим Межуев, с которым я соглашуюсь не всегда, но его мысль о том, что интеллигенты (идеалисты) в сегодняшней России, как и в начале XX века, оказались не ко двору, мне очень импонирует. Но почему это произошло? Правомерно ли винить в этом исключительно саму интеллигенцию (за ее «беспочвенность»), как делали авторы знаменитых «Вех»? Думаю, что такое обвинение содержит в себе только часть правды, а взятое вне исторического контекста, оно можетискажать реальность и вести к сомнительным выводам. Ведь говорить только это — значит поощрять, с одной стороны, любимое занятие рефлектирующих интеллигентов — мазохистское самоистязание, а с другой — плебейский антиинтеллектуализм.

Вадим Межуев прав: демократия — власть не любого народа, но народа, прошедшего Возрождение, Реформацию и Просвещение и ставшего сообществом граждан. В том, что демократия не прижилась пока в России, «народ» повинен ничуть не меньше интеллигенции. Скажу грубо: игнорирование данного обстоятельства — это доставшиеся нам по наследству слезы «кающихся дворян» XIX столетия. Но и выяснить, кто виновен больше, а кто меньше, занятие не самое достойное и продуктивное. Это лишь затушевывает реальную проблему. А она, повторю, заключается в том, каким образом сомкнуть ценности и интересы, т.е. воззрения тех интеллигентов, которые сознают императивы прогресса, с движением масс, без которого не взломать скорлупу реакционного строя. Эта проблема в конце XX века стояла в России не менее осторо, чем в его начале.

В данной связи мне вспоминается один характерный эпизод. В 1989 году в Россию впервые приехал Адам Михник, о чем он в своем выступлении уже упоминал. Мы с ним к тому времени были знакомы (встречались в Варшаве), и мне удалось залучить его к себе домой. Человек он был известный, авторитетный, и на встречу с ним пришли несколько моих друзей. Возможно, Адам тоже помнит тот вечер. Время было интересное, и мы наперебой рассказывали ему о наших событиях. Одним из самых заметных среди них была забастовка в Кузбассе. Шахтеры выдвинули не только экономические, но и политические требования. Кажется, чуть ли не от нас Адам впервые услышал про эти забастовки. И мне очень запомнилась его реакция, много раз потом я рассказывал про нее. Внимательно выслушав нас, он сказал: «Что же вы здесь делаете? Почему вы в Москве? Вам надо ехать в Кузбасс, направлять и организовывать это движение!»

За спиной Адама был впечатляющий опыт КОС—КОРа. Укоряя российских интеллигентов, он полагал, что русский рабочий будет вести себя в разворачивающемся конфликте так же, как польский. Но все оказалось не совсем так.

Некоторые из нас вскоре отправились в Кузбасс и попытались там воспроизвести польский опыт: наши представления недалеко ушли от того, как это виделось Михнику. Поначалу казалось, что удается что-то сделать. Нам очень понравились лидеры Кузбасского движения. Наверное, то, что мы делали, было неумело, кустарно, без должного понимания сути происходящего. Мы, конечно, не оказались на высоте участников КОС—КОРа. Единственное, в чем нельзя упрекнуть московских и ленинградских интеллигентов, завязавших отношения с шахтерами, так это в недостатке энтузиазма, желания помочь нашим партнерам создать независимый профсоюз, установить контакты с профсоюзами на Западе. Равно как и в стремлении сколотить политический капитал для себя. Но я сейчас не о нас, а о шахтерах.

Прошло некоторое время, и шахтерское движение выродилось. Созданный Независимый профсоюз горняков (НПГ) провел несколько съездов, на высокой волне стачечного движения сумел добиться выполнения некоторых своих требований. Но постепенно он утратил свой боевой дух и влияние, купился на популизм Ельцина, который какое-то время был в глазах горняков героем, пока в доверие к ним не вошел другой, худшего толка популист — Аман Тулеев. Многие из шахтерских лидеров нашли свое место в администрациях разного уровня. На выборах 1990 года несколько человек были избраны народными депутатами российского парламента, некоторые из них стали прислужниками Хасбулатова. Были и такие, кто не оказался вровень с новыми обстоятельствами своей жизни и нашел утешение в бутылке.

Как и мы, но в другом смысле, эти активисты рабочего движения тоже оказались не на высоте. Сама идея объединить демократов и массы народа и скинуть наконец эту надоевшую нам всем большевистскую власть была замечательной, и ее удалось осуществить. Сразу же, однако, возник вопрос: что дальше?

Возвращаясь памятью к тем временам, я думаю, что тогда действительно перед Россией возникла одна из тех возможностей, которые появляются чрезвычайно редко. Может быть, впервые после февраля 1917 года. Возможность прорыва не в светлое царство демократии — до нее нам еще шагать и шагать, то и дело теряя ориентиры и сбиваясь с пути, но по крайней мере к необратимому уничтожению ряда важнейших основ авторитарного строя. Этой возможностью мы воспользоваться не сумели. Об этом надо сказать прямо и отдать себе в этом отчет.

А дальше возникает и вопрос, кто виноват и почему так получилось. Сами по себе поиски виноватых — это, как я уже говорил, дело бесполезное и даже вредное, так как уводит от конкретных ошибок конкретных людей и политических сил. Тем не менее такие поиски остаются излюбленным занятием российской интеллигенции, в том числе и либеральной. Список открывают, понятное дело, Горбачев и Ельцин. Но в нем находится место и западным поли-

тикам, и разноликим российским демократам, столпившимся у воздвигнутого ими нового трона, и тем, кто завладел после 1991 года большинством в российском парламенте, а в октябре 1993-го выкатил агрессивные толпы своих сторонников на улицы и призвал их штурмовать Кремль и Останкино. Не забывается, разумеется, и народ — вовсе не богоносец, а напичканный разными предрассудками и фобиями.

Можно ли утверждать, что все эти упреки несправедливы? Да нет конечно. Как правило, они небеспочвенны. Возьмем Запад, на который так рассчитывали наши реформаторы. В недавно опубликованных документах Политбюро содержится любопытная запись беседы Горбачева с Бушем в Лондоне в июле 1991 года, за месяц до наступившей в августе развязки. «Странная вещь, — говорил Горбачев, — вы потратили 100 млрд долларов на конфликт регионального значения и не приняли к исполнению куда более важный проект, который мог Россию включить в мировое сообщество. Всего-то на это требовалось несколько десятков миллиардов». Недальновидность западных политиков очевидна. И о многих российских политиках тех лет можно сказать: да, виновны. Были просчеты, были ошибки, была прямая корысть. И с народом, повторю, не все просто. Но меня сейчас интересует одно (все остальное я вывожу за скобки) — вина демократов. Точнее, конкретные ошибки, ими совершенные, причем не мелкие ограхи, а крупные стратегические просчеты. Только осознав их, можно извлечь из них уроки на будущее.

Сергей Адамович Ковалев рассказал об интересном документе — «доносе», под которым стояла подпись Александра Николаевича Яковлева. Дорогой Сергей Адамович, появление этого документа и роль, на которую он был предназначен и которую действительно сыграл (я думаю, очень малую), можно обсуждать отдельно, но зачем сейчас об этом вспоминать? Чем такие воспоминания могут помочь нам в понимании причин нашего поражения? И Горбачев, и Яковлев менялись вместе с событиями, которые они инициировали, — один больше, другой меньше. Но я думаю, что эти люди, их близайшие соратники и советники сделали гораздо больше для того, чтобы мы сегодня сидели здесь (а не совсем в другом месте, как сказала Мариэтта Омаровна Чудакова) и вели свободную дискуссию, чем все политические лидеры демократов вместе взятые.

Реформаторам в руководстве КПСС можно выставить счет куда более серьезный, чем упомянутый документ. Прежде всего, это попустительство тем, кто бесчинствовал в Тбилиси, Вильнюсе, Риге, кто готовил августовский путч, о чём упоминал и Сергей Адамович. Против такого попустительства надо было выступать, что мы и делали. Но действовать при этом нужно было с умом, которого нам не всегда хватало. И здесь я возвращаюсь к тому, с чего начал, — к дефициту у демократической интеллигенции, пришедшей тогда в политику, политического реализма.

К 1989 году (может быть, раньше, но не позднее) в России обозначились три политические силы. Окрепли и вышли на политическую арену демократы. Консолидировались коммунистические реваншисты — «бурбоны», не утратившие надежду на возвращение к власти. У них были свои фигуранты: будущие лидеры ГКЧП в союзном центре и совсем уж ничтожные, давно забытые субъекты в России — такие, например, как конкурент Ельцина на выборах председателя Верховного Совета РСФСР Иван Полозков. Третья сила — реформаторы, группировавшиеся вокруг Горбачева. Все эти три силы были представлены и в созданных тогда выборных представительных институтах.

Я не раз говорил, что формула Юрия Николаевича Афанасьева об агрессивно-послушном большинстве на Съезде народных депутатов СССР была неточной. Он объединил в ней разные политические силы. С одной стороны, было *агрессивное меньшинство* — те, кто подал сигнал к обструкции Сахарова на Съезде, кто создал годом позже компартию РСФСР. Георгий Шахназаров нарисовал выразительную картину их поведения на одном из последних плenumов ЦК КПСС: стая хищников, изготовившаяся к прыжку на дрессировщика, но отступающая перед постукиванием бича. Дрессировщик, до поры сдерживающий зверье, — Горбачев. Но он мог сдерживать эту агрессивную стаю только потому, что контролировал *послушное большинство*, отнюдь не агрессивное и повинующееся его воле, действующее по взмаху его дирижерской палочки. Контролировал тот компонент политического класса, который со времен Великой французской революции именуют «болотом». И очень важно было как можно дольше сохранять эту композицию, сохранять Горбачева, стремившегося, при всех его ошибках и просчетах, проводить среднюю, центристскую линию. Его важно было сохранить, как управителя этой третьей силы, на стороне общественного прогресса, использовать его не истраченный еще политический потенциал для продвижения всего общества вперед.

Это, конечно, сделать было нелегко. Колебания и нерешительность Горбачева, его приверженность идеологическим фетишам («социалистическому выбору», который сделали его дед и отец и о котором он не преминул напомнить даже по возвращении из заточения в Форосе) памятны всем. Но его роль так и не оценили по достоинству демократы, немало сделавшие для разрушения авторитета Горбачева и подрыва его позиций в обществе. В том и проявлялся дефицит у них политического реализма. Мы ринулись поддерживать Ельцина против Горбачева. И в этом была наша роковая ошибка.

В круговороти бурных событий мы не разглядели, что Горбачев был культурнее и, при всех его сомнительных поступках, заблуждениях и социалистических иллюзиях, все же не вынес из своего аппаратного прошлого «царский комплекс» — в отличие от лидера, на которого сделали ставку российские демократы. А главное — у него были те возможности воздействия на политическую ситуацию, которыми мы не воспользовались, не сумели «пустить в дело».

Вместо этого демократы объединились со вторым и третьим эшелонами государственной бюрократии, которая заняла главенствующее положение около Ельцина. Вместе с ней мы подавили мятеж реваншистов, а потом опрокинули Советский Союз, заставили уйти Горбачева и, не желая того, открыли путь к реставрации авторитаризма в новых формах.

На излете перестройки демократы сочли, что, прорвавшись к рычагам власти, они сумеют повести Россию к демократии. Это был ошибкой. В том взбаламученном море, которое тогда представляла страна, разумнее было занять место в конструктивной оппозиции к власти, ориентироваться на медленное продвижение вперед, на постепенные реформы. Мы не заметили, как из пестрого сообщества демократов выделялись люди, для которых власть была самоценностью и самоцелью. Неудивительно, что некоторые из них вскоре пополнили ряды новой бюрократии.

Большинство же из тех, кто сохранил верность демократическим убеждениям, в тот момент не поняли, что медленное продвижение вперед при сохранении коммунистических реформаторов в центре политического процесса ценнее и значимее, чем прорыв к власти в качестве в лучшем случае эшелона поддержки Ельцина, а не его равноправного союзника. Изнутри российского Съезда народных депутатов было отчетливо видно, как демократы превращались в обоз армии победителей — той армии, где в главные генералы выдвигались бывшие министры, секретари обкомов и совсем уж одиозные фигуры вроде Коржакова. Сделавший феноменальную карьеру, бывший начальник охраны Ельцина предвосхитил позорную ситуацию, когда Жириновский выдвинет своего охранника в президенты России...

И последнее замечание. Я думаю, что ошибка Мариэтты Омаровны Чудаковой заключается вот в чем. Политический реализм, который я здесь защищаю, вовсе не предполагает сотрудничества с любой властью. Путин — не Горбачев. Нынешняя ситуация нимало не напоминает времена перестройки. Тем не менее в политические структуры, создаваемые сегодня властью, пошло некоторое количество достойных людей — в том числе и глубоко уважаемая мною Мариэтта Омаровна. Я им желаю успехов в сотворении «малых дел». Но если и идут туда люди демократических убеждений в надежде реализовать свои замыслы, то это надо делать с открытыми глазами, с пониманием того, зачем власть приглашает уважаемых людей в сообщество, заполняемое в основном шоблой.

Боюсь, что ничего хорошего из этого не получится. Рад буду, если окажусь не прав.

Игорь КЛЯМКИН:

Неожиданная, честно говоря, самокритика. Недовольство Ельциным, высказываемое представителями партии «Яблоко», куда входит Виктор Лео-

никович, — это не новость. Но предпочтение, отданное при этом Горбачеву... Такого от демократов ельцинского призыва мне еще слышать не приходилось. Я не оцениваю сейчас этот пересмотр прежних представлений и не готов определять его смысл. Я лишь констатирую.

Следующей выступит Наталья Карпова, которая по роду своей деятельности связана с бизнесом. Думаю, что ее взгляд на обсуждаемые проблемы будет всем интересен.

Наталья КАРПОВА (*директор Института международного бизнеса Государственного университета — Высшей школы экономики*):

«Революции готовятся и осуществляются солдатами идеи, а результаты революций "администрируются" генералами конкретных дел»

Хотя разговор идет преимущественно вокруг демократических реформ 1980-х — начала 1990-х годов, он касается сути событий не только недавнего прошлого, но и настоящего. Нельзя не заметить, что интеллектуалы-демократы, ставшие в те годы лидерами общественного мнения и, если хотите, лидерами действия в своих странах, видят настоящее подчас не таким, как оно мыслилось накануне и в процессе реформ. Почему же цели и результаты этих реформ разошлись?

Понятно, что ответы на такого рода вопросы неправомерно искать только в том, что делали и чего не делали интеллектуалы. Но раз уж у нас речь именно о них, то и я постараюсь остаться в границах темы.

Для начала, однако, неплохо бы прояснить, о каких интеллектуалах мы говорим. Известно, что круг людей, посвящающих себя интеллектуальным занятиям, делающих жизненный выбор в пользу творчества, саморазвития, свободы самореализации, во всех социумах достаточно узок. Но безусловно и то, что его роль чрезвычайно велика: ведь именно он выдвигает лидеров общественного мнения и уже тем самым направляет развитие общества. Однако сам этот слой весьма неоднороден.

Интеллектуалов можно «сегментировать» по самым разным признакам. Чаще всего деление имеет место по профессионально-кастовому принципу: традиционно выделяют интеллектуалов от науки, искусства, религии и других уважаемых «свободных» профессиональных сообществ (врачи, юристы и т.п.). Но при этом нельзя забывать и интеллектуалов от бизнеса, а также государственного управления и политики, вес которых в современном обществе очень большой.

Есть и другие возможности выбора критериев деления интеллектуального сообщества. Сегодня уже упоминались интеллектуалы-идеалисты и интеллектуалы-материалисты. Если мы условно отнесем к идеалистам тех, кто волею Бога, а не только каких-либо внешних обстоятельств заряжен идеей самосовершенствования и совершенствования мира, то этот круг, безусловно, самый

узкий. Его роль проявляется в наиболее сложные периоды общественного развития, во времена нравственного выбора, чаще всего связанного с необходимостью преодоления обществом морального и материального кризиса или затянувшегося упадка. Интеллектуалы-идеалисты активизируются в качестве лидеров общественного мнения в ситуациях вынужденной аскезы, отсутствия явных возможностей и легких путей приобретения материального благополучия. В такие периоды происходит снижение интереса к экономической стороне жизни — он замещается поиском ее новых смыслов. На смену выхолающей душу погоне за золотым тельцом приходят размышления о ценностях свободы, справедливости, демократии, просвещения. Общество вдохновляется идеями необходимости изменений и «разворачивается» к ним.

Не стали исключением Польша, а позднее и Россия периода реформ. Это был как раз тот редкий случай, когда политические интеллектуалы-идеалисты стали лидерами общественного мнения. Сегодня много говорили о том, как много сил отдали они в коммунистический период, чтобы сохранить само существование интеллектуальной жизни в наших странах, сберечь привычку размышлять, задавать неудобные вопросы, стремление изменять жизнь к лучшему, а не принимать все как должное. Все согласились, что и идея демократии «поднялась» благодаря этим интеллектуалам-подвижникам, искренне верившим в свою гуманистическую миссию. Вместе с тем говорилось и о том, что народ, который с большим энтузиазмом пошел за ними в первые перестроочные годы, затем отшатнулся и утратил интерес к свободе и демократии. Прозвучали слова, что общество не поняло и даже предало идеи интеллектуалов-идеалистов. И вот с этим позвольте не согласиться.

Общество, на мой взгляд, в тот сложный период 1980-х — начала 1990-х годов продемонстрировало понимание необходимости обновления жизни. Произошел подъем, почти взрыв интереса к идеям свободы и демократии, появилось стремление к переосмыслению основ и форм жизни общества и индивида. Благодаря лозунгу «Освобождайтесь!» интеллектуалы-идеалисты получили мощную массовую поддержку во всех слоях населения. Подтверждением этого является то, что в России, как и в Польше, наблюдалось не только реальное укрепление веры людей в изменения к лучшему, но и готовность терпеть возникающие трудности, приносить реформам существенные жертвы. Многие вынуждены были поменять профессию, образ жизни, города и даже страны проживания. Все то, к чему люди традиционно привязаны, чем дорожат и с чем наиболее болезненно расстаются.

Почему же впоследствии интеллектуалы-идеалисты перестали быть лидерами, на которых общество (и в особенности молодежь) хочет ориентироваться и за которыми готово следовать? Потому что политический идеализм не смог предложить решений, годных для жестких проблем реформенного времени? Потому что не было интеллектуальной реализационной стратегии?

Потому что изменились основные ориентиры общества? Видимо, все это имело место. Революции готовятся и осуществляются солдатами идеи, а результаты этих революций «администрируются», скажем так, генералами конкретных дел.

Кто же пришел на смену политическим идеалистам? Конечно же опять интеллектуалы. Как в России, так и в Польше лидерство перешло к интеллектуалам-материалистам, выдвигавшим подходящих им вождей. Их энергия материализма, как более распространенное качество человеческой природы, имеет более широкую базу и обычно более понятна «простому» человеку.

Вместо стремящихся к свободе выбора тонко настроенных и тонко чувствующих интеллигентов общество быстро получило весьма энергичных, умелых и, безусловно, интеллектуальных лидеров. Они деловито и талантливо устремились к новому (и своему месту в этом новом), открыв в нем массу возможностей — прежде всего для самих себя. Возможностей выбора и реализации для индивида!

Будучи «заточены» на другую систему ценностей и интересов, они скорректировали ориентиры и всю нашу жизнь в новой, уже материальной «плоскости» развития. Они оказались мощнее с точки зрения владения знанием и информацией, готовности к экспериментам по созданию новых экономических систем и схем. В том числе и не всегда гуманных.

Откуда пришли эти люди? Нет сомнений, они всегда были рядом. Отчасти это те же идеалисты, которые в новых условиях «трансформировались» в материалистов быстрее, чем вдохновленный ими народ. Отчасти это интеллектуалы, которые всегда ценили выше материальную сторону жизни, предпочитая вкладывать свою энергию в этом направлении вне зависимости от профессионально-кастовой принадлежности.

Могло ли общество не заметить эту смену — по сути, подмену целей развития, когда вместо свободы и демократии четко обозначился другой ценностный ориентир — «Обогащайтесь!»? Если учесть, что для подавляющего большинства, включая и многих интеллектуалов, он означал «Выживайте!», то становится понятно, почему большинство населения испытало скорее разочарование, нежели радость от впечатляющих успехов (преимущественно на личном материальном поле) представителей новой элиты.

Выходит, что интеллектуалы интеллектуалам рознь? И может быть, сама история требует разных интеллектуалов в разные эпохи? Но если это и так, то всегда, в любую эпоху важна ценностная ориентация думающего сообщества. Важно, зачем, с какими целями и представлениями о том, что есть благо, а что есть вред, интеллектуал берет на себя право решать судьбу своего, а подчас и не только своего народа. Ценности могут декларироваться или не декларироваться, но они всегда проявляют себя в поступках и результатах, которые видны обществу.

Что происходит сегодня в стане интеллектуалов? Если коротко, то жизнь заставляет искать компромисс между уже упоминавшимися «Освобождайтесь!» и «Обогащайтесь!». Это вполне закономерно в контексте сложившихся ценностных реалий современного общества, причем не только российского, но и любого другого. Известно, что многие лидеры бизнеса, а также политики и государственного управления, демонстрируют все более выразительные деловые успехи, становясь иконами современного общества, ориентирами и эталонами для молодежи, в особенности образованной ее части. Мы видели в последние годы и видим сегодня немало предпринимателей, выстраивающих (и весьма успешно) систему социальной ответственности бизнеса, формирующих компании с ясно прописанной миссией, понятной системой взаимоотношений, уважением прав и интересов человека. Мы видели и видим движение государственных элит многих стран мира в направлении прозрачных и ответственных решений, часто требующих твердости выбора и мужественных действий. Видели и видим молодежь (поддерживаю оценку Кшиштофа Занусси), ориентированную на творческие достижения. Радуют и непрекращающиеся усилия (часто не без поддержки бизнеса) испытанных бойцов культуры, произведения которых призваны «поднимать» человека над рутиной повседневной жизни.

Однако мы видим и другое — умелое использование новых (в том числе глобальных) технологий ведения бизнеса в целях быстрого обогащения с неясными и не учтенными для общества последствиями, тягу к краткосрочным, в том числе агрессивным, стратегиям, освобождающим, по мнению их пользователей, от ответственности за отложенные во времени катализмы и кризисы. Видим, что недавно казавшаяся устойчиво успешной модель лидерства, базирующаяся на определенном компромиссе ценностей и действия, ценностей и практического поведения, не выдерживает очередного испытания. Мировой экономический кризис — лишь одно из проявлений несостоятельности данной модели. Видим также определенное осуждение интеллектуальной жизни в смысле нравственного поиска (естественное, вероятно, для периода потребительского ажиотажа), при нежелании или неумении в силу разных причин «взрослого» сообщества работать с молодежью.

Хочется надеяться, что верх возьмут позитивные, а не негативные тенденции. Встречи интеллектуалов разных стран, обсуждающих в том числе и проблемы самого интеллектуального сообщества, тоже могли бы этому способствовать. А поэтому и инициативу «Либеральной миссии» можно только приветствовать.

Игорь КЛЯМКИН:

Большое спасибо. Вы ввели в нашу дискуссию более широкое представление об интеллектуалах как о людях умственного труда. Оно используется обычно в странах развитой демократии, хотя и там не является общеприня-

тым. Но мы все же говорим о роли интеллектуалов в стране, где демократия свернута, о том, что они могли бы сделать здесь для ее утверждения. В вашей же логике эта проблема оказалась отнесенной исключительно к прошлому. Но разве она была решена?

И еще я в вашем выступлении обратил внимание на то, что вы делаете акцент на общемировых тенденциях. Разумеется, для этого сегодня есть немало оснований. Но мы все же обсуждаем (я имею в виду российских участников) проблемы страны, имеющей некоторую специфику. Сквозь призму мировых тенденций она не просматривается.

В списке записавшихся для выступлений остался только Валентин Гефтер, которого я и приглашаю к микрофону. После него выступят еще Сергей Ковалев и Адам Михник. Они просили предоставить им такую возможность, и она им будет предоставлена.

Валентин ГЕФТЕР (директор Института прав человека):

«Проблема демократии сегодня — это проблема всепланетная, и для ее решения требуются усилия всего мирового сообщества интеллектуалов»

Я бы не стал просить слова, если бы на порадовавшие меня выступления молодых коллег — Глеба Мусихина и Кирилла Рогова. Должен сказать, что меня совершенно не волнуют сейчас, пусть не обидятся мои старшие друзья, Виктор Шейнис и Сергей Ковалев, разборки между политическими идеалистами и политическими реалистами. Да еще повернувшись лицом к недавней истории, которую пора бы уже отрефлексировать, а мы до сих пор выясняем отношения. А вот то, как Мусихин и Рогов смотрят на задачи современных интеллектуалов в современном демократическом обществе, мне показалось интересным. При этом не так уж важно, о какой демократии идет речь, — о либеральной демократии в Польше, если наши гости ее таковой считают, или суверенно-авторитарной демократии в России.

Путинская Россия (при всем ее очевидном квазидемократическом облике) — вовсе не горбачевский Советский Союз, да еще образца 1988–1989 годов. И миссия интеллектуалов в ней отнюдь не определяется выбором того или иного «изма», будь-то идеализм или реализм с прилагательным «политический». Она, по-моему, заключается в обязанности критического анализа основ всепланетного жизненного устройства в условиях той демократии, которую мы имеем сейчас, независимо от всех различий между США, Польшей или Россией.

Попробую обозначить волнующие меня угрозы и вызовы, которые частично уже упоминались. Я имею в виду «внутренние болезни» демократии, с трудом поддающиеся общеупотребимому описанию, которые необходимо преодолевать, обсуждая их природу. Чтобы понять ее родовые проблемы до того, как спроектируем светлое «завтра», понять, что нас ждет, если эти проекты начнут осуществляться.

Первая проблема — допустимо ли во имя демократии быть недемократичными по отношению к недемократичности? Существует ли такое «право»? На эти вопросы ответа до сих пор нет.

Вторая проблема — возможна ли в наше время цензовая демократия, или, другими словами, демократия посвященных (экспертов) по отношению к плебисцитарной, выборной демократии? Может ли она быть инструментом предупреждения манипуляций на выборах и общественным мнением вообще?

Третья проблема связана с выбором наименьшего зла, т.е. андидемократических действий и ограничений прав немалого числа граждан ради спасения государства в целом. Казус Ярузельского, грубо говоря. Проблема, которая тоже далека от решения, и люди будут сталкиваться с ней не только в какой-то одной отдельно взятой стране.

Четвертая проблема касается «демократической», или гуманитарной, интервенции, права и обязанности вмешательства извне ради устранения тирании тоталитарных режимов и спасения многих людей. Как этот вопрос можно будет решать в том новом мировом правопорядке, о необходимости учреждения которого так много говорят сегодня?

Наконец, сам этот искомый демократический всемирный правопорядок — что это такое? Недостижимый идеал или реальный путь к спасению от торжества geopolитики в виде совсем иных (и разных) моделей мирового развития? Среди них и столь популярная ныне идея защиты передовых демократий «золотого миллиарда» от планетарного охлоса «отставших» или несостоявшихся наций.

И последнее, что хочу успеть назвать, — с подачи, кстати, Адама Михника. Мне кажется очень важным, и это одна из проблем, которая особенно заострена сегодня, — соотносимость демонационального и демоимперского. Что относится к демонационализму, более или менее понятно. Но и демоимпериализм в его американском варианте, не говоря уже про российские его извращения, тоже очевиден как данность. Связанные с демонационализмом и демоимпериализмом угрозы — в том числе самой идеи демократии — и одновременно мнимость выбора между двумя этими полюсами государствоцентричности необходимо обсуждать уже в рабочем порядке.

Все эти больные вопросы, относящиеся к феноменам как внутреннего, так и международного масштаба, требуют своего решения не только на внутринациональном уровне и не силами тех или других ангажированных интеллектуалов, принадлежащих к разным партиям в кавычках и без. Это задача для всего международного сообщества интеллектуалов.

Игорь КЛЯМКИН:

С тем, что сказал Валентин Михайлович, трудно не согласиться. Есть общие проблемы демократии, для решения которых требуются совместные уси-

лия интеллектуалов разных стран, в том числе и российских. Но мне все же кажется, что если последние полностью сосредоточатся на вопросах «всепланетного жизненного устройства», то до вопросов, касающихся демократии в России, они могут и не добраться. А от того, станет ли эта демократия либеральной или останется «авторитарно-суверенной», в немалой степени будет зависеть и характер «всепланетного жизненного устройства».

Итак, мы приближаемся к финишу. Пожалуйста, Сергей Адамович, вы можете высказать соображения, возникшие у вас по ходу дискуссии.

Сергей КОВАЛЕВ:

«Мне кажется, что ценностные подходы будут постепенно заменять войну ничем не сдерживаемых интересов»

Здесь много говорилось о «народе». И я тоже скажу о нем несколько слов, немножко вспомнив мое биологическое образование. Полезно знать некоторые отличительные свойства объекта обсуждения и их происхождение.

Очень многие успехи «эффективного менеджера» Иосифа Виссарионовича Сталина были обусловлены, простите за тавтологию, едва ли не главным его успехом — селекционным. Stalin вывел, ни много ни мало, новую историческую общность — советский народ. Терпеливый, раболепный, подозрительный, злобно презирающий рефлексии и, соответственно, интеллектуально трусливый, но с известной физической храбростью, довольно агрессивный и склонный сбиваться в стаи, в которых злоба и физическая храбрость заметно возрастают. Вообще-то, эти свойства представлены в любом народе, разница только в степени выраженности. Сталинские же селекционные критерии были весьма высоки. Уверен, что перечисленные мной качества прямо планировались, хотя назывались, конечно, другими словами. Stalin отлично понимал, что без такого народа, всецело и искренне ему подчиненного, все его жесткие, императивные, втиснутые в минимальные сроки государственные планы рухнут.

Работа велась вполне банальным, но очень продуктивным методом, который на профессиональном языке биологов называется «селекцией на провоационном фоне». В чем ее суть?

Если селекционер хочет, например, получить растения, устойчивые к какому-нибудь заболеванию, то он заражает возбудителем болезни всю делянку. Это и есть провоационный фон. Селекционер использует немногие выжившие (а значит, наиболее устойчивые) экземпляры как материал для скрещиваний, новых отборов и т.д. — не будем вдаваться в подробности. Думаю, что Stalin работал вполне сознательно, хотя рассуждал, конечно, в иной терминологии.

Самой важной селекционной делянкой были, понятно, лагеря. Еще были раскулачивание и коллективизация. Но кроме того — чистки, проработки,

верноподданические митинги и демонстрации, гражданский долг доносительства, уроки ненависти на политучебе, просто учеба с ее промывкой мозгов... Мне возразят, что это уже не отбор, а воспитание. Кто же спорит, это так, и это тоже очень важно осознавать, ведя разговор о народе. Но все же, мне кажется, есть и некоторый селекционный момент в перечисленном. Видит Бог, я не ламаркист, а все же думаю, что есть. Правда, Ю.Н. Афанасьев говорит, что начало такой народной эволюции уходит вглубь российских веков. Что же, он историк, ему видней.

Игорь КЛЯМКИН:

Это опять возвращает нас к вопросу о «почве», поднятому Вадимом Межевым. О культурном разрыве между народом и интеллигенцией. Интересно бы разобраться в том, каким образом на этом разрыве сказалась и коммунистическая селекция, о которой вы говорите. Кстати, нечто подобное было ведь и в Польше, но там все ограничилось пока кратковременной вспышкой традиционализма...

Сергей КОВАЛЕВ:

Чтобы показать, как выглядят сегодня у нас результаты этой селекции и выведенной благодаря ей «исторической общности», приведу один лишь пример — последние парламентские выборы. В них участвовали одиннадцать конкурирующих партий. И в нескольких субъектах так называемой федерации результаты оказались близкими к чеченским. А в Чечне — 99,5% явившихся на участки избирателей и 99,4% голосов за «Единую Россию». Даже самые страстные ее апологеты хорошо понимают, что это вранье. По одной сотой процента в среднем на каждую из десяти конкурировавших с «Едроссами» партий — это уж слишком. Понимает это Путин — и врет. Все первые лица государства публично врут, будто это результат свободного волеизъявления. Все их слушатели знают, что им врут. Они сами знают, что им не верят даже их сторонники. И сторонники знают, что лжецы точно осведомлены об их недоверии.

Зачем тогда ложь? Считается, будто она используется, чтобы кого-то обмануть. Но ведь тут никто не обманут — все все понимают! Мы живем в стране ритуального вранья, нужного лишь для того, чтобы продемонстрировать свою приниженнную покорность — дескать, делайте что хотите. И никому не стыдно. Никаких тебе майданов. Никто никуда не вышел. Не сказал: «Мы не стоим. Мы не позволим с собой так обращаться!»

А теперь немного совсем доморошенной статистики. В России 93 тысячи избирательных участков. Чтобы «подправить» результат голосования, технически недостаточно только председателя избиркома, нужно как минимум 3–4 члена комиссии. Есть еще комиссии других уровней. Я вовсе не утверж-

даю, будто каждая комиссия мошенничает. Но каждой как-то передан намек о «контрольных цифрах», т.е. рекомендованных результатах. И каждая готова соответствовать ожиданиям. Это значит, что около полутора миллионов добропорядочных граждан, никаких не уголовников, либо совершают тяжкое преступление, либо готовы его совершить. Самое интересное — они не боятся совершить преступление, они боятся его не совершить. А если добавить сюда тех, кто обслуживает пресловутый «административный ресурс»?

Вы думаете, я один задумался об этих масштабах? Да половина избирателей представляют себе порядок величин! Вот вам и долговременный результат того селекционного успеха, о котором я говорил.

Я написал довольно грубое и, по-моему, хорошее открытое письмо о выборах. И получил ответ из Администрации Президента. Очень вежливый: «Уважаемый Сергей Адамович! Ваше письмо отправлено по принадлежности». В Центризбирком, вестимо. Оттуда уж ничего не получил.

Евгений ЯСИН:

Пока общество пребывает в спячке, власть на такие письма реагировать не будет. Но если интеллектуалы, вроде вас, перестанут их писать, то оно вообще никогда не проснеться.

Сергей КОВАЛЕВ:

Несколько слов об идеализме и реализме — в ответ Виктору Шейнису. Я думаю, Виктор Леонидович, что наши с вами разногласия в какой-то мере плод недоразумения, спор о словах. При всей моей полуграмотности в области практической политики, я все же отлично понимаю, что политик, особенно во власти, постоянно сталкивается с разнообразными конфликтующими интересами и вынужден находить их баланс, разрешать споры, искать компромиссы. Знаю, что так будет всегда, — я же все-таки не городской сумасшедший. А принципиальное различие направлений, о которых мы с вами спорим, заключается, если угодно, в резком несовпадении шкалы ценностей.

Для идеализма на вершине этой шкалы (притом в большом отрыве от всего остального) — четко formalизованный принцип, норма, процедура, *никак ни от какого интереса не зависящие*, но воплощающие некую совокупность идей — свободы, равноправия, гуманности (список и дефиниции можно обсуждать) и некий набор табу. Это главный приоритет, и только он кладется в основу всех частных решений.

А главный приоритет «реальной политики», наоборот, именно некий интерес (геополитический, экономический, интерес государственного суверенитета, да мало ли что еще) либо совокупность интересов. В меняющихся обстоятельствах приоритетность интересов меняется, а в конфликте интересов главная роль принадлежит обстоятельствам, а не ценностям.

Оба мы знаем давние традиционные методы «реальной политики». Какой эпизод поподробней ни рассмотрим, всегда упрешься в правило «цель оправдывает средства», всеми лицемерно проклинаемое и всеми же практикуемое. Макиавелли ничего не придумал, а писал как есть, и с тех пор «реальная политика» не шибко изменилась.

Я бы никогда не кончил говорить, если стал бы подробно иллюстрировать это страшноватыми примерами. Кстати сказать, один из них относится прямо к Польше. В Нюрнберге, уже под флагом универсальных ценностей, три дня слушали обвинения немецкого фашизма в расстреле польских офицеров в Катыни. Все участники процесса точно знали, кто и когда расстрелял поляков, но эта комедия крутилась потому, что там один людоед судил другого — за каннибализм, между прочим. И в рамках как раз *политического* (это в суде-то!) реализма никак невозможно было катынских палачей удалить из обвинения. Слава Богу, еще этот эпизод в приговор не вставили. Вот вам и универсальные ценности!

Мы с вами, Виктор Леонидович, абсолютно, ну просто до мелочей совпадаем в оценке роли Горбачева, Яковлева, всей перестроечной команды. Но именно потому-то мне так и нужен этот злосчастный эпизод с высочайшим доносом, за воспоминание о котором вы меня ругаете. Ведь трудно найти более яркое доказательство того, что делает этот самый реализм даже с такими личностями. А назывался груздем — полезай в кузов. И никуда не денешься. Я ведь подробно разобрал мотивы и логику доноса. И как ни крути, отовсюду лезет все та же взаимозависимость целей и средств. Если ради некой высокой цели не побрезгуешь доносом, то, чтобы сохранить лицо, нужно прикрывать его какой-то маской. А маска имеет обыкновение прирастать, и где лицо, а где маска — уже не разберешь.

Кстати, вы-то сами, раз вы реалист, ради какой цели написали бы донос? И в чем готовы были бы солгать? Ах, вы этого делать не хотите, потому что реалистично полагаете, что эти мелкие уловки недальновидны, что прозрачность и правдивость в конце концов оказываются pragmatичными, а у лжи короткие ноги... Так? Но если так, то вы же и есть идеалист, что же вы меня ругаете?

Думаю, что традиционная политика себя исчерпала, что она давно уже не справляется со сколько-нибудь серьезными проблемами, а ее скверно работающий механизм просто опасен. Конечно, нельзя поменять политическую парадигму указом. Но, мне кажется, ценностные подходы будут все же постепенно заменять войну ничем не сдерживаемых интересов. Собственно, такие подходы, порожденные тревогой и идеей ответственности за жизнь, и составляют главный смысл нового политического мышления, о котором говорили Эйнштейн и Рассел, Сахаров и Горбачев.

И вот что еще в этой связи кажется важным. Традиционная политика (политический реализм, если угодно) создавалась, развивалась, совершенствова-

лась как аппарат межгосударственных отношений в разделенном и, признаем, не слишком доверчивом и дружелюбном мире. Именно об этой ведь политике было сказано, что война — ее продолжение другими средствами. Перефразируя, получим, что традиционная политика — предшественница войны, ее подготовительница.

Сейчас — другие времена. Другой мир. Кстати, и другая будет война, ежели случится. Разумно ли пользоваться прежними инструментами, изготовленными для другой работы? Нужно ли нам это? И не слишком ли многое, что кажется нас прямо, мы передоверяем власти?

В 1972 году А.Д. Сахаров сожалел, что в ООН представлены правительства, а не народы. Он считал, что желательно было бы иметь там независимый комитет из интеллектуальных и нравственных авторитетов, который предлагал бы соображения и рекомендации по разным проблемам. Правительства, которых касались бы эти рекомендации, могли бы их принять или отвергнуть, но должны были бы сделать это публично. Понятно, что учредить что-то такое в ООН невозможно, по крайней мере сейчас. Однако могла бы, вероятно, возникнуть общественная структура такого рода, что-то подобное Римскому клубу. Но пока и это не удалось.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Сергей Adamovich. И наконец, Adam Mikhnik. Он прекрасно знает Россию, но предпочел о ней не высказываться. Может быть, у него возникло желание прокомментировать то, что он здесь услышал.

Adam MICHNIK:

«После каждой ночи приходит рассвет»

Я буду предельно краток. Это было очень интересное обсуждение. После него я стал еще большим оптимистом в отношении России. Если в ней есть такие люди, каких я здесь увидел и услышал, такие мысли и такая откровенность, то в ее будущем можно быть уверенным.

Не беспокойтесь, после каждой ночи приходит рассвет. Все будет хорошо в России, я в этом убежден. Когда лет через пятьдесят историки будут писать о нынешней эпохе в вашей стране, они, не сомневаюсь, оценят эту эпоху очень высоко.

Наверное, у соседа трава всегда кажется зеленее. Различия между Россией и Польшей, которые отмечали российские коллеги, конечно же существуют. Но есть и еще одно, о котором здесь не упоминалось. Мы в Польше говорим, что стакан наполовину полный, а вы говорите, что он наполовину пустой.

Мне показалось, что у некоторых из моих российских друзей появились иллюзии в отношении нереализованных прошлых возможностей. Если Виктор Шейнис сегодня говорит, что двадцать лет назад надо было поддерживать

Горбачева, а не Ельцина, то я тебе, Виктор, скажу честно: это не имело бы ни малейшего значения. Потому что Борис Николаевич Ельцин был кумиром страны, кумиром общества. Мы в Польше (такие люди, как я) не сделали вашей ошибки. Мы не пошли за Валенсой, мы выступили против него. Результат тот же самый. А почему в истории происходит именно так, а не иначе — это уже тема другой конференции.

И последнее. Я сегодня счастлив. Потому что мои русские друзья мне сказали, что в Польше, на моей родине, есть большой успех. Спасибо. В Польше такого не услышишь. Поверьте, что видеть стакан наполненным лишь наполовину — еще не значит чувствовать себя комфортно.

Игорь КЛЯМКИН:

«Удастся ли российской демократической интеллигенции выдвинуть конкурентоспособный политический проект и заинтересовать им российское общество — этот вопрос остается открытым»

Спасибо, Адам. Возможно, в Польше нет ощущения успеха, потому что у поляков другие, чем у нас, точки отсчета для сравнения. Вы сравниваете свою страну с Западной Европой, на фоне которой ваши достижения впечатляющими не выглядят. В России же вы ищите лишь аналоги вашего негатива. А мы видим, что Польша в сравнении с Россией ушла вперед.

У вас создана демократическая политическая система, а у нас не создана. Хотя у вас нет ни нефти, ни газа, российский ВВП на душу населения почти на четверть меньше польского — я специально привожу данные за докризисный 2007 год, когда цены на нефть росли, а не падали. У вас инфляция в пять раз меньше российской, а средние размеры зарплат и пенсий намного больше. Вот почему россияне говорили здесь об успехах Польши и пытались выяснить, почему Россия от нее отсталла.

Мы завершаем обсуждение. Благодарю всех докладчиков и участников дискуссии за содержательные выступления. Ни образом не претендую на обобщение всего сказанного, остановлюсь лишь на четырех моментах, которые представляются мне наиболее важными.

1. Я согласен с Адамом Михником в том, что не стоит увлекаться поиском в прошлом нереализованных альтернатив. Вряд ли нам чем-то поможет написанный задним числом сценарий поддержки Горбачева в его противостоянии Ельцину или сценарий честных выборов 1996 года, которые хотя и могли привести к власти Зюганова, но могли и способствовать якобы сохранению демократического вектора развития страны.

Оставаясь в прошлом, мы ничего друг другу не докажем. Потому что никто уже никогда не узнает, как сказалась бы на судьбе российской демократии победа Зюганова и насколько процедурно чистыми были бы следующие выборы. Не забудем к тому же, что лидер КПРФ располагал бы «монархическими»

полномочиями, которыми наделяет президента российская Конституция, принятая, напомню, еще в 1993-м и ставшая юридическим фундаментом для монополизации власти. Но сами эти попытки переоценки событий недавней истории кажутся мне важными с точки зрения *сегодняшнего* самоопределения демократической интеллигенции.

Наше прошлое может быть полезно нам в одном-единственном смысле. А именно как неопровергнутое фактическое доказательство той простой истины, что отступление от демократически-правовых принципов во имя грядущего торжества демократии ведет не к ее утверждению, а к ее свертыванию. И если интеллектуалы что-то и могут сделать, так это отстаивать эти принципы и убеждать общество в том, что принесение их в жертву неизбежно влечет за собой цепь последующих откатов.

Разумеется, я имею в виду интеллектуалов, непосредственно в политику не вовлеченных. И на всякий случай напоминаю о том, что говорил о таком вовлечении Эдмунд Внук-Липинский. Он говорил, что интеллектуал, участвующий в политике, перестает быть интеллектуалом.

2. В ходе дискуссии мы, по-моему, не очень далеко продвинулись в поисках ответа на вопрос, почему польским интеллектуалам удалось добиться утверждения демократии, а у российских это не получилось. Мне кажется, ответ нужно искать в том, что наша демократическая интеллигенция (и вовлеченная в политику, и остававшаяся вне нее) стала заложницей политических элит, боровшихся не за демократию, а за властную монополию посредством использования демократических процедур. Собственную повестку дня она инициировать не смогла. Столь естественная, казалось бы, идея учреждения российского государства (после распада СССР) обществу не была даже предложена.

Если польские интеллектуалы, как опять же напомнил нам о том коллега Внук-Липинский, привнесли в политику демократическое «нормативное измерение», то мы оказались втянутыми сначала в противоборство между Горбачевым и Ельциным, а потом — между Ельциным и Хасбулатовым. И инерция этого столь велика, что и сегодня Виктор Шейнис говорит о том, что не на того, мол, поставили: поддерживать нужно было не Ельцина против Горбачева, а Горбачева против Ельцина.

Я вовсе не хочу сказать, что интеллигенция могла существенно изменить ход событий. Скорее всего — согласен с Адамом Михником, — не могла. Политические элиты, не сумев достичь согласия о демократических правилах игры, втянули в свою междуусобную войну за обладание властной монополией широкие свои народы. Но я не уверен, что в эту войну должна была втягиваться и интеллигенция. По-моему, мы оказались не на высоте именно как демократическое интеллектуальное сообщество, способное к нормативному проектированию. Тем самым был упущен шанс заложить

традицию такого проектирования, равно как и шанс сформировать само такое сообщество.

О том, что получилось в результате, здесь говорил Глеб Мусихин. Демократическое интеллектуальное сообщество, способное инициировать собственную повестку дня, в России сегодня отсутствует. Интеллектуалы, как и двадцать лет назад, ищут персону во власти, к которой целесообразнее прислониться. Разумеется, во имя грядущего торжества демократии. При этом отсутствие у либерально-демократического сообщества собственной повестки дня проистекает еще и из несформированности у многих его представителей *либерально-демократического сознания*. Оно деформируется, как я уже говорил, имперским и авторитарным подсознанием.

У польской либеральной интеллигенции такого не наблюдалось и не наблюдается. Поэтому у нее нам есть чему учиться. И речь идет — повторю сказанное мной в самом начале обсуждения — не об опыте ее противостояния братьям Качинским, т.е. определенному политическому курсу в условиях утвердившейся демократической государственной системы. Речь идет о деятельности польских интеллектуалов в те времена, когда они выдвигали и отстаивали саму идею учреждения такой системы, когда выступали за приздание политическому процессу демократического «нормативного измерения».

3. Судя по сегодняшней дискуссии, мысль о необходимости альтернативного демократического проекта постепенно овладевает нашими умами. Но мы рискуем застрять на стадии критических констатаций: проектов, мол, нет, никто их не разрабатывает, а надо бы... Кому адресованы эти призывы? Предлагаю адресовать их самим себе. Всем вместе и каждому в отдельности. Если задача осознана, давайте ее решать.

Демократический политический проект имеет две составляющие. Во-первых, он предполагает выстраивание системы институтов, основанной на демократически-правовых принципах. Во-вторых, он предполагает широкую общественную поддержку. И это «во-вторых» сегодня мне кажется более важным. Тем более что первая, институциональная, составляющая слишком уж больших усилий не требует.

Дело в том, что демократически-правовые институты заново изобретать не надо. Ни в Польше, ни в других странах Восточной Европы этим не занимались, а пользовались нормативными стандартами, изложенными в документах Европейского союза. В них на десятках тысяч страниц детально прописаны все компоненты демократического институционального устройства. Разумеется, каждая страна адаптировала все это к своим особенностям, каждая определяла приемлемые для нее этапы продвижения к цели. Но данная цель имеет четкие универсальные критерии, и если институциональное устройство того или иного государства им не соответствует, то оно не может счи-

таться демократическим и правовым. И политическим элитам всех стран Восточной Европы и Балтии — коллеги из Польши могут это подтвердить — пришлось очень напряженно поработать, чтобы обеспечить соответствие своих стран таким критериям.

А что у нас? У меня такое впечатление, что об этих документах Евросоюза в России мало кто знает, не говоря уже об их изучении. Поэтому первое, что надо бы сделать, — ознакомить с ними нашу общественность, и «Либеральная миссия» ищет сейчас способ, как представить их в максимально компактном виде. Без такого цивилизационного ориентира наши проекты институциональных преобразований вряд ли смогут обрести то качество, в котором органично сочетаются универсальные демократически-правовые принципы и национальные особенности страны.

Я имею в виду проекты независимых экспертов и оппозиционных либеральных политиков, а не тех людей, которые предлагают властям сценарии «развития российской модели демократии». Как будто такая модель уже создана и ее остается лишь потихонечку «развивать». В этих сценариях не формулируются ни цель такого развития, ни этапы продвижения к ней, а вопрос о векторе развития подменяется вопросом о его темпах. Потому что их авторы, похоже, озабочены лишь тем, чтобы представить программы косметических изменений, не затрагивающих основ сложившейся в России авторитарно-бюрократической политической системы. Имитационность нашей демократии сознательно или бессознательно предлагается преодолевать посредством имитаций демократизации.

Эти эксперты, кстати, тоже причисляют себя к интеллектуалам либерально-демократической ориентации. И они, как мне кажется, до сих пор больны болезнью перестроекных и первых постперестроекных лет, когда ориентации демократической интеллигенции «реалистично» приспосабливались к одной из групп политического класса, воспринимавшейся более демократичной, чем ее оппоненты. О том, насколько реалистичен такой «реализм», я распространяться не буду.

Но дело все же не только в том, каковы предлагаемые сегодня институциональные проекты, — среди них, повторяю, есть не только «косметические». Дело в том, что без поддержки обществом самой идеи системных демократических преобразований любые подобные проекты останутся лишь благим желанием. В конце 1980-х годов такая поддержка существовала, но институционального воплощения идея эта не нашла и была в ходе реализации выхощена. И в результате оказалась дискредитированной. Поэтому до общества важно донести сегодня представление не только о том, зачем она ему нужна и чем отличается от ее «суверенной» имитации.

Вернуть идею демократии утраченный ею общественный авторитет — вот в чем, по-моему, должна сегодня заключаться суть демократического проекта.

Евгений ЯСИН:

Это вроде бы всем понятно. Непонятно только, как это сделать.

Из зала:

Не имея к тому же доступа к широкой телеаудитории...

Игорь КЛЯМКИН:

В общем виде ответ, по-моему, очевиден: идея демократии должна быть соотнесена с реальными интересами людей, должна предстать в их глазах как *главное условие роста их благосостояния*. Если же они будут воспринимать демократию как предписываемую им интеллигенцией «ценность», их интересам не соответствующую, то они еще долго будут предоставлять нам возможность порассуждать о неподатливости российской культурной «почвы». Или, как изящно выразился Денис Драгунский, о том, что наши интеллигентные либералы и демократы «некоторым образом вненациональны».

При объяснении полезности и выгодности демократии опыт Польши и других стран Восточной Европы мог бы сослужить российским демократам очень хорошую службу. К сожалению, он им пока неинтересен. А он ведь к тому же позволяет наглядно показать и две главные проблемы, которые в России в отличие от этих стран не были решены в 1990-е годы. Я имею в виду утверждение системы свободной политической конкуренции и отделение собственности, превратившейся из государственной в частную, от власти, без чего демократическо-правовая государственность невозможна в принципе.

Из зала:

И как это можно «наглядно показывать», не имея контактов с телеаудиторией? Ведь именно об этом говорила Мариэтта Чудакова, объясняя целесообразность такой партии, как «Правое дело»...

Игорь КЛЯМКИН:

Чтобы начать реализацию демократического проекта, вовсе не обязатель но иметь свободный доступ на телекран. И партии вроде «Правого дела» для этого создавать не надо. При наличии самого такого проекта тех информационных ресурсов, которые доступны сегодня либералам, на первых порах вполне достаточно. Но ведь и в этих ресурсах он не представлен. А не представлен потому, что его еще нет.

Мариэтта Омаровна Чудакова сетует на то, что у либералов отсутствует доступ к населению, без чего затруднительно заниматься его просвещением. Поэтому, мол, и нужна «легальная либеральная партия». Но доступ к населению есть, например, через Интернет. Однако я не слышал о том, чтобы там

появились какие-то форумы, где бы целенаправленно и заинтересованно обсуждался вопрос о том, зачем России нужна демократия и чем она может быть полезна людям. И в либеральных СМИ ничего такого нет. А между тем вопрос-то не из простых. Во всяком случае, задача наших идеологических оппонентов гораздо проще: они могут опираться на хорошо знакомую людям государственную традицию, а нам предстоит убедить общество в полезности для него того, чего в России никогда не было.

Так ли уж хорошо представляем мы, как это делать? Ведь власть не допускает нас до телеаудиторий вовсе не потому, что опасается креативной мощи наших политических проектов, а потому, что боится публичной критики в свой адрес. Не потому, что видит в либералах реальную или потенциальную альтернативу себе, а потому, что публичные обличения «вертикали власти», особенно ее верховых персонификаторов, несовместимы с авторитарной природой этой «вертикали». Не получит права на такие обличения и «Правое дело». И что же предложит оно российскому обществу? Каким образом сделает в его глазах демократию привлекательной?

Чем создавать такие партии ради «доступа к населению», лучше бы, по-моему, задуматься о том, например, почему Ирина Ясина и Алла Гербер не могут найти контакт с теми молодыми людьми, доступ к которым они имеют. Стремиться к расширению пространства для просвещения до того, как освоено пространство имеющееся, — не есть ли это уход от реальной проблемы в область иллюзий? И не только по поводу возможностей и перспектив сотрудничества с авторитарной властью, но и относительно наших собственных сегодняшних просветительских возможностей.

Не исключено, что те сдвиги в массовом сознании, о которых говорил Кирилл Рогов, создают для восприятия демократического проекта более благоприятную, чем раньше, почву. Доверие к авторитарно-бюрократической «вертикали власти» будет неизбежно ослабляться и экономическим кризисом. Но он же будет использован (уже используется) и консервативными силами для вбрасывания в общество идеи еще более жесткого авторитарного «порядка», который, не исключено, тоже будет преподноситься как «подлинно демократический». А удастся ли выдвинуть конкурентоспособный политический проект и заинтересовать им население российской демократической интеллигенции — этот вопрос остается открытым.

Соответственно, остается открытым и вопрос, возможно ли в России преодоление раскола не только политической, но и интеллектуальной элиты, о котором говорил Денис Викторович Драгунский. Такой раскол, как мы услышали сегодня от Славомира Поповского, существует и в Польше. Но там он перекрывается общественным консенсусом относительно безальтернативности демократии. Поэтому там возможен приход к власти традиционистских сил, но невозможна реставрация политической монополии. А в России

общество еще только предстоит убедить в том, что именно от такой монополии все его беды.

4. Дискуссия, как мне кажется, лишний раз показала, что до сих пор не завершено осмысление с либерально-демократических позиций отечественной истории. Всей, а не только ее советского периода. А при отсутствии либерально-демократического исторического сознания трудно, практически невозможно понять и своеобразие наших современных проблем. Будем кружить вокруг них, не осознавая, вокруг чего кружимся, и сетовать на «почву», не осознавая, чему и чем она мешает.

Уникальна ли российская история? Вадим Межуев отвечает утвердительно, а Эмиль Паин — отрицательно. Оба ответа меня не удовлетворяют.

Ответ Паина не удовлетворяет меня потому, что Россия была пионером двух беспрецедентных насильственных военно-технологических модернизаций (при Петре I и при Сталине) и родиной практического коммунизма. Не было в мире и такой страны, которая, достигнув сверхдержавной военной мощи, распалась бы в мирное время. Значит, что-то особенное в нашей истории все-таки было.

Но меня не удовлетворяет и то, в чем эту особенность ищет и находит Вадим Михайлович Межуев. Что объясняет, скажем, упомянутое им долгое доминирование в России крестьянского населения? По-моему, само по себе ничего не объясняет. В той же Польше после 1945 года крестьяне составляли более двух третей ее жителей. Точно так же дело обстояло и в Венгрии. А в Болгарии, Румынии и Словакии доля крестьян была тогда еще больше — свыше трех четвертей. Теперь же все эти страны в Большой Европе, во всех них утвердились демократические институты.

В чем же своеобразие России и ее истории? Думаю, что искать его надо в том, что после освобождения от монгольской опеки и не без влияния монгольского политического опыта в стране была выстроена особая милитаристская модель государства, при которой отношения между властью и населением формировались — воспользовавшись сравнением старого русского историка Николая Алексеева — как отношения внутри большой армии. Причем эта модель использовалась не только в военное, но и в мирное время, аналогов чему нет ни на Западе, ни на Востоке. Границы между войной и миром были размыты, что предопределяло культурные и психологические особенности не только властной элиты, но и населения.

Но это же предопределяло и поведение противников власти. Упомянутый Вадимом Межуевым Емельян Пугачев, а за сто лет до него Степан Разин на меревались преобразовать Россию по образцу *казачьего войска*, превратив в казаков всех жителей страны. А большевики, как известно, овладели Россией посредством организованного вооруженного восстания (в европейских революциях такого не было) и будучи партией, которая в своем уставе именовала себя *боевой организацией*.

Кстати, именно советский период, с его выстраиванием повседневной мирной жизни по военному образцу, с его культом секретности и милитаристской лексикой, использовавшейся во всех без исключения сферах жизни, дает необходимую точку обзора и для понимания всей предшествовавшей истории. В этом периоде наряду со сталинской милитаристской модернизацией был и этап послесталинской демилитаризации жизненного уклада. Но то же самое мы наблюдаем и раньше: послемонгольская милитаризация жизненного уклада, достигшая предельных форм в ходе петровских преобразований, сменилась послепетровской демилитаризацией. И оба демилитаризаторских цикла завершались одним и тем же — распадом государства. Потому что — в отличие, скажем, от азиатских стран — отечественный самодержавный патернализм без милитаристской составляющей обнаруживал свою политическую несамодостаточность. Не в состоянии он оказывался сформировать у элит и населения и навыки иной, немилитаристской, организации жизни, т.е. жизни не по приказу, а по закону.

Не зафиксировав эту базовую, матричную особенность российской истории, мы и впредь будем искать ее специфику в православии, доминировании крестьянства или многонациональном составе страны. А в ответ выслушивать возражения, что ни первое, ни второе, ни третье ничего уникального собой не представляют. Не думаю, что таким способом мы сможем преобразовать наше историческое сознание.

Почему обо всем этом важно сегодня говорить? Потому что сейчас страна в очередной раз оказалась перед историческим вызовом — ей предстоит осуществить новую технологическую модернизацию. А ответить на этот вызов прежними принудительно-мобилизационными методами уже нельзя. Других же ответов российская властная элита не знает. И мы видим, как она запутывается между призывами к инновационному прорыву и апелляцией к инерции милитаристского сознания, что в наши дни с таким прорывом заведомо несовместимо. Она надеется решить стоящие перед страной проблемы так, как решали их элиты прежние, т.е. без политического участия общества. Но на этот раз так не получится.

Вот в чем особенность нашей нынешней ситуации, возникшей на пересечении современных вызовов и особенностей российского исторического пути. Вот в каком историческом контексте стоит сегодня в России вопрос о демократии. Вот чем определяются задачи интеллектуалов и содержание демократического проекта, который им предстоит предложить российскому обществу.

Дорогие коллеги, разрешите еще раз поблагодарить польских друзей, которые нашли время к нам приехать, и российских участников дискуссии. Спасибо фонду «Пресс-центр для стран Центральной и Восточной Европы» и его руководителю Стефану Братковскому. Спасибо посольству Польши за большую организационную помощь в проведении этой встречи. И — до новых встреч!

Для заметок

Для заметок

Для заметок

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР ИЛИ СНОВА «ОСОБЫЙ ПУТЬ»?

Под общей редакцией И.М.Клямкина

Подписано в печать 05.05.2010

Печать офсетная

Тираж 800 экз.

Фонд «Либеральная миссия»
101990, Москва, ул. Мясницкая, 20
Тел.: (495) 621 33 13, 623 40 56
Факс: (495) 623 28 58